



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1987





Юрий Нагибин

**Поездка
на
ОСТРОВА**

*Повести
и рассказы*



ББК 84Р7
Н 16

Н $\frac{4702010200-214}{078(02)-87}$ 108-87

© Издательство «Молодая гвардия», 1987 г. (повести и рассказы второго раздела, состав, оформление, предисловие).

От автора



Писателю-рассказчику не так-то просто выпустить книгу. Ведь далеко не все «сшитые в один переплет листы» (Владимир Даль) могут считаться книгой. Хотя расхожее представление о книге вполне соответствует определению толкового словаря. Роман — всегда книга, даже если и неудачная. В иное положение поставлены авторы малых форм, чаще всего у них выходят сборники, но случаются и книги, причем не всегда в силу заранее обдуманного намерения, хотя и так бывает. Книга у рассказчика возникает в том случае, когда составляющие ее небольшие произведения обладают общим корнем, произрастают из единого сильного чувства, некой завороченности, служат выражением одной душевной идеи, подчинившей себе целый период жизни. В противном случае получаются сборники, которые в чисто художественном отношении могут оказаться лучшие книги, но актом одного большого, властного и длительного переживания не являются.

В данном случае в «один переплет» сшиты книга, идея которой содержится в самом названии «Человек из глубины пейзажа», и сборник моих новых вещей, написанных в последние годы. Название первого раздела мне



подарил ныне покойный писатель, превосходный рассказчик Николай Атаров, определивший этими словами главное направление моей новеллистической работы. В начале 70-х это было исчерпывающе справедливо. Ныне Атаров уж, верно, не настаивал бы на своем определении.

Целый период жизни прошел у меня под знаком охоты и рыбалки. Богатое рыбой Плесеево озеро, великолепные охотничьи угодья Мецеры и Максатихи — вот география тогдашних лет моей жизни. Я предавался древнейшим человеческим занятиям с великой страстью, но без того губительного азарта, когда слетают все внутренние запреты и ты теряешь всякую ответственность за доверенный тебе мир животных и растений. Быть может, самозабвенной увлеченности ставило преграду то, что с самого начала я стал писать о рыбалке и охоте, то есть видел ясным взглядом и окружающее и себя самого. Это обеспечивало самоконтроль.

И тогда я пришел к твердому выводу: нигде не раскрывается человек столь исчерпывающе полно, как на природе. И до чего ж неожиданно поворачивались иные характеры — таимое в городском привычье вырывалось наружу, и человек обретал свое подлинное лицо. Наблюдать это было не менее упоительно, чем сидеть в скрадке с ружьем в руках на утренней или вечерней зорьке.

Эта тема исчерпана для меня, я перестал охотиться и рыбачить. Слишком ненаселенны стали воды и леса, при нынешней убыли дичи охота потеряла свой романтический образ, а гибнущее Плесеево озеро уже не только не дает душе созерцательного покоя. Пусть промыслами занимаются специалисты, хотя при строгом соблюдении положенных правил и ограничений спортивные охота и рыбалка вреда не принесут. Но всякое браконьерство сейчас вдвойне преступно, с ним надо беспощадно бороться. Своей книжкой я не только прощаюсь с любимыми увлечениями, но хочу еще раз напомнить, какой бережности требует хрупкий дышащий мир вокруг нас.

Во втором разделе, который я назвал «Разное о разном», чтобы подчеркнуть его неоднотемность и многожанровость, представлены повести, рассказы о наших днях и о прошлом, а также биографическая проза-новелла, литературный портрет, воспоминание. Эти очень разные вещи имеют прочную связь во мне самом. Мои интересы делились между настоящим и прошлым. Но как убедится читатель, современная повесть «Поездка на острова» сцеплена с историческим рассказом «Куличек-игумен» че-

рез вечный спор добра со злом; мой стойкий интерес к творческой личности находит новое для меня выражение в «Ненаписанном рассказе Сомерсета Моэма» — это как бы новелла в новелле, в рассказе-воспоминании «Ночью нет ничего страшного» и в художественном очерке о видной кипрской поэтессе. С этими вещами связан (через мысль о том, что произведение важнее творца) рассказ о дряхлом старике, видевшем великого русского актера Щепкина. Особняком стоит рассказ «В дождь» о колхозном инженерере и кошмаре среднерусского бездорожья, но это продолжение той деревенской темы, которая пришла ко мне с «Председателем», потом, будто ручей, скрылась под землей и вновь пробилась наружу, извлеченная из глубины сильным жизненным впечатлением.

Прежде меня занимали творцы минувших дней: писатели, поэты, музыканты, а не шум далеких эпох. Цикл повестей и рассказов «Остров любви», составивший большую том, не был в точном смысле слова историческим. Я ведь не биографии своих героев восстанавливал, а рассматривал на их примере проблему отношения художника и общества — ту проблему, которую некогда снобистски называли «поэт и чернь». Я пытался доказать, что не только художник в долгу перед обществом, но и общество в долгу перед художником, перед каждым, кто доверчиво несет ему свое сердце. За культуру надо платить встречным движением, это не галушки гоголевского Пацюка, сами прыгавшие в рот.

Я обращался к истории не ради нее самой, а ради надвременных культурных и нравственных ценностей. И ради своих художественных целей порой допускал вольности, не считая необходимым следовать букве истории. Решать на сегодняшнем материале эти проблемы крайне затруднительно, почти невозможно: пока художник жив, неизвестно, как сложатся его отношения с обществом.

К историческому жанру я обратился впервые в рассказе «Куличек-изумен» и повести «Квасник и Буженинова». Я не играю тут с историей в беллетристические игры, точно следуя за подлинными событиями, а воображением заполняю лишь те пустоты, которые остались в картинах давних времен, оставленных нам летописцами, мемуаристами, учеными-историками.

Поясню на примере. Я не отхожу от истории ни в одной подробности жизни, вернее, жития митрополита Филиппа, в миру — Колычева, который представляется мне едва ли не самой высоконравственной фигурой Ру-

си XII века, но трактую личность этого зиждителя, природознатца, ученого и борца с опричниной по своему разумению и не могу видеть в нем религиозного фанатика, каким он представляется иным историком. Для меня он пантеист и моралист, и это мое неотъемлемое право писателя, ибо скудость исторических документов дает простор для интуиции.

«По зернышку» собрал я историю несчастного князя Голицына, превращенного самодурством жестокой императрицы Анны Иоанновны в придворного шута. Как я убедился, многие любители исторических романов считают, что придворный шут по кличке Квасник и его супруга шутиха Буженинова замерзли в Ледяном доме, куда их поместили после издевательской свадьбы. Ничего подобного: они спаслись, в свой час расстались с позорной службой, зажили в любви и согласии, родили сыновей, вернули себе честь и достоинство. Эта история величайшего надругательства абсолютизма над личностью поучительна тем, что доброе человеческое возвысилось над злобой всевильного, казалось бы, самовластья.

Персонажи моей повести резко отличаются от тех же персонажей известного романа И. И. Лажечникова «Ледяной дом». Один из русских писателей первой половины XVIII века, работавший в жанре исторического романа, пренебрег правдой истории в своем произведении. Возвышенная (и разумеется, вымышленная) любовь кабинет-министра Волынского к прекрасной Мариориче потребовала романтизации образа несостоявшегося временщика, безжалостного правителя, казнокрада и политического авантюриста. В силу этого все недруги Волынского представлены в романе моральными уродами. В первую очередь это относится к выдающемуся просветителю, поэту-реформатору В. К. Тредиаковскому, за что Пушкин сурово пенял Лажечникову.

В истории с Ледяным домом Василию Кирилловичу пришлось сыграть роль жалкую и неблагоприятную, но был он принужден к тому бесчеловечными побоями, нанесенными ему Волынским и его присными. В моей повести эта печальная страница жизни Тредиаковского поведена без прикрас, но и без кошмарных домыслов Лажечникова. Тредиаковский был такой же жертвой самовластья, как и Голицын-Квасник.

А великим трудом мученика русской культуры я сполна отдал должное в большом рассказе «Остров любви» и в повести «Белец».



Человек
из
глубины
пейзажа





Молодожен



О том, что отыскать егеря в Подсвятые — дело сложное, Воронов узнал от старухи, перевозившей его через Пру. Старуха была высокая, статная, с крепкими ногами в коротких кирзовых сапогах; защитного цвета ватник обтягивал ее широкие круглые плечи, голова, несмотря на летнее время, была в теплой армейской шапке, скрывавшей седину, и когда, заводя шест, она отворачивала от Воронова маленькое морщинистое лицо, на нее приятно было смотреть. Время пощадило ее стать, но обезобразило руки, крючковатые, пятнистые, а на стянутом морщинами лице сохранило темные блестящие глаза с голубоватыми белками. Поигрывая своими живыми, непогашенными глазами, старуха словоохотливо объясняла:

— Запоздал ты маленько. У нас дня за два до сезона егеря уже не сыскать, а в разгар охоты — куда там!.. Раньше, верно, попроще было. А сейчас кто и вовсе это дело забросил, потому колхоз выгоден стал — ну, хоть мой меньшей Васька, — а кто к государству на службу пошел. Лучшие-то егеря сейчас на охране озера работают. Возьми хоть Анатолия Иваныча, моего старшого. Да вам в Москве об том навряд известно... — Легкий оттенок



презрения, прозвучавший в ее последних словах, относился не к малой славе ее сына, не дошедшей до столицы, а к неосведомленности Воронова.

— Нет, почему же, — возразил Воронов, — я не раз слышал об Анатолии Иваныче как о самом надежном человеке по части охоты.

— Плохо же у вас в Москве насчет Мещеры сведомы! — осудительно сказала старуха. — Неужто нет у Анатолия Иваныча другого дела, как столичных гостей возить? Он край наш охраняет!

— Так что же вы мне посоветуете? — спросил Воронов.

Воронов любил охоту, он обладал выдержкой, метким глазом, твердой рукой, но не был настоящим охотником, к тому же в Мещеру попал впервые.

— Посоветовать тебе ничего не могу, — ответила старуха, ловко направляя верткий челнок наискось волны. — Одно скажу: попробуй кого из стариков подбить; они от работы свободные да и любят это дело. Только навряд кого сыщешь.

Челнок прошуршал по дну и резко стал. До берега оставалось метра три-четыре. Подобрав подол в шаг, старуха перекинула через борт сперва одну ногу, потом другую, привалилась грудью к корме и вытолкнула челнок на отмель.

Прочная неподвижность берега шатнула Воронова. Он достал десятку и протянул старухе:

— Держи сдачу, — сказала она и в ответ на протестующий жест добавила: — У нас такой устав. Перевоз — пятерка, ночлег — трешка, егерю — четвертной в сутки... Слышь-ка, попробуй вон в ту избу стукнуться. Спроси Дедка, может, уговоришь...

Воронов поблагодарил и двинулся кочкастым берегом к указанному дому.

Ему открыла старуха, до странности похожая на его перевозчицу: молодая фигура и маленькое сморщенное личико с темными живыми бусинками глаз. И одета была так же: защитного цвета ватник, кирзовые сапоги, ушанка с угольчатым следком от звездочки. «Похоже, здешние старухи еще ведут какую-то свою войну», — с улыбкой подумал Воронов.

— Нет, милый, Дедок не пойдет — занемог, — сказала она. — Вчерась с Великого без ног приполз.

Все-таки она пропустила Воронова в избу, где на постели с высокими подушками под ворохом шуб лежал за-

болевший хозяин. Самого Дедка видно не было, торчал лишь седой, в желтизну обкуранный клинышек бороды.

— А если я хорошо заплачу? — сказал Воронов.

— Слышишь? А, мать? — донесся из глубины постели слабый голос, и седой клинышек задрожал.

— Нишкни! — прикрикнула жена. — Паром изо рта дышит, а туда же! Видите, без пользы мы вам, дорогой товарищ, — строго сказала она Воронову.

— Так где же мне найти егеря? — настойчиво спросил Воронов.

— Где ж найдешь, коли их нету. Нету — и все тут! — сердито сказала хозяйка.

Случись подобный разговор несколько лет назад, на том бы и кончилась, не начавшись, мещерская охота Воронова. Раньше он был склонен преувеличивать противоборствующие силы жизни, каждое, даже незначительное препятствие казалось ему неодолимым. Но с годами выработалась в нем счастливая уверенность, что в жизни нет неразрешимых положений, что спокойная и трезвая настойчивость способна смести любое препятствие. Голос его прозвучал почти весело, когда он спросил:

— Так где же все-таки мне найти егеря?

Старуха испуганно вскинула редкие ресницы.

— Да где ж его, милый, найдешь? — проговорила она, но уже не сердито, а растерянно.

— Вот я и спрашиваю вас, — сказал Воронов.

Старуха повела глазами вправо-влево, будто егеря и в самом деле мог скрываться где-то поблизости, о чем доподлинно известно этому московскому человеку.

— Уж не знаю, чего тебе и сказать... Может, молодожена уговоришь?

— Так тебе молодожен и пойдет! — послышалось из-под вороха шуб.

— Пойдет, — ответил за старуху Воронов. — Где он обретается?

— Крайняя изба по леву руку от нас, — пояснила старуха. — Ступай к нему, милый, может, убедишь. А только оп, как оженился, егерское дело бросил.

— Не пойдет, — снова послышалось из-под шуб. — От жены не пойдет!

— Как его зовут, молодожена-то? — спросил Воронов.

— Да Васька, — ответила старуха. — Как его еще звать?

— Не пойдет, — донеслось до Воронова уже в сених.

Он решил, что стойкость молодожена перед соблаз-

ном легкого егерского заработка принадлежит к числу мещерских достопримечательностей, которыми гордятся местные люди.

Воронов забыл спросить, по какую сторону улицы стоит Васькина изба. Из двух крайних изб он выбрал ту, которая выглядела почище и была украшена железным петушком на коньке крыши и резными ставнями в свежей побелке. Молодоженам пристало жить в этом опрятном, с некоторым притязанием на нарядность жилище. Толкнув дверь, Воронов вошел в большие сумрачные сени, пахнувшие телянком, подопревшей соломенной подстилкой и куриным пометом. Этот обычный дух сеной еще и припахивал горьковато и волнующе чуть тронувшимся утиным мясцом. Посреди сеней на веревочной захлестке висела порядочная связка крякв и чирков с пучками травы в гузках. «Значит, не вовсе бросил охоту», — отметил про себя Воронов. Кудрявый широкоплечий парень в галифе и белой сорочке с закатанными рукавами, поднявшись с колен — он обтесывал топором какое-то полешко, — спросил Воронова, кого ему надо.

— Вас и надо, — ответил Воронов.

Парень вонзил топор в полено и первый прошел в избу. Воронов последовал за ним. В дверях он посторонился, пропустив мимо себя маленькую женщину с полной бадейкой в руках.

Жилище молодоженов было внутри таким же приветливым, как и снаружи. Насвеже побеленная печь, пестренькие обои, подоконники заставлены горшками с геранью, на стенах множество картинок из «Огонька». В углу буфет с кружевной скатеркой, на нем стаканчик из дешевого цветного стекла, две большие, тяжелые раковины, из тех, в которых «шумит море», рама с фотографиями, посреди, как водится, карточка молодых.

На лавке около двери сидела старуха в ватнике и кирзовых сапогах, видимо, обязательная для мещерских домов, решил Воронов. Но тут он узнал в старухе свою перевозчицу и сообразил, что она была матерью молодожена Васьки. На другой лавке, у окна, сидела молодая женщина в спущенном на плечи платке. Ее большая и крепкая грудь туго и тяжело натянула ситец кофточки.

— А я, собственно, по вашу душу, — обратился к ней Воронов. — Отпустите со мной хозяина?

Женщина удивленно повела глазами на Воронова и опустила взгляд. Глаза у нее были красивые, с выпуклыми голубыми белками.

— У нее еще нет хозяина! — с мягкой усмешкой заметил Васька. — Это сестренка моя.

Воронов досадливо закусил губу — должен был догадаться, что это не хозяйка. Она сидела церемонно, как сидят деревенские гости, а кроме того, разительно была похожа на брата: те же вьющиеся каштановые волосы, смуглый румянец, те же влажные, с поволокой, с голубыми белками глаза.

— Ну а вы что скажете о моем предложении? — спросил он Ваську.

— Незачем ему идти!.. Баловство одно! — Это сказала маленькая женщина, встретившаяся Воронову в дверях.

Она стояла на пороге, много не доставая головой до низкой притолоки, прижимая к бедру опорожненную бадейку. Воронов с разочарованием отметил невидность молодой жены красивого Васьки. Ростом невеличка, она не взяла и лицом: маленькое, усуженное веснушками, с бутылочного цвета глазами. К тому же молодая не была особенно молода, ей наверняка было за двадцать пять. На ней было старенькое, узкое и короткое платьице, на ногах стоптанные чуваки. Но характер в ней чувствовался, и Воронова не удивило, что в ответ на резкое замечание жены Васька лишь молча улыбнулся и развел руками.

— Бабушка, хоть бы вы меня поддержали по старому знакомству! — повернулся Воронов к старухе.

— Я тут не хозяйка, — ответила Васькина мать.

Это прозвучало без обиды и вызова — простое утверждение всем известного и справедливого факта.

Теперь Воронов знал, что ему делать.

— Можно вас на два слова? — обратился он к Васькиной жене.

Они вышли в сени. Воронов неторопливо и обстоятельно объяснил маленькой женщине, что заберет ее мужа всего на три-четыре дня, что мешчерские порядки ему известны и заплатит он хорошо, потому что человек он занятой и слишком редко позволяет себе охоту, чтобы скупиться. Наконец, в отличие от других московских охотников, он не запрещает и самому Ваське стрелять...

Маленькая женщина слушала его, шевеля губами. Видимо, соображала про себя, сколько получит муж. Подсчет ее удовлетворил: она улыбнулась, блеснув своими бутылочными глазами, и задорным, не лишенным изящества движением протянула Воронову руку.

— Договорились!

В отпахнувшемся рукаве мелькнуло ее хорошей формы пястье и округлый локоть, и Воронов, которого удача настроила снисходительно, отметил: в ней что-то есть.

— Василий, собирайся! — крикнула она решительным голосом. — Пойдешь с товарищем на охоту.

— Надо бы спроситься у председательши...

— Я сама ей скажу. Она и то намедни говорила, чего это все мужики отпрашиваются, один твой как привязанный. Да и мне надо убраться, полы вымыть, грязь тут от тебя!..

Васька поглядел на жену, вздохнул, затем, что-то пересилив в себе, стал собираться.

Сборы егеря были недолгими. Подложив в резиновые сапоги сенца, он наматал теплые байковые портянки и туго натянул сапоги на свои крепкие ноги; набил кошельковый патронташ старыми, потемневшими патронами и опоясался им; затем увязал в заплечный мешок резиновые и деревянные чучела. Воронову нравилось следить за его широкими, небрежными и вместе очень точными движениями. При этом Васька что-то насвистывал сквозь зубы, видимо, нисколько не ощущая своей живописной ладности.

— Рад, что из дому вырвался! — ревниво заметила жена, стиравшая за печью.

— Хочешь, не пойду? — с готовностью откликнулся Васька.

— «Не пойду»! Богач какой выискался!

Воронов опорожнил свой рюкзак, оставив лишь самое необходимое: хлеб, масло, консервы, термос с крепким чаем, запасные носки и одеяло. Василий принес со двора плетеную корзинку, в которой покрывала подсадная.

Жена Василия пошла их проводить. Она надела плюшевый, сшитый в талию жакетик, высокие резиновые боты и сразу помолодела.

— Дай-кось, — сказала она мужу и забрала у него ружье. — Вы на Великое поедете?

— На Озерко, — ответил Васька.

Она удивленно скруглила брови, и Воронову почудилось в этом что-то неладное. Он еще в Москве слышал: охотиться надо на Великом, и сейчас у него мелькнуло подозрение, что Ваське просто не хочется далеко отрываться от дома.

— Может, на Великом вернее? — сказал он.

— На Великом народищу тьма, — глядя не на Воронова, а на жену, отозвался Васька.

Воронов тоже посмотрел на жену Васьки, рассчитывая на ее поддержку. Но та лишь пожалала плечами и быстро прошла вперед к видневшемуся за осокой челноку. Верно, ее главенство в доме не посягало на авторитет мужа в делах охоты.

Василий тронул Воронова за локоть и, улыбаясь, кивнул на жену: длинная «тулка» колотила ее прикладом по пяткам.

— Только меня да брата Анатолия жены на охоту провожают, — сообщил он с легкой гордостью и раздумчиво добавил: — И то сказать, ему по инвалидности иначе не управиться...

Когда они подошли к протоке, челнок был уже отвязан и выслан свежим сыроватым сеном, которое жена Василия набрала прямо с берега. Василий уложил рюкзак, плетушку и ружья, заботливо прикрыв их своей брезентовой курткой, достал из-под соломы похожее на лопату весло.

— Залазьте, товарищ охотник, не знаем вашего имени-отчества!

— Сергей Иванович! — Воронов неуклюже опустился на дно челнока: из-за округленного борта плеснула черная, как деготь, болотная вода.

— Бывай здорова! — сказал Васька жене.

Хмуро глядя на Воронова, она быстрым, коротким движением притянула мужа за рукав, на миг прижалась к нему боком, смущенно усмехнулась, отпихнула и, не оборачиваясь, зашагала к дому по высокой, выше пояса, траве.

Васька уперся веслом в берег, давнул — и челнок побежал по узкому водному коридору, мягко стучаясь о выступы земли, с сухим шурушанием раздвигая острую, лезвистую осоку, нависшую над канальцем.

Воронов расстегнул воротник рубашки. Все хлопоты и треволения остались позади, он стрелой несся к цели. В Москве ему столько наговорили о мещерских трудностях, о своеобразности ее людей, которых надо понять, чтобы они повернулись своей мягкой и податливой стороной, ибо в другом повороте они могут быть непреклонными и жестко-неприимчивыми. И как легко нашелся он к этой обстановке, добился всего, что хотел!

Приятно было следить, как ловко и сильно орудует Васька веслом. Чуть заленившееся крепкое тело пария,

видно, испытывало радость от этой разминки. Чувствовалось, как играют под рубашкой его налитые мускулы, как хорошо и легко ему дышится.

Вскоре протока пошла зигзагами, и если у Воронова еще оставалось легкое подозрение, что Васька избрал Озерко ради легкого пути, то сейчас оно исчезло без следа. Длинный челнок не мог повернуться на крутых излучинах. Перед очередным поворотом Васька изо всех сил отталкивался веслом, заменявшим ему шест, и челнок с разгону влетал на отмель. Васька спрыгивал в воду, приподымал тяжелую корму и заводил ее в другое колено поворота, после чего спихивал в воду нос. Челнок был очень тяжел, но когда Воронов хотел помочь Ваське, тот не позволял.

Все же перед самым выходом в Пру, где узкая протока разливалась вольной и мелкой водой по заболоченному берегу, челнок так прочно сел на мель, что Воронову пришлось вылезти и приложить свою силу.

— Кабы жена видела, ох, и досталось бы мне! — доверительно сказал Васька.

— Что так?

— Не может она терпеть, коли я с чем не справляюсь. — Васька засмеялся, а Воронов спросил:

— Любишь?

— Ну как же не любить? — сказал Васька радостно и удивленно. — Вы же видели, какая она!.. Кто я перед ней есть?.. — И он развел руками.

Он стоял по колено в воде, в тельняшке с засученными рукавами: молодой, горячий, пот тек по его смуглому лицу, загорелой, в черноту, шее и мускулистым рукам; кожа казалась налакированной. Васька был так хорош собой, так чист и наивен в своем чувстве, что Воронову подумалось: «Эх, парень, ты куда большего стоишь!» Они двинулись вдоль лесистого берега Пры.

Здесь Пра совсем не походила на реку. Она разливалась широченным озерком с плоскими зелеными островками, с поросшими тростником заводями, где чернели челноки рыбаков. Чайки носились над водой, в вышине тянули утки, стайками и в одиночку. Коршун, паривший под самым облаком, стремительно и плавно спикировал на воду и, коснувшись ее крючковатыми лапами, взмыл с плотичкой в когтях. И тут же с маковки сосны сорвалась в погону за ним ворона. Она быстро догнала коршуна и вырвала у него добычу. Вернувшись на свой сторожевой пост, ворона склевала плотичку и стала

ждать, когда трудяга коршун выловит для нее другую.

Они вновь свернули в протоку, в отличие от первой прямую, как стрела. Порой узкий коридор расширялся, вода разливалась пятаяками — протока шла от одного болотного озерца к другому. Берега и здесь были низкими, но высокая, выше человеческого роста, осочная поросль, подступавшая вперемежку с кустарником к самой воде, заключала протоку в сумрачный темно-зеленый тоннель. Казалось, будто разом посмерклось, и Воронов забеспокоился, как бы не опоздать к вечерней зорьке.

— Будем в самый раз, — уверенно сказал Васька.

Порой над самой их головой бесстрашно пронеслись бекасы, кулички, а из-под черного плоского листа кувшинки выскочил и припустил от них во все лопатки крошечный, чуть больше птенца, хлопотунец. Несчастный малыш, не ведая о том, что ему, слишком поздно вылупившемуся из яйца, не суждено стать взрослой уткой, изо всех сил спасал свою короткую жизнь. Стрекоча по воде жалкими закорючками неразвитых крылышек, он с писком улепетывал по протоке, то и дело настигаемый носом челнока, и наконец юркнул в береговую заросль. Едва он скрылся, как из заросли что-то с шумом выпорхнуло, на миг в светлом окне между кустами возник черный рваный силуэт кряквы, и тут же розовый отсвет выстрела оплеснул лицо Воронова. Раньше чем замерло эхо, утка, описав дугу, упала в кусты.

Воронов был потрясен не столько неожиданным выстрелом, прогремевшим, над самым его ухом, сколько сверхъестественной быстротой и ловкостью Васьки, успевшего бросить весло, схватить и вскинуть ружье с такой необыкновенной точностью. Почему-то Воронову подумалось, что и сейчас Васька расстарался в честь своей жены, и он почувствовал раздражение против этого ликующего человека. На таком душевном подъеме Васька перебьет всех уток, и ему, Воронову, просто ничего не останется...

— Вот что, Василий, давай уговоримся: влет мы стреляем оба, а по сидячим — я один.

— Есть, Сергей Иванович! — Василий пристал к берегу и прямо с челнока шагнул в высокую траву. Трава сомкнулась за ним, а когда снова раздалась, Васька держал в руках крупного селезня с изумрудной шеей. — Почин сделан, Сергей Иванович!

— Да, — сухо вато согласился Воронов.

Озерко открылось внезапно; в круглом зеркале воды

плавали подрубленные закатом облака. По краю вода была темной, сумрачной: то отражался плотный строй кряжистых елей, обступивших Озерко. Васька не стал примеряться взглядом к водоему, чтобы выбрать место получше, он сразу погнал челнок к полузатопленному островку у левого берега Озерка, смотревшему на закат. Здесь он раскидал чучела, спустил на воду затрепыхавшую подсадную, после чего загнал челнок в кусты.

— Вам хорошо видно, Сергей Иванович? — спросил он.

— Мне-то хорошо видно, да и нас хорошо видно сверху, — ворчливо отозвался тот.

— Ничего, — успокоил его Васька.

Воронов приготовился к долгому ожиданию, с какого обычно начинается всякая охота, но почти тут же раздался тихий, спокойный голос Васьки:

— Чирочек справа, Сергей Иванович.

Воронов вздрогнул и быстро забегал глазами по воде. Но он видел только чучела и среди них очень большую, какую-то ненастоящую подсадную.

— У крайнего чучела, справа, — так же спокойно подсказал Васька.

Воронов выстрелил с ощущением, что бьет по чучелу. Дробь веником хлестнула по воде, и один из двух равно недвижных чирков только закачался и неторопливо повернулся неуязвимым деревянным боком, а другой распластался на воде, вытянув шею, своей смертью обнаружив только что бившуюся в нем жизнь.

Когда они выплыли, чтобы забрать его, в воздух взмыла уже шедшая на посадку кряква. Воронов ударил, утка кувырком свалилась в воду. Нырнув, она снова возникла метрах в тридцати от них, и тут Воронов, успевший перезарядить ружье, добил утку.

— Точно, — одобрил Васька.

Но это было только началом. Воронову редко выпадала такая счастливая охота. С одного выстрела он уложил трех чирков, затем подряд двух матерых и крупную шилохвость. Васька тоже не оставался без дела. Он подстрелил влет трех крякв, но один подранок забился в камыши, и его не удалось отыскать в сумраке водяной чащи.

Водоем был маленький, жаркая пальба распугала уток, но и в наступившем затишье Воронова не оставляла самозабвенная, счастливая напряженность чувств, за которую он так любил охоту. Он очнулся, лишь когда первая звездочка проклюнула небо. Маленькая, чистая и бле-

стящая, она ясно и остро отразилась в потемневшей воде озера.

— Ну, Василий, хватит на сегодня, брат!..

Ночевать отправились на протоку. Место для ночлега сразу нашлось: у самой воды, неподалеку от устья, стоял широкий, присадистый стог толстого осочного сена. Васька завел нос челнока на берег, выгрузил рюкзаки и стал готовить постели, с силой уминая пухлое, едковато папахивающее болотом сено.

Потом ужинали и пили чай из термоса. Совсем стемнело. Небо населялось звездами, над частоколом дальних елей вспух желтый бочок луны. Было еще тепло, хотя порой покальвало холодком, тянущим с остывающей протоки. Уплетая маринованного судака и запивая сладким чаем, Воронов вспомнил подробности сегодняшней охоты. Васька отвечал односложно, больше коротко посмеивался, и Воронов решил, что это какая-то профессиональная черта: не говорить о прошедшей охоте накануне предстоящей. Постепенно и в нем самом поубавилось азартное чувство, удача перестала будоражить, она принадлежала к событиям, которые уже состоялись, исчерпали самих себя, не могли оказать никакого влияния на будущее.

Приятная усталость ломила тело, было покойно и мирно на душе.

— Сергей Иванович, а вы женаты? — слышался голос Василия.

— Конечно, женат, — ответил Воронов и тут же поймал себя на чуть недовольной интонации.

— Жена в Москве? — осторожно спросил Васька.

— Нет, на курорте.

— Одна или с детишками?

— У нас детей нет.

Василий приподнялся на локте, некоторое время глядел на Воронова, затем сказал очень серьезно:

— Как же это вам не боязно... одну отпускать?

Воронов рассмеялся. Это наивное восклицание не было обидным для него. Напротив, он испытал приятное чувство защищенности: он был совершенно уверен в своей жене, к тому же его нисколько не заботило ее поведение.

— Э, милый! — сказал он с видом превосходства. — Разве от этого убережешься?

Егерь помрачнел. В темноте Воронову не было видно его лица, но он почувствовал, что Васька тревожно и сумрачно задумался.

Допив чай, Воронов улегся на пахучее сено. Очнувшись от задумчивости, Васька подошел к Воронову.

— Сергей Иванович, — проговорил он неуверенно, — вы не заботитесь тут один ночевать?

— Да нет, чего же бояться, — подавив усмешку, отозвался Воронов.

Он понимал, что в Ваське говорят не ревность, а та внезапная, острая тоска по любимому человеку, которая может схватить сердце даже в самой короткой разлуке. И все-таки Васька был ему сейчас немного смешон и жалок.

— Я быстренько домой наведу. До зорьки вернусь. Вы не сомневайтесь!

— Давай-давай, — сказал Воронов и, чтобы Васька считал разговор исчерпанным, отвернулся, натянув ворот куртки на голову.

Он слышал, как Васька сталкивает челнок в воду, днище с визгом протасилось по осоке, сухо и резко зашуршал крупитчатый песок на срезе берега, затем раздался гулкий всплеск, и под куртку пахнуло влажным холодком. Замирающим звуком забурлила вода под носом челнока — Васька отплыл к своей жене.

Воронов представил себе путь, который должен проделать Васька по двум протокам и по реке, припомнил все повороты, которые ему придется одолеть, вытаскивая челнок на берег и заводя в другое колено, а затем еще и мель, которую и вдвоем-то трудно было осилить. И все это в темноте, в сырую ночную стужу. Путь отнимет добрых четыре часа. Четыре туда, четыре обратно. Чтобы успеть к заре, Васька и часа не сможет пробыть с женой. Какой же силы чувство погнало его в это чертово путешествие?..

Воронов вздохнул и откинул полу куртки. А ведь и у него была в жизни такая пора, когда он мог мчаться невесть куда в любой час дня и ночи, по первому зову, а то и без зова. И он был полон тем страстным, трудным беспокойством, которое гонит сейчас сквозь ночь молодого охотника по водяному коридору. А потом он вдруг испугался за себя, за свой покой, да бог его знает, за что он еще испугался. До самого разрыва он знал, что все поправимо, стоило ему только довериться своему чувству. Но он сказал себе: так лучше, спокойнее, проще. И чтобы отрезать себе отступление, женился на своей теперешней жене, которую давно знал как умного, доброго,

верного человека. Если не было радости, то не было и боли, а это тоже кое-что значит...

И вот теперь встреча с этим парнем растревожила Воронова, заставила вспомнить то, что он не любил вспоминать. Но ведь и у Васьки это когда-нибудь пройдет, и он увидит свою жену такой, какой видит ее хотя бы вот он, Воронов: неприметная, веснушчатая, ворчливая, требовательная женщина, с головой ушедшая в домашнюю суету. Пожалуй, похмелье покажется ему горьким...

«Что это я? — хмуро подумал Воронов. — Меряюсь с ним судьбами?..»

Небо висело низко-низко, так плотно набитое звездами, что казалось, оно не удержит их и звезды просыплются. Да они и впрямь осыпались. Хрустально зеленая на лету, то отвесно, то крутыми, то широкими дугами падали они на землю. От перегретой за день земли в воздух волнами тянуло теплое испарение. И небо со всеми звездами то тускнело, словно отдалялось, то, наливаясь блеском, опускалось, — оно словно дышало.

Проснулся Воронов от резкого рассветного холода. В единый миг и его одежда, и куртка, которой он был укрыт, и плотное, умявшееся под боком сено, и шапка на голове будто по уговору перестали хранить тепло, отдаваемое его телом, и вдруг оказались холодными, сырыми, тяжелыми, неудобными. Воронов передернул плечами, и вызванная этим движением короткая дрожь дала малый заряд тепла и бодрости. Он рывком поднялся, уже зная, что следующим его чувством будет досада на отсутствующего Василия. Он увидел серое, будто пасмурное, на деле же чистое, лишь не набравшее голубизны небо, яркую рассветную полосу за лесом, седую от росы осоку и черный мокрый нос челнока, торчащий над береговой кромкой.

Воронов пошел к челноку. Сидя на корме, Василий потрошил набитых вчера уток.

— Здорово, молодожен! — крикнул Воронов.

Васька поднял на Воронова чуть бледноватое под смуглотой загара лицо.

— И ругалась же она, Сергей Иванович, что я вас бросил! — заговорил он с радостной, не в лад его словам улыбкой. — Я сказал, что вы меня сами послали. Вы уж не выдавайте меня...

— Да уж не выдам.

Васька осторожно, чуть вкось поглядел на Воронова.

— Не подумайте, что я ей не доверяю. Просто меня

такая вдруг тоска взяла... Чего-то мне вспало, что могла же она другого выбрать, могла же с другим сейчас быть. И так мне невмоготу от этих мыслей сделалось!.. — Знакомым, недоумевающим жестом Васька развел руками. Потом вдруг закрутил кудрявой головой, усмехнулся чему-то своему и, чуть придавась, добавил: — Ох, и дурной же я!..

В темных, с голубыми выпуклыми белками глазах Васьки застыл какой-то тускловатый хмельной блеск.

— Ты, поди, и охотиться-то не сможешь теперь, — заметил Воронов. — Вымотался весь!

— Что вы, Сергей Иванович! Да я сейчас такое понадевать могу! Да я...

Васька произнес это с такой искренностью и простотой, что не оставалось сомнений: от его маленькой озабоченной жены шла к нему сила и радость жизни.

В Воронове снова шевельнулось раздражение против Васьки: это чужое счастье было докучно ему, оно давило его и словно унижало. Он готов был сказать парню, что вот придет срок и его молодое, жадное чувство истощится, поблекнет, но вместо того спросил почти грустно:

— За что же ты ее так любишь?

— Да разве скажешь? — удивленно, точно эта мысль никогда не приходила ему в голову, отозвался Васька. — Кто я такой был без нее? Васька — и все! А теперь я человек, муж. Можно сказать, отец семейства. Да и не в том даже дело...

— Постой, постой, — усмехнулся Воронов. — Отцом семейства рановато тебе называться. Для этого как-никак дети нужны.

— Так есть дети! — счастливо засмеялся Васька. — Катька и Васька, близнецы. А еще есть Сенька, только он еще ползунок, у бабушки гостит...

— Ничего не понимаю, — сказал Воронов с каким-то неприятным чувством. — Сколько же лет... вы женаты?

— Старые мы, скоро шесть!..

— Так какой же ты, к черту, молодожен? — грубо спросил Воронов.

Васька снова развел руками.

— Кличут так, не знаю...

Последняя охота



Когда Дедок подплыл на старом челноке к «пристани» — так подсвятыньские охотники называют клочок берега на Великом, удобный для причала, — там было уже полно народу. Охота разрешалась лишь с завтрашнего утра, но, видно, никому не сиделось дома.

— Дедок, ты живой? — сказал Анатолий Иванович. — А мы-то думали на поминках погулять.

— Ишь чего захотели! — засмеялся Дедок.

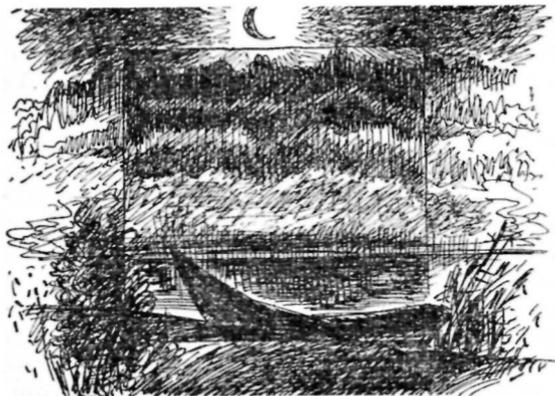
Анатолий Иванович поглядел на серое, будто пеплом обдутое, лицо Дедка с белыми губами под щетинкой редких, взъерошенных усов, с впалыми, восанными, мягко обросшими сединой щеками.

— Как же это старуха тебя пустила? — проговорил он с легкой укоризной.

— Еще бы не пустила! — избегая цепкого взгляда охотника, говорил Дедок, в то время как его узловатые, изуродованные подагрой руки привычно зачаливали челнок. — У меня со старухой разговор короткий!

— Ну живи, Дедок, — разрешил Анатолий Иванович, как бы допуская его этими словами в охотничье товарищество.

Слова охотника напомнили Дедку о его сборах на



охоту, о том жалком и унижительном, что ему пришлось пережить, прежде чем он отправился в путь.

Когда прошлой весной запретили охоту, Дедок как-то разом расклеился. Вся скопленная за долгие годы усталость, все недосыпы, все залеченные и незалеченные хвори, вся стынь, которой он вдосталь набрался на сырых весенних и морозных осенних зорях, накупились на его усохшее с возрастом тело, скрутив истомной, знобкой ломотой. Дедок переселился на печь, откуда сползал лишь по нужде да когда старуха заставляла его поесть горячей похлебки. Днем он дремал, слыша сквозь забытье, как гремят в руках старухи ухваты и рогачи, хлопает и визжит в сенцах на ржавых петлях дверь, ворочается в закутке и вдруг гулко ударяется о деревянную стенку боровок; ночью же томился бессонницей. В неотвязной, страшноватой ясности перед взором Дедка, открытым в угольную темноту надпечья, возникали лица живых и умерших людей, близких и далеких; лицо пожилой дочери и уже старого сына, давно существовавших отдельно от Дедка, и другого сына, погибшего в Отечественную войну, и двух дочек-близнецов, умерших в младенчестве от кори, и особенно часто — лицо его старухи, которое представляло то нынешним, источенным морщинами, то молодым, гладким, будто облитым глазурью.

Дедка томила и тревожила их назойливая ненужность. К чему они, коли не могут ответить на единственное важное теперь для Дедка: зачем было все то, что было, если сейчас эта печь, эта смертная слабость и равнодушие ко всему на свете? Сколько ни вопрошал их Дедок, ночные посетители молчали; казалось, они заняты чем-то своим и не хотят помочь Дедку. Тогда он как-то дневным делом пытался спросить об этом старуху, но то ли не нашел нужных слов, то ли старуха не захотела его понять. Она принялась браниться, понесла пустой и злой бабий вздор.

Отзвенела капелью весна, дверь в сенцах уж не хлопала с подвизгом, теперь она была всегда настезь, пуская в избу летнее тепло и запахи, которые Дедок почти не слышал, лишь угадывал. Отгремел грозами июль, и лето вдруг сразу перемахнуло на осень, август настал под стать октябрю, с утренниками и серым, мелким дождеком, с редкими ясными, солнечными днями. Однажды, вернувшись домой с фермы, старуха застала Дедка сидящим на лавке. Это было так отвычно, что она обмерла.

— Ты куда, старый? — спросила она с усилием.

— В путь пора собираться, — отозвался Дедок, глядя в сторону.

У старухи подкосились ноги.

— Уже?.. — только и произнесла она.

— На численник погляди. До охоты два дня, а ничего не собрано, ружье не чищено, патроны не набиты.

Тут старуха увидела лежащие на лавке стволы в чехле из рваного ее чулка, а на подоконнике почерневшую, обмотанную проволокой ложу и кожаный, будто навощенный с изнанки, обтершийся о тело Дедка пояс-патронташ.

Тогда старуха и поняла, что Дедок отложил помирать и собрался на охоту. Она не стала спорить и ругаться, просто забрала и спрятала стволы. После тщетной попытки завладеть стволами Дедок, поняв свою слабость перед старухой, сел на лавку и заплакал. Слезы растекались струйками по излучинам его морщин, он не пытался унять их, вытереть, и старуха, никогда не видевшая Дедка плачущим, испуганная и устыженная, заторопилась вернуть ему стволы. Получив стволы, пахнувшие былыми выстрелами, Дедок по-детски сразу успокоился и стал смотреть на свет их изъеденные, давно потерявшие блеск цилиндры.

Теперь старуха деятельно помогала Дедку в сборах: зашивала ушанку с вытертой лисьей опушкой и порванное в проймах ватное пальтецо, штопала носки, клеила резиновые заплатки на голенища болотных сапог. Дедок набивал патроны, отмеряя медной, позеленевшей чашечкой дробь и порох.

Наконец пришло время выходить. Дедок натянул на себя фуфайку, ватные штаны, сунул ноги в толстых шерстяных носках с надвязанными пятками в резиновые сапоги. И эти старые сапоги, без малого год пролежавшие в снях, охватили его ноги таким мозжащим, до сердца проникающим холодом, что Дедок весь как-то сжался, скорчился, и землистая тень проступила на скулах.

— Что с тобой, горемычный? — спросила старуха.

— Ничего, — проговорил Дедок, боясь, что она примет заходившую по его телу дрожь. — Дай-кошь сенца подложить.

Старуха принесла сена, и он набил его в сапоги и натужливо обулся. Холод не исчез, ледяными обручами сжал он худые икры Дедка, проник к костям голеней.

— Теперь хорошо, — сказал Дедок, обманывая и старуху и самого себя.

Старуха помогла ему натянуть ватное пальтецо, одернула полы, обмяла заскорузлый ворот. Он чувствовал ее жесткие руки, слышал теплое, чуть горьковатое, учащенное дыхание, и в нем подымалась давно забытая нежность.

— Пошли, что ль, — сказала старуха, — я ружье в лодку отнесу.

Когда они были молодыми, жена частенько провожала его на охоту, гордо неся на круглом, мягком плече тяжелое ружье. Дедок до сих пор помнил милую вдавленную, оставляемую ремнем ружья на ее плече. Но тогда это была забава, крепкий, прочно сбитый, хоть и нерослый Дедок мог играючи нести не только весь свой охотничий снаряд, но и жену в придачу.

— Вот еще глупость какая! — сказал Дедок. — Нешто я без провожатых не обойдусь!

С ружьем за спиной, с плетеной корзинкой на плече, в которой покрывала и ерзала подсадная, с веслом в одной руке и мешочком с провизией в другой, перепоясанный патронташем по крестцу, Дедок вышел за порог своего дома.

— Готовься завтра утей жарить, — не оборачиваясь, сказал он старухе и тут же забыл о ней. Голубой, зеленый, опаленный ранней желтизной осени мир раскрывался перед ним, тянул, звал, и Дедок зашагал в его напоенную крепким, влажным, болотистым духом свежесть, на темно-синий, с серебристой искрой, ветряной блеск реки.

Он без труда добрался до челнока по пружинистым кочкам берега; чуть задохнувшись, столкнул челнок в воду, но управлять им стоя не мог — рябило в глазах, и нехорошо кружило голову. Смирясь перед этой новой, незнакомой слабостью, он уселся на корме и, храня силу, тихонько повел челнок вдоль берега.

В Дуняшкиной заводи Дедок поднял большую стаю крякв. Обнаглевшие за долгую безубойную пору, утки подпустили его совсем близко, они тяжело и шумно взлетали из тростниковой заросли и, уплотняясь в стаю, забирали вбок, на чистое. Уток было множество. Порой Дедок не успевал их углядеть, но слышал сверлящую трель их полета в выси, жесткую, стрекочущую работу крыльев на взлете или похожий на удар веником по воде дробнослитный шлеп севшей на чистом стаи. Его радовало, что уток много, но огорчало, что он не охватывает просто-

ра глазом, как прежде, а принимает творящееся вокруг больше на слух.

Несильный, низкий, ровный ветер помогал Дедку, он не заметил, как миновал Дуняшкину заводь и, обогнув Шибаев корь, выплыл на озеро Великое. Здесь ветер начал работать против Дедка. Как ни трудился Дедок веслом, два старых вяза с обнажившимися на береговом отвале корнями упорно маячили вровень с челноком, не отпуская Дедка от себя. Дедок старался не глядеть на них, только на воду, обтекавшую плавными струями борта, отчего казалось, будто челнок живо несется вперед. Но когда Дедок снова бросал взгляд на берег, вязы по-прежнему стояли у его плеча, и голые корневые волоски шевелились, словно живые. А затем то ли утих, то ли переменялся ветер, то ли взяло верх человеческое упорство, но вместо вязов на берегу возник стог, а еще через какое-то время — кусты ежевики, затем березняк вперемежку с орешником.

Дедок приглядел себе место для шалаша. Метрах в тридцати от берега зеленый островок гибкой, как хлыст, ситы, среди которой рушились метелки тростника, был полукольцом охвачен бурыми ушками — излюбленным утиным кормом. Среди коричневато-серых листочков, чуть высунувших над водой свои загнутые кверху краинны, белели надерганные и объединенные утками стебли: значит, сюда они прилетали на вечерний жор. Дедок пристал к берегу озера и наломал березовых веток. Сложив ветки на носу, он оттолкнулся, и ветер, словно только того и желавший, ударил в густоту веток, погнал Дедка назад к Дуняшкиной заводи. Став на колени, Дедок подполз к веткам и стянул их на дно, но они и теперь возвышались над бортами, и в каждый листок, как в маленький парус, бил ветер, отгоняя лодку все дальше от островка. Перегнувшись через борт и заводя весло под днище, Дедок заворачивал нос челнока, чтобы обратить себе на пользу яростный нажим ветра. Мелкая волна захлестывала челнок, грозя затопить его, но как-то косо, боком, челнок подвигался к облюбованному месту, и наконец Дедок ухватился за тонкие, округлые, смугло-зеленые хлыстики ситы. Правда, хрупкая сита тут же обломилась, обнаружив нежную, белую, похожую на соты, клетчатку, тогда Дедок уцепился за лещугу. Обоюдоострые мечи лещуги резали кожу ладоней, но все же Дедку удалось втянуть челнок в густоту ситы, и здесь ветер будто отскло.

Дедок подержал руки в воде, и когда утихла саднящая боль, соорудил шалашик, довольно редкий, сквозной, а после долго сидел без движения, ожидая, пока вновь соберется в нем сила для дальнейшего пути.

Выйдя из дому рано утром, лишь к вечеру добрался Дедок до «пристани», служившей местом сбора всех подвятинских охотников...

Досада, вызванная словами Анатолия Ивановича, прошла, едва Дедок ступил на твердую, гладко и скользко омытую водой кромку берега. При виде знакомых лиц, при виде шеста с привязанным к немудохлым ястребом, при виде стога болотного сена, обреченного на то, чтобы быть обобранным сегодня для охотничьих нужд, Дедком овладели растроганность и легкомыслие. Опять он среди своих. Анатолий Иванович от лица всех принял его в старое товарищество, никто не лезет с соболезнованиями, никто не считает, что Дедок выдохся и не годен на серьезное дело.

Меж тем на берегу становилось все болеелюдно. Один за другим, в одиночку и по двое — по трое, предшествуемые шорохом ветвей, из лесу на заболоченный берег выходили охотники в резиновых, подвернутых ниже колен сапогах, толстых ватниках, меховых шапках и воинских фуражках с оторванными козырьками, чтобы не было помехи при стрельбе; у каждого за спиной рюкзак с чучелами, на боку плетушка с подсадной; одни несли ружье за плечом, другие на груди, словно автомат. Пришли многосемейный Петрак в рваном-прерваном ватнике, похожий на огромную всклокоченную птицу, и его шурин Иван, смуглолицый, с черной цыганской бровью, в новенькой телогрейке и кожаных штанах; явился маленький юркий Костенька, чему-то по обыкновению смеющийся и уже с кем-то поспоривший. «Я те докажу!.. Я тя выведу!..» — тонко кричал Костенька, заливаясь смехом. Пришел огромный, грузный в двух дождевиках, молчаливый Жамов из райцентра, мешчерский старожил; пришли два молодых охотника: колхозный счетовод Колечка и Валька Косой, выгнанный из школы «по причине охоты». Вместе с высоким, тощим, унылым Бакуном, уважаемым за редкую неудачливость и удивительную стойкость, с какой он сносил падавшие ему на голову беды, пришел красивый брат Анатолия Ивановича, Василий. Еще издали было слышно, как он выпрашивал Бакуна о последнем его «подвиге»: в дождливый день Бакун вздумал переселять рой, и злые в ненастье пчелы поку-

сали самого Бакуна, его тещу, насмерть «зажиляли» петуха и двух кур. Василий громко хохотал, обнажая белые влажные зубы, а Бакун лишь кротко улыбался.

Охотники скидывали свои мешки, кошелки и ружья и усаживались на тугую осочную траву, под которой ощущалась влажная и теплая торфяная земля. Все пришли слишком рано, и было немного стыдно своего нетерпения, но те, что пришли раньше, уже пережили свой стыд и подтрунивали над вновь прибывшими. Закуривали папирсы, завязывали беседы.

Дедок бродил от группы к группе, с умилением прислушиваясь к разговорам охотников. Никогда он не думал, что эти люди так нужны и дороги ему. Казалось прежде, что иных он недолюбливает, иных осуждает. Но все они были частицей того, едва не утраченного Дедком мира, в котором так сладко и радостно жить. И без любви из них жизнь была бы чем-то беднее.

В группе вокруг Анатолия Ивановича, сидевшего по обыкновению так прямо, будто сквозь него продернули шомпол, разговор имел научный оттенок.

— А вот отчего, к примеру, журавля называют журавлем? — спрашивал круглолицый, в пушке еще не бритой бороды колхозный счетовод Колечка.

— Ну, это просто, — пренебрежительно отозвался Анатолий Иванович. — Нешто ты колодезь-журавель не видел? Коромысло на длинной ноге — будто птица журавль стоит.

— А я так полагаю, что журавль прежде колодца был, — задумчиво заметил Петрак. — Птица раньше объявилась...

— Факт, раньше! — воскликнул пораженный этой мыслью Колечка.

Анатолий Иванович слегка переместил в его сторону плоскости серых, холодных глаз.

— Конечно, раньше, какой разговор! — сказал он строго. — Только была она без названия.

— Неужто без названия? — изумленно воскликнул Колечка и покрутил круглой, крепкой головой.

Дедку захотелось вмешаться и тоже сказать что-нибудь такое же острое и веское, как сказал Анатолий Иванович, и чтобы егерь скосил на него серые, холодные глаза, а Колечка закрутил бы своей крепкой, круглой головой, но он никак не мог собрать ускользающие куда-то мысли и вдруг проговорил совсем не то, что хотел:

— А в Рязани говорят не чирок, а цирок!

Анатолий Иванович, не поворачивая головы, взял Дедка на прицел.

— Нешто ты бывал в Рязани?

— Как не бывал? — задохнулся Дедок. — С покойным твоим отцом ездил. Я всюду бывал: и в Рязани, и в Клепиках, и в Шилове...

— Верно, говорят, — подтвердил Анатолий Иванович. — Там вообще цокают.

— Во-во! — обрадовался Дедок. — И всякая утка у них цирок — цирок, и матерая — цирок, и гоголь — цирок.

— Не ври, старый, — перебил Анатолий Иванович. — Матерая у них — кряква, а гоголь так гоголем и зовется.

«Верно, — словно проснулся Дедок, — и с чего это я...»

— А вот отчего название такое «цирок»? — спросил Колечка.

Дедок побрел дальше.

Смуглый, похожий на цыгана Иван и брат Анатолия Ивановича Василий упрекали Бакуна в том, что он не справляется со своей женой, молодой, толстой скотницей Настей. Здесь же крутился и любитель соленых разговоров Костенька.

— Сказывают, она в Заречье повадилась, — говорил Иван. — Не иначе, там у тебя заместитель работает.

Бакун не обижался.

— Может, и так, ребята, — говорил он, кротко улыбаясь шербатым ртом. — Ее винить нельзя. Женщина молодая, в теле, а я что — полуфабрикат.

Охотники засмеялись, и снова Дедку захотелось высказаться, поразить охотников каким-нибудь лихим и острым словом.

— Эх, вы... молодежь! — сказал он. — Я вон седьмой десяток доколачиваю, а разок в неделю свою старуху навещаю.

— Силен дед! — выломив темную бровь, воскликнул Иван и прибавил нехорошее слово. Костенька захихикал, а Василий брезгливо и жалостливо усмехнулся.

Дедку стало мучительно стыдно, он отвернулся и, опустив плечи, побрел прочь.

Умолк легкий ветерок, предвестник зари вечерней, улеглась слабая рябь, будто тугая пелена растянулась по воде — так недвижна стала озерная гладь. Между тонкой, сизой полосой на горизонте и тяжелой, слоистой синемеловой тучей возникло кроваво-красное зубчатое пла-

мя, будто занялась пожаром верхушка сторожевой башни. Затем что-то сместилось в насыщенном влагой воздухе, и зубцы слились воедино, образовав плоско обрезанное сверху тучей полукружье огромного заходящего солнца. Словно подоженный, ярко вспыхнул пунцовым с зелеными и синими прожилками стог сена. Затем солнце стало зримо погружаться в сизую полосу на горизонте, в последний раз ослепительно просияла золотая его макушка и скрылась. В тишину догорающего дня гулко, сухо, коротко упал звук выстрела; после мига беззвучия покотился над озером, на разные лады отдаваясь в заводях, и горохом рассыпался в леске Салтного мыса. Все сидящие и лежащие на берегу насторожились, кто поднялся, кто сел на корточки, кто с блуждающей улыбкой воззрился на соседа.

— В Дуняшкиной заводи бьют, — с тоской сказал чей-то голос.

Глухо, не отзвучав в просторе, хлопнуло два далеких выстрела.

— На Дубовом дают, — вздохнул кто-то.

Но вот откликнулась Прудковская заводь, заговорил Березовый корь. Большая стая крякв поднялась оттуда и пролетела берегом над головами охотников и, завернув к Хахалю, вдруг сразу растворилась в воздухе.

— Распугают утку, — заметил Петрак.

— Мочи нет! — детским голосом сказал Костенька.

Иван поднялся со злым лицом и, прихватив кошелку с подсадной, направился к челноку.

— Ты куда, Ванечка? — окликнул его Петрак.

— Мы тут чикаемся, а приезжие знай себе долбают! — ответил Иван.

— А ведь верно! — подхватил Костенька. — Мы срок держали и держим, а какой толк?

Сквозь перемежающуюся пальбу донесся частый стрекот моторки.

— Охрана с Клепиков, — сказал Василий.

— Далеко... В Налмусе, — прислушался Костенька. — Нет, зря мы теряем золотой час.

— А ты бы попробовал, — подначил Василий.

— Боязно! Ну-ка свидетельство отберут!

— Да и ружье в придачу, — веско заметил Анатолий Иванович.

Пальба усилилась. Стреляли на далеком Озерке и на Озерке ближнем, в Дуняшкиной заводи, без передышки палили на Дубовом, постукивали с берега в Прудков-

ской. Утки носились над озером, но, еще не напуганные всерьез, садились на воду близ охотничьих шалашей.

Петрак вслед за шурином с рассеянным и задумчивым видом пошел к своему челноку. Он отомкнул замок и достал из-под сиденья весло. Посмотрев на весло с таким видом, точно сам не понимает, как попало оно к нему в руки, пожал плечами и с тем же рассеянным видом оттолкнулся от берега.

— И я поеду, вот те крест поеду! — неожиданно для самого себя сказал Дедок. Он совсем не собирался этого делать, но желание доказать, что он прежний отважный и ловкий охотник, подсунуло ему на язык эти слова.

— Сиди уж! — прикрикнул на него Анатолий Иванович.

Уже посмерклось, задавленный тучами закат давал озеру лишь немного красноватого света, и Дедок знал, что ему не углядеть дичь, да и не любитель он был нарушать охотничьи правила, но в словах, а главное, в выражении Анатолия Ивановича было что-то от старухино: «Горемычный!» И это решило дело.

Весь недолгий путь до шалаша Дедок корил себя за опрометчивость. От воды тянуло холодом, и привычно заняли кости. Дедок не стал спускать подсадную и только рассадил чучела. Затем въехал в холодную, влажную сити под зыбкий кров своего шалашика, зарядил ружье и приготовился к долгому ли, короткому ли ожиданию. Последние красные пятна погасли на воде, ставшей молочно-белесой, в цвет неба. Вскоре небо посмуглеет, на нем чуть приметно затеплятся серебряные точки звезд, затем звезды позолотеют, а проемы между ними нальются мерцающей синью и наконец чернотой, и так же дегтярно почернеет вода, и это будет ночь. Скорей бы она пришла, тогда не стыдно будет вернуться на берег.

Вода курилась. С гладкой, тихой поверхности бежали вверх тоненькие струйки легчайшего белесого дымка, точно в самом деле подводные обитатели устроили дружный перекур. И казалось, что каждая струйка без следа растворяется в воздухе, но это было не так: на высоте тростниковых метелок то здесь, то там они стекались в хлопья; хлопья чуть оседали, улавливали новые струйки, образуя туманные облачка, и уже метелки, отделенные ими от стеблей, свободно покачивались в воздухе, словно плыли над озером, оставаясь на месте. И вдруг, жестко и грозно чернея в неплотном еще тумане, прямо на шалаш Дедка выплыл челнок. На корме грузно высилась кря-

жистая фигура Петра Иваныча, клепиковского егеря. Дедок почувствовал противную слабость в коленях, но уже в следующий момент он с веселым видом выплыл из укрытия навстречу егерю и, чувствуя свою лихость, сказал с наигранным смирением:

— И ловок же ты, Иваныч! Ничего не поделаешь, бери на цугундер!

Но егерь глядел мимо Дедка на шалашик, словно ждал, что оттуда появится кто-то другой.

— Ружье отымешь? — деловито спросил Дедок.

Он представил себе, как вернется на берег под конвоем Петра Иваныча, как более осторожные охотники встретят его сочувственными и почтительными шутками: вон, мол, какую штуку удрал отчаянный старик! Как будет он ругать старухе свирепость нынешнего начальства, и старуха скажет: когда только ты угомонишься, дед! Но егерь поднял весло, уперся в илистое дно и стал заворачивать нос челнока.

— Куда же ты, Иваныч? — испуганно сказал Дедок. — Я ж понимаю, закон для всех одинаков. Нешто я против...

Но Иваныч с тем же хмурым и равнодушным видом разворачивал челнок против волны. Дедок замельтешил, попытался поймать ускользящий нос егерского челнока, протягивал Иванычу свою старую «ижевку».

— Да как же так, Иваныч? — говорил он умоляюще. — Ведь ты на службе, твое дело — закон блюсти. Нешто можно браконьерам потакать?

— Да уж сиди себе... — проговорил егерь и с насмешкой добавил: — Браконьер!..

Сильно оттолкнувшись веслом, он сразу проложил между собой и Дедком широкую полосу потемневшей, сизо курящейся воды.

Дедок собрал скользкие чучела, покидал их на дно лодки и медленно тронулся в обратный путь. Когда он подплыл к пристани, совсем стемнело, охотники были заняты приготовлением к ночлегу, и его появление осталось незамеченным.

Следом за другими Дедок направился к темному, грузному и высокому, как гора, стогу сена, шагах в тридцати от берега. Оступившись в мягкую, влажную яму, невидимую за осоклой, потом споткнувшись о торфяной бугор и совсем было увязнув в топкой жижице за бугром, Дедок добрался до стога, обцапанного понизу охотниками, и, широко разведя руки, обхватил колкую, душ-

но и остро пахнувшую боковину стога. Теперь свести поближе руки, с силой откинуться назад, и в руках у тебя будет охапка величиной с малую копенку. Дедок посилился, просунул руки сперва по локти, затем по плечи, так что в нос и в бороду полезли полые, колючие ости, и рванулся назад. Сено отозвалось на его движения слабым, таинственным шорохом и вдруг дернуло Дедка на себя, лицом в колючую сушь. Он снова попытался оторваться от стога, и снова стог оказался сильнее и притянул его к себе. Дедок высвободил руки, отдышался и стал помаленьку нащипывать сенца. «Ну, вот и хватит», — сказал себе Дедок, хорошо зная, что сена этого достанет едва под зад подложить и спать будет жестко и холодно.

На берегу было темно, с безлунного неба в мутной наволочи кружащих, реющих, легких, как дым, туч едва проникал подслеповатый свет чуть приметных звезд, но когда Дедок шагнул в челнок, ему показалось, будто он из дня вошел в ночь — такая тут, под уступом берега, царила темень. Действуя на ощупь, он сдвинул с головы мешок с чучелами, устлал дно челнока тонким слоем сена и неловко, мешая самому себе негибким, окостеневшим телом, улегся навзничь в узком пространстве.

Охотники не спали, слышался тихий разговор, незлобивая ругань, смех. Словно небывалые красные светляки, тлели огоньки папирос. Дедок лежал, чувствуя, что и здесь ему не уснуть, как не спалось на печи.

— Дедок, а Дедок!.. — услышал он голос Колечки. — Какая завтра будет погода? Ты, говорят, живой барометр.

Обрадованный, что в нем оказалась надобность, Дедок прислушался к ногам, гудевшим, как телеграфные столбы, когда приложишь к ним ухо, ощущал скользко-гладкий, будто обмыленный, борг челнока и поглядел на высокое, мутное небо с почти погасшими звездами.

— Пасмурно, с ветерком, после развиднеется.

— Ну, это и я так могу! — засмеялся Колечка, смех его замер в темноте.

Затем очень громко Анатолий Иванович спросил:

— Дедок, разбудишь утром?

— Разбужу, милый, разбужу...

Ночь прошла ни быстро, ни медленно, как проходили все его бессонные ночи. Пожалуй, она показалась Дедку даже короче, чем ночь на печке. Менялось небо, то

задергиваясь глухой чернотой, то выбрасывая пучки звезд, что-то булькало и плескалось в воде — не то шука, не то ондатра, — то вдруг начало накрапывать, но поднялся ветер и смел в сторону так и не разошедшийся дождик. Разная жизнь шла в темноте, и Дедок чувствовал свою скудеющую жизнь, свое дыхание рядом с дыханием мира, и его удивило, почему в предутреннюю, самую темную пору, когда ночь словно расходует до конца весь запас тьмы, перед тем как начать отступление, на борт челнока, такой же черный, как ночь, и все же видимый слабым мерцающим контуром, присел его погибший сын. Дедок долго смотрел на него, затем спросил одними губами.

— Зачем ты тут?..

Сын не отвечал, молча и упрямо маячил он перед глазами отца, словно хотел напомнить о чем-то, но Дедок не хотел его понимать, сейчас он был живой с живыми и отвергал то, что нес с собой этот пришелец. Сын исчез, когда в темноте обрисовались деревья, стог сена и верхушки шеста.

Ветра не было, но казалось, весь воздух мелко дрожит в студеном ознобе; по краинам берега молочно засветилась тонюсенькая корочка льда, недвижная вода у бортов челнока была подернута игольчатой пленкой.

— Подъем, братцы!.. — слабым голосом крикнул Дедок.

Как ни тих был его дрожащий голос, он вспугнул чуткий сон охотников. Над бортом ближайшего челнока возникла всклокоченная голова Василия; за ним поднялся и тут же стал скручивать папироску Анатолий Иванович; вскочил, ошалело поводя косыми глазами, Валька.

Дедок опустил весло в воду — разверзлась узкая черная щель, челнок отошел от берега.

Утро наступило без зари, тучи заволакивали небо. Свет не изливался с востока, а равномерно и тускло творился всем простором. Работа веслом не разогрела Дедка, и когда он вынул из корзинки подсадную, она забилась в его окоченевших руках. Дедок испугался, как бы скинула она ногавку и не улетела к своим диким родичам. Жесткие крылья подсадной били Дедка по лицу, по глазам, а он оглаживал ей спинку, гибкую шейку и тихо посмеивался, чтобы не признаться в своей слабости перед этим жалким бунтом. Наконец ему удалось укрепить манжетку на ее лапке, он с облегчением разжал

руки. Подсадная упала на воду, рванулась вперед и ввысь, но грузило, стремительно и бесшумно уйдя на дно, привязало ее к месту. Она закричала высоким и резким голосом раз-другой и, успокоившись, зарыла клюв в грудные перья.

И снова Дедок в шалаше. Покачивались чучела, медленно поворачиваясь вокруг своей оси; шелестели метелки камышей, тонко и сухо погуживали хлыстики ситы; влагой подернулся невидящий взгляд Дедка — он спал с открытыми глазами, сморенный усталостью, убаюканный однообразной песней озера. Он не слышал пальбы охотников, шума крыльев налетающих и пролетающих стай, короткого плеска подсаживающихся к его утке и к чучелам крикв, шилохвостей, чирков. Когда он проснулся, солнце высоко стояло на небе, очистившемся от туч, и вода рябисто сверкала, словно чьи-то незримые пальцы без устали пересыпали пригоршни золотых монет.

«Похоже, я маленько вздремнул, — сказал себе Дедок, отгоняя страшную мысль, что проспал лучший охотничий час. — Ну да ничего, без добычи не останусь...»

Смотреть на воду, в сверкающем, утомительном блеске которой однообразно и мертво покачивались чучела, вскоре не стало сил. Дедок отвел натужные глаза и увидел неподалеку от себя, в сите, словно бы намыв грязи, а на нем холмик, или колпачок из всякого озерного мусора. Это был домик ондатры, загодя утепляемый ею к зиме. Дедок перевидел их сотни на своем веку, но сейчас он с новым интересом пригляделся к нехитрому строению.

На глазах Дедка столько раз обновлялась умершая жизнь природы, что он никогда не думал о смерти как о конце. Чувство: я исчезну без следа, меня не будет — было чуждо его душе. Он не то чтобы верил, а допускал, что умерший человек возрождается в каком-либо животном, а то, в свою очередь, в более мелкой твари, и так до тех пор, пока дело не сведется к незримо мелкому существу, которое уже останется навсегда. Он и сам не мог бы сказать, откуда взялась у него такая странная мысль, но она нравилась ему, казалась убедительной, и он не хотел с ней расставаться. Но это вовсе не примирило его с тем, что называют смертью. Человеческое обличье — самая лучшая, самая достойная пора этой бессмертной жизни. Дальше все будет хуже, мельче, ничтожней, хотя, наверное, каждый вид существования не лишен своих радостен. Но сейчас, чувствуя, как износил

он свой человеческий образ, Дедок ничего не имел против того, чтобы заново зажить в шкуре молодой, крепкой ондатры. Дедок больше всего в жизни ценил жилье, дом, кров. Он родился в избе, похожей на старый лапоть, с созревшей, скошенной на один бок соломенной крышей и земляным полом. В этой избе он рос и вырос, а когда отец выделил его после женитьбы, Дедок построил себе домишко получше, с деревянным полом и большим окном, хотя опять же под соломой. Дальше, работая бригадиром колхозных плотников, он еще трижды ставил себе новый дом, пока не поставил нынешний, добротный, под железом.

И ондатра была строителем, она не довольствовалась какой-нибудь норой или берлогкой. Из жалкого строительного материала, доставляемого озером, из щепочек, сухих камышинок, ситы, веточек и листьев она строила себе настоящий домик с крышей. Дедок вспомнил, что у Салтного, где постоянно останавливаются приезжие из города охотники, можно найти не только хорошие щепки, но и старые консервные банки и всякий другой прочный материал. «Не забыть бы...» — наказал он себе, путаясь в мыслях и думая о том времени, когда станет ондатрой.

Но пока еще он человек, охотник, в руках у него ружье, и он должен убить из этого ружья, убить во что бы то ни стало, потому что если не убьет, значит, ему уже нет никакой цены среди людей. Дедок стал вновь смотреть на воду, преодолевая резь в глазах. Между ним и чучелом была сита. Гибкие травинки подрагивали, колебались и своим вибрирующим движением двоили чучела. Приходилось все время одергивать себя, чтобы не принять двойник чучела за живую утку. Но в какой-то миг толчок крови в сердце подсказал Дедку, что теперь это не обман, к чучелу действительно подсел чирок. Он поднял ружье и старательно прицелился. Не рискуя бить в голову, взял чирка под низ, словно посадил его на ствол ружья. Чирок терпеливо ждал, когда старый, то и дело заливающийся слезой глаз поймает его в сердцевину зрачка. Жесткий толчок выстрела больно ударил Дедка в ключицу, едва не сбросив его в воду. Сладкая, дымная вонь пороха вошла в ноздри. И прежде чем Дедок вновь разглядел чирка, он уже знал, что не промазал. Но что это? Вместо того чтобы лечь на воду темной полоской, чирок перевернулся кверху светлым брюшком. Дедок срезал чучело, приняв его за живого чирка. Со стыда и огорчения Дедок сразу ослаб, он отложил ружье, даже не вы-

нув стреляную гильзу, и долго сидел без движения, обхватив голову руками.

Когда же он перезарядил ружье и выброшенный в воду патрон солдатиком поплыл к носу челнока, в стороне от чучела, совсем отдельно, маленький и важный, сел чирок. Дедок вскинул ружье и, почти не целясь, выстрелил. Послушно, чуть оттопырив крыло, чирок лег на воду. Дедок глубоко, всем нутром, вздохнул и взялся за весло.

Легкая волна приподняла чирка и поднесла его к корме, почти в самую руку старика. На своем долгом веку Дедок бил их без счета. Безжалостный и добрый, как всякий настоящий охотник, он никогда не уничтожал живое зря, не льстился на утиных недоростков. Но убивал он столько, сколько мог убить. А сейчас, когда он взял из воды плотненькое, тяжелое тельце чирка, сразу ставшее сухим, потому что капли сбежали с вошаного пера, он испытал к нему непривычное, сложное чувство. Чирок лежал на его ладони, свесив голову и полузакрыв голубоватой пленкой мертвые, не отражающие света глаза; его светлая грудка выгибалась крутым горбиком, а плоская спинка отдавала в ладонь Дедка уходящее тепло. И Дедок почувствовал острую, до слез, нежность и шемящую благодарность маленькому, быстрому, как молния, летуну, отдавшему свою жизнь, чтобы продлилась затихающая жизнь старого охотника.

Пусть перед другими Дедок будет хвастать, как ловко он срезал чирка, про себя-то он знал, что чирок сам прилетел на дробь. Он был сильнее, быстрее, ловчее и разумнее Дедка и добровольно принес себя в жертву. Дедок наклонился и поцеловал чирка в остренькую головку, затем кинул его на дно челнока...

Охотники, не сговариваясь, почти в одно время съехали к пристани. Распуганная утка подалась на чистое, подсадки стали редки, к тому же у большинства охотников иссякли патроны. Анатолий Иванович, Петрак, Иван и Василий вернулись с богатой добычей, но у остальных дело обстояло немногим лучше, чем у Дедка, а Валька Косой и вовсе остался без добычи. Заводя под лоб косые глаза, Валька божился, что его подранки достались Жамову, сидевшему в соседнем шалаше. Откуда-то стало известно, что приехавшие из города милиционеры перестреляли домашних уток Бакуна, приняв их за диких. «На воде домашнего не бывает», — заявили они жене Бакуна, тщетно пытавшейся спасти свою живность.

Дедок слушал разговоры охотников, и странное равнодушные владело им, все стало вдруг чужим, далеким, безразличным...

Привязав челноки и попрятав в траву весла, охотники гуськом двинулись к лесу. Дедок побрел следом. Пропетляв среди кочек и болотных озерков, тропинка взбежала в лесную сушь и стала широкой лесной дорогой. Охотники прибавили шагу, а Дедок поотстал. Затем он увидел, что охотники сдержали шаг, видимо, поджидая его. Он махнул им рукой и свернул с дороги, будто по нужде. Он стоял, привалившись к стволу березы, пока голоса охотников не замерли вдаль, а вокруг остался лишь шорох листьев да нежный постук молодого дятелка. Дедок вышел на дорогу и медленно побрел вперед. В траве ярко краснела крупная, с клюкву, брусника, голубели, будто инеем подернутые, ягоды гонобобеля. Дедку захотелось почувствовать во рту горьковато-сладкий, прохладный вкус раздавленной языком ягоды, он наклонился, но в ушах зашумело, и красноватый туман прихлынул к глазам. Он выпрямился и поспешно заковылял вперед.

Слабость была в шее Дедка, которой хотелось уронить голову; слабость была в плечах, желавших скинуть с себя собственную тяжесть; слабость была в руках — висеть бы им плетьюми и ничего не держать, не поддерживать; слабость была в ногах — подгибались, дрожали колени, подворачивались ступни, ноги не могли больше нести на себе тело Дедка. Он держал всего себя в крестце, в его единственно надежной, окостеневшей прочности.

Дорогу поспешно, но неробко перешел тощий, костлявый, в грязно-желтой шубе заяц. Посмотрел на старого человека и ушел в чашу, в сухотье опавших листьев и зеленъ живых трав. Дедок позавидовал зайцу: хорошо тому на четырех подпорках; любая дрянь — заяц, еж, мышь — опирает себя оземь четырьмя конечностями, а человеку дано лишь две слабые подпорки. Дедку захотелось опуститься на четвереньки. «Нельзя, — приказал он себе, — неси до конца свою человеческую муку». От слабости, от соблазна лечь и не двигаться у него помутилось в голове. Он и помнил и не помнил, где он и куда бредет, то видел, то не видел обступивший его со всех сторон лес и дроздов, перелетавших с дерева на дерево, будто кто-то швырял пригоршни дрови.

Вдруг словно разорвалась мутно-зеленая ткань, лес распахнулся опушкой, и впереди возникло что-то огненно-рыжее, как шерсть лисицы. Вначале это огненно-рыжее

было совсем близко, затем отдалилось, освободив место другим многочисленным, более тихим краскам. Краски оконтурились, стали пахотой, картофельным полем, плетнем, крышами изб, тополями, полоской реки, а рыжее — кустом рябины с рано опаленными осенью гроздьями, что росла в его, Дедка, огороде. Впереди была деревня, был его дом, но, увидев эту уже близкую цель, Дедок понял, что ему не дойти. Он не чувствовал ни боли, ни страдания, даже валившая с ног слабость перестала быть чем-то чужим, враждебным, мешающим, стала им самим. И совсем просто и легко стало не быть, достаточно опуститься на землю. «Нельзя, — сказал себе Дедок, — нельзя помирать раньше смерти». То, что мучило его все долгие дни и ночи, проведенные на печке, нашло наконец свой ответ: все, что было, было лишь для того, чтобы он прошел этот последний путь.

Земля то подымалась перед ним вверх — со всеми деревьями, избами, с ярко-рыжим кустом рябины, с синей полоской реки, — то стремительно ухала вниз, кружа, дурманя голову, земля укачивала его, как в детстве укачивала зыбка, а Дедок все шел и шел к своей недостижимой цели.

НОВЫЙ ДОМ



С тем безошибочным чутьем, какое дает близкое общение с природой, Анатолий Иванович угадывал, что зима в этом году будет ранняя. И не в том дело, что сейчас, в первые дни сентября, пожелтели березы и мрамористым разводом тронулись листья кленов, что дрозды оклеивали послащавшие, пунцовые от спелости гроздь рябины, что утренник уже солил и жестянил траву, задерживал хрусткой корочкой лунки от коровьих копыт на болоте и вымораживал их досуха. Бывало и прежде, что деревья рано желтели и даже облетали, что дрозды уже в августе догола обирали рябинник, случались и ранние заморозки, когда на зорях пристывали к берегам охотничьи челноки; ничего не значил и преждевременный прилет северной дичи — чернети и гоголей. Так бывало, и все же долго еще теплилась тихая жизнь в природе, вольно играла мглисто-синяя вода озера, тучами темнели на чистой воде утиные стаи, и до самых ноябрьских праздников длилась охота.

А сейчас Анатолий Иванович твердо знал, что еще до исхода сентября ударят морозы, улетят в теплые края утки и надолго уснет озеро Великое. Не осенним, промозгло-влажным холодом дышали рассветы, а сухим, жест-



ким, с морозным привкусом антоновского яблока; не осенний, мутно-желтый, в низком волглom небе глядел месяц, а мертвенно-бледный, чистый, в льдисто-голубом ореоле, в бесконечной выси; и земля была твердо-гулкой, будто ее сковало уже изнутри.

Анатолий Иванович не любил зиму. Ему было трудно зимой: по сугробам на одной ноге далеко не ускачешь — костыли уходили в снег. Потому и охотиться зимой он не мог. Правда, до реки он кое-как добирался и ловил сетью рыбу подо льдом, но делал это по нужде, а не по душевному влечению. Зимой ему было одиноко и скучно. Здоровые мужики уходили на сторону плотничать и столлярничать, а он оставался с женщинами и стариками, печально ощущая свою слабость.

Все, что подспудно творится в природе, что таится за обманчивой видимостью, прежде чем стать явью, обнаруживает себя близ воды. Придя на Великое, Анатолий Иванович еще крепче уверился, что, едва успевшая завестись, осень готова уступить место зиме. Слабый, очень студеный северный ветер почти не тревожил воду, лишь изредка по тяжелой, тускло-свнцовой глади пробегала короткая рябь, будто озеро поеживалось. Тишина такая, что слышно, как переругиваются рыбаки в далекой Прудковской заводи. Камыши и сита, чуть наклонившись, окоченели — ни шороха, ни движения; недвижны и толстые серые с белым подбоем тучи, обложившие небо. Каждое время года творит свою работу, но сейчас осень отдает зиме травы еще зелеными, деревья — необлетевшими, озеро — не вспухшим от дождей.

Раз так, Анатолий Иванович решил остаться на озере, пока не кончатся патроны. Дичи было немного. Чирки-трескунки уже улетели на юг, криквы стаями держались на чистой воде, и к ним было не подступиться. Налетели с севера связы и, не задержавшись, потянули дальше. Изредка подсаживались гоголи, красноголовые нырки-шушпаны, да на вечерке в углу Кобуцкой заводи, у самого берега, удавалось сбить влет чирка-свистунка.

Ночевал Анатолий Иванович в лодке под береговым бугром, увенчанным двумя вязами, далеко над водой простершими свои ветви. На всем Великом не было лучшего места для ночевки: затишек, образуемый берегом и деревьями, обычно всю ночь сохранял тепло, отдаваемое землей, и Анатолию Ивановичу спалось тут едва ли не лучше, чем дома. Но сейчас и в затишке было нестерпимо холодно. Ветви вяза легко сдерживали порывистый ве-

тер, но были бессильны перед нынешним сивером, который не дул даже, а как-то студено натягивал воздух. И не было тепла от земли, и на рассвете вода подергивалась игольчатым салом, а у береговой кромки — ледком; мохнатый иней покрывал листья, кору и ветви вязов, лодку, ватный костюм и сапог Анатолия Ивановича, и когда он вскакивал на раньи в хрустящей, негнушейся одежде, ему казалось, что нутро его тоже выхолодило инеем. Одеревеневшими руками он подтягивал к себе ружье — ствол был совсем белым и светился в сумраке, — затем тяжело отталкивался веслом от берега. Игольчатый лед шуршал и чуть позванивал, лодка врезалась в камыши, туго клоня их к воде, и за кормой черно вспухала чистая вода. Порой, уже в некотором отдалении от берега, из-под самого носа лодки с оглушительным шумом подымалась кряква, неправдоподобно громадная и медлительная, и Анатолий Иванович всегда успевал выстрелить, заранее зная, что промахнется, потому что не слушались руки.

Сидя в шалаше на утренней зорьке, он все время тихонько трясся от холода. Вода вокруг шалаша постепенно светлела, всполошенный крик подсадной оповещал его о полете или посадке уток, он приподымал ружье и стрелял, чаще промахиваясь, неверной от дрожи рукой, иной раз попадал, выезжал за добычей и вновь возвращался в шалаш. Но ни разу у него не мелькнуло: к чему эта мука, не лучше ли вернуться домой, к сухому теплу печи? Как бы худо ни приходилось ему, все равно не было на свете ничего лучше этой охоты, и она должна была скоро кончиться, и потому надо взять все, что можно.

Согревался Анатолий Иванович лишь к полудню, и тогда объезжал густо заросшие заводи и, случалось, подымал уток, хотя теперь они не подпускали его ближе чем на сорок-пятьдесят метров; он бил без промаха, потому что руки его становились теплыми и живыми.

За все дни он никого не встретил на озере: видать, мужики, как и всякую осень, уже собирались из деревни в отход.

На пятый день под вечер от одиночества и сладкой печали Анатолий Иванович вдруг начал сочинять стихи. Он произносил их вслух, удивляясь и странному складу, и тому, что в конце строк слова так легко согласуются.

Пролетела утиная стая,
И грустно мне стало.
Отражаются утки в озере.

Скоро зима, конец осени.
Все уехали, дела мои плохи.
Кому нужен инвалид-плотник?

Если бы он раньше занялся стихами, то, возможно, стал бы поэтом, как его земляк Есенин. А теперь уже поздно учиться — не та память. Он думал о том, что, верно, многие люди живут, не ведая своей настоящей судьбы. И тут, уже не впервые за последнее время, вспомнил и задумался о покойном Дедке и его доме.

Самый старый человек в деревне, Дедок построил свой дом перед смертью. Вернее сказать, он построил его после первой своей смерти, когда его, без дыхания, с загложившим сердцем, принесли с охоты. Он был тяжелый и холодный, как покойник, и зеркальце, поднесенное к его губам, не запотевало. Вернул Дедка к жизни гостивший в ту пору в Подсвятые у своих родных врач из Москвы. Он что-то впрыснул Дедку в кровь, и тот задышал, задвигался и попросил пить. Прожил Дедок после того почти целый год, и этой второй жизни как раз хватило ему, чтобы перестроить старый свой дом. На улице он появлялся редко, все части сработал в сених, там же и покрасил их, после чего нанятые им в Заречье плотники перекрыли крышу, навесили ставни, прибили карниз, наличники, конек. И встал посреди Подсвятия, будто из воздуха рожденный, как в старинных преданиях, сказочный терем, расцвеченный всеми цветами радуги, с причудливой резьбой на карнизе, на ставнях, на коньке, изображавшей птиц, зверей, рыб, кленовые, дубовые, березовые листья, и листья кувшинок, и травы-лещуги, и сосновые ветви с шишками. Но все это не в точности, а в подобии, требующем угадки. По первому взгляду вроде и не распознаешь, что за утки и рыбы, а потом видишь: утки — матерые, их постав и размах крыл, когда, испугнутые выстрелами, козыряют они с берега на берег; рыбы, хоть размером с мелкого золотого карася, — могучие, литые сазаны, что блаженно тяжелят сеть под удачливую руку в Дуняшкиной заводи; а токующего глухаря на коньке, хоть и он был умален против живого, не спутаешь с тетеревом: глухариная в нем любовная ярость...

В деревне много дивились тому, что Дедок, как никто знавший всех местных птиц, рыб, зверей, деревья и травы, вырезал их не вовсе похожими. Одни утверждали, что Дедку не хватило умения, но другие не соглашались с этим. Подсвятые охотники, рассуждали они, сами делали для себя деревянные чучела, и матерка у них бы-

ла вылитой матеркой, чирок — чирком, гоголь — гоголем. Эти подделки привлекали уток на пролете, значит, сходство у них полное, но зато красоты никакой. А вот Дедкова резьба манила и радовала глаз. Анатолий Иванович мог бы сказать: у Дедковых резных уток, рыб, зверей есть «выражение», и у всякой живой твари есть, а у чучел выражения нету, только схожесть. Но он не любил вступать в споры. Впрочем, и тогда и сейчас его больше интересовало другое: зачем взвалил на себя Дедок в последние, считанные дни эту трудную, тонкую работу? Ведь знал, что ему не жить в этом доме, знал, что и старуха уедет к одному из сыновей, давно звавших к себе стариков. Так и вышло. Сразу после смерти Дедка старуха подалась на далекий Байкал, к сыну, директору рыбного завода, а дом согласно воле покойного откатила безвозмездно колхозу. Значит, не было у Дедка корысти. А может, он, так много возившийся на своем веку с деревом, обнаружил вдруг, что способен не только тесать бревна, лущить дранку, сколачивать лавки, табуреты, столы, выдалбливать челноки, но и делать тонкую, нежную работу по своей фантазии, и вот, торопясь в обгон смерти, сотворил всю эту запоздалую красоту вроде памятника себе самому.

А зачем человеку нужно, чтобы после его смерти о нем помнили люди? Для чего, к примеру, ему, Анатолию Ивановичу, чтобы его после смерти поминали соседи или тот же районный егерь Петр Иванович? Да и что поминать-то: ну, скакал на одной ноге, ботал рыбу, бил чирков и крякв, экая невидаль! Ну а если бы и впрямь сочинял стихи, хотелось бы ему, чтобы люди их знали и помнили, когда его не станет? «Хотелось бы!» — ответил себе Анатолии Иванович с некоторым удивлением. Значит, бывает в человеке что-то такое, что хочется сохранить после себя.

Занятый этими мыслями, он и не заметил, как вокруг потемнело. Сумерки наступили сразу, без заката, заданного глухими тучами.

— Ка-а! — раздельно, тихо и отчетливо проговорил в просторе будто человеческий голос. Не выкрикнул, не пропел, а четко проговорил.

— Ка-а! — повторилось над самой головой Анатолия Ивановича и так ясно, словно бы и рядом, и вместе потегляно, щемяще далеко.

Он вскинул глаза и сразу увидел почти недвижную чуть темнее неба выпь. Высота подчеркивала расслаблен-

ную медлительность ее полета. Весной выпь, ликуя, выкликает свое имя: «Выпь!..» Летом она ревет, как корова; глубокой осенью мерно, с тоскливой настойчивостью произносит: «Ка-а!.. Ка-а!» Значит, и выпь настроилась на лад глубокой осени.

Анатолий Иванович забормотал, складывая стихи:

Подо мною темная глыба,
Надо мною пролетает выпь.
Все про одно она говорит,
И мне понятно, что говорит.
Так и сижу один в челноке,
И птица-выпь кричит вдалеке...

— Ка-а!.. Ка-а!.. — говорила выпь, словно убеждала Анатолия Ивановича, что и там, в вышине, тоже несладко — холодно, бесприютно, сиро.

От ее сиротливого голоса все сжималось внутри, будто Анатолий Иванович видел себя глазами выпи: маленькая черная точка на огромном сумрачном просторе озера. Как же непрочен человек в могучем мире природы! Вот он тоскует от близости зимы, когда все вокруг заглохнет под снеговым покровом, а для природы это всего лишь короткий сон. Пробудившись, она вновь играючи построит самое себя, и так будет всегда, до скончания века...

«Отчего это такие мысли лезут мне в голову? — спросил себя Анатолий Иванович. — Может, засиделся я тут, отбился от людей?..»

Совсем посмерклось, темнота населилась свиристящими звуками утино го пролета. Чуткое ухо охотника улавливало и тугой просвист одинокой матери ки, вслед за ним следовал смачный шлеп, будто кто ударил по воде веслом, и слитный шорох многих крыл, когда проносилась верхом стая, и особый, туго звенящий звук стрелы, с каким снижается чирок, и мягкий всплеск его посадки в ряску. Вон как поздно пошла утка на вечерний жор! Делать нечего, надо устраиваться на ночевку.

Анатолий Иванович выплыл из тростника и тут увидел на Салтном мысу красную точку. Никак костер? Да, точка увеличивалась порой до рыжеватого пятнышка, затем пятнышко сморщивалось в красную точку. Разводить костры на берегу не разрешалось, и позволить это мог только егерь Петр Иванович. Но егеря слышно издалека: он ездит на моторке. Впрочем, кто бы это ни был, а лучше провести ночь у костра, чем стыть в челноке.

Анатолий Иванович сильно заработал веслом и вскоре въехал в длинный коридор, проложенный сквозь густой

камыш теми, кто развел костер па Салтном. Последние метры лодка шла посуху: так обмелело у мыса. Нос лодки жестко ткнулся в корму чужого челнока. Прихватив ружье и мешочек с хлебом, Анатолий Иванович выбрался на берег, подтянул лодку и с трудом двинулся по мягкому, проминающемуся, мшистому грунту.

У костра действительно оказался егерь Петр Иванович, а с ним незнакомый человек в брезентовом плаще. Петр Иванович помешивал ложкой в котелке над костром, а его спутник открывал консервную банку.

— Хлеб-соль! — сказал Анатолий Иванович.

— Здравствуйте! — отозвался человек в плаще.

Егерь только поднял голову, и маленькие светлые глаза его на красном от пламени лице цепко, будто покусывая, забегали по фигуре Анатолия Ивановича. За всегдашнюю настырную подозрительность недолюбливал его Анатолий Иванович, да, впрочем, и все подсвятыинцы. Егерь, в свою очередь, не жаловал подсвятыинцев. То, что иной раз могло сойти с рук прудковскому нарушителю, никогда не прощалось подсвятыинцу. Правда, никто в округе не был так лют до охоты, как печищане Анатолия Ивановича.

— В Кобуцкой по лосю не ты стрелял? — будто незначай спросил егерь, когда Анатолий Иванович наклонился над костром, чтобы выкатить уголек для прикура.

— В Кобуцкой вовсе стрельбы не было.

— Смотри ж ты!.. — с наигранным удивлением произнес егерь. — А мне сказали...

— Никто вам сказать не мог, — хмуро перебил Анатолий Иванович. — Я тут пятый день, и, кроме меня, никого не было.

— Пятый день! — Егерь всплеснул руками. — Небось всю дичь подчистую выбил!

— Можете проверить!

— Ладно, — отстал егерь. — Садись с нами ухи похлевать.

Обжигаясь, он снял с жерди котелок и поставил на пень. Его спутник от ухи отказался, отдал ложку Анатолию Ивановичу, а сам налег на мясные консервы. Уха была никудышная, из одних щурят, но после долгой сухомятки показалась Анатолию Ивановичу необыкновенно вкусной.

— А где ж ваша моторка? — спросил он егеря.

— Мы на мотоцикле приехали, а челнок в Подсвятые взяли.

— Так вы сейчас из Подсвятья?

— Ага! Товарища вот из города привез, — кивнул егерь на человека в плаще. — Дедков дом смотреть.

— А чего его смотреть? — осторожно спросил Анатолий Иванович. — Нешто он продается?

— Товарищ народным творчеством интересуется. То же в своем роде егерь... по культуре, значит.

Человек в плаще хмыкнул и, лягнув ножом по донцу банки, отправил в рот кусок тушенки в белом жирке.

— Выходит, теперь Подсвятье будет не только хабарщиками славиться! — добавил егерь.

— Подсвятье или Касенино? — впервые нарушил молчание человек в брезентовом плаще. Голос у него был густой и сердитый. — Как вы в самом деле называетесь?

— И так и этак, — ответил Анатолий Иванович.

— Чепуха! Должно быть одно название, то, что на карте.

— А на карте нас нету, — хладнокровно сказал Анатолий Иванович.

Егерь сердито усмехнулся.

— Они, товарищ Пушков, свою деревню столько раз перекрещивали из Касенина в Подсвятье и обратно, что теперь и сами не знают, как по правде.

— Это верно! — подтвердил Анатолий Иванович, чувствуя прилив давешнего вдохновения. — У нас даже частушка сложена:

Жила-была бабушка
На краю Касенина.
Захотелось бабушке
Почитать Есенина.

Он остановился, будто припоминая, затем быстро договорил:

Лишь открыла книжицу —
Милое занятие,
Очутилась бабушка
На краю Подсвятья.

Егерь покосился на Анатолия Ивановича.

— Что-то не слышал я этой частушки! Небось сам придумал?

Обветренное лицо Анатолия Ивановича твердо покраснело:

— Зачем же? Все наши девки поют.

— Ври больше!

Анатолий Иванович досадливо отвернулся. Он и сам не мог понять, отчего ему так стыдно. Частушка сложилась у него только что, и ничего особенного в ней не было, девки, бывает, озорнее поют и нескладней.

— Ну-ка, повторите, — попросил Пушкив.

Он держал в руках записную книжку и карандаш, на пуговице плаща у него сидел зажженный электрический фонарик. Все так же краснея, Анатолий Иванович продиктовал частушку.

— Ваше? — спросил Пушкив, будто не слышал предыдущего разговора.

— Куда ему? — вдруг сказал егерь. — Вы что думаете, у них там одни таланты?

— Бывают такие села, — отозвался Пушкив, пряча в карман записную книжку, — что ни житель — талант!

— Ну а в Подсвятъе один талант — деньгу промышлять! — с горечью сказал егерь.

— Нешто мы так уж плохи? — медленно проговорил Анатолий Иванович.

— Живете не по-людски! Вашу бригаду одни бабы тянут, а мужики по всему свету за хабаром гоняются.

«А тебе-то какая печаль?» — хотел сказать Анатолий Иванович, да смолчал, как-то вдруг и впервые поняв характер егеря. То, что все считали пустой и злобной придирчивостью, имело, видимо, другой смысл. Петр Иванович не просто справлял должность, он ревниво оберегал доверенный ему край, и если держал сердце на подсвятъинцев, то потому лишь, что не нравилась ему их жизнь...

Меж тем Пушкив снова заговорил о доме Дедка.

— А сохранят они дом-то? — с тревогой спросил он егеря.

— Бережи от них не ждите, — отозвался егерь. — Не любят они свой край.

— Так не бывает, чтобы свой край не любить, — сказал Анатолий Иванович.

— Кабы любили, дома бы сидели. Не о тебе речь, ты сидень. А у пошехонцев ваших одно: звонки бубны за горами! Хотите, товарищ Пушкив, дом сохранить — увезите его отсюда!

— Никто этого не позволит, — мрачно сказал Анатолий Иванович. — Дедок свой дом колхозу оставил...

— А скажите, товарищ охотник, — спросил Пушкив, — что он за человек был, Дедок?

— Как что за человек? — удивился Анатолий Иванович. — Савельев Михаил Семенович...

— Странно, ей-богу! — Пушков досадливо поморщился. — У кого ни спросишь, кроме имени, отчества и фамилии, ничего сказать не могут!

— Точно! — злорадно подтвердил егерь, словно видел и в этом какой-то подвзятинский ущерб.

— А что тут скажешь, какой он человек? — немного обиженно начал Анатолий Иванович. — Обыкновенный. До войны был бригадиром колхозных плотников, в войну вроде сторожем. Ну и, конечно, рыбачил, охотился, как все... Правда, гордость в нем большая была, — прибавил Анатолий Иванович и почувствовал вдруг, как свежеет и теплеет его память. — Ни за что не хотел старость свою признавать. У него все дети в люди вышли, звали к себе, а он — нет, ни в какую, хотел до самой смерти от своих рук жить. В тот раз, как он с охоты шел и без сердца упал, мы ему подсобить хотели, видели, что он серый, как пепел. Так нет, нужно ему было непременно самому до дому дойти. И дошел, под самой околицей свалился...

— Ну вот, а вы говорите, Савельев... — добро улыбнулся Пушков.

— И дом свой он уже после того случая перестроил, — радуясь новости чему, сказал Анатолий Иванович. — Никто этого от него не ожидал. Был он плотник как плотник, может, что поаккуратнее других...

— А как вы думаете, для чего понадобилось ему перед смертью хоромы строить? — спросил Пушков.

— Верно, талант в себе почувствовал, — ответил Анатолий Иванович и почему-то смутился.

— Что ж, он мог просто фигурки резать, как вятские мастера...

Анатолий Иванович промолчал, и больше о Дедковом доме не поминали, заговорили про волчью охоту.

О волках Петр Иванович мог говорить бесконечно, война с ними была, как он сам выражался, «главной его страстишкой». Анатолий Иванович вначале слушал, потом ему надоело. Он подгрел к костру палую сухую листву и улегся, положив под голову свой мешочек.

Когда Анатолий Иванович проснулся, егерь и Пушков еще спали. Здесь было теплее, чем под вязами: и одежда не стала на нем ломко-жесткой, и тело осталось послушным и гибким. Он подобрал костыли, мешок и ружье, перешагнул через ноги спящих и бесшумно двинулся к озеру. Береговая кромка белела инеем, нелегко было стол-

кнуть лодку, пристывшую к вязко схваченному морозом дну.

Анатолий Иванович занял шалашик на широком разводье, там, где скрещивались пути пролетов уток. Тьма проредилась настолько, что взгляд широко охватывал озеро с черными островками ситы и острыми клиньями камышей. От вчерашнего разговора осталось ощущение смутное и тревожное, впервые за все эти холодные, одинокие дни его потянуло домой.

Восход помазал желтым края туч на горизонте, и вскоре стало светло, хотя солнце так и не показалось. Но оно было где-то, солнце, потому что верхушки дубов за причалом, там, где начиналась тропка, ведущая в Подсвятье, загорелись золотым; вскоре золотое спустилось и охватило березы, клены, потом молодые низкие березки на опушке и кусты боярышника. И оттого, что в стороне Подсвятья было светло и солнечно, а кругом свинцово-серо, неприятно, еще сильнее захотелось домой.

Анатолий Иванович уже взялся за весло, но тут закричала нутряно, таинственно подсадная, и он увидел метрах в ста на фоне бурой рясы, словно черные кочки, четверку гоголей. Он стал ждать, когда гоголи подплывут на выстрел, и некоторое время казалось, что они и впрямь двинутся к его шалашу, но вот они дружно повернулись боком и взяли курс на чистое. Подсадная старалась вовсю, но гоголи, очень четкие, с выгнутыми шеями, прижатые к груди клювами, плыли ровно, как по нитке, не слушая ее призывов. Анатолий Иванович ударил веслом по борту лодки. Гоголи захлопали крыльями, тяжеловато поднялись, полетели низко над водой и опустились немного дальше, но опять на воду.

И долго, пока он курил, грыз твердую, как камень, горбушку, пил горстью воду и опять курил, они все сидели там, неподвижные, спокойные, будто чучела. Анатолий Иванович задремал вполглаза, а когда проснулся, вокруг было утро; в тусклом, ровном свете серое небо, серая вода, зеленая, влажная, отпотевшая сита, и гоголи, о которых он забыл, сидели все на том же месте...

На причале Анатолий Иванович долго возился с ржавым замком, на который запирали лодочную цепь. Наконец замок щелкнул хряско и туго, будто навсегда. Он не знал, доведется ли еще охотиться в этом году, но, сохраняя за собой эту возможность, попрятал чучела в стог и туда же зарыл весло. Скормив оставшийся хлеб подсадной, он сунул ее в плетушку, битых уток увязал в мешок,

разрядил ружье и двинулся к лесу, далеко вперед выбрасывая ногу, чуть согнутую, чтобы пружинила и не оступалась.

Лес, влажный от стаявшего инея, как от росы, ржавел осиновым и кленовым листом, краснел брусничкой, кис прелью умерших растений, сгнивших, растекшихся грибов. Только мшистые кочки были сухи и свеже зелены. Зеленым было и болото, широкой полосой прорезавшее лес. Нога глубоко уходила в почву, он с усилием освобождал ее, и в лунку следа с чавком выжималась дегтярно-черная вода.

За болотом снова пошел лес. Он рос на бугре, был суше и чище первого, тропка стала сухой и твердой. Большие, жирные дрозды стаями и в одиночку перелетали с дерева на дерево. Стучал невидимый дятел. Козодой, наклонившись с ветки, поглядел на Анатолия Ивановича и полетел по просеке к деревне, будто желая оповестить о возвращении охотника.

Анатолий Иванович уже шел картофельным полем и видел с тыла деревню, вытянувшуюся цепочкой над рекой, и ветряные просверки реки между домами и вдруг изумился чему-то красному, огненно-яркому и неожиданно, что вспыхнуло за рябинником, слева от околицы, скамочным, гигантским петухом.

И странно, он столько думал о доме, построенном Дедком, а сейчас, когда дом заиграл перед ним своим многоцветьем, он удивился, смутился и не сразу признал его. Осень, разбросавшая вокруг дома желтые, багряные пятна, не притушила его красок, дом чудно сочетался с окружающей пестротой, оставаясь в ней самым ярким, броским пятном. А как же хорош будет он зимою, на сверкающе-белом фоне снегов! Да и ранней весной, когда все так черно и блекло, будет он гореть радостным своим разноцветьем. От него вся деревня кажется нарядной и праздничной.

Анатолий Иванович остановился и, будто повторяя одному ему слышимые слова, произнес:

Я-то думал, это заря горит,
А это дом посреди деревни стоит.
Так и сияют прямо в лицо
Окна его и крыльцо.
Мастера нету, а дом все стоит.
Жалко все-таки, что помер старик...

По мере того как Анатолий Иванович приближался к околице, впечатление его менялось. Здесь, вблизи, дом

Дедка не только не красил деревни, напротив, подчеркивал убожество соседних домишек. С глухим неудовольствием заметил Анатолий Иванович, что собственная его изба, казавшаяся ему вполне добротной, вся перекосилась, а крытый двор осел. А Петраковы «хоромы», стоявшие плетень в плетень с усадьбой Дедка! Это не изба даже, а сопревший лапоть. Но и новый дом брата, желтый, смолистый, с не успевшей почернеть крышей, не ахти как выглядел рядом с Дедковым строением. Трудно поверить, что живут в этих домах искусные плотники, торгующие своим умением чуть не по всей Руси. Да что дома — путной скворечни на всю деревню не найдется!.. И невольно подумалось Анатолию Ивановичу, что Дедок возвел свой красивый и ненужный ему дом в укор соседям.

Тяжело пригнувшись, Анатолий Иванович пролез под околицей. Сильный, зрелый, золотисто-бронзовый свет простерся по улице, вспыхнул в окнах: то вырвалось из облаков близ самой земли идущее на закат солнце. И Дедков дом, без того яркий, красный, синий, желтый, голубой, зеленый, засверкал, заблестал, и все, что было изображено на нем: звери, рыбы, птицы, растения, — ожило в стремительном напряжении. Дом, вобравший в себя всю красоту края, выплеснул ее в глаза Анатолия Ивановича, а ставенка чердачного оконца, поведенная слабым вечерним ветром, простонала голосом токующего на крыше глухаря.

Вот бы написать такие стихи, как Дедков дом, чтобы они и после смерти твоей могли встревожить, беспокоить, а глядишь, и подтолкнуть людей на что-то хорошее! И, вверяясь тому вдохновению, которое правило им эти дни, Анатолий Иванович вслух произнес:

Мне понятна старого мастера дума,
Я бы сам хотел... —

и запнулся в поисках рифмы.

Погоня

— Больше не принимаем, — сказал начальник охотхозяйства.

Он стоял на ступеньках недостроенного смолистого крыльца, и его льдисто-голубой взгляд был устремлен вверх собеседника вдаль. «Будто полководец!» — подумал Анатолий Иванович, снизу вверх рассматривая небольшую коренастую фигуру начальника в темном ватном костюме, туго перехваченную широким офицерским ремнем.

— Тогда берите задаром, — сказал Анатолий Иванович и тверже уперся руками в перекладины костылей.

Утки завозились в плетушке, висящей у него через плечо, он похлопал по крышке ладонью, утки успокоились. Бледно-голубой взгляд медленно перевелся на охотника.

— Задаром? — повторил начальник. — В егеря метишь?

Анатолий Иванович покраснел. Он не сомневался, что его, лучшего подсвятынского охотника и бывшего общественного егеря, пригласят работать во вновь созданном охотхозяйстве, и утки тут были ни при чем. Когда озеро Великое объявили заповедником, он очень обрадовался. Несмотря на все усилия подсвятынцев, браконьерство из-



жить до конца не удалось: и по весне, и ранней осенью до открытия охоты погромывали на Великом выстрелы заезжих охотников. Да и прудковские мужики озоровали. Конечно, это не было похоже на разбой послевоенных лет, и все же озеро год от года скудело водоплавающей дичью. И вот наконец Москва вспомнила о Великом и приняла его под свою высокую руку.

На крутом берегу Дуняшкиной заводи стали валить сосны, расчищая место для стройки охотничьего домика, конторы и служб охотхозяйства, по деревьям объявили, что принимаются по высокой цене дворовые утки и гуси. Они происходят от диких отцов, сухи и подбористы, легко скинут лишний жирок и овладеют полетом. Этим птиц и намеревались выпустить на озеро. Уверенный, что его позовут работать егерем в охотхозяйстве, Анатолий Иванович торопился закончить домашние дела — перекрыть тесовую крышу избы, сколотить закуток для боровка, — но, как сейчас выяснилось, опоздал со своими утками. Он, конечно, хотел бы получить за них деньги, но раз нет, так нет, не тащить же их обратно. Однако Буренков иначе истолковал его намерения. И все же не столько подозрение в корыстном расчете смутило Анатолия Ивановича, сколько то, что Буренков, похоже, вовсе не собирался приглашать его на работу. Оттого он и покраснел всем бледноватым, веснушчатым лицом, шей, треугольником груди в распахнутом вороте гимнастерки.

А начальник охотхозяйства лишний раз убедился в своей проницательности. Человек бесталанный, бесстрастный, но жадно преданный вещественным благам жизни, он всегда подозревал людей в корысти и видел в этом свою проницательность. Все прочие человеческие побуждения считал маскировкой и лицемерием. И вот сейчас к мужику, стоящему перед ним, он испытывал безотчетную неприязнь. Если бы Буренков сделал над собой усилие и переревел в слова смутный образ своей неприязни, то получилось бы примерно следующее: я слышал о тебе как о самом умелом охотнике и лучшем здешнем егере, уже одно это мне не нравится — не люблю лучших. Ты потерял на войне ногу, это большое несчастье, оно резко ограничивает возможности человека, но ты с этим не посчитался и даже переплюнул тех, у кого две ноги, значит, ты из этих... беспокойных, которым всегда надо выше головы прыгнуть. Не люблю... А может, молва тебя из жалости так разукрасила? К убогим и калечным людям всегда снисходительны. Эта последняя мыслишка и стала рабо-

чей предпосылкой Буренкова в отношении к Анатолию Ивановичу.

— По плотницкому можешь? — спросил он.

— Все подсвятыинцы плотники, — отозвался Анатолий Иванович.

— Я тебя спрашиваю, — сказал Буренков, глядя на сильные руки охотника, сжимающие перекладыны костылей.

— Ну могу! — Анатолий Иванович убрал руки с перекладин и теперь опирался на костыли под мышками.

— А ты не нукай! Ты в армии командиру тоже нукал?

— Могу, товарищ начальник! — по-дурацки гаркнул Анатолий Иванович, и его верхняя губа коротко, насмешливо дернулась.

Буренков слышал слова, а не интонацию.

— Ступай к Васильеву, пусть зачислят в строительную бригаду. Скажи, я велел.

— А как же с утками?

Буренков не ответил, он повернулся и, заложив руку за борт ватника, зашагал по ступенькам крыльца в пустой сруб дома, в никуда...

Этот разговор произошел в апреле, а в середине августа, к началу летне-осенней охоты, все основные работы были закончены. На крутом берегу над Дуняшкиной заводью стал целый охотничий поселок: дом для приезжих с двумя застекленными террасами и кухней, контора, общежитие для егерей и служащих базы, инвентарный сарай, нарядная дачка Буренкова и целый куст уборных, похожих на скворечники. Деревянная лестница сбегала по круче к лодочной пристани, где грудилось десятка полтора моторных и весельных лодок. На озере, в островках ситы были сооружены шалашики из березовых ветвей, уложены круглые настилы со скамеечкой; все озеро размечено вешками — тонкими стволами берез: они указывали лодкам свободные от водорослей проходы; вешки отмечали границы запретной для охоты зоны — заказника.

Буренков нагнул совсем немного: он отказался от местных долбленых челноков и выписал килевые однопарные лодки. Эти лодки были нарядны и вместительны, но неудобны по местным условиям: цеплялись за илистое дно, а весла путались в рясе. И в егеря набрал, за редким исключением, всякий сброд: бездельников, погнавшихся за легким хлебом. Охота не была для них душев-

ным делом, их привлекали чаевые и возможность день-деньской стучать шарами на бильярде, установленном на террасе гостиницы.

Анатолий Иванович проработал весну и лето в строительной бригаде, помогал ставить шалашики и вешки на озере, набивал чучела для гостининой охотничьего домика. Чучела были красивые: селезни в весеннем перье, глухари и тетерева в токующем образе, выпь, цапля, разные куликовые. Но в егеря Буренков так и не взял Анатолия Ивановича. Своему заместителю, бывшему клепиковскому егерю, который пытался замолвить слово за Анатолия Ивановича, сказал коротко:

— Не справится.

— А вы попробуйте его.

— И пробовать нечего. Одноногий егеря — курам на смех. Москва засмеет!

Похоже, он сейчас сам этому верил, от прежнего сложного переплетения неприязненных чувств к Анатолию Ивановичу он сохранил лишь одно — уверенность о его непригодности.

В середине августа открылась охота. Каждую субботу из Москвы прибывал автобус, грузовики, легковые машины. Приезжие быстро переодевались в ватные костюмы, прорезиненные плащи, комбинезоны, рассаживались по моторным лодкам и уезжали с егерями на Великое. Там их рассаживали по номерам, после чего егеря возвращались за новыми партиями. Часть охотников оставалась в Дуняшкиной заводи, тут тоже была неплохая охота, особенно на пролет.

Командовал распределением сам Буренков. Это был его час. Стоя на ступеньках лестницы, он сверху вниз кричал повелительным голосом: «В Прудковскую!», «На Салтный!», «К Березовому!» — и, похоже, воображал себя полководцем во время боя. Его распоряжения казались Анатолию Ивановичу бессмысленными. Буренков не знал озера, не знал утиных обычаев, не разбирался в охотниках: кому что подходит. Новичка он загонял в Дуняшкину заводь, где почти не бывало подсадок, а матерому стрелку отводил место у Березового коря, где подсадок много, а на пролет птицу не возьмешь: деревья и кусты мешают обзору. Охотникам-пижонам, которым лишь бы потратить порох, давал лучшие места, а настоящим мастерам — худшие...

Однажды Анатолий Иванович попытался вмешаться.
— А ты чего тут делаешь? — спросил Буренков, ве-

ки его были сонно опущены, он даже не смотрел на егеря. — Деньги под расчет получил?

— Получил.

— Ну и катись помалу к жинке на печь.

Но Анатолий Иванович, человек гордый, знающий себе цену, и после этого не ушел. С озером, с охотой была связана вся его жизнь. С девятилетнего возраста не расставался он с ружьем, лишь в пору войны сменил его на винтовку. Тяжело раненный в первом же бою, он после госпиталя вернулся в Подсвятые и, еще мучительно чувствуя ампутированную ногу как живую и болящую, первым делом почистил старое ружье и на полмесяца закатился на Великое. Без охоты не было ему жизни. Ему и спалось хорошо только в челноке. Все важные и серьезные мысли приходили к нему на озере, здесь он даже стихи сочинял. Как у всякого настоящего охотника, у него не было жадности к дичи, он брал ее только на крыле, никогда не позволял охотничьему азарту взять верх над внутренним законом. Его охота была словно частью того естественного круговорота жизни природы, согласно которому известное количество животных, птиц и рыб ежегодно подвергается уничтожению ради равновесия природных сил.

С годами егерское дело увлекло его сильнее собственной охоты, его радовало, когда новичок добивался первых успехов; когда самоуверенные владельцы «зауэров» и штучных «тулок» поначалу обнаруживали неумелость, а затем, став послушными его учениками, приобретали прочный навык; когда настоящие, редкие мастера, попав на выбранное им место, набивали ягдташи и молчаливой, доброй улыбкой отмечали его заслугу в своей удаче. Он любил всех этих людей и с увлечением на них работал. Многие из них стали постоянными его клиентами, и не было случая, чтобы кто-нибудь променял одноногого егеря на любого другого.

И вот объявился полновластным хозяином на Великом человек, который не пожелал даже сделать ему проверки, забраковал Анатолия Ивановича, отказал в том, что было единственной страстью его души.

Плотницкой работы на базе почти не стало, но Анатолий Иванович каждую пятницу являлся сюда, как на службу, и оставался до вторника, пока не разъезжались последние охотники. Он все надеялся, что какая-нибудь случайность заставит Буренкова прибегнуть к его услугам, и приезжал на базу в полном сборе: с двумя подсад-

ными в плетушке, с чучелами в мешке, с термосом, до пробки полным крепкого сладкого чая, с набитым патрон-ташем и электрическим фонариком.

Буренков зычно выкликал имена егерей и названия маршрутов. Анатолий Иванович стоял у пристани, легко опираясь на костыли, прямой, с чуть прогнутой спиной, в полном снаряжении, и ждал чуда. Просить не умел, да и чего добьешься просьбами? Пристань пустела, замолкал вдали шум лодочных моторов, и Буренков мимо Анатолия Ивановича шел наверх, к базе, пить чай из самовара...

Однажды наехало особенно много охотников, егеря не успевали развозить их по шалашам. Близился рассвет, и на пристани поднялся ропот: люди боялись пропустить золотой охотничий час. Две-три весельные лодки покачивались у причала, но некого было сажать на весла. Анатолий Иванович взмахнул костылями и легко перенес свое тело к Буренкову.

— Я поеду.

Скажи он это просительно, услужливо, и Буренков сдался бы. Но твердо-спокойный, утверждающий тон егеря раздражил начальника охотхозяйства.

— Да куда ты годен? С тобой только неприятности наживешь!

— Сколько ездил, сроду никто не обижался.

— А если браконьер? — Буренков вступил в спор с егерем, чтобы не слышать, как поносят его самого на пристани.

— Цевье отберу.

— Так ты его и догнал!

— Отчего ж не догнать?

— На воде — одно, а на берегу? На костылях за ним потрюхаешь?

— Да откуда тут браконьеру взяться? Научен народ...

— Ладно болтать...

И все же в это утро удача улыбнулась Анатолию Ивановичу.

Только Буренков улизнул от охотников и уселся за самовар в гостиной, украшенной чучелами, как на вездеходе прикатали два генерала. Уже одетые для охоты, в высоких резиновых сапогах и плащах с капюшонами, натянутыми поверх генеральских фуражек, они и слушать не хотели Буренкова.

— За свою бесхозяйственность расплачивайся сам. А чтоб был егерь сию же минуту!

Меж двух тонких сосен у лестницы маячила одинокая

фигура Анатолия Ивановича с мешком за плечами и плетушкой на боку.

— Егерь имеется, — неуверенно сказал Буренков. — Только он... того...

— Пьян, что ли?

— Да нет, инвалид войны он. Без ноги...

— Была бы голова на плечах.

Буренков с несвойственной ему поспешностью сбежал с крыльца и окликнул Анатолия Ивановича.

— Повезешь генералов, — сказал он значительно и мрачно. — Только смотри у меня, чтоб все было в ажуре!

— А чего смотреть-то? Нешто генералы не люди? — пожал плечами Анатолий Иванович, скрывая свою радость.

Подошли генералы, поздоровались.

— Места хорошие знаешь?

— Найдем. Вы как больше любите — по сидячей или влет?

— Он — влет, — сказал генерал, что постарше и пониже ростом, — а у меня зрение слабовато.

— Вези товарищей к Березовому корю, — умным, сведущим голосом подсказал Буренков.

— Чего там делать-то, на Березовом?.. Лучше на Малые Пожаньки, — не глядя на Буренкова, отозвался Анатолий Иванович. — Пошли!..

Гуськом двинулись по лестнице к причалу. Анатолий Иванович прошел мимо красивых веселых лодок к своему невзрачному челноку и отомкнул цепь.

— На тех бы лодочках вроде веселее? — заметил генерал помоложе.

— По нашим местам челнок проходимей, — сказал Анатолий Иванович.

Слегка подпрыгивая на одной ноге, он уложил в челнок плетушку, мешок, ружье и костыли.

— Тебя как звать? — спросил генерал постарше.

— Анатолий Иванович. А тебя?

— Сергей Петрович, а его Николай Макарыч.

Анатолий Иванович уперся руками о борта, скакнул в челнок и перебрался на корму. Генералы, шурша плащами, устроились на узких дощечках, положенных поперек челнока. Упираясь веслом в твердое дно, Анатолий Иванович повел челнок по мелководью вдоль берега.

— Ногу на войне потерял? — спросил генерал Сергей Петрович.

— Ага.

— Награды есть?

— Солдатская Слава третьей степени.

— Понятно, — сказал генерал успокоенно, видимо, считая орден солдатской Славы достаточным возмещением за потерянную ногу.

— Что за название такое «Березовый корь»? — спросил генерал Николай Макарыч.

Анатолий Иванович улыбнулся — он любил, когда его расспрашивали о мещерских особенностях.

— Законное слово. Березовый корь. Липаный корь. Исаев корь. Корь, еще корье говорят — низкорослый, кривой лесок. Почвы тут, на островках, такие, что настоящий лес не растет, одни кривулины.

— А «пожанька»?..

— Островок луговой, где в любой год косят. А вот «кулички» — это островки, где можно косить лишь в сухой год, в мокрый — непролазная топь.

— И там кулики водятся?

— Коли будет время, мы за Березовый съездим, там как раз «куличок», полно чернышей, чибисов, бекасов на выстреле. Только доставать их оттуда трудно — ни пройти ни проехать.

— В каждом месте свои речения!

— Это верно! — воодушевился Анатолий Иванович. — У нас все на свой лад. Лесок на речной косе — «косица», гонобобель — «дурнава», ежевика — «чумбарика», чирок — «чиликан», а красноголовый нырок — вовсе «шущпан»!

— Это же одежда такая? — неуверенно сказал генерал Сергей Петрович.

— У всех одежды, а у нас — нырок!

— Ишь, хитрые! — засмеялся молодой генерал.

Он достал из кармана серебряный портсигар, шелкнул крышкой и, просунувшись вперед, протянул Анатолию Ивановичу. Тот осторожно взял папиросу своими обветренными руками, с толстым наростом на первом суставе среднего пальца.

— Это что у вас? — спросил генерал Николай Макарыч, видать, человек приметливый и любознательный.

— От скобы, при отдаче набило.

Защищая ладонью огонек, генерал дал ему прикурить от плоской блестящей зажигалки. Анатолий Иванович с наслаждением затянулся. Наконец-то он был в своей стихии: озеро, челнок, пересекающий тихую, темную воду, хороший разговор, уважительная повадка больших, незна-

комых людей, вверивших ему свою удачу. До сегодняшнего дня они слыхом не слыхали ни о каком Анатолии Ивановиче, а теперь, может, и в Москве о нем вспомнят, а коли еще приедут сюда, так непременно попросят, чтобы он их вез на охоту.

Твердое дно кончилось, весло глубоко погружалось в мягкий, податливый ил. Анатолий Иванович сполоснул лопасть весла и стал действовать сильными, короткими гребками. Он видел, что молодой генерал внимательно наблюдает за странным поведением весла в воде. Сделав прямой гребок, весло заворачивало под днище челнока и словно бы притормаживало. Видимо, генерал понял секрет управления кормовкой, где весло служит одновременно и рулем, с каждым гребком выравнивая нос челнока. Он удовлетворенно кивнул головой и ни о чем не спросил.

Анатолий Иванович вел челнок из Дунашкиной заводи на простор Великого. Он сидел лицом к восходу и видел, как большое малиновое без лучей солнце пыталось вырваться из синеватой наволочи, плотно накрывшей небо. Когда оно оказалось за краем пелены, все под ним разом заблестало: потная седая хвоя, зеркало заводи, капельки росы на камышах и сите. И каждый цвет там налился, загорелся: зеленым-зелена трава, желтым-желты свежие смолистые бревна охотничьего домика, красным-красна рябина, петушью яркость набрали лилово-оранжевые стволы сосен. Но дальше, по береговой окружности, краски еще не пробудились. Старый вяз в полукилометре от базы был по-вечернему темен, за ним березы и лозняк растворялись в синем сумраке, в чем-то текучем, зыбком. А еще дальше рослые дубы, похожие на застывший дым, и небо над ними было сизым, сумеречным, а по сизому стлались белесые полосы. Надо было успеть на место, прежде чем солнце озарит весь берег и озеро. Анатолий Иванович еще старательней заработал веслом.

Он слышал просвист крыльев тянущих в высоте уток и соображал, где лучше устроить генералов. У него было несколько заветных мест, неизвестных другим егерям. Он и шалашики там оборудовал и сейчас хвалил себя за предусмотрительность.

Анатолий Иванович повел челнок к островку ситы, ничем не отличимому от других, бархатно чернеющих на просветлевшей воде. Но для Анатолия Ивановича этот островок был особым: он не сомневался, что тут будут частые подсадки. Это тихое место находилось на пере-

пути между Дуняшкиной и Прудковской заводями, установленным уткам полный резон сделать тут передышку.

С привычной неспешной ловкостью, сам сознавая эту ловкость и радуясь ей, он раскидал полукружьем чучела и опустил на воду подсадную. Утка сразу же попыталась взлететь, взвилась в воздух, но подкова, привязанная к лапке на длинной бечеве, достигла дна, и утка тяжело шлепнулась на воду. Анатолий Иванович подвел челнок к шалашу, помог выгрузиться пожилому генералу, проверил, достаточно ли широк обзор в березовых ветках, образующих переднюю стенку шалашика.

— Стреляйте пятым номером, — посоветовал он, — а ежели близко, то и шестой сгодится.

Молодого генерала он устроил метрах в трехстах от затишка, ближе к чистой воде, где, по его расчету, должны пролетать утки, тянущие за Дубовое, ближайшее к Великому, излюбленное утками озеро, а также и те, что будут козырять с берега на берег, когда начнется пальба. Он вручил генералу клочок бумажки с грубо нарисованным планом местности.

— Помечайте крестиком, где утка упадет, я их потом подберу.

— Толково, — похвалил молодой генерал, обрыскивая глазами озерный простор.

— Гусей не трожьте, — предупредил Анатолий Иванович. — Оштрафуют.

— Что так?

— Они дворные, на развод пущены. Я скоро наведаюсь, — и Анатолий Иванович отплыл от шалаша.

— Особо не торопись! — крикнул генерал. — Чего даром уток распугивать!..

Тихо шевеля веслом, Анатолий Иванович поплыл в сторону заповедника. Другие егеря, рассадив охотников, возвращались на базу пить чай и щелкать шарами на бильярде. Но Анатолий Иванович в бильярд не играл, да и очень соскучился он по Великому, по особому, ни с чем не сравнимому здешнему воздуху, по той внутренней сосредоточенной тишине, какую он испытывал только здесь. Сейчас, снова оказавшись в милом, привычном окружье, понял он по-настоящему, как плохо и несчастно жил последнее время. Он и к домашним утратил свое обычное доброе внимание. Танька первый год пошла в школу, их учили писать палочки и нолики. «Папаня! — восторженно кричала Танька. — Гляди, какого я кругалю нарисовала!» А он смотрел на кривой кружочек и не находил в

себе ласки, которую она ждала от него. До чего же сильнее в человеке привязанность к своему делу, если без этого немудрящего дела все гаснет в душе!..

Анатолий Иванович неспешно скользил по озеру, оно все сильнее насыщалось светом. В стороне восхода вода огнисто пылала, на остальном просторе была голубовато-молочной, с розовым отливом на гребешках малых волн. Посветлели, вышли из сна и сумрака дальние берега, дубы уже не казались дымом, стали большими красивыми деревьями. И очень яркими были первая желтизна берез, первый багрец осин. Глухо, деревянно прозвучали выстрелы в Прудковской заводи, а затем ударил близкий выстрел, и с куста, росшего посреди ситы, с сыпучим шумом взметнулась ввысь стая скворцов, ночевавших на озере. Анатолий Иванович обернулся: над шалашом пожилого генерала подымалось белое облачко. «Промазал!» — с досадой подумал он, и тут ударил второй выстрел, генерал добил подранка. «А еще говорит — близорукий!» — улыбнулся егеря.

Выстрелы пробудили озеро от спячки. Заметались, почти касаясь воды, ласточки, принялись выписывать плавные полукружья толстенные чайки, очень медленно, над самой головой Анатолия Ивановича пролетел болотный лунь с маленькой точеной головой. Зелененькая птичка раскачивалась на камышинке, колебля хрустальную каплю росы, и в глаза егерю летели слепящие зайчики.

Стая, шедшая над Березовым, свернула к заповеднику, Анатолий Иванович услышал слева от себя ладный, сильный шелест крыльев. Пять уток шли верхом, одна значительно ниже, в ее полете была какая-то натужная суетливость. «Верно, дворная, вон и телом побочковитей. А все-таки быстро они к дикой жизни привыкают...»

Стрельба все усиливалась, но Анатолий Иванович различал в канонаде выстрелы своих генералов. Значит, места выбраны правильно, и его первые в сезоне клиенты не будут в обиде.

Вот и Салтный мыс, далеко вдающийся в озеро своим острым носом, поросшим корявыми березами, слева от него пошли вешки, отмечающие границы заповедника. По странной акустической особенности вся стрельба на Великом как-то ватно утишилась, и куда громче стали редкие выстрелы на дальнем Дубовом озере. Эти короткие, нераскатистые выстрелы лишь подчеркивали парящую здесь тишину.

Вдоль берега, у старого подсвятынского причала и

справа от него, в Кобуцкой заводи, кочками чернели на воде утки. Было их тут видимо-невидимо; непуганые, они спокойно сидели на чистой воде, пренебрегая густой прибрежной травой. Волнующе странен был вид этих уток в самом бойком по прежнему времени месте на озере, — отсюда отплывали и сюда возвращались подсвятынские охотники, здесь они ночевали в стогах, жгли костры, варили уху, здесь баловались стрельбой по дохлому ястребу, привязанному к шесту. Анатолий Иванович никогда так остро не ощущал перемены, происшедшей на Великом, как сейчас, при виде этого утино курорта. Его радовало, что и в разгар охоты есть на озере тихий, безопасный уголок, где может сохранить себя от истребления кроткое утиное племя.

Утки, конечно, заметили челнок Анатолия Ивановича, и хотя в эту пору они становятся особенно сторожкими, ни одна не снялась с места, будто ведая об охраняющем их здесь законе. Анатолий Иванович уже начал разворачивать челнок вспять, когда в самом углу Кобуцкой заводи до ужаса звонко в этой тишине грохнул выстрел. Это было дико, неправдоподобно, но, словно желая доказать свою невымысленность, свою злодейскую несомненность, выстрел раскатился широченным, долго не замолкающим эхом. И тут же по всему пространству заповедника защелкали крылья, утки тучами взмывали вверх и устремлялись прочь из обманувшего их покоя навстречу гибельной опасности. И снова выстрел прогремел в Кобуцкой: то ли браконьер добывал подранка, то ли метил в стаю. Этот второй выстрел как бы отрезал для Анатолия Ивановича возможность выбора. Он быстро развернул челнок и сквозь тростник заскользил к углу заводи. Челнок с шуршанием рассекал заросль, сухие камышинки хрустко ломались, по счастью, ветер дул с берега. У борта закачалось твердое, раздутое, будто резиновое, тело дохлой кряквы. Видно, заплыла сюда подранком, и Анатолий Иванович подумал об утках, застреленных браконьерами: сколько их там, еще теплых, в свежей красной крови? Челнок вырвался из тростника на чистое, и Анатолий Иванович увидел браконьера. Засучив штаны, тот осторожно входил в воду, опробуя дно длинной орясиной. «Видать, приезжий, — подумал Анатолий Иванович. — Ни один местный нарушитель не сунется в заповедник. Кому охота лишаться охотничьих прав и тридцать рублей штрафа платить!» Человек поднял орясину и ударил ею по воде, чтобы подогнать к себе подстрелен-

ную утку. Ударил еще и еще и тут увидел приближающийся челнок. Он метнулся на берег, схватил лежащие там сапоги, ружье и заплечный мешок и побежал через болото к лесу.

«А если попадется браконьер?» — вспомнил Анатолий Иванович Буренкова и свой ответ: «Цевье отберу»... Ну вот попробуй отобрать цевье у этого незнакомого человека, что удирает босиком к лесу. Что же, выходит, прав Буренков и он в самом деле не годится для озерной службы?..

Челнок подплыл к берегу. Анатолий Иванович увидел среди кувшинок светлое брюшко убитого чирка с утопленной головкой, потом распластавшую крылья, еще дергающуюся крякву. Подобрал крякву и размозжил ей голову о борт челнока. В лещуге белел пух разорванного выстрелом хлопунца, его гузка и две лапы повисли на кусте. Ничего не скажешь, меткий выстрел! Солдатиками торчали из воды картонные гильзы покупных патронов.

Нос челнока мягко ткнулся в песчаную отмель. «Никому не известно, что я был возле Кобуцкой и видел браконьера», — думал Анатолий Иванович, выбираясь из челнока. Он продолжал тешить себя этой спасительной мыслью, в то время как руки его втягивали челнок на отмель, доставали костыли, надевали на них плоские дощечки для ходьбы по болоту, хоронили в траве ведро и термос, закидывали за спину ружье и туже подтягивали ремень. Не в Буренкове тут было дело, а в нем самом. Буренкова он мог обмануть, но не мог обмануть самого себя. Между ним и его службой Великому стоял уже не Буренков, а этот уходящий к лесу человек. И, кинув вперед костыли, Анатолий Иванович сделал первый шаг...

Рослая осока скрывала браконьера, но на черной торфянистой почве Анатолий Иванович отчетливо различал следы босых ног с оттопыренными большими пальцами. Следы зримо заполнялись лиловой, как чернила, водой. Какой расчет у браконьера? Достичь леса и схорониться в чаще? Там он отыщет его без труда. Лес был загадочным и коварным, покрытая иглами сушь неожиданно сменялась изумрудно-яркими полянками, ступишь — пропадешь: под яркой и нежной зеленью скрывалась гибельная трясина. Лес пересекали глубокие балки, по их дну бежали ручьи: то и дело сквозь бурелом проглядывали недобрым, темным блестящим глазом лесные озерки в топких, предательских берегах, а порой, и это было самым страшным, озерко было невидимым, оно таилось под землей,

под мягкой болотной растительностью, страшная западня, замаскированная под прогалинку. Подсвятыинские бабы никогда не ходили в этот лес ни по грибы, ни по ягоды, редкие охотники отваживались выслеживать тут дичь.

Достигнув опушки, он увидел под ракитой свежепримятую траву и шедшую от нее по просеке в глубь леса цепочку следов. Это были следы сапог, совсем новых, судя по четким отпечаткам резиновых набоек. То, что браконьер обулся, было выгодно Анатолию Ивановичу: тот потерял время, да и след его стал приметнее.

Анатолий Иванович двинулся по просеке, далеко впереди себя видел он на рыжеватой земле, на прелой, плотно сбитой листве отпечатки каблуков. Браконьер и не думал скрываться в чаще. То ли он знал о коварстве этого леса, то ли успел приметить, что преследующий его человек — инвалид на костылях, и рассчитывал просто уйти от него, то ли был у него какой-то иной расчет... Сколько будет длиться погоня? Час, два, три, четыре, полдня? Дорога идет лесом, затем пустынными торфяными полями, потом березовым редняком и выходит на недостроенную булыжную шоссейку. В одну сторону шоссе никуда не ведет, в другую, сразу за маленькой деревушкой Комково, ветвится на два большака, которые в разных местах оба подводят в бетонке Рязань—Касимов. Он должен нагнать браконьера до того, как тот достигнет развилки...

Анатолий вздохнул. До развилки километров двадцать. Даже если все кончится хорошо и он доставит браконьера на базу, не миновать скандала с генералами. Время шло к семи часам, а в десять принято кончать утреннюю охоту. Кто же заберет генералов? Шалаши находились в стороне от обычных егерских маршрутов. Поволнуются, бедные, пока на базе заметят их отсутствие и вышлют на розыски лодку. Как же все нехорошо получается! А может, обойдется, может, он быстро настигнет браконьера и еще успеет за генералами? Анатолий Иванович все сильнее кидал вперед свою одинокую ногу, свое легкое, сухое тело, висящее меж двух подпор. Раз, когда просека спрямилась, он увидел далеко впереди темный мешок на спине браконьера, ватные штаны и блестящие сапоги. Мешок, знать, был тяжеленек, если человек нес его, так сильно согнувшись, что не было видно головы. «Догоню!» — сказал себе Анатолий Иванович.

Тяжело дышалось в этом лесу, напоенном болотными испарениями, кисло-винным, едким запахом перегниваю-

щих в торфяной земле растений. Анатолий Иванович уже чувствовал свое сердце, хотя прошел не более трех километров. Но ведь тому, другому, идущему впереди, тоже нелегко дышится, он тоже чувствует свое сердце, в котором, кроме усталости, еще и страх! Этот страх подгоняет его, но и обессиливает. Догоню!..

Дорогу пересекали толстые узловатые корни. Анатолий Иванович, глядевший все время вперед, споткнулся о корень и грохнулся на землю. Люди на двух ногах никогда не падают так тяжело и нескладно, они успевают выбросить вперед руки, встретить землю коленями, локтями, изогнуться, чтобы смягчить удар. Анатолий Иванович ничего этого не мог, руки его были заняты костылями, к тому же костыли не выдернешь враз из вязкой почвы. Он упал на грудь и лицо, затем с усилием сел, утер лицо рукавом, облизал рассеченную в кровь губу, попробовал очистить ватник и рубашку от черной грязи, но только размазал ее. Он подобрал костыли, поднялся и зашагал вперед.

Теперь он шел, опустив глаза книзу и внимательно перенося себя через корни, ногу держал чуть согнутой в колене, чтобы лучше пружинила. Он следил за неровностями земли и не сразу обнаружил, что следы сапог исчезли. Прошел еще немного вперед — следов не было, тогда он повернул обратно. След кончился у осины, росшей по другую сторону длинной канавы, полной ржаво-зеленоватой воды. Осина перекинула через канаву толстый кривой сук, с его помощью браконьер и перебрался на ту сторону, в лес. Очень густой, забитый валежником и палыми гнилыми соснами, лес стоял тут на твердом. Не было ни гибельных трясин, ни подземных озер. Ясно, браконьер знал лес и все его тайны, как это доступно только старожилу. Но почему же его облик, пусть мельком увиденный, не вязался у Анатолия Ивановича ни с одним из окрестных жителей? Сколько раз в утреннем густом тумане или ночной порой по самому смутному очертанию в далеком челноке он мгновенно распознавал и своих подсвятынцев, и прудковских, и кузьминских, и замостынских мужиков. Это было больше, чем острое зрение, это было что-то безотчетное, зверьевое в нем, но сейчас это зверьевое молчало.

Анатолий Иванович стал примеряться к переправе через канаву, хотя знал, как трудно будет ему на костылях в густом, непролазном лесу, и вдруг раздумал. Он плотнее обхватил перекладыны костылей и устремился вперед по

просеке. Теперь, когда он уверился, что браконьер знает местность, он мог точно рассчитать его маршрут. Браконьер должен был вернуться к просеке, потому что от нее начиналась гаченая дорога, а вправо и влево от дороги, вдоль всей опушки леса, раскинулось зыбкое торфяное болото. Путь браконьера к спасению тонок, как ни точка.

Короткая передышка у осины не принесла облегчения, напротив, только сейчас Анатолий Иванович почувствовал, как сильно устал. Болело наломанное тело, гудела нога, и будто клещами, давило икру, на ладонях вспухли белые пузыри мозолей, противно стянуло коркой рассеченную губу. Рубашка просолилась потом, пить хотелось до смерти. Он зачерпнул вонючей воды из лужи, ополоснул лицо, шею и грудь, намочил кепку и тут явственно услышал шорох ветвей: браконьер пробирался сквозь лес вдоль просеки, не упуская ее из виду...

Анатолий Иванович спотыкался и падал, вскакивал и снова поспешал. Он не предполагал раньше, что может с такой быстротой передвигаться на костылях. Он зачерпывал ногой тяжелые, мокрые комья торфа и волок эту пудовую тяжесть, пока она не отваливалась прочь, он стремился достигнуть конца просеки раньше браконьера. И все же опоздал. Он увидел, как в конце просеки, где она светло расширялась в поляну, возникла из чащи фигура с мешком за спиной и бегом устремилась к гаченой дороге.

Анатолий Иванович достиг опушки и вытер залитые потом глаза. Кругом расстигалось болото, ярко-зеленое, с черными обнажениями торфа. Солнце стояло высоко в облачном небе, был, верно, одиннадцатый час. Если бы не человек на дороге, он бы собирал сейчас добычу молодого генерала, доставал бы из лещуги, из камыша и ситы широко раскиданных волной тяжеленьких, еще не остывших чирков, шилохвостей, матерок, слушал бы радостные и благодарные слова хорошо поработавшего охотника и сам бы радовался его удаче. А сейчас, верно, совсем иные слова произносятся в его адрес в двух покинутых на произвол судьбы шалашах.

Не будь этого человека впереди, он бы через час вернулся на базу, доказав Буренкову, что годится в егеря, договорился бы с генералами о вечерней зорьке и тем временем наведалься бы домой, чтобы поделиться с Шуркой своим успехом. Как хорошо войти в свой дом, разуться в сенях и по мягкой телячьей шкуре, белой, с рыжими под-

палинами, расстеленной у порога, неслышно прокрасться к чистой горнице, увидеть склоненное над «кругалями» веснушчатое лицо Татьянки и белобрысую макушку вечно что-то мастерившего Юрки, услышать за спиной удивленный возглас Шурки, вернувшейся с огорода. Как полно и мило существует человек в своей семье! Жаль, что это постигается, лишь когда ты оторван от семьи какой-то злой силой. Все напасти и невзгоды постигают человека за пределами семейного круга, но что поделывать, родные лица не могут заменить весь мир, и, как ни тепло дома, надо выходить на холодный ветер простора...

Теперь Анатолий Иванович все время видел перед собой спину браконьера, видел не только мешок, ватные штаны и новые сапоги, но даже ствол ружья, торчащий над плечом, и пеструю кепочку. Но это нисколько не облегчало задачи, между ними оставался все тот же неубывающий отрезок дороги. И браконьер его видел, он часто, снизу вверх оглядывался и сразу прибавлял ходу. Анатолий Иванович тоже надавал, но вскоре усталость заставляла обоих возвращаться к обычному шагу, а затем все повторялось снова. Было что-то знакомое, мучительно знакомое в косой, снизу вверх оглядке браконьера и его походке, то упрямой ровной, то семенящей, но стремящейся к одному: уйти, во что бы то ни стало уйти! Порой Анатолию Ивановичу казалось, будто он уже преследовал некогда этого человека, будто что-то подобное уже было между ними. То ли он и впрямь встречался с ним, то ли у всех браконьеров в опасности одна повадка, какая-то низкая схожесть...

Анатолий Иванович смутно чувствовал, что идущий впереди человек не был обычным браконьером. Будь за ним только грех двух выстрелов в заповеднике, он повел бы себя иначе, попытался бы откупиться от егеря: у таких всегда в запасе пол-литра или денежная мзда. Наконец, они настолько удалились от озера, что человек мог просто отрицать всякую свою вину: не был на озере, и все тут! Пойди докажи, что не так, свидетелей нету. Из стволов пахнет? Да он мог сколько душе угодно палить тут по воронам и сойкам, на это запрета нет. Словом, что ни совет — все сойдет, убежать нет ему никакого резона. А вот бежит же, да еще в мучительном страхе! И от кого — инвалида, у которого неостанет силы дотащить до базы здорового, крепкого мужика! Не проще было бы ему решить дело хорошим ударом кулака? Ну, пусть в драку не всякий полезет, даже с инвалидом, это понятно.

Так чего бы ему не сказать Анатолию Ивановичу: брось, друг, тратишь силы, я от всего отопрюсь, и ничего-то ты не докажешь... Но браконьер почему-то не отваживается играть в открытую. Почему? Видно, есть в этом человеке какой-то ущерб, раз он боится людей, боится света. Похоже, Анатолий Иванович погнался на этот раз за мудрым зверем, и просто дело не обойдется...

В выси зарокотал самолет. Анатолий Иванович поднял голову, это был старый кукурузник, По-2. Отчетливо виден был летчик в кожаном шлеме с очками. И летчик, верно, видел их сверху: две крошечные фигурки на темной ленте гаченой дороги, два путника, которые почему-то не захотели делить унылый однообразный путь. Ему и невдомек, как тесно связаны эти путники и какой между ними завязался спор. А кабы знал, то снизился бы, как это делают во время охоты на волков, и помог Анатолию Ивановичу захватить этого двуногого хищника. Но летчик ничего этого не знал и увел самолет в облака, оставив за собой стрекочущий звук, будто впечатавший в воздух след.

Дорога чуть взгорбилась, и Анатолий Иванович увидел вдалеке трактор, корчующий пни, — это от него, а не от самолета шло стрекотание. Трактор рвал из земли пни, словно гнилые зубы. Анатолию Ивановичу подумалось, что тракторист и его подручный, накидывающий на пни железную петлю, тоже пришли бы ему на помощь, если бы он мог их окликнуть. Да, пришли бы, потому что за ним правда в этом споре, и справедливость, и закон, потому что он служит сейчас порядку жизни, ее добру. А тот, другой, шагающий впереди, несет в себе уничтожение, зло...

Но все ли люди возьмут его сторону? Нет, даже среди честных окажутся такие, что охотнее помогут преследуемому, чем преследователю. Из кроткой жалости, из неуверенности в том, что кара будет соответствовать провинности, а не перехлестнет ее во много раз. Семь лет за кило картошки, выкопанной на колхозном поле, заставили многих усомниться в справедливости карающего закона. В общем, надо рассчитывать только на себя в этом деле...

Сердце колотилось у самого горла, стертые в кровь ладони приклеились к дереву, он боялся расслабить хватку рук на перекладах костылей. Ногу он уже не чувствовал, ступал на нее, как на мертвую подпорку. В конце гаченой дороги возникла сквозная березовая рощица,

опоясанная орешником. Они приблизились к деревне у недостроенного шоссе...

Едва браконьер достиг орешника, он оглянулся и, пригнувшись еще сильнее, вобрал голову в плечи, будто желая умалиться до незримости, юркнул в кусты. Анатолия Ивановича хлестнуло по глазам знакомостью, бывшестью этого вороватого, трусливого, гаденького движения. И сразу вспомнилось...

...Они вдвоем шли по кровавому следу на снегу, черному в свете месяца. Было дьявольски холодно, трещали стволы деревьев, но они не бросали поисков потому, что так свеж был этот дымящийся след, потому, что верили: сегодня они его накроют. И когда вышли на полянку, голубую, сверкающую, нарядную, будто из детской книжки, они сразу увидели его и светлый нож в его руке над горлом только что павшего лося. Они подошли неосторожно, оставив месяц за спиной, он увидел их длинные черные тени у своих ног. Молча, беззвучно вскочив, он понынешнему, снизу вверх, оглянулся и, вот так же вобрав голову в плечи, как-то бочком скользнул в заросль. Клепиковский егерь закричал: «Стой!» — и кинулся за ним следом. Анатолий Иванович, утопая в глубоком, рыхлом снегу, не смог угнаться за егерем. Он поспел к нему, лишь когда грохнул выстрел и егерь с развороченным плечом ткнулся головой в сугроб. Анатолий Иванович тащил его на себе до Подсвятыя, и это было едва ли легче сегодняшнего «путешествия».

А Сашку, прозванного Хуторским — он жил на отшибе, — лишь через неделю поймали милиционеры где-то под Касимовом. После он целый день водил их по окружающим Подсвятыя лесам, показывая тайники, где хранил лосятину. Сашке дали пятнадцать лет, а клепиковский егерь на всю жизнь остался искалеченным, правая рука его повисла плетью...

Сколько же отсидел Сашка? Лет восемь, не больше. А может, бежал из колонии? Не похоже. Одет чисто, добротно, новые сапоги, полный мешок, ружье. Скорее, отпущен досрочно за хорошее поведение и прилежный труд. Выходит, рановато его отпустили, если, не дойдя до родного дома, тут же принялся за старое! Или уж так стосковался по охоте, что и часу лишнего не мог стерпеть?.. Но Сашка не был настоящим охотником: ему бы только набить, сколько влезет, зверей и птиц. Он нигде не работал: ни в колхозе, ни в плотницких бригадах. Чтобы существовать, он грабил природу: бил самок весной,

бил запрещенную дичь, губил непуганых лосей. Бескорыстной была в нем лишь страсть к убийству. Анатолию Ивановичу навсегда запомнился один случай. Они вместе возвращались домой с удачной, добычливой охоты, только пролезли под околицей, как на ближний вяз открыто и доверчиво опустился козодой, птица добрая, полезная. Зная свою полезность, козодой людей не боится. Сашка деловито и холодно скинул ружье с плеча — с вяза посыпались перья, пух и кусочки окровавленного мяса.

— Зачем ты его?.. — спросил Анатолий Иванович.

— А че он!.. — равнодушно и тупо отозвался Сашка.

При этом был с ними старый охотник Дедок.

— Нешто не видишь его глаза? — сказал Дедок. — Такой кого хошь застрелит, хошь котенка, хошь собаку, а хошь... — Дедок не решился добавить: человека.

И верно: Сашка гвоздил по чайкам, цаплям, журавлям, дятлам, по бездомным собакам, кошкам, случайно забежавшим к нему на двор, пока не дошел черед до человека. Годы, проведенные в колонии, видно, не вытравили в Сашке страсть к уничтожению.

Теперь, поняв, с кем имеет дело, Анатолий Иванович разгадал Сашкино поведение. Для такого нет никаких уверток, для него есть одно: прочь, прочь, прочь... Знал он также, что Сашка не осмелится решить дело силой, потому что не раз испробовал на себе железную хватку его рук. Но за плечами у него ружье. Подыметесь ли у него снова рука на человека? Решится ли второй раз пролить человечесью кровь? Лучше об этом не думать, надо скорее добраться до развилки, чтобы не упустить беглеца.

И вот уже мелькают мимо него пестрые стволы, и тверда под костылями земля в желтой хрусткой березовой листве. Тропинка здесь петляет, Сашки не видать впереди, но едва ли он ушел далеко, Анатолий Иванович приметил, что след Сашкиных каблуков с кружочками уже не был так отчетлив, словно бы он сносил их, зато резче обозначился рисунок носка: Сашка не шел, а бежал по просеке, быть может, из последних сил, но бежал.

Анатолий Иванович вышел из березняка, перед ним лежало поросшее лопухом и бурьяном булыжное шоссе. Левый конец упирался в речку, правый подводил к околице маленькой, с десяток дворов, деревушки и там обрывался. Шоссе начали строить в незапамятные времена, но почему-то прекратили. Сашки не было видно. Значит, успел миновать деревню и сейчас шагает по одному из проселков, ведущих к бетонке. На шоссе, близ околицы,

маячила одинокая женская фигура. Женщина таскала из груди булыжники, укладывала их в щербины шоссе и забивала кувалдой. Похоже, намеревалась в одиночку достроить шоссе.

Когда Анатолий Иванович подошел к ней, женщина бросила кувалду, выпрямилась, рукой в брезентовой рукавице откинула с лица волосы и ожидающе уставилась на него. Была она высокая, плечистая, с широкими бедрами и крепкими ногами, в коротких резиновых сапогах. При такой крупной стати маленькой казалась ее красивая голова на высокой, стройной шее. Большой алый рот женщины улыбался, но недобрый был слишком пристальный взгляд темно-карих глаз. Если бы не сапоги и рукавицы, женщина была бы одета нарядно для своей грязной, тяжелой работы: шелковая, в цветочках, кофта, сатиновая черная юбка, на смуглой шее ниточка кораллов.

— Здравствуйте, — сказал Анатолий Иванович.

Она кивнула, уперев руки в бедра, и продолжала молча и недобро разглядывать его.

— Не проходил тут охотник... невысокий, с мешком?..

Женщина молчала, и он добавил твердо, краснея своим и без того распаренным лицом:

— Дружок мой... в лесу разминулись.

— Крепко, видать, дружка своего любите, — усмехнулась женщина. — Ишь, как запарились!

— Проходил иль нет? — резко сказал Анатолий Иванович.

— Не видала, — лениво отозвалась женщина. — Может, и проходил, мне не докладывался.

Анатолий Иванович видел, что врет, что почему-то ей хотелось помочь Сашке. Конечно, не мог он знать, что виной всему эта проклятая, никуда не ведущая дорога. Пока тут еще шли строительные работы, ближайший комковский колхоз обязался поддерживать дорогу в порядке. Потом стройка была брошена, а повинность осталась. И вот сегодня женщину послали сюда, и ей предстояло в одиночестве ковыряться на этой ненужной дороге. Она нарочно, со злости, надела праздничную кофту и юбку: пусть пропадает зазря ее красота и нарядность, раз уж так плохо, пусть будет еще горше! Когда из леса вышел измученный, с бледным перекошенным лицом человек, она чутьем угадала в нем несчастливца. Человек попросил напиться, она дала ему кринку остуженного в роднике молока. Человек наказал ей молчать, сунул в руку деньги и быстро зашагал к развилке...

Но этот, второй, хоть и на костылях, понравился ей больше: сухая, крепкая фигура, хорошее мужское лицо с твердыми серыми глазами, когда врет — краснеет. Но, угнетенная бессмысленной, тяжелой работой, она чувствовала себя ближе к преследуемому, чем к преследователю.

— Так не скажешь, куда он пошел? — Анатолий Иванович отнял от костыля руку и утер лицо.

Женщина вздрогнула: ладонь была в крови, сочившейся из лопнувших мозолей. Сейчас она будто по-новому увидела человека: его измазанную торфяной жижей рубашку, рассеченную, запекшуюся губу, порванную на колене брючину. Он так спокойно держался, что поначалу она не обратила внимания на эти следы тяжелой борьбы с дорогой.

— Поцелуй, может, и скажу!

Анатолий Иванович молчал, а женщина смотрела на него; пусть и запаренный, одноногий, он нравился ей все больше, от него веяло здоровым, чистым духом, каким веет после работы от свежего, ладного мужика. И она уже без улыбки, странно прищурившись, настойчиво повторила:

— Поцелуй, тогда скажу!

Анатолий Иванович вздохнул:

— Не могу, — сказал он. — У меня жена Шурка и двое ребят.

— Вот ты какой! — проговорила она с добрым удивлением. — А он тебе очень нужен?

— Я с самого Великого за ним гонюсь, это ж гад!

— Он тебе что плохое сделал?

— Не мне одному. Он хуже волка...

Женщина верила ему. Бледное лопатообразное лицо беглеца с рыскающими глазками не внушало ни доверия, ни симпатии. Да и почему она должна становиться между ними? Пусть сами решат свое дело. Пусть хоть кровь прольют, в этом есть жизнь, не то что ковыряться на дороге, не имеющей ни начала, ни конца...

— Направо свернул, к Талице, — сказала женщина.

Анатолий Иванович опустил ладони па перекладины костылей.

— Постой, — женщина протянула скомканную в комок десятку. — Верни ему.

Анатолий Иванович сунул деньги в карман и зашагал направо. Женщина долго смотрела ему вслед, пока он не

стал крошечной точкой на дороге. Потом снова взялась за кувалду.

Анатолий Иванович не сомневался, что женщина сказала правду. Но Сашкина спина так долго не показывалась, что он забеспокоился: уж не свернул ли Сашка в лес? Справа от леса с громким шорохом светлой стенкой подступал дождь. Вот он провел ровную черту по серому, в трещинах, окоему дороги и обрушился на Анатолия Ивановича всей своей прохладной свежестью. И сразу стало легко дышать, бодрость прилила к телу. А слева, в разъеме синих с сединой туч, ярко и горячо светило солнце, уже миновавшее зенит.

Анатолий Иванович заметил на дороге колесные колеи и зубчатку автомобильных шин. Значит, тут, хоть и редко, проходят машины и подводы, и если ему повезет, то его нагонит какой-нибудь грузовичок. Внезапный прилив бодрости заставил его верить в удачу. В скором времени впереди показалась знакомая фигура с мешком за спиной. Сашка его тоже заметил, но шагу не прибавил, а сел у дороги и стал обуваться: от рожи Сашка шел босиком. Быстро обувшись, он вскочил и зашагал дальше, их разделяло теперь не больше полукилометра. «Давай!.. Давай!..» — говорил себе Анатолий Иванович все в той же счастливой уверенности, что погоня близится к концу.

Из леса, спотыкаясь на ухабах, наперерез Сашке вышла полуторка. Сашка замахал руками, машина притормозила. Сашка подпрыгнул, уцепился за задний борт, и сидящие в кузове люди дружно помогли ему перевалиться в кузов. Анатолий Иванович понял, что случилось, лишь когда полуторка, расхлестывая лужи, умчалась прочь.

Он продолжал идти вперед, сам не зная зачем. Дождь, все так же стенкой, отступил от дороги, земля сильно запахла. Иногда в нем лениво шевелилась мысль, что у полуторки может лопнуть шина, что машина завязнет в грязи, что рухнет мост через Талицу в пяти километрах отсюда, что грузовик этот из ближайшего по дороге колхоза и Сашке скоро придется сойти. Не мог, не хотел он признать свое поражение.

— Оглох, что ли? — услышал он за своей спиной. — Сигналю, сигналю, а ему хоть бы что!

Завалив на бок мотоцикл, за ним стоял парень в кожаной куртке и защитных очках.

— Задумался, — сказал Анатолий Иванович. — Не подвезешь?

— Куда тебе?

— К бетонке.

Мотоциклист выровнял машину. Анатолий Иванович неловко взобрался на скользкое после дождя сиденье, нашел железную скобу под передним седлом и ухватился за нее. Мотоцикл закашлял, зачихал, стрельнул и сперва валко, медленно, потом все быстрее и быстрее покатило по неровной, тряской дороге. Было чертовски неудобно, культура не позволяла Анатолию Ивановичу ровно распределить тяжесть тела, его все время кренило в перевес левой половины, железная скоба вырывалась из пальцев. Мешали костыли, которые он положил перед собой, приходилось то и дело снимать со скобы руку и придерживать их, чтобы не свалились. А мотоциклист, не ведая о мучениях своего седока, гнал на предельной скорости, и вскоре они увидели подпрыгивающий зад полуторки. Мотоциклист неистово засигналил, он, видимо, любил, чтобы ему загадочными очищали дорогу. Полуторка вильнула к обочине, чуть притормозила, из кузова спрыгнул в кювет какой-то человек, упал, поднялся и, прихрамывая, заковылял к лесу. Когда мотоцикл поравнялся с местом, где спрыгнул человек, Анатолий Иванович крикнул парню в самое ухо:

— Стой!

Мотоцикл круто затормозил.

— Тебе ж на бетонку надо!..

— Мне тут сподручней, спасибо, — Анатолий Иванович сполз с сиденья и, не оглядываясь, стал перебираться через канаву.

Лужайка, ведущая к лесу, была заболочена. Анатолий Иванович снова приладил к костылям плоские дощечки. Сашка уходил медленно — верно, сильно зашиб ногу, к тому же не пускала вязкая почва. Анатолий Иванович слышал, как хлопает вода под его сапогами, потом до него донеслось хриплое, надсадное дыхание.

Перед лесом на болотине рос какой-то чахлый кустарник, и Сашка стремился достичь его, словно мог там спрятаться. На миг он повернул к Анатолию Ивановичу свое бледное лопатообразное лицо, их глаза встретились, и Анатолия Ивановича удивило выражение ужаса на Сашкином лице.

— Стой! — крикнул Анатолий Иванович, и странен показался ему собственный голос. — Стой, говорю!..

Сашка съезжился, словно его ожгло, и рванулся к кустам. Анатолий Иванович понял это его движение, у

него самого было чувство, будто он голосом прикоснулся к Сашке. Тот хотел широким прыжком достичь сухого бугра под кустами, но оступился и выше колен провалился в болотную топь. Но и Анатолий Иванович увяз в торфяном месиве. С невероятным усилием, касаясь грудью осоковой травы, он с хлюпом вытянул ногу, тяжело облипшую торфом, и послал вперед костыли. Он почти полз. А Сашка топтался в трясине, пытаясь ухватиться за ветку кустарника.

— Стой! — повторил Анатолий Иванович и еще ближе подтянулся к Сашке.

Тот, неловко ворочаясь всем телом, повернулся, содрал с плеча ружье и навел на егеря.

— Не подходи! — завизжал он. — Убью!..

— Но-но, полегче!..

Анатолию Ивановичу казалось, будто огромный, жадный рот высосал его ногу, он стал ворочать ногой в земле, потом медленно подтянул ее вперед, и тут в лицо ему ударил выстрел. Он почувствовал на макушке охлест воздуха, едко завоняло порохом, пыж щелкнул его по щеке. «Мимо целит», — подумал он спокойно и, вырвав наконец ногу, перекинул себя почти вплотную к Сашке. Черный кружочек дула уставился ему прямо в лоб. «А вот теперь в меня», — успел подумать Анатолий Иванович, и простор качнулся перед ним всей своей зеленью и голубизной, словно земля и небо поменялись местами. И странно: в этом дурманно-плывущем состоянии он четко услышал пустой шелк курка. Недаром же был он настоящим охотником, человеком мгновенных решений: он скинул костыль и ударил Сашку по рукам. Тот выпустил ружье и повалился на спину.

Анатолий Иванович продрался вперед, поднял ружье, снял цевье и сунул в карман, затем кинул ружье Сашке. Он выбрался на сухое место, стряхнул с сапога и брючины жирные ошметья торфа и, вспомнив, что весь день не курил, достал плоскую железную коробочку с махоркой и дольками газетной бумаги, свернул сигарку и жадно затянулся.

Сашка, не подымаясь с земли, распахнул на груди ватник и, мешая брань со слезами, весь как-то противно выламываясь и выпячивая ключицы над вырезом майки-безрукавки, стал требовать, чтобы Анатолий Иванович пресек его молодую жизнь, помяная при этом старушку мать, хотя лишился матери в раннем детстве. Анатолий Иванович слушал его с любопытством: было во всем этом

что-то наигранное, но вместе и серьезное, словно некий ритуал. Наверное, так принято было в тех местах, откуда Сашка явился. Но потом ему надоело это, да и пора было в обратный путь.

— Ладно, вставай, — сказал он, тронув Сашку костью.

Сашка замолк, неуклюже поднялся, подобрал ружье.

— Утрись, — сказал Анатолий Иванович. — Неудобно.

Сашка послушно вытер лицо тылом ладони, потом изнанкой полы ватника. Анатолий Иванович отметил про себя эту новую Сашкину покорность, похоже, ему привычно и удобно, когда им распоряжаются.

— Тут тебе передать велели, — Анатолий Иванович протянул Сашке смятую десятку.

Сашка ухмыльнулся.

— Честная... стерва!...

— Заткнись! Двигай!..

И медленно, поминутно проваливаясь, они потащились через болото к дороге. Сашка молчал, только раз повернулся к Анатолию Ивановичу и, кивнув на его ружье, предложил:

— Давай понесу.

— Не надо.

— Боишься? — Сашка показал неровные белые зубы.

— Нет, ружье незаряженное.

— А у меня вон — полный пояс патронов!

— Не подойдут, у меня двенадцатый калибр, — спокойно сказал Анатолий Иванович.

Сашка замолчал, но вскоре им овладела болтливость. Он стал выпрашивать Анатолия Ивановича, что ему будет, просил утаить, что пытался оказать сопротивление.

— Ничего себе — пытался! — сумрачно проговорил Анатолий Иванович. — Кабы не осечка, быть мне на том свете.

— Понимаешь, помрачение нашло! — горячо заговорил Сашка. — Я уж и не помню, из-за чего началась эта бодяга. Веришь, Толечка, мне казалось, будто всей моей свободе конец!..

Анатолий Иванович чувствовал, что Сашка говорит сейчас правду.

— Не застрелил — и ладно. А потом — всегда отпираться можешь.

— Все равно поверят тебе, а не мне. У меня положе-

ние поганое. Что другому с рук сойдет, мне — ни в жизнь. Вкатят новый срок, и точка!

— Все равно тебе не долго гулять. Раз ты в первый же день нарушил...

— Не думал я нарушать! Почем я знал, что у вас тут все шиворот-навыворот пошло?

— Ладно брехать! Когда это ты видел, чтоб утки стаями у причала плавали? Ясно, их там не бьют.

Сашка сбоку посмотрел на Анатолия Ивановича.

— Хошь верь, хошь не верь, а все восемь лет, каждую ночь, мерещилось мне, что прихожу я на Великое, и там видимо-невидимо уток. Тучей воду кроют. И вот нынче так и оказалось, я испугался даже. Потом, конечно, понял, что заповедник, да разве удержишься? Думал, вдарю разок, отведу душу и навсегда завяжу с этим. Невезучая я сволочь! — вдруг горько сказал Сашка.

Анатолию Ивановичу стало не по себе. Право, этот нынешний Сашка чем-то отличался от прежнего. Стал болтлив, легкомыслен, видно, оттого, что долго не жил своей жизнью, своим решением. Но появилось в нем и что-то человеческое, какая-то доверчивость, искренность. Этот новый Сашка уже не вызывал у него былой ненависти, скорее жалость. Если бы он не заставил его проделать такое путешествие, Анатолий Иванович просто отобрал бы у него цевье, а самого отпустил бы подобру-поздорову. Но сейчас он должен был доставить Сашку на базу, в нем — единственное оправдание его долгого отсутствия.

— Может, лучше не говорить, что ты из колонии отпущенный? — спросил он.

— Все равно узнается...

— Тогда держись, что про заповедник не знал, новые, мол, порядки. У нас начальник ни хрена в охоте не смыслит.

— А если ему кто накапает насчет прошлого?

— Я скажу ребятам. Там из наших только Беликовы да клепиковский Егор Иваныч, помнишь?

— А он не скажет?

— Мужик добрый...

Конечно, большого вреда Сашке не будет, но если он еще на чем срежется, то ему и это припомнят. Лучше бы отпустить. Себе-то уже Анатолий Иванович доказал, что имеет полное право служить на озере егерем...

Словно угадав его мысли, Сашка сказал:

— Я и не думал тут задерживаться. У меня теперь профессия есть — каменщик.

— В Заречье утятник строят, можешь туда толкнуться.

— К уточкам поближе? — засмеялся Сашка. — Тогда уж ты лучше не возвращай мне цевья!..

...От егеря большего и не требуется: отобрать цевье. Вот оно — лежит у него в кармане. Но нет, цевьем от Буренкова не отделаться. У него небось вышла неприятность с генералами, и, чтобы Буренков успокоился, ему нужно что-нибудь посущественнее маленькой детали охотничьего ружья.

Впереди возникло Комково, и Анатолий Иванович свернул на целину, чтобы выйти к роще, минуя шоссе, где работала женщина. Почему-то ему не хотелось сейчас ее видеть.

Осталась позади гаченая дорога, они шли лесом. Солнце клонилось к закату, его лучи уже не падали отвесно в лесной коридор, а вязли в кустах и деревьях. В просеке было сумеречно, прохладно и еще сильнее пахло кислым вином. Снова ложились под шаг толстые корни, похожие на змей, но теперь Анатолию Ивановичу не имело смысла спешить, и он осторожно переступал через них. Несколько часов назад он вышагивал эту просеку в обратном направлении, он спотыкался, падал, соленый пот разедал губы, болели ушибленные места, и все же он чувствовал себя куда лучше и тверже, чем сейчас, в предвкушении встречи с Буренковым. Но когда они вышли к озеру, к тому месту, откуда начался их путь, в груди Анатолия Ивановича шевельнулось горделивое чувство: «А все-таки я это сделал...»

На лещуге по-прежнему трепыхался пух убитых Сашкой уток, и висели на кусточке лапы с огузьем разорванного выстрелом хлопунца. Анатолий Иванович с помощью Сашки столкнул в воду обсохший челнок, сложил туда ружье, термос, мешок из-под чучел и плетушку, затем отмыл сапог, почистил одежду и умылся сам. Сашка последовал его примеру. Они залезли в челнок. Анатолий Иванович уперся веслом в берег и резко послал челнок вперед. Из камыша с громким шумом поднялось несколько крякв. У Сашки опасно заблестели глаза...

— Лучше тебе тут не болтаться, — посоветовал Анатолий Иванович.

— А в Заречье охота есть?

— На Пре вроде разрешают.

— А утки там водятся?

— Не так, чтоб особо...

— С меня хватит.

Над озером простерлась тишина, в ожидании вечерней зорьки угомонилась даже Прудковская заводь. На большой высоте, стаями и в одиночку, летали утки. Рябь отливала темным золотом, зеленые, спокойные, стояли над озером леса.

— Повидал я таки свет, — сказал Сашка, — а красивше наших мест нигде нету.

— Больно ты раньше эту красоту замечал!

— Молодой был, вот и озоровал...

Но с приближением к базе Сашка забеспокоился. То ли на него произвели впечатление большие дома, стоящие на круче, флотилия моторных лодок у причала, грузовики, автобусы и легковые машины, поблескивающие меж сосен лаком и металлом, все эти приметы большой, серьезной жизни, которая шутить не любит, но лицо его подавешнему омелилось, и тревожно забегали глаза.

Анатолий Иванович подвел челнок к берегу, накинул цепь на железный надолб и подобрал свои костыли. У пристани, покуривая, сидел на бревнах сторож базы Пинчуков.

— Ты нешто живой, не утоп? — спросил он Анатолия Ивановича с насмешливым удивлением.

— Слушай, Пинчуков, генералы мои еще тут?

— Хватился! Факт, уехали. Разобиделись вдрызг! Такой крик стоял. Мы думали, Буренкова кондрашка хватит.

Анатолий Иванович помрачнел: в глубине души он рассчитывал на генералов. Почему-то он был уверен, что, разобравшись в случившемся, генералы примут его сторону.

— Тебе лучше не показываться, — посоветовал Пинчуков. — Начальство в худшем гневе.

— Бог не выдаст, свинья не съест...

Анатолий Иванович стал подыматься по лестнице, Сашка с опущенной головой поплелся за ним. Наверху мимо них с поганым ведром в руке пробежала девчонка Глаша с кухни, остановилась и по-бабьи жалостливо, склонив голову к плечу, уставилась на Анатолия Ивановича.

«Заживо хоронят!» — усмехнулся он про себя.

Буренков стоял у крыльца охотничьего домика, перекатывая во рту пустой мундштук. Он, конечно, заметил Анатолия Ивановича, но ничего не шевельнулось на его лице. Когда же Анатолий Иванович приблизился и

открыл рот, чтобы отчитаться перед начальством, Буренкова словно взорвало. Странен был этот мгновенный переход от видимого спокойствия к яростному, надсадному крику. Анатолий Иванович пытался ухватить суть разыгравшихся здесь событий. Он понял, что генералов хватились поздно, когда забеспокоился привезший их шофер, что отыскиали их не сразу и что Буренков не захотел как-нибудь оправдать его отсутствие. Естественно, это привело генералов в бешенство. Буренков не сказал Анатолию Ивановичу, что генералы, вернувшись на базу, хоть и ворчали, но больше были озабочены исчезновением егеря, чем своей незадачей. Они были благодарны егерю за редкостную удачную охоту и требовали, чтобы Буренков послал людей на поиски. «Чего искать-то, — сказал Буренков, — он с бабой своей на печи клопов давит». Тут действительно поднялся крик, и Буренков поздно понял, что сморозил глупость. Но успокоил себя тем, что виновник как-никак назван, и он, Буренков, несет лишь косвенную ответственность. Разозленные генералы не остались на вечернюю зорьку и укатили на своем везеходе.

— Пошумел, и хватит, — спокойно сказал Анатолий Иванович, когда Буренков замолк, исчерпав запас ругани. — Я вот браконьера привел, — он достал из кармана цевье и протянул Буренкову.

Буренков машинально взял цевье и пустыми глазами воззрился на Сашку.

— В заказнике стрелял, — заключил Анатолий Иванович. — До самой Талицы за ним гнался.

— Как до Талицы?.. — пробормотал Буренков. — Ты чего врешь?

Тут только он разглядел порванную одежду егеря, осунувшееся лицо, синие тени под глазами, ранку на губе и ржавые пятна крови на костылях.

— Вот его спросите, — кивнул Анатолий Иванович на Сашку.

Но Буренков не нуждался в подтверждении: он уже знал, что это правда. Если б генералы не уехали, как бы красиво обернулась вся история! Инвалид на костылях, его служащий, преследует восемнадцать километров злостного нарушителя по лесам и болотам, где и здоровому человеку трудно пройти. Да это, можно сказать, подвиг! Но генералы уехали. И в рапорте, который ему придется подать в ответ на жалобу генералов, такой поступок покажется просто неправдоподобным. Вон, скажут, какую

липу загнул, чтобы оправдаться! К тому же это выгораживало егеря, а на нем, Буренкове, все равно остается пятно: «Не обеспечил». С работы его и так не выгонят: он же предупреждал генералов о ненадежности егеря. Они сами настаивали, он пожалел инвалида Отечественной войны, дал ему возможность отличиться, а тот подвел его. Такая ошибка даже почетна.

Но было еще нечто, в чем Буренков не признавался сам себе. Теперь, когда одноногий егерь совершил такой необычный поступок, Буренков поверил всему хорошему, что о нем рассказывали. Это и впрямь человек незаурядный, с такими шутить не приходится. Оставался еще этот не к месту явившийся браконьер. Тоже герой, сопля на заборе, не мог с инвалидом справиться! Постукивая цевьем по ладони, Буренков перевел суровый и проницательный взор на стоящего чуть поодаль небольшого бледного человека. Тот ответил ему острым, коротким взглядом и вдруг, задержав мутной пленкой остроту своих глазок, закричал дурным, треснутым голосом:

— Гражданин начальник, не погубите! Восемь лет в неволе страдал, искупил вину перед обществом! По глупости, по неведению нарушил! Кабы знал про заповедник, за сто бы верст его обошел!...

Анатолий Иванович молча, с отвращением следил за представлением, какое давал Сашка Буренкову.

— Не знал, говоришь? — спросил Буренков.

— Вот вам крест, гражданин начальник! Как честный советский человек!..

— На! — Буренков протянул ему цевье. — Но смотри у меня. Если еще раз попадешься!..

— Не бойсь, не попадусь, — спокойно, с холодком отозвался Сашка и, забрав цевье, отошел.

— А ты, — Буренков перевел взгляд на Анатолия Ивановича, — чтоб больше тут портками не тряс. Имущество казенное, если что пропадет, я тебя притяну. Понятно? — И он не спеша направился к дому.

— Вон какой оборот, Толечка! — сказал Сашка без всякого торжества, скорее даже сочувственно, и вдруг захохотал. — Силен, гусь!..

Никак не отозвавшись, Анатолий Иванович пошел к своему челноку...

КОГДА УТКИ В ПОРЕ



В начале апреля я получил письмо от Анатолия Ивановича: зовет на охоту.

«...Весна у нас ранняя и дружная, тетерева орут — сил нет, третьего дня под самое окно глухарь прилетел, прямо как боров хороший, а Буренкова прогнали, и уток ожидают на Великом много, так что обязательно приезжай, это самая красивая охота, когда утки в поре».

Перед таким приглашением устоять невозможно. Смущало меня одно: как добраться туда в весеннее бездорожье? Мой приятель, рыжебородый, румяный весельчак, уже бывавший на Великом, уверил меня, что его старый «Капитан», приобретенный, похоже, на свалке металлолома, обладает качествами амфибии и чувствует себя на воде еще лучше, чем на суше.

Так или иначе, но мы без единой задержки домчались до развилки на Коробовском шоссе и взяли прямой путь на Мещеру. Приятель то и дело заводил речь о номерах дробы, пригодных для весенней дичи, о своем старом бельгийском карабине, бьющем без промаха на восемьдесят метров, предлагал держать пари, что обстреляет меня. Я отмалчивался, считая, что этими разговорами он только раздражает бога дорог и бездорожья. Приятель догадался,



что я отмалчиваюсь из суеверия, и это так его рассмешило, что мы едва не опрокинулись в кювет.

Асфальт кончился за Фролом, но почти до самого Дубасова мы ехали по песчаной, усыпанной щебнем насыпи — будущему шоссе. Камни с такой силой барабанили о днище машины, что мы опасались за наш бензобак. И все же мы благословляли эту насыпь: по сторонам от нее, в основном жидняке, грозно темнели глубокие, топкие лужи, их глинистые закраины были изжеваны колесами буксовавших там грузовиков. Возле Дубасова нам преградил путь чугунный каток, пришлось сползти вниз. Деревня, как и положено, оказалась непроезжей: ее во всю ширь пересекало весеннее озерцо, в котором вольготно плавали гуси. Мы рванули задами, прямо по целине. Уж не ведаю как, но мы проехали, оставив за собой на зеленом ворсе молодой травки широкие черные колеи, тотчас налившиеся водой. Дальше пошла грунтовая дорога, вся в рыжих лужах, но дно у луж было твердым, и мы с ходу форсировали их, вздымая фонтаны брызг...

Вот наконец показалась деревня Тюревище, стоявшая на берегу Пры, и во мне впервые затеплилась надежда, что мы и впрямь доберемся до охотхозяйства, и будет встреча с Анатолием Ивановичем, и влажный холодок крутых бортов челнока, и озеро Великое, и утки в поре, и сладкая, слаще всех ароматов, селитряная вонь пороха после удачного выстрела, и теплое, тяжеленькое, воцанное тело убитого селезня...

Всего лишь однажды, лет шесть тому, пытался я проникнуть сюда в весеннюю пору. Шоссе обрывалось где-то у Егорьевска, и нечего было рассчитывать проехать сюда на машине. Я добирался поездом до станции Бармино, попутным грузовиком до Фрола, а оттуда вплавь, и не всегда на челноке. Прибыв к месту назначения с температурой сорок, я залег на печи под двумя тулупами и так скоротал недолгий срок весенней охоты. После того я бывал тут лишь летом да ранней осенью, а весны проводил на тяге в подмосковных просеках. Понятно, как волновала меня предстоящая охота, ведь мне впервые придется увидеть селезней в свадебном уборе, или, как говорят мещерцы, в своем пере, увидеть брачное таинство птиц, являвшихся мне, летнему охотнику, как бы лишь в обличе самок.

Мы благополучно проскочили Тюревище, по гнилому деревянному мосту переехали широко и незнакомо разлившуюся Пру и уже в близости соснового леса, за кото-

рым раскинулась охотничья база, намертво завязли в обширной, но не опасной с виду луже. Едва успел я выскочить из машины, как вода стала вровень с дверцами, и мой спутник оказался накрепко закупоренным, словно в консервной банке. Опустив боковое стекло, он стал истошно кричать, чтобы я быстрее топал на базу за тягачом.

Я подходил к сосняку, когда со стороны редкого леса, слева от меня, донеслись выстрелы. Стреляли, видимо, по рябчикам, а охота на боровую дичь уже была запрещена. Между деревьями мелькнула фигура в прорезиненном плаще. Человек заметил меня, что-то крикнул в глубь леса и неторопливо, будто боясь оступиться, направился в мою сторону. На мне были высокие резиновые сапоги, стеганый костюм и финская суконная фуражка, и он, верно, принял меня за егеря.

— Вот, ружьишко пробую, — сказал он с фальшивой улыбкой на полном, мучном лице.

Из леса вышел мальчик лет десяти и остановился в нескольких шагах от нас.

— Вам известно, что это браконьерство? — сказал я.

— Ружьишко пробовал, — повторил человек. — Вот и сынок может подтвердить. Так, сынок?

Вместо ответа мальчик сунул палец в нос. Он походил на отца: такой же крупный, сытый, мучной.

— Видите, — сказал человек, словно на общепринятом языке жестов ковыряние в носу означало: да, так.

Мне захотелось припугнуть эту лжеца и нарушителя:

— Где работаете? — спросил я строго.

— А в совхозе, — сказал человек тем же вкрадчиво-успокаивающим голосом. — В совхозе имени товарища Буденного, где же еще?

— Вам придется пойти со мной.

Он задумчиво поглядел на меня.

— Знаете, я лучше туда пойду, — он ткнул большим пальцем через плечо. — Я, правда, лучше туда пойду. А вы ступайте потихоньку, куда вам надоть.

Когда он произнес это нарочитое «надоть», взгляд его как-то дурно заволокло. Я вспомнил, что за браконьерство полагается немалый штраф — тридцать рублей новыми деньгами, — и мне стало не по себе. В руках этого мучного, благообразного человека в сильно пахнущем резиной плаще было ружье, а дорога пустынна, не следо-

вало заблуждаться насчет ценности своей жизни в чужих глазах...

Тут поблизости послышался шум мотора. Я оглянулся: ныряя тупым рылом в колдобины, к нам приближался взездход охотничьей базы. На радости я хотел было отпустить браконьера подобру-поздорову, но он уже не нуждался в моем снисхождении. Поддерживая рукой толстое брюхо, двустволка на плече, он мчался крупной рысью через дорогу к оврагу, высоко вскидывая колени. За ним очень похоже, с недетской тяжестью, трусил его мальчонка. Солидный, толстый, знающий себе цену человек позорно удирал на глазах собственного сына от опасности, отнюдь не смертельной. Мне стало жаль мальчонку, хотя, верно, он увидит в поведении отца не трусливую низость, а находчивость и ловкость...

Оказалось, сегодня второй день пасхи, и шофер спешил в Тюревище за «горючим». Однако он твердо обещал мне, что сперва вытащит из лужи моего приятеля, а уж затем займется добыванием самогона.

Слово свое он сдержал: когда я приближался к охотничьему домику, в обгон промчалась наша забрызганная грязью машина...

Как свежее и хорошеет все вокруг, когда прогоняют главного руководящего дурака! Самый воздух становится иным. Не знай я из письма Анатолия Ивановича, что Буренкова выгнали, я и так понял бы это мгновенно. И не потому, что у причала вместо сонно хмельных образин буренковских обормотов, набранных из беглых колхозников, мне виделись славные, серьезные лица подсвятынских егерей, не потому, что исчезли орудовские знаки, осквернявшие лес, и батарея уборных на береговой круче, осквернявшая озеро, — а по спокойствию и умной тишине, разлитым над базой. Буренков был громогласен, настырен, суетлив, хотя и любил иной раз покрасоваться в истуканьей позе, с рукой, сунутой за борт ватника, с взглядом победителя, устремленным в сторону Дуняшкиной заводи. Он держал людей в вечном напряжении, все служащие — от кухонной судомойки — до охотоведа, сбивались с ног, выполняя его противоречивые указания, но вся эта суматоха не рождала пользы: лодок, чучел и подсадных постоянно не хватало, егерей не доискаться было, приезжие охотники толпой маялись на сходах, даром теряя драгоценный зоревой час.

Анатолий Иванович познакомил нас с новым заведующим базой. Это был пожилой человек с усталым лицом.

Его сухая, продубленная солнцем и ветром кожа имела тот прочно-красноватый оттенок, что бывает у людей, постоянно живущих на природе. Прежде он заведовал большим охотхозяйством под Астраханью, но вдруг на шестом десятке забарахлили легкие, и его перевели сюда, в сухую сосновую благодать.

Привыкнув к буренковской повадке, мы схватились за карманы, чтобы предъявить заведующему охотничьи билеты, карты отстрела, квитанции на койки и паспорта. Угадав наше намерение, он мягко остановил нас.

— Когда отохотитесь, — сказал он, — то отдадите свои карты егерям, чтобы они проставили количество убитой дичи.

При виде такого доверия мы едва сдержали слезу. Значит, можно так жить! Можно верить, что приезжающие из Москвы за двести километров в распутицу люди, к тому же знакомые местным служащим, не жулики и не безумцы, отваживающиеся браконьерить в охотхозяйстве.

Конечно, мы сразу подружились с Николаем Петровичем Болотовым. Через пять минут он уже звал меня и моего приятеля по отчеству. Я думал, мне следует договориться с ним насчет Анатолия Ивановича, в охотхозяйстве обычно не склонны считаться с «капризами» гостей. Но, милый человек, он уже дал распоряжение Анатолию Ивановичу готовиться в путь. Вот почему Анатолий Иванович исчез: едва успели мы обменяться рукопожатиями, он пошел за чучелами и подсадной.

Болотов предложил нам поглядеть на редкого зверя, случайно угодившего в рыбачью сеть. На скамейке лежало странное существо — округлый мохнатый комок с кротинным хоботком, утиными перепончатыми лапами, длинным, довольно широким хвостом в темных роговых чешуйках, как у ящерицы. Сочетание в одном существе примет зверя, пресмыкающегося и птицы было отталкивающим, от этого веяло мраком и чужестью доисторических времен, когда твари земные еще не распределились по стихиям.

Я взял на руки загадочного уродца.

— Холодный...

— Да его уже дохлым вытащили, — сказал Болотов. — Он в сети задохся. Это выхухоль, в здешних местах их не знают.

— Выхухоль! — потрясенно вскричал мой рыжебородый приятель. — А я всю жизнь думал, что выхухоль — птица!..

Послышался слабый вскрик, что-то тренькнуло, и тяжело плеснула вода.

Глаша, судомойка с кухни, споткнулась босой ногой о корень и уронила полное ведро. Маленькая, тонкая, как тростиночка, она с отчаянием глядела на опрокинутое ведро, поджав ушибленную ногу. Мой рыжебородый приятель вспыхнул, схватил ведро и помчался к колодцу. Глаша, прихрамывая, поплелась следом.

Я успел натянуть прорезиненный комбинезон, собрать ружье, набить патронташ, а рыжебородого все не было. Я подождал-подождал, да и пошел к сходимям...

Анатолий Иванович оттолкнулся веслом от причала, и челнок, взмучив илистое дно, вырвался на глубину. Опустившись на скамеечку и будто не замечая меня, егерь старательно скрутил папиросу, затем, пряча огонек в ладонях, закурил, снова взялся за весло, чтобы развернуть челнок по курсу, и лишь тогда, освободив себя от всех забот, улыбнулся застенчиво и радостно.

— Ну, как она?.. — он разумел «жизнь». — Как Курилыч?

Я успокоил его насчет Курилыча: процветает.

— А Курахтаных?.. Чего не приехал?

Ответить на этот вопрос было сложнее: наш друг Курахтаных уж никогда не придет на Великое, не спросит своим протяжным, вежливым голосом: «Анатолий Иванович, дорогой, какой номер дрови мне брать?» Осколок, пролежавший у него под сердцем с финской войны, в единый миг оборвал его жизнь.

— Ну, он хоть живой?

— Скорей нет... — растерянно-глупо ответил я, желая смягчить удар.

Анатолий Иванович долго молчал, тихонько ворочая веслом. Под его руководством Курахтаных сделал свой первый выстрел, сбил первую утку, из ленивого, скептического любителя превратился в страстного утино охотника.

— Хороший был мужик Илья Иоганнх, уважительный, — донеслось будто издалека.

Анатолий Иванович впервые выговорил трудное отчество нашего друга.

Странно для меня выглядело озеро, оно было как бы голым, сквозным. Сита, в летнее время крившая его зелеными островками, еще не отросла, лишь редкие сухие, белесые камыши покачивались над синей ветряной рябью. Кое-где желтели расцветшие кувшинки, но их лис-

тя, как и бурые поля ушков, были накрыты большой весенней водой. Озеро просматривалось во все концы, и я впервые воочию убедился, насколько справедливо названо оно Великим.

Необычно выглядел и шалаш, в который поместил меня егерь. Он был сложен в тростнике из еловых лап, короткий, узкий, с плотной крышей из того же ельника. Оказывается, крыша служит добрую службу: она препятствует стрельбе влет, когда легко спутать селезня с самкой. То ли из обычного словесного озорства, заставлявшего Анатолия Ивановича применять к утиным породам диковинные местные названия, то ли из желания подчеркнуть особенность этого шалаша, егерь назвал его непривычным для меня словом: скрадень.

Изменились и чучела под стать окружающему. Вместо старых бурых знакомцев перед шалашом закачались ярко изукрашенные красавцы. Я узнал крякового селезня, чирка-трескунка, красноголового нырка, самый же яркий оказался весенним подобием невзрачного чирка-свистунка. Лишь подсадная осталась прежней, хотя повадка ее, в чем я скоро убедился, тоже стала иной.

Я думал, что Анатолий Иванович, раскидав чучела, по обыкновению заведет челнок в шалаш. Но оказалось, что скрадень мал для челнока, а сухой камыш не служит маскировкой.

— Я позже наведаюсь! — крикнул Анатолий Иванович, отплывая от шалаша.

Честно говоря, я сразу потерял надежду на удачу. Мне был виден лишь малый пятачок воды перед шалашом, где покачивались чучела да прихорашивалась подсадная, а я привык к широкому обзору, когда можно оглянуть простор и небо. Я хотел встать, но плотная крыша сразу вернула меня в сидячее положение. Странен мне был и дневной зрелый час, я привык к охоте в таинстве вечерних сумерек или утренних зорь. Самые чучела не вызывали доверия, яркая, ярмарочная расцветка подчеркивала их невсамделишность. Я еще предавался этим пустым мыслям, когда подсадная, лишь изредка издававшая ленивое, ржавое «кря-кря», вдруг зашлась в безостановочном нутряном крике.

Рядом с чучелом красноголового нырка сидел другой обладатель ярко-алой головы и такой же шеи, черного зоба, серых, впроголубь, крыльев. Лишь на миг показались они мне схожими, затем меня прямо-таки ошеломило различие между одушевленной плотью, живым, изящным,

с гордой повадкой существом, и неуклюжей подделкой. Как могут утки поддаваться на такой грубый обман! Красноголовый красавец медленно плыл в сторону подсадной. Я выстрелил, толком не прицелившись. Красная головка опустилась в воду, крылья забились, фонтаня брызгами. Еще выстрел. Нырок стих и закачался на волне. Не успел я перезарядить ружье, как нырок, завалив головку косо на спину, стал уплывать к тростниковой заросли. Неужто весенний экстаз наделяет их такой живучестью? Чепуха, весенняя дичь не крепка к ружью, просто мне изменили рука и глаз. Теперь я целился долго и старательно, однако мне удалось добить его лишь четвертым выстрелом. И тогда я дал себе зарок: если опять не убью селезня с первого выстрела, с охотой покончено. Нельзя мазать в пятнадцати-двадцати метрах по сидячей дичи, обращать охоту в мучительство. Одно дело рвать тончайшую нить, на которой держится жизнь, иное — скоблить ее тупым ножом...

Все же я сохранил для себя охоту. Вдали уже показался челнок Анатолия Ивановича, когда снова таинственно закричала подсадная, приветствуя севшего в десятке метров от нее чирка-трескунка. Я взял его как надо, с одного выстрела. Он почти не отличался от своего летнего образа, лишь на головке белела полоска, окаймленная черным. Видно, трескунячьи дамы не любят франтовства.

— Я думал, вы вдвое больше набили, — холодно заметил Анатолий Иванович.

— Отыграюсь на вечерней зорьке, — самоуверенно сказал я.

Но с вечерней зорьки я вернулся пустым: не было ни одной подсадки. На базе царило легкое оживление: не зря вездеход прокатился в Тюревище. Мы уже не застали пирушки. Несколько служащих базы вместе с охотниками распивали в столовой чай из огромного голубого чайника, Анатолий Иванович подсел к ним.

Когда я, умывшись и переодевшись, вернулся в столовую, Анатолий Иванович спорил о чем-то с дородным, багроволицым, седовласым охотником в замшевой курточке на молниях.

— Как хотите, — говорил он сытым голосом, — а не верится мне, что ваша жена так мало заработала!

— Почему — мало? Она еще выговор заработала, чтоб не ленилась.

Я догадался, что речь шла о делах колхозных.

— Как же вы прожили зиму?

— Так вот и прожили! — отрезал Анатолий Иванович.

— Небось рыбкой пробавлялись? — высказал предположение Болотов.

— Не особо, — сказал Анатолий Иванович. — На Озерке вовсе ловля была запрещена.

— Наконец-то взялись за охрану рыбных богатств! — обрадовался седовласый.

— Взялись, да не с того конца, — спокойно сказал Анатолий Иванович. — Невозможно, сколько рыбы подо льдом задохлось.

— Это почему же?

— Мы, когда ловим, шурфы во льду пробиваем, ну, рыба и дышит. А еще: часть выловим, тогда остальной кислороду хватает.

— Точно! — подтвердил Болотов.

— Но надо же бороться с браконьерством!

— Обязательно, — наклонил голову Анатолий Иванович. — Того, который запретил рыбалить на Озерке, надо поймать и за решетку...

— Чего ловить-то! — вмешался старый егерь Беликов. — Небось в Москве в кожаном кресле сидит.

— Тогда его не поймаешь, — заключил Анатолий Иванович.

— Ну, знаете, вы слишком мрачно смотрите на вещи! — Охотник в замшевой куртке начинал злиться.

— А я не смотрю на вещи, — невозмутимо отозвался Анатолий Иванович. — Кой толк?

— Не робей, воробей! — засмеялся Егор Беликов и вдруг шикнул незаконченным средним образованием. — Мы еще увидим небо в алмазах!

— Небо что, — отозвался Анатолий Иванович. — Там полный порядок.

— Ничего, наладится ваша жизнь, — наставительно сказал дородный охотник. — Не все сразу...

— А я на свою жизнь не жалуясь, — вызывающе перебил Анатолий Иванович. — И ни на какую другую не променяю. Я, может, лучше вашего жизнь прожил. Я всегда был с водой и деревьями, со всякой птицей, с рыбой, зверьем и со своей душой, коли она есть...

Понял ли охотник в замшевой куртке, что в этом споре ему не победить, но только он поднялся, наигранно сладко потянулся, до хруста позвонков.

— Хорошо с вами, да перед зорькой не мешает всхрапнуть, — и он вразвалку вышел из столовой.

— Подстрелил он чего? — спросил Анатолий Иванович Беликова.

— Вроде бы матерого, только не нашли его...

— И не ищите, он матерого в уме подстрелил.

— Чего ты с ним сцепился? — спросил Болотов.

— А что он из меня придурка делает? Я морс из соплей сроду не потреблял. Терпеть не люблю этих городских, что мужичку сочувствуют...

— Утешающий господин, в рот ему дышло! — в тон Анатолию Ивановичу сказал Егор Беликов, нахмутив толстые черные брови.

Я спросил Болотова, не видел ли он моего рыжебородого приятеля.

— Как же!.. — усмехнулся Болотов.

— Он что — охотился?

— Да, на кухне.

Ночью на базу прибыли два автобуса с охотниками, и на утренней зорьке мы с трудом отыскивали свободный шалаш. Еще в темноте озеро озарилось вспышками выстрелов, но Анатолий Иванович скептически отнесся к этой жаркой пальбе.

— Балуются, порох тратят, не слышать уток-то...

А он слышал даже пролет одиночного чирка в вышине.

Рассвет пришел навалом. Разом, без всякой постепенности, все вокруг загорелось, заблестало, вызолотилось, будто не с востока, а с четырех сторон света взошло по солнцу. Нестерпимо засверкала вода перед шалашом, и огнисто вспыхнула неподалеку от подсадной красно-коричневая голова селезня-белобрюшки. Похоже, что он прилетел еще затемно. Я долго целил в его жаркую, фазаньи цветастую красоту. Мушка ружья перебегала с белого надглазного пятнышка на кирпичную шейку, на серую, рябистую полоску, отделяющую шейку от зоба, на светло-багряный лоб. Дробь легла точно по цели.

Больше подсадок не было. Лишь крупный матерый селезень вмиг налетел на подсадную, уже наизготове, потоптал и ушел под ее прикрытием низким, косым полетом...

Оставалось еще две зари, вечерняя и утренняя, — и конец охотничьему сезону! Анатолий Иванович предложил перебраться к нему в Подсвятье, поохотиться на Озерке. Оно тоже принадлежало охотхозяйству, но туда

никто не ездит, уж больно далеко от базы. Я с радостью согласился: не люблю, когда охота превращается в масовку, да и хотелось взглянуть на Подсвятие.

Нужно было договориться с рыжебородым. Теперь-то я знал, где его найти.

На крыльце кухни, перекинув через плечо суровое полотенце, мой друг старательно вытирал обеденные тарелки. Я сказал ему о предложении Анатолия Ивановича. Он промолчал, тарелка чуть повизгивала под нажимом его пальцев.

— Так поедешь?

Он предупреждающе округлил глаза. Из кухни вышла Глаша с горкой мокрых тарелок. Она глянула на меня исподлобья, поставила горку на колченогий столик, а сухие тарелки забрала с собой.

— Не поеду я, — решительно сказал приятель. — У меня тут дела...

— Я думал, у нас одно дело — охота. Ну да как знаешь... Ты хоть подкинешь меня до Ялмонта?

— Можно...

— И приедешь за мной послезавтра утром?

— Ну приеду, — неохотно отозвался приятель.

Анатолий Иванович на челноке попал в Ялмонта раньше нас. Мы опять битый час проторчали в той же луже у моста. Неглубокая, с довольно твердым дном, она срабатывала как капкан, хватая в последний момент задние колеса и стремительно всасывая машину в себя. Вытащил нас шальной грузовик, случайно оказавшийся на трассе в праздничный день.

При расставании мой друг смотрел угрюмо. Я думал, жалеет, что отказался ехать с нами. Но нет, его заботило другое.

— Вдруг опять застряну в луже? — сказал он. — Глаша заругается...

Мы с Анатолием Ивановичем быстро перебрались через узкий рукав Пры к хутору Беликову, как именуют подсвятиницы правый край деревни.

Непривычно выглядела знакомая мне часть Подсвятия. Прежде деревню отделяла от реки Пры мокрая луговая в полкилометра шириной, а сейчас займище реки налилось водой, и деревня стояла как бы на берегу озера. Верно говорил Анатолий Иванович, что по весне тут можно охотиться, не выходя из дома.

На скамеечке под окнами нас поджидали Юрка и Танька. За минувший год ребята сильно вытянулись и

повзрослели. В четырнадцатилетнем Юрке появилась отцовская неторопливая основательность и некоторая хмурость, словно жизнь обременила его немалой заботой. Впрочем, так оно и было: мать уехала на праздники к родственникам, оставив все хозяйство на Юрку.

Десятилетняя Танька стала красавицей; смуглая, вся усеянная веснушками, с зелеными блестящими глазами. Она стеснялась своего облика, своих прелестных веснушек, и потому, чуть завидев нас, стала прятать лицо в ладонях, оставляя открытым лишь один любопытный кошачий глаз.

До Озерка по прямой было рукой подать, но добраться туда на челноке — путь немалый. Нужно пройти водопольем до Пры, затем по самой реке перетащить челнок через отмель и плыть километра два протокой и по залитому водой болоту. Небо хмурилось тучами, накрапывал дождь, решено было на вечернюю зорьку не ходить.

Остаток дня прошел невесело. Анатолий Иванович томился. Он то включал, то выключал радиоприемник, цыкал на ребят, забирался на печь и тут же скатывался вниз, вздыхал, тер лицо руками и курил одну за другой, брезгливо морщась, словно папиросный дым ему горек. Я никогда не видел его таким беспокойным и развинченным. Ни разговоры, ни чай из самовара, ни «подкидной дурак» не могли отвлечь его от этой странной тревоги. Лишь Таньке на какое-то время удалось заинтересовать его. Она напяливала на себя незамысловатые материнские наряды, будто ненароком заглядывала в горницу и с визгом, закрыв лицо руками, пускалась наутек. Анатолий Иванович начал было улыбаться, но вдруг нахмурился и сердито гаркнул:

— Хватит дурочку строить!

В кухне, гремя рогачами, возился Юрка.

— Юрка, слышь!.. — окликнул его отец.

— Чего тебе? — хмуро отозвался Юрка.

— Скажешь, загуляла!.. Дня еще не прошло...

— Нешто она сегодня ушла?

— А то не знаешь!

За годы нашего знакомства я не слышал, чтобы Анатолий Иванович говорил с женой о чем-либо, кроме хозяйственных дел, не приметил ни одного его ласкового взгляда или жеста, обращенного к ней. Но как же сильно ощущал он ее существование рядом с собой, если даже короткая разлука была ему непереносима!

Юрка собрал поужинать: холодная рыба, моченые яб-

локи, утиный суп, пшенная каша с маслом. Анатолий Иванович вяло поковырял вилкой рыбу, съел несколько ложек супу, а от каши отказался.

— Заелся! — обиженно сказал Юрка. — Ишь, балованный какой!

— Неохота мне подгорелую кашу есть, — проворчал Анатолий Иванович.

Каша несколько не подгорела. Отменная, чудесно упарившаяся в печи каша, даже Шура не сготовила бы вкуснее. Анатолий Иванович становился несносен со своей тоской, и я вышел на улицу покурить. Все небо было обложено толстыми иссиня-черными тучами, закат пробивался в разрыве туч темно, густо-красный, как сок переспелой вишни. Похоже, собиралась гроза. В окружающем мире шло какое-то брожение: орали гуси, блеяли овцы, домашние утки носились над водопольем с резвостью диких своих собратьев. Пестрая курица, клевавшая селедочную головку, вдруг закричала по-петушьи, подскочила вверх и с громким шумом полетела за плетень.

Из дома Петрака, двоюродного брата Анатолия Ивановича, выбежало смуглое, как гогеновские таитянки, долгоногое, долгорукое существо в куцей белой тряпочке, не достигавшей колен и едва прикрывавшей молодую грудь. Девушка выбежала из покосившейся избы на тихую пустынную улицу, как выбегают на праздничную площадь, где во все четыре стороны, кружа голову, кипит веселье. И вдруг остановилась, замерла, словно поняв, что бежать-то некуда.

Теперь я узнал ее, это была старшая Петракова дочь, Люда. За год, что я ее не видел, она перешагнула грань, отделявшую неуклюжего, голенастого, почти уродливого подростка от совершенной юношеской формы. Она ничего не сохранила от прежнего, кроме жалкого детского платьица и разношенных, с замятыми задниками тапочек, спадавших с ее длинных, узких ног.

Люда постояла, склонив голову к тонкому, смуглому плечу, и медленно побрела к качелям, свисающим с толстого сука плакучей березы. Она стала на узкую дощечку, толкнулась ногой, обронив тапочку, и принялась раскачиваться.

Повизгивали проволочные петли, поскрипывал сук, роняя мшистую шелуху, развевался белый подол, все выше и выше взлетали качели, напрягались смуглые икры, напрягались тонкие руки, качался синий, печально-жестокый взгляд.

За моей спиной хлопнула дверь. Пахнув тройным одеколоном, мимо прошел Юрка в новых брюках, плисовой курточке и белой рубашке с отложным воротничком. Много заманчивых дорог лежало перед этим франтом, но он выбрал кратчайшую, ту, что вела к качелям. Видимо, это оказалась совсем не простая дорога, она шла зигзагами, петляла, поворачивала вспять, воздвигала перед путником бесчисленные незримые препятствия. Весь в поту, добрался Юрка до качелей и стал там, лопухий, трогательно костлявый и ужасно незрелый рядом с мелькавшей мимо него девушкой. И все же качели замедлили свой маятниковый бег, а вскоре и вовсе замерли. Юрка ухватился за ржавую проволоку, поставил ногу на досечку, Люда подвинулась, давая ему место, и взгляд ее уж не был ни жесток, ни печален, а ликующе, радостно враждебен...

На охоту мы вышли затемно. На ощупь отыскивали челнок, погрузили снаряжение и отплыли. Гроза прошла стороной, было пасмурно, рассвет занялся неприметно, но сразу по всему простору. Я как-то заметил, что вижу не только челнок и лицо Анатолия Ивановича, но и дома на берегу, и высокие сосны на косе, откуда начиналась протока, и колокольню Ялмонтьевского храма.

В протоке нас снова охватила тьма. Мы долго плыли по узкому водному коридору, ивы купали в чернильной воде свои светлые сквозь сумрак, еще не облиственные ветви. Вкусно пахло свежей сыростью молодой травы, почками, весенними телами деревьев. Тем временем распогодилось, и небо над головой посветлело, зарумянилось. Солнечные лучи проникли сквозь заросли лозняка, протока словно раздалась в берегах, и по стрелю легла золотая нитка.

Вода курилась, мы пронизывали жемчужные клубы водяного дыма, порой теряя друг друга из виду, и мне, сидящему на носу, казалось, будто Анатолий Иванович нагоняет меня на другом челноке и вот-вот врежется в мою корму. Туман рассеялся вмиг, унеся в своих клубах водный коридор с его сумраком, нависшими лозинами, сырой склепией духотой. Вверху было бескрайнее голубое небо, вокруг, сколько хватал глаз, голубовато-зеленая вода. Я думал, это и есть Озерко, — нет, болото, залитое внешней водой. Из воды торчали голые кусты и березы-кривулины, вода затопила и смешанный лесок по правую руку от нас. Весна пела тут во весь голос. Токовали тетерева, щелкали соловьи, посвистывали синицы, надрывались пе-

репела. Они были самыми неистовыми в этом любовном хоре. Как чист и громок был перепелиный голос, если, долетая сюда издалека, с прошлогоднего жнивья, он звучал будто над самым ухом. Перепела вавачили по всем правилам: а бой их был странно укорочен: они выкликали не по-принятому «пить-полоть!», а просто «пить!». Я спросил об этом у Анатолия Ивановича.

— Видать, они как иные наши колхозники, — отозвался егерь, — пить здоровы, а полоть не горазды.

Тут светло и мощно затрубили журавли, и под их серебряные валторны, разломив какие-то тощие заросли, мы прорвались в Озерко.

Озерко отличалось от болота лишь тем, что в нем ничего не росло, цвет воды был тот же голубовато-зеленый. Озерко не имело сейчас четких границ, оно затопало берега, поросшие березняком. У потонувших в воде подножий деревьев что-то золотилось, а когда мы выплыли на середину Озерка, я увидел, что оно обведено золотом по всему окружью. Это было непонятно, красиво и диковато. Рассудку вопреки у меня мелькнула мысль о палой листве, неведомо как пронесшей сквозь зиму свою яркую осеннюю окраску. Я не спросил Анатолия Ивановича о происхождении этого золотого обруча, верно, из смутной боязни, что его ответ разрушит красоту удивительного явления.

Мы подплывали все ближе к затопленному березняку, и золотого становилось больше и больше, оно простиралось в глубь леса, громоздясь кучами у стволов. Тяжкой, нестерпимой вонью потянуло от березняка. И вот будто овальное золотое блюдо закачалось у самого борта челнока. Анатолий Иванович подбагрив его веслом: крупный дохлый окунь, сохранившийся до последней чешуйки, с хвостом и плавниками, с характерно приоткрытым глупым ртом, с красноватым прогнильцем на месте глаз, отчего казалось, что он сберег живой зрак. Только теперь увидел я, что лес сплошь завален изгнившей в золото рыбой. Так вот о чем говорил Анатолий Иванович на базе! Полая вода вынесла всю массу задохшейся подо льдом рыбы на берег, и, чуть спав, украсила Озерко этим зловещим и смрадным обручем. Природа мстит самоуничтожением за всякое бездумно-грубое вторжение в ее бытие, такое, казалось бы, простое и вместе сложное, таинственное, приоткрывающее себя лишь бережному, терпеливому, пристальному и смиренному взгляду.

Никогда не забыть мне этого рыбьего кладбища!

Мы забрались в большой шалаш, сложенный Анатолием Ивановичем ранней весной для собственной охоты и почти целиком принявший в себя наш челнок. Справа и слева от нас сухо звенели желтые камыши, чирки-свистунки подлетали близко и опускались в камыш, сразу исчезая из виду; иногда они садились на чистом, но за пределами выстрела. Анатолий Иванович, тяжело багровея лицом, свистел в кулак, в надежде подманить их ближе. Обычно доверчивые и отзывчивые, чирки почему-то не поддавались на хитрость егеря.

— Может, чучелов наших опасаются, — предположил Анатолий Иванович, — не надо было гоголей сажать, больно они велики и пестры.

Все же нашелся один, то ли посмелее других, то ли доверчивей, которого не смутили аляповатые чучела. Он сел между деревянным гоголем и резиновым трескунком, ярко светлея грудкой. Чучела повернулись под ветром, и он, словно подражая им, повернулся боком, подставив под мушку изумрудную полоску в своем крыле. Дробь легла кучно по цели, чирок перевернулся кверху брюшком.

Пошел дождь. Шалаш не защищал от дождя, наоборот — скапливал влагу, а затем ронял ее нам за шиворот, на лицо, руки и колени холодными водопадиками. Особенно досадно было, что в каких-нибудь десяти метрах от нас, справа, дождя не было, там вовсе светило солнце, ярко зеленела хвоя и драгоценно сверкала дохлая рыба. Даже в дождь мне удалось подстрелить свиязь.

— Давайте станем правей, — предложил Анатолий Иванович. — Там хоть и нет шалаша, зато сухо.

— А как же мы замаскируемся?

— Да никак. Заедем в лозняк, и все. Повезет — хорошо... Время-то уж позднее.

Я взглянул на часы: половина десятого, через тридцать минут кончается весенний охотничий сезон.

Мы собрали чучел, добычу, с трудом поймали вдруг заметавшуюся на привязи подсадную и во весь дух помчались прочь из дождя. На дне челнока плескалась дождевая вода. Мы вышли из дождя, как из леса: вокруг чистый простор, свет и тепло. Анатолий Иванович прочно стал на свою единственную ногу и, умело, сильно орудия веслом, узкой его лопастью, в несколько секунд вычерпал всю воду из челнока.

Чучел рассаживать не стали, ограничившись подсадной. Конечно, лозняк не служил укрытием, нас было видно со всех сторон, но хотелось досидеть оставшиеся чет-

верть часа, встретить на огневом рубеже конец весенней охоты. Еще пятнадцать минут, и уж ни один выстрел не прогремит на Озерке до середины августа, замолкнут Великое и Дубовое, большая тишина воцарится над озерным краем, над всей Мещерой, и уж никто не помешает птицам допраздновать их любовный праздник. Впрочем, утиные свадьбы уже на исходе, пришла пора высидывать яйца, и самки скрываются от неистовых в своей любовной ярости селезней. Ведь селезни разоряют гнезда, расклеывают яйца, душат маленьких птенцов, им ненавистно все, что отвлекает от них самку. И охотники, стреляя селезней в эту пору, способствуют воспроизведению утиного рода.

— Вон матерый сел, — громко сказал Анатолий Иванович.

Я проследил за его взглядом. Метрах в восьмидесяти на чистой воде сидел кряковый селезень. Сейчас против солнца он казался темным и плоским, словно вырезанный из черной бумаги. Он был такой большой, красивый и недосыгаемый, что я решил выстрелить, просто чтобы прогнать его. Я вскинул ружье.

Подсадная заворчала, это не было ни призывом, ни сигналом, она даже не приоткрыла клюва: что-то вроде чревовещания, таинственные звуки, рождавшиеся внутри нее и невесты как поступавшие в простор. Я нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало: забыл спустить предохранитель. И в ту же секунду селезень взмахнул крыльями и полетел прямо на нас.

Он сделал круг над подсадной, накрыл ее, как плащом, тенью своих крыл, и опустился на воду с легким всплеском. Сложив крылья, он замер с гордо вскинутой шеей. До чего же он был хорош! Почти черная бархатистая голова с изумрудным отливом, вокруг шеи белая лента, грудь темно-багряная, на темных крыльях синяя с прозолотью полоса. Я решил дать ему последний шанс и, прежде чем выстрелить, взглянул на часы: без трех минут десять. Я имел право на выстрел, а селезень не использовал своего последнего шанса к спасению. Какой же ослепительно прекрасной была ему серенькая утка, если при всей своей зоркости он так и не увидел нас, больших, плохо замаскированных, да еще освещенных солнцем, заставлявшим взблескивать ствол моего ружья, головки патронов в патронташе, пряжку ремня на куртке и каждую пуговицу на гимнастерке Анатолия Ивановича.

Я выстрелил. Селезень распластался на воде, утопив

свою черно-изумрудную голову. Он даже не дернулся, сразу приняв в себя смерть. Я вынул уже ненужный патрон из второго ствола, и Анатолий Иванович напролом, сквозь кусты, толкнул челнок. Селезень весил не меньше двух килограммов, он был горячим на ощупь, так вскипятилась в нем кровь последним желанием.

Я не мог не выстрелить по нему, иначе мне пришлось бы раз и навсегда бросить охоту. Если человек сомневается в своем праве охотника, он уже не смеет убивать ни в конце, ни в начале, ни в разгар охоты, потому что он тогда не охотник, а убийца. Я должен был убить этого селезня ради всех селезней, убитых по весне, ради всех, которых я убил и еще убью в своей жизни, и ради самого себя, чтобы не лишиться прекраснейшего, что есть на свете: права вверяться древнейшему человеческому инстинкту охоты.

Снова пошел дождь, теперь уже обложной. Анатолий Иванович решил добраться по болоту до Петракова бугра, что в полукилометре от Подсвятыя. Челнок он оставит там и придет за ним, когда развиднеется.

В сером, сочащемся небе мелькали быстрые чирки, прямо на челнок налетела пара чернетей и с громким треском крыльев метнулась прочь. Бедняги не знали, что могут сесть даже нам на плечи, это уже ничем им не грозит. Впрочем, через несколько дней они поймут это и перестанут бояться.

Разгребая веслом дохлых окуней, лещей, сазанов, Анатолий Иванович провел челнок через березняк, затем мы пересекли болото и вскоре пристали к песчаному берегу Петракова бугра, разделявшего поймы Озерка и Великого. Здесь Анатолий Иванович выпустил из плетушки подсадную, предоставив ей добираться своим ходом. Утка было запрямылась, затопталась на месте, изображая всем видом кокетливую беспомощность, но легкий направляющий пинок заставил ее быстро заковылять к воде по ту сторону бугра.

— А не пропадет?

— Еще чего! Да ее где ни выпусти, все равно домой придет, — почище собаки.

Когда мы входили в деревню, я увидел подсадную: старательно работая лапками, она плыла к дому. А потом она полетела и не то чтобы низом, а в полроста тополей, растущих по краю, и, миновав водополье, опустилась возле избы Анатолия Ивановича.

— И чего Шурка домой не едет, дьявол ее возьми! — со злобой и тоской сказал Анатолий Иванович.

Мы подошли к дому. В распахнутой двери, лениво прислонясь к косяку, стояла женщина в темной жакетке, светлой шелковой юбке и высоких резиновых ботинках, голова повязана лиловой шелковой косынкой. Она то и дело опускала левую руку в карман жакетки, затем подносила ее ко рту — с полных, ярких губ летела за порог семечковая лузга. Я никогда еще не видел Шуру такой нарядной и царственно праздной и не сразу узнал ее. Лицо и шея Анатолия Ивановича медленно залились тяжелым, густым румянцем.

Я остро позавидовал егерю. Почему и меня не ждет на пороге женщина, необходимая мне до смятения, до потерянности?..

Два зеленых кошачьих глаза глянули из оконной протемы и, поймав мой взгляд, погасли, захлопнутые ладошкой, зажглись снова, радостно, доверчиво, восторженно, и открылся в огромной улыбке нежный, розовый, корзубый рот. Танька ждала меня. Танька смеялась мне навстречу. Черт возьми, и я не обойден на весеннем хмельном пиру! Иди сюда, Танька, я научу тебя шевелить ушами и держать камышинку на носу, я знаю шесть скороговорок, совсем новую считалку и старую, но вечно живую сказку про белого бычка.

И ВСЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЖИЗНЬ



Он был рад, что поехал на новое место. В ту же старую, неизменную Мшару, но на новое место. Он вырвался из цепких лап болезни, когда уже была потеряна надежда, после долгих мук, боли и отчаяния вернулся в мир жить дальше таким же, каким был прежде. Ну, не совсем таким же: разные мелкие запреты опутали его не привыкшие к ограничению плоть и вольнолюбивый дух. Но теперь он знал: это не главное в жизни — то, что дарит человека коротким или долгим забвением, что сладко туманит голову, выключает из действительности. Можно обходиться и без этой портативной нирваны, отвечать перед собой и перед другими за каждый миг существования. Докучно и унижительно объяснять, что он живет сейчас так не только по обязанности, но и по свободному убеждению, совпавшему с велениями болезни. «Да, мне нельзя пить, но я и не хочу пить, потому что сам так решил, а не потому, что врачи запретили. И курить я бросил потому же, и с дружескими посиделками за полночь покончил, и с мимолетными радостями свиданий, и со многим другим. Я понял, что вышел на финишную прямую, и не хочу терять времени даром; мне претят мелкие пороки не потому, что я стал ханжой, подобно всем рас-



кайшимся грешникам — я ни в чем не раскаиваюсь, — но потому, что мне жалко тратить душу на мелкое, ничтожное, дурное, скоропроходящее. И я не хочу, чтобы табак забивал запах травы, деревьев, земли и снега; я хочу вдыхать чистые ароматы жизни; не хочу, чтобы хмель искажал окружающие меня лица, предметы, явления и память о былом; не хочу, чтобы тень чужих, случайных женщин пятнала мою преданность так рано постаревшей и все равно единственно любимой жене; и не хочу, чтобы даже самая умная, тонкая, остро приправленная болтовня — изощренное переливание из пустого в порожнее — отнимала время у работы, наблюдений и размышлений. Наверное, следовало раньше прийти ко всему этому, не дожидаясь страшной болезни, а может, так лучше, по крайней мере не будет сожаления, что я чего-то не добрал на пиру жизни».

Он ни о чем не жалел. Сейчас им владело чувство человека, выбравшегося из подвала в просторное поле: легко дышится, легче думается, в глазах ясная синь, и на сердце свет. И хорошо, правильно, что поехал в свою любимую Мшару, которой отдал столько дней и ночей, столько нежности, участия и творческой силы, но не на привычное озеро Могучее, а в новые, неизведанные места. Здесь не придется ничего объяснять, все будет принято как должное, ибо никто не знает, каким он был прежде. А на Могучем, где он охотился еще до образования охотхозяйства — золотая деревенская охота с кострами, ночевками под стогом сена, с ухой из громадных золотых карасей, с чаем, заваренным прямо в полуведерном жестяном чайнике — две пачки зараз, — так вот, на Могучем у каждого нашелся бы повод для недоумения и вопросов. Поди объясняй, что и как!.. Но сейчас он с некоторым удивлением и смущением обнаружил, что не только докучность предполагаемых вопросов отвратила его от Могучего, но и другие обстоятельства. Ему надоела тамошняя, строго регламентированная охота. Подъем во столько-то, выезд во столько-то — скучища! Конечно, для людей, чье время жестко ограничено, подобная упорядоченность представляет большое удобство, но для него, человека вольного, очарование охоты пропадало. Все же он втянулся в ежегодную рутину и вместо того, чтобы искать новые места, вернуть былую «девушечную» охоту, заделался постоянным клиентом комфортабельной охотбазы.

Чугуев охладел к старым местам. Этому немало спо-

собствовал и егерь Василий Васильевич. То был первый озерный наставник Чугуева: он научил его держать ружье, целиться, брать с «упреждением» дичь на пролете, подманивать крякв и чирков, строить шалаши, разбрасывать чучела, обрывать подсадную, мгновенно распознавать породу проносящихся в выси уток. Он же научил его куда большему, чем охота, — терпению, выдержке, мудрой неторопливости оценок и суждений. Многим хорошим и важным в себе он был обязан краснолицему, бритоголовому, сдержанному до печали Василию Васильевичу.

У егеря была привычка никогда не отвечать прямо на вопрос. Обычно он отзывался контрвопросом, иногда отвечал, так сказать, по формальному признаку, а не по существу дела. Тут таилась двоякая цель: первое — убедиться, настаивает ли вопрошающий на ответе, и второе — выиграть время на обдумывание. Довольно часто собеседник егеря удовлетворялся грубоватым остроумием или нарочитой бессмыслицей, и Василий Васильевич экономил мозговой запас. Но бывало, что вопрос задавался всерьез, и егерь это чувствовал, и тогда он становился тоже серьезен и обстоятелен. Чугуев был убежден, что Василий Васильевич размышляет, в отличие от него, непрерывно; егерь располагал душевным и умственным досугом, не занимался мышлением профессионально, не писал книг, а просто жил среди животных и растений и каждую секунду бодрствования думал о вещах первозданных, не книжных. Он же, Чугуев, думал целенаправленно о том, над чем в данный момент работал или собирался работать, над чужими текстами или своими рукописями, для отвлеченного размышления у него оставалось мало времени. Да и это время он использовал плохо, потому что уставал от поисков и жаждал раскрепощающего забвения. А Василий Васильевич всегда мог отдаться свободному движению мысли.

Когда возникла охотбаза, Василий Васильевич, в отличие от других деревенских охотников, не пошел туда работать. Храня независимость и одиночество, он перенес свою охоту на далекие, глухие, так называемые «дикие» водоемы. Но одиночества не обрел, ибо появилась постоянная спутница — бутылка. Умный человек, он не мог не понять, что оказался за бортом — как ни крути, а всю егерскую опеку над его родными местами осуществляла теперь охотбаза. И нашла на него порча, неправильное поведение обернулось утратой самоуважения, ерниче-

ством с примесью шутовства. Хмельной и ожесточенный, он появлялся на охотбазе и высмеивал тамошние порядки, грубо задевал охотников, не отказываясь при этом от стопочки. Чугуев упорно делал вид, будто не замечает перемен, происшедших с его старым наставником. Он словно боялся сказать себе, что прежний — цельный, гордый, замкнутый — Василий Васильевич остался там, у костра, над которым булькала в котелке уха, под стогом влажноватого сена, а по дорожкам охотбазы мотается чужая тень. Ну, бог с ним!

Чугуев с благодарностью думал о редакторе районной газеты, пригласившем его на охоту. Они как-то ночевали рядом в челноках на берегу Могучего, еще до «закабаления» свободной стихии, и недавно столкнулись в Москве, в редакции охотничьего альманаха. Узнали друг друга, невесть с чего обрадовались, и Тютчев — редактор удрученно, но с достоинством носил груз прославленной фамилии — пригласил его на открытие охоты. Чугуев даже не поинтересовался, на каком озере станут они промышлять, с него достаточно было, что не на Могучем... Он спросил лишь о месте и часе встречи и сейчас, в солнечный, но не жаркий полдень середины августа, сидел в машине возле нового здания райкома, на центральной площади старинного городка, в глубине Мшары, и ждал Тютчева «со товарищи».

Редактор зашел в райком за Обросовым, третьим секретарем, тоже страстным охотником. Площадь — вернее сказать, пустырь, подлежащий застройке и обживанию — казалась необитаемой. Народ был на рынке в другой части города. Лишь рослая молодая беременная женщина медленно и величаво двигалась наперерез пыльному пространству, неся впереди себя громадный живот, туго обтянутый блестящим черным сатином.

Подъехала запыленная «Волга», из нее вышел статный, с иголки одетый подполковник милиции и, легко взбежав по ступенькам пологой лестницы, скрылся за стеклянными дверями райкома.

Чугуев пропустил какой-то миг окружающего бытия. Он не заметил, как двери хлопнули вторично, выпустив редактора Тютчева.

— Беда! — сказал редактор. — Козищев прибыл. Теперь Обросову хана.

— Кто такой Козищев?

— Начальник милиции. Я как увидел его, скорее деру.

— Прощтрафились?

— Да нет. Это наш районный Эдисон.

— Так чего же вы испугались?

— А как же! Он неспроста явился. Значит, чего-нибудь изобрел.

— Он что — «с приветом»?

— Вовсе нет! — будто и сам удивляясь этому обстоятельству, воскликнул Тютчев. — У него даже патенты есть. Мы о нем давали материал, поддерживали. Но сегодня открытие охоты, сегодня вольная суббота перед уборочной, так имей же совесть, дай людям душу отвести! — Тютчев нервно вытряхивал из кармана на сиденье коротковатые латунные патроны ручной набивки.

— Вы называете это «вольной субботой»? — иронически спросил Чугуев.

— Понимаете, возник разговорец, думали по-быстро-му проверить, ну и, как всегда... Сейчас главное, чтоб Обросов из помещения выбрался.

— Товарищ редактор, — произнес Чугуев, у которого язык не повернулся назвать собеседника по фамилии. — Может, двинемся?

— Надо Обросова подождать... Нехорошо. Только давайте отведем малость. Здесь опасная зона. Михаил Афанасьевич, давайте к церкви, а там я покажу.

Он сразу запомнил, как зовут шофера, а вот Чугуев запомнил имя-отчество редактора.

— У меня патологически скверная память на все точное: адреса, телефоны... — начал Чугуев.

— Николай Иванович, — поспешно назвал себя редактор.

Чугуев и обрадовался и чуть огорчился мгновенной реакции Тютчева. Для столь быстрой угадки не было данных. Видимо, редактор был человеком нервным, ранимым, слишком чутко воспринимающим отношение к себе других людей. Он следит за каждым обращенным к нему словом, надо быть начеку. С одной стороны, приятно иметь спутника тонкого и чуткого, с другой — несколько обременительно. Для простого охотничьего общения второй план не обязателен.

Машина пересекла площадь, зацепив шлейфом пыли беременную женщину, но та и бровью не повела, поглощенная своей тайной. Споткнувшись, клюнув носом,

въехали на горбину булыжного шоссе и, обогнув церковь, стали на широкой, немощеной, совсем сельской улице.

— Я за Арсением Петровичем Пыжиковым схожу, нашим завсельхозотделом. Он тоже собирался. Стрелок такой — в небо не попадет. И заодно Евгению Никандровичу Обросову позвоню. Хватит, скажу, дурочку строить, тебя ждут. — Редактор произносил имена местных работников церемонно, словно титулы. И было что-то очень приглядное в этом уважении к человеческому имени.

Тютчев толкнул калитку заросшего сиренью палисадника — дом не проглядывался за густой листвой — и сразу скрылся.

Шофер Михаил Афанасьевич бережно снял очки и тоже вылез из машины.

— Куда вы? — спросил Чугуев.

Водитель не ответил, махнул рукой: мол, не стоит труда объяснять. Это было вполне в его духе. Он не работал у Чугуева, а ездил с ним от случая к случаю, благо они жили в одном дворе и всегда могли сговориться. Михаил Афанасьевич давно вышел на пенсию и за приработком не гнался. С Чугуева он брал почасно, а на охоту сопровождал безвозмездно. Сам он не охотился, но рыбачил и даже на безрыбье брал улов. Он считал, что на равных участвует в благородном мужском деле, где ответствен за транспорт, а Чугуев — за ночлег и кормежку. При этом Михаил Афанасьевич вносил долю в общий кошт: хлеб, крутые яйца и баночку домашних рыбных консервов. На выезде он не терпел ни малейшего посягательства на свою свободу, даже в виде безобидного вопроса: «Куда вы?» Это следовало помнить...

Михаил Афанасьевич исчез из виду. Чугуев улыбнулся и прикрыл глаза. Он почувствовал счастье, такое же физическое чистое, как боль. Он был счастлив поездкой, уже счастлив, хотя они были далеки от цели и бог знает когда выберутся из райцентра. Того гляди, и редактор Тютчев окажется захваченным какой-нибудь районной заботой, уж лучше бы не звонил никуда! Но поездка уже состоялась. Она состоялась в ту минуту, когда врач разрешил ему ехать, разрешил удивительно легко, без раздумий, лишний раз подтвердив, что он, Чугуев, совершенно здоровый человек. А все последующее лишь наращивало и укрепляло то первое счастливое чувство, какое он испытал у врача. Хорошо было ехать по знакомому до каждого поворота переезда, шлагбаума шоссе, мимо знакомых деревень с их плетнями и штaketниками, кустами

сирени, золотыми шарами под окнами, плакучими березами и скворечнями, мимо колхозных дворов с длинными коровниками, что в ночи кажутся поездами, мимо почти всегда закрытых сельмагов, полуразрушенных церквей, превращенных в склады, а изредка и церковью действующих, с белыми стенами и чистыми синими куполами в золотых звездах, по мостам над прекрасными тихими реками, обращавшими память к истории, ибо этим рекам обязаны своим возникновением, ростом и расцветом старинные русские города; мимо лесов, то подступающих к шоссе, то отваливающих в туманную даль, лесов, откуда вылетали нарядные сойки — баgreц и яркий мазок сини, — чтобы посидеть на телеграфных проводах и с громким криком предупреждения унести назад. Хорошо было, оставив в стороне, за горелым сосняком, охотбазу на Могучем, взять путь в места незнакомые и убедиться, что и они родственны душе — новизна их не противоречит образу любимого края. И въехать в райцентр, пахнувший бензином и лошадьми, было хорошо, и постоять на пустынной площади перед новым, наивно парадным зданием райкома, и увидеть величавую беременную женщину, не идущую, а плывущую по солнечно-пыльному полдню. И особенно хорошо оказаться на несколько минут одному в машине, на этой немощеной широкой улице, где ребятишки гоняют в футбол. Он немного устал, не от дороги даже, а от разных малых поводов к беспокойству. Ну, хотя бы оттого, что забывал имена местных деятелей. Перенесенная болезнь напоминала о себе лишь быстрой утомляемостью, не физической даже, а душевной. Видимо, внезапная усталость навела его на мысль, что люди слишком усложняют отношения, создают множество ненужных трудностей. Чуть меньше самолюбия, потребности ежеминутно утверждать себя, чуть больше доверия к себе и к другим, и жизнь божественно упростится. Не нужно все время держать оборону, никто и не думает нападать...

А здорово играют в футбол ребята! Команды невелики: трое на трое. Всего по два нападающих, хотя томящиеся скукой вратари так далеко выходят из самодельных ворот, что становятся полевыми игроками. Самым активным был младший участник футбольной сечи, в мешковатых брюках, зеленом свитере и сбито на затылок беретике; белобрысый и черноглазый, он подавлял всех своей неумной энергией и жадностью к мячу. Умопомрачительные финты белобрысого сбивали с панталыку не

только его противников, но и партнера, и его самого. Будь он чуть менее техничен, он наверняка бы забил гол или дал забить партнеру. Но и вблизи незащищенных ворот он начинал выписывать такую сложную вязь, что терял мяч, или, запутавшись в собственных ногах, падал, или оказывался за пределами поля. Но настал все же момент, когда «штука» казалась неотвратимой. Противники, включая вратаря, остались далеко позади, а перед белобрысым в двух шагах зияли пустые ворота. Достаточно было просто толкнуть мяч, но артистическая душа виртуоза не могла примириться с подобной банальностью. Он повернулся к воротам спиной и со всей силы ударил по мячу задником ботинка. Мяч описал дугу и обогнул «штангу» — кирпич.

— Позорник! — восторженно заорал вражеский вратарь.

— Позорник! — подхватили нападающие.

— Гад-позорник! — издал горестный вопль его партнер.

Белобрысый футболист в отчаянии схватился за голову.

Подошел Тютчев в сопровождении коротенького полного человека в куцем пиджаке, показавшегося Чугуеву знакомым. То был Арсений Петрович Пыжиков, заведующий сельхозотделом. Его тоже вызывали с утра в райком, но он сумел отболтаться каким-то хитрейшим образом, суть которого ускользнула от Чугуева. Но все-таки Арсений Петрович колебался: ехать ему на охоту или не ехать.

— Я ведь стрелок такой — даром патроны извожу, — говорил он с кроткой улыбкой.

Его скромность понравилась Чугуеву, окончательно же расположился он к Пыжикову, узнав, что двое юных футболистов — его сыновья: белобрысый виртуоз-позорник и рослый нападающий из другой команды. Чугуев поинтересовался, почему братья играют в разных командах.

— А как же! — улыбнулся Пыжиков. — Иначе мордобоя не избежать.

Любопытно, подумал Чугуев, даже у детей нетерпимость к союзнику, делающему что-то не так, куда сильнее ненависти к врагу.

Редактор сообщил, что Обросов уже сидел в машине, но его перехватил Колтыпин, уполномоченный из области, курировавший район.

— А где же другие секретари? — с досадой спросил Чугуев.

— Первый болен, дома сидит, а второй по колхозам поехал, — отозвался Пыжиков. — Они охотой не интересуются, — добавил зачем-то.

Дальше произошло следующее: появился Михаил Афанасьевич с жестянкой в руках и стал подливать в аккумулятор дождевую воду — за отсутствием дистиллированной. Тютчев с Пыжиковым скрылись, затем Пыжиков вернулся в охотничьем комбинезоне, с «тулкой» в жестком чехле. Тютчева все не было. Пыжиков подождал-подождал, с интересом поглядывая на игру сыновей, и отправился на розыски. Почти сразу появился Тютчев. Он снова звонил в райком. Обросов находился в кабинете и коротко бросил в трубку: «Еду!» Узнав, что Пыжиков пошел его искать, редактор устремился за ним. «Заодно на почту позвоню, — сказал он Чугуеву. — До сих пор газеты подписчикам не доставили».

Видимо, они разминулись. Пыжиков возник совсем с другой стороны. Он тоже звонил в райком, и оказалось, что Обросов уже выехал на «козле». «Не доедет, — безнадёжно сказал завсельхозотделом, — перехватят».

Вопреки его мрачным предсказаниям, вскоре на тихую улицу ракетой ворвался «газик» и затормозил у машины Чугуева. Наружу вывалился не особо высокий и не особо дородный, но какой-то просторный человек в брезентовом плаще и, ткнув Чугуеву короткопалую пятерню, буркнул: «Обросов». Мягкие белесые волосы липли к потному лбу, ложбинки под глазами тоже копили влагу, на толстой нижней губе забылся окурочка сигареты. Что-то беспомощное, детское было в клеклом лице Обросова, и вместе с тем с одного взгляда становилось ясно, что он человек умный, сильный и весьма непростой.

— Ну, все в сборе? — торопливо спросил он. — Поехали!

— Николая Ивановича нету, — сказал Пыжиков.

— Он на почту звонит, — сообщил Чугуев.

— Вот те раз! — огорчился Обросов. — Меня же торопил, а сам не готов... Петрович, слышь, я выбил из Колтыпина еще шесть грузовиков.

— Ну да! Как же ты ухитрился?

— Сам не знаю. Наверное, с испуга, что он мне охоту сорвет. Айда за Тютчевым!

Обросов и Пыжиков скрылись в палисаднике. Впервые Чугуев подумал о руководящих районных людях как

о мучениках. Простой выезд на охоту вон как трудно организовать, а разве сравнить такую малость с уборочной и другими крупными кампаниями? Сколько там противоборствующих стремлений надо преодолеть, осилить, поди, и равнодушие, слабость, нерадивость и прочий человеческий разброд.

Захлопнув капот, Михаил Афанасьевич тоже куда-то отлучился. Чугуев не заметил его ухода. Он опять остался один, но прежнего счастья не испытал. Хотелось ехать. Ребята Пыжикова по-прежнему резались в футбол. Теперь гад-позорник стоял в воротах, а команду его представлял великовозрастный парень в модных, расклешенных брюках, нейлоновой рубашке и шиповках, заменявших бутсы. Против них играла вся остальная мелюзга. Взрослый парень успеха не имел, ему мешали шипы, глубоко уходившие в мягкую землю. Он то и дело отступался, спотыкался, застревал и не мог пробиться к вражеским воротам. Противник нажимал. Но белообрый финтер, сочетая в себе Гарринчу с Яшиным, в самоотверженных бросках брал все мячи.

Из соседнего дома показалась смуглая девушка в короткой юбке и стала возле калитки, сплетя длинные, шоколадные, изрезанные травой ноги. Парень в шиповках принялся так выламываться, что тяжело было смотреть. То он как угорелый метался по полю, то требовал остановить игру и с озабоченным видом изучал утыканную шипами подметку, то делал вид, что ему нанесли травму, и, завернув брючину, проверял целостность лодыжки. Но смуглая девушка равнодушно повернулась и ушла домой. Парень мгновенно утратил интерес к игре. Со злобой ударив по мячу и отправив его далеко за пределы поля, он понуро побрел прочь, цепляя землю шипами.

Послышались знакомые голоса. Редактор убеждал секретаря:

— Возьми трубочку, Евгений Никандрыч, вдруг срочное дело!

— А ты передай: ничего срочнее охоты сейчас нету. Суббота!

Из калитки вышли Обросов и Пыжиков.

— Мы двинулись, — сказал секретарь Чугуеву. — Догоняйте.

Они уселись в «газик» и скрылись в облаке пыли.

Наконец-то явился Тютчев, но выезд задержался. Водитель отсутствовал. Михаил Афанасьевич заставил себя ждать еще четверть часа.

— Куда вы запропастились? — жалобно спросил Чугуев, когда тот наконец появился.

— А я там стоял, — словно это что-то объясняло, ответил Михаил Афанасьевич, не спеша забрался в машину и включил зажигание.

— Неужели мы вправду едем? — не поверил Чугуев.

— А у нас всегда так, — спокойно заметил Тютчев. — Сегодня еще — слава богу!

При выезде из города они увидели, что вездеход свернул с шоссе и двинулся почти неразличимой в траве дорогой по-над рекой. Михаил Афанасьевич хотел повернуть за ним следом, но Тютчев остановил его.

— Я скажу, где поворачивать. Там не проехать.

Колеса запрыгали по булыжному шоссе, затем громыхнули досками деревянного моста и блаженно заскользили по гладкому асфальту.

День выдался на славу — светлый, сухой, синий. Легкий юго-восточный ветер колыхал ветви берез, срывая с них первые желтые листья. К вечеру ветер усилится, погонит на озере волну, и утки не станут засиживаться на чистом, быстрее и дружнее потянут к местам кормежки. На вечерней зорьке хорошо ясное небо. Солнце уже село, а оно еще долго алеет, и так отчетливо черны силуэты летящих уток на притухающей алости. И видишь, как падает подстреленная птица. Лишь у самой воды, слившись с тьмой, она исчезает, но ты уже заприметил место падения и без труда находишь ее с фонариком в камыше или под берегом. А вот на утренней зорьке хорошо, когда пасмурно, под низким сырым пологом и утка ходит низко, не в дразнящей недосягаемости, как то бывает при чистом небе. Август нынче переменчив, может, к завтрашнему утру нагонит облака.

— Алексей Борисыч, — послышался вежливый голос Тютчева. — Почему вы о нашем крае больше не пишете?

Чугуеву было приятно, что Тютчев заговорил об этом. Его мшарские очерки и рассказы, составившие уже не одну книгу, нравились читателям. Но всего менее взыскан был он добрыми отзывами читателей того края, который так усердно воспевал. По чести, кроме грубоватых шуток Василия Васильевича да необходимых насмешек односельчан егеря, Чугуев вообще не слышал никаких отзывов от мшарцев. Ему, случалось, писали даже с Дальнего Востока и Урала, звали в гости, обещая охоту не хуже мшарской и впечатлений побольше. И он с грустью решил про себя, что людям, о которых ты пишешь, вооб-

ще нельзя угодить. Прототипу твоего героя, видимо, всегда кажется, что его в чем-то обобрали, изобразили беднее, хуже, чем он есть на самом деле, а главное — неточно. Оказывается, при всей внешней скромности, стыдливости, нежелании стать героем литературного произведения человек гораздо более высокого о себе мнения, чем можно вообразить. Если ты превозносишь до небес его главные достоинства, он будет недоволен, что менее заметные качества, чем недюжинный ум, смелость, гражданственность, самоотверженность, бескорыстное служение высшим идеалам, не попали в сферу твоего внимания. Ты забыл, какой он славный муж, любящий отец, преданный сын и чудесный дядя своему племяннику. Ты не разглядел в нем коллекционера спичечных коробков, остролова, незаменимого в компании запевалы, не понял, что в нем погиб талант музыканта, актера, поэта, изобретателя, спортсмена. Ты не уделил должного внимания его школьным годам, родителям, учителям, службе в армии, увлечению гантелями, стрельбой из лука или магнитофонными записями. Оказывается, для человека безмерно важна в себе каждая малость, козь его выводят на всеобщее обозрение. Быть может, это вовсе не смешно, а справедливо: человеку легче примириться с безвестностью, забвением, чем с неполным или неточным изображением его перед современниками. Наверное, роль тут играет и другое: ревность прототипов к той славе и доходу, который ты «с него имел». Чугуев хорошо помнил, как по выходе первого мшарского сборника рассказов брат Василия Васильевича повертел в руках книжицу и вдруг сказал с недобрый смешком: «А подходяще ты на Мшаре нашей заработал. Книжонка полтинник стоит, и тираж у ней сто тысяч, стало быть, пятьдесят косых в кармане!» Ошеломленный таким подсчетом авторского гонорара, Чугуев не нашелся, что сказать. Зато жена Василия Васильевича, тихая, степенная женщина, повернула от печи пунцовое лицо и высказалась: «Надо Ваську благодарить, он же Лексея Борисыча поводырь». — «Молчи уж!» — осадил ее муж. «Чего молчать-то? Тебя вона со всех сторон описали, а чего ты с этого имел?» Тут егерь отругал ее уже не на шутку. «Да нешто я чего говорю? — оправдывалась супруга. — Просто к слову пришлось».

Разговор оставил дурной осадок в душе Чугуева, и впоследствии он с недобрый чувством отмечал про себя шутливые, но уже не казавшиеся безобидными замеча-

ния Василия Васильевича в таком роде: «Нет, не стану я тебе говорить, — опять чего напишешь» или «Эй, браток, навесь замок на роток, не то Борисыч обратно нас изобразит!» Будто и в самом деле они даром тратили на него ценный материал охотничьих и деревенских историй, побасенок, шуток, речений да и простой болтовни. И с какой готовностью высмеивали они каждый его промах, ошибку в описании мшарских достопримечательностей! Одобренный критиками певец Мшары чувствовал себя уютно среди своих героев. И даже некоторые вполне реальные выгоды, которые получили односельчане Василия Васильевича от его писаний, к примеру, — электрический свет, — не снискали ему признания мшарских старожилов.

И вот коренной местный житель, к тому же литератор, а стало быть, человек, способный особенно чутко уловить любую фальшь, неправду и неточность в изображении хорошо знакомой жизни, так добро и сочувственно спросил о его мшарских писаниях.

Растроганный Чугуев объяснил, что сложные обстоятельства, вторжение нового материала, тяжелая болезнь сперва отвлекли его, а потом и вовсе оторвали от едва ли не главной темы. Он так ловко уместил во временной неопределенности свою болезнь, что избежал ненужных впросов и соболезнований.

— У нас много нерешенных проблем, — сказал Тютчев. — Край надо спасать.

— А разве Мшаре плохо приходится?

— Вроде того...

Оказывается, в Мшаре, славной своими водными богатствами, умирают озера. Когда-то, дабы восполнить нехватку утинового корма, решили посеять в озерах дикий рис. Биология растения в ту пору не была достаточно изучена. Рис так бурно пошел в рост, что стал глушить озера. Одно хорошее озеро уже выпито до дна, а сейчас на очереди Серебряное, Буян и Тучковское, куда они держат путь.

— А разве нельзя избавиться от дикого риса?

— Только одним способом — выдергивать с корнем. Для такой прополки всей нашей Мшары не хватит.

Сколько ни ездил сюда Чугуев, он всегда слышал жалобы на положение дел в Мшаре. Если принимать за чистую веру все, что говорилось, то Мшара давно уже должна была сгинуть, только не в пучине вод, как Атлантида, а от безводья, зараста травой забвения. А Мшара все

жила и даже кое в чем преуспела. Старожилам всегда кажется, что их край обделен, по своему значению и достоинству он заслуживает лучшей участи. И куда как понятно это ревниво-любовное чувство. Но пусть кто сторонний заведет разговор: мол, худо живете, не умеете дела делать — горло перегрызут. Тут и окажется, что в целом свете нет завиднее и правильнее житухи!.. Чугуев поймал себя на какой-то хитрой неискренности. Ему не хочется обременять душу чужими заботами, и потому он готов верить, что все прекрасно в этом лучшем из миров. Пусть преувеличены сетования старожилов, не стоит искать в их наивной гордости оправдания своему невмешательству.

Но редактор Тютчев упорно не давал ему захлопнуть створки раковины. Негромким, высоким, каким-то женским голосом он излагал ему свои соображения: Мшара с ее кислыми, неродящими почвами, с ее озерами, реками и болотами не может стать житницей, ее надо превратить в зону международного туризма, и тогда окажется, что это золотая жила.

Чугуев представил себе мшарские боры и берега озер, застроенные мотелями, пансионатами, кемпингами, палаточными городками, напоенные голубым дымом и бензиновой вонью прогреваемых моторов, бесчисленные указатели на двух языках, неопрятные следы пикников на траве — и ему стало жалко нынешней непричесанной Мшары...

Редактор так увлек всех рассказом, что они пропустили поворот. Пришлось поворачивать назад. Большак шел сперва опушкой чистого, сквозного сосняка, усеянного серебристыми шишками, рыжими иглами, вспученными дружным, семейным напором сухих, желтых и неклеяких местных маслят, затем свернул в поле.

Объезд не оправдал надежд. Большак то и дело исчезал в мутных водах глубоких, обширных луж. Из луж торчали коряги, которыми, верно, пытались прощупать дно, и следи, которыми важили застрявшие машины. Михаил Афанасьевич возле каждой лужи выходил, глубоко-мысленно вглядываясь в слепой лик воды, обтаптывал вязкие берега, пытаясь нащупать твердь, и в результате, не решаясь форсировать водную преграду, забирал далеко на бугристую целину.

Наконец в виду дубовой рощи большак пошел на подъем, лужи измельчились до горстевой незначительности, а там и вовсе пропали. У въезда в дубняк, подняв

руку с оттопыренным большим пальцем, стояла высокая тонкая девушка. Тютчев поторопился распахнуть дверцу, прежде чем Михаил Афанасьевич затормозил, и девушку чуть-чуть прижало. Она засмеялась, скользнула в машину, оказавшись сперва на коленях Тютчева и лишь потом — на сиденье.

— В Лазаревку! — сказала она и снова засмеялась негромким легким и чистым смехом.

Чугуеву подумалось, что этим смехом девушка как бы извинялась за чуть бесцеремонную решительность своего тона. Она не спросила, по пути ли им, села в машину и поставила их перед свершившимся фактом — не высадят же ее!

Тут выяснилось, что им тоже нужно в Лазаревку, но, видимо, селение было велико, ибо, вновь рассыпав свой легкий, чистый смех, девушка попросила подкинуть ее к церкви.

— Можно и к церкви, — охотно согласился Тютчев, с приметным удовольствием разглядывая свою соседку.

Яркий пятнистый румянец покрывал ее миловидное лицо с носом уточкой и зелеными глазами. В улыбке она показывала белые острые клычки, придававшие ее добродушной средне-русской внешности что-то тревожное. Одетая девушка была по-городскому: короткий светлый плащ высоко открывал стройные ноги с круглыми, прекрасной лепки коленями. На модно уложенных волосах косо сидела маленькая круглая шляпка.

— Из столицы нашей краснознаменной области? — спросил Тютчев.

— Да! — ответила девушка, глядя как-то слишком прямо в глаза собеседнику. Она словно подчеркивала открытой прямизной взгляда правдивость своих слов. А чего тут было врать-то?

— До райского центра на автобусе? — проницательно спросил Тютчев.

— Да! — столь же искренне подтвердила девушка.

— А сюда — на попутной?

— Да! — Девушка засмеялась, как бы признавая смехом, что от Тютчева ничего не скроешь.

— А чего вам в церкви делать? — с запоздалым удивлением спросил Тютчев. — Молиться, что ли?

Девушка всласть высмеялась, а потом объяснила, что, во-первых, она неверующая, во-вторых, в городе и своих церковей хватает, кто же поедет за сто верст киселя хлебать?

- Так для чего же вам в церковь нужно?
- Гостей на свадьбу пригласить.
- На какую свадьбу?
- Подруга замуж выходит. — Девушка ничуть не до-
садовала на приставучесть Тютчева.
- За кого?
- За священнослужителя Никольской церкви.
- Вот те раз! Кого же вы приглашать-то будете, по-
-а, что-ли?
- Попа, — подтвердила девушка и опять засмеялась своим легким, чистым, но, как сейчас показалось Чугуеву, «несмешным» смехом, — матушку, старостицу, ну и кого-нибудь из десятки.
- Та-ак! — уже не кавалерским, а весьма сумрачным голосом произнес Тютчев. — А с чего это ваша подруга за попа пошла?
- Он еще не поп, а дьякон. Как поженятся, так он и рукоположен будет...
- Экие вы слова знаете!.. А по-моему, что дьякон, что поп — один леший.
- Нет, попу жениться нельзя... А они еще в школе дружили. Потом он в педагогическом учился, а она в медицинском, но все равно дружили.
- Как же он из педагогического в попы угодил?
- С третьего курса ушел и духовную семинарию окончил.
- Троице-Сергиеву? Вспомнил! Он Никольского благочинного сын. Отец-то помер недавно, теперь ему приход отдадут. Богатейшая церковь.
- Наверное! — засмеялась девушка. — Я не знаю.
- Ну а вы за попа не собираетесь?
- Ха, ха, ха!
- Этот смех начал раздражать Чугуева, в нем не то чтобы проглядывала фальшь, но какая-то заданность, манера, а не истинная веселость.
- Я комсомолка. Погибший отец был членом партии, мать тоже неверующая. — И это звучало неискренне, будто приготовленное впрок. Да и все ее быстрые, точные, без запинки ответы казались приготовленными заранее. Не в первый раз učinяли ей подобный допрос, и она была начеку.
- А странная будет жизнь у вашей подруги! — сказал Тютчев. Девушка пожала плечами.
- Почему?.. Если люди любят друг друга...
- Ну, поставьте себя на ее место. Молодая женщи-

на, вчерашняя комсомолка, врач — и вдруг матушка! И все время долгогривый рядом. И никуда с ним не пойдешь. А с кем компанию водить? С церковной десяткой, что ли?

— Почему? — Девушка слушала рассуждения Тютчева, косо наклонив голову, и в почтительно-заученном движении этом угадывалась привычка к наставлениям. — Многие школьные ребята с ними дружат. У них на свадьбе человек сто будет. А волосы у него не особо длинные, короче, чем у стилига. Да и не вечно им тут находиться, он языки знает, вообще парень с головой...

— «Он на правильном пути, хороша его дорога!» — пропел Тютчев. — А у вас не будет неприятностей по комсомольской линии? Все-таки порученьице ваше не очень...

— Ой, будет! — сказала девушка и опять засмеялась, но иначе, открыто и доверчиво.

— Слушай, — переходя на «ты», сказал Тютчев. — Только честно: тебе еще голову не заморочили?

— О чем вы?

Ее непонимание показалось Чугуеву притворным. Девушка была умна, проницательна, искушена душой.

— Ну, сама-то не подзапуталась во всей этой церковщине?

— Ну что вы! Я комсомолка, отец был членом партии, и мать никогда бы не позволила...

«Врет!» — решил Чугуев, рассматривая в зеркальце свежее и крепкое лицо девушки.

За старой красивой церковной оградой на веревке сушилось поповское белье, трикотажные разноцветные подштанники, черная ряса и золотистого цвета культовые причиндалы.

— Вы назад сегодня не поедете? — спросила девушка, вылезая из машины.

Ее зеленые глаза с легким вызовом глядели на Тютчева. Она понимала, что в своих расспросах он руководствовался не только заботой о ее заблудшей комсомольской душе, но некоторое значение имела ее брэнная оболочка, называемая по-церковному «перстью земной». И она не прочь была этим воспользоваться.

Вслушав отрицательный ответ Тютчева, девушка небрежно кивнула и направилась к церкви. Редактор задумчиво и вроде бы огорченно смотрел на ее стройные ноги, твердо ступающие по осенней траве.

— Пропал кадр! — усмехнулся Чугуев.

— Вы поняли! — возбужденно сказал Тютчев. — Проворонили девушку. И какую девушку!

— Кто проворонил?

— Школа, техникум, комсомол, газеты, радио, кино, мы и я. Все мы спасовали перед какими-то мухоморами!

— Мы были пассивны, а мухоморы нацелены на уловление душ.

— В том-то и дело! Подруга выскочила за попа — ей смешно? Нет. Романтично. Впереди особая, таинственная, ну хотя бы нерутинная жизнь. Новый миф! Вы видели, как ее разобрало? Она ведь не просто приехала пригласить на свадьбу. Она благую весть несет, елки зеленые! Ее, конечно, вызовут на бюро, вздрючат, а ей того и надо — пострадать... во Христе. Она для комсомола уже потеряна. По всем статьям окрутили. Ей только случай нужен, чтобы сжечь все мосты. Эх, беда, какую девчонку упустили!.. А может, еще не все пропало, может, стоит за нее побороться?..

К озеру подъехали почему-то одновременно с вездеходом Обросова.

— А мы вас встречали! — смеясь, сказал Обросов. — Мы уж давно приехали, дорога — исключительная, ни лужи, ни ухаба. У околицы подождали. Смотрим, катят мимо — и ноль внимания. Мы за вами. Подъехали к церкви — все ясно: «Шикарная девица евангельских времен».

— А что, хороша? — молодежато сказал Тютчев.

У Обросова зарделось лицо.

— На ондатру похожа!

Все громко расхохотались, и даже сумрачный Михаил Афанасьевич ухмыльнулся.

Тютчев принялся было рассказывать Обросову о дорожном приключении, но тут появился растрепанный, взволнованный дедушка с лысиной в окоеме реющих белых волос.

— Гений Никандрыч, тебя к телефону!

— Что еще? — Секретарь обвел спутников яростным взглядом. — Кто меня продал?

— Никто не продавал, — успокоительно сказал Тютчев, — просто обзванивают все хозяйства подряд.

— Скажи, что меня нету, дед. Понял? Нету! В глаза ты меня не видел и слухом не слышал!..

Только сбыли одну беду, нагрянула другая. На Обросова кинулся, широко разведя руки, чтобы не дать ему уйти, рослый загорелый усач в зеленой велюровой шляпе.

— Вот ты мне где попался! — кровожадно вскричал он.

— Я ни от кого не прячусь, — хладнокровно соврал Обросов. — Ты зачем кляузы в газету пишешь?

— А вы чего решение не принимаете? Повалят рощу, чего тогда?

— Видали, — обратился Обросов к Чугуеву. — Обозвал районных руководителей бюрократами и еще подписался «Зоркий глаз»! Хорошо, его творчество нам переслали. Да мы решение еще в четверг приняли. Чем кляузы разводить, лучше бы позвонил.

— Евгений Никандрч, сердце! — сказал усач и, пожоже, всхлипнул. — У нас бульдозером кабель порвало.

— Ладно, запускай своих чушек в дубняк, но не уподобляйся этим животным, — засмеялся Обросов.

Пыжиков объяснил Чугуеву, что речь шла о спорной роще, которую «Зоркий глаз», он же председатель Лазоревского колхоза, хотел использовать для выпаса свиней, а землеустроители по своим планам намеревались вырубить...

Школа, где собирались заночевать, оказалась запертой. Чугуев с Обросовым пошли искать директрису. По пути им пришлось пересечь машинный двор РТС. У самоходного комбайна возился перемазанный с ног до головы соляркой парень и средних лет чисто выбритый интеллигент в синем комбинезоне, видимо, механик.

— Здравствуйте-пожалуйста! — развел руками Обросов. — А рапортовали, что все комбайны на ходу!

— Он и был на ходу, — отозвался механик. — И вдруг забарахлил.

— Вечно у вас так, Романыч, выдаете мечту за действительность.

— Уж вы скажете!

— Точно! Более грубо это называется очковтирательством.

Одним длинным прыжком Обросов очутился на хедере рядом с механиком и комбайнером. Чугуева пронизала зависть — и к этому легкому, длинному прыжку, и к тому, что Обросов вот так, непосредственно, может вмешаться в какое-то практическое дело. Заполняя однажды литературную анкету, Чугуев на вопрос: кем бы вы хотели стать, если б не были писателем? — без малейшего кокетства ответил: если б я не был писателем, то хотел бы им стать! И все же не раз во время своих странствий он испытывал такую вот жгучую, до перебоя дыхания за-

висть к тем, кому дано впрямую погружать руки в жизнь.

Обросов соскочил на землю.

— Видишь, Борисыч, какой народ — за каждым глаз да глаз нужен, — подмигнул он Чугуеву. — Ну что бы они без меня делали? А ведь с каким трудом я сюда вырвался! — Он словно боялся, как бы Чугуев не заподозрил его в показухе, и нарочно обшучивал свой поступок. — Романыч! — заорал он вдруг. — Видишь, кто со мной! Сам Чугуев — он тебя пропишет!..

Чугуев страшно смутился, но механик снял с головы клетчатую кепку и с достоинством поклонился...

Директриса колола дрова на задах дома и была крайне расстроена, что ее застали за таким занятием да еще в старых мужских брюках, заправленных в кирзовые сапоги. Ключ от школы она отдала племяннику, которому было приказано ждать приезда гостей. Наверное, он притомился и отдыхает в школьном саду.

— Найдем, — сказал Обросов. — А это вот, познатьесь, Алексей Борисович Чугуев, — произнес он таким тоном, будто заранее знал, что доставит директрисе великое удовольствие.

И, к радостному смущению Чугуева, так и оказалось.

— Очень, очень приятно!.. — Директриса долго трясла руку Чугуеву. — А чего же вы о нас писать перестали? Нехорошо, Алексей Борисович!..

Неужели, пока он болел, к нему пришла пусть не слава, но хотя бы известность? Оказывается, его имя что-то говорит здесь людям. Но даже не это самое удивительное. Обросов представляет его с таким видом, будто пряник медовый дарит, и конфуза до сих пор не случилось. Надо же, непробиваемые мшарцы наконец-то обратили на него благосклонное внимание. Так работает время. Капля камень точит, то же случилось и с его словом, оно проточило камень читательских душ. Не надо обольщаться своей популярностью, но что есть, то есть. И это незнакомо, странно и радостно. И обязывает... Чугуев улыбнулся неистребимой своей привычке немедленно делать добродетельные выводы...

С присущей ему полусерьезностью Обросов осведомился у директрисы, как идет подготовка к учебному году. И та, прекрасно понимая вежливую условность интереса Обросова, ибо до учебного года было еще далеко, ответила бодро, поигрывая топорышком:

— Пока не на что жаловаться, Евгений Никандрыч. А вот скоро начнем вас беспокоить.

— Беспокойте, беспокойте! — тоже бодро сказал Обросов, глядя на гуляющих по двору больших раскормленных гусей. — Мы для того и поставлены! — Вопреки бодрой интонации взгляд его притуманился, ибо он с необычайной отчетливостью вспомнил, как умеет «беспокоить» на редкость решительная и неотступная директриса школы.

Племянник спал в гамаке меж двух яблонь. Вместо того чтобы отдать ключи, он, изображая из себя егеря, стал требовать у прибывших путевки, угрожая в случае отсутствия таковых отобрать ружья. Обросов выслушал его с благожелательным вниманием.

— Молодец! — одобрил он. — Молодец, что проявляешь бдительность. Ладно, давай ключи и спи дальше.

Парень заморгал глазами и безропотно повиновался.

До самого выхода на охоту Чугуев не переставал радоваться, что изменил привычному Могучему ради этой поездки. Интересно было слоняться по школьному зданию, наблюдая различные приметы недавней ребячьей жизни: рисунки на партах и таинственные инициалы, соединенные знаком плюс, полуоборванную газету с передовой — печатными буквами — в защиту природы: здесь тщательно перечислялась вся живность, подлежащая истреблению, дабы оставшаяся размножилась и процветала, преискурант был огромен — от гусениц и совок до волков. Интересно, с помощью какого порошка могли дети избавиться от жесткого племени серых разбойников? Засохшие цветы на учительском столе в узком стаканчике грубого голубого стекла — увядший знак ребячьего внимания, карта Южной Америки с могучей синей веной — Амазонкой, следы мела на доске — руины алгебраической формулы — все умиляло Чугуева.

Легко миновал тот неловкий момент, которого он больше всего боялся: когда грудой мятых, промасленных газет легли на стол охотничьи харчи и Обросов, небрежно-уверенным движением расплескав по граненым стаканам местную «Особую», сказал: «Ну, поехали!» — Чугуев поднял стакан, чокнулся со всеми, пригубил и поставил на стол.

— Я свою бочку выпил, — сказал он с улыбкой в ответ на разочарованные и негодующие возгласы. — Нельзя! — И многозначительно ткнул себя пальцем не то в сердце, не то в желудок.

Все же вскоре Чугуев почувствовал некое отличие этого трепа от обычного судаченья перед зорькой. Да, го-

лоса звучали громко и задиристо, по пустякам возникали пустые и страстные споры, да, собеседники не стеснялись в выражениях, но то была лишь пена на серьезном ядельном разговоре, имевшем цели, весьма лестные для него, Чугуева. Районным руководящим людям хотелось снова привлечь его к делам, заботам и нуждам своего края. Они считали, что он может быть полезным Мшаре.

В разгар беседы с шумом и треском ввалилась компания охотников, предводительствуемая высоким костлявым человеком лет сорока, в охотничьем костюме и меховой шапке. Радость, недоумение, громкие речи, объятия, ругань, смех — и вот уже высокий человек пожимает руку Чугуева, называет по имени-отчеству и спрашивает, почему он перестал писать о Мшаре. Знаменитый в свое время комсомольский секретарь области, ныне директор крупнейшего, союзного значения завода, Харламов зашел поприветствовать Чугуева и своих районных дружков. А сам он с товарищами остановился неподалеку в доме егеря Данилыча.

«Ну и ну! — думал Чугуев. — Похоже, сегодня мой бенефис». Но он не мог относиться насмешливо к тому, что касалось главного в его жизни. Пока тебя не знают и не читают, ты можешь утешаться тем, что пишешь для себя, а так называемая слава — «яркая заплатка на ветхом рубище певца». Но когда вдруг обнаруживаешь, что тебя читают и написанное тобой что-то значит для людей, имеет смысл вне твоего личного существования, то перестаешь валять дурака и говоришь себе: писать надо для того, чтобы тебя читали.

Вновь прибывшие принесли свой харч: сало, свежие огурчики и что-то продолговатое, в черно-шершавой шкуре — не то колбаса, не то рыба-бельдюга. Харламов отрезал кончик с веревочным хвостиком и кинул собаке егеря, чудному пойнтеру, серому, с шоколадными пятнами. На разрезе загадочная снедь оказалась сине-желто-бурой и маслянистой. Пойнтер нюхнул и с рычанием отполз прочь.

— Прощу, — сказал Харламов, — акулья колбаса.

— Отведай лучше котлеток домашних, — сказал Обросов, — пожалуй молодую жизнь.

Харламов взял большую, тяжелую котлету, понюхал.

— Ого, с чесночком! Небось супруга Алексея Борисыча готовила!

Чугуева удивила такая осведомленность бывшего комсомольского секретаря. Оказывается, лет шесть назад

они встречались на Могучем и тоже закусывали Чугуевскими котлетами с чесноком. Память у Харламова была что надо! Он помнил, как они заспорили об одном чугуевском рассказе, где он приложил заведующего сельэлектро. «Зря приложили, — заметил Харламов, — мужик старательный, хоть и смуряга».

Чугуев лишний раз убедился, что вопреки модной литературной традиции руководящие на местах люди занимают свои посты вовсе не в награду за ограниченность, косность и тому подобные грехи, а за качества, прямо противоположные: крепкий ум, отличную память, ясный взгляд, хорошее знание дела и любовь к своему краю. И вообще здесь человек ценный и нестандартный скорее правило, а не исключение...

...На вечерку им пришлось разбиться на пары: больше не было лодок.

— А где же озеро? — спросил Чугуев, когда они спустились к бухте.

На темном влажном песке лежали на берегу две неуклюжие плоскодонки, за узенькой полоской воды началась густая, без просвета, заросль осоки, дикого риса и тростника.

— Да вот оно самое. — Тютчев кивнул на зеленую чашу.

— Нет, вода где?

— Вон чего захотели! Да не пугайтесь, увидите воду, немного, но увидите.

— Предупреждаю, — сказал Обросов, — если налетит утя, я стреляю.

— Охота начинается в шесть, — напомнил Тютчев.

— А мне плевать! — Охотничья страсть, как нечистый, завладела душой Обросова, даже голос его дрожал.

Он принялся ворочать тяжелую плоскодонку, чтобы столкнуть ее в воду, а Тютчев что-то шепнул на ухо Пыжикову.

— Будь сделано! — шутливо козырнул тот.

— Насчет маршрута сговорились, чтоб Никандрьчу не опозориться, — пояснил Тютчев Чугуеву, но тот не понял.

— Поведет Пыжиков лодку в обход утиных мест, подалее от соблазна.

— Неужто Обросов такой?

— Разве не видите, как его разобрало?

Обросова и впрямь разобрало. Он стал не в меру разговорчив, все время понукал Пыжикова, ругался к месту

и не к месту, делал много лишних движений. В результате Чугуев с Тютчевым первыми оказались на воде.

— На буксир не взять? — насмешливо предложил Тютчев.

— С таким типом, как Арсюшка, вовсе зорьку пропустишь! — взорвался Обросов. — Шест, шест возьми, песья голова! — плачущим голосом заорал он на Пыжикова, пытавшегося спихнуть лодку кормовым веслом.

Тютчев умело работал шестом. Глубина была солидная, а дно илистое, вязкое. Лодка с шуршанием раздвигала рисовые стебли и лезвистую осоку.

— Чьи это стихи, не помните: «Шел с веслом, как с посохом, по морю, как по суху»? — спросил Чугуев.

— Чьи, не помню, но точно — о нас! — отозвался Тютчев.

Они вошли в ситу, и Чугуев стал хвататься за круглые стебли и подтягивать лодку. Неожиданно перед ними открылась полоса чистой воды, тугая синяя лента. Тютчев отложил шест и взялся за кормовое весло. Вода зажурчала под носом лодки. Сзади послышалась жалобная брань Обросова.

На береговом бугре открылась Лазаревка, по местным масштабам прямо-таки огромное село, с множеством улочек и проулочков, с огородами и фруктовыми садами. Блистали золотые купола и кресты церкви, там шуровала по своему сокровенному делу зеленоглазая длинноногая девчонка. На лугу, за околицей, пестрело стадо чернобелых остфризов. Ни одной утки не было видно в дымно-голубом, чуть лиловатом по горизонту небе. Солнце стояло высоко, и казалось, ему не успеть к часу заката на положенное место.

Перед тем как оставить ленту чистой воды и вновь вломиться в зеленую чашу, они увидели в устье впадающей в озеро речушки, на большом пне, отвалившемся от берега с глыбой рыжей земли, бесстрашного рыболова. Балансируя над темной пучиной, рыболов закидывал на проводку тонкую и длинную немецкую удочку. За ним уходил в перспективу зеленый тоннель: склонившиеся над водой с того и другого берега ракиты сплели кроны, образовав долгий свод. Рыболов скользнул по охотникам равнодушным взглядом и ничем не обнаружил, что узнал. Это был Михаил Афанасьевич, шофер.

— Ловок! — одобрил Тютчев. — Первый раз здесь, а лучшее место занял.

— Он заядлый!..

Они опять двигались по траве, ползли, можно сказать. Вода вовсе не проглядывалась. Лишь изредка из-под днища лодки выжималась какая-то дегтярная жижа. Тютчев скинул ватник, потом снял меховой жилет.

— Стриптиз продолжается! — сообщил он через некоторое время и стянул шерстяную рубашку.

Чугуеву было совестно, что он не может взять шесть: всякого рода резкие движения были ему категорически запрещены. Тютчев снял еще одну рубашку, на этот раз трикотажную, и остался в теплом белье.

— Может, я зря ругаюсь? — донеслось из зарослей. — Может, тебе надо лечиться и отдыхать, а мы спрашиваем с тебя, как со здорового? Может, нам не хватает чуткости к живому человеку? — зудел Обросов.

— Да чего ты привязался? — миролюбиво говорил Пыжиков. — Я все делаю, как надо!

— Зачем ты сюда залез, а не шел краем, где ушки? Там наверняка сидят крякуши. Но ты скорбен разумом. Ты когда именины празднуешь?

— На своего святого, как положено.

— Во-первых, члену партии это не положено, вторых, ты должен праздновать в день усекновения главы. Слушай, а может, ты вовсе не глупый? Может, ты хитрая морда? Или тебя Тютчев подучил?

— Как подучил?

— Не притворяйся! У тебя не получается. Друзья природы, так вас перетак! А я все равно буду стрелять, и все!

— Наговариваешь, Никандрыч! — бодрым, беспечальным голосом здорового, довольного собой человека сказал Пыжиков. — Никогда ты себе этого не позволишь!

— Черти правильные! — горевал Обросов. — Черти сознательные! Черти выдержанные!

Голоса внезапно отсекались, видимо, лодка отвернула от ветра, доносившего разговор друзей.

Снова возникло пятно чистой воды, дальше был берег, поросший орешником. Куда ни глянь, всюду белели стебли надерганных ушков, значит, жди уток на вечерке.

— Здесь мы и встанем, — сказал Тютчев. — Будем с одной лодки охотиться. Ну да мы друг другу не помешаем. Глядите, уже шестой час, а ни одного выстрела не было.

— Дисциплинированный народ!

— Прямо не верится... Может, уток не видать?

Первый выстрел раздался в стороне Могучего, он

был похож на удар валька. Потом в окрестности сотворился какой-то шорох — слабый, далекий раскат. Часы показывали без пяти шесть. Все-таки охотничье нетерпение чуть-чуть нарушило установленный срок. Вскоре еще несколько деревянных, тупых ударов донеслось и с Могучего и с Кукушкиной заводи, с Буяна и Серебряного. Заговорила вся Мшара, лишь Тучковское озеро молчало, и, надо полагать, не из чрезмерной щепетильности охотников — просто не на что было порох тратить. Чугуев снова взглянул на часы — две минуты седьмого. Он как-то смешно возмутился, словно утки нарушили некое товарищеское соглашение. Да ведь предписанные сроки обязательны лишь для охотников — не для дичи.

Чугуев поднялся, держась за тростник, и оглянул небо. Далеко и очень высоко тянула стая: десяток крикв и чирков. Ну и ну, такой пустоты еще не бывало на открытии охоты! И тут хлопнул выстрел, за ним второй — классический дуплет. Стреляли где-то совсем рядом, и Чугуев невольно ссутулился, готовый принять на себя осыпь дроби. Но уже в миг безотчетного движения он знал, что стреляют на большом расстоянии, кажущаяся близость выстрела — звуковой обман.

— Харламов дает! — завистливо сказал Тютчев.

И сколько потом ни звучало выстрелов, он почти всякий раз говорил: «Харламов дает!» А звучали выстрелы то громче, то тише, то поблизости, то в отдалении. Видимо, акустические шалости объяснялись ветром, действительно крепко задувшим к вечеру, но как-то неровно, порывами. Ветер подсказал Чугуеву огорчительное открытие: Харламов, несомненно, занял ключевую позицию на самом перекрестке утиных путей, и, принимая во внимание меткость и сноровку этого стрелка, уток здесь не жди. Попутно выяснилось, что стена рослого тростника за их спиной не только препятствует обзору озера, но и закрывает закат. Значит, для них ночь наступит скоро...

От огорчения ли он занедужил, то ли притаившееся недомогание заставило его принять так близко к сердцу охотничью неудачу?.. Любое нездоровье начиналось у него с ощущения, напоминающего изжогу, хотя оно и не было изжогой, — какое-то странное жжение в груди. Кто-то сказал ему однажды, будто существует сердечная изжога, правда ли это? Почему, болея, он постарался сохранить все свое невежество в отношении собственной болезни да и медицины вообще? Из боязни пробудить в себе мнительность или из нежелания обременять душу не-

исцеляющими знаниями? Довольно, лучше думать о чем-нибудь другом. Например, о том, что уже показалась полная белая луна. Он опять попал на охоту в полнолуние, как и год назад. Но тогда под луной была громадная озерная гладь, а не узенькая полоска воды и заросший кустами берег, и луна, сперва порозовевшая от заката, а затем налившаяся золотом, погрузила в воду золотую колонну. Не полосу, трепещущий отсвет, а колонну с отчетливой округлостью тяжелого, плотного тела. И по мере того, как луна подымалась, колонна наращивалась и подступала к нему. Это было странно: она словно уходила в глубь озера и вместе простиралась по воде, чтобы через миг-другой упереться в островок, на котором он сидел. Но этого не случилось, и он пропустил мгновение, когда колонна вдруг резко укоротилась, будто ее оборвали с двух концов, и вскоре стала желтым кругляшом, простым отражением лунной рожи. Сейчас никаких лунных игр не будет, потому что узенькая полоска воды между ними и берегом — слишком бедное зеркало...

Ему стало совсем худо. И самое мучительное — он не мог дать себе отчета, что у него болит. Болело от горла до подбрюшья, изнывал в непонятном повреждении самый ствол жизни, иначе не скажешь, ибо не было отчетливого очага боли.

Но, как ни худо ему было, он не проворонил стаи, вынесшейся из-за спины метрах в шестидесяти над водой. Высоковато, конечно, в другой раз он не стал бы стрелять, да ведь нельзя же вернуться без выстрела с открытия охоты. Он вскинул ружье, выстрелил и с блаженно обмершим сердцем увидел, как от стаи «отломилась» утка. Не прекращая взмахивать крыльями, утка резко теряла высоту, у самой воды косо пошла вниз и не опустилась, а плюхнулась на воду, подпрыгнула мячиком и замерла в сидячем положении.

— Алексей Борисыч, разрешите добить? — вежливо попросил Тютчев: утка упала по его руку.

Чугуев не мог отказать ему в этом маленьком удовольствии. Тютчев выстрелил, не целясь, и дробь точно легла по темному живому комочку. Утка забила одним крылом и устремила к берегу.

— Как бы не ушла! — сказал Чугуев.

— Никуда не денется... А хотите, заберем...

Ответ Чугуева потонул в громе выстрела. Он и не заметил, как Тютчев успел вскинуть ружье.

— Надо же! — привычно удивился Тютчев. — Прямо под носом села.

— Кто?

— Матерка.

Тютчев толкнул веслом, они выплыли из тени камыша на светлую воду, почувствовали свежесть ее легкого кура и увидели распластавшуюся в листьях кувшинок крякву. Чугуевскую утку найти оказалось куда сложнее. Они долго обшаривали прибрежные заросли, прежде чем обнаружили ее под кустом. Утка сидела, сгорбившись, и глядела живым золотистым глазом.

— Надо же! — Тютчев поднял весло, примерился. — До чего же помирать не хочет!

Чугуев отвернулся. За все годы охоты не только не научился добывать уток, но не мог смотреть, как это делают другие. Бабство, конечно, лицемерие, но что попишешь! Он слышал, как весло задело ветки орешника и ударило во что-то мягкое и о воду. Еще раз и еще. Чего он там возится?.. Тютчев подтолкнул лодку к берегу, поймал утку и с силой ударил головой о скамейку. Тупой, отвратительный звук отозвался жгучей болью в теле Чугуева. Ну, кажется, все...

Боль словно омертвела в Чугуеве, он был нанизан на нее, как на шампур. Где-то еще гремели выстрелы, и потемневшая вода озарялась багровыми отсветами. В деревне зажглись огни, но не было в них уюта — холодные, бледные пятна. Чувство родственности окружающему было размозжено в Чугуеве, как бедная утиная черепушка. Тютчев что-то говорил, но ветер относил слова, и Чугуев не пытался вслушиваться. Никакие слова ничего не значат. Ничто ничего не значит. Нет, значит — движение...

Да, он разделял медленное движение лодки, а это двигалось вместе с ним. Что это?.. Болезнь, соврал он себе и усмехнулся, а может, смерть?.. Ну, и черт с ней, уж лучше так — рухнуть в темную воду, по крайней мере без соплей и суетни. Теперь он знал, что умирать легко и не страшно, ибо равнодушие предшествует концу. Он закрыл глаза, чуть согнулся, оперся о свою боль и почти сразу перестал быть. Но перед тем как исчезнуть, он ощутил покой, сладкий, сладкий покой. Он не знал, сколько длилось его забытье. Когда он вернулся в явь, лодка ползла плоским дном по прибрежному песку.

Тютчев вылез из лодки и потянул ее на берег. Чугуев тоже вылез, неловко задев ногой о борт. Боль утихла, но

тело было безмускульным и бескостным от слабости. Ему не хотелось, чтобы Тютчев догадался о его состоянии, он зевнул, замотал головой, будто спросонок, и нагнулся, чтобы забрать дичь. Его утка сидела со скользкой от крови головой.

— Господи! — жалобно сказал Чугуев. — Неужто вы не могли ее добить?

Тютчев взял утку за лапы и с размаху ударил головой о борт лодки. Утка задергалась, забила крыльями.

— Да что с вами? — чуть не плача, сказал Чугуев. — Нарочно вы, что ли?

Тютчев схватил трепещущую утку за шею, весло — под мышку и, не оглядываясь, устремился к дому. Чугуев постоял, забрал вторую утку и поплелся следом.

Он тяжело поднялся на бугор и вдруг обнаружил, что его вялая, расслабленная поступь никак не соответствует вполне бодрому состоянию. Злоба на Тютчева будто принесла обновление. Но сейчас он уже не злился. Он знал, что любое существо лишь тогда умирает сразу, если поражены некие главные роднички жизни. Бывает, что жирная, крепкая к дробини кряква падает замертво от одной-единственной настигшей дробинки, а иной раз расстреливаешь птицу в упор, и все тщетно. Тютчеву просто не повезло. Его удары приходились мимо... Вот и болезнь, как ни глумилась над ним, Чугуевым, не смогла поразить главных родничков. А все его «смертельные» ощущения — просто душевная беллетристика, плод слишком живой фантазии...

В западине, за бугром, разгорелся рыжий костерок. Чугуев не успел разглядеть сидящих вокруг костра, когда кто-то кинул на слабый огонь ворох можжевеловых веток. Пламя скрылось, повалил едкий дым, но тут же поднялась сухая пистонная пальба, взметнулись красные искры, и можжевельник вспыхнул факелом. Чугуев увидел много загорелых голоногих девушек и нескольких парней. У берега темнели носы больших парусных лодок. Туристы, дай бог им здоровья и хорошей погоды!

И девушки и парни не оглянулись на пожилого человека, вошедшего в свет костра. Они сидели молча, подставив лица красному жару, искры летели им чуть не в самые глаза и оседали серым пеплом на волосах, на одежде. Когда люди не суетятся вокруг костра, а просто смотрят в огонь, в них появляется что-то древнее, значительное и отрешенное.

На границе светового круга Чугуев столкнулся с девушкой, несущей чайник в напрягшейся худенькой руке.

— Это кто? — строго спросила девушка об утке.

— Кряква. А еще говорят, матерка, или матерая.

— И вы на них охотитесь? — не то просто устанавливая факт, не то осуждающе сказала девушка.

— На всех диких уток, какие попадутся.

— А это дикая утка?

— Конечно, не домашняя.

— Ну да! Что со мной? — сказала девушка. — Я никогда не видела охотника с застреленной уткой и немножко растерялась.

Ее интонация прояснилась: никакого подвоха — доверчивое, непосредственное и благожелательное стремление разобраться в новом явлении жизни. Видимо, невелик был круг ее впечатлений, и она добросовестно пыталась расширить его.

— Вы впервые путешествуете? — спросил Чугуев.

— Да! — сказала девушка. — Как вы угадали? Ой, мне надо бежать! Спасибо и счастливой охоты.

Чугуев пошел дальше. Он улыбался, но ему ничего не стоило сейчас заплакать. Отчего? Из-за этой девушки, из-за ее подруг, сидящих у костра, из-за их молодости, из-за того, что так хочется жить?

Уже все были дома и успели поздравить друг друга с «полем». На Пыжикова поздравление не распространялось, он вернулся пустым. «Без выстрела!» — говорил Пыжиков с видимым удовольствием. Вот если бы он потратил патроны, ему было бы чего стыдиться. До следующей зари ходил бы он в «мазилах» и «портачах», а так ему все сочувствовали. У Обросова оказалось две матерых, да одного трескунка он надеется отыскать завтра в траве с помощью собаки. И Михаил Афанасьевич вернулся с добычей: десятка полтора подъязков и плотиц натаскал. Тютчев отправился за картошкой — уху затевают. А вот Харламов, говорят, надобылчил восемь носов да еще штуки четыре в камышах оставил. Но у него место было исключительное — «областное», — шутил Обросов...

Тут появился Тютчев с картошкой.

Началась обычная суета, когда каждый предлагает свой способ приготовления ухи и все друг другу мешают: когда с преувеличенным отчаянием обнаруживается, что забыли перец, лавровый лист и пшеничную крупу, без которой, как известно, не может быть настоящей ухи. Вто-

рой этап готовки: постепенное раздобывание всех недостающих ингредиентов, и шумная радость по этому поводу, и новые споры об очередности добавлений специй, непрменные байки о тройной волжской и невероятнейшей архиерейской ухе на курином бульоне, которую на самом деле никто не едал и в глаза не видал; наконец, опробование собственного, весьма сомнительного, мутного и все же вкуснейшего варева и заключительный спор о том, хлебать ли уху вместе с рыбой, или запивать разваренную рыбу чистой жидкостью, и — пошла, пошла ушица в охотничьи глотки!

Чугуев с печалью и неуютом обнаружил, что выпадает из происходящего. Голос его словно утратил звучность и уже не доходил до собеседников. Все же остальные отлично понимали друг дружку, хотя ограничивались главным образом междометиями и как бы вступлением во фразу, вроде «слушай, ты меня знаешь?»... Когда же обращались к нему, он не мог взять в толк, чего от него хотят, отвечал невпопад или бессмысленно кивал головой. Все события минувшего дня как-то странно смешались, обрели иной смысл, вес, окраску. То, что казалось важным и значительным, даже не вспоминалось, а пустяки, не стоящие внимания, обсуждались на все лады. Так, много потешались над тем, что Обросов оступился в воду, высаживаясь на кочку, а Пыжиков поначалу сел спиной к озеру. От юмористических подробностей охоты перешли к ветхозаветным анекдотам, затем к чтению эпиграмм местного значения. К Чугуеву долго приставали, знает ли он поэта Ивана Верова. «Должны знать! — настаивал кроткий Пыжиков. — Он тоже в Союзе писателей работает». Эпиграммы оказались корявыми, хотя и не лишенными остроумия. Внезапно Обросов сказал громко, твердо и трезво:

— Ну, хватит! Давайте спать. Вон Алексей Борисыч носом клюет.

Принялись сооружать постели на полу; матрасы, подушки и одеяла хранились в стенном шкафу в прихожей. Не было только белья, да кому оно на охоте нужно?

Пока стелились, Обросов то и дело тянул из чайника остывшую, чуть теплую воду.

— Изжога, сволочь! — пояснил он Чугуеву. — Печень ни хрена не работает!

Вот это по-мужски! Так и должен относиться к своим недугам настоящий человек, а не впадать в панику по каждому поводу. Человек умирает лишь от болезни,

которую соглашается считать смертельной. А если не согласен, то черта лысого его возьмишь! Можно жить с циррозом, раком, чудовищной стенокардией, гипертонией, с чем угодно, и загнуться от пустякового гриппа или воспаления легких. У Обросова больная печень, а он не дает ей поблажки — ест все без разбора, даже акульей колбасы отведал, на которую зарычал егерский пойнтер, и беспечно забывает дома соду. У Чугуева была с собой сода в таблетках. Обросов взял таблетку двумя толстыми пальцами, повертел, сунул в рот, запил водой, прислушался к себе и расплылся в улыбке:

— Ласковая вещь! Как рукой сняло!

Свой тюфяк он положил рядом с чугуевским.

Луна заливала классную комнату, на огромной карте мира, занимавшей чуть не всю стену, лежала черным крестом тень оконного переплета. Порой отблеск костра, раздуваемого ветром, опалял материки и океаны. Чугуеву не спалось от какой-то смутной, доброй тревоги за мир и его население.

Обросов заерзал и перевернулся с боку на бок.

— Не спите? — спросил он.

Его большое бледное лицо будто фосфоресцировало в лунном свете.

— Отчего такое, Алексей Борисыч? — зашептал Обросов. — «Мнози борят мя страсти», как сказано в священном писании.

— Какие страсти?

— Всякие... Любые... — Он немного помолчал, ожидая, не скажет ли чего собеседник. — Хорошее признание для секретаря райкома, да?

«Мать честная! — подумал Чугуев. — Быть мне духовником!»

— Я не для исповеди, — догадался о его мыслях Обросов. — Тем более мне и каяться-то не в чем. Быть может, только в мыслях, хотя перед богом грешные мысли — тоже грех?

— Не знаю, — отозвался Чугуев. — Я не силен в религии. А что вас томит?

— Именно, томит! В душе я бабник, Алексей Борисыч, браконьер, пьяница и завистник.

— Не слишком ли много?

— Нет. Знаете, почему я церковную девицу с ондатрой сравнил? Да потому, что она мне понравилась. Вот так понравилась — до кишок! И завидно мне стало, что вы с ней ехали! И вообще мне бабы вусмерть

нравятся! — Он скрипнул зубами. — Так бы задушил их всех!

— За чем же дело стало?

— А нельзя. Должность не позволяет...

— Ну раз так — даю вам полное отпущение грехов, — тихо засмеялся Чугуев. — Вам нимб на голову еще не давит?

— Давит! У меня с детства так: только соберусь чего напороть, тотчас будто голос внутри: стой, нельзя!.. И откуда это «нельзя» пошло? От матери, что ли? Она зверски строгих правил была. Молодой без мужа осталась и ради ребят — меня и сеструх — всю женскую жизнь в себе заглушила. А я в такую круговерть попал: за проклятую мою правильность меня всегда куда-то выбирали. Прямо с пионеров и началось. Выбирают, и все тут! Я ждал, ну как обойдет меня народное доверие, тут и развернись на всю железку. Не получается — выбирают. А девки кругом с каждым годом все красивее. Нельзя!.. Попробовал охотой отвлечься. Так у меня на уток жадность хуже, чем на девок. Думаете, я шутил, когда обещался до срока начать? Нет. Это я сам себя подначивал, запрет снимал. Но не снял, дьявол меня поberi! А корешков своих я сразу разгадал, когда Пыжик в обход утиной крепки пошел... Ну а как все же считать, Алексей Борисыч...

— Побольше бы таких мучений! — от души сказал Чугуев.

— Тогда порядок... — пробормотал Обросов засыпающим голосом. Он выговорился и сразу потух.

А Чугуев еще долго вертелся с боку на бок. Он о многом передумал в эти бессонные часы: о том, как ему жить дальше... И еще он думал о том, как страшно ощущать себя человеком, которого знают. Он словно вышел из собственных пределов и какой-то своей частью стал существовать вне себя, и это второе существование было радостно и тревожно. Он чувствовал ответственность перед новым своим обликом и понимал, что должен предъявлять к себе иные, более жесткие требования. Смущала мысль: не поздно ли, слишком краток срок, оставшийся впереди, чтобы на многое рассчитывать. Но кто вообще может знать, сколько ему осталось? Жить надо так, будто впереди вечность, конечно, в смысле серьезности и ответственности, а не в смысле беспечного откладывания на будущее всех благих намерений.

И если исключить тот уют, каким угнетает челове-

ка бессонница, то, ворочаясь на своем тощем тюфяке, Чугуев был счастлив. И его огорчило, смутило и обидело, почему так тяжел наконец-то пришедший к нему сон. Началось с сердечных обмираний, когда казалось, что сердце обрывается и летит в пустоту, и он рывком подавался за ним следом, чтобы удержать его в грудной клетке. Он погрузился в кошмар мучительных сновидений. Он был в Африке, на зоостанции или в питомнике, где разводят крокодилов, черт его разберет. Куда ни глянь — всюду крокодилы: крошечные, похожие на сухую ветку, средних размеров, но не вызывающие опасений, и крупные, жутковатые гады. Сон строился на постепенном увеличении размеров крокодилов и страха перед ними. Работники питомника, почему-то смутно враждебные Чугуеву, ничуть не боялись крокодилов, но их защищенность не распространялась па него. Вначале он изящно и легко, наслаждаясь своей ловкостью, находчивостью, ускользал от крокодилов, но затем в нем проснулся страх. Ему удалось скрыться в лаборатории и запереть все двери и окна. Крокодилы пытались штурмовать тонкие стены, но без успеха. И тут он с ужасом обнаружил, что возникают они в самой лаборатории — из собственных чучел и трупов, заспиртованных в банках, из лабораторной утвари и мебели. Оказывается, в любом предмете таится крокодил. Стол, диван, скамья стряхивали с себя обманчивую оболочку и становились крокодилами. Он успел выскочить из лаборатории на задний двор, обнесенный глухой, высокой стеной. Двор был пуст, лишь посреди высилась громадная серая глыба засохшего цемента. И не страх, а смертную тоску испытал он, когда от глыбы стали отваливаться куски и освобожденная от бесформия масса предстала гигантским крокодилом. Гад передернул кожей, стряхнул серую пыль и двинулся на него.

Закричав, Чугуев проснулся. Он никогда не испытывал отвращения к крокодилам. Отвращение вызывали в нем гиены, крысы, жабы, но никак не крокодил, забавный персонаж детских сказок. Да и вообще этот сон был незаконен, на трезвую голову ему всегда снились добрые сны, иногда деловито продолжающие дневные заботы и впечатления, иногда погружающие материал действительности в поэтическую дымку и лишь изредка носящие образ фантастики, образ полета, — сны гордые и радостные. И вдруг такая пакость, да еще настолько ошутимо, что, проснувшись, он не мог стряхнуть виде-

ния омерзительных тяжелобрюхих тел и злобных щелок светящихся глаз. «Вот отчего нам ночь страшна!» — пробормотал он строчку мудрого однофамильца районного редактора. Да, ночь и впрямь сдергивает «ткань благодатного покрова», обволакивающую все скрытое в сиянии дня. Да так ли уж скрытое? А боль, пронизавшая его в лодке?... Чепуха, то не боль конца, а расход на восстановление здоровья. Все чепуха... Все чепуха... чепуха... Чугуев спал...

Будили его всей компанией — трясли за плечи, вопили, свистели разбойным посвистом. Первой мыслью, когда он проснулся, было: пропади все пропадом, не встану, не могу встать...

Конечно, он встал и, шатаясь, натываясь на стены, пробрался в сени, чтоб ополоснуть лицо под рукомойником, кое-как оделся и заставил себя выпить стакан спитого чая. Его спутники были в отменно бодром настроении: шутили, разыгрывали друг друга, втапывали ноги в набитые сеном резиновые сапоги, о чем-то уже спорили, словом, вели себя, как и следует вести на охоте, если ты занимаешься этим делом не через силу. За окнами было темно, и, представляя себе медленное — ползком — путешествие по заросшему холодному озеру, пронизывающий рассветный ветер, Чугуев испытывал неудержимый соблазн сказатьсь больным. Он повязал пояс-патронташ и почти с ненавистью снял со стены тяжелое, неприятно холодное ружье.

Против ожидания, на улице оказалось довольно тепло и тихо. Что-то живое, тугое ткнулось в ноги Чугуеву и завертелось в коленях — егерский пойнтер, которому предстояло отыскать всех несобранных на вечерней зорьке уток. Чугуев нагнулся и погладил его по худым бочковатым теплым ребрам.

На этот раз решили разделиться. Тютчев высадил Чугуева на корье, а сам поплыл дальше. Чугуеву было немного боязно оставаться одному, да и не верил он в утреннюю зорьку без шалаша и без чучел, но сделал вид, что вполне доволен и своим зыбким пристанищем, и предстоящим одиночеством. Он нащупал пенек и пристроился на нем, положив ружье на колени. Надо было перетерпеть темноту, утреннюю свою непрочность, усталое равнодушие, отсутствие любви и желаний в душе, чтобы выиграть предстоящий день и всю последующую жизнь, ибо жизнь вновь наступит радостью и слезами, не может не наступить.

Он обнаружил, что тьма разрядилась, и до рассвета, до солнца мир обрел четкое графическое выражение, существуя небом, камышом, берегом, орешником — свинцово-угольный, но достаточно четкий.

Ему повезло: он задремал. Дрема была необыкновенно сладкой и живительной, как кислородная подушка, как укол морфия, как прохладная ладонь жены на лбу. Подобно морскому прибору, сон то накатывал, погружая его в блаженную пустоту, то отступал, возвращая в полудня, и тут, на грани сознания, Чугуев постигал благодать творящегося с ним и снова проваливался в сон.

Когда же он окончательно проснулся, было светло, хотя солнце еще не поднялось. Впрочем, густой орешник на берегу должен был лишить его зрелища восхода, как накануне стена тростника — заката. Но он не особенно горевал, поскольку небо, затянутое тусклой, серой пленкой, все равно не даст разгуляться алому жару. Восход совершился в нем самом, он был рад продолжающейся жизни.

Солнце так и не показалось, лишь над головой белесую наволочь лизнул желтый язычок и сразу же погас; серый, ровный сумрак лег над озером, над всей землей. Утки не показывались, зато было много горластых чаек, носившихся над самой головой, а вода кишела ондатрами. Крупные крысы курсировали во всех направлениях, руля крепким хвостом и высунув из воды тупые мордочки, они сидели на мусорных кочках в лещуге, хлюпали поблизости в камыше.

В паутинных нитях, растянутых между тростниками, иссыхали запутавшиеся мушки. Стоило, забыв о них, глянуть вдаль, сквозь тростник, как темная порошок прикидывалась глазу севшей на воду уткой, он вздрагивал и хватался за ружье. А уток не было, несчастные выстрелы звучали лишь в том же месте, что и накануне. Видно, Харламов продолжал успешные действия.

Но что значила мелкая охотничья неудача перед удачей поездки? Он опять верил в себя, в свое здоровье и силы, был заряжен на жизнь и работу. А утки еще будут!

Так, без выстрела, они отправились домой. По пути им попался выводок: утка-мать бесстрашно плыла по чистой воде с выводком утят. Чугуев решил было, что это дворовые, но тут утка-мать нутряно крякнула, и желтые, еще пушистые птенцы дружно юркнули в лещугу, а

вслед — и крикуша, обнаружив тем самым свою дикую сущность.

— Июльский выводок, — заметил Тютчев. — Весной охота была запрещена, и распоясавшиеся селезни не давали самкам нормально яйца высидывать. И вот результат. Как говорится, потерянное поколение, им не стать на крыло до заморозков.

— Подкиньте мне цифры и факты, — сказал Чугуев, — я толкну статью об охране природы — истинной и мнимой.

— Давно бы так! — обрадовался Тютчев. — Я вам сколько угодно материала подберу, только дайте время. Вы же не последний раз в наших палестинах. Приезжайте на северную, на валовой пролет.

— Договорились! — воскликнул Чугуев, взволнованный словами «валовой пролет»...

На берег высадились одновременно с компанией Харламова. Бывший комсомольский вожак области перешагнул через борт лодки, прошлепал журавлиным шагом к берегу — набитая утками сетка оттягивала ему плечо — и будто без сил повалился на траву. Подбежал мокрый, облипший водорослями пойнтер и принялся взволнованно обнюхивать распростертое на траве длинное тело.

— Ишь, черт, выламывается! — ревниво сказал Тютчев и, не задерживаясь, прошел дальше.

Харламов, хоть и занятый своим представлением, приметил Чугуева.

— Алексей Борисыч, примите в подарок от мшарской общественности! — И выхватил из сетки широконосого.

Чугуев всегда привозил с охоты только собственно-ручно убитую дичь. Он считал: уж лучше вернуться пустым, чем пользоваться щедростью более удачливых охотников. Но в данном случае нельзя было отказываться — Харламов, пусть и в шутливой форме, придал своему дару как бы символический смысл. С чуть натянутой улыбкой Чугуев взял утку. И тут странным толчком сердца вошло в него, что он навсегда запомнит эту минуту: пасмурное небо, тусклую воду, долговязую фигуру на траве, мокрого пойнтера с беспокойным носом, теплое тело ширококлювой птицы с капельками крови на серой грудке.

Он побрел к школе. Туристы уже покинули стоянку, от них осталось темное пятно залитого водой костра, обгорелая коряга да примятая трава там, где стояли палатки. Плывут по озеру загорелые ребята, и среди них

девочка, так серьезно и наивно расспрашивавшая его об охоте и утках; где-то недалеко отсюда продолжает свою жизнь посланница поповской свадьбы с чудными зелеными глазами, и «гад-позорник» в мешковатых штанах, и все другие люди, чье новое существование уже стало частицей его жизни и долга...

Не заходя в класс, он стал искать на крыльце гнутый гвоздь, чтобы выпотрошить широконосого, когда из-за приоткрытой двери услышал слова, сказанные Михаилом Афанасьевичем:

— Да что вы! Ему и полгода не протянуть!

Эта фраза прозвучала как бы дважды. Произнесенная негромким, сочувственным голосом, она так же тихо коснулась слуха Чугуева, и обреченность неведомого человека не могла его затронуть. Затем была маленькая пауза, куда упал голос Обросова: «Теперь все понятно... Жаль человека». И эта фраза вспыхнула, взорвалась у него внутри. Да ведь это же о нем, о ком же еще мог говорить Афанасьев!.. Ноги ослабли, он выронил утку и опустился на ступеньку крыльца.

Спокойно, спокойно... Откуда шоферу знать? Сам додумался? Спокойно... Он не станет зря говорить. Выходит, шофер знает, а домашние не знают?.. Да нет же, и домашние знают, все всё знают, кроме него самого. Но врачи спокойно отпустили его на охоту. Боже мой, потому и отпустили, что уже все равно. Нет, нет, шофер что-то напутал, не так понял...

Ему вдруг стало отчаянно стыдно этой суетни перед лицом смерти. Он словно хотел поймать кого-то за руку. Да ведь он отлично знает, что это правда, знал и до того, как услышал слова Михаила Афанасьевича. Он знал это, чувствуя, что в нем загнил самый ствол жизни. И даже куда раньше, он с самого начала знал, что ему не выкарабкаться. Но одно дело знать втайне от себя, другое — услышать со стороны, так грубо и окончательно.

Он провел руками по лицу. Ладони стали мокрыми, что это — пот, слезы, покидающая его субстанция жизни?..

Он трогал свое лицо, которого скоро не будет. И щеки, и подглазья мокры, но глаза не плачут. Да и чего плакать? Над другими можно плакать, но разве выплещешься над собой? Собственная смерть слишком серьезна, чтобы откупиться слезами.

Господи, еще несколько минут назад он был так сча-

стлив! Он был полон жизнью и всем задуманным... Что ему остается сейчас, чем заполнить последние дни? Можно сбросить все запреты и табу, пошуметь напоследок? «Скучно, дядя, — поникло сказал он себе. — Эту пену ты и так уже сдул. Жизнь была не за пиршественным, а за письменным столом, вот с чем труднее всего расстаться...»

Боже мой, значит, он все-таки умрет. Не когда-нибудь, не в туманной и нереальной дали будущего, что было почти равно бессмертию, а в малых пределах времени. «Стоп, — сказал он себе, — а что изменилось? Я узнал, что скоро умру. Точнее, через полгода. Но ведь я могу умереть и раньше, погибнуть в автомобильной катастрофе или от несчастного случая на охоте, от пневмонии или какого-нибудь новомодного гриппа. Или мне упадет на голову кирпич, или меня пырнет ножом какой-нибудь бандюга. Значит, даже оставшийся мне срок не гарантирован. Хотя предопределенность моей смерти все же служит известной гарантией, что я дотяну до нее. Маловероятно, что, нося в себе смерть, я погибну от какой-то внешней причины. Если на то пошло, я более застрахован от гибельных случайностей, чем многие другие. Михаил Афанасьевич сообщил, что я скоро умру. Обросов и Тютчев жалостно вздохнули, даже оптимист Пыжиков, наверно, согнал на миг улыбку с румяных уст, а кто знает, переживут ли они меня? Да и кому дано знать свой срок? Пожалуй, мое положение на ближайшие полгода надежней. Могу переходить улицы не на перекрестке, ездить последней электричкой в Кратово, сидеть у постели заразного больного. Так-то, товарищи сочувствующие, так-то, милые добряки! Экие, понимаешь, бессмертники!.. А чего я на них злюсь? Мне стыдно, что я умру раньше их, и они об этом знают. Вот что — надо дать им понять, что я тоже это знаю. А зачем? Что за суетность? Боже мой, до чего все-таки человек не подготовлен к смерти...» «Ты все время думаешь не о том, — снова прервал он себя. — Постарайся понять всерьез, что ты теряешь. С чем ты должен уже сегодня распрощаться. Тебе уже не стать Че Геварой и не погибнуть в горах от вражеских пуль, не сравняться ни с Львом, ни с Алексеем Толстым, ты не полетишь в космос и не получишь Золотой Звезды Героя, тебе не любить ни одной из тех женщин, что так манили тебя издалека, сейчас ты мог бы назвать их по именам, умирающему позволительна такая короткость, но ты не сделаешь этого.

Прощайте, милые кинозвезды, нежная бледность ваших лиц светила мне с экрана, прощай и ты, Надя, жена лучшего друга, и как хорошо, что ты осталась среди дорогих теней. Конечно, все это большие потери, но теперь, когда нет места самообману, самолюбию, сумасшедшим мечтаниям, сновидениям наяву, можно признаться, что твои великие потери — воображаемые потери. А то, что ты способен был сделать, ты можешь сделать в оставшиеся дни: написать что-то толковое, небездарное и нужное, даже кому-то помочь, хоть Василию Васильевичу или уткам Тучковского озера. Честное слово, это не так мало для простого, слабого человека и совсем немало для умирающего. И пусть все остальные живут, и что-то мое будет брезжить в них. Неужели я сейчас вру?.. Нет, именно сейчас я, кажется, начинаю находить общий язык со смертью. Оказывается, это простой язык, повседневный. Единственное геройство, ну не геройство, но пусть геройство, какое мне осталось: дожить оставшиеся дни, как я живу сейчас, ничего не менять. Доделать недоделанные дела, насколько времени хватит, дописать недописанные слова, сколько удастся. И да здравствуют чистые озера, да множится утиный род, да вернется в лоно комсомола зеленоглазая отступница и да воспрянет духом егерь Василий Васильевич и снова служит своему краю. Я вышел на финишную прямую своего марафона и вижу ленточку. Как важно сейчас не свалиться, не сдаться, добежать, именно добежать, а не доковылять — нет, финишировать грудью вперед.

Конечно, мне еще будет препогано, особенно ночью, но я справлюсь, честное слово, справлюсь. Очень важно — хорошо уйти. Важно не только для самого себя, а для остающихся. Надо ли дать знать окружающим, что я осведомлен о своей болезни, или делать вид, будто ничего не случилось? Или же есть третья линия поведения, пока еще не совсем ясная, создающая некую равнодействующую между показным мужеством осведомленности и жалкой, глуповатой беспечностью неведения? Черт возьми, умирание — тоже работа, и мы очень плохо подготовлены к ней». Он достал носовой платок, вытер лицо и шею, подобрал широконогого. Движения его были твердыми и четкими. Если б еще не думать о себе...

Его появление в классной комнате вызвало не то чтобы замешательство, а словно бы легкий сбой, который он, наверное, не заметил бы, если б не услышанные слова. И ведь не скажешь даже, в чем проявился этот сбой;

в том ли, что Михаил Афанасьевич отвел глаза; что Обросов помедлил, прежде чем приветствовать вошедшего в духе обычного охотничьего горлопанства; что Тютчев слишком старательно выковыривал стреляный капсюль из патрона, а Пыжиков забыл улыбнуться; и Чугуев понял, что застал их почти врасплох. Значит, все его переживания и размышления уместились в считанные секунды.

— Николай Иванович, — быть может, серьезнее, чем следовало, обратился он к редактору, — ты все же не затягивай с материалами.

— Да разве к спеху? — очень естественно отозвался Тютчев. — Ты ведь приедешь на северную?

— Кто знает! — сказал Чугуев. — Жизнь коротка, и незачем откладывать. Может, когда северная пойдет, меня уж на свете не будет... или тебя не будет, — добавил он, давая возможность считать сказанное шуткой.

На Тетеревов

1

— Без Валета там делать нечего, — сказал охотовед Горин.

Маленький, тонкогубый, страдающий язвой, он обладал сильным, полным металла баритоном, легко, без напряжения покрывавшим любой шум. А за столом в охотничьей избе было порядком шумно. Мы только что основательно пообедали консервами и ухой и, подобно всем охотникам на привале, не отличались молчаливой сдержанностью. На меня богатый голос Горина действовал гипнотически, я не понимал, как можно ему возражать.

— Я слышал, — сказал толстенький подполковник в отставке, — что во мхах тетеревей до черта, и собака не нужна.

— А вы можете по мхам ходить? — загремел Горин.

— Я сердечник...

— Вы сердечник, я, — Горин ткнул себя пальцем в грудь, — язвенник, он, — кивок в мою сторону, — после инфаркта, у Валерика радикулит.

— Ладно болтать! — огрызнулся усатый Валерий Муханов. — А разве вы в Щebetовке не держите спаниеля?



— Спаниель стойки не делает, — поглаживая рукой солнечное сплетение и морщась, говорил Горин. — Нешто это охота?.. Нужен настоящий легаш. — Он вдруг надул щеки, шумно выдохнул воздух. — Матвейч, у вас соды не найдется? — крикнул хозяину избы.

— Должна быть, — отозвался Матвейч, крепкий, гнутый в спине старик, небритый, нечесаный, в розовой застиранной рубашонке вроспуск поверх засаленных ватных штанов.

— Хоть и без стойки, а работал этот спаниельчик — будь здоров! — сказал подполковник. — Я его еще по Можайскому охотхозяйству знаю. За милую душу подымал чернышей.

— А почему мы не можем с ним охотиться? — робко спросил я.

Горин жадно пил соду из кружки, держа ее двумя руками, он не мог ответить, лишь сделал предупреждающие глаза.

— Доконали собачонку, — ответил подполковник. Он, не разлучаясь с нами, как-то удивительно сумелоказаться в курсе всех здешних дел. — Лапы сбила.

— Охромела! — отняв кружку от губ, но в ее гулкость уронил Горин. — Короче, пока Толмачев с Валетом не явятся, нам в Щебетовке делать нечего.

— А когда он явится? — спросил Муханов.

— Странный ты, ей-богу, Валерик! — захохотал, ничуть не напрягая связок, Горин. — Ведь при тебе разговор был. Как обкомовские охотятся, он тут же выедет. На протоке его ждет егерь Пешкин с мотором. Ну чего тебе еще нужно?

— Толмачев устанет и завалится спать... — начал Муханов.

— Ни в жизнь! — Горин хлопнул кулаком по столу. — Раз ему охотовед приказал...

— Не в том дело, — вмешался подполковник. — Про Толмачева говорят — железо! Может не спать по трое суток. Солдат, пехота — царица войны!..

Уже не впервые расточались похвалы Толмачеву, как и не впервые завязывался этот беспредметный разговор. Мы третий день томились в богом забытой деревушке Конюшково, ожидая Толмачева и Валета, и настроение у нас было неважное. Обычно споры кончались тем, что Матвейч натягивал ветхий кожушок и, высмеивая из глаз мелкие стариковские слезы, отправлялся за пивом.

Как ни мечтал я об охоте на боровую дичь, сейчас мне не без грусти думалось о чудесной, налаженной, простой и безотказной мещерской утиной охоте. За время, даром потерянное здесь, я успел бы насладиться всеми радостями утренних и вечерних зорь и плотно набить ягдташ.

— Валерик! — послышался густой, но умягченный нежностью голос Горина.

— Ну?..

— А я видел тебя во сне.

— Правда, что ль?

— Да. Ты сидел на двух дубах и держал орла в зубах.

Это был их способ мириться после споров.

Я вышел из дома.

Ясный и чистый осенний день клонился к вечеру. Деревня стояла на острове, в глубокой заводии озера Могучего; наша изба была крайней, ближней к воде. Если не знать про озеро, то кажется, будто деревенька сползает по косогору к обычной речке, — так узка полоса воды между островом и берегом Большой земли. В горловине заводии остров соединен с берегом деревянным мостом, но мост изгнил, провалился, и теперь общаться с землей можно лишь лодками.

В затерянной меж большой водой и большим небом деревеньке люден и полон жизни прилегающий к воде край. Здесь, на берегу, сколачивают и смолят лодки, баркасы, сушат и чинят рыбацкие сети; отсюда отправляются на рыбалку мужики, по клюкву и бруснику — ребяташки, здесь греются на солнышке старики, судачат старухи, и женщины стирают белье, глухо стуча вальками. Прямо передо мной — мостки, уходящие далеко в воду. На их дальнем конце стирает красивая Данилиха с седой прядью в жгуче-темных волосах. Из-за этой пряди Данилиха, вопреки правилам деревенского приличия, не носит платка. Данилиха — вдова, муж ее умер от ран вскоре после войны, оставив ее с дочкой на руках. Дочка Люда тоже на мостках, но ближе к берегу, помогает матери. Это смуглая тонкотелая девушка лет семнадцати. Худенькая, продолговатая, как лисица, она все же очень похожа на свою дородную мать и чертами лица, и даже складом фигуры, крепкой, несмотря на тонину.

Когда Данилиху видишь одну, она кажется молодой и привлекательной, но рядом с дочерью резко проигры-

вает. Из-за их схожести особенно остро и печально видишь неизгладимую печать времени на лице ее и стане: щеки чуть провисли, шею изрезали морщины, в груди и плечах усталость.

Данилиха стирает белье для охотничьего домика. Она сидит на корточках, юбка задралась, обнажив круглые смуглые колени, движения ее сильны, размашисты и плавны. Люда нежно враждует со своим, чуть неудобным ей, как новая одежда, молодым телом. Она полощет какую-то белую тряпицу, но поминутно отвлекается, чтобы потрогать себя между лопатками, коснуться то плеча, то шеи, то бедра. Вдруг платье начинает жать ей в груди, и она двигает плечами, чтобы избавиться от тесноты, боязливо подталкивая груди ладонями.

Мимо меня к мосткам с пустой кошелкой прошел Матвейч. Он окликнул Данилиху — магазин располагался у нее в доме, — и та сразу поднялась, одернула подол, сделала несколько шагов по мосткам к берегу и кинула Матвейчу ярко взблеснувшую связку ключей. Матвейч не поймал их, ключи упали под берег. Он затрясся от смеха, тяжело опустился на колени и нашарил ключи в мелкой воде.

— Недотепа! — крикнула Данилиха. — Тебе сколько нужно?

— Пару...

— Брал бы сразу ящик, все равно опять пошлют. Деньги положи под счеты, а посуду оставь в сених!

— Будет сделано, товарищ начальник!

Матвейч двинулся было прочь, но вдруг обратился ко мне:

— Книжка там на подоконнике лежит — ваша?

— Шмелева? «Человек из ресторана»? Моя.

— Продайте мне. Тут не достать.

— Берите так.

— Неудобно. Лучше продайте.

— Возьмите на память.

— Ну тогда спасибо.

Если забыть об охоте, то мне все нравилось здесь. Нравилась эта деревушка, невесть зачем построившаяся на островке, странноватые, беспечно-приветливые люди, легкий налет бессмыслицы на всем здешнем существовании. Ведь куда проще было переселиться на Большую землю, чем терпеть все тяготы островного существования. Куда проще отремонтировать мост, чем держать целую флотилию лодок для связи с остальным миром.

Но, похоже, здешним жителям нравилась их уединенность, затрудненная, необычная жизнь. На лодках отправлялись они работать в поле; тесно набиваясь в узкую плоскодонку, отплывали в школу ребятишки; на моторке доставляли сюда почту, на баркасе — продукты и товары в магазин. Здешние девушки, верно, грезили о суженом на манер гриновской Ассоль: он мог явиться сюда лишь под алыми парусами.

И так характерна была разыгравшаяся на берегу сцена: продавщица бросает ключи от магазина покупателю, спокойно полагаясь на его совесть; старик, не задумываясь, покупает приглянувшуюся ему книгу, хотя сам гол как сокол. Такую вот беспечную широту ощущаешь здесь на каждом шагу. Мучаясь язвенными болями, Горин сказал вчера: «Мне бы куриного бульонцу для желудка хорошо». Работавший поблизости плотник тут же словил молодого петушка и обезглавил. От платы наотрез отказался, хотя Горина едва знал. Надо еще выяснить, чей это петушок, пояснил плотник, да и неизвестно: возьмет ли хозяйка деньги, потребует ли другого петушка взамен, а то, может, и так это дело переживет.

Но, пожалуй, с особой чистотой местный характер воплотился в нашем хозяине, Матвейче. Начать с того, что хозяином избы числился он лишь по старой памяти. Изба давно отошла охотбазе, которая капитально отремонтировала ветхое строение. Не было здесь, кажется, ни одной лично принадлежавшей Матвейчу вещи. Крошечную зарплату, которую ему платило охотхозяйство, он частично пропивал с охотниками, частично тратил на липкие конфеты для соседских ребятишек, на лавровый лист, перец и соль для общей ухи.

Впрочем, одна вещь, и даже ценная, до недавнего времени у Матвейча была. Он чистил рыбу на темной, потрескавшейся доске в чуть приметных золотистых и синих пятнах. Один из приезжих охотников, художник, заинтересовался как-то этой доской. Он потер ее тряпочкой, поскоблил и обнаружил старинную икону суздальского письма. Художник задумал выцыганить ее у Матвейча, но тот, догадавшись о ценности старой доски по алчной заинтересованности гостя, тут же подарил ему икону.

Эта история навлекла на Матвейча кличку «набожный старик». За обедом между Матвейчем и Гориным состоялся разговор на религиозную тему. Припомнив прозвище Матвейча, Горин сказал:

— Встречал я набожных людей, но таких, чтобы на иконе ершей шелупать, еще не попадалось.

— Кабы знал, что вещь ценная, сроду бы себе этого не позволил, — сокрушенно отозвался Матвеич.

— Не в ценности дело, а в святости, — чашка крепкого куриного бульона настроила Горина на особо нежное, бережное отношение к миру. — Сам можешь не верить, но чувства других людей уважай. Мы, вон, антирелигиозную пропаганду ведем, а ведь церковью не разрушаем.

— С чего ты взял, что я неверующий? — спросил к общему удивлению Матвеич. — Я, может, как раз в бога верую, только считаю его подонком и оказываю ему свое презрение.

— Не притворяйся, Матвеич, сам знаешь, что бога нет.

— Хрена два, — как-то слишком серьезно сказал Матвеич, — ты уж бога мне оставь. Есть он, козел, недоумок, пустая башка, а я на него плюю и растираю!

Когда-то Матвеич был другим: рачительный хозяин, уважаемый человек. Он работал председателем сельского Совета, но в пятидесятом году его посадили по навету. Выйдя через четыре года, он не застал в живых своей старухи. С тех пор, говорят, и стал он беспечным. В отличие от всех реабилитированных, с какими мне довелось встречаться, Матвеич не настаивал на своей невиновности. Я слышал его рассуждение: «За кем ничего не числится, тому десятку давали, а мне вкатили пятнадцать. Чего там ни говори, а перед Сталиным я выходил виноватым: многим был недоволен, и выражался вслух».

Впрочем, как ни любопытно тут было, я-то приехал охотиться, а не наблюдать нравы. Но вот охотой покамест не пахло...

Над озером творился закат. Вскоре багрянец простерся по натихшей заводи, вода стала густой и тяжелой. Послышался быстро нарастающий шум мотора. Из-под моста вылетела в вишневых брызгах моторная лодка с задраным носом. Издали казалось, что человек сидит прямо на воде — так низко опустилась корма. Мне подумалось: это Толмачев. Но в лодке не было собаки, а вскоре я разглядел мешковатую фигуру егеря Пешкина. Он круто подрулил к причалу и, не сбавляя скорости, врзал нос моторки в песчаную отмель. Оказывается, на-

скучив ожиданием, он приехал «за дополнительными указаниями». Мы вместе прошли в дом.

Пешкин явился вовремя, чтобы разрядить обстановку. Горин накинулся на него, будто он виноват, что Голмачева до сих пор нет. Впрочем, покидая свой одинокий пост на протоке, Пешкин знал, что его ждет: ему тоже требовалась разрядка. Поэтому он спокойно выслушал брань охотоведа, похлебал холодной обеденной ухи, выпил припасенную для него Матвеичем стопку, истово поблагодарил всех: «Очень вами довольны!» — и отправился восвояси.

— Распустился народ! — говорил после его ухода Горин. — Но ничего, я их подтяну.

Горин работал охотоведом первый год, до этого он был диктором на радио. Страстный ружейный охотник, много лет связанный с охотничьим обществом, он имел за плечами три курса биофака, и когда ему захотелось перебраться поближе к природе, за назначением дело не стало. Радиодиктор никем и ничем не командует, два десятка служащих, оказавшихся под началом у Горина, привели его в состояние легкого, но постоянного головокружения. Легкое зазнайство Горина с лихвой искупалось его наивностью, добротой, теплом к людям. Здесь его все любили.

Вскоре подоспела уха, пятая по счету в этом доме. Матвеич подал ее в огромной кастрюле и произнес фальшиво-смирненным тоном:

— Уж и не знаю, потрафил ли вам!..

Я понял, что дело плохо. В первый раз Матвеич стоговил уху на диво: наваристую, остро приправленную, из разной рыбы, прозрачную, как слеза. Тогда он ничего не приговаривал, скромно подал уху на стол. Вторая уха была похуже: из одних ершей, мутноватая, со слизью, но все же вкусная. Третья была без соли, — вода, в которой плавали плохо разваренные костлявые лещи. В четвертый раз Матвеич навовсе забыл сварить уху, а после разноса, учиненного Гориним, подал с фальшиво-смирненным видом остатки предыдущей ухи, разбавленные чуть теплой водой из самовара.

Дурное предчувствие не обмануло меня: из кастрюли вычерпывались острые кости без следов рыбьего мяса, серая мантия разваренной щучьей чешуи, и вдруг — седочная голова с веточкой петрушки во рту.

— Хоть вы и набожный человек, — морщась, сказал Горин, — но уха ваша — дерьмо!

— Самая лучшая уха — корейка, — равнодушно отозвался Матвейч, хватив кус копченой свинины из наших припасов.

Матвейч не считал своим жизненным призванием готовить нам уху и вообще всерьез обслуживать приезжающих охотников. Он делал это скорее из привычного гостеприимства — родные стены дарили ему обманчивое ощущение, что он тут по-прежнему хозяин, — отчасти же из врожденной доброты, широкой готовности услужить людям. Ему было плевать с высокой горы, потрафит он или не потрафит своей ухой, но артистизм одаренной природы побуждал его изображать из себя этакое заботливое хлопотуна. На деле его занимало сейчас совсем другое.

— Кто лучше, Маяковский или Есенин? — спросил он меня.

— Маяковский!..

— Есенин!.. — выстрелили друг в друга Муханов и Горин.

— По-моему, так Пушкин... — заключил Матвейч.

Воцарилась тишина, нарушаемая прихлебыванием да короткой бранью, когда рыба кость впивалась кому-нибудь в десну.

Свечерело. Матвейч стал налаживать висящую над столом лампу-«молнию». Лампа потрескивала, будто на пламя сыпали порох, и не хотела разгораться. Матвейч осторожно подкручивал, затем выкручивал фитиль, и странно голубоватый трепетный венчик пламени то, пофыркивая, уходил вглубь, то пытался улететь в стеклянную трубу. Наконец Матвейчу удалось посадить его голубокрылой бабочкой на фитиль. По стенам к потолку протянулись уютные тени.

— Рассказал бы кто анекдотец, — светским голосом сказал Матвейч.

— Битому нейметя, — заметил Муханов.

— Вы набожный человек, наши анекдоты не про вас, — лениво пошутил Горин.

— Давайте лучше чайку попьем, — предложил подполковник. — Матвейч, сочинил бы самоварчик!

— Давным-давно готов...

— Оно и плохо, — сказал Муханов, — поди, остыл?

— На вас не угодишь, — проворчал Матвейч.

Среди ночи раздался грохот, захлопали двери, порыв ветра взметнул притушенное пламя лампы, и будто сполохом озарилась изба. Пламя выросло и утвердилось в ярком сиянии, послышался милый стук собачьих лап и окрик:

— Куш, Валет, куш!..

Я окончательно проснулся и сел на койке. Посреди комнаты стоял незнакомый человек, возле него суетился Матвейч, а вокруг них, поджимая зад, будто собираясь присесть, но в последний миг отдумывая, крутился рослый дратхар: шоколадный с серым, с большой бородастой шоколадной мордой, с печальными, мудрыми, золотыми глазами, поджарый и крепкий — спортсмен и аристократ с головы до ног.

Сперва я увидел пса, а уж потом егеря, он медленно стаскивал с себя ружье в деревянном чехле. Человек, ожидаемый столь долго и страстно, не мог показаться непривлекательным, и Толмачев сразу покори́л меня. Среднего роста, худой в бедрах и талии и необыкновенно широкий в плечах, на светлой голове красиво, наискось сидела черная охотничья финская шапочка. С левой опущенной руки свисала витая ременная плеть. Узкое, бледно-загорелое лицо егеря по первому взгляду казалось молодым, но вокруг его серых с просинью глаз залегла усталость. Это была усталость, какой расплачиваются за войну, за трудную непростую жизнь. И все же Толмачев казался человеком свежим и сильным.

Он снял ружье и отдал его Матвейчу, развязал тесемки и скинул плащ-палатку, потом обошел всех нас и с каждым поздоровался за руку. Мне как незнакомцу Толмачев пожал руку особенно дружески и выразительно, взяв ее в обе ладони. Хоть он и пришел с ночного холода, руки у него были сухие и теплые.

— Небось намучился, товарищ Толмачев? — беспokoйно спросил Горин. — Завтрашняя охота отменяется. Будете отсыпаться?

— Из-за меня охоту незачем отменять, — тихим, вежливым голосом отозвался Толмачев. — Мне и трех часов достаточно, чтобы выспаться.

— Ну а нам рано не выходить, — подхватил Горин. — Пускай тетеревиных набродов побольше будет. Только я вас не неволю.

— О чем разговор? — улыбнулся Толмачев.

...Казалось, меня разбудили прежде, нежели я успел заснуть. За окном еще была черная ночь, а освещенная лампой-«молнией» изба жила деятельной и суматошной жизнью. С улицы в избу и обратно металась егеря, в сенях позвякивал носик рукомоиника, весело гудел самовар, стучал лапами Валет, и Толмачев прикрикивал на него: «Тубо, Валет!.. Куш!», Матвеич звенел посудой, подполковник топал сапогами об пол, уминая в них свежее сено, ворчал на кого-то Муханов и, покрывая все шумы, грохотал Горин:

— На заре охотятся одни пижоны!.. Чего делать в лесу, когда набродов еще нету?..

— А сойдет роса — будут наброды? — сердито крикнул Муханов.

— Сказал! Роса чуть не до полудня держится...

— Ну так дождик пройдет, смоем следы, — настаивал Муханов.

— Какой еще дождик? Небо чистое, звездами играет. Толмачев, скажите ему: есть толк в лес идти, когда нет набродов?

— Никакого толку, — мягко улыбаясь, ответил Толмачев.

— Да это я и без вас знаю! — надулся Муханов. — Тоже открыли Америку!..

— Валерик, — проникновенно начал Горин, — а я видел тебя во сне...

— Не разбудила? — слышался свежий женский голос, и в избу заглянула Данилиха.

— Вера Степановна!.. — скромно обрадовался Толмачев. — Милости просим!..

— Показалось мне, будто вы прибыли, — Данилиха вошла, держа в руках большой газетный сверток. — Вот, косточек для Валета захватила...

— Спасибо. — Толмачев взял сверток, заглянул в него, выбрал кость и кинул Валету, остальное сунул в рюкзак. — Как поживаете, Вера Степановна? Самочувствие?

— Да что мне делается? — засмеялась Данилиха. — А вы совсем пропали!

— Работа, — развел руками Толмачев. — В последнее время много гостей из области да и с Москвы. Охотимся на Легошинском участке, все больше на рябчика и белую куропатку.

— Да мне-то к чему, на что вы там охотитесь! —

снова засмеялась Данилиха, но как-то тревожно и неестественно. — А только друзей нехорошо забывать.

— Спасибо за косточки, Вера Степановна, — тепло сказал Толмачев, притворяя за ней дверь.

— Иван Матвеич! — взвыл Горин. — Куда девался набожный старик?

— Да здесь я! — вышел тот из боковухи.

— Иван Матвеич, покорми егерей... ушицы вчерашней, картошечки... тут вот консервы остались...

— Не беспокойтесь о нас, — сказал Толмачев.

— Я знаю, товарищ Толмачев, вы о себе никогда не думаете, — строго остановил его Горин, — но распоряжаюсь охотой я. А у меня принцип: прежде всего, чтобы люди были сыты, потом — все остальное.

Толмачев улыбнулся и отошел в сторону.

— Иван Матвеич, — снова обратился Горин к старику, — сейчас, повторяю, накормите егерей, затем охотники попьют чайку, и в путь! К десяти часам нам быть в Щебетовке с готовой ухой...

— Вот уж демьянова уха! — взорвался Муханов. — Мы что — приехали охотиться или уху трескать? На кой дьявол потащимся в Щебетовку?

— Молчи, Валерик, сейчас ты сытый, а находишься по лесу, взмечтаешь об ушице.

— Что, ее там нельзя сварить?

— Может рыбы не оказаться.

— Эка невидаль! Пошлешь щебетовского егеря, он в два счета наработает.

— Нет, Кретову ботать не придется, он нас в лес повезет на подводе.

— Сами, что ль, не доедем?

— У него лошадь с норвом, другому не управиться.

— Кретов сам не больно управляется, — заметил Матвеич, подавая на стол кастрюлю с ухой.

— Матвеич! — в открытом окошке появилась голова Данилихи. — Ты давеча насчет лаврового листа интересовался. Я принесла.

— Спасибочка, нешто я интересовался? — равнодушно сказал Матвеич. — Сколько с меня?

— Да ладно копейками считаться! — свежие скулы Данилихи пламенели. — Слышу, опять рыбу заказали, значит, без лаврового листа не обойтись.

— Валет за косточки вас благодарит, — Толмачев подошел к окну, нагнулся и пожал Данилихе локоть,

— Будет вам!.. — и Данилиха скрылась.

Когда мы собрались в путь, начало светлеть. Заря занималась тихо и бескрасочно. Небо, чистое и звездное всю ночь, затянуло, вода слегка курилась, в какой-то тусклой белесости подступало утро. Мы распределились по лодкам. В большую лодку сели Горин, Толмачев с Валетом и я. Горину очень хотелось быть вместе с Мухановым, но тот, злясь на поздний выезд, нарочно прыгнул в другую лодку.

— Чудак, Валерик, — сетовал Горин, — неужели на «Стреле» лучше плыть, чем на «Москвиче»? Вот увидите, как они отстанут...

Поначалу вышло иначе. «Стрела» завелась сразу и, медленно развернувшись, скрылась в тумане. Наш же «Москвич» тупо не поддавался усилиям Толмачева.

— Небось пересосал? — тоскливо предположил Горин.

Толмачев вытащил мотор из воды и снял крышку.

— Ясно, на свечах пуд грязи.

— Сдеру шкуру с Пешкина, — пообещал Горин.

— Это лишнее, — своим мягким, успокаивающим голосом сказал Толмачев. — Сейчас все наладим.

С того момента, как «Стрела» скрылась в тумане, Валет, сидевший рядом со мной на скамейке, не переставая, дрожал. Он тоскливо поворачивал морду на затахающий вдаль шум мотора, втягивал ноздрями воздух и едва слышно поскуливал глубиной горла. Бедняга Валет боялся, что охота состоится без него, ему невдомек было, что все предприятие, именуемое «показательным охотхозяйством», со всеми лесными угожьями, с заказниками и питомниками, с многочисленным штатом егерей и других служащих опирается на его худенькие ребра.

Туман за клубился гуще, плотнее, на какие-то минуты скрыв простор, затем, как обычно бывает, стал стремительно редеть. Но он еще уносился к берегу серебристыми хлопьями, застревая в тростнике и лозинах, когда на мостках явилось, будто родившись из тумана, тонкое, долгое существо. В серебре засмуглело, вычертилось тело девушки с красной полоской ситца на бедрах. Крестнакрест прикрыв руками грудь, девушка шагнула с мостков в воду.

Но вот последние хлопья тумана улетели ввысь, в слабую проголубь раннего неба. Оглушительно громко взревел мотор и, словно задушенный, стих, перейдя на малые обороты. Совсем рядом послышался девичий смех.

Держась рукой за борт лодки, в воде стояла Люда, Данилихина дочка. Вода доходила ей до плеч: тут было мелко, видимо, девушка опустилась на колени. Она подымала кверху лицо, чтобы не проглотить грязноватой пены с волны.

— Дядя Тим, возьмите меня с собой!

— Баловница! — ласково сказал егерь. — А ну-ка брысь, резанет винтом, отвечай за тебя!

— Я на буксире поплыву, — продолжала девушка.

Но егерь прибавил оборотов, винт яростно вспенил воду, и моторка, отбросив руку девушки, с силой устремилась вперед.

— Дядя Тима-а!.. Приезжайте!.. — донеслось до нас.

На плесе Могучего мы нагнали и обошли первую лодку.

— Теперь опять начнутся обиды, — грустно сказал Горин. — А кто виноват? Я же звал Валерика. Но он и в армии отличался таким же упрямством, мы с ним всю войну вместе прошли. Он был начальником связи дивизии, я работал в штабе. И в госпиталь вместе угодили после Курской дуги. Только у него было пулевое ранение, а меня осколком мины жигануло. Мы с ним на соседних койках лежали и все время спорили, нас даже хотели по разным палатам развести. Насилу отговорили. После мы все наши опоры ночью решали. Сделали трубки из газет и шепотом переругивались. Но он мужичонка отходчивый, ему только польсти...

Совсем распогодилось: чистое небо, чистая светлая вода, чуть колеблемая ветерком. На большой скорости мы вошли в блекло-зеленый, очень густой тростник и, хрустко ломая стебли, стали углубляться в озерные джунгли, где сразу потеряли из виду вторую лодку. Перед самым носом Валета со стебля на стебель нахально перелетали зеленовато-желтенькие тростянки. Валет вздрагивал и жалобно заводил на егеря золотой зрак. Не меньше двух километров плыли мы сквозь эту заросль, и лишь раз Толмачеву пришлось поднять из воды мотор и освободить запутавшийся в стеблях винт. Наконец мы вошли в тихую реку, лежавшую в ровных, низких, плоских берегах, казалось, это вовсе не река, а искусственная протока.

— Ну вот, а их все нет, — опять принялся за свое Горин. — Не мог же я, в самом деле, в тихходку сесть... Валерику что, он гость, а я организатор охоты.

Он велел Толмачеву выключить мотор и ждать на-

ших спутников. Горин немножко играл в свою новую должность, в нем не было еще тишины и усталости всерьез служащего человека.

Вскоре показалась «Стрела», Муханов сидел на передней скамейке, зажав ружье между худых колен.

— Валерик, — сказал Горин, — ты бы лучше разрядил ружье.

— Что я — мальчик? Не умею с ружьем обращаться?

— Умеешь, а только тетерев — не водоплавающая, зачем правила нарушать?

— Не нуди!.. — Муханов, сломав ствол, поймал в ладонь выброшенные инжектором патроны.

Мы пропустили «Стрелу» вперед и пошли впритык за ее кормой. С берегов над водой нависали мохнатые от росы травы, немного отступая, сидел запотелой хвоей сосновый редняк, растущий на красноватых мхах. Моторы работали на малых оборотах, и сквозь их негромкий рокот отчетливо слышалось тетеревиное чужфуканье. Удивительны были звуки весенних брачных рассветов посреди осени, и я не поверил им, решив, что это слуховая галлюцинация. Но характерный, волнующий тетеревиный фырк все колебал горько пахнущий осенью воздух, он был не столь громким, бравурным, не столь ликующим, как весной, в нем звучали печаль и покорность, и все же разве спутаешь с чем другим на свете любовное бормотание косачей?

— Ишь, молодняк токует, — заметил Горин, — значит, его и осенью любовь томит.

— Да без толку, — добавил Толмачев.

По берегам все чаще стали попадаться рыболовы: молчаливые, недвижные, в огромных залубеневших брезентовых плащах, они склонились над своими удочками, одеревеневшие от ночной стужи и не заметившие даже прихода утра. Из-под капюшонов вослед нашим лодкам скашивали недобрый взгляд, но ни один не шевельнулся, не переменял позы, не отвел душу ругательством. Чем-то тяжелым, давящим веяло от них, и я обрадовался, когда берега вновь заяснели безлюдьем.

Справа сосновый редняк на мхах стал удаляться в глубь берега, круто отворачиваясь от реки, а вперед выдвинулись молодые заросли ивняка. Меж ними и рекой оставалась узкая луговина, поросшая очень густой росистой — сплошь жемчуг и серебро — травой. Левый берег поднялся над водой медно-песчаной кручей, закурча-

вился тоненькими, еще совсем зелеными березами, а по ходу лодки на нем стали высоченные мачтовые сосны, их кроны озаряло еще скрытое от остальной природы солнце.

Но вот с луговины правого берега, из-под самого нашего носа с шумом, вначале пугающе громким, а затем сладким, невыносимым, сводящим с ума, один за другим, черные и здоровенные, как китайские свиньи, пре-красные, как мечта, к верхушкам дальних сосен, за пределы выстрела, пролетели восемь тетеревов: цельный, неразбитый выводок! Это не было кратким видением, это длилось долго-долго, как пытка, испепеляя душу. Я видел со всей ясностью великолепных, разъевшихся, медлительных птиц, но одновременно — и отчаяние Муханова: сперва он растерялся и только бросал на Горина беспомощные и негодующие взгляды, затем стал рвать из пояса патроны и совать их мимо стволов. Видел я и судорожно оцепенелого с мордой кверху Валета, жалкую улыбку на лице подполковника, вслед затем я уже ничего не видел, а, подобно Муханову, ронял в воду патроны, силясь зарядить ружье. Я успел вогнать только один патрон, когда последний черныш скрылся за деревьями. В досаде я разрядил ружье, и тут же, метрах в пяти, из трав поднялся и ушел берегом бекас. Неудача отпраздновала свой самый пышный праздник.

— «Зачем даром правила нарушать», — так вы изволили сказать, товарищ Горин? — с непередаваемым выражением произнес Муханов.

— Есть о чем жалеть! — с нарочитой беспечностью отозвался Горин. — Еще настреляешься за милую душу!.. Верно, товарищ Толмачев?

Толмачев ответил вежливой далекой улыбкой.

Похоже, он не только не слышал вопроса Горина, но и внимания не обратил на всю эту кутерьму...

3

...Щебетовка, куда мы прибыли уже в расцвете теплого, обещающего стать жарким утра, беспорядочно, но красиво раскинулась по бугристому и овражистому взлобку, буйно заросшему лозняком. Ивы, не довольствуясь прибрежным краем деревни, проникли во все проулки, во все дворы и палисадники. Их ветви в узких листьях склонялись на мшистые тесовые крыши, лезли в окна, а с десятков могучих, древних, невиданно рослых

ив возносились вровень с белой колокольней прекрасной полуразрушенной церкви.

Излучина реки привела нас к огороду местного егеря Кретова. Мы врезали лодки в мягкий глинистый берег и по картофельным, уже обобраным, грядкам поднялись к дому. Видимо, Кретов приметил нас из окошка, он выкатился навстречу на коротеньких ножках, коренастый, большоголовый недомерок. За ним появилась жена, рыхлая женщина, в расплзающейся на большой груди шелковой кофточке. Наш приезд, в котором по охотничьему сезону не было ничего неожиданного, поверг ее почему-то в горестную растерянность. Она произвольно взмахивала полными руками, губы ее шевелились, равно готовые к улыбке и к всхлипу, и роняли чуть слышное: «Господи... воля твоя... да надо же!» В глазах, наполнявшихся слезами, испуганная одурь перемежалась робкой надеждой, что все еще обойдется.

— Привет! — выпалил, подходя, Горин.

— Здравьете!.. Боже ты мой!.. — пролепетала она.

— Ларисе Петровне — доброе утречко, — проговорил своим мягким, печально-вежливым голосом Толмачев и принял в две ладони протянутую ее руку.

— Здравствуйте, Тимофей Сергеич! — радостно отозвалась Кретова, бледные, обвисшие щеки ее порозовели. — Как поживаете?

— Живем — не тужим, ожидаем хуже, — улыбнулся Толмачев.

Появление Толмачева подействовало на Кретову благотворно: взгляд собрался, успокоились губы, молодо налился звучный, певучий голос. Лишь раз вспыхнула давешняя смятенность, когда Горин сказал ее мужу:

— Запрягай, товарищ Кретов, мы рассиживаться не намерены.

— Да ведь Ольгу спытать надо!.. — испуганно вскинулась Кретова. — Господи!.. Кобылку нашу непутевую!.. Она на лужайке пасется, экая беда!..

— Поймаем, Лариса Петровна, чего вы беспокоитесь? — Толмачев деликатно коснулся ее руки.

— И верно, чего это я, глупая? — засмеялась Кретова.

Мы подошли к крыльцу дома. Кретов снял с гвоздя оброть и вместе с Толмачевым направился на близкое клеверище, поросшее по стерне розовой кашкой.

Из дома вышел серый черномордый спаниель. Хромая, приблизился к плетню, попытался вскинуть заднюю

лапу, но, не устояв на трех израненных подпорках, заменил благородный и мужественный обряд щенячьим приседанием. Когда спаниель заковылял назад, к нему гоголем, выгнув шею и высоко вскидывая лапы, подбежал Валет и стал взволнованно обнюхивать, будто видел его впервые. Спаниель терпеливо выдержал осмотр, но, видимо, ему было так плохо, что, не оказав Валету ответной любезности, он тяжело перелез через порог и улегся в сених на подстилку.

Между тем Кретов, успешно подобравшись к Ольге, накинул оброть, но кобылка тряхнула головой и легко сбросила уздечку. Она поскакала прочь, а за ней, радостно похохатывая, загарцевал козлиным галопцем рыжий жеребенок. Кретов подобрал уздечку и снова покатился на своих коротких ножках вослед кобыле. Ольга подпустила его близко, затем снова отбежала, ее черная грива красиво развевалась. Трудно сказать, долго ли длилась бы эта игра, но Толмачев, подобравшись под прикрытием лозин к жеребенку, ловко поймал его и заломил ему репеек. Ольга примчалась на жалобный крик сына и была схвачена за челку сильной рукой егеря. Пока ловили Ольгу, Пешкин выкатил из сарая телегу, набил ее сеном, принес сбрую. Он помог Кретову запрячь норовистую кобылу, и Горин скомандовал: «По местам!»

Как обросла наша скромная охота людьми и снаряжением! Приехали мы вдвоем с Мухановым, но уже в гостинице к нам в компанию напросился подполковник. Поначалу нам определили для обслуживания егеря Пешкина и моторку, но Горин, из дружбы к Муханову, решил самолично возглавить охоту. Экспедиция обогатилась еще одной моторной лодкой. Дальше подключился Матвейч со своей рассеянной заботой, наконец, главные участники: Толмачев с Валетом. Теперь прибавились еще егерь Кретов, кобыла Ольга, рыжий жеребенок и большая безрессорная телега...

И вот все мы уселись в телегу с удобными плоскими грядками, Кретов подобрал вожжи, причмокнул, Лариса Петровна горестно всплеснула руками, Ольга, поднатужившись, стронула воз и легко затрусила под уклон проулка. Рядом с ней загарцевал жеребенок, то толкаясь ей в бок, то подлезая под морду и мешая рабочему усилию матери. Мы миновали церковь и старые ивы, заросший

погост с одним высоким черномраморным крестом, торчащим из таволги и дикой малины, пустынный колхозный двор — все ушли на уборку картофеля, — магазин с огромным ржавым замком на обитой железом двери и въехали в горьковатую сумеречную прохладу лесной просеки. Пахло грибами, еще живыми соками растений и начинающимся гниением, пахло крепко, терпко,пряно, как из винного подвала.

Телега подпрыгивала на корнях, заваливалась в колдобины, и тогда ко мне сильно прижималось теплое, трогательно костлявое тело Валета, сидевшего за моей спиной. Бессильный, как и всякий пес, сопротивляться инерции, он даже не замечал своих полупадений. Он всем существом был в лесу, в клубке запахов, который нужно распутать, его влажные ноздри то округлялись, то стягивались ромбиками, лоя перенасыщенный тревожными приметами воздух, а кожа над золотыми патетическими глазами собиралась в складки, как в морщины на челе мыслителя. Порой в сужениях просеки к моим коленям приваливался жеребенок, зажатый между стволами деревьев и телегой, и тогда можно было беспрепятственно трогать его жесткую морду с нежной мягкостью храпа, щеточку бородки и мглисто-сторожкие теплые глаза. Солнце прорывалось сквозь густые заросли, и успокоительно вспыхивала роса — хранительница набродов, но мне думалось: пусть мы даже ничего не подстрелим, все равно будь благословенна наша поездка со всей этой доброй близостью к милому зверью и последним дням уходящей в долгий сон природы.

Так и вышло: охотничье счастье не улыбнулось нам...

С ружьями наперевес мы терпеливо вышагивали в установленном Гориным порядке опушку леса, кольцом охватившего широченную поляну. С детским доверием, в каждоминутном ожидании чуда следил я за всеми движениями шедшего справа от меня Толмачева. Он раздвигал ветки, и все во мне замирало: вот оно!.. Но Толмачев спокойно шел дальше и вдруг скрывался в какой-нибудь пади или овраге, и я мчался к нему, спотыкаясь о пни и валежник, увязая в буреломе, забывшем проходы между деревьями. Но мой порыв неизменно разбивался о рассеянно-мягкий взгляд егеря. Кажется, раз пролетела тетерка, затянув всю нашу цепь в кочкарник, где идти было мучительно вязко. А потом мне показалось, что впереди мелькнула крупная, темная птица, и меня так долго спрашивали о ней, называя приметы

тетерева, что под конец я и сам уверовал, будто видел косача.

А когда чудо действительно пришло, я не угадал его в будничном обличье. На меня вдруг надвинулись из чащи Горин и Муханов, за ними вразвалку шагал Пешкин, и мне показалось, что они хотят занять мое место возле Толмачева.

— Вы чего? — сказал я с обидой.

— Как — чего? Валет стойку сделал, — спокойно отозвался Муханов.

Я огляделся: Валета не было видно, но возле разлапистой ели, с краю лесной полянки, замер, подавшись вперед, Толмачев. Я хотел кинуться к нему, но меня остановил Горин.

— Не торопитесь, посылка не было. Успеете даже папироску выкурить.

— Вот бы когда уши похлепать, — заметил Муханов. — Зря не приказал ты Матвейчу подать сюда ушицы...

— Не догадался, — добродушно усмехнулся тот.

Толмачев, не оборачиваясь, жестами велел нам становиться справа и слева от него.

— Пошел! — произнес он негромко.

Невидимый Валет, наверное, выполнил приказание, потому что Толмачев, чуть кивая головой, приговаривал: «Так... так... еще пошел!»

Из-под елок на краю полянки что-то с шумом выпорхнуло и полетело прямо на меня, не черное и не такое большое, как ожидалось. Я выстрелил, рыже-бурая птица упала за кусты. Мы кинулись туда. Растопырив крылья и сильно отталкиваясь ногами, рыже-бурая птица перебежала прогалину и раньше, чем кто-либо успел прицелиться, скрылась в суховершнике.

— Коростель! — крикнул Горин. — Валет, Валет, Валет!.. Ищи, Валет!..

Тщетно обнюхивал Валет кусты, тщетно кидался то в одну, то в другую сторону, совал морду в бурелом — коростеля как не бывало. Что-то жалкое было в суете Валета, и Муханов заметил подошедшему Толмачеву:

— А он у вас на подранков не больно натаскан...

Толмачев будто не расслышал, он поймал Валета за ошейник.

— Куш!.. Тихо!..

Пес дрожал и ошалело сиял золотыми глазами.

— Этого подранка на реактивном не догонишь, —

сказал Горин. — Дробь по перу хлестнула, а ты знаешь, как коростель бегают?

— Да знаю!.. — отмахнулся Муханов.

До конца охоты Валет еще дважды делал стойку. Первый раз на какую-то мелкую птичку, вроде королька, другой — на грудку окровавленных тетеревиных перьев возле горелого пня. «Браконьер?» — яростно крикнул Горин егерю Кретову. «Ястреб, нешто не видите», — побледнев, ответил тот.

И почти сразу вслед за тем и охотники, и егеря, не сговариваясь, вышли из леса на край поля. Мы почти замкнули круг, но все же с полкилометра не дошли до телеги, возле которой паслись стреноженная Ольга и жеребенок. Прогалистый лес впереди по кругу был черным, обуглившимся после недавнего пожара, и делать там было нечего...

Мне очень отчетливо представился весь наш путь из Москвы сюда: двести веселых километров асфальтового шоссе и пятьдесят большака, страшного, как в Приволховье военной порой; двадцать километров болтанки по целине в грузовике-вездеходе от гостиницы охотбазы до протоки; ночное плавание по узкой протоке на моторке с карманным электрическим фонариком, его свет расплывался о голубой туман, и лодка поминутно тыкалась носом то в берег, то в оторвавшиеся от плавунного берега куски, поросшие лезвистой лещугой; мне вспомнилась бобриная плотина, на которую мы взлетели с разгона и провисли над водой, пока общими усилиями не перевалили лодку на другую сторону, и долгое, томительное ожидание Толмачева в Конюшкове, и поездка сюда с заведомым опозданием под уютную ворчбу Горина, и досадно упущенный на реке тетеревиный выводок, первый и последний в нашей охоте. И после всего этого до чего же печально-смехотворен в своей краткости был лесной проход — венец наших долгих усилий!

Мы медленно побрели краем поля к телеге, впереди охотники, позади егеря. И то ли на самом деле, то ли мне казалось, будто всем было чего-то совестно.

— Может, егеря приберегают выводки? — тихо сказал подполковник.

— То есть как это? — с наигранным простодушием спросил Горин.

— Да очень просто: тут же граница ваших владений, значит, бродят поблизости вольные стрелки. Им только укажи неразбитый выводок — скупиться не станут.

— Это вы бросьте! — Горин справился с минутной слабостью: предположение подполковника снимало с него ответственность за неудачу. — Не такие у нас люди...

— Ну и хвалить их тоже нечего! — вдруг рассердился подполковник. — Валет-то испорчен! Хорошо же его воспитали, если собака на любое дерьмо стойку делает!

— А Толмачеву до этого, как до лампочки! — подержал Муханов.

— Ну вот, договорились! — всерьез расстроился Горин. — Кого хотите ругайте: Кретова, Пешкина, меня самого, но Толмачева оставьте в покое.

— А что он за серебряный такой? — вскипел Муханов. — Собака классная, а работает плохо!

— А такой, — перебил Горин, — что если тебе половину пережить, что ему выпало, ты бы на полусогнутых ходил. А Толмачев — как солдат, всегда точен, исполнительен, собран...

— Ладно, бог с ним, — сказал Муханов, которого занимали по-настоящему лишь счеты с Гориным. — Егеря ни при чем, раз тетерева в помине не было. Говорил я, что поздно выезжаем, так и вышло: тетерева в крепь ушли, вот и весь сказ!

— Да ведь хотелось, чтобы побольше набродов было, — жалобно, признаваясь в своем поражении, проворчал Горин.

— Слушайся старших другой раз! — великодушно заключил Муханов.

Торжество над Гориным доставило ему такое удовольствие, что он перестал жалеть о неудачной охоте. Широко отверзая прокуренную желтозубую пасть, он улыбался огромной и страшной улыбкой сытого людоеда.

Колобком подкатил егеря Кретов.

— Товарищ Горин, мы по мхам пройдем, может, чего подыдем?..

— Валяйте, ребята, — добрым голосом сказал Горин, — не возвращаться же пустыми!

Я обрадовался: мне казалось, что этим предложением они сразу отводят прочь все досужие и несправедливые домыслы на их счет.

Мне нравились егеря: и большой, покорный Пешкин, и быстрый, радостно-готовный Кретов, и особенно — тихий, вежливый, погруженный в себя, печально-загадочный Толмачев. И неприятно было, что, пусть с досады, только что подвергли сомнению их честность и профессиональное умение.

— Не устали, товарищ Толмачев? — крикнул Горин. Толмачев сперва не расслышал, но когда Горин повторил вопрос, он тихо улыбнулся и слегка расправил покатые сильные плечи. И снова почувствовалось, какой он неустанный, свежий человек. В последний момент Муханов заявил, что идет с егерями. Победа над Гориным одарила его ощущением могучей жизненной силы, он и слышать не хотел ни о каких трудностях. Мхи, непролазь — чепуха! Привет, слабосильная команда!.. И Муханов зашагал журавлиным шагом вслед за егерями через лес на мшару...

Вернулся Муханов раньше своих спутников, без ног и без сердца. Мы валялись на траве в тени телеги. Он молча опустился на землю, достал трубочку с валидолом, сунул под язык белую лепешку, закинул руки за голову и смежил веки.

— Могу предложить нитроглицерин... — сказал Горин.

— Пошел вон! — сумрачно донеслось из-под грустно поникших усов.

Вскоре вернулись и егеря — пустые.

— Мошника одного подняли, — сказал Кретов, — да больно далеко...

— Ужас, до чего тяжело по мхам ходить, — застенчиво улыбнулся распаренный, мокрый Пешкин, поглядывая на свои толстые ноги.

Это замечание вернуло бодрость Муханову, он открыл глаза и сел, опираясь на руку.

— Я знал, что это пустой номер, нешто его сейчас из крепки выгонишь!

— Потому и вернулся? — спросил Горин.

4

Там, где дорога входила в лес, стоял небольшой домик лесничего с резными наличниками и голубыми ставнями. Проезжая мимо этого нарядного домика, мы увидели на коньке крыши недвижимую, как изваяние, хищноклювую птицу. Правду говоря, я поначалу решил, что это резная деревянная фигурка, водруженная лесничим на крышу для украшения, но егеря Кретов сердито сказал:

— Тетеревятник, зараза, ишь, до чего обнаглел!

— Возле пня небось его работа! — добавил Горин.

Ястреб-тетеревятник сидел, тесно прижав изогнутый клюв к крутой сильной грудке, когти железных лап впи-

лись в свежий тес, замерший взгляд прикован к дальнему лесу. Быть может, он видит и далее, за Лес, — мшарник, где в крепких местах схоронились тетерева?..

Муханов выругался и потянул с плеча ружье.

— Валерик, очнись, стрелять по жилью!.. — накинулся на него Горин.

— Дай, я хоть этого гада убью!

— Опомнись! Ребята, отберите у него ружье!

Словно ведая об охраняющем его законе, ястреб даже не повернул в нашу сторону головы. Спокойствие, с каким он служил своей цели, было исполнено презрительного высокомерия ко всему окружающему.

— Ладно вам! — отмахнулся от егерей Муханов. — У меня же четверка, стрелять без толку.

— На таком расстоянии его разве что двойкой возьмешь, — заметил Кретов.

— Да и то, как попасть, — вставил подполковник. — Тетеревятник на редкость к дробу крепкий...

В Щebetовке нас поджидал Матвейч с готовой ухой. Горин зачерпнул золотистой жидкости, попробовал, пощмокал губами.

— Никак из одних карасей?

— Ну и что же? — обиделся Матвейч. — Карасевая ущица — гостиная еда.

Обида Матвейча имела основание. Его артистическую душу увлекла эта «выездная» уха, и он после долгого небрежения расстарался на славу. За обедом мы все дружно отдали дань его мастерству, и старик снова повеселел.

К концу обеда началась какая-то суетня. Куда-то выбегала и вновь появлялась раскрасневшаяся, встревоженная Кретова. Матвейч со странной поспешностью выметнулся из-за стола и уж не вернулся в избу. Потом Кретова стала подавать Толмачеву от порога зовущие знаки, но тот холодно поглядел на нее и принялся скручивать папироску.

В избу вошла женщина в темном шерстяном костюме и белой блузке, голова покрыта толстым, домашней вязки, платком. Она опустила платок на плечи и, чуть наклонив русую сидящую голову, тихо сказала:

— Здравствуйте.

Мы отозвались вразнобой.

— Зачем приехала? — спросил Толмачев, его лицо

будто подернулось ровной розовой пленкой, жестко за-
твердели губы.

— Поговорить нужно, Тимофей Сергеич... — со сла-
бой улыбкой произнесла женщина. — Не выйдете со
мной?

— Я на работе, — сказал Толмачев. — А поговорить
и тут можем.

— Располагайте собой, как знаете, товарищ Толма-
чев... — начал Горин, по осекся под холодным взглядом
егеря.

— Присаживайся, рассказывай, тут все свои...

Этой фразой Толмачев как-то странно обязал нас при-
сутствовать при его разговоре с женой: я уже понял, что
это его жена, хотя она обращалась к нему на «вы» и по
имени-отчеству.

Женщина легкой походкой обошла стол и села возле
мужа, сложив руки на коленях. Молодость застенчиво
пробивалась сквозь ее уже пожилой облик внезапным
румянцем, улыбкой. Прежде она, наверное, была хоро-
ша: смуглая, сероглазая, круглолицая.

— Значит... Аннушка расписалась, вы должны назна-
чить, когда свадьбу играть..

— Уже расписалась? — чело егеря словно притума-
нилось.

— Да нешто не знаете? — испуганно спросила жен-
щина. — Мы вам все отписали.

— Когда письмо послано?

— С неделю будет. Я потому и приехала, что отве-
та не было.

— На контору писали?

— На контору. Куда же еще?

— Тогда понятно, я шестой день оттуда. Раньше
праздников мне не выбраться, давай на седьмое или
восьмое.

— Решайте...

— Ну, на восьмое. Я потом подробно опишу, время
есть.

— Может, сейчас... коли уж я здесь... — Она болез-
ненно улыбнулась.

— Сказано, опишу, — ровным, слишком ровным го-
лосом проговорил егеря.

Женщина потупилась. Я с удивлением обнаружил,
что строгий, почти жестокий тон егеря не вызывал не-
приятности к нему, скорей сострадание. Чувствовалось, что
он дорого оплатил это свое право на холодность.

— Соскучились ребята за вами, — проговорила женщина. — Чего им велите передать?

— Поклон передай... И чтоб учились хорошо.

— Дневник смотреть будете?

— Конечно.

Она нагнулась, достала из сумки школьный дневник, обернутый в белую бумагу, и протянула Толмачеву. Он медленно стал листать его.

— Геометрию Вовка выправил?

— Выправил, как же! — поспешно сказала женщина. — И тригонометрию подтянул. Марья Владимировна, математичка, его хвалила... Тимофей Сергеич, — сказала она, вдруг осмелев, — может, до праздников выберется? Ребята, правда, очень соскучились!

Толмачев покачал головой, поставил свою подпись и вернул дневник жене.

— Так мне идти? — сказала она.

Толмачев прошел в угол избы, достал из рюкзака завернутые в газету кости.

— Валет!..

— Обождите до завтра, — сказал Горин женщине, — вместе поедем.

Она поглядела в сторону мужа и вдруг вся заторопилась: жестами, ресницами, короткими улыбками.

— Да что вы!.. Мне надо челнок рыбакам вернуть. Я же с Пожаньки попутной добиралась, — говоря так, она поспешно прятала дневник в сумку, одергивала юбку, повязывала платок. — Оттуда удобно, автобус до самого Дубникова идет, а там до города хоть поездом, хоть другим автобусом, хоть... — она улыбнулась с жалкой женственностью, — хоть на такси. До свиданья всем! Ни пуха ни пера!

В дверях она остановилась.

— Не проводите? — спросила мужа.

Толмачев не отозвался, он выбирал кости и бросал Валету. Пес с громким хрустом разгрызал здоровенные мослы.

Женщина вышла из дома. В окно было видно, что к реке она спускалась в сопровождении Кретовой и Матвейича. Кретова в чем-то убеждала Толмачеву, та не отвечала, упрямо наклонив голову. Кретова махнула рукой и с плаксиво-сердитым видом пошла назад. На берегу Толмачева и Матвейич о чем-то поговорили, она будто насильно взяла повисшую вдоль тела руку Матвейича, пожала и вошла в густой ситник. Отсюда челнока не было видно за

скосом берега, а вода проблескивала сквозь траву, и казалось, что Толмачева стала на воду. Матвейч нагнулся, толкнул невидимый челнок, тот заскользил вдоль берега, и Толмачева, возвышаясь над ситником головой и плечами, будто плавно пошла по воде в свой крестный путь.

Покормив Валета, Толмачев вышел из дома. Вскоре за ним последовали Горин с Мухановым. Подполковник задремал, откинув голову на деревянную спинку самодельного дивана. Появился Матвейч, собрал кастрюли, посуду, ножи, ложки и тоже вышел, пропустив в избу Кретову.

— Тяжело Катерина свой грех искупает! — Кретова прикрыла веки, и на розовую дряблость щек из каждого глаза выжалось по слезинке.

Я спросил ее, в чем грех Толмачевой.

— Нешто не знаете? — Кретова так удивилась, что печаль и сочувствие разом потеснились ради более живых и энергичных чувств. — Он ее застал!..

— С другим, что ли?

— Ну да!.. — Кретова заговорила быстро, боясь, видно, что нам помешают. — Она похоронную на него получила, а он живой был, только в плену. После его из плена освободили, проверили, и в сорок восьмом он вернулся. Приехал рано утром и под окно пришел, у них свой дом в городе. Заглянул в спальную и увидел две головы на подушке. Он все утро их высматривал, а после в дом для приезжих пошел. Там его признали и Катерине донесли. Она прибежала без памяти... Сожитель ее, ихний сосед, из инвалидов войны, в тот же день свой домишко заколотил и уехал незнано куда. Тимофей Сергеич в семью вернулся, на работу поступил. Стали жить, после у них парень родился, Вовка. Старшая дочь к отцу привыкла, а Катерина уж и не знала, чем свою вину искупить. А какая у нее особенная вина? И всежки не сладилось у них. Так все тихо, мирно, но не мог Тимофей Сергеич чего-то в себе пережить, стал отлучаться надолго. На целину ездил, в Сибирь, а когда завели тут охотхозяйство, в егеря пошел...

— Значит, любит он ее? — спросил я.

— Кабы не любил, чего же ему и себя и ее мучить? Вы бы поглядели на Катерину годков пять назад — каштан-девка, а нынче съежилась... Она и давеча жаловалась: хоть бы, говорит, устарели мы скорей, стал бы он ко мне равнодушен...

В разговорах с Кретовой я упустил важные события. За это время резко упал барометр, по мнению егерей, к ночи надо ждать дождя. Это ставило под сомнение нашу завтрашнюю охоту, и Горин решил, что следует вернуться в Конюшково. Если же, паче чаяния, дождя не будет, приедем опять. А тут и с ночевкой худо, и рыбы для ухи не достать. Матвеич уже перенес в лодку посуду, ружья, плащи и прочее снаряжение.

— Ну а чего не едем? — спросил я Горина.

Он покуривал на скамеечке возле дома, напротив примостился на деревянной колоде Муханов, рядом — на короточках Пешкин. Вид у них был праздный и томящийся.

— Поедем, скоро поедем... — успокоительно произнес Горин.

— Что же нас держит?

Горин нахмурил густые брови и кивнул куда-то вправо. Я увидел лежащего на спине под копной Толмачева. Глаза его были закрыты, но, похоже, он не спал. Рядом Валет ожесточенно выгрызал из лапы репей или клеща.

Егерь Кретов принес из сарая связку когтистых птичьих лап. Это были лапы ястреба-тетеревятника. Я взял лапу и провел ею по тыльной стороне кисти. Даже при этом легком прикосновении острейшие когти вспороли кожу. Трудно было представить себе более совершенное и страшное орудие убийства, чем эта четырехпалая лапа, с мощной, в дециметр, плюсной, покрытой твердыми щитками, она и мертвая застыла в хватательном движении.

Горин пересчитал лапы и сунул в ягдташ.

— Тебе сколько до нормы осталось? — спросил он Кретова.

— По вороновым выполнил, а по ястребам самую малость не дотянул.

— Подожди, к празднику получишь деньги...

Подошел Матвеич и поинтересовался, чего канителмся. Горин снова многозначительно кивнул вправо.

— Семеро одного не ждут, — сказал Матвеич. — Тогда я без вас поеду.

— Еще чего, мы же возьмем ваш челнок на буксир.

— А кто его знает, сколько он тут прохладиться будет! Я на весле скорей доберусь.

— Сразу видать, набожный человек, — укоризненно сказал Горин, — чуткости вам явно недостает.

— Может, у меня ее больше, чем надо, — мрачно проговорил Матвейч.

Толмачев провел рукой по глазам, медленно поднялся, отряхнул одежду и подошел к нам.

— Какие будут распоряжения? — улыбаясь, спросил он Горина.

— Никаких, мы вас ждали. Возвращаемся на базу.

— Валет! — крикнул Толмачев. — Сюда!

Среди дня стало припекать. Мы скинули куртки, комбинезоны, шерстяные фуфайки и наслаждались последним солнечным теплом. Торопиться было некуда, выключив моторы, мы двигались по течению. Наступили часы бесклевыя, рыбаки, прибрав удочки, сидели вокруг костров. Над берегами струился дым, пахло подогретыми мясными консервами и остро приправленной ухой.

Когда вдали показалось Конюшково, облака и вода зарозовели от заходящего солнца, лесное окружье простора почернело. Ничто не предвещало дождя, все приметы указывали на ясную, ветреную погоду.

С каждой минутой небо на западе раскалялось все жарче, по блистающей воде простерлись широкие багровые, изумрудные и желтые полосы, края облаков словно кровоточили. И вдруг все как-то странно, непонятно смазлось. Не зримаая ни очертаниями, ни тканью своей пелена напозла на край неба, где разгорался золотой, огнистый праздник, притушила солнце, обесцветила облака, превратив их в тусклое, неопрятное месиво, убрала с воды яркие полосы; сухой чистый, нежно горчащий воздух наполнился испарениями, запахло водорослями, а уж не листвою, и сразу грустно поверилось, что зарядят дожди.

Подполковник и Муханов рано легли спать, остальные ушли на гулянку к бригадиру плотников, провожавшему сына в армию.

Я пробовал уснуть, но возбуждение долгого, сложного дня обернулось бессонницей. Я достал папиросы и прикурил от лампы-«молнии». Ветерок, тянувший в неплотное прикрытое окно, принес тихие голоса двоих, расположившихся, по всей вероятности, у причала, на опрокинутых кверху дном лодках. Стоило прикрыть глаза, и казалось, будто разговаривают в самой избе.

— Лапка!.. — тянул мужской голос. — Маленькая...
— Да не такая уж маленькая! — звонко, остро отозвался девичий голос. — Кабы не скарлатина, уже бы школу кончила.

— Школьница ты моя, отличница!.. Челочка мягкая, губы мягкие, как у телушки...

— Оставьте, дядя Тим! — сказала девушка, и тут я догадался, что это Люда. — Не такая я дура. Думаете, не знаю, чего у вас с матерью было?

— Мать не трожь! — строго молвил Толмачев. — Мать у тебя одна.

— У меня-то одна, а вот у вас — сомневаюсь! — со злостью сказала Люда.

— Ну-ну, полегче.

— Да ну вас!.. Ходили вы к ней, знаю, я все знаю!..

— Подглядывала, что ль? — лениво поинтересовался Толмачев.

— И подглядывала! — сказала Люда с вызовом.

— Люблю старушек... — начал Толмачев. — А за что люблю старушек?.. Не знаешь?..

Люда молчала.

— То-то и оно!.. За ними можно идти не шатаясь.

— Почему? — не выдержала Люда.

— А из них песок сыплется.

Люда рассмеялась коротким, жестким смехом.

— К вам жена сегодня приезжала?

— Жену не трожь! — с механической строгостью сказал Толмачев.

— Мать не трожь, жену не трожь, кого же трогать-то?

— Меня... Трожь меня, сколько душе твоей угодно...

— Да будет вам! — прикрикнула на него Люда. — Небось слышно!

— А пусть слушают, лапа... У нас все аккуратно. Только слушать-то некому...

— Больно вы аккуратный! — перебила Люда. — Со всеми или только со мной?

— Со всеми... — в голосе Толмачева слышалась усмешка. — А с тобой особенно. Ну же, лапушка, уничтожай дальше соперниц.

— А вы с Кретовой гуляли? С квашней щебетовской?

— Баба не квашня, встала да пошла... Кусай, кусай их, лапушка, точи зубки.

— Погодите! — тревожно сказала Люда. — Кто это там?.. Вроде Матвеич...

— Чего испугалась? Я же тебе говорил про стариков...
— Да ну его, вечно шныряет, высматривает!.. Терпеть не люблю, когда за мной следят. Пойдем отсюда.
— Куда?
— Да хоть к мосту.
— Ох, завлекаешь ты меня, лапуня!.. — И я услышал замирающие шаги.

Кто-то шумно, горестно вздохнули вдруг тоненько заскулил. Это Валету что-то приснилось: лес, следы на росе?.. Потом он стал жалобно повизгивать и засучил по полу лапами...

...Проснулся я от близкого шума. Открыв глаза, увидел в слабом мерцаний пригашенной лампы Матвеича, подбравшего с пола оброненный пояс-ягдташ.

— Аккуратнее надо, — послышался шепот Толмачева, он сидел на койке, вкось от меня, и расстегивал ворот рубахи.

— Кабы все беды такими были... — проворчал Матвеич и кинул патронташ к нему на кровать. — А девчонку ты оставь в покое, это я серьезно тебе говорю.

— Шпионишь? — Толмачев неторопливо стягивал рубашку через голову.

— Хватит с тебя баб...

Теперь я не видел Матвеича, а голос его звучал сверху, верно, старик забрался на печь.

— Не лезь не в свое дело.

Толмачев повесил рубашку на спинку стула и нагнулся, чтобы снять сапоги.

— Смотри, Толмачев, я не всегда добрый!

— Брось, Матвеич! Тебе ли грозиться? Сидел уже раз, знаешь, почему фунт лиха.

— Я через Сталина сидел, нечего меня этим попрекать. А к Людке не прикасайся.

Со стуком упал сапог, за ним другой.

— Не угомонишься, через меня сядешь, — равнодушно сказал Толмачев.

В полумраке был смутно различим лишь абрис его фигуры, но никогда еще не видел я с такой завершенной отчетливостью этого человека: красивого, равнодушного, высокомерного, мертвого ко всему, что не было его внутренней целью. Ястреб-тетеревятник на крыше лесникова дома, та же отрешенность и сосредоточенность, беспощадность и спокойствие.

— Мне садиться не за что, — хорохорился Матвейч. — У меня все чисто.

— А керосин казенный куда девался? Лампа-то бензином с солью заправлена.

— Да ты что?.. — Матвейч задохнулся. — Вас же с Пешкиным выручал... Мне-то какая корысть?.. Я с этого копейки не имел...

— Хоть бы и так, — спокойно сказал Толмачев. — Все равно статью подберут.

— Ну и сволочь ты, Толмачев! — Матвейч тихонько заплакал. — Бог мой, какая сволочь!

— Вот ты всегда так, — укоризненно произнес Толмачев, прошлепал босыми ногами по полу и сунул в печь портянки. — Наговоришь, чего не надо, и сам же расстроишься. — Он вернулся к своей койке, стянул брюки и полез под одеяло. — А за Людку ты не думай. Девка в пору вошла, никуда тут не денешься. Какой-нибудь соплик хуже обидит.

— Я не с того... Людку, может, и не сохранить. Страшно, что тебя никто, кроме меня, не знает! Как только такого гада земля носит?.. Столько людей обнесчастил...

— Да ведь и меня, Матвейч, жизнь не помиловала, — зевая, сказал Толмачев, и койка закрипела под ним.

Валет поднялся и, стуча лапами, подошел к егерю.

— Пшел! — тихо прикрикнул на него Толмачев. — На место!

— Тебя жизнь не помиловала! — с горечью говорил Матвейч. — Может, раз улыбнулось счастье жалкой твоей бабе, когда она поверила, что тебя нет. Будь ты хоть малость человеком, оставил бы все, как есть. Нет, ты ей всю жизнь поломал, ты ее вечной казнью казнил...

— А мне не было казни? — глухо и серьезно сказал Толмачев. — Ври, дед, да не завирайся. Я с ножом в сердце жил...

— Может, и так! Да только было, да сплыло... Ты же счастливый, сволочь! Под твою дудку и жена, и дети пляшут. У тебя и дом, когда захочешь, и все удовольствия от дому. Но ты шляться привык, ты работать не хочешь, жить в семье не хочешь, тебя на сладенькое тянет!.. Ох, до чего я тебя ненавижу!..

— Давай спать, старый, завтра рано вставать.

— И ведь не ухватишь дьявола! Может, баб на тебя подбить?.. — будто советуясь с Толмачевым, говорил Мат-

веич. — Так нет — они не выдадут тебя, бродягу-мученика!.. Как же подобраться к тебе, а?

— Не трать даром силы, кто тебе поверит?

— Надо бы, чтоб поверили!.. — все беспомощней и жалче бился под потолком голос Матвеича. — Должны же люди знать, кто промеж них ходит... А там доноси, отсижу... ладно... небось не впервой...

Толмачев не отозвался, он спал.

Под утро зарядил обложной дождь, а уже на другой день мы должны были вернуться в Москву.

БРАКОНЬЕР

Петрищев проспал выход на рыбалку. В последние годы это случалось нередко, стоило ему засидеться допоздна за столом. Так оно вышло и на этот раз. С Нерли, проездом в Москву, заглянули знакомые охотники. За добрым разговором и не заметили, как за полночь перевалило. Охотники отправились на сеновал, а он, вместо того чтобы забраться на печь, пошел к жене в чистую горницу. Нюшка, золотая, хоть бы раз не приняла его за четверть века, совместно прожитую! Он, грузный — девяносто килограммов чистого веса, — навалился на ее небольшое, подбористое, мягкое, горячее тело, а она не страшила его прочь, не выскользнула, привычно открылась ему, оставаясь в тихом, глубоком сне. А сейчас, проснувшись от странного, беспокойного чувства, Петрищев обнаружил, что не израсходовал себя. И, зная, что это не ко времени, что ночь уже перевалила через гребень и давно пора выходить, он прижался к жене, обнял ее голову вместе с подушкой и, чувствуя всю ее безмерную родность, неиссякаемую милость, заплакал над ней из своего кривого глаза мелкими, как бисер, слезами.

Потом, гордясь своей легкостью, сладкой опустошенностью, он неуклюже топтался по горнице, отыскивая лег-



кий водолазный костюм, подаренный ему морским капитаном, старым их постояльцем, натягивал на себя этот костюм, приятно гладкий, скользкий, бледно-зеленоватой расцветки, тепло закутывал ноги в байковые портянки, вколачивал ступни в резиновые, высланные сеном сапоги. На прорезиненный костюм он напялил ватник и, попив из ведра заломившей зубы водицы, вышел в сени.

Здесь у него все было подготовлено загодя: фара с аккумулятором, сеть, две остроги: частая — на плотву, с редким зубом — на щуку, карманный электрический фонарик и ключи от бани, где хранился лодочный мотор. Ключи эти висели на гвозде под выключателем. Нашаривая их на стене в жучьих проедах, Петрищев, все еще не до конца владеющий слабым от любви телом, сшиб с костыля канистру. Она звучно ахнула своей пустой емкостью. И тут же, совсем рядом, послышался глубокий, печальный вздох и тяжелый переступ по хлюпкой грязи — это пробудилась в стойле Белянка, а из черноты сеновала выкатилась колобком по лестнице темная кургузая фигура.

— Чур, я с тобой!.. Чур, я с тобой! — затараторил Яша, московский охотник.

Петрищев терпеть не мог, если кто из гостей увязывался за ним в ночную пору. Помощи все равно не жди, только путаются под ногами. Сам виноват, надо было тишком уходить, не будить людей!

— Ладно... — проворчал он. — Только учти, охрана ноне зверует. Засыпешься — выручать не стану. Каждый сам за себя.

— А я не острожить, только поглядеть, — поспешно заверил Яша.

Вышли на улицу. Ночь была черной, звездной, безлунной, но Петрищев чувствовал непрочность этой черноты, готовой вот-вот поддаться рассвету. Запозднился он, в рот ему дышло! Чего доброго, останется на праздники без горячего. Петрищев всегда обеспечивал себе первомайский стол острожным боем, а празднование Великого Октября — утиной охотой. В остальные дни он пил, только если поднесут, никогда не затрагивал ни зарплаты, ни основного капитала, хранившегося у Нюшки на трехпроцентном вкладе. Исключение составлял Новый год, тогда они резали кабанчика и бутылку ему ставила Нюшка от продажи сала и кровяных колбас. Живя так, Петрищев чувствовал себя крепко и спокойно. Хуже нет, если глава семьи пропивает деньги из зарплаты, тут уж

вся жизнь будет, как на трясине: то ли выстоишь, то ли потонешь в смрадной жиже.

Петрищев работал бригадиром грузчиков на текстильной фабрике в Лихославле. Он был на сдельщине, и в хороший месяц брал по девяносто, сто рублей, но и в плохие не опускался ниже семидесяти. Жить можно, когда у тебя корова, боровок на откорме, куры, гуси, своя картошка да рыба даровая чуть не круглый год, опять же от московских рыбаков и охотников тоже кое-чего перепадает за постой...

Они спустились огородами к баньке, стоявшей на самом обрыве берега. Под банькой угадывалось уплотнением тьмы длинное тело лодки. Петрищев нашел кольцо на носу, подтянул лодку, сложил туда снаряжение, поймал на затопленном дне старую консервную банку и сунул ее Яше.

— Почерпай маленько...

Шагнув к баньке, он нащупал ржавый замок, не без труда его отомкнул и, сильно нагнувшись под притолокой, ступил в предбанник. Здесь еще не выветрился теплый дух с мыльным привкусом — Нюшка топила нынче баню. Не могла, зараза, дожидаться завтрашнего дня, тогда бы вместе попарились, потеряли бы друг дружке спины. Кой толк ему сегодня было мыться, раз впереди еще рабочий день? Все равно увалешься, как свинья, текстильные грузы — маркие. После работы он попарится вволю, чтоб тело просквозилось, отмякло и дышало на праздники всеми порами.

Петрищев забрал стоявший в углу тяжелый мотор «Москвич» и вышел наружу. Прижимая мотор к груди, он свободной рукой запер неподатливый замок. Яша исполнительно корябал жестянойкой по дну и сливал воду за борт.

— Дурило! — ласково упрекнул его Петрищев. — Так ты до утра провозишься!

Он повесил мотор на корму, взял у Яши банку и в десяток сильных и быстрых черпков осушил лодку. Затем принес схороненное под плетнем кормовое весло и, орудуя им, как шестом, вытолкнул лодку на стрежень неширокой речки. Лодку тут же подхватило течением и пошло к железнодорожному мосту. Бегунка была единственной речкой, вытекавшей из Кашеева озера, а не впадавшей в него. Петрищев рванул шнур, и новенький мотор, радостно всхрапнув, примчиво завелся. Петрищев опустил винт в воду, лодка, будто ее взнуздали, стала

против течения, высоко задрав нос, и потом легко, быстро побежала вперед по тяжелой, маслянисто разбегающейся под ее напором воде.

— Закуривай, — сказал Петрищев Яше и потянулся к нему большой клещеватой рукой за хорошей московской папиросой.

Вынимая из коробки папиросу, Петрищев заметил, что Яшу трясет от холода. В который раз подивился он неприиспособленности московских людей; ничего-то они не умеют: ни воду черпать, ни лодкой править, ни места добычливого отыскать, им всегда то холодно, то жарко, то мокро, то ветрено, прямо беда!.. Петрищев был однажды в Москве, и город с его многолюдством, опасным движением, одуряющим шумом произвел на него давяще сильное впечатление. С почтительным страхом глядел он на его обитателей, так ловко и отважно действующих в дьявольской кутерьме и неразберихе. Он исполнился высокого уважения к москвичам и не мог взять в толк, почему в простой сельской жизни они так мало сведущи и умелы. Что стоило Яше поверх ватного костюма надеть пальто или хотя бы плащ-палатку? Вышел угретьый сном на улицу — тепло показалось, и уж не может смекнуть, что на реке промозжит до костей. А ведь не первый год сюда ездит!

Мотор работал на малых оборотах, но и приглушенный перестук цилиндров казался оглушительно громким в сонной тишине реки. Эта тишина творилась замершими берегами, где и малым шелохом не трогались ни лист, ни былинка, мостом, вобравшим под себя самую густую черноту, рекой с быстрым и неслышным течением, онемевшими заводами: не плеснет плотва, не ударит из глубины щука, не вспорхнет в лозняке камышовка. Все спало сейчас: люди в настывающих к утру избах, птицы на деревьях, рыба в воде. Утром река до самого озерного истока взорвется звенящим стрекотом плотвиной терки. Толстенные икрючки будут яростно тереться о водоросли, тресту, песок и берега, чтобы освободиться от переполняющей их бледно-розовой жизни. Взмутив воду вокруг себя белесым облачком, они скользнут прочь, враз обхудевшие, почти плоские, и к облачку рванутся молочники. А сейчас и самцы и самки спят, недвижно повиснув в воде, и не чувят, как подбираются к ним в сияющем круге, будто переломленные водой, зубья остроги. Тишина, мир и покой, царящие сейчас над водной гладью, обманчивы. Неслышно рассекают воду высокие носы кормовок, горя-

щее смолье бросает рваный свет на поверхность воды, прожигая ее до самого дна; а на других лодках автомобильные фары создают в толще воды золотые круглые колодцы. В пожарную алость, в золото колодцев бесшумно погружается острога, подводится к спящей рыбе и с щучьей точностью вонзает хищные зубья в беззащитное тело. Рыбу стряхивают в лодку, где она в предсмертных содроганиях истекает икрой, а острога снова погружается в воду. Никакой удочкой за всю утреннюю зорю не наловишь столько, сколько за один час набьешь острогой. Беда лишь в том, что острожить рыбу запрещено.

Один заезжий ученый человек объяснял Петрищеву, что ловля удочками полезна для кашеевского водоема. Не вылавливай плотву, она расплодится так, что не хватит кислорода в воде и вся рыба задохнется. Но острожный бой вреден. Многие подранки уходят, болят и, если не становятся добычей выдры, подыхают, гниют, заражая все вокруг себя, губя икру и молодь. Нынешняя убыль плотвы и шук в Кашеевом озере объясняется прежде всего осторожным боем и вообще хищническими способами ловли.

Рыбы, конечно, стало меньше, особенно если сравнить с довоенными годами, тогда плотву по весне руками ловили старухи да ребята, взрослые мужики этим делом брезговали. Но, как говорится, на наш век хватит. Опять же, и в шуке недостатка нет. Может, таких крокодилов, как прежде, на пуд с лишним, ныне не возьмешь, да ведь старая щука невкусная, травянистая, а хороших молодых щучек да шурят — и сейчас за мое поживаешь. Зато почти исчезла рыба, на которую вольные рыбаки не посягали, только артельщики: корюшка, налим. То ли слишком рьяно ее отлавливали, то ли мор нашел, кто знает! Петрищев мало заботился этими вопросами, он вообще не любил рыбачить. Куда приятнее было в свободный час послушать радио или патефон, посмотреть картинки в «Огоньке», он занимался рыбалкой не для отдыха — для дела. А предался он этим мыслям просто от тревоги, что опоздал, что не один уже, верно, рыжий факел, не одна фара обрыскали озерное дно близ устья Бегунки; рыба забрана или распугана, и ему останутся поскребыши. Хорош он будет!..

Петрищев быстро подсчитал: килограмм плотвы идет за семьдесят копеек, требуется три сосуда — на каждый из трех дней праздника, еще сосуд кладки в расчет Нюш-

ки и сосуд на случай гостя — значит, он обязан взять двадцать пять килограммов рыбы.

Петрищев уверенно вел лодку сквозь кромешную тьму по крутым излучинам Бегунки. Тьма усиливалась нависшими над водой ивами, отсекавшими даже тот слабый свет, какой источало небо. Яша тоже закурил, и красная точка его папиросы казалась Петрищеву далеким светотвором торфяной узкоколейки, связывающей поселок Наречье с Лихославлем. Вскоре впереди смутно вычернилась избушка лесничего. Они приближались к устью. Петрищев выключил мотор, и когда иссякла сила разгона, налег на кормовое весло. Они неслышно миновали лесникову усадьбу, где нередко обогревалась озерная охрана, скользнули в один из рукавов изрезанного отмелями широкого устья и вскоре вышли в озеро. Петрищев скулами почувствовал, что воздух здесь холоднее, чем на реке, — сиверко потягивает, — и усмехнулся над незадачливым Яшей. Его-то самого никакой стужью, никаким ветром не могло пробрать сквозь герметический водолазный костюм.

Справа от устья, не видная в темноте, простиралась далеко по береговой окружности густая трава. Между ней и берегом была полоса неглубокой чистой воды, где сподручнее всего острожить спящую плотву. Но Петрищев чутьем угадывал, что тут уже прошел не один знаток осторожного боя. И хоть в тресте острожить несподручно, он все-таки погнался лодку туда.

Когда послышалось шуршание травы, Петрищев поднял отвороты резиновых сапог, затянул их ремешками на ляжках и вышел из лодки. Дно здесь было куда более вязким, нежели вблизи берега, ил присасывал сапоги. Значит, при каждом шаге вода будет взмучиваться, ухудшая видимость. Петрищев снова, в который раз, укорил себя за опоздание. Потеснив с носа Яшу, он перетащил туда аккумулятор, установил его на узенькой скамейке, присоединил фару к клеммам и повесил на крючке, чтобы она светила вниз. Опять же, двигайся он вдоль и близ берега, охрана наверняка приняла бы его за мотоциклиста, а здесь, в отдалении от берега, никого в ошибку не введешь. Вокруг не было приметно ни одного огонька, видимо, «острожники» прошли за поросший соснами мыс, врезавшийся в озеро острым клином.

Фара уложила на воду не слишком обширный, но яркий круг. Над ним зареял голубоватый кур. Петрищев достал со дна челнока острогу и прошел вперед.

— Будешь лодку толкать, — сказал он Яше.

— Аг-га!.. — замерзшим голосом отозвался тот.

Яша неуклюже вылез, сильно накренив лодку, и взялся рукой за борт. Петрищев погрузил взгляд в просквоженную ярким светом воду. Дно почти не проглядывалось за густой растительностью, но между стеблями резун-травы, камышинками и острецом темнели плотвиные спинки. А вот мелькнул и серебристый бочок испугнутой плотицы. Рыба, конечно, была, только брать ее здесь не с руки. Петрищев опустил в воду острожью челюсть, сразу же будто задравшую кверху зубья, и, привычно делая поправку на преломление, клюнул спинку плотицы. Он потянул острогу из воды, но рыба запуталась в тресте и соскочила. Он видел, как, слабо вильнув хвостом, она ушла на дно в плетение водорослей. Конечно, она там быстро сдохнет, только Петрищеву с того мало радости. Вот почему погано острожить в тресте: и целить неудобно, а пуще того — брать. Тут и впрямь много рыбы зря испортишь. А главное, время даром теряется. Петрищев ткнул острогой в довольно крупную плотву и с досады промахнулся, зарыл зубья в ил. Обругав себя, Петрищев поболтал острогой в воде, чтобы смыть грязь, а затем точным движением наколол подвязка. Снял его, приятно тяжеленького, льдисто холодного, и кинул в лодку. Он услышал, как подвязок шмякнулся на дно и потом забился, заплескался в скопившейся там воде.

Яша подвинул лодку вперед, круглое пятно света сместилось и высветило новый участок озерного дна. Здесь в перепутанице трав была чистая проплешина, и в ней, как на нитках, висели три крупные плотицы. Петрищев взял их одну за другой. Затем он обнаружил еще плотицу, но поторопился и только задел ее зубьями, рыба метнулась прочь, а кверху всплыло несколько чешуек. Когда осел баламут, Петрищев увидел, что плотица стала неподалеку от места своего ранения. Пустив острогу на всю длину, он сбоку наколол рыбу, да не соразмерил удара, голова напрочь отлетела. Такую покупатель не возьмет, и Петрищев, содрав с зубьев искалеченное рыбье тельце, швырнул ее прочь.

Он двинулся дальше и чуть не наступил на драгоценно сверкнувшее из песка донце водочной бутылки. Он поддел его острогой и вытащил наружу. Края у донца были острее зубьев остроги, только наступи — порвет резиновую подошву к чертовой матери! «Вот люди, — с горечью подумал Петрищев, — ведь нарочно, дьяволы, от-

били да бросили! Ну что за охота гадить другим, когда даже не увидишь, как твоя подлость сработала?» Он размахнулся и швырнул донце на берег; всплеск не услышал, значит долетело.

И тут Петрищеву смутно толкнулось в душу ощущение какого-то неблагополучия. Он не понимал, откуда пришло это тягостное чувство, то ли оттого, что у него все как-то не ладилось нынче, он опоздал и потому был вынужден ковыряться в тресте, часто промахивался, портил рыбу; то ли вредное донце виновато... Все окружающее стало подозрительным, ненадежным, казалось, на каждом шагу тебя подстерегает такое вот иззубренное донце.

Петрищев пытался стряхнуть с себя эти расслабляющие мысли, но они лепились к нему, как паутина к щетке. Хоть бы Яша чего сказал, отвлек на веселое, несерьезное.

— Яшка — живой?

— Не совсем... — продрожало в тишине.

— Держись, казак, атаманом будешь!..

Петрищев хрипло, толчками засмеялся. Он слышал эту звонкую, едко-насмешливую фразу третьего дня в городе от шофера самосвала и все время мечтал применить ее к месту...

Они медленно продвигались в тресте, порой Петрищев стряхивал в лодку наколотую рыбу. Он перестал тюкать рыб, забившихся в траву, они все равно соскальзывали с зубьев при попытке их вынуть. Прошло не меньше часа, а сколько он взял: килограмма четыре, пять? Если так дальше пойдет, он и на две бутылки не наскребет.

Холодный северо-восточный ветер дул с прежним тихим упорством. Он выбисерил слезы из его кривого глаза, и они неприятно холодными струйками текли по щеке. Петрищев утер щеку, достал из кармана чистую тряпочку, осторожно протер больной глаз и, когда отнял тряпочку от лица, увидел невесть откуда взявшуюся моторную лодку с электрическим фонарем на носу. Лодка шла с открытой воды на берег.

Свой брат острожник не зажжет даром фонаря, да и не станет отдаляться от берега — на глубине рыбы не возьмешь. Кроме того, это не фара горела, а специальный фонарь с рефлектором, кидавший впереди себя длинный прожекторный луч. Начальство из города? Едва ли, начальство приезжает обычно в самый канун праздников, а завтра рабочий день. Охрана? Черт ее знает, охрана

любит подкрадываться исподволь, а не оповещать о себе иллюминацией. Да и нечего здесь делать охране, все браконьеры сейчас за мысом. Неужто из-за него одного мчится сюда сторожевой катерок? Чудно! Но береженого бог бережет. Надо выключить фару, чаще всего в таких случаях охрана поворачивает назад. Петрищев сдернул провода с клемм, погас круг на воде, тьма сомкнулась вокруг лодки. Ярче разгорелся долгий луч приближающейся моторки. Если это городские начальники, лихорадочно соображал Петрищев, то им следует забрать много левее, к устью. На кой ляд им в тресту переть? Они ловят возле лесниковой усадьбы. Ясно, это охрана, и метит она прямо в него!

Он швырнул острогу в лодку и крикнул Яше:

— Давай к берегу!

Они быстро развернули тяжелую лодку. Если успеть выбросить рыбу и закинуть подальше от берега остроги, ни хрена с ним не сделаешь. Можно даже не выбрасывать рыбу, он так мало надобыл, что охрана не станет придирается. К ответу тягают, если лодка набита рыбой. Тогда отбирают и улов, и снасть, лодку цепляют на буксир и уводят в город. Походи за ней, поканючь!.. Иногда возвращают за так, за детские слезы, иногда приходится дать в лапу, а коли угодишь в недобрый час, так могут и настоящий штраф содрать! Только этого не хватало! Петрищев даже вспотел в своем непроницаемом костюме. И рыбы не взял, и со всеми пречистыми расстаться — это, знаете ли, маком!.. Тогда он завалится острожить на всю ночь, чтоб уж и на штраф хватило. И какого лешего охрану пригнало сюда? Вот уж не заладилось, так не заладилось! Нечего сопли пускать, надо спасать лодку.

— Давай, Яшка, быстрее!

Луч фонаря уже дважды скользнул по их фигурам. Все же за трестой они не особо приметны, может, пронесет?

Они уже вышли из тресты, когда с берега неожиданно и страшно в лицо им хлынул слепящий луч. Большой электрический фонарь, силой едва ли уступающий фаре, обдал их тугим, как струя из брандспойта, светом, заставившим попятиться, словно он и в самом деле обладал силой давления. Их отрезали от берега. Это была настоящая облава, и Петрищева охватил страх. Ему казалось, что и справа, и слева, и в прибрежных кустах, и в осиннике близ устья — всюду притаились озерные сторожа,

собранные со всей округи с единственной целью поймать и заневолить его, Петрищева.

— Беги! — крикнул он Яше, и сам ринулся к берегу, прямо на луч фонаря.

Пробежав по воде несколько метров, он вдруг сообразил, что делает глупость, и резко метнулся прочь, сбросив с себя серебрящийся свет.

Надо достичь устья, там он запутает идущих берегом сторожей, а катеру не пробиться в обмелевших, узких рукавах. Конечно, охране достанется лодка, но он скажет, что лодку у него угнали, докажи, что не так! Погано, если Яшку схватят, он не со зла, а сдуру может наболтать лишнего. И тут Петрищева снова настиг луч с озера. Он с размаху распластался на дне. Вода накрыла его, только рожу пришлось высунуть, чтобы не захлебнуться. Была б камышинка, он бы и голову схоронил. Трудно двигая шеей, он оглянулся, нет ли поблизости какого-нибудь трубчатого стебелька, но, кроме сухой, крошащейся от прикосновения, плоской лещуги, ничего под руку не попадалось. Ну, ладно, голова у него не больно велика, авось не заметят. Он отфыркнул короткий смешок и вдруг обнаружил, что, подобно гигантской рыбине, лежит посреди яркого светового круга. Казалось, кто-то ростом до звезд занес над ним острогу, чтобы наколоть и стряхнуть на дно громадной лодки, где задыхаются в вонючей жиже другие жертвы. Впервые Петрищев ощутил сочувствие к рыбам, которых он безжалостно поражал острой, он вдруг понял, что это такое, когда в живое тело входит острый металл и ты из тихого сна переносишься в явь мучительного умирания. Его передернуло под лягушечьей шкурой, он вскочил и ринулся к берегу.

Свет не отпускал его. Петрищев казался себе факелом, ослепительно полыхающим посреди ночи. Он оступился, упал, и, быть может, оттого, что движение это было произвольным, луч потерял его, соскользнул вправо, потом забегал по воде, задевая край берега с лозняком и молодой изумрудной травой. Петрищев пополз по дну; надеясь добраться до песчаной косицы и за ветлами уйти в лес. С озера и с берега два ярких снопа света обрыскивали воду и сушу, порой пронзительно вспыхивая в перекрестье, и снова расходились; лучи то вытягивались, бледнея, то сокращались, наливаясь яркостью. Петрищев увидел, что охрана уже завладела лодкой, кто-то осматривает остроги, кто-то шурует на дне, и был среди охран-

ников милиционер в форме, и он потянул с носа цепь, чтобы взять лодку на буксир.

«А ну как впрямь отберут лодку! Такую лодку с маленьким мотором «Москвич»! Не может того быть, чтоб из-за паршивой плотвы трудящегося человека лишили имущества». Он потом и мозолями заработал себе на мотор. Он всех распатронит, горло перегрызет, если ему не вернут мотора. Пусть забирают сеть, остроги, фару с аккумулятором, даже лодку, хрен с ней, он другую сделает, дерева кругом хватает, но мотор ему обязаны вернуть. У него мелькнула мысль встать и отдаться под стражу, но что-то в повадке охранников, в их настырности и коварстве страшило его, и он не мог заставить себя добровольно принять плен. Он продолжал ползти к берегу. Удрать выгоднее, тогда он от всего отопрется, и, глядишь, вернут и лодку, и всю снасть.

Он уже приближался к берегу, когда его опять нащупали с озера. «Да отвяжитесь, дьяволы! — жалко подумал он. — Въелись, как клещ в мошонку!» Большой, грузный человек в неудобной тяжелой одежде снова заметался, как обложенный загонщиками волк.

Он не знал, что газеты выступили по поводу истребления рыбы в Кашеевом озере и началась небывалая по решительности кампания в защиту озерной фауны. Не знал он также, что «факельщики», которых настигли за мысом, после жестокой драки сумели уйти, сломав нос одному из сторожей, а у милиционера выгнав кровь из уха. Охране достались лишь боевые трофеи: лодки, набитые рыбой, да остроги, а им необходим был хоть один пленный, чтобы завести судебное дело и дать суровый урок окрестным хищникам. К этому примешивалась вполне понятная злость и жажда расплаты. Оттого и были они сейчас так неумолимы и настойчивы.

Петрищев не знал всего этого и потому сохранял надежду на спасение. Он, случалось, и раньше засыпался, но всегда уходил от расплаты, авось уйдет и на этот раз. Он снова вырвался из губительного света, снова зарылся в мягкий ил и пополз по дну. Вскоре илистое дно сменилось твердым песком. Петрищев присел на корточках, вглядываясь в берег. Ночь была на исходе, уже отчетливо различимы стали и кусты, и деревья, и берег, где плоский, почти вровень с водой, а где и крутой. Он примеривался к броску. И справа и слева от него по воде, по камышам, по лещуге шарили ищущие лучи. Надо было торопиться, Петрищев приметил щель в лозняке — русли-

це весеннего ручья, и устремился туда. Он уже достиг берега, когда прямо из щели, дико и страшно, как в бреду, в лицо ему ударил свет карманного фонаря. Как оказался там преследователь, не было времени соображать. Петрищев метнулся в сторону и попал в луч фонаря движущейся берегом охраны. Он кинулся к воде, и в него уперся мощный сноп лодочной фары. В перехвате этих лучей Петрищев как-то очумел. Им овладел безумный страх, словно в предчувствии гибели. Он не сознавал, ни где он, ни с кем имеет дело. Сияющая смерть надвигалась со всех сторон, и он кинулся туда, где напор света был меньше, к ручьевому руслу.

Петрищев мчался прямо на сторожа, но тот не посторонился, и они больно столкнулись. Петрищев был крупнее, тяжелее, сторож отлетел назад, но удержался на ногах и вновь заступил дорогу Петрищеву. Тогда, все так же плохо соображая, что делает, Петрищев ударил его кулаком в висок. Сторож охнул, присел, зажал голову руками. Петрищев ринулся мимо него, но сторож схватил его за ногу и опрокинул на землю. Петрищев высвободил ногу, лягнул врага в живот, хотел вскочить, но тут подошли другие охранники. Они скопом навалились на Петрищева, стали заламывать ему руки, и он, совсем обезумев, лупцевал их по чему попало, бил ногами, головой, пытался укусить.

Силы были неравны, Петрищеву изрядно намяли бока, разбили нос и связали руки за спиной. Он лежал, придавленный охранниками, его лицо вмялось в закисшую землю, и он ничего не видел — наружу пялился его кривой глаз.

— Успокоился? — послышался чей-то голос.

— Успокоился, — прохрипел Петрищев.

Его сразу развязали, помогли встать на ноги. Он высморкал кровь и пальцами прочистил глазницу.

— Петрищев, кривой черт! — как-то обрадованно проговорил милиционер. — Ну, это матерый хищник!

— Документы есть? — спросил рослый человек в плаще, и Петрищев узнал районного прокурора.

Кроме прокурора, милиционера и двух озерных сторожей, в облаве участвовали директор банка, завуч вечерней школы, брандмейстер пожарной команды. Ответственность — в рот ей дышло!..

— Нету, — сказал Петрищев.

— Придется в город везти, — вздохнул прокурор.

— А чего мне там делать? — поспешно сказал Пет-

ришев. — Я свою личность подтверждаю. Петрищев Павел Иванович, проживаю в поселке Нарочь, работаю в городе, на текстильной фабрике.

Только что пережитый ужас исчез, теперь было досадно и стыдно, что он, пожилой, знающий себе цену человек, бригадир грузчиков, удирал, как мальчишка, вступил в драку и был побит, брошен в грязь и связан.

— Подпиши, — сказал милиционер и протянул Петрищеву тетрадный листок, исписанный косым круглым почерком.

Петрищев, не читая, подписал. Ему хотелось лишь одного — чтоб его скорей отпустили.

— Снимай костюм, — сказал милиционер.

— Еще чего!.. — завел было Петрищев, но его тут же схватили за руки, и, не желая снова пахать мордой грязь, он поспешно принялся стягивать водолазный костюм.

— Костюм тоже принадлежит к вашему браконьерскому снаряжению, — вежливо пояснил прокурор.

Горестно вздыхая, Петрищев разоблачился, и хотя на нем осталась справная ватная одежда, его прямо-таки затрясло от холода.

— Пошли, — сказал прокурор.

Люди не спеша зашлепали по воде к моторке. Милиционер нес водолазный костюм, перекинув его через плечо, бледный свет зари растекался по зеленоватой резине, и Петрищеву казалось, будто с него живьем содрали кожу.

Пока он плелся болотистым левым берегом домой, с трудом выпрастывая ноги из торфяной топи, пока переходил по железнодорожному мосту реку, — как на грех, маневрировала торфяная кукушка, — совсем рассвело, и Нюшка уже доила Белянку в хлеву.

Она все знала. Яша, этот московский слабак и шляпа, преспокойно ушел от охраны и принес домой горестную весть. Увидев мужа, Нюшка сделала попытку зареветь, но Петрищев прикрикнул зло: «Молчи, без тебя тошно!» — и Нюшка, сразу согнав с лица плаксивую гримасу, деловито сказала:

— Мотор возвращен?

— Должны, — проворчал Петрищев, и тут громадность потери больно ударила его в грудь. Он сказал жалостно: — Надо же, лодка, остроги, фара, аккумуляторы, водолазный костюм — все пропало!

— Ничего, — хоршим, твердым и веселым голосом

заговорила Нюшка. — Эка, подумаешь, беда! Живы будем — не помрем. Нешто ты впервой лодку теряешь? А вспомни позапрошлый год.

Позапрошлый год его затерло внезапно надвинувшимся от Лихославля льдом в той же заводи, где он сегодня попался. Ледовые торосы забили устье, пришлось бросить лодку. Мотор он, конечно, забрал с собой, но когда через несколько дней пришел за лодкой, от нее остался лишь ржавый черпак. Льды раздавили лодку, а сторожа и другие местные люди растащили ее деревянный остов. В этой потере была повинна прежде всего стихия, и оттого Петрищев не ощущал нынешней злой досады. Сейчас он больше всего злился на себя, что так опростоволосился, не сумел уйти, и все же Нюшкины слова нашли путь к его сердцу.

— Вечером достану острогу и схожу пешкодралом.

Нюшка закрутила головой, выражая удивление перед его несокрушимостью.

— А ты думала!.. Не позволю, чтоб мне праздники изгадили!

Нюшка вышла из хлева, держа в напрягшейся руке ведро с молоком, желтоватым от жира.

— Костюм водолазный жалко, — капризно сказал Петрищев, ему показалось, что Нюшка чересчур легко приняла его неудачу. Мужество мужеством, но маленько посочувствовать тоже надо.

— Да будет тебе! — отмахнулась Нюшка. — Ты денег за него не платил. А может, они только пострадать тебя хотят, после отдадут?

— Кто их, дьяволов, разберет!..

Помимо толстенной яичницы на сале, Нюшка напекла к завтраку больших ватрушек с творогом. Петрищев любил творожные пироги, у него заметно поднялось настроение. Раздражало лишь присутствие за столом Яшки, дуром ушедшего от облавы, но и Яшка почти примирил его с собой, рассказав, как долго и ловко морочил Петрищев охрану: вlepил одному, засветил другому, ввехал третьему. Охотники смеялись, и Петрищев бисерил из своего кривого глаза, а затем вдруг помрачнел, вспомнив, что в результате всех победных действий остался без рыбы, без снасти и без лодки.

Петрищев круто оборвал разговор и, скинув резиновые сапоги, прошел в горницу. Он достал из раствора

стеклянный глаз, вложил его в глазницу — глаз отличался от своего живого собрата, был синее, ярче, — натянул кирзовые сапоги, парусиновую спецовку и пошел на мост ловить «кукушку», идущую в город...

Вечером он отправился к соседям за острогой. Дома находился лишь младший представитель семьи, шестнадцатилетний Коляка. Несмотря на юный возраст, Коляка по праву считался отчаянным — на прошлой масленице он в драке разорвал рот путевому обходчику. Коляка стал ломаться, уверять, что острога ему самому необходима, но в конце концов согласился уступить ее на сегодняшнюю ночь за пятерку. Петрищева прямо в пот кинуло от такого наглого требования, он еще и рыбы не наловил, а уже раскошеливаясь!

— Ты что — совсем с шариков съехал? — тихо и грустно спросил он Коляку. — Не знаешь, какая беда меня постигла?

— А вы не кричите, — опасным голосом завел Коляка. — Нечего вам кричать!

Когда он начинал свое «не кричите», лучше сворачивать разговор. Он мог и в волосы вцепиться, и в глаза наплевать, и ножом пырнуть. Петрищев дрожащими руками достал из кармана мятые рубли, мелочь и шмякнул на стол.

— Подавись, змееныш!

— Ладно... В сенях острога...

Тем временем Нюшка набила смолья в «козу» — железную клеть на деревянном шесте. Петрищев потребовал от Яши, чтобы тот таскал за ним факел. По странному ходу мысли, ему стало казаться, будто Яша как-то причастен к его неудаче, и считал, что тот должен искупить свою вину. На этот раз Петрищев не тратил времени на любовь, как только стемнело, сразу направился в путь.

На озере было пусто. Петрищев, не осведомленный о событиях прошлой ночи, решил, что остальные рыбаки обловились выше горла. Он остро им позавидовал, поскорее разжег смолье и, вручив Яшке факел, вошел в воду. На шее у него висел мешок для рыбы. Но не успел Петрищев приглядеться к озаренному рваным пламенем дну, как их окликнули с берега. Петрищев оглянулся и чуть не заплакал. На берегу стояли озерный сторож Михеич, вчерашний милиционер и еще какой-то рослый незнакомый дядя. Зашипев, погасло опрокинутое Яшей в озеро смолье. Будто черной тушью залило простор. Петрищев

кинулся бежать, но наступил на мешок и упал в воду. Когда он поднялся, его уже цепко придерживали за локти.

— Ты что, совсем сдурел? — плачущим голосом сказал Михеич. — Мало тебе вчерашнего?

— Я аж глазам своим не поверил, — возбужденно говорил милиционер, — неужто, думаю, опять этот крокодил? Вот народ — ни стыда ни совести!..

Петрищев молчал. Кой толк было объяснять этим людям, что несправедливо с одного тела две шкуры драть. Он уже раз пострадал, так имейте совесть, отпустите с миром бедного человека! Ощущение было такое, будто его обыграли в пух и прах краплеными картами, доказать ничего нельзя, но обида и злость продирают до кишок.

— Подпиши, — по-давешнему сказал милиционер, и снова Петрищев, не читая, подписал протокол о своем задержании во время незаконной ловли рыбы.

— Смотри, Петрищев, допрыгаешься до тюряги, — не зло, а скорей жалеючи сказал сторож, и вся компания пошла прочь, не поленившись предварительно сломать шест от «козы». Острогу забрал милиционер.

Петрищев с бешенством подумал, что Яшка опять сумел удрать.

Ночью Петрищеву казалось, что он тяжело заболевает. Его знобило, и все тулупы и одеяла, наваленные на него Нюшкой, не помогли ему согреться. Всё же к утру он задремал, а когда проснулся в десятом часу, то чувствовал себя, хоть и ослабевшим, но вполне здоровым. Он не стал распространяться о вчерашнем, только сказал жене:

— Чтоб этого еврейчика здесь духу не было... Да и остальным скажи, пусть отчаливают... не желаю...

Но московские охотники и сами решили не беспокоить огорченного хозяина, они убрались подобру-поздорову раньше, чем Нюшка успела их турнуть.

Праздники прошли тускло. Заезжал, правда, Нюшкин брат, но это не разогнало мрачности Петрищева. Он был рад, когда праздники кончились, схлынул поток приезжих, заполнивших все берега, каждый клочок твердой земли в заболоченных лесах, каждую избу и сарай. Один Петрищев не пускал на праздники постояльцев, эти дни он жил только для себя и даже в несчастье не захотел менять установленного порядка.

А в первый же будний день после работы он заехал к Михеичу прощекотать старика насчет возвращения лодки и снасти.

— И думать об этом забудь! — огорошил его Михеич. — Может, кабы другой раз не попался... А сейчас — все, жди повестку в суд.

— Какой еще суд? Ты сдурел, что ли, Михеич? Если за это судить, то весь район, чего ж меня-то одного?

— Весь район не попался, а ты попался. Тебя показательным судом судить будут, чтоб другим неповадно.

— Помоги, Михеич, хоть мотор вернуть, — вздохнув, сказал Петрищев, — за мной не пропадет.

Но Михеич только замахал руками.

— Глупый ты, Петрищев, хуже дурки. Ступай себе с богом!

Михеич как в воду глядел: Петрищева вызвали в суд. Памятуя, что пожилой судья Степан Степанович был страстным рыболовом и тонким ценителем ухи, Петрищев прихватил для него свежей рыбы, в знак уважения. Но, приехав в суд, с огорчением обнаружил, что старый судья давно вышел на пенсию, а по их участку судит молодая женщина с красивым лицом и тонкими губами. Вот что значит опускать в урну бюллетень, не глянув, что там написано. Петрищев сам же голосовал за новую судьюху...

— Чего это селедкой запахло? — сказала судьяха, брезгливо скривив тонкие губы.

Петрищев стыдливо сунул под табурет авоську с рыбой. Дни стояли по-летнему жаркие, и пока он добирался до города, рыба не то чтобы испортилась, а пустила крепкий душок. Конечно, такой мамзели-фриказели не предложишь на ушицу. Если уж человеку не повезло, так не повезет во всем.

Судьяха показала Петрищеву разные бумаги: акты о задержании и какие-то судебские заключения. На основании этих бумаг, сообщила судьяха, его будут судить за браконьерство. Петрищев выслушал ее спокойно, спорить не стал: разве баба понимает в рыбалке и местных промысловых обычаях? Он только предупредил, чтоб в дневное время суда не устраивали, он работает на сдельщине и не намерен терять деньги, он и так довольно пострадал.

— Пусть суд как хочет решает, а чтоб мотор мне вернули! — строго сказал Петрищев, еще раз вспомнив, что эта молодая женщина обязана и ему своим высоким постом.

Судыха как-то странно поглядела на Петрищева, ее тонкие губы словно бы чуть вспухли.

— Вам полагается защитник. Посоветуйтесь с ним, хорошенько посоветуйтесь, — сказала она почти ласково.

Защитник попался Петрищеву бестолковый. Даром что с лысиной и в очках, но без всякого понятия. Он ни черта не смыслил в рыбалке, острогу назвал «трезубцем», хотя у нее восемь зубьев, лодку — «челноком», подъемник — «неводом». Он наговорил Петрищеву ворох страстей: ему чуть ли не тюрьма грозит за то, что он багрил рыбу. Петрищев усмехнулся, слушая адвокатскую чушь. Если за такое сажать, тогда полрайона в тюрьме окажется.

— При чем тут полрайона! — воскликнул адвокат. — Накрыли-то на месте преступления вас одного!

Этот довод не проник в сознание Петрищева. Почему отвечать должен он один, когда браконьерили все? Острогами пользовались и поселковые рыболовы, и городские, и даже приезжие из столицы. Неужели только из-за того, что он попался, а другим удалось бежать, наказание ляжет на него одного? Природное чувство справедливости бурно восставало в Петрищеве против подобного беззакония. Если уж отвечать, так всем, это будет по чести и совести. Но, похоже, никого больше привлекать не собирались, значит, отпустят и его, покуражатся и отпустят.

Адвокат тщетно пытался объяснить Петрищеву: взятому с поличным нарушителю не может служить оправданием, что другим преступникам удалось скрыться. Петрищев посмеивался про себя: адвокат был навязан ему от суда, значит, он тоже принадлежит вражескому стану и потому пытается его запугать. Но одно понял он крепко к концу их долгого, скучного собеседования: лодку, снасть, мотор и водолазный костюм ему не вернут. Мало того, думал он, холодея, тут попахивает крупным штрафом. Сколько же сдерут с него душегубы за два десятка плотичек? Небось не по рыночной цене, а вкатят рублей тридцать, мать честная! Такую пропасть деньжищ придется уплатить ко всем уже понесенным потерям за горстку пузатой мелочи! Ну нет, он в Москву поедет, он до главного прокурора дойдет!

Петрищев так расстроился, что совсем перестал слушать адвоката. Позже он вспомнил, что адвокат зачем-то расспрашивал, не зашибал ли покойный родитель, и про него самого: не был ли он контужен на войне, не страда-

ет ли головокружениями или бессонницей? Это еще к чему?

И когда через некоторое время адвокат прислал ему открытку с приглашением явиться для новых разговоров, Петрищев не отозвался. Он поехал прямо в суд, состоявшийся, к удивлению, скоро, — еще не вся грязнуха отнерестилась. Нюшка велела ему побриться, надеть белую рубашку в тонкую голубую полоску и новый, синий, в лиловость, ватник. Крахмальный, жесткий воротничок рубашки Нюшка скрепила круглой медной запонкой, больно укусившей ему кожу на шее, когда запонка проходила в узенькую петельку. Необмявшийся ватник сидел колом, но Петрищев чувствовал себя нарядным и милостивым, на нем были новые суконные брюки, до блеска начищенные сапоги с хромовыми голенищами, в глазнице посверкивал ярко-голубой глаз.

Нюшка, конечно, поехала вместе с ним. Они проголодали на мосту торфяной «кукушке» с прицепным пассажирским вагончиком, машинист притормозил, и они забрались на высокую подножку. Петрищев чуть не угодил под колеса, новый ватник жал ему в проймах. Он указал Нюшке на этот недостаток и велел по возвращении распусть праймы. «Нашел о чем заботиться, — ворчливо сказала Нюшка, — подумал бы лучше, чего суду будешь говорить». А чего об этом думать? Врать он не собирается, а суду и самому должно быть ясно, что нельзя засуживать одного человека за общую вину.

Петрищев подмигнул Нюшке своим блестящим глазом, но не согнал озабоченного выражения с ее лица и стал смотреть в окошко на реку с ветряным, сине-стальным блеском по стрежню, на курчаво зазеленевшие ивы, свежую, сочную осоковатую траву, покрывшую берега Бегунки. День был солнечный, блистающий от ветра. Над приречной луговиной парил луговой лунь, как кипень, белый, с темной каймой на широких крыльях; мохноногий канюк сидел на верхушке телеграфного столба, недвижимый, будто из камня, но вдруг наклонился и скользнул к земле, распахнув крылья; над водой носились чайки, сизокрылые, с черной головкой; садясь на воду, они вытягивали шейки и озирались с чирячьим любопытством. Во всем, что Петрищев наблюдал из окна поезда, было много вольной, свободной жизни, и ему впервые захотелось, чтобы суд, которому он не слишком придавал значения, остался позади.

Многие знакомые Петрищева и по работе, и по рыбал-

ке, и просто по соседскому жительству пришли на его процесс. Петрищев пригоголился: надо же оправдать оказанную ему «честь» — представлять кашеевских рыболовов перед лицом закона. Он вертелся, подмигивал женщинам, расточал шербатые улыбки, приветливо махал рукой, немножко позируя, играя в эдакого удальца, сорвиголову, пока Нюшка не ткнула его кулаком в бок.

— Чему радуешься, дурень?

А потом произошло маленькое событие, круто выбившее Петрищева из его бодрого настроения. Открыв заседание, судыха велела Петрищеву пересесть на скамью подсудимых. Петрищев усмешливо огляделся по сторонам, крикнул, но не двинулся с места. Судыха повторила свои слова. «А мне и здесь хорошо!» — крикнул он дерзко. И сразу же, раздвигая толпу, к нему двинулись два милиционера. Конечно, он не стал ждать, когда милиционеры начнут хватать его за руки, и сам быстренько пересел на крашенную охрой, облупившуюся скамью, сбоку от судейского стола. И едва он опустился на эту скамью и ощутил свою обособленность от толпы, набившейся в судебную комнату, свою разлученность с Нюшкой, что-то сломалось у него внутри. Он перестал чувствовать себя пригожим и нарядным, застеснялся и своего нового яркого ватника, и белой рубашки с красивой горловой пуговицей, и того, что весь он на виду. А главное, он перестал верить в благополучный исход суда. Он уже был отчислен от своих земляков; еще ничего не доказано, а между ним и всеми другими людьми пролегла пустота. И пустота эта может свободно растянуться на километры, на десятки, сотни, тысячи километров. Петрищев вспотел. Он охотно снял бы ватник, но боялся, что это не положено.

Он пытался уверить себя, что страх его беспричинен. Ну, поговорят, посрамят, ну, накажут штрафом, — эка беда! Живы будем — не помрем! Отработаем штраф, наживем новую лодку, мотор и снасть. Петрищева удивило, как быстро смирился он со всеми своими потерями. Еще недавно он сожалел об отобранной рыбе, а теперь уже и на денежный штраф согласен, только бы вернуться к обычной жизни. Неужто и впрямь ему грозит худшее? Принудработы за браконьерство и пятнадцать суток за мелкое хулиганство — как-никак, а он сопротивлялся охранникам? Пятнадцать суток!.. Петрищева передернуло. Пятнадцать суток без дома, без жены, без реки, без привычной работы! Да и стыдно на старости лет

убирать дерьмо на глазах всего города. Он же бригадир, у него восемь похвальных грамот висят на стенах.

Мучительно захотелось назад, к Нюшке. Вот она сидит совсем рядом, а не достать! Тянет голову кверху, чтобы не проронить ни одного судьиного слова, и глаза у нее большие и жалкие, а вокруг них лицо словно провалилось. Они прожили вместе без малого четверть века, и, кроме года войны, видели друг дружку каждый день и каждую ночь. И он не хочет, не может пятнадцать дней и пятнадцать ночей обходиться без Нюшки. У него никогда никого не было, кроме нее, он даже помыслить не мог о других женщинах, хоть похвлялся в мужской компании не хуже приятелей, но стоило ему только представить себя с другой женщиной, как к горлу подкатывала рвота. Если б хоть он мог сидеть рядом с ней, держать ее за руку, слышать родной запах и подготавливать себя к возможной разлуке, все бы еще ничего. Но его оторвали от Нюшки слишком внезапно, он не был к этому подготовлен и потому одурел. Он словно погрузился в слуховой туман, самые простые слова не достигали его слуха. «Что?», «Чего?» — то и дело переспрашивал он судью.

— Ишь, придуряется! — послышался из зала чей-то восхищенный голос.

Но Петрищев и не думал придуряться. Он падал, падал в бездонную черноту и ничего не ощущал, кроме ужаса падения, в ушах его стояли свист и шорох, и, насколько не прибавляя к его страху, доносились до него порой вопросы судьи и заседателей: морщинистого майора-отставника и красивого, седеющего директора фабрики киноплёнки, речь прокурора, перечислившего все его прошлые и нынешние грехи и потребовавшего трех лет лишения свободы, бессвязное выступление защитника, вспомнившего зачем-то его отца-алкоголика, похвальные грамоты за работу, стеклянный глаз и даже то, что он окончил всего три класса школы, словом, осрамившего его хуже некуда.

— Суд удаляется на совещание! — объявила судья.

Петрищев достал из кармана чистый носовой платок, утер лицо, шею и за ушами. Платок стал мокрым, хоть выжимай...

Народные заседатели следом за судьей прошли в совещательную комнату. Суд располагался на первом — вровень с землей — этаже старинного торгового здания. Запах дезинфекции не мог совсем приглушить прежний сладкотощный аромат хранившихся здесь колониальных

товаров. Совещательная комната глядела окнами на тихий задний дворик, и в распахнутые окна широко входил чистый запах весны. Это так обрадовало директора фабрики киноплёнки Кметя, что он сказал не совсем уместным, радостно-легкомысленным голосом:

— Ну и речугу толкнул защитник! Выходит, если у тебя отец алкоголик, а сам ты недоучка, но работяга, то можешь браконьерить, сколько душе угодно!

Судья никак не отозвалась. Она достала из сумочки сигарету, нетерпеливо, ломая спички, прикурила и жадно, так, что раздулись тонкие ноздри, затянулась. Кметь обиделся. Эта девчонка слишком много себе позволяет. Начать с того, что она пришла в суд с опозданием на полчаса и даже не сочла нужным как-то объясниться. После Кметь слышал, как она шепнула секретарше; «Ну, Люське, слава богу, лучше!» — значит, навещала большую подружку в служебное время. Кой черт согласился он баллотироваться в народные заседатели? Не хватало ему, что ли, выборных должностей? Но тогда как-то не думалось об этом, льстило доверие людей и то, что на всех углах будет висеть его биография с портретом, вот он и согласился.

Ему долго удавалось отлынивать от участия в судебных заседаниях — он был директором самого крупного в городе предприятия, благодаря которому старинный, запущенный городок перешел в новый, более высокий разряд. Но все-таки его допекли, и вот сегодня он с утра томился в душном, вонючем зале заседаний, слушая чепуховые, ничтожные дела: развод, квартирная склока, грошовый иск одного учреждения к другому и, наконец, эта браконьерская история. И ко всему еще он должен терпеть дождя до вызова сухость, небрежность и высокомерие девчонки с тонкими подкрашенными губами и обесцвеченными перекисью волосами. Кметь чувствовал, что антипатичен ей, и не мог понять почему. Он привык правиться женщинам и вел себя как человек, который нравится: свободно, широко, добродушно, чуть по-мальчишески. Но с ней он все время будто ударялся об острые углы. Ладно, сейчас они вынесут решение по этому делу, и он навсегда расстанется с тонкогубой злюшкой.

— Я не понял, обвинитель просил три года, конечно, условно? — послышался скрипучий голос майора в отставке.

— Нет! — резко сказала судья и стала тыкать окурком

в тарелку под графином с водой. — Речь шла о вполне реальном сроке.

— Три года!.. — отставной майор покрутил головой. — Это что же — показательный процесс?..

— Если хотите — да! — Судья закурила новую сигарету. — Вы разве не видели — в зале полно корреспондентов из области. Делу Петрищева решили дать широкую огласку, чтоб браконьеры поняли: их безнаказанности пришел конец.

— Ну и правильно! — вдруг вскричал майор, и его дубленая солнцем шея в крупных темных порых грозно побагровела. — До кой поры терпеть погубителей природы! Особенно таких, как этот рецидивист. У него восемь приводов, а мы все цацкаемся, жалеем. Сейчас он кулаки в ход пустил, а в следующий раз ножом пырнет — почему же нет, коли все с рук сходит?

То, что говорил майор, было справедливо, но в душе Кметя вызывало протест. Майор, сам заядлый рыболов, охотник, грибник и ягодник, соблюдал промысловые законы так же свято, как прежде устав пехотной службы. И все же его бурная деятельность в природе отдавала чем-то нечистым. Ни поэзии, ни бескорыстия досуга не было в его общении с озерами, реками, лесами и полями — голая утилитарность, жадное приобретательство гнали его из города на природу. Однажды он затащил Кметя к себе и в крещенские морозы доставил удовольствие отведать жареных белых грибов. Отставной майор сумел трапезе придать какой-то мистический оттенок. Нехитрое чудо хранения грибов он возводил в некий символ, в высокий смысл человеческого бытия. Он рассуждал о домашнем консервировании ягод и фруктов, солении грибов и огурцов, вялении и копчении рыбы с жутковатым вдохновением пророка. Рассказывал о своих знакомых неправдоподобные истории: к каким уловкам и хитростям прибегали они, чтобы полакомиться его зимними грибами или маринованной уклежкой.

Вот и сейчас его гневный пафос не был выражением здоровых чувств страдающего родной природе человека, в нем была кулацкая злость, что-то слишком личное, от кармана и брюха идущее.

Подсудимый не понравился Кметю, было в нем что-то звероватое, тупое и вместе хитрое. Он, конечно, притворялся, играл в придурка, откровенно бил на жалость. А мужик, видать, ушлый, прошедший огонь и воду, да и браконьер заматерелый. Такой не раскается, только ста-

нет осторожнее, увертливей. И в самом деле, страшный урон чинят природе эти фальшивые простецы, лишенные нравственного закона в душе. Но три года заключения — не слишком ли?..

— Так, ваше мнение ясно, — услышал Кметь голос судьи. — А что скажет второй заседатель?

Даже по фамилии избегает называть!.. Кметь взглянул на судью, она нервно покусывала тонкие губы. Внезапно Кметь усомнился, что видимая неприязнь судьи к нему искренна. Судья была молода, самолюбива и под маской напускной твердости не уверена в себе. Кметь же, такой видный работник и мужчина хоть куда, вряд ли мог оставить ее равнодушной. Видно, боится насмешки, равно как и покровительственного одобрения, вот и воздвигла между собой и Кметем этот барьер искусственной холодности. И еще Кметь обнаружил, к своему большому удивлению, что судья, проведшая заседание с четкостью прямо-таки беспощадной, исключаяющей какие бы то ни было лазейки, не хочет, чтобы суровый приговор был утвержден. Она жалеет этого одноглазого хищника, которому предстоит первому расплатиться за огромную вину местных жителей перед миром рыб, зверей, птиц. Она хочет смягчения участи Петрищева, хотя областной суд наверняка завернет ей дело, а она, как слышал Кметь, больше всего гордилась тем, что ей не возвращают дел на пересмотр.

Чувство долга, живое гражданственное чувство возстало в Кмете против незаконных поблажек. Он поможет этой трудной молодой женщине против нее самой. Он поможет краю, который давно уже считал своим, родным, против петрищевых всех видов и мастей.

— Я полностью присоединяюсь к своему коллеге, — твердо сказал он.

— Ясно, — коротко произнесла судья. — Пошли!..

И вот — дело сделано... Кметь вышел из душного здания суда в нежную майскую теплынь, блеск солнца, сильный, горячий запах травы. Дыхание быстро очищалось от карболово-сапожной вони. Сейчас, когда заседательский искус остался позади, он уже не жалел о потраченном времени. Часы, проведенные в сумраке и духоте тесного полуподвала, обернулись надежным и радостным чувством выполненного долга. «В конце концов никто из нас не имеет права уклоняться... Каждый обязан нести свою ношу...» — думал он, ленись формулировать мысли до конца.

С ветхого деревянного крыльца проглядывалась заводь Кашеева озера возле церкви Николы на болоте. Как раз в стороне этой старой церквушки отчетливей всего было видно, что город расположен ниже уровня озера — это обстоятельство не переставало удивлять и детски радовать Кметя. Озеро серебристой лепешкой набухало возле Никольской церкви, и казалось, вот-вот низринется и на церковь, и на почерневшую колокольню, и на прилегающие строения, зальет, затопит древний городок. Но озеро, сдерживаемое низенькой дамбой, не пробовало напасть на Лихославль даже в пору половодья, когда тает лед и вспухшие реки бурно несут свои воды, даже в пору августовских гроз и затяжных октябрьских дождей, когда каналы становятся ручьями, а ручьи — реками. Всегда спокойное, ясное, озеро чисто и нежно отражает зеркальной гладью небо, облака, древний кремль на кургане, собор дней Александра Невского и другой — Василия Темного, Никольскую церковь и высокую каменную ограду разрушенного монастыря.

Кметь сбежал с крыльца, пересек мощный булыжником двор и вышел за ворота. Здесь еще сильнее пахло, сверкало, сияло весной. За неширокой горбатой улицей, вправо уходившей в гору, к фабрике цветной киноплёнки, вправо упиравшейся в тюрьму, текла речка Штоколка. Она, словно арык, протянулась вдоль улицы. В летнее время пересыхающая до каменистого дна, Штоколка сейчас бурлила, играла полой водой неестественного, ядовито-розового цвета. Такое может быть на огнистом закате, предвещающем сильный ветер, но в майский ясный день это производило странное, болезненное впечатление.

«Абстракционизм!» — усмехнулся про себя Кметь.

В эту речку сбрасывала отходы фабрика киноплёнки. По другую сторону бугра текла речка изумрудного цвета, а в нее впадал фиолетовый ручей. Фабрика щедро делилась со всеми здешними водными «магистралями» многоцветием ядовитых сбросов. Особенно буйно расцветивался местный пейзаж в пору вешнего разлива. В Петергофе, на праздники, когда разноцветные лучи прожекторов озаряют струи фонтанов, нет такого буйства красок, как в скромном Лихославле и его окрестностях. Постепенно слабея в цвете, но не в губительности ядов, сточные воды разносятся далеко окрест, смешиваются с другими водами, отравляя их, уничтожая все живое на десятки километров. Лишь Кашеево озеро с его

сильной природной очистительной системой еще как-то сопротивляется страшному соседству, да и то в нем вымерла наиболее нежная рыба: корюшка, налим.

Все другие озера, реки, ручьи края совсем обезрыбели, да и в прудах рыба нехорошая, больная, даже в жареном виде припахивает эссенциями — подземные воды тоже отравлены. В водоемах вымерла всякая жизнь. Не стало не только ондатр, выдр, выхухолей, нутрий, но и простых водяных крыс, лягушек, жуков. Исчезли лилии, кувшинки, ряска и утиный корм — ушки. Дикие утки, которых прежде не могла изничтожить неумная охотничья страсть местных жителей, больше не прилетают сюда на гнездовье и даже обходят стороной в пору весенне-осенних перелетов.

Сосед Кметя, учитель биологии на пенсии, нарисовал ему однажды мрачное будущее края, где переродится вся биологическая жизнь. Биолог, надо думать, перехватил, ученых мужей всегда заносит, но, скажем прямо, расцвету природы фабричные химикалии, сливаемые в систему живых вод, никак не способствуют. Но что поделать! Кметь отлично знал, как неодобрительно, если не сказать нетерпимо, относится начальство ко всяким разговорам о дополнительных ассигнованиях на ликвидацию промышленных отходов.

Все это промелькнуло в виде смутных, но вполне понятных Кметю привычностью своей образов, когда он смотрел на ядовито-розовую воду Штоколки. Хорошо хоть, Кашеево озеро покамест не поддается гибели, может, на наш век хватит? Кметь, избалованный московский человек, тоже не устоял перед рыбалкой. Занятость мешала ему ежедневно пользоваться радостью утренних и вечерних зорь, но по субботам Кметь выезжал в устье Бегунки. Там, в яме под сторожкой лесника, дивно берут подъязки, и лесник бдительно следит за тем, чтобы ни здешние, ни приезжие охотники не прилаживались к этому месту. Кметю стало радостно, что вечером он поедет на рыбалку, проведет зорю над быстрой рекой, натаскает тяжелых, и в подсачнике не сдающихся яззей, сладко натрудит руку от плеча до кисти, потом выпьет холодной водки в чистой лесниковой избе, проглотит толстую глазунью и ляжет спать на прикрытой красивым рядом лежанке, к зоре отоспится до полной прозрачности в глазах и снова выйдет на ловлю на все долгое воскресное утро.

Стало так мило и ласково на душе, что захотелось

прямо сейчас сделать для себя что-нибудь хорошее. Он поглядел на часы: бог мой, всего полтретьего! Сейчас дома тихо, у глухого Мишеньки «мертвый» час, домработница побежала кормить своего нагульного, и Маша совсем одна. И кто может помешать ему взять ее на руки — легкую, с долгим, нежно-крепким телом, отнести в кабинет и там, на прохладном кожаном диване, обнять кроющую, покорную, чужую и оттого мучительно желанную? Какой счастливый сговор созвездий натолкнул жену на мысль отыскать в Лихославле учительницу для их глухого Мишеньки? В городе не было школы глухонемых, и затея жены казалась безнадежной. Они уже хотели отослать бедного мальчика к бабушке в Москву, как вдруг выяснилось, что жена старшего лаборанта фабрики была некогда переводчицей у глухонемых. Но мало того, надо, чтоб она еще оказалась красавицей, тихой умницей, лапушкой и чтоб ее муж, молодой, застенчивый и честолюбивый, находился в полной зависимости от него, Кметя! Казалось, жизнь сразу решила вознаградить директора за все, что он не добрал в прежние годы.

Счастливые слезы на миг сжали горло, оборвав дыхание. Кметь перебежал улицу, вскочил в «виллис» — у него с войны сохранилось теплое чувство к этим жестянкам, — и бросил водителю:

— До дому до хаты!

«Виллис» закозлил по неровному булыжнику. Кметь уперся ногой в крыло, слегка наклонился вперед и, чувствуя себя прежним двадцатилетним адъютантом, мчащимся под обстрелом по рокадной волховской дороге с важным донесением, подставил ветру разгоряченное счастливое лицо...

А в это время во дворе суда Петрищев не давал посадить себя в тюремную машину. Понимая далеким умом, что ведет себя глупо, недостойно и, главное, вредно, Петрищев не в силах был уговорить в себе яростное сопротивление неволе. Все его большое, нелепое, костяное и жильное тело сопротивлялось пространственной ограниченности, несвободе ожидающего его бытия. Петрищев упирался в борт машины руками, отпихивался ногами от рамы и скатов, ревел, как оскопленный бугай, и два милиционера, белобрысые, красные от натуги, пытающиеся сохранить на глазах толпы выдержку и достоинство, тщетно возились с обезумевшим от тоски и страха циклопом, постепенно распаяясь негодованием и злостью. Петрищев знал, что милиционеры накостыляют ему по

шее за теперешнее свое унижение, но не мог принудить себя залезть в тюремную машину.

А сзади, враз постарев неправдоподобно опавшим, бледным маленьким лицом, повисла на руках доброхотов Нюшка Петрищева. Она долго держалась стойко, но от не виданных сроду мужниных слез, от ужасного его рева рухнуло сердце. Две поселковые тетки, дальние родственницы, уже запаслись ковшиком холодной воды, чтобы опрыскивать Нюшку, когда она начнет валиться на землю и биться в судорогах...

На Кордоне

— Сообразим по маленькой, Валерик? — услышал Козырев хриловато-просевший басок полковника в отставке.

Как и всегда, Валерий Муханов, застигнутый врасплох, должен был выкашлять мокроту из прокуренной груди, чтобы обрести дар речи.

— Можно, — просипел он наконец и коротко хотнул.

Будто ненароком, Козырев повернул зеркальце, висевшее над лобовым стеклом, и увидел гладко выбритое, прочной склеротической красноты лицо полковника с натянувшимися от напряжения уголками рта — полковник уже разливал водку по оранжевым пластмассовым стаканчикам, стараясь не плеснуть мимо. Разглядывать в зеркальце Муханова не было нужды — за многие годы совместной охоты Козырев до мельчайших подробностей изучил его доброе, изношенное, морщинистое лицо с обвисшими усами, редкими седыми бровями над коричневой усталостью глаз; некрасивое и все же хорошее мгновенностью правдивого отклика мужское лицо. Он знал, что сейчас у Муханова творится под усами застенчиво-радостная улыбка, что коричневые глаза его бле-



стят, а кожа вокруг глаз лучится морщинками. «А мне не предложили!» — с обидой подумал Козырев.

— Водителю не положено! — словно в ответ бодро-фальшивым голосом сказал полковник.

— Да, — столь же фальшиво подхватил Муханов, — приходится выбирать: или баранку крути, или нутро прополаскивай. Одно из двух. А то раньше срока на том свете окажешься!

— Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела!.. — пропел полковник. — Алексей Петрович! — позвал он Козырева. — Рыжечка соленого не хотите?

Это свинство! Ведь он ясно дал понять и Валерику и этому отставному полковнику — как его там? — вечно из памяти вон, — что поедет лишь на условиях полного равенства. Никаких скидок, никаких поблажек, никаких добрых услуг, никакой заботы о его здоровье. Врачи разрешили ему ехать, все остальное никого не касается. Он сам знает, что ему положено, а что нет. Бросил же он курить, когда консилиум решил, что его инфаркт никотинового происхождения, и не испрашивал моральной поддержки ни у Валерика, ни у этой отставной козы бабаанщика.

Если я достаточно здоров, чтобы везти вас, господа хорошие, будьте добры оставить меня в покое с вашими ханжескими заботами!.. Козырев получал странное удовольствие от того, что минутное его раздражение стремительно перерастало в гнев; ему виделась в том игра активных жизненных сил. И вдруг внутри у него будто пузырек воздуха лопнул — все живое, гневное исчезло без следа, осталась лишь знакомая щемящая тоска.

Это была странная тоска. Она вроде бы не имела отношения ни к чему окружающему, питаясь из самой себя, и вместе с тем все вокруг работало на нее. По обе стороны пустынного шоссе тянулись то густые ельники, приютившие в своей тьме лепешки ноздреватого снега, то сквозные березовые рощи, где снег истаял без следа и влажно рыжела прошлогодняя трава. Меж шоссе и лесом разливались плоские лужи, подернутые пыльной серой пленкой. Из пленки возникали и тут же лопались пузырьки — это лягушки продышивали воду. Тоска Козырева вбирала в себя, становясь нестерпимой, и ели, и березы, и ноздреватый снег, и плоские лужи, напоенные лягушиным дыханием. Козыреву казалось, что лишь после инфаркта открылась ему потаенная суть вещей и явлений, скрывающих за мнимой безвредностью заряд же-

стокой, теснящей грудь тоски. Он сделал это открытие, будучи уже ходячим больным. Однажды поздно вечером он подошел к окну, отдернул штору и глянул на мартовский двор своего большого, недавней постройки дома. Там были голые черные деревья, маленький пустой сквер для детских игр, несколько зачехленных брезентом машин, толстая дворничиха, лениво орудующая скребком, за оградой двора высился недостроенный двойник его дома, на крыше сидела большая желтая луна, еще не набравшая сияния; приглушенно доносился шум близкого Ленинградского шоссе, и совсем по-деревенски звучал тихий, настырный собачий лай. И вот из этих привычных, обыденных наблюдений, ничего не значащих, не пробуждающих ни воспоминаний, ни сколь-нибудь важных мыслей, вошла в него мучительная, до слез, до отчаяния, до крика сквозь стиснутые зубы неведомая, невыносимая тоска. С тех пор, что ни день и неизменно врасплох, острым сжатием сердца приходила к нему тоска. Напрасно лечащий врач объяснял ему, что это не эмоция, не явление душевной жизни, а след болезни — «послеинфарктная тоска», — легче не становилось. Грубая и вещественная, как зубная боль, она не таилась в укромье подсознания, посылая оттуда редкие, смутные сигналы. Нет, она давила сердце прямо-таки физической болью, она обращала окружающее в свой знак и в свой источник. Разом обесценивалось все: жена, дом, друзья, профессия, замыслы, книги. В эти минуты он никого не жалел и ничего не желал, не хотелось даже быть здоровым, потому что исчезало самое представление о здоровье, да и о нездоровье тоже; была лишь безысходная тоска, которую не утолить и самоубийством. Ее невозможно было предвидеть, предугадать, предупредить. Уже переехав на дачу, он со страхом ждал, что в апрельском голом и грустном дачном саду тоска непременно возьмет его в оборот. Он бродил среди березок, то и дело натываясь на белесые и сухие, как известь, собачьи экскременты (сами собаки погибли минувшей осенью от чумки), и его душа оставалась странно спокойной. Но однажды, в середине апреля, он увидел в низком небе, будто набитом ватой, голубую долгую промоину и на ней — не пушисто-белый, как обычно, а купоросный след самолета, и тоска сжала его клещами. Почему-то не память о собаках, которых он любил, породила эту тоску, а след неизвестного самолета. Ну а сейчас? Неужели все дело в том, что его обошли рюмкой водки? Чепуха! Это вызвало в нем досаду,

раздражение — чувства, весьма далекие от тоски. Может, виной тому пустынность дороги, навевающая подспудный страх за себя? Черт его разберет!.. Но ему тоскливо, так тоскливо, что впору бросить баранку и волком завывать.

— Эй, товарищ водитель! — окликнул его Муханов. — Никак заснул? Может, хочешь кофейку для бодрости?

Муханов по-своему расценил его отчужденное молчание.

— Не хочу, — сказал Козырев. — Потом.

— Вольному воля, — пробурчал Муханов.

Козыреву хотелось плакать. Шоссе, лес, низкое серое небо заключили его в себя, словно в тесный футляр. Не продохнуть, не выбраться, футляр закрыт наглухо.

— Стойте! — заорал полковник.

Козырев резко затормозил. У края шоссе высился длинный, будто на ходулях, человек в морской форме без погон и в фуражке с крабом. Пренебрегая законами равновесия, он стоял наклонно, как Пизанская башня, только не вбок, а вперед.

— На Речицу мы правильно едем? — спросил полковник.

— Ну зачем вы?.. — досадливо сказал Козырев, — Я же знаю дорогу.

Долговязый моряк повел себя странно: он сломался в пояснице под прямым углом, приблизил к боковому стеклу ошалелое, радостно-несчастное, воспаленное лицо и стал оглядывать сидящих в машине с выражением какой-то смутной надежды. Вдруг он выпрямился, едва не упав навзничь, восстановил привычный наклон и произвел пассы большими костлявыми руками.

— Извините... не здешний...

Козырев тронул машину. В зеркальце он долго видел все истончавшуюся фигуру моряка, нелепую и бессмысленную среди берез и елок российской глубинки.

Моряка миновали, а тоска, отвлеченная на миг внешним впечатлением, вновь взялась за дело. Она не хотела, чтобы Козырев забывал о своем неравенстве со здоровыми людьми, она гнала его назад в болезнь, и он подчинился...

Их было пятеро — сменных сестер... Востренькая, крашенная перекисью козьегрудая Лина с неумелыми и неловкими холодными руками всегда причиняла ему неудобство, боль и даже умудрилась порезать его элек-

трической бритвой. В часы дежурства она или грезила, прикрыв ежине глаза короткими, будто ваксой намазанными ресницами, или возилась с наручными часами: озабоченно выслушивала их, подводила, передвигала стрелки, укоризненно разглядывала, недовольная их медленным ходом. Однажды, не выдержав, Козырев принес ей извинения за то, что сразу не сдох и сейчас обременяет ее собой. «Да нет, живите», — рассеянно усмехнулась Лина. Козырева как громом поразило, что Лине и в самом деле безразлично: будет он жить или нет...

Темноволосая Нора все время училась. Едва войдя в дом, она надевала мягкие кожаные туфли и садилась за учебники. Если она дежурила ночью, то все равно училась, закутав настольную лампу в свой темный свитер, чтобы Козыреву не мешал свет. Она хотела поступить в медицинский институт, но уже дважды не прошла по конкурсу. У Норы был маленький сын, с мужем она рассталась, не прожив и года. О причине развода никогда не говорила, только ровно и твердо краснела смуглым чистым лицом.

Однажды, проснувшись среди ночи, Козырев обнаружил необычную Нору. Он привык видеть ее в кресле с поджатыми ногами в кожаных туфлях, тонкие пальцы сжимают маленькую голову, склонившуюся над учебником, волосы убраны под тугую крахмальную косынку, оттого и казалась странно маленькой ее красивая голова. А сейчас Нора стояла в прихожей против настенного зеркала, видимая Козыреву в приотворенную дверь, с распущенными до плеч густыми волосами, темно-каштановыми, почти черными, лишь отсвечивающими рыжеватой коричневой, и медленно, слабо расчесывала их гребнем, глядя на себя с выражением усталости и печали. Какое было б счастье, думал Козырев, защитить эту молодую женщину, помочь ей стать собой, чтоб, не омраченная тревогой, принадлежащая лишь своей нежной тайне, она беспечально расчесывала перед зеркалом прекрасные волосы, и теплая волна накатывала на рассеченное инфарктом сердце...

Крепкая золотоволосая Вера кончала стоматологический институт по отделению лицевой хирургии и была известной парашютисткой: ей принадлежал один из мировых рекордов. Иллюстрированные журналы печатали на обложке ее портреты, посвящали ей очерки, и Вера носила эти чуть истрепавшиеся журналы в дерматиновой папке на «молнии». Вера не была ни тщеславной, ни хва-

стливой, но она привыкла, что люди интересуются ею, постоянно пристают с дурацкими вопросами: «А страшно прыгать?» — и тому подобной чепухой, и как бы откупалась журналами от необходимости бубнить надоевшие банальности.

Вера многое любила: спорт, балет, музыку, живопись, ходила на выставки и концерты, на каток и в плавательный бассейн. Когда распростертый в ватном бесслии Козырев пытался представить себе ее день, у него начиналось головокружение и вроде бы легкая тошнота, как на качелях или в «чертовом колесе».

Чтобы вообразить Верину жизнь, ему нужно было перенестись почти на четверть века назад, когда он сам был студентом, художавым, подвижным, сплошь мускулы и сухожилия. Вера уводила его к далеким счастливым дням. Он вспоминал сладкую опустошенность, владевшую им, когда он возвращался домой после соревнований; тонкую, странную печаль, испытываемую независимо от проигрыша или выигрыша, печаль от смутного ощущения малости только что испытанных бурных страстей перед тихой и жгучей тайной мироздания, — вот почему он не стал классным спортсменом вопреки всем надеждам тренеров. До боли сладко вспоминались запах спортивного зала — смесь пота, карболки, кожи, пыли тяжелых матов; блаженная крепость красноватого от песка теннисного корта под легкими резиновыми туфлями; сумасшедший весенний березовый воздух стадиона на первой после зимы разминке. И ему казалось, что тогда возле него была Вера с ее сильным, ровным дыханием, бесстрашно распахнутыми в мир глазами и теплым золотом волос и горделиво посаженной головой. Сколько ясности, естественного сродства с глубиной жизни!..

Маленькая Маша была воплощением заботливости и порядка. Когда она дежурила, пустой день Козырева насыщался множеством мелочей: именно в ее часы требовалось перестелить постель — необыкновенно ловко, не нарушая его неподвижности; сменить на нем рубашку, обрезать ногти и подправить виски, навести порядок на ночном столике, загроможденном бутылками с фруктовым соком и боржомом, лекарствами, книгами и журналами. Маша была ладненькая, стройная, на крепких ножках с красивыми округлыми икрами. А в лице ее было что-то от уличного мальчишки: задиристое, дерзкое, причиной тому — до неприличия вздернутый нос с рыжим вес-

нушчатым седлом и неровные белые зубы, открывающиеся при малейшем вздроге губ. Это на редкость противоречило ее кроткой, домашней, ручной сути, за которой угадывалась — да так оно и было — большая, дружная семья с братьями, сестрами, тетками, дядьями, крестными, зятьями, заботы о бесчисленных родинах-именинах, истовые воскресные сборища, чинно-радостные визиты к родственникам, раскиданным по разным концам Москвы. Суть большого человеческого гнезда всегда волновала Козырева привкусом старинного уклада, обычаев, передаваемых из поколения в поколение, тем ощущением рода, которого он был лишен, потеряв родителей еще в детстве.

Как ни странно, Маша увлекалась туризмом и проводила отпуск в походах по Крыму, Кавказу, Закарпатыю. Правда, в ее рассказах об этих странствиях трудные переходы, ночевки у костра, дорожные напасти — все, чем волнует, влечет людей туризм — лишалось романтической дымки, обрастало домашними заботами. Козырева умиляла цельность и сила натуры, умеющей настраивать любую действительность на свою волну. Глядя на маленькую, хорошо и крепко сложенную фигурку, слушая простенькие и тоже ладные, добрые и нетревожные истории, он чувствовал защищенность, почти равную счастью...

Старшая — и по званию и по возрасту — медсестра звалась Кирой, ей было за тридцать. С неслезными, округлыми, плавными, необыкновенно точными движениями, она одна решалась мыть Козыреву голову, пристраивая таз с водой на подушках и не брызнув на них ни капли.

Козырев довольно долго видел в Кире лишь очень опытную, знающую медсестру, спокойного, уверенного в себе человека. Это представление не поколебалось и когда он узнал печальную историю старшей сестры: несколько лет назад ее муж, летчик, погиб в авиационной катастрофе, оставив ее с близнецами на руках. По тому, как она говорила об этом, чувствовалось, что ни боль, ни тоска о погибшем, ни тяготы жизни не одолели ее. Она рассказывала Козыреву о новых фильмах, ему нравилась ее серьезная, доверчивая и лишь на самом донце — насмешливая манера рассказа. Она была умным человеком и снисходительно принимала вынужденную глупость тех, кто эти фильмы делает. Козырев и сам не мог взять в толк, отчего он заподозрил в старшей сестре тайну и как сумел этой тайны коснуться. Но так случилось, и открылся удивительный женский характер: глубокий, за-

таенно-страстный. Иным стал для него и внешний облик: что-то древнее, татарское проступило в округлом орехово-смуглом лице, обрамленном сухими черными волосами, в узковатой припухлости темных, ночных глаз. На руках старшей сестры долго и мучительно умирал великий поэт. В беззащитной неопрятности страшного своего умирания он был так высок, бесстрашен, так не обременен заботой о тех малостях, которые оплакивает покидающий землю, так полон последним сладкозвучием, что сестра отошла от смертного его ложа с другим сердцем, в котором зазвучали его странные, для многих темные, а для нее вдруг ставшие ясными, как небо, песни, ведь столько раз они рождались при ней из кленового листа, прижавшегося к оконному стеклу, из памяти о женском лице или о синице, залетевшей в комнату. Человек стал для нее волшебен. Она уже не могла оставаться профессионально-равнодушно-заботливой к порученным ее уходу. Отныне она тихо и жадно выискивала на каждом хоть отблеск того света, которым исходило влажное от смертного пота Чело Поэта. И незримо от окружающих наслаждалась этим своим колдовским «стеклышком». Она не транжирила себя в словах: поневоле станешь проповедницей, а покойный поэт говорил, озаряясь огромной улыбкой доброго людоеда, что в человечестве невыносимы лишь пророки и проповедники. Если же подопечный не просто источал слабый свет души, если в нем томилось что-то странное, милое, задумчивое, горестное, она готова была жертвенно служить этому человеку. Похоже, так у нее случилось и с Козыревым, хотя слова лишнего не было произнесено между ними. Расставаясь с выздоравливающим Козыревым, она сказала, пожимая ему руку своими теплыми, источающими нежность руками: «Постарайтесь всех нас скорее забыть, не думайте о нас, никогда не вспоминайте. Мы принадлежим болезни, а вы теперь здоровый человек». Но вопреки ее наставлениям Козырев не мог и не хотел забыть о сестрах. Даже равнодушная Лина воспринималась им как носительница тишины и покоя. Когда его охватывала тоска, он только о сестрах мог думать без муки, но не о жене, не о работе, не о том, как жить дальше. Его болезнь не была посланцем смерти, скорее из нее родился новый — пусть в чем-то ущербный, непрочный, но все же новый Козырев. Сестры находились у купели этого нового существа, охраняли его, словно некую ценность, и Козырев доверял до конца только им. Быть может, потому сестры — белые ангелы — могли прогонять его тоску.

Так оно случилось и сейчас, в машине, на пустынной дороге, под серым небом, когда, казалось, неоткуда ждать помощи...

Ему захотелось сказать что-нибудь хорошее, задорное своим спутникам, у него было такое чувство, будто он обидел их своим долгим, угрюмым молчанием, но ничего не шло на ум, и тогда он сказал:

— Вон сколько старух в церковь ползет!..

По обе стороны шоссе, оскальзываясь на жирной, красноватой глине, тянулись к церкви, видимой за частоколом ельника голубой колокольной, синей с золотыми звездами луковкой да блеском свежевыволоченного креста, принаряженные сельские жители с куличами и пасхой в марлевых узелках.

— Почему «старухи»? — возразил отставной полковник. — Тут и молодых хватает.

— И дедов, — добавил Муханов, — и ребятишек... Кренок же сидит это в людях!

— Еще бы! — подхватил полковник. — После рождества — самый красивый праздник. Кулич, сладкая творожная пасха, крашеные яйца, обряды всякие, игры, старинные обычаи, одно христосование чего стоит!

— Видели! — хохотнул Муханов. — Рассластился старик!..

Дорога забрала в сторону. У верстового столба, держась за него рукой, выворачивал нутро парень в коверковом костюме, ярко начищенных хромовых сапогах и голубой фетровой шляпе.

— Не добрел, сердяга, до храма, — заметил Муханов.

— А может, это его с божественного слова так развезло? — глумливо предположил полковник.

«Почему мне так томительны их шутки? — недоумевал притихший Козырев. — Ведь они и раньше скверно острили, но меня это нисколько не коробило, скорее радовало как примета охотничьей воли, раскрепощения от привычных забот. Я и сам умел им подыгрывать. О, блаженная безмятежность пустого мужского трепа, вернись ко мне, вернись!..» Он боялся, что то, давнишнее, опять нахлынет, и хотел сбить себя на что-то легкое, дурашливое. Не за что было уцепиться. Дорога опять пошла лесной расщелиной. По обе руки ровными рядами стояли на черной пустой земле усохшие понизу ели, зеленая жизнь сохранялась лишь в верхнем ярусе, у островершка. Серые низкие тучи с белесым, по-гусиному обвисшим брюхом

готовы были вот-вот просыпаться влажным весенним снегом.

Вдруг он что было силы нажал на тормоз: поперек дороги лежал труп животного, как вначале показалось, безрогой козы. На вздувшемся животе, просвечивающем розовым сквозь тонкую белую шерсть, сидел ворон и долбил носом в межреберье, добираясь до внутренностей, другой ворон выклевывал через глазницу мозг из деликатной, узкой головы.

— Вот те на, да это борзая! — удивился полковник. — Откуда тут борзой взяться?

— Борзая? — с сомнением произнес Муханов. — А пятна где?

— Это белая борзая, их в Прибалтике разводят.

Козырев объехал мертвое животное, вороны лишь покосились на машину железным зрачком.

— Неужто тут с борзой охотятся? — подивился Муханов.

— А красивая охота с борзыми! — сказал полковник.

— Ты разве охотился?

— Откуда? Но читать читал и в кино видел. Самая прекрасная охота на лису и зайца. Знаешь, борзые мчатся с такой быстротой, что иной раз не успевают обогнуть препятствие и расшибаются насмерть... Слушай, вот если бы ты знал, что помрешь, ну, не завтра, конечно, а так через год, чтобы ты сделал?..

— Бросил бы службу к чертовой матери и весь бы год охотился, — от души сказал Муханов.

— А вы, Алексей Петрович?

Как мило и деликатно спрашивать об этом его! Конечно, инфаркт не был обширным, и Козырев не собирался помирать ни завтра, ни в ближайшие годы, но все-таки это было уж слишком... На кой черт они связались с этим «бурбоном»?

— Я жил бы точно так же, как всегда, ни в чем не изменяя своим привычкам, — четко, сухо и неискренне ответил Козырев.

— Счастливы вы оба! — вздохнул полковник. — А я бы белугой ревел, я бы так психанул, что, пожалуй, раньше срока отдал бы концы.

— Ты же военный человек, сколько раз возле смерти ходил! — укорил его Муханов.

— Сравнил тоже! Я тогда вовсе о смерти не думал, а воевал. Что тут общего?

— Может, сменим пластинку? — предложил Козырев. Он и сам не знал, зачем сказал эту притворно-горькую и укоризненную фразу, напомнившую собеседникам о его неравенстве, которое он сам же с гневом отвергал. Болтовня Муханова с полковником нисколько его не задевала и не тревожила. Он понял вдруг, почему старые люди не прочь посудачить о смерти, что не за горами, об ушедших и о тех, кому впору отправляться в дальний путь. Это своего рода заклятие, к тому же по закону противодействия — а этот закон исповедует каждая человеческая душа — крепнет надежда пожить как можно дольше и даже вовсе не подыхать — должен же кто-нибудь первым взять на себя труд бессмертия!

Когда добрались до Речицы, вернее до пристани на ее окраине, катера, как и полагается, не было и в помине. Пристани, впрочем, тоже не было — просто клочок берега с двумя врытыми в землю для зачаливания чугунными буферами возле ветхого деревянного моста. Козырев вспомнил, что катера не было вовремя и в прошлом и в позапрошлом году, хотя в охотничьем обществе клятвенно уверяли, что на имя директора базы дана строгая телеграмма. Значит, вечерняя зорька накрылась, без сожаления отметил Козырев. Как-никак он шесть часов просидел за баранкой — для инфарктника более чем достаточно. А сейчас предстоит столько же плыть до кордона, находящегося близ границы охотхозяйства. Они сами попросились на этот дальний участок, где не будет никого, кроме них, потому что Козырев опасался большого и шумного охотничьего сборища, неотделимого от выпивки и бессонных, продушенных табачным дымом ночей. Они с Мухановым охотились тут уже третий год подряд и знали местные обычаи и нравы.

Полковник пошел в райвоенкомат, расположенный поблизости, в старой церкви, договориться о стоянке для машины, а Козырев побрел к мосту. Казалось, все праздное по случаю пасхи население городка столпилось на ветхом, опасно поскрипывающем мосту. Одеты нарядно: на мужчинах бостоновые и коверкотовые костюмы, твердые, как из картона, фетровые шляпы, белые рубашки с галстуком; на женщинах крепдешиновые платья, шерстяные жакеты и высокие резиновые ботики. Подвыпившие отцы гордо держали в руках младенцев, чрезмерно откидываясь назад для равновесия. Вся толпа, забив-

шая мост, с интересом следила за отважными действиями нескольких подростков, разбивавших с лодки ледяные заторы. Грязные льдины со следами санных полозьев, с обрывками человеческих троп, в желтых пробоинах лошадиной мочи, в оттаявшем навозе, облепленном бесстрашными воробьями, во всевозможной нечистоте — от сенной трухи до каких-то железок, худых ведер и консервных банок, — толкаясь боками, обкрошивая друг у друга острые углы и производя радующий зевак громкий треск, на скорости подплывали к опорам моста и здесь намертво застревали. Упираясь веслами в грязно-зеленые грани, мальчишки разводили, расталкивали льдины, а наиболее крупные раскалывали, с разгона взгромождаясь на них плоским дном лодки. Стиснутые затором льдины начинали шевелиться, ворочаться и, создав вокруг себя чистое пространство, устремлялись под мост, в его таинственную темь. По другую сторону моста вода широко разливалась, и там льдинам становилось просто.

Козырев думал поначалу, что мальчишки и впрямь делают какое-то полезное дело, но вскоре понял, что это просто игра, удалство, река не нуждается в помощи, чтобы сделать свою работу, освободиться от последнего слабого льда. Бойчее всех орудовал веслом и громче всех кричал, вспыхивая пятнами карминного румянца, стройный подросток, красивый неестественной, минутной красотой переходного возраста. Формирующая его природа достигла сейчас высшего лада и гармонии, он был словно из одного куска вытесан — прямоносый, тугокурчавый юный бог. Потом, конечно, все нарушится — что-то отстанет в развитии, что-то слишком пойдет в рост, гладкую кожу испортят багровые юношеские прыщи, поблекнет изумрудный блеск удлинненных, с поволокой глаз, пожелтеют от курения зубы. Козырев удивился собственной недоброй уверенности в непрочности совершенства этого мальчика. Завидовал он ему, что ли! А ведь и сам был когда-то совсем неплохим мальчиком! Тоже глядел на мир большими чистыми глазами, а на ресницы можно было уложить в ряд пять спичек. Он был широкоплеч, мускулист, со впалым животом, узкими бедрами и сильными ногами. Что со всем этим случилось? Теперь он мог бы укладывать спички в морщины под глазами да и на лбу; лишь хорошо скроенная одежда скрывала изъяны располневшего тела. Все же среди сверстников он не казался уродом: рано поседевшие волосы еще густы, в улыбке

обнажаются все до единого зубы, но внутри слабость, усталость и дырка в сердце.

Козырев пошел назад к пристани. Все вещи были аккуратно сложены на берегу возле штабелька строевого леса, а спутников и след простыл. Поторопились разгрузиться в его отсутствие, чтобы он не таскал тяжелых рюкзаков. Он хотел было обидеться и не смог, охваченный странным равнодушием и к себе самому, и ко всему окружающему.

С небывалой ясностью и простотой он ощутил, как легко не быть, без муки и сожаления расстаться и с этим хмурым небом, и с этой мутной, в грязных льдинах водой, и с ветхим, трещащим под тяжестью бессмысленной, хмельной толпы мостом, и с непрочно красивым мальчиком, с безнадежно одинаковым Валериком, и с тягостным полковником, и с этой изношенной, прохудившейся, как старое ведро, оболочкой, в которой он вынужден обитать, и, поняв все это, незаметно достал из кармана стеклянную трубочку, заткнутую ватой, откупорил и сунул под язык приятно-прохладную лепешку валидола.

Одна за другой к пристани подошли две громадные лодки с мотором «Москва», груженные туго набитыми мешками. И почти сразу возник откуда-то здоровенный зилковский грузовик и на тормозах сполз к воде. Подтянув к паху наваренные на обычные резиновые сапоги красные ботфорты из автомобильной резины, ребята с грузовика устремились к лодкам. На каждой лодка при мешках состояла тетка в жеребковом жакете, цветастом платке и резиновых ботиках, только одна была перестарок, а другая — молодуха, глаза — влажные вишни, во всю щеку малиновый, в лиловость от ветра и холодных брызг крепкий румянец, каждая была наделена на своем судне командирской властью: и шофер, и лодочные мотористы, и грузчики беспрекословно подчинялись их визгливым приказаниям.

Мужчины, крикая, принимали на спину мешок, пружинно приседали и, пошатываясь, несли к грузовику. Один мешок прорвался, из него высыпалось на берег несколько крупных розоватых луковиц, тут же подобранных ребятами. Пожилая тетка обрушилась на грузчика с бранью. Он не пытался оправдываться, даже не огрызнулся, только буграстая шея затекла багровым стыдом, тетка, зная, была в своем праве. Козырев залюбовался этой ладной, спорой, на редкость ритмичной, без

показухи работой. Все чего-то прикрикивали, ухали, ахали, гыкали, только и слышалось: «Ох!.. И-ых!.. Эх!.. Гык!» Никто не щадил себя, каждый наваливал сверх силы.

Молодая тетка что-то крикнула одному из грузчиков. Он тут же подошел и деловито подставил ей спину. Она обняла его за шею и взгромоздилась ему на взгорбок, как панночка на Хому Брута, юбка на ней задралась. На берегу добродушно засмеялись. Оказавшись на твердом, тетка деловито, сильно, хотя и без всякой злобы, ударила грузчика по щеке. Тот принял это без обиды, даже с некоторым удовольствием, что мы его заподозрили в кавалерийской шалости.

Увлеченный всей этой деловой кутерьмой, Козырев проглядел возвращение своих спутников, ставивших машину во двор военкомата. Обнаружив их за спиной, он сказал добрым голосом, кивнув на работающих людей:

— Здорово!

— Еще бы не здорово! — отозвался полковник. — Одна тетка едет прямо в Ленинград, другая — в Калинин, а если не распродается — махнет в Москву. Мы с Валериком подсчитали: выручка у них семьсот рублей на рыло; накладные расходы — лодочнику, шоферу и грузчикам — две сотни. Поездка займет неделю, положите на прожитие: койка в Доме колхозника, харчи рублей пятьдесят, ну и туда-сюда еще полсотни. Остается четыреста рублей на каждую.

— А разве это им пойдет? — наивно спросил Козырев.

— А кому же еще? — воскликнул Муханов. — Лучок-то с приусадебных участков. Помимо выгоды материальной, учти и выгоду, так сказать, душевную: побывают в хороших городах, людей посмотрят, себя покажут. Хотя старшей показывать-то особенно нечего.

Они еще долго наперебой восхищались великим стимулом материальной заинтересованности и тем, что теперь опять прирезали землю к недавно урезанным приусадебным участкам, но Козырев уже не слушал. Борясь с подступающей тоской, он пытался вообразить, какое впечатление произведут на луковую тетку Исаакиевский собор и памятник Петру. Если удачно распродается, впечатление, наверное, будет яркое и надолго хватит рассказов по возвращении.

Повалил крупный снег, каждая снежинка — чуть не с ладонь. В несколько минут снег пологом накрыл причал, лодки, грузовик, штабеля бревен, рюкзаки. Снег

скрал простор, исчезли разлив, затопленные огороды, деревянный мост.

Взревев, укатил грузовик, увозя на большую коммерческую жизнь луковых теток. Зачихали, а потом дружно завывли моторы баркасов, и две протечи в белой пелене рассосались, сгнули. Воздух еще был напоен их воем моторов, когда из снежной мути прогремел мужской голос:

— На Усатиху есть кто?

— Павел Игнатьич! — обрадовался Муханов, первым узнав начальника охотхозяйства.

К самой пристани подошел на шесте ладный катерок с каюткой. Павел Игнатьевич горой ринулся на берег и разом четко обрисовался всей своей огромной фигурой, толстым брезентовым плащом поверх драпового пальто, зимней шапкой с заячьей опушкой, громадными сапогами и под стать им рукавицами. Он сдернул рукавицу и сунул Козыреву горячую руку, поздоровался с Мухановым и отставным полковником, ворчливо бросил: «Поскорей, ребята, засветло не успеем» — и, схватив два рюкзака, вернулся на катер.

Погрузились, отчалили, и тут как раз снегопад прекратился, чистое голубое небо распахнулось над водопольем.

Речица, стоявшая на высоком берегу, заиграла куполами церквей, яркой белизной каких-то новых больших зданий; вода поглубела, засверкала, льдины на ней стали казаться чистыми, белыми, стороной протянула утинная стая, и робкая радость вошла в Козырева.

Они плыли стрежнем реки, затопившей ограды и сady низкого левого берега; взгорок, по которому лепились селения, положил предел дальнейшему разливу. Правый же берег был крут и обрывист, река бессильно вылизывала его глинистое подножие, шевеля и раскачивая отражение Речицы, долго тянувшейся по взлобку. За железнодорожным мостом, висевшим так низко над вспухшей водой, что хотелось пригнуть голову, когда катерок скользнул меж быков, река растекалась морем по равнине. Было непонятно, как удается мотористу придерживаться скрытого в разливе русла. Повсюду из воды торчали кусты, тонкие березки и ольхи, какие-то коряги, соломенные испревшие крыши риг, тесовые, в прозелени — сараюшек; порой затопленные берега обнаруживали себя горбатыми косицами, над которыми кружили чибисы, размахивая своими большими, слабыми крыльями, словно пустыми рукавами, перешатываясь в полете из черно-

го в белое и оглашая воздух печальными всхлипами. Потом пошли островки, голые, в бурой щетине, на каждом островке важно стоял куличок на тонких ножках, казавшийся издали куда больше своей истинной мизерности. Куличков не пугал шум мотора, они спокойно пропускали катерок мимо себя, толчками поворачивая вслед ему головку.

Еще дальше мутная, в грязноватой пене вода закишела ондатрами. Было их тут без числа. Они во всех направлениях рассекали водную гладь, торчком задрав рыльца, сидели на мусорных куполах своих жилищ и что-то ели, держа пищу в передних лапках, порой помещались в ветвях кустарников или на осклизлых сучьях коряг. Как размножились они с прошлого года! Куда ни глянешь, всюду виднеются плотные рыжие тельца и усатые мордочки. Козырева восхищала плодовитость и жизненная сила ондатрового рода, и тут он услышал разговор Муханова с директором охотхозяйства.

— Научный эксперимент, в рот им дышло! — с горечью говорил директор, неумело попыхивая папиросой — он не курил, но не имел сил отказаться от хорошей московской папиросы. — Ничего лучше не выдумали, как подселить ондатру к выхухолю. Мол, обязана у них дружба быть, по Лысенко, что ль, так следует, не знаю... До весны они, правда, кое-как прожили, хотя и тогда мы находили выхухольи черепушки с прокусами, а как началась весна и стал выхухоль на кучках наносного мусора спасаться, так ондатра принялась его гнать. Тому, понятно, уходить неохота да и некуда, у него все норки затоплены, но разве может он осилить ондатру своими слабыми челюстями? Она в два счета прокусывает ему черепок. Верите, подчистую извели выхухоля в наших краях. А ведь какой зверь — из древнейшего и благороднейшего рода десманов! Разве сравнишь его с ондатрой по всем статьям: по меху, по биологической ценности!

— Чего же вы молчите?

— Милый человек, мы не молчим, да нешто нас слушают? Ведь кому-то честь и награда за новаторство выпала: ишь, как ловко усоседили выхухоль с ондатрой. Да, браток, если чуда не случится, скоро всю живность напроць изведут. Вот нынче у нас не будет тетеревиной охоты.

— Да вы что? — испуганно воскликнул Муханов.

— А то... Мы и тока оборудовать не стали.

— Да как же?

— Токовать-то некому. Егеря подсчитали: в редком участке найдется косач, а так все тетерки.

— Куда же косачи подевались?

— Тетерки в крепі кормятся, а самцы на опушках норуют, туда химикалии с полей затекают — перетравились косачи.

— Понятно, — упавшим голосом сказал Муханов.

Впереди, слева на холме, поросшем дубняком, высветилась белая громада разрушенного храма; за его высокой каменной оградой приютились под одной крышей контора охотхозяйства и общежитие на десять коек. Там охотникам предстояло заночевать, чтобы завтра на рассвете продолжить путь к кордону: сегодня им было не поспеть — уже подступал вечер. Между катером и холмом, обрывавшимся прямо к водопою, протянулся длинный плоский остров, не покрытый никакой растительностью, — издали он казался лепешкой грязи, плавающей поверх обелесевшей воды. На краю его торчало нечто — шалаш не шалаш, землянка не землянка, но все же человеческое убежище, курящееся сизым желтым дымком. В сухих желтых камышах вокруг грязевой лепешки виднелись темные уплотнения — то были скрадни из лозин, елового лапника и соломы.

— Мать честная! — восхищенно, почтительно и печально сказал отставной полковник. — Да тут до дьявола уток!

И, словно только ожидая подсказки со стороны, чтобы самому обнаружить грандиозную населенность разлива, Козырев разом увидел и в воздухе и на воде бесчисленные утиные стаи. Мириады черных кочек покачивались на зыби, при малейшем всполохе обретая очертания долгошеих, ширококрылых птиц. Утки козыряли стаями, четверками, парами, редко в одиночку; кряквы, чирки, хохлатая чернеть, гоголи, красноголовые нырки. Тут были пролетные утки, державшие путь далеко на север, и остающиеся здесь на гнездование, на долгое поселение — до самых заморозков. Козырев ощутил тот сладко-влекущий позыв к убийству, который на самом деле был любовью. Охотник любит свои жертвы, любит трепетно, нежно и страстно, и губительный выстрел подобен высвобождущему блаженству. Впервые после выздоровления — да разве он выздоровел? — Козырев ощутил в себе живую силу желанья. Пожалуй, самым страшным в его послеинфарктном существовании были не приступы тоски, а ровное и жестокое неприятие всего, что прежде со-

ставляло смысл жизни. Когда его навещали коллеги по институту, он мучительным усилием принуждал себя делать вид, будто его интересуют проблемы, которыми он занимался. Ему сказали, что последняя работа его группы будет удостоена высшей премии, он испытал лишь вялую досаду. Не то чтобы он не ценил отличий — пока был здоров, каждый знак признания его труда доставлял ему радость, как и всякому нормальному, не страдающему переоценкой собственной личности человеку. Но сейчас казалось непосильным обременять мозг мыслью о награде, получать ее, говорить какие-то благодарственные слова, устраивать приемы, непосильным был этот малый довесок к минимуму его нынешних чисто физиологических забот — легкое, мимо строк, чтение играло роль снотворного, а не духовной пищи. Обременительным было и общение с женой, болезнь стала между ним и ею, как фальшь, которую не развеешь. По счастью, у нее хватило пронизательности и такта оставить его в покое. И, благодарный жене за умение стать почти невидимой, Козырев испытал к ней слабую отчужденную нежность. Он не представлял себе, что будет вновь упоенно работать, с былой неутоленностью любить жену, искать встреч и споров с несколькими старыми, но неистратившимися друзьями, негодовать и восхищаться, а главное, чего-то желать. Он и на охоту поехал из доверчивой памяти о своем прежнем желании щедрой добычи, а не потому, что хотел охотиться. Очевидно, за безысходностью его равнодушия тлеет инстинкт самосохранения, побудивший его к действию, к выходу из равнодушия. В дороге он убедился, что тоска не убила в нем способности к малым обидам, досаде, раздражению. Открытие скорее обрадовало, нежели огорчило, значит, он не страдал душевным параличом. А сейчас на него нахлынули былые живые чувства нетерпения и азарта.

Мотор замолк, они по инерции скользнули к острову. Теперь великое пространство воды и неба было населено лишь тихим, с отзвоном, шелестом утино пролета, дробным хлопаньем крыл снимающихся с воды стай, шлепом приводняющихся уток да журчанием под носом катерка. С мягким шорохом киль вспорол илистое дно. Директор кинул на берег ржавую цепь. Ее подхватил старик в длинной армейской плащ-палатке поверх спекшегося от ветхости тулупа и без всякого усилия втащил катерок на берег. Они сошли по очереди на проминающуюся под ногами глинистую землю. Печален и неприютен был этот

голый островок, окруженный редкой порослью камышей.
— Скоро ты мне гостей пришлешь, Игнатич? — ласково обратился старик к начальнику охоты. — Цельную декаду я тут загораю.

— Видали, — проворчал Павел Игнатьевич, — кабаре ему тут не хватает!

— Об чем ты — не пойму... А по старухе маленько соскучился. Да и побриться надоть. — Старик потрогал свои худые щеки в рыжевато-седой щетине.

— Можешь нынче съездить, — разрешил директор. — А завтра к вечеру я тебе двух майоров из ПВО пришлю... Ну как, допек лису?

— Вроде допек, — отчего-то грустно сказал старик. — Я в ейной квартире оба выхода камнями завалил. Федосов мне с кладбища граниту подбросил.

— Он тут цельный год с лисой воевал, — пояснил директор. — И никак, понимаешь, не мог ее одолеть. Ему вон гончака дали, и тот не справился.

Возле шалаша лежал, поместив крупную булыжную голову на лапы, великолепный русский гончак, с широкой грудью и медленно опадающими в дыхании завалами боков. Гончак грелся у затухающего костерка. Порой из голубого легкого пепла выстреливали искры и летели в шерсть гончаку, он чуть поводил ушами, иногда передергивал шкурой, но не отползал от огня. Егерь рассказывал, как пес гонял лису, но та неизменно уходила от него водой, и он терял след. А наутро они обнаруживали пух и перья растерзанных уток. Летом лиса душила не только хлопунцов, но и взрослых крякв, а весной разоряла гнезда. Гончак чувствовал свою глупость перед лисой и весь извелся — случалось, настоящими слезами плакал. Когда же егерь, убедившись в невозможности взять лису, завалил камнями оба лаза ее норы, гончак в диком волнении вынюхивал проникающий изпод земли сильный запах пленницы, а потом вдруг разом поскукчел и ушел с того места — лиса задохнулась под землей и завоняла падалью. В тоне егеря звучало восхищение перед умной и дерзкой лисой, ловко морочившей матерого гончака, но спасовавшей, как и все в природе, перед человеком. Старик, похоже, тосковал по лисе, вносившей в его жизнь на островке разнообразие, борьбу, азарт. Директор догадывался о чувствах своего егеря и не одобрял их. Козыреву тяжело было представлять, как ловкий, сильный, красивый зверь медленно и страшно задыхался в земляной могиле.

Говорят, у животных нет страха смерти. Но когда легким лисы стало недоставать кислорода, когда отравление вошло в кровь, неужели она испытала лишь физические страдания, неужели звери настолько счастливее человека, что на исходе последней смертной муки не ведают о прекращении земного бытия?

До болезни Козырев никогда не думал о смерти и считал дурным тоном замогильные разглагольствования. И у своего любимого писателя Бунина он не принимал рассказов о смерти, тех, где изображение смерти становилось самоцелью. Если же его принуждали высказаться, он отделялся коротким: «Я принадлежу к тем деревьям, о которых Тютчев сказал: «И страх кончины неизбежной не светит с древа ни листа». Сейчас он думал о смерти часто, хотя и без бунинского ужаса. Но слова Тютчева уже не давали опоры, скорее смущали странной и несообразной неточностью: ведь дереву не дано знания неизбежности конца, как не дано оно в мире никому, кроме человека. А кто знает, что было бы, явись у дерева подобная мысль? Быть может, оттого и трепещет даже в безветрие осина, что ей, проклятой небом, открыта брешь всего сущего на земле, и, опаленная страхом, она тщится скинуть свой зеленый наряд?

— По местам! — скомандовал Павел Игнатьевич.

«Зачем мы приехали сюда?» — думал Козырев, когда забарахливший мотор позволил себя завести и катерок вновь побежал меж лозин, камышей, мусорных островков и льдин к отдаленному сумеречному берегу. Чтобы послушать рассказ о задушенной лисе, полюбоваться егерем, его гончаком и шалашиком? Если б мы хоть забрали его с собой. Но он из другой деревни, и директор, милостиво отпустивший его на побывку к старухе, не захотел делать из-за него крюка. Козыреву открылось, что вне стен института и дома он на удивление часто не понимает смысла людских намерений, поступков и разговоров. Ему как-то не хватает любопытства, корысти и внимания понимать движения людей, с которыми он сталкивается не по главной линии жизни.

Подойти к причалу охотбазы не удалось, ветер нагнал к берегу льдины, спаявшиеся в сплошное грязно-серое поле. После многократных тщетных попыток пробиться развернулись и пристали значительно левее, напротив деревни, носившей название Борушки. К удивлению Козырева, на берегу оказался старик егерь вместе со своим гончаком. Старик, словно на посох, опирался на ржавую

ижевку. Поблизости не видать было лодки, казалось, егерь, подобно святому Йоргену, прибред сюда по глади вод. Долго же мыкались они у ледяного поля, если случайная лодка успела подобрать старика, доставить на берег и скрыться в густеющих сумерках. Егерь стащил трех с бледного голого черепа, истово поклонился, словно они не расставались только что. Старик знал, как обходиться с начальством. Затем он свистнул гончаку и не спеша побрел к деревне, дому, старухе.

А охотники зашагали гуськом по берегу, казавшемуся с воды ровным, как под линейку, а на деле круто забравшему вверх, к монастырскому холму. Они шли сперва по болотистой, похлопывающей топи, затем по мокрой, вязкой пашне, набирая на сапоги пудовые шмотья, перепрыгивали, а где и вброд переходили звенящие ручьи, и огонек охотничьей базы все отдалялся и отдалялся. Небо, еще недавно зеленоватое, потемнело, отметились там и сям нездоровой сыпью звезд. Потом сумрак земли, возникший раньше сумрака неба, слился с ним в единую чернильную непроглядь ночи. Идти становилось все труднее, цепочка путников растянулась. Директор ушел далеко вперед, его фонарь с динамкой облизывал пульсирующим светом подножие холма, полковник держался неподалеку от него, а вот Муханов порядком отстал; последним, порой теряя из виду товарищей, тащился Козырев. Он не разбирал дороги, шел, как вслепую, прислушиваясь к ломоте в груди. Опять похоже было, что не сердце болит, а грудная кость. Но Козырев помнил, что так начиналось самое дурное. Он единственный из всех шел налегке, его рюкзак «случайно» заперли в носовом отсеке катера, где хранились канистры, инструменты, обтирочные концы. Он все же пожелал забрать свой мешок, но директор и вся честная компания сделали вид, что это их страшно задержит. Они понимали, что он не позволит кому-либо тащить свой мешок, и сейчас Козырев был благодарен им за добрую игру. Он брел, как в полусне, не сознавая ничего, кроме беды, поселившейся в груди. В полусне одолел он и последнюю крутизну холма. Огонек охотбазы внезапно исчез, скрытый полуразвалившейся оградой, и Козыреву представилось, что еще долго тащить ему тяжесть щемящей, душащей боли, как вдруг перед ним возникло освещенное крыльцо. Он остановился и стал глубоко, подымая плечи, дышать. Вначале это причиняло лишь добавочную боль, ставшую в какой-то момент нестерпимой, затем боль отпустила, и воздух глу-

боко и легко проник в грудь. Козырев неторопливо поднялся на крыльцо, оскреб подошвы о железную полосу, вделанную в пол, и, толкнув дверь, вошел в чуть угарное и дымное тепло на славу протопленного охотничьего домика.

Сели за ужин, настоящий охотничий, с вареными картошками, горячим крепким чаем в обжигающих пальцы кружках, с байками и хвастовством, с яростным курением и особой неопрятностью, видимо, усугубляющей наслаждение мужской свободой. Козырев покарябал вилкой в банке с мясной тушенкой и вышел на крыльцо. Во время инфаркта он бросил курить и сейчас почувствовал, что папиросный дым в закрытом помещении затрудняет ему дыхание. Открытие огорчило его: Козырев не выносил людей, которым мешают чужие привычки; до болезни он одинаково легко мирился с духотой и сквозняком, с орущим над ухом радио, с не выключенным на ночь светом, с песнями за стеной, с плясками над головой, от которых качалась люстра; он гордился своей приспособляемостью к любым условиям, к любой человеческой игре. Вот и эта маленькая гордость кончилась...

Ночь была глухой, безлунной; небо затянуло темной, грязной кисеей, лишь в нескольких прорехах, как на черном бархате, лежали чистые серебряные звезды. От воды и наползающих на берег льдин тянуло пронизывающим холодом. Если сойти с крыльца, можно увидеть громаду монастыря, источавшую стойкий плесенный дух. Неприятно было в ночи. Но, может, то вовсе не ночь, а болезнь виновата? Нет, и в прошлом году, впервые заночевав здесь, Козырев испытывал тревогу и неуют. Бывает, какое-то место приходится не по душе, хотя оно несколько не хуже других, которым радуешься. Козырев вспомнил о жене, о ее ночном тепле, о мягких длинных волосах, ложившихся ему во сне на лицо. И захотелось к ней, немедленно, как в спасение. Они прожили вместе шестнадцать лет, а до этого почти двадцать лет обитали в одном громадном доме, в изгибе Кривоколенного переулка, не ведая о существовании друг друга. Она была много моложе и пошла в школу осенью того года, когда Козырев впервые переступил порог института. Она расталась со школой, когда он защитил кандидатскую диссертацию. Когда же она окончила так и не пригодившийся ей историко-архивный институт, Козырев стал доктором наук. Но не приблизительное совпадение каких-то жизненных вех умиляло Козырева, а то, что они оба в

разную пору, в одном возрасте делали все свои детские открытия. И ее глаза с испуганным восхищением обратились когда-то к громаде Меншиковой башни и к старинному, в глубине заросшего сиренью двора Лазаревскому институту, и она когда-то прочла по складам темные буквы на мраморной доске, прибитой на высоте второго этажа к желтой облупившейся стене старого дома и оповещавшей, что здесь жил и умер поэт Веневитинов, друг Пушкина, и у нее также дрогнули губы, когда, с трудом вычтя из даты смерти дату рождения, она обнаружила, что Веневитинов оставил мир и друга своего Пушкина в двадцатидвухлетнем возрасте. Она ходила смотреть, как скатывают громадные бочки в глубину винных подвалов, расположенных в двух дворах дома № 9 по Армянскому переулку, и как жаль, что она не застала ни таинственной гробницы боярина Морозова напротив этого дома, ни прекрасной старинной церкви за общей с гробницей железной, позеленевшей от времени оградой, ни Абрикосового сада с его гигантскими дубами, осыпавшими сентябрьской порой землю, как градом, смуглыми крепкими желудями.

Из глухой и знобкой ночи, простершейся над забытой богом глухоманью, вернулась к Козыреву жена, почти исторбленная в нем свирепым эгоизмом болезни.

Когда он вошел в дом, у него были мокрые глаза; по счастью, никто этого не видел. Муханов и отставной полковник спали, перекурив, переспорив, спали тяжело, со стоном и бредом, с задушливым всхрапом. Козырев стянул сапоги и, не раздеваясь, вытянулся на койке, прикрыв ноги байковым одеялом.

Тихим пасмурным утром они двинулись дальше. Накрапывал редкий дождичек, но было теплее, чем накануне. Изредка в серых тонких лучах, слоисто скользящих друг над дружкой, приоткрывалась ясная голубизна, чистое небо было недалеко. Вскоре высокие берега сжали водополье, теперь мимо них проплывали деревни, лепящиеся по буграм и косогорам, дубовые рощи, березняки, ольшаники, черные стога посреди полей.

Уток было много, хотя и поменьше вчерашнего. На кустах попрыгивали желтенькие птички — овсянки не овсянки, — Козырев сколько раз хотел узнать их название и почему-то всегда ленился это сделать. Поленился и сейчас, потому что Муханов, знавший имя всему в природе, мучился изжогой после вчерашних чарочек и пил глоточками разведенную соду из металлического кол-

пачка термоса. Налетали на кусты и металлически отблескивали скворцы-бездомники; вершину полусгнившего телеграфного столба окаменело венчал мохноногий канюк; близ берега мотались бекасы и мелкие кулички. Утки, стаями сидевшие на воде, очень близко подпускали катер, видать, тут крепко прищемили хвост вольным стрелкам, раз птица оставалась непуганой к началу охоты.

На полпути зашли в Еськи, где находился филиал охотбазы, — моторист вдруг испугался, что не хватит горючего. В прошлом году Козырев и Муханов отменно охотились в здешних камышах. На берегу мужики конопатили длинную лодку, сноровисто вбивая паклю в пазы деревянной лопаточкой. На жарком костре медленно и пахуче растворялись в густое черное варево комья смолы. Муханов и отставной полковник вышли на берег размяться. Козырев перебрался на нос. Огромный, важный, развалистый гусак с неожиданной ловкостью подмял гусыню и, ущемив клювом ее шею, потоптал. Затем он распахнул крылья и оглушительным криком оповестил мир о своей победе. Муханов и полковник от плетня полюбовались гусаком.

— Вот так и должен происходить животворящий акт любви, — одобрительно сказал Муханов; изжога прошла, и он впал в благодушие. — Не тишком, не стыдливо-испуганно, как у людей. Пусть всякий раз гремят золотые трубы, извещая о том, что в мире свершилась любовь. Правильно, Алеша?

— Еще бы! — сказал Козырев, удивляясь, что даже в этих чепуховых, ничего не значащих словах скрывалась странная фальшь. «Откуда во мне постоянное ощущение обмана окружающих? Словно я не тот, за кого меня принимают, и все мои слова и движения двусмысленны, ибо служат для поддержания маскировки. Чепуха! Я такой же, как и прежде, просто я долго болел, ослаб и еще не набрал формы, мне приходится обороняться от слишком сильных раздражителей. Это не двуличие, а естественная самозащита... А все-таки в здоровых людях есть что-то вульгарное», — вдруг со злобой подумал он.

Уже за полдень они свернули в тихую, подернутую мутной пенкой заводь. Из воды, почти закрывая проход к берегу, торчало толстое, облипшее глиной ребро громадной льдины, отодравшейся от дна. В глубине бухточки виднелись готовые к угону плоты из хорошего строевого леса и две самодельные лодки с моторами. Дальше, на

берегу, темнели строения: сарай, рига, банька, а за плетнем — крыша жилого дома. Вот и приехали...

На этот раз Козырев не зевал и заблаговременно завладел своим рюкзаком. Он не ждал, что рюкзак окажется таким тяжелым. Каждый шаг давался с мукой. Рюкзак оттягивал плечи, заваливал навзничь. Козырев и не заметил, как отстал от товарищей; когда он добрался до плетня, обносившего приусадебный участок, они уже шаркали подошвами на свежем крыльце, счищая торфяную грязь. Он в одиночестве завершал путь: миновал сарай, ригу, баньку с выбитыми стеклами малых окошек, собачью будку, откуда на него вяло протявкала черная с желтыми подпалинами дворняга, имевшая в предках гончую, приблизился к дому — не избе крестьянской, а типовой постройке, обитой тесом, непроконопаченной и, стало быть, холодной.

Из маленьких темных сеней обитая клочкастым войлоком дверь открылась в полутьму густонаселенного, темно прокопченного жилья с огромной русской печью посредине, густо пахучего: тяжело, до задыхания, несло мокрой одеждой, кислым домашним хлебом, жаренной на постном масле рыбой, помоями, преющей на печи ветошью, махоркой и самоварным жаром. За столом в кухне сидели плотгоны, здоровенные молодые мужики с распаренными липами. Крытый темной засаленной клеенкой стол был завален рыбьими костями и головами, кусками серого ржаного хлеба, все это неопратно мокло в огуречной слизи и растеках вываленных на газетный лист соленых шлептухов. Несколько пустых поллитровок завершали картину. Плотгоны уже отснедали и сейчас в спешке докуривали по последней, подтягивали брючные ремни, застегивали ватники, обминали в руках теплые шапки. Затем старший сказал: «Ну, с богом! Спасибо за хлеб-соль». Они истово поклонились хозяйкам: старой и молодой, а также вновь прибывшим и, аппетитно порывивая и отдуваясь, покинули дом. Последним вышел, исполнив ту же церемонию, их старшой в сопровождении невысокого курчавого молодого человека в комбинаzone, как догадался Козырев, хозяина дома, лесничего.

Козырев, как вошел, поспешил освободиться от рюкзака, но усталость не отпустила, она населяла плечи, спину, весь костяк с обычным эпицентром в грудной кости. Он тяжело сел на лавку возле грязного стола и прикрыл глаза. Казалось, его забытье длилось несколько секунд, но это было не так: когда он очнулся, в избе мно-

гое изменилось. Стол был прибран и вытерт мокрой тряпкой, кости, рыбы головы и хлебные огрызки свалены в чугунок. В чистой половине дома Муханов и отставной полковник с помощью хозяина раскладывали и застилали складные алюминиевые койки. Над самоваром колдовала старая хозяйка, еще красивая своим круглым, мягким, светлым лицом, возле нее крутилась прелестная курчавая, русая со стальным отливом девчонка лет девяти, а из сеней вошла с охапкой березовых полешков молодая хозяйка и обрушила их на пол. Слабым движением кисти она смахнула пот с бледноватого нежного лба, на который падали пепельно-русые волосы.

«Какая красивая семья! — радостно подумал Козырев. — И как мило и странно, что сам лесничий похож не только на дочь, но и на жену и на тещу». Это сходство было не только в красках и чертах, но и в деликатном строении тела. Они все были скромного, даже маленького роста, крупнее других — бабка, но так хорошо сложены, что малый рост не казался недостатком. Они словно принадлежали не к одной семье, а к одному редкому эльфическому племени, вырождающемуся от утонченности.

С печи свесился еще один обитатель сказочного дома: большой роскошный младенец — головастый, кормленный, весь в перетяжках, ямочках, складках, с круглыми, широко и неподвижно открытыми в мир голубыми глазами и розовым влажным зевом.

Муханов заметил младенца.

— Ого! — сказал он. — Какой красавец!

— Гвардеец! — добавил полковник, вызвав благодарную улыбку на миловидном лице бабушки.

«Дебил!» — в холодном и странном прозрении решил Козырев. Он спросил, уверенный, что не совершает бестактности:

— А что с ним?

— Да, милый человек, мы и сами не знаем, — жалостно отозвалась бабка. — Врачу бы показать надо, да везть боимся, ну-ка лодку перевернет. Теперича надо лета дожждаться... Не ходит, не говорит, жевать не умеет, а что за причина — ума не приложим.

— А я рано пошла и слова рано стала говорить — да, баба? — сказала девочка.

— Ну, брысь отсюда! — прикрикнула бабка и, протянув к младенцу красиво оголившимся круглые руки, позвала: — Иди ко мне, маленький, иди к бабушке!

Младенец пополз в ее руки, пуская слюни. Девчонка глядела на него яркими от ревнивой ненависти глазами, потом, вихляясь и выламываясь, как это делают дети, желая разозлить взрослых, ускакала в чистую горницу.

— А ему пора уже ходить? — смущенно спросил Муханов.

— Нешто ты, милый, своих не имел, не знаешь, когда дети ходить начинают? — певуче произнесла бабка. — Ему скоро два.

— Наверное, чего-то в организме недостает, — высказал предположение полковник.

— Откуда же может доставать? — По спокойному красивому лицу ее покатались слезы. — Мы полгода от всей жизни отрезанные. Нам и картошки до новины не хватает, а уж об остальном и говорить не приходится. Скучно, скучно живем...

— А разве нельзя лучше себя обеспечить? — спросил Муханов. — Ну хотя бы пасечку оборудовать? Мед очень полезен.

— Оборудовали! — подхватила молодая хозяйка. — Так медведь повадился ходить, такой настырный! Я выбегу с хворостиной, стегаю его, стегаю, аж рука отваливается, да нешто проймешь? Пока весь улей не обчистит, нипочем не уйдет.

— А пристрелить наглеца? — раздув ноздри, сказал полковник.

— Не положено, — вмешался лесничий. — Медведи у нас под охраной.

— Я прямо-таки не видела таких нахалов, — с милой беспомощностью продолжала молодая хозяйка. — Муж мне, бывало, ружье оставлял. Я подкрадусь к ворюге да и пальну над рваным его ухом сразу с двух стволов, а ему хоть бы что — шкурой передернет, затылок почешет и обратно мед шамать. А пес наш его боялся. Как слышит, так удирать. После медведь этот за огород принялся. Перекопал весь, будто клад искал.

— Ах ты, моя умница! Ах ты, мой красавец! Ах ты, моя ладушка! — завела над младенцем бабка, расхаживая с ним по кухне и слегка подбрасывая.

— Любит внука-то, — кивнул на бабку Муханов.

— Виной томится, — спокойно отозвалась молодая женщина. — Мы его не хотели, а она настояла, надо, мол, сына иметь. Вот и заимели.

— Да ведь поправимо...

— Кто его знает! — Она покорно вздохнула. — Вода спадет, свозим в райцентр к врачу.

— Трудно вам здесь...

— Еще как трудно-то! Вера, дочка, вон второй год школу пропускает.

— А я сразу догоню! — сказала Вера, выламывая плечи и лопатки.

Молодая женщина засмеялась, смех у нее был тихий и легкий, он без усилий, словно дыхание, выходил из груди. Смех и радость находились близко к поверхности ее существа, их не нужно было извлекать со дна душевной ночи. И вот тут впервые шевельнулось в Козыреве смутное ощущение опасности. Оно было слишком мимолетным и безотчетным, чтобы копаться в нем, но безошибочным, как все проявления инстинкта. Он вдруг пожалел, что приехал сюда, ему лучше было бы отправиться на одну из тех комфортабельных охот, где не приходится вступать с окружающими в личные отношения, где действует сухой и точный бюрократический порядок. У него не было лишних сил на чужое неблагополучие, он не хотел знать обстоятельств этой странной, прелестной, словно заколдованной семьи, неспособной защититься от бесчинства медведей и стихий. И он был рад появлению нового человека, прервавшего беседу. На вошедшем был защитный комбинезон, резиновые, туго подвернутые под колени сапоги и егерская фуражка с гербом.

— Егерь Бобков, — представился он и так щедро улыбнулся толстоскулым лицом, что узковатые глаза превратились в щелки. А затем он сказал что-то хозяину на непонятном языке. И тот ответил ему так же бойко и непонятно: обилием сдвоенных гласных их язык напоминал финский. Так оно и оказалось.

— Вы по-каковски лопочете? — спросил Муханов, которому до всего было дело.

— А по-фински, — пояснил лесничий со своей кроткой улыбкой. — Здесь во всех деревнях говорят и по-русски и по-фински.

— С чего это? — радостно удивился Муханов.

«А тебе какое дело?» — едва не вскричал Козырев из страха, что праздное мухановское любопытство непременно приведет к каким-то ненужным открытиям, что чужая, сложная, незадавшаяся жизнь обременит усталое сознание еще какой-то добавочной и бессмысленной мукой. Но ни хозяин, ни егерь Бобков ведать не ведали, почему в калининской глубинке бытует финский язык.

Они знали лишь, что их родители и деды тоже умели говорить по-фински. Отставной полковник высказал смутное предположение, что это связано с переселением народов, Муханов возразил, черпая доводы из колодца самоуверенного невежества, и между ними разгорелся тот страстный и безнадежный спор, когда оба спорящих понятия не имеют о предмете своего разногласия. Козырев успокоился, финский язык не таил в себе скрытых страданий ни для этой семьи, ни для окрестных людей.

Хозяина спор не интересовал, и он занялся своими делами, а вот егерь Бобков с громадным удовольствием внимал ученой полемике, как-то сыто и довольно посмеиваясь. Его смешок не был бескорыстным проявлением легкой и доверчивой души, как у молодой хозяйки, он отражал некую реальность, наделявшую егеря прочным удовлетворением, сродни физиологическому счастью, и Козырев решил, что поедет на охоту только с этим егерем.

Он так и сделал, когда пришло время охоты. Решили, что Муханов и полковник будут охотиться поблизости от кордона — их проводит хозяин, а Козырев с егерем отправятся на другой берег реки, где у Бобкова был приготовлен шалаш.

Пока они переплывали на вертком, неустойчивом челноке реку и Козырев командовал с кормы: «Левей! Правей!.. Прямо!..» — пока брели сперва по влажному лугу, затем по глинистой дороге, мимо заброшенной риги с провалившейся соломенной крышей, мимо спаленного молнией вяза, а впереди по косогору виднелась деревня с высокими шестью скворечен, одиноко черневшими на жесткой красноте заката, егерь не переставал вырабатывать из себя довольноное урчание, отзываясь утробным этим смешком на каждое малое препятствие: колдобину, скользкий бугор, повалившуюся поперек тропы березу, болотную непролазь. Этим смешком он как бы отмахивался от малости путевых невзгод, столь ничтожных перед половодьем захлестнувшего его счастья; им же приветствовал он заброшенную ригу, спаленный вяз, деревеньку с высокими скворечнями — постоянных свидетелей его удачи. Но теперь это свойство егеря уже не радовало, а скорее раздражало Козырева. Он куда хуже справлялся с дорогой, чем ожидал. Накануне, когда они тащились к охотбазе, он не придавал значения своей слабости, относя ее за счет долгого сидения за баранкой. Он так верил в душевный подъем, неизменно владевший им на охоте, что и пред-

ставить себе не мог, будто что-то в его организме не подчинится этому подъему. Но так оно было: знакомая боль с тупым однообразием вклевывалась в грудную кость. Одышка создавала вокруг него некую звуковую завесу, сквозь которую не проникали шумы вечеряющего мира. Неугомонное ликование егеря стало невыносимым.

— Что, дядя, жить можно? — спросил Козырев, останавливаясь и недобро разглядывая рыхловатую фигуру егеря.

— Можно и нужно! — отозвался Бобков и залился тихим смехом, выбившим мелкие слезы из его узких глаз.

— С чего это вдруг? — все более раздражаясь, спросил Козырев.

Егерь пояснил, что «исключительно окрепла материальная база жизни». Им вернули отторгнутую от приусадебного участка землю, уменьшили налоги, выделили для личных коров участок колхозного пастбища, ввели гарантированный трудодень. В ихнем колхозе весь народ вздохнул с облегчением, а при его обстоятельствах — жить да жить, и помирать не надо. Какие же у него особые обстоятельства? — спросил Козырев. Счастливого егеря со вкусом закурил самокрутку и, обдавая собеседника крепким махорочным дымком, радостно заговорил:

— Сам посуди: я ж на государственной службе, пятьдесят в месяц беру, как бог свят, и, хотя сам при паспорте, жене в колхозе подсобляю. На круг выходит рублей семьдесят. И это при своей корове, своей картошке, своем огороде.

— Недурно! — сказал Козырев. — Да и жена зарабатывает.

— Жена минимум трудодень в день имеет. Присовокупи к семейному бюджету пятнадцать рублей в месяц. Но куда еще обо мне речь. Я получаю каждый год лицензию на отстрел лося — клади девяносто рублей, окромя рогов и копыт. Я бью минимум шесть рысей в год, по четырнадцати рублей за штуку. Присовокупи еще семь рублей в месяц. Ты лося рассчитал?

— Как рассчитал?

— Ну, сколько будет — поделить девяносто на двенадцать?

— Семь пятьдесят.

— Значит, выходит, семьдесят плюс семь пятьдесят, плюс семь — восемьдесят четыре рубля пятьдесят копеек.

— И это при своей корове, картошке и огороде!

— Точно!.. Присовокупи женины пятнадцать — выходит без полтинника сотня.

— Ну а полтинник, наверное, наберется: то глухаря завалишь, то тетерева, вальдшнепишку там или рябца подстрелишь, опять же ути, сеточку небось тоже закидываешь?

— Этим не балуем, — сурово и отчужденно сказал егерь. — Мы тут для охраны поставлены.

— Не сердись. Я же в шутку. Хочется этот полтинник набрать для круглого счета.

— Ребята клюкву к поезду носят... — неуверенно произнес егерь, — да ведь это так, мелочишка...

— А лук вы не продаете? — вспомнил Козырев давешних луковых путешественниц.

— Маленько на охотбазу подкидываем, — оживился егерь. — Да, пожалуй, цельная лебедь наберется.

— Накладные расходы вы не учитываете? Охотничьи боеприпасы?

— Малость дрови и пороха мне по штату положено. А потом я под лапы еще получаю.

— Под какие лапы?

— Вороньи, сорочки и ястребиные. Патрон страстишь — два получишь.

— Здорово! — восхитился Козырев и вдруг поймал себя на том, что тоже издает какие-то подхохатывающие звуки: на диво круглой и ладной выглядела жизнь этого человека. — Но неужели у вас столько рысей? — усомнился он вдруг.

— Обязательно!

— Что же, и лесничий их стреляет? — Трудно было представить себе нежного голубоглазого эльфа, стреляющего рысь.

— А как же, стрелит за милую душу! Только ему против моего много хуже. Я по своему положению жаканом пользуюсь, бью зверя спокойно, издали. А у него дробца шестерка или там семерка. Он рысь исключительно вприщелк бьет, когда она сигануть с дерева норовит. Он ей ствол прямо в пасть сует, чтоб шкуру не попортить.

— Так ведь рискованно!

— Не без того, все ж таки рысь, а не киска-мурка. Но что поделать: коли ей шкуру изрешетишь, кому она нужна?

В груди отпустило, и Козырев воспринял исчезновение боли как прилив бодрости.

— Заболтались! — сказал он с притворной строгостью, — Пошли!

— Ды мы, почитай, на месте, — хохотнул егерь. — Скрадень-то за кустами.

Они перепрыгнули через канаву, полную серого шершавого снега, напоминавшего сорную межоконную вату, и Козырев увидел затопленный березовый редняк, а в лозинах на бугорке порядочный скрадень из елового лапника.

Козырев забрался в шалаш и опустился на земляную, устланную лапником скамеечку. Шалаш был сложен на славу: просторно и надежно, с неприметными, но достаточными для ствола окошечками. Пейзаж впереди был довольно запутан: сумятица полузатопленных деревьев, кустов, рош, лесопосадок, тростников, возносящийся над всем этим старый, замшелый еловый бор сбивали с толку — откуда ждать подлета, да и пойдут ли в эту заводь селезни с большой воды? Где затененная кустами и деревьями, где отданная во власть зари, водная гладь была под стать палитре художника: кроваво-красное соседствовало с изумрудным, мягкая палевая бледность — с исчернато-лиловым. До рези рябило в глазах, неспособных разобратся в блистающей, яркой пестряди, и Козырев почувствовал утомление раньше, чем егерь пристроил на воду подсадную.

— В деревню сбегаю, — сказал тот, с шумом выходя из воды. — Скоро вернусь, и мы на тяге постоим.

— Только, чур, не опаздывать!

— За нами такое не водится. — И, рассыпав свой довольный хохоток, егерь зашагал прочь.

Козырев прислушался к его удаляющимся шагам и произвольно, не замечая этого, с каким-то сладким удовольствием складывал: пятьдесят да двадцать, да семь пятьдесят, да еще семь и жениных пятнадцать — девяносто девять пятьдесят. Хе-хе! Жить можно и даже нужно!.. А зачем? — спросил он вдруг себя сознательно, трезво и холодно. Все равно в какой-то миг порвется тоненькая, в самом деле тоненькая ниточка: кровеносный сосудик, и все — со святыми упокой! Хоть бы еще так: «Обратись, господи! Научи, как исчислить дни наши, дабы нам приобрести сердце мудрое...» Нет: «Спи спокойно, дорогой товарищ! Смерть вырвала...» Скорее уж: «Смерть вырвало». Смерть вырвало от тебя, дорогой товарищ, когда ты постучался в ее двери. Нет, смерть так же неразборчива, как и жизнь, примет любого дорогого товарища... Твоя

беда, дорогой товарищ, что ты занимался не тем, чем следовало. Да-да, не тем. Тебе не наукой надо было заниматься, а писать... Признайся, получал ли ты столько радости от всех своих хитроумных расчетов, сколько от одной-единственной книжонки, выпущенной молодежным издательством под рубрикой «Библиотека научной фантастики» на серой оберточной бумаге, да еще под псевдонимом? Козырев вспомнил, как дружно, со вкусом ругали его сотрудники эту книжку, обвиняя автора в научном невежестве и не подозревая, что за прозрачным псевдонимом «Каз. Алексеев» скрывается их шеф. Зато читатели приняли книжку так дружно, что она выдержала четыре издания. И столь многие заинтересовались загадочным Каз. Алексеевым, что издательство просило Козырева раскрыть псевдоним, но он предпочел судьбу советского Травэна. А тебе бы, дорогой товарищ, не о бредовых обитателях Галактики писать, а вот об этом счастливом егере с его хохотком и «бюджетом», о лесничем и его домашних с их красотой, малым ростом и печалью, о Валерике Муханове, и об отставном полковнике, и о себе самом. Но сейчас поздно думать об этом. Машина, в которую ты попал с юности, не выпустит тебя. Ведь ты занимаешься тем, что считается пока самым важным, ответственным среди всех земных дел: проблемами обороноспособности.. Ради этого тебя не пустили в свое время на войну, ради этого тебе платят много денег. Для своих сограждан Алексей Козырев столь же эфемерен, как и Каз. Алексеев. В научном мире твое существование, конечно, вычислено, но реально ты не ведом никому, кроме узкого круга своих сотрудников, что, впрочем, мало тебя волнует. Но тебе не стать писателем и по другой причине — ты не знаешь жизни. Странная способность, которой угодно было наградить тебя богу или черту, раз и навсегда лишила тебя возможности быть «обыкновенным» человеком. Ты не служил в армии, не лечился в районной поликлинике, не знал ни голода, ни даже недоедания, не стоял в очередях и с тридцати лет забыл, что такое трамвай или метро. Видит бог, ты не искал этого, но так получилось, потому что в твоей башке заложено особое устройство, необходимое для оборонной мощи страны. А теперь ты уже не можешь быть писателем, ты не знаешь, почему черный хлеб и сколько стоит билет в автобусе, так-то!.. И если тебе трудно расстаться с Алексеем Козыревым, то еще грустнее расстаться с Каз. Алексеевым.

Козырев усмехнулся и тут же подумал, что охота не оправдывает его надежд. Где самозабвение, тугая дрожь азарта? Он опять роется в своем мусоре, кокетничает со страхом смерти.

Закрякала, забилась подсадная, пустила веером крыло на воду, и в камышах, в их желтом сухотье, неправдоподобно громадный, обрисовался силуэт селезня. Потом Козырев сообразил, что селезень находится за камышами и довольно далеко. Но игрой света и отражения помещен в камыши, учетверенный в размерах интерференцией. Прекрасно и мощно забилось сердце, отсчитывая мгновения лучшей, самозабвенной жизни. Вода и небо, кусты и трава, сильное, красивое от любви тело птицы соединились в одно на мушке вороненого ствола «зауэра», медленно нащупывающего цель. Руки Козырева дрожали. Он шептал слова не то молитвы, не то заговора, не то заклятья. Он знал, что не имеет права на промах. Если он промахнет или вспугнет до выстрела птицу, тогда он приговорен. Это древний закон: если копьё твое не может поразить врага, если стрела летит мимо цели, тебе не место среди мужей, не место среди живых.

Селезень медленно выплывал из камышей; он был похож то ли на черного лебедя, то ли на черный корабль, которому придали форму лебедя. С надбровья на веко скатились капельки пота и, повиснув на реснице, затуманили зрение. Козырев смигнул каплю на щеку. Селезень выплыл на чистое, в тень, отбрасываемую ивой, и сразу уменьшился до своих естественных размеров и отдалился, но заиграл красками: изумрудом, багрецом, кобальтом.

Тонкая сверкающая нить протянулась от зрачка к сиенно-шелковистой полосе на крыле селезня. Козырев не решился целить в голову. Он нажал спуск и радостно принял плечом тупой толчок отдачи, уже зная всем переполнившим его блаженством, что промаха быть не может. Селезень лежал на воде, утопив бархатисто-черную с изумрудным отливом голову, одно крыло его конвульсивно приподнималось и опадало, словно он прощался с весенним миром и с подругой, коварно привлекшей его на выстрел. И странно, будто сама по себе грудь Козырева забилась рыданием. Он засмеялся, как бы отключая себя от этой слабости, но обман не удался, заплакали глаза его, и все лицо, и дыхание, он заплакал весь от счастья, любви и благодарности тому неведомому, что позволило длиться его жизни...

Когда счастливый егерь вернулся к шалашу, он застал странную картину: клиент сидел на пенке, подперев голову руками не то в дреме, не то в размышлении, нутряно урчала подсадная, сообщая, что видит на выстреле чирячью пару, а слабая волна подгоняла к берегу большого матерого селезня в капельках крови на крыле и на белой ленте, опоясывающей шею. Егерь подтянул ботфорты, вошел в воду, забрал селезня, снял подсадную и сунул в плетушку.

— На тягу пойдем? — спросил он негромко, предоставляя клиенту на выбор: откликнуться или грезить дальше.

Клиент поднял голову, у него были мятые красные глаза, но ответ прозвучал неожиданно весело.

— Всенепременно! Ну как, жить можно и даже нужно?

Егерь смущенно хохотнул.

...Козырев не умел стрелять вальдшнепов. Утиный охотник, он привык к другим скоростям полета и не угадывал опережения. Ему несколько раз доводилось стоять на вальдшнепов, но лишь однажды разрядил он ружье по небольшой, компактной птице, предупредившей о своем появлении мерным, отчетливым прокашливанием. Это не помогло Козыреву, хотя он и загодя вскинул ружье. Удивленный низким и, как ему показалось, небыстрым полетом вальдшнепа, всей его кажущейся незащищенностью, опущенным долу длинным носом и упрямым, таранным поставом головы, Козырев замешкался и выстрелил, когда вальдшнеп уже слился с темным фоном ельника. Конечно, он промазал, а вторым выстрелом лишь расписался в своей неловкости.

Здесь вальдшнепы налетали то и дело. Козырев стоял в устье недлинной просеки, уходившей к болоту: слева от него простиралась пашня и луг, посреди которого высилась одинокая рига, из-за темной крыши уже показалась белая, мучнистая луна. В просеке у земли было темно, а небо оставалось светлым, голубым с малой зеленой, по нему быстро скользили, обрываясь и тая, прозрачные облачка. И первый вальдшнеп пролетел под этим еще ясным небом вдоль просеки, чуть выше крон, неправдоподобно доступный выстрелу. Козырев ударил дуплетом ему вдогон и проследил, как вальдшнеп, не отклонившись от прямой, ушел в молочно-зеленоватый туман болота. Другой вальдшнеп протянул в обратном направлении — к лугу, и Козырев снова дважды смазал,

затем были пролеты поперек просеки. Козырев всякий раз успевал выстрелить и промазать. В грязи поблескивали головки стреляных патронов.

Небо из голубого стало стеклянно-млечным, просека как будто сузилась, прозоры между деревьями налились непроглядным сумраком, две черные стены выросли по обеим сторонам расщелины. Белесо, нездорово поблескивали лужи, отражая небо. Болотная смрадная грязь находилась в непрестанном шевелении: то ползали, прыгали и спаривались лягушки. С каждой минутой картавый ор становился все надсадней и невыносимей. В этом шуме стало неслышным хорканье вальдшнепов, продолжавших налетать почти через равные промежутки времени. Козырев палил в божий свет, как в копеечку, но лишь раз почувствовал по внезапному зигзагу птицы, что дробь надела оперение, — вальдшнеп словно нырнул за деревья. Козырев пытался понять, чем этот выстрел отличался от других, выходило — ничем, простая случайность. Любовное неистовство лягушек достигло предела. Луна высоко поднялась над ригой, в ее белесом круге зажегся золотой фонарик. По просеке растекся драгоценный блеск, наделив грязь и лужи сказочным мерцанием. Лягушки тоже приняли его на свою влажную кожу и переливались, как бриллианты. Козырев двинулся вон из просеки, к полю, где недвижно, словно межевой знак, высилась фигура егеря. Он шел, неприятно чувствуя сквозь резину сапог любовную жизнь, творящуюся на каждом вершке земли: возможно, он причинял какой-то вред этой жизни, и ему не терпелось скорее вырваться из брачного круга. Когда он уже вышел на озаренное лунное поле, низко, рукой достать, протянул вальдшнеп. Козырев выстрелил наугад и глазам своим не поверил: вальдшнеп перекувырнулся и упал на землю.

Егерь успел его поднять, прежде чем Козырев подошел. Вальдшнеп был еще жив, на людей с угрюмого древнего лика смотрел полный, как у спаниеля, темный, с крошечной звездочкой в глубине мудрый глаз. И вдруг звездочка померкла, глаз стал мутным и плоским.

— Ну и палите вы! — удивленно, с ноткой осуждения сказал егерь.

— Я ведь по уткам привык, тяга для меня дело новое.

— Да хоть бы новое, нешто можно так мазать!

Чувствовалось, что егерю неприятно и совестно делать замечание клиенту, но его бережливая душа не могла

смириться с бессмысленной тратой патронов, да еще покупных.

— У меня патронов до черта, всех не истратить. Я их вам оставлю.

— Спасибо, конечно, — сказал егерь, но теперь он еще больше жалел о даром потраченном боезапасе. — Вы гоголя, ныряющего в воде, стреляли когда?.. Ну вот, так же надо и вальдшнепов стрелять. Никакой разницы. Нынче, правда, они быстро шли, потому как сухая погода, а в дождь, сырость они вовсе медленно летают, словно вороны.

Они пошли к людям. Когда поднялись на бугор, поло-го спускавшийся к воде, то увидели, что ночь еще не завладела всем простором. На западе, в розоватой грязи, мутно тлел не желающий умирать апрельский день.

Егерь оттолкнулся веслом, они вышли из-под берегово-го пригрева, и от воды резко ударило холодом. Козырев подтянул под самое горло застежку «молнии» на своей меховой куртке, защемив слабую кожу кадыка. Он подумал о теплом жилье, ужине, самоваре, о рюмке водки и товарищеском трепе, но в душе ничто не шевельнулось. Усталость и опустошенность владели им, ему ничего не хотелось: ни тепла, ни пищи, ни общества себе подобных. Он мог бы так и сидеть в узкой, неустойчивой лодчонке, сжавшись в собственном малом тепле и укромье, без мыслей, без любви и боли, медленно плыть невесть куда меж кустов, косых льдин, фантастически огромных деревьев по слабому блеску реки. Но вместо этого на них надвинулась черная теплая тень, пахнувшая болотом, и нос лодки зашуршал по песку. Козырев неловко, чуть не опрокинув егеря, вышел из лодки, подтянул ее к берегу и с неожиданной, удивившей его самого радостью поглядел на освещенные окошечки лесниковой избы. Неужели его нынешнее душевное состояние будет так примитивно зависеть от температуры, давления и влажности воздуха, от незначительной физической усталости и скучной игры кровеносных сосудов?

Подходя к дому, Козырев услышал напевное причитание, как над спящим младенцем, и узнал голос хозяйской бабки.

Баю-баюшки-баю,
Три копейки колдуну,
Колдуну-колдушке,
Вовке-завирушке!

Меж стойкой крыльца и сухим деревом было подвешено на манер гамака самодельное корытце, и в нем лежал тепло укутанный немой младенец.

Баю-баюшки-баю,
Три копейки колдуну...

Видать, бабка услышала шаги и оборвала пение.

— Вечер добрый, — сказал Козырев. — Не простудится?

— Мы здоровенькие! — отвечала бабка, на миг обратив к Козыреву свое и в темноте приметно свежее, округлое лицо. — Нас не проберешь! Мы вот в помещении заснуть не можем, боимся чего-то, задыхаемся, — и, приметив легкое движение младенца, поспешно запела:

Колдуну-колдушке,
Вовке-завирушке!

А уснем, бабушка нас в избочку снесет. Во сне нам не боязно. Мы умненькие детки. Аю-ай, аю-ай!

Позднее, когда отужинали и Козырев прилег на раскладушку, бабка внесла младенца и уложила его в своем закутке на кровать.

Козырев думал о том, что в прежние времена он остался бы за столом и со вкусом подержал бы тот раздрызганый, по приятный, как дым от костра, разговор, что бывает после первой удачной охоты, когда всех можно поздравить с полем. Они шли вровень: по два носа. Только у отставного полковника были два кряковых, у Муханова кряковый и чирок, а Козырев имел и лесную дичь. Но сейчас у него не было сил даже просто сидеть за столом, не то чтобы пить. Но было и еще нечто, о чем он с удивлением и даже сомнением вспоминал потом: некий защитный импульс, повелевший ему закрыться в себе, не лезть в чужие дела, избегать откровенностей хозяев дома. Неужели он тогда еще, с изощренной проницательностью больного человека, угадал главное неблагополучие этой семьи? Неужели в его болезненном состоянии действует некое защитное средство, избавляющее ущербный, непрочный организм от лишних мучительных впечатлений, вторжения чужой острой жизни? С первых же минут было ясно, что существование семьи — не сахар: больной ребенок, холодный, не приспособленный для жилья дом, заброшенность, отсутствие простейших удобств — все это было на поверхности, и не это заставило больного человека уползти в свою раковину,

— Глянь, какие щели! — говорил отставной полковник. — Так и несет. Ты хоть бы мхом законопатил.

— Да что там! — тихо отозвался хозяин. — Нешто поможет? Дом-то незасыпанный. Каждый год обещают его утеплить.

— И все обманывают, — докончила жена.

Она только что возилась с пойлом. Козырев слышал, как она сливала в большой чугунок остатки еды из других чугунков: свои щи, плотогонову уху, охотничий венгерский суп, недопитое детьми молоко, туда же счистила объедки со всех тарелок и все заварила кипятком, а сейчас, заглянув в горницу по какой-то своей надобности, поддержала мужа слабым, будто затуманенным голоском.

Из своего закутка вышла бабка — Козырев слышал ее осторожные, тяжеловатые шаги — и стала к печке, спиной к ее остывающему теплу.

— Зимой по всем пазам изморозь, будто пакля, — заговорила она певуче, словно продолжала укачивать младенца. — Потолок белый, в углах иней мохнатится. Протопить, ну, никакой возможности, вода вымерзает не то что в умывальнике или ведре, даже горячая в самоваре.

Снова заговорила хозяйка: за это время она успела снести пойло корове — Козырев знал это по хлопанию входной двери, по шумному коровьему дыханию, вдруг раздававшемуся почти над ухом, перед тем как дверь вторично хлопнула.

— Мы зимой на ночь не раздеваемся, а, наоборот, одеваемся: все, что есть, на себя напяливаем, головы теплым платком повязываем. Вася вот тоже! — Она легко усмехнулась. — Спим в валенках и рукавицах.

— Как на Северном полюсе! — непривычно громко сказал хозяин, наверное, стаканчики начали действовать.

И жена, и теща, и дочка враз засмеялись, видимо, нечастые его шутки ценились в семье.

— Почему же вы не пожалуетесь в управление? — спросил Муханов с казенным негодованием.

«Какая тоска!» — вздохнул Козырев, стараясь не слышать, что ответит Муханову хозяин, потому что заранее знал угнетающую безнадежность этих ответов: обращались... писали... обещают... «А почему ты сам, — он обращался мысленно к Муханову, — ютишься по дачам Подмосковья и не можешь добиться квартиры, хотя двадцать три года вкалываешь верой и правдой в своем издательстве? Почему люди, которые сами ничего не могут

добиться, искренне и охотно удивляются бессилию окружающих? Ты-то чего, собственно, заносишься? — это он уже сказал себе. — Ты вообще помалкивай, человек, не стоявший в очередях, литерник голодных лет, пассажир международного вагона!»

Послышался странный звук, похожий на вскрик ночной птицы. Козырев услышал, как метнулась бабка, и ощутил дуновение ситцевой тряпки, отделявшей закуток от горницы.

— Спи! Спи! Аю-аюшки-аю!.. Спи, маленький, спи, красавец! Не бойся, мы на дворе. Вон небушко, вон звездочка мигает. Спи... Баю-баюшки-баю, баю-бай, баю-бай!

— Видать, крепко любит! — произнес Муханов. И Козыреву вспомнилось, что он уже говорил это сегодня.

— Вину свою замаливает, — откликнулась хозяйка. — Мы не хотели второго ребенка, она нас уговорила.

И это все уже было, хозяйку, видимо, не удивляло и не обижало, что приезжий человек успел забыть ее объяснения, и она охотно повторяла их заново.

— Неужели вы думаете, что здешние условия виноваты? — растерянно проговорил Муханов. Тот раз он до этого не додумался.

— Точно! — Хозяин даже пристукнул кулаком по столу. — Здесь нельзя размножаться.

— Ложи назад! Я те говорю, ложи назад! — послышался беспомощный и мелодичный даже в гневе голос хозяйки. В ответ раздалось что-то вроде шипения.

— Да пусть она возьмет! Нам не нужно!.. — враз заговорили Муханов и отставной полковник.

Козырев открыл глаза. Возле печи, вся скрючившись, хозяйская дочка прижимала к груди пустую нарядную жестянку из-под мангового сока. Ее маленькое тело исходило будто электрической дрожью, а из стиснутых, оскаленных зубов вырывалось прерывистое шипение, словно она подражала точильной машине. Хозяйка, взбешенная и смешная, в бессильной ярости трясла кулаками над ее головой. Они походили на двух поссорившихся девочек.

— Перестаньте, в самом деле! — внушительно сказал Муханов.

— Вечно она так, — жалобно, но с обычной отходчивой легкостью заговорила хозяйка. — Как что не по ней — так сразу побелеет вся, задрожит, глаза на лоб, аж страшно!.. Да возьми ты эту банку, дяденьки разрешают.

— И жить тут тоже нельзя! — заключил хозяин, поднялся и, толкнув дверь, вышел.

...Потекли обычные охотничьи дни и ночи. В близости рассвета, когда сон особенно глубок и вязок, хозяин и егеря расталкивали постояльцев. Раз показав Муханову и полковнику, где находятся шалаши и тяга, хозяин больше ими не занимался и шел в обход. Попив остывшего чаю с булкой, охотники отправлялись по шалахам. Часов в десять возвращались на базу, обедали, спали и снова уходили на вечернюю зорьку. Козырев регулярно навещался в просеку, кишашую лягушками, но после его неудачного дебюта вальдшнепы почти перестали тянуть, хотя однажды выдался отменнейший для вальдшнеповой охоты вечер: пасмурный, сырой и очень теплый. Охотились с переменным успехом, но, в общем, шли вровень. Муханову выпала роль догоняющего, у него, по обыкновению, все не ладилось: то подсадную упустил, то воды в сапоги набрал, то патроны перепутал, то чучело дробинкой «подранил», и оно затонуло. Но это была его обычная игра с жизнью. Считалось, что Муханова вечно преследуют неудачи, а он не сдастся, не вешает носа на винту. В известной мере так оно и было, но Муханов, человек живой и сообразительный, сделал из этого позу, которая, несомненно, ему шла.

Полковник охотился серьезно, даже зло. Проклинал подсадных, казавшихся ему то слишком молчаливыми: «не работает», то слишком горластыми: «отпугивает», без конца переставлял шалаш с места на место, гонял егеря за лапником, перезаряжал патроны, колдовал с чучелами. Его сердитая охотничья дотошность нравилась Козыреву. Не только на охоте, но и всюду скучны незаинтересованные, покладистые люди, готовые довольствоваться серединкой наполовинку.

Собой Козырев не был доволен. Он радовался удачному выстрелу, чуть не до слез огорчался промахом, порой был по-настоящему счастлив, когда в натихшую воду окунался закат, но не было в нем прежней самозабвенности. Он все время помнил о себе, о своем сердце, и каждое усилие, не важно, какое, физическое или душевное, соотносил с тем, что происходит за ребрами. Его унижала эта несвобода, эта жалкая зависимость духа от тела. Он очень много спал. Так много, что это пугало хозяев, а девочку заставляло поглядывать на него с дерзкой, чуть ли не издевательской усмешкой. Однажды бабка не выдержала и спросила Муханова: «А чего они все

сплать?» Муханов объяснил, что Козырев перенес тяжелую болезнь и спать ему полезно. Ответ удовлетворил старуху, и Козырев продолжал упорно спать. Он и сам не мог понять, каким образом проникло к нему сквозь завесу сна знание всей хозяйской жизни.

Муханов и отставной полковник любили после трапезы покалякать с хозяйками, чаще с бабкой, молодая хозяйка весь день крутилась, как заведенная. От бабки помощь по дому была невелика: больной младенец висел на ней гирей. Он требовал постоянного внимания, иначе заходился в душераздирающем реве. Больше всего он любил игру в мяч. Игра состояла в том, что его помещали на печь, и он кидал оттуда облезлый, полуспушенный мячик, который не отскакивал от пола, а шмякался плоско, как лягушка. Бабка нагибалась, роняя кровь к лицу, подбирала мячик, протягивала младенцу, и все повторялось снова. Они играли в эту увлекательную игру часами. Младенца трудно было кормить: он не умел толком ни сосать, ни жевать. После очередной кормежки бабка ходила с головы до ног перемазанная кашей или творогом. Но насытившийся младенец ликующе орал: «Бу-бу» — и бабкино лицо молодело в счастливой улыбке. Она любила этого беднягу, возникшего на свет по ее настойчивому домоганию. Лишь когда он засыпал на воле в своем корытце под марлевым пологом, бабка обретала недолгую свободу и могла подсобить дочери по хозяйству. Человек общительный и сметливый, она тяготилась одиночеством, отсутствием соседей, с которыми так сладко поточить язык. Зять был молчаливой породы, к тому же вечно пропадал в лесу, дочь тоже не из говорливых, да и в хлопотах круглый день, внучка шаталась невесть где, а доверенный попечению бабки младенец знал лишь одно: «Бу-бу!» — и бабка старалась утолить разговорный голод с постояльцами. Если не находилось темы для общей беседы, она на манер футбольного диктора комментировала их поступки и движения.

— Проснулся, милоч... — говорила она, умиленно поглядывая на очумевшего после хмельного послеобеденного сна Муханова, — и за сигаркой враз потянулся... зажигалочкой щелкнул и пошел смалить! Заперхал, сердешный... Вона, как грудку заложило, не отхаркается... Газетку старую взял, третьегодншнюю, плотовщики оставили, и знай себе почитывает да дымок пускает... А товарищи еще не проснулись, золотые сны наблюдают... Нет, воин наш головку вскинул, гнойцу в глазках утер

и тоже за сигарку схватился... Теперича один Лексей Петрович поживает. Дело их пожилое, хворое, пушай сплять...

— Петровна, который час? — слышался голос Муханова.

— Третий час! — радостно откликнулась бабка. — Четверть третьего без минуточки на ходиках, а они вроде не врут. Нынче утрось, как зять уходил, еще не вдали. Чай пить пора, я уже самоварчик спроворила..

Окутывая подобным многословием каждую пустячную мелочь, бабка извлекала максимум удовольствия из самых ничтожных тем: какая на дворе погода, вернулся ли зять из леса, будут ли сегодня печь хлебы. Обычно Козырев засыпал под эту воркотню, но, бывало, проснувшись, слышал совсем другие речи, серьезные и печальные, нередко сопровождавшиеся слезами. Сам того не желая, он вскоре знал почти все о несчастье, заставившем эту семью переселиться из деревни на кордон.

Они жили в большом селе Беженском, там у бабки имелся дом под железом и яблоневый сад в три десятка стволов. Бабка работала дояркой в колхозе, зять — там же шофером, а дочь — в сельпо. Жили они очень порядочно, даже, можно сказать, зажиточно. А потом с дочкой случилась беда: ее обвинили в хищении восьми тысяч рублей старыми деньгами. Ей подсунули накладную на десертное вино, которого она не получала со склада. Она доказала это, сдав все пустые бутылки, там не было винной тары, только водочная. Но это не приняли во внимание, поскольку на акте оказалась ее подпись, конечно, поддельная. Ее посадили, и она десять месяцев провела в тюрьме. Соседи по камере помогли ей написать письмо в Москву, на имя главного прокурора. Прислали ревизоров, дочь выпустили, присудив ей полтора года принудработ за халатность. А через четыре года суд пересмотрел ее дело и заставил выплачивать все восемьсот (новых) рублей. Из сельпо ее, конечно, уволили, а тут еще бабку корова в хлеву придавила, пришлось на пенсию выйти. Она уговорилась, что из двенадцатирублевой пенсии у нее ежемесячно будут вычитать десять рублей в счет погашения дочкиного долга.

Когда бабка доходила до этих десяти рублей, она всегда начинала плакать, не от жадности к деньгам, а от унижения и беспомощности. Они и сюда подались не в поисках выгоды, а чтобы скрыться от людских пересудов, соболезнований, косых взглядов, сочувствия, насмешек.

— А почему вы не боролись? — возмущенно говорил Муханов, наливая себе шестой стакан чаю и заправляя его клюквой, перетертой с сахаром, — отставной полковник привез с собой запас разных домашних деликатесов.

— Да, милый, как бороться-то? Если сама Москва ничего поделывать не смогла...

— Москва все сделала, — хмурил густые брови Муханов. — А потом началась местная самодеятельность.

— До Москвы далеко, а тут власть на местах.

— Чудовищно! В наше время и такая гоголевщина!

— Прокурор у нас больно самолюбивый. Терпеть не любит неправым быть. Москва его одернула, он и затаился. А как малость утихло, он пересуд-то и назначь!.. Чтоб все, значит, по его вышло. А то начнут люди в столце путей искать, вся его власть прохудится.

— Это ясно! — соглашался Муханов.

— Вам бы в Москву съездить, — советовал отставной полковник.

— Да как поедешь-то? Дочка, вишь, крутится весь день, я при внуке, сам и подавно отлучиться не может.

— Тогда напишите, как раньше писали.

— Мы не сильно грамотные...

— Да ведь писали же!

— Это мне в тюрьме сочинили, — подала голос молодая хозяйка. — Там такие люди! Все законы наскрозь знают, все статьи помнят. Сперва бабы-заключенные начерно написали и в мужское отделение передали, а там уже по всей форме перебелили, видать, потому и подействовало.

— Хорошие там были люди? — уютным голосом спросил Муханов.

— Да что вы! Сплошь блатарки!

— Это что за блатарки?

— Ну, так они называются: блатарки, блатные. Воровки, спекулянтки, скупщицы краденого, наводчицы и которые на стреме стоят. Еще там авантюристы разные и которые деньги под процент дают, я даже не знала, что такие люди на свете водятся.

— А к вам они хорошо относились?

— Какой там! Они и к себе-то хорошо не относятся. Все у них одна фальшь и показуха.

— Ну а с письмом — они же помогли?

— Это они любят — жаловаться, заявления, клязвы писать. А письмо я им отслужила: и наряды вне очереди, и пайку отдавала, и посылки, какие из дому получа-

ла, и деньги. Только что пятки им на ночь не чесала, а так все делала. Не-ет... — И Козырев угадал, что ее брезгливо передернуло. — Самые распоследние люди — это блатарки, хуже некуда.

— Странно, — недоверчиво сказал Муханов, — считается, что у них есть чувство чести, товарищества.

— Да ничего у них нет! — звонко сказала хозяйка. — Кусошники, сплошная фальшь. И песни и стихи ихние — все фальшь. Любят они о матери родной слезу лить, в каждой песне у них старушка мама поминается, а дал кто из них матери хоть грошик медный? Да не в жизнь! Любой последнюю кофту, драную юбку материнскую за милую душу пропьет. Гады они ползучие, вот они кто!

Странно было слушать все это от тихой, хрупкой, как из фарфора, хозяйки. Крепко же допекла ее тюремная жизнь!

— А вы о ком говорите: о мужчинах или о женщинах? — спросил Муханов, пытаясь спасти хоть что-то из своих романтических представлений о блатном мире.

— И те и другие хороши, женщины даже похлеще будут. Да ну их к богу в рай!

Однажды, вернувшись с утренней охоты, Козырев застал в избе подлеповатого веснушчатого малого с большой кожаной сумкой. Это был почтальон, он принес бабке пенсию. Бабка расписалась в получении двенадцати рублей, но выдал ей почтальон только два мятых рубля. Он попил воды из кадки, пригладил перед зеркальцем жидкие рыжеватые волосы, надел фуражку и отбыл.

— Вот мы и разбогатели, доченька! — сказала бабка и заплакала, по-детски закрыв лицо ладошками.

— Да ладно, мамань... — тихо сказала молодая хозяйка. — Пора бы уж привыкнуть.

— Бу-у! — закричал на печке младенец. — Бу-у! — Он понимал, что бабке плохо, и хотел помочь ей. Во мраке, наполнявшем его большую голову, был просвет любви и жалости к единственному преданному ему существу. И бабка откликнулась на этот призыв. Не переставая всхлипывать и трястись мягкими плечами, она подобрала с пола облезлый мячик и протянула внуку. Тот обнажил пустые, будто из розовой резины, десны и уронил мячик.

Козырев с размаху плюхнулся на койку. «Избегайте резких, порывистых движений», — вспомнилось наставление врача. «Избегайте перегрузок, резких толчков орга-

низму». Душные, хотя наверное, справедливые слова. Видимо, он допустил какую-то перегрузку или просмотрел толчок? Сердце стучало гулко, даже чуть больно, словно, пульсируя, оно ударилось о ребра. Бедные люди, им крепко не повезло, но и ты бедный человек, тебе не повезло еще больше: инфаркт в сорок четыре года, а на оставшийся срок — как елочная игрушка — в вате. Мало ли несчастных на белом свете — всех не пережалеешь. Расплатятся они со своим долгом — история все-таки темноватая, — вернуться к людям, к нормальной жизни, глядишь, и мальчонка выправится, станет, как все. Жалей себя, свое охромевшее сердце. За первым инфарктом рано или поздно, следует второй, а это либо конец, либо еще хуже — жизнь — тление.

— Неужели ничего нельзя сделать? — Гуманное словоблудие Муханова ударило по нервам.

Откуда он взялся? Его же не было дома, когда приходил почтальон. Никто не ответил Муханову. Бабка играла с внуком в мяч, хозяйка гремела ухватом, девчонка крутилась возле нее, напевая и подстергая момент для ссоры.

«Взял бы да занялся этим, правдолюбец! — шипел про себя Козырев. — Что за манера расчесывать болячки? Конечно, Муханов искренне сочувствует хозяевам, но коли нельзя помочь, зачем растравлять себя и других? Хорошо, что охота скоро кончается, обременительно находиться в эпицентре чужого горя. Вот отставной полковник владеет даром пропускать жизнь мимо себя. Он человек вовсе не бесчувственный, но по-настоящему зрелый, умеющий смиряться перед тем, что сильнее его. Это у него от военной службы. А Валерик — баба, слезливая баба, и я больше не поеду с ним на охоту... Всех не спасешь, не защитишь, не вызволишь из беды. Куда честнее не вмешиваться, помалкивать, а уходя, дать побольше денег. Тут вдруг ему стало так стыдно, что он еле слышно застонал. А затем нарочно пошамкал губами, всхрапнул, вздохнул, будто все это происходило с ним во сне.

— Неужели никакой управы на вашего прокурора нет? — Муханов явно не обладал способностями медиума, яростный внутренний монолог Козырева не коснулся его внутреннего слуха.

— Какая может быть управа? — откликнулась хозяйка. — Он тут испокон века работает, всему начальству друг-приятель. Может, кто и видит его дурости, да ведь

не скажет. Старик — ему скоро на пенсию выходить, кто с ним будет связываться?

— Странное рассуждение! — «нестроевым» голосом сказал полковник, опровергнув лестное мнение о нем Козырева. — При какой власти мы живем?

— Власть правильная, люди не те...

— Зачем огулом всех людей обвинять? Ваш прокурор исключение, а не правило. — В Муханове чувствовался записной редактор.

— Верно, милоч, — сказала бабка, — только нам с того не легче. А ты, конечно, можешь этим утешаться.

— Я не к тому, — смутился Муханов, — я просто людей защищаю, люди не подлецы.

— Это хорошо, милоч, что ты людей защищаешь. — В напевном бабкином голосе звучала далекая насмешка. — А мы, вишь, какие плохие, себя-то самих защитить не можем.

— Давайте напишем вместе заявление, — предложил Муханов. — Мы отдадим в Москве кому следует.

— Нет, милоч, глядишь, ваше заявление обратно нашему прокурору и поступит.

— Чепуха! — не очень уверенно возразил Муханов. — Мы потребуем пересмотра дела.

— Да ведь уже пересматривали! — сказала молодая хозяйка. — А что из этого вышло? Ну, пересмотрят его сейчас, а потом через год-другой обратно мне пришлют. Кабы сам прокурор свое решение отменил!

— Давайте напишем прокурору... — начал Муханов.

— Глупости! Он вашу писанину просто сунет под сукно. Тут нужен разговор с глазу на глаз!

Что с ним было? Забытье, сон, перешедший в явь? Нечто сомнамбулическое?.. Козырев обнаружил, что не лежит, а сидит на койке, когда роковые слова уже сорвались с языка. Конечно, он мог снова лечь, укрыться с головой и спать хоть двое суток подряд, но все равно не миновать пробуждения ответственности за сказанное. Едва он начал говорить, в избе свершились какие-то перемещения. Бабка оставила младенца и повернулась к нему лицом, из кухни вышла молодая хозяйка с рогачом в руке, из каких-то дремучих недр дома появился хозяин и пристально, ожидающе устремил на Козырева свой синий взгляд эльфа, даже девчонка перестала кочевряжиться, затихла, и лицо у нее стало взрослым и страдающим. Муханов и отставной полковник, не отставая от хозяев, тоже уставились на него, как на диво морское, и Козырев

приметил лукаво-удовлетворенную усмешку под моржовыми усами Валерика. Сволочь. Валерик нарочно построил! Как удобно ходить в маленьких и бессильных!.. А где сказано, будто я могу что-то сделать? Все мои чины и звания не стоят ломаного гроша, меня никто не знает, я даже не могу назвать ни должности своей, ни места работы. И видит бог, я начисто не умею чего-либо добиваться от людей. У меня просто нет опыта. Я и для себя-то никогда ничего не просил... Конечно, это разные вещи, просить для себя противно, для других просить тоже противно, но все же не так. Добился же я, что в Мшарово провели электричество. Видимо, этот подвиг убедил Муханова в моем всемогуществе. Но там было простое головоустройство, утомившее и самих чиновников из сельэлектро; похоже, они только и ждали, чтобы кто-нибудь их подтолкнул, с такой прытью натянули проволоку на полуогнившие столбы. А здесь совсем другое дело: злая воля, пользующаяся всеми преимуществами положения, места, знанием всех ходов и выходов, здесь не волокита, не бюрократизм, не канцелярщина, а, если говорить прямо, служебное преступление: сознательное, обдуманное, ради престижа, репутации, утоления мелкого страшного уездного самолюбия. Я знаю дело односторонне, но даже при таком однобоком освещении ничего в нем толком не понимаю. Почему ей дали принудработы за халатность, если подпись была подделана? Как смогли снова поднять уже пересмотренное по распоряжению свыше дело?.. Как говорила моя нянька: «Что-то тут то, да не то». Этот прокурор, видать, сильный и дерзкий человек, он в два счета сделает из меня дурака. Какое ребячество думать, что наша жалкая самодеятельность чему-то послужит! Тут нужен опытный юрист, досконально знающий законы и всяческие профессиональные тонкости. А чем располагаю я? Только одним: уверенностью, что эта маленькая женщина ни в чем не виновата. Откуда такая уверенность? Отовсюду она прет, из каждого угла этого хлипкого жилища, льется семейной синевой глаз, слезами бабки, слабым голосом молодой хозяйки, тихой горечью хозяина. Это так мало: верить, что другой не виноват, но это и много. Настолько много, что я обязан ехать в город и говорить с прокурором. Просто из уважения к времени, в которое мы живем, я обязан ехать. Беда в том, что я физически не осилю поездки. Я наверняка простужусь, а болеть для меня, да еще с температурой, крайне опасно. Лишняя нагрузка на сердце. Да и волно-

ваться мне нельзя. При одной мысли о встрече с районным Ляпкиным-Тяпкиным я чувствую тяжесть в груди, а что же будет там? Я просто грохнусь в приступе стенокардии. Хороши Валерик и этот отставной козы барабанщик! Когда не надо, они меня опекали, в дороге рюмку водки жалели, а сейчас посылают черт-те куда, и ни малейшего беспокойства. А почему хозяева глядят на меня собачьими глазами? Видно, Валерик натрепался, что я большой начальник. Или они приняли мою отчужденность, вызванную болезнью, за барственность разжиревшего сановника? Еще не хватало! Во всяком случае, надо сразу поставить все на свои места. Я частное лицо, не имеющее никакого отношения к суду и прокуратуре, никакой власти и влияния, и я могу съездить с хозяйкой просто как рядовой гражданин, заинтересованный в соблюдении правовых норм. Красиво звучит!.. Но ехать не хочется, чертовски не хочется!.. Как хорошо все было до сегодняшнего дня. По утрам меня будил довольный хохот егеря, и так приятно было чувствовать весь день рядом с собой счастливого, радостного человека. Есть что-то необыкновенно здоровое в радости, удаче, смехе. Я даже лучше себя чувствовать стал. Теперь все пойдет на смарку, предстоящее свидание не просто докучно, оно опасно для меня, весь мой организм противится ему как чему-то гибельному.

Они продолжали смотреть на Козырева: бабка, молодая хозяйка, лесничий, девочка, их одинаковые синие глаза были полны ожидания и веры, даже младенец, словно ощущая значительность минуты, притих на печи, в углу рта у него вздулся пузырь под стать мыльному. Валерик и отставной полковник тоже держали Козырева на прицеле.

— Давайте попробуем завтра съездить к вашему прокурору, — неловко, деревянным голосом заговорил Козырев. — Я, сами понимаете, ни за что не ручаюсь. Во всяком случае, мы окончательно уясним его позицию, и это поможет нам в дальнейшем.

Что я лопочу? Какая «позиция»? Что «в дальнейшем»?

— Да, милоч, ты только покажись ему! — весело сказала бабка. — Это он с нами грозен — молодец среди овец, а против молодца сам овца!

Было трогательно такое доверие к нему, но и глуповато.

— Боюсь, вы ошибаетесь. Дело не так просто, как

кажется, — тем же искусственным, деревянным голосом возразил Козырев. Он хотел было уточнить некоторые неясные ему обстоятельства, но раздумал: все равно в споре по существу он не выиграет, опытному человеку ничего не будет стоить сбить его с толку, запутать. Его сила в одном: в твердой уверенности, что хозяйка не виновата. — Не торопитесь радоваться. Я для него ноль без палочки. Считайте это только началом борьбы.

Но они не вняли его мудрому совету, они торопились радоваться. Они истосковались без счастья, синеглазые эльфы, им хотелось чему-то радоваться, пусть призраку удачи, миражу. Они не боялись разочарования, привыкнув к своей беде, но в них таилось столько неизрасходованной веселой, доверчивой доброты, что им не терпелось освободить сердце от доуки, пожить хоть вечер, хоть час в своем естественном легком образе.

И хотя Козырев понимал, что хозяева не станут винить его в неудаче и он все равно останется в их памяти добром нынешнего вечера, ему было страшно и тоскливо, и он, словно заклятье, твердил про себя: настанет время — все будет вспоминаться как далекое прошлое... как далекое, далекое и безразличное прошлое...

Он вымученно улыбался хозяину, ставшему вдруг необыкновенно словоохотливым, смешливым и пристававшему к нему с какими-то байками: натужно кланялся бабке, обносившей гостей разнокалиберными рюмками с поlynной собственного настоя; трепал по волосам ластившуюся к нему девочку и даже кинул мяч младенцу, чтобы и тот не чувствовал себя обойденным на домашнем пиру. Сдержанней всех вела себя виновница торжества, но это объяснялось тем, что ей нужно было готовиться к завтрашнему путешествию: помыть и причесать голову, что-то постирать и погладить.

Вскоре под предлогом, что ему нужно хорошенько выспаться, Козырев завалился на койку, закутался с головой, но заснуть не мог. Он задремал лишь под утро, когда надо было вставать и трогаться в путь.

Им предстояло пройти на веслах около пятнадцати километров. Еще одно, совсем уже лишнее унижение — грести придется женщине, а он, мужчина во цвете лет, будет рулевым. Козырев едва узнал хозяйку: в жеребковом жакете, плотной шерстяной юбке и высоких резиновых ботах, она казалась городской и даже опасной. Она откинула на плечи головной платок, и ветер красиво шевелил ее густые, сухие, легкие волосы. Хозяин тоже при-

оделся и был очень юн и хорош в черной вельветовой курточке и белой рубашке с отложным воротничком. Даже бабка накинула новую, в крупных цветах шаль и удивительно похорошела — вовсе не старая, с яркими скулами женщина. Удручающей доверчивостью и готовностью к чуду веяло от принарядившихся, словно на какой-то таинственный праздник весны, синеглазых эльфов. А чуда не будет, голубки удачи не вылетят из рукава, факир ни к черту не годится!

Провожали всем скопом. Дочка чинно шла между рядными родителями, держа их за руки, она играла благонаправленную, послушную девочку, которая никогда не устраивает истерик. Бабка, сильно откидываясь назад, несла громадный куль с младенцем, сзади в полном охотничьем сборе тащились Муханов, отставной полковник и безработный на сегодня егеря.

— Ты взял валидол? — сипел Муханов, неистово затягиваясь первой утренней папиросой.

— Нитроглицерин предпочтительнее, — заметил полковник.

— Зачем, раз ему валидол помогает.

— Не простудитесь, — посоветовал полковник.

— Какие еще будут указания? — еле сдерживая бешенство, спросил Козырев.

Но добрые друзья, довольные, что спровоцировали его на поездку, великодушно простили ему некоторую нервозность. Они были полны внимания и заботы.

— Не опрокиньтесь! — сказал Муханов. — Вода ледяная.

— Хорошо, что предупредил, мы как раз собирались опрокинуться.

— Не задерживайтесь, — продолжал наставлять Муханов, — а то охота кончится.

«Ничего, — бледнея, подумал Козырев, — придет когда-нибудь и мой час». Он ждал, что прощальная церемония будет под стать торжественности проводов, но ошибся. Хозяйка, подобрав юбку в шаг, ступила в лодку.

— Залазьте, Алексей Петрович, — сказал хозяин.

Он придержал лодку, пока Козырев залезал в нее с той новой неловкостью, что пришла к нему после болезни вместе с полнотой и неуверенностью в своем теле.

Хозяйка села на лавку, обдернула юбку на коленях и крепко, привычно взялась за весла. Хозяин, поднатужившись, спихнул лодку с мели.

— Ладно, — сказала хозяйка.

— Ага... — проговорил муж.

Так они простились, куда серьезнее и грустнее, чем ожидал Козырев.

— Счастливо! — вдруг тонко крикнула бабка.

— Маманька!.. — завизжала девочка.

— Бу!.. Бу!.. Бу!.. — забубнил младенец, но не радостно, а тревожно, жутковато.

— Не упади в воду! — орал Муханов.

— Резерпин у вас есть? — надрывался полковник.

Только егерь молчал, он был человек посторонний, ошеломленный собственной удачей.

Их путь лежал в сторону, противоположную охотбазе. Стиснутая холмами река черно и грозно вспухала, по ней, крутясь, неслись грязные льдины. Хозяйка попросила Козырева внимательно следить за льдинами, столкновение с мчащейся громадиной не сулило добра.

Они проплыли под ивами, простершими над водой свои голые, но уже нежно позеленевшие ветви. Хозяйка гребла без малейшего усилия, словно бы на прогулке. Весла мерно погружались в воду, скрипели уключины, силовой рывок прижимал Козырева поясницей к спинке сиденья, вода скапывала с весел. Хозяйка встряхивала пепельной головой и улыбалась, размыкая мягкие бледные губы. Вскоре берега опустились, река разлилась широченным озером. Водополье знакомо затопило березовые рощи, молодую сосновую лесопилку, ивняк, сельскохозяйственные строения: сараи, риги, балаганы. Льдины стали почти не приметны на огромном просторе воды, и Козырев мог ослабить внимание. И опять козыряли утки, и дружно садились на воду, и, вспугнутые невесть чем, подымались с воды, и уходили под розовые облака, и по горизонту возникали зыбкие верхушки церковных колоколен, а солнце подымалось все выше, становилось не только светом, но и теплом, и вскоре хозяйка скинула свою жеребковую жакетку и осталась в шелковой кофточке, под которой трогательно вырисовывались тесемки лифчика, плотно державшего ее маленькие крепкие груди, и она улыбалась все чаще, радуясь и свободе от обычных хлопот, и надежде, и себе самой, такой чистой, нарядной и миловидной.

Они плыли так долго, что постепенно утратилось ощущение времени и цели путешествия. Козырев, ненадолго сменивший на веслах хозяйку — она ни за что не соглашалась на это, но он сумел настоять, — вновь занял место на корме и бездумно, в какой-то расслабленной неге

озирал окружающий застывший мир. Вода обтекала борта, журчала под носом лодки, но то были приметы какого-то странного движения, вроде бега на месте, не приводившего к смещению в пространстве. Вот уже сколько времени они находились в центре гигантского круга, залитого водой, обведенного сизо-голубой волнистой линией леса, впереди над лесом золотились луковки церкви, а слева по борту простерся длинный, плоский, голый островкуличок, по которому расхаживали бекасы. Можно было закрыть глаза и считать до ста, пятисот, хоть до тысячи, и опять будет то же: волнистая линия леса, горящие золотом луковки, голый остров и тонконогие бекасы на нем. Не было никаких шансов вырваться из заколдованного круга. Так оно и будет всегда: вода в лесном обводе, куполки, голый остров. Да и хозяйка, похоже, испытывала сходные ощущения. Она гребла все небрежнее, рассеянее, и душа ее была далеко отсюда, но вовсе не в прокурорском кабинете — в том Козырев мог бы поклясться — витали ее думы. Она чуть слышно напевала, вернее, не мешала мелодии высвобождаться из груди, взгляд ее, обращенный вдаль, был пуст и недвижим, как у слепой. Ощущение нереальности происходящего заворачивало Козырева, ему приходилось встряхиваться, чтобы напомнить себе о своем существовании. А потом ему вовсе расхотелось вспоминать об этом. Он стал погружаться в блаженное небытие, ускользя от болезни, страхов, своих и чужих бед, от настырного Муханова и укоров совести, обязательств и тревог. И хозяйка ничего от него больше не ждала, не хотела, иным, божественным способом обрела она свою правду и свободу души. Река забвения покачивала их челн, и не было ни вперед, ни назад, ни раньше, ни потом...

Глубоко и больно ткнулся в берег нос лодки, песок заскрипел о днище, и сразу заныло, закололо сердце, они прибыли в Пешкино.

Боль не покидала его, когда они медленно, то и дело останавливаясь, поднимались по крутой проселочной дороге к райцентру и когда долго шли его немощеными, широкими, какими-то случайными улицами. Пешкино не понравилось Козыреву, оно перестало быть селом, но не стало и городом, большие кирпичные дома нелепо торчали среди изб и маленьких, аккуратно оштукатуренных домиков с непременно круглым окошком в мезонине. Они миновали площадь с розовой пожарной каланчой, чахлым сквером, столовой, откуда валил жаркий смрад, и вышли

на главную улицу, неожиданно по-кустодиевски красиво. Она была обставлена старыми купеческими особняками, летом, вероятно, тонущими в зелени исполинских плачущих берез, вязов и кленов. Если б у Козырева не болело сердце, он постарался бы разузнать, чем промышленники в старое время здешние предприимчивые люди, но сейчас, как и всегда с приходом боли, он весь сосредоточился в себе, как человек, несущий полную до краев чашу. Только бы не оступиться, не зазеваться и не выплеснуть содержимое чаши, имя которому жизнь.

Почти во всех особняках помещались районные учреждения, об этом свидетельствовали прибитые возле подъездов мраморные, гранитные, чугунные плиты, деревянные, даже фанерные доски. Хозяйка, шедшая немного впереди, остановилась и как-то косо, застенчиво, вполоборота поглядела на Козырева. Перед ними была районная прокуратура.

— Пойдемте узнаем, там ли он, — сказал Козырев. — И тогда все решим.

Они вошли в темноватое, припахивающее кладовкой помещение, поднялись по каменным исхоженным ступеням на второй этаж и оказались в огромном зале — приемной. В глубине зала вздымалась высокая массивная дубовая дверь с тяжелой медной ручкой, справа от двери стоял неказистый канцелярский столик с черной пластмассовой лампой, мелкозавитая секретарша увлеченно листала «Огонек».

— Прокурор принимает? — спросил Козырев.

— На двери! — не подымая головы, отрубила секретарша.

— Проще сказать: да или нет... — пробормотал Козырев.

К двери был приколот кнопками кусочек пожелтевшего ватмана, и почти незримые — видно, пересохла лента пишущей машинки — буквы свидетельствовали, что как раз сейчас прокурор «принимает население».

На длинной вокзальной скамье сидели старушка в черном платке, мужчина неопределенного возраста с голым, морщинистым лицом лилипута, энергичного вида рыжеволосая женщина с хищным носом и тонким, ярко накрашенным ртом.

— Вы туда? — спросил Козырев, кивнув на прокурорскую дверь.

— А куда же еще! — с вызовом отозвалась рыжеволосая.

Тут, видимо, не принято прямо отвечать на вопросы.

— Кто последний?

— Последних нет, — обидчиво сказал полулилипут.

— Ну крайний, — с отвращением поправился Козырев.

— Крайняя вон та крашенная гражданка.

— Вы бы так шли, — шепнула хозяйка, — без очереди.

— Ничего, тут недолго, — сказал он хозяйке. — А вы сходите покамест в детскую консультацию.

— Может, потом?.. Вдруг вам понадобится?

— Нет, уверяю вас... Мне так будет спокойнее. — Он вымученно улыбнулся.

— Ладно, — сказала она покорно и, сникнув, опустив плечи, пошла к выходу через пустое, страшноватое пространство.

Козырев удивился собственному волнению. Вчера его больше заботила сама поездка и связанные с ней угрозы его здоровью. К тому же его раздражала заведомая тщетность этого бесполезного подвига. «Мое сердце получит крепкий подзатыльник, а толку не будет никакого», — твердил он себе. Сейчас сердце болело, но он не думал о нем. Да, он боялся разочарования хозяйки, ее мужа и матери, но куда больше боялся он собственного разочарования. Он чувствовал, что ему мучительно, нестерпимо будет нести груз новой неправды. Конечно, он не прекратит борьбы, но как же все это трудно, совсем не по нынешним его силам!

Чертыхаясь, из кабинета вышла большая смуглая женщина в мужских ботинках.

— Ироды!.. Чтоб вам повылазило!

— Нехорошо получается, гражданочка, — укорил ее полулилипут. — В общественном месте — такие угрожающие слова.

— А вы чего лезете? — напала на него рыжеволосая. — Может, горе у нее?

Большая женщина поглядела на свою заступницу и вдруг всхлипнула.

— Какая распушенность! — покачал головой полулилипут. — Не умеют люди себя вести. За столько лет не научились!

Казалось, он говорит это в надежде, что у стен есть уши и ему зачтется это трогательное благонаравие.

Старушка в черной шали недолго пробыла у прокурора. Вот она уже вышла из кабинета, быстро засемила

к выходу, но обернулась, осенила себя крестом и забормотала: «Благодетели вы наши... отцы... долгие вам лета!»

— Вам идти, чего же вы не идете? — накинулась рыжеволосая на полулилипута.

Тот побледнел всем морщинистым бесполым личиком, встал, одернул пиджачок, широко шагнул к двери, двумя руками нажал на медную ручку и спросил в образовавшуюся щель сдавленным голосом:

— Разрешите?

Большая женщина вытерла уголком головного платка глаза и отошла к пыльному окну. Она, похоже, еще на что-то рассчитывала.

Вернулся полулилипут. Он бережно притворил дверь, медленно, словно опасаясь, что она выстрелит, отпустил массивную ручку и, сморщив свое и без того наморщенное детское личико, тонко, жалко, невыносимо противно заплакал, заскулил.

— Ха! — торжествующе вскричала рыжеволосая, ее увядшее лицо помолодело, ярко заблестели глаза. — Какая распушенность! Не умеют люди вести себя в общественном месте! За столько лет не научились!

Полулилипут тер кулачком глаза, всхлипывал, подвывал, издевательства рыжеволосой не производили на него никакого впечатления, слишком велика была в нем боль.

— Так тебе и надо! — с ненавистью сказала рыжеволосая и скрылась в кабинете прокурора.

Отсморкавшись в грязный платок, полулилипут, подобно большой женщине, не покинул приемной, а тоже отошел к пыльному окну, только к другому, и стал глядеть в его серую непроглядь, переживая свою неудачу и что-то соображая впрок. Похоже было, что у противоположной стены выстраивается очередь повторников. «Осталось еще два свободных окна — как раз для меня и рыжеволосой», — подумал Козырев. Ему представилось, что сегодняшнее никогда не кончится, что и завтра, и послезавтра, и через неделю, месяц, год, через вечность будет он обивать пороги прокуратуры, томиться в этом пустынном зале в компании большой смуглой женщины, полулилипута и мстительной рыжеволосой, глазеть невидящим взглядом в слепые окна после очередного отказа, придумывая новые невесомые доводы. Он уже не профессор Козырев, «шеф», «главный», и прочая, прочая, а больной, угрюмый жалобщик, усталый «аблакат», уездный правдоискатель.

Из кабинета, как из клетки, вырвалась рыжеволосая и, обеда всех сверкающим то ли восторгом, то ли возмущением взглядом, устремила к выходу со вскинутой пламенеющей головой.

— Можно? — голосом полулилипута спросил Козырев, приоткрыв дверь.

Минут сорок спустя Козырев вышел из кабинета. Большая женщина и полулилипут пристально смотрели на него. И новые люди, сидящие на вокзальной скамье, рассматривали его с недобрим вниманием, и хозяйка — она успела вернуться из детской консультации — тоже глядела как-то странно, словно за ним числилось что-то дурное. Видимо, он слишком долго пробыл у прокурора, надо извиниться, объяснить, что ему стало плохо и он принимал лекарство, даже вынужден был прилечь на обитый дерматином холодный диван. И еще он звонил в Москву. Ему было так плохо и страшно, что он позвонил в Москву, в противном случае ему бы это и в голову не пришло. Ну а потом были какие-то формальности, но они не отняли лишнего времени, потому что он все равно лежал на диване, перекатывая под языком таблетку валидола, и прокурор не мог продолжать прием, пока он там находился. Но объяснять все это было слишком долго и сложно, к тому же следующий за ним по очереди инвалид на тяжелом гулком протезе уже протопал в кабинет прокурора.

Козырев направился к выходу, хозяйка за ним. На лестнице она осторожно потянула его за рукав.

— Ничего не вышло, да? — Она хотела улыбнуться, но улыбка не получилась. — Я так и знала. — Он сразу поверил, что, вопреки вчерашнему оптимизму, она единственная из семьи не верила в успех.

Козырев хотел сказать, что это он виноват, у него нет дара убеждения, он слишком кабинетный человек, не трибун, не борец, не умеет произвести впечатления, да к тому же — сердечник. Голову наполнял какой-то шум, затылок сжимало клещами, но все-таки, как ни плохо он себя чувствовал, ему достало соображения, что хозяйку интересуют не сложные его переживания, а дело. Он достал из кармана сложенный вчетверо листок бумаги и протянул ей. Хозяйка взяла, медленно прочла, шевеля губами.

— Не пойму чего-то... — пробормотала она. — Какой протест?

— Забудьте об этом деле, — сказал Козырев. — Живите, как будто ничего не было.

— Не пойму, — сказала она с тоской. — Он что же, против самого себя протестует?

— Да-да, — поспешно сказал Козырев. — Это такая форма... Вам вернут все деньги.

— Боже мой! — Она уронила руки, губы ее поползли. — Алексей Петрович, миленький, вот счастье какое! Господи!.. Значит, правда свое взяла!

«Нет! — едва не вскричал Козырев. — Правда не взяла свое, а одна неправда одолела другую. Но это не я — болезнь виновата».

...Он неотчетливо представился прокурору, но разве в этом дело? Какое отношение имеет его должность, звание, место работы к виновности или невиновности хозяйки? Но прокурор, словно почувствовал слабость посетителя, упорно домогался, кто он такой. У Козырева были с собой только шоферские права и охотничий билет. Прокурору этого было мало. «А почему я должен вам на слово верить, что вы какой-то там член, и корреспондент, и лауреат, да это каждый придумать может...» — «Ну, пусть я не член-корреспондент и не лауреат, а рядовой советский гражданин, вы все равно должны меня выслушать...» — «Зачем же вы себя за другого выдаете?» — «Да не выдаю я, боже мой! Все так и есть, но при чем тут я? Дайте же сказать по существу!» Прокурор не ответил ни да, ни нет, и Козырев, торопясь, боясь, что его прервут на полуслове, начал рассказывать о хозяйкином деле. Большое серое старое лицо с обвисшими щеками, похожими на собачьи брыли, с бескровным ртом и пронзительными глазами висело перед ним, словно в кошмаре; оно то странно увеличивалось, заполняя собой всю комнату, все мироздание, то возвращалось к естественным размерам, и Козырев чувствовал бессилие слов, жадность своего истончившегося, противно любезного голоса и не мог переломить себя на гнев, возмущение. Кончил он покорной просьбой «разобраться», ребячьим лепетом о «долге каждого человека», извинением, что «отнял драгоценное время». Прокурор молчал, шевеля толстыми серыми пальцами. А потом он опять спросил фамилию, имя, отчество Козырева и записал все это на листе бумаги. И он сказал негромким, глухим голосом, что проверит личность Козырева и на каком основании он вмешивается в дела правосудия, обвиняет честных работников в злоупотреблениях, хуже — в сознательном служеб-

ном преступлении, и вообще, откуда взялся такой доморощенный адвокат и сколько ему платят. Тут прокурор совершил ошибку. Ему ничего не стоило отделаться от Козырева каким-нибудь незначущим обещанием или, того проще, стариковской жалобой на условия работы, на трудность борьбы с хищениями — Козырев дошел до такой степени падения, что принял бы и пресловутое: «Лес рубят, щепки летят».

Но избыток волевых качеств подвел прокурора или же не сработала его обычная проницательность, и он в самом деле принял Козырева за проходимца. Козырев почувствовал духоту, боль в висках и затылке, в левом глазу пробежала вертикальная строчка, все видимые предметы распались на две половинки, он внутренне заметался, как и всегда перед спазмом, и от беспомощности, физического страха, принявшего обличье этого прокурора, от панической жажды защиты вдруг вспомнил о Мишке Сафарове, друге-однокашнике, настолько верном, что и десятилетняя разлука не могла бы поколебать их дружбы. А они не виделись года четыре, с тех пор, как Мишка помешался на преферансе и заменил дружеское общение пулькой. «Вы знаете Сафарова?» — «Товарища Сафарова», — внушительно поправил прокурор и вдруг улыбнулся. Он улыбнулся зубастой, каннибальской улыбкой, потому что теперь окончательно уверился в своей догадке, что сидящий перед ним московский человек, несмотря на почтенную наружность и какой-то льстивый апломб, просто-напросто дешевый арап. Так знакома была эта развязно-небрежная интонация, с какой ныне роняют имена великих людей, чтобы потрясти наивного собеседника своей мнимой короткостью с ними. «Как позвонить в Москву?» — спросил Козырев. Уже наслаждаясь этой игрой, которую он закончит сокрушительным ударом, прокурор назвал ему номер. Козырев увидел свою бледную дрожащую руку, протянувшуюся к телефонной трубке, и ему стало чуть не до слез жалко себя. Он рвался к Мишке, как утопающий к берегу. Когда секретарша переспросила его фамилию, он закричал: «Да Козырев, Козырев, что вы, оглохли?» — и вдруг в бесконечной дали, словно на другом конце света, послышался встревоженный, заботливый, родной Мишкин голос: «Откуда ты?.. Что с тобой?..» — «Мишка...» — сказал он и замолчал. «Ты где? — заревел Мишка. — Я сейчас еду к тебе!» Козырев чувствовал, что спазм неминуем, что он вот-вот сожмет сердце, но уже ничего не боялся. Его

словно подхватила рука Мишки, сильного, надежного, верного Мишки. Он не понял, почему вдруг исчез голос друга и трубка наполнилась тихим звоном пролегли между ними пространства. Большая серая рука тяжело опустилась на рычаг. «Не погубите, — в прекрасной старинной интонации сказал прокурор, и купеческий особняк, в котором располагалась прокуратура, словно летучий корабль времени, незаметно перенесся в эпоху Островского. — Меньше года до пенсии осталось».

И тут Козыреву стало совсем худо. Он выпил воды из графина, сунул под язык таблетку валидола и, не спрашивая разрешения, прилег на диван. Он видел, как входила и выходила секретарша, как прокурор развязывал тесемки папок, выдирая какие-то листы, что-то писал, но он ни о чем не спрашивал и даже не слишком заботился, имеет ли начавшаяся суета какое-либо отношение к его делу. Только раз прокурор обратился к нему: «Вызвать «Скорую помощь»?» Он отрицательно мотнул головой и закрыл глаза. Похоже, прокурор куда-то отлучался, а может, ему только показалось. А потом он встал, получил из рук прокурора какую-то бумагу и, не взглянув на нее, сунул в карман. Он вышел, вновь увидел приемную, очередь, хозяйку, и начался обратный путь...

Они шли к пристани. В руках у хозяйки оказался гибкий прутик, и она с ребячьей лихостью хлестала им по сохлым репьям, мертвым былинкам, торчащим из кювета. И еще она странно встряхивала головой, будто отметая наваждение, вновь и вновь наплывавшее на душу. Козырева удивило, что она ни о чем не спрашивает, не интересуется подробностями. Что это — деликатность, отсутствие любопытства и нежелание ворошить то, что было горем и унижением всех последних лет? Не спрашивает, и слава богу: гордиться ему нечем.

Они спустились к реке. Брошенная на произвол судьбы лодка была в целости и сохранности.

— Ды вы весь мокрый, — сказала хозяйка, вынула из сумочки скомканный носовой платок и утерла ему лицо.

— Это от слабости, — тронутый и смущенный доверчивым ее движением, пояснил Козырев. На его лице остался сладковатый запах ее платка: пудры, дешевых духов и чего-то присущего только хозяйке.

Ему вдруг захотелось говорить о себе, оправдываться, объяснить, что он от природы вовсе не такой: квелый и слабый, — что он был спортсменом, худым, подвижным,

выносливым, что все это болезнь... Он уже открыл рот, но вовремя спохватился и замолчал.

Не зная, как выразить свою благодарность, хозяйка подхватила Козырева под локоть, когда он залезал в лодку. Это было приятно и немного обидно.

— Господь с вами, не такая уж я развалина!

— Да будет вам! Развалина!.. Тоже придумали! — Он поймал нарочитость в ее интонации и удивился: неужели я и впрямь так разрушен?

Хозяйка гребла старательно и чутьчку озорно. От слишком резкого гребка весла выскакивали из воды, брызги обдавали лодку и порой достигали Козырева. Хозяйка смеялась, она хотела вовлечь Козырева в свою радость, игру. Но тот не мог настроиться на веселый, шутливый лад. Тягостная неопределенность владела его телом и духом. После спазма он чувствовал слабость, вялость, сонливость, перед глазами витала тоненькая паутина, в реальность которой он начинал вдруг верить и тщетно пытался поймать рукой. А сердце уже работало нормально, и слабый пот не проступал на лбу. Вроде бы все в порядке, и вместе с тем ощущение физического неблагополучия не покидало его. Он знал, что потерпел поражение у прокурора, но, думая о семье лесничего, понимал, что для них это поражение равно победе. И ему становилось стыдно, и горько, и беспомощно: борец за справедливость из него не вышел, скорее, ловкий деляга.

Неожиданно быстро подступили сумерки. Громкий шорох наполнил простор — будто осыпался гравий. Шорох приблизился и обернулся не крупным, но плотным и крепким дождиком.

— Этого еще не хватало, — проворчал Козырев.

— Вот когда весна дружно примется, — откликнулась хозяйка, — весь снег, всю наледь сгонит.

Дождь намочил ей плечи, волосы, струйками бежал по лицу. Она радовалась дождю и не хотела от него защищаться. Он был теплым, этот дождь, и пах весной. Но Козыреву отнюдь не улыбалось вымокнуть до нитки — он боялся простуды.

На дне лодки образовалась лужа, по ней поплыла ржавая консервная банка. Козырев поймал банку и стал вычерпывать воду.

— Бросьте! — весело сказала хозяйка. — Авось не потонем!

Козырев отшвырнул банку и вытер пальцы о скамейку. Даже это малое усилие вызвало у него одышку. Дождь

не проникал сквозь его прорезиненную куртку с капюшоном, но брюки на коленях намокли, капли, стекая с шеи, проникали за пазуху, и он, казалось бы, хорошо укрытый, медленно, но верно насыщался влагой. А хозяйка знай себе радовалась дождю. Впрочем, она радовалась бы сейчас и буре, и урагану, и любому неистовству чистого и справедливого мира. Она чего-то приговаривала при каждом взмахе весел, словно дразнила непогодь, хвалясь своей удачью.

— Эхма!.. Р-раз — два!.. Оп-ля!

Из серого сумрака надвинулся, словно корабль, остров, мачтами торчали две высокие голые сосны, их кроны терялись в волглой мути, за ними темнело похожее на каюту строение.

— Что там? — спросил Козырев. — Землянка, сторожка?

— Охотничья избушка. Тут как раз граница охотхозяйства.

— Давайте к берегу. Переждем дождь.

— Да разве его переждешь? Он, поди, на всю ночь зарядил.

— Ну так заночуем здесь.

— Домой надо ехать, дома ждут.

— Пусть подождут, — жестко сказал Козырев. — Я больше мокнуть не намерен.

— Да что мы, сахарные — растаем?

— Не знаю, как вы, а я сахарный, даже хуже! — Козырев почувствовал раздражение против этой молодой женщины, чье эгоистическое упорство граничило с неблагодарностью.

— Да будет вам притворяться-то! — развязным, своим голосом, чуть приправленным не то досадой, не то пренебрежением, заговорила она. — Вот притвора-то на мою голову!

— Когда я притворялся? — удивленно спросил Козырев.

— Когда-когда — в старинные года! Будто сами не знаете! Когда от прокурора вышли. Я аж обмерла, ну, думаю, все пропало... А теперь обратно: сахарный!.. Знаем мы таких сахарных!

«Может, она мне кажется? — мелькнуло у Козырева. — Может, у меня начинается бред? О чем она говорит, о каком притворстве? Неужели болезнь сделала меня настолько неестественным, что окружающие принима-

ют мое поведение за хитрую и к тому же бессмысленную игру?»

— Давайте к берегу, — строго сказал Козырев. — Переждем дождь, если придется — заночуем. Ничего страшного, дома поймут, что мы задержались.

Ему показалось, что хозяйка тяжело и порывисто вздохнула, так вздыхают обиженные дети; она ничего больше не сказала и круто забрала к острову. Через несколько минут, втянув лодку на берег и перевернув кверху дном, они вошли в тесное, темное, пахнущее прелой соломой помещение охотничьей избушки.

У Козырева был с собой электрический фонарик с динамкой. Выжимая из него узкий пучок света, Козырев осветил пустоту избушки, давно заброшенной охотниками. Здесь не было ни стола, ни лавки, ни табурета, только на полу валялось несколько охапок гнилой соломы. Но крыша держала дождь, в избушке было сухо, и на том спасибо.

— Бывает хуже, — заметил Козырев, — хотя и редко. Я ложусь спать, чего и вам желаю.

Он скинул куртку, сложил ее сухой стороной вверх и бросил в изголовье, стянул сапоги и с наслаждением плюхнулся на мягкую вонючую солому. Его удивило, что хозяйка со странной поспешностью последовала его совету. Она тоже сняла жакет и принялась стягивать через голову вымокшую шелковую кофточку. Козырев скорее угадывал, чем видел ее движения, все же он почел нужным отвернуться. Он слышал, как хозяйка возилась: подребала и переворачивала солому, уминала ее, потом легла, но не успокоилась, а, похоже, еще что-то сняла с себя — он слышал, как трещали швы, — пристроила снятое на подоконнике.

Затем он услышал ее дыхание совсем близко от себя.

— Вам не холодно? — спросил он неизвестно зачем.

Хозяйка не ответила, опять донеслось ерзанье, короткий металлический треньк, что-то она там уронила, и маленький, крепкий кулак ткнулся ему в бок.

— Ну, чего ж ты...

Вот как она все поняла! Верно, с самого начала подозревала она, что неспроста взялся ей помогать незнакомый заезжий охотник. Десять месяцев тюрьмы не прошли даром. Она привыкла к тому, что ничего не делается за так. В камере она выносила парашу вне очереди, отдавала пайку и передачу блатарям, написавшим для нее заявление, здесь она углядела другой расчет. Может

быть, в какой-то момент она и поверила в бескорыстие больного, усталого человека, но, когда он стал «искать уединения», притворяясь, что хочет укрыться от дождя, она утвердилась в своей первой догадке.

Он сказал подавленно:

— Да что вы... Зачем?

— Ох, притвора!

— Да нет же, я серьезно.

— Побрезговали?

— Господь с вами! Я и в мыслях не имел.

— Вас не поймешь, — сказала она сердито.

Она не верила ему, не понимала, чего он хочет. Городские люди всегда с вывертом, никогда не знаешь, что у них на уме.

Козырев слышал ее растревоженное дыхание, ощущал теплый ток жизни, исходящий от ее плоти. Будь на его месте другой человек — все могло обернуться иначе. Никакого правдолюбия и прочих благоглупостей — простое и важное житейское дело: схватил прокурора за горло, за дряблое, морщинистое, как у кондора, горло, вырвал бумагу, вернул людям мир и покой, а в награду получил красавицу хозяйку. Вот так все просто, мужественно, как он никогда еще не поступал в жизни. И совершить такое великопепное по грубости, определенности и жизненной силе действие предоставляется человеку, только что перенесшему инфаркт! Да ведь он разом вернет себе все душевное здоровье, избавится от проклятой внутренней дрожи и той неполноценности, которая является главным источником его мук. Он не святой доктор Гааз, всеобщий благодетель, герой душеспасительных притч, он нормальный, жильный и кровяной мужик, пусть немного хам — нельзя широко шагать по жизни, вечно боясь наступить кому-то не на ногу даже, а на тень. Его приключение переходит в другой ряд: из хрестоматийного в тот, куда детям до шестнадцати лет нет доступа. В общем, узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном счита!

Козырев улыбнулся, по губы его так пересохли, что улыбка причинила боль. «А ведь я не совсем шучу, — с ужасом подумал он. — Теперь я знаю — инфаркт не только болезнь тела, но и духа. Это нравственное заболевание, вырабатывающее страх и питающееся страхом. Лекарства, режим, осмотрительность — всему этому грош цена. Надо прогнать из себя страх. Отвлеченная проблема: как быть человеком, зная, что ты неминуемо умрешь, должна решаться сейчас в деловом, рабочем порядке. Либо ты

решишь ее, либо сдохнешь раньше смерти, что, похоже, происходит с тобой. И нельзя лечиться другим человеком, лишь самим собой, своим еще не вконец заглохшим нравственным чувством, верой, что ты божий подарок, драгоценность, на миг вынутая из футляра, чтобы снова вернуться туда. Старшая медицинская сестра Кира, я впервые узнал об этом от вас! Так просверкай, просияй положенный тебе срок, ведь и в нем можно стать всем, выполнить себя до конца».

— Поехали! — сказал он. — Дождя вроде не слышать.

Хозяйка толкнула дверь, и мгновенно слились два мрака — хижины и простора, — если бы не свежесть и холод, пахнувшие снаружи, не догадаться было бы, что дверь открыта. Козырев, страдавший куриной слепотой, сразу потерял ориентировку, оступился, чуть не упал. Хозяйка поддержала его, схватив наугад за рукав и больно защемяв какую-то мышцу, толкнула к лодке.

Они плыли в кромешной темноте. Козырев и не пытался править. Он не понимал, почему они не сталкиваются с льдинами, не врезаются в кулички, затопленные сараи, кусты и деревья, не садятся на мель. Хозяйка запела песню. Голос ее, в разговоре тихий и мелодичный, звучал резко, визгливо, что-то жутковатое было в этом визге посреди влажной тьмы. И замолкла она тоже внезапно, не допев песню до конца. Она тосковала. Козырев задремал под мерный скрип уключин — когда же проснулся, в небе, в черно-бархатных промоинах, сверкали чистые, умытые звезды. Хозяйка вырисовывалась отчетливым силуэтом и казалась большой, как гора.

Пристали к берегу в близости рассвета: деревья, кусты уже отделились от сумрака воздуха; похожий на акулий плавник выступ льдины отделился от черноты воды. Залаял пес, а потом, учуяв хозяйку, радостно загремел цепью. И сразу в доме зажегся свет: их ждали. Воспользовавшись тем, что хозяйка занялась лодкой, Козырев быстро прошел в дом.

— Порядок! Порядок! — сказал он полуодетому, встревоженному хозяину и рухнул на койку.

Он слышал, как вышла бабка, слышал тихий разговор на кухне, прозванивающий порой хозяйкиным смехом и бабкиными радостными охами. Но он ждал большего удивления и ликования. Похоже, они твердо верили в успех, верили, что рано или поздно справедливость возторжествует. Им невдомек было, что этого так и не случилось.

Козырев напрасно опасался, что преувеличенная благодарность хозяина поставит его в ложное положение. Считая его лишь орудием той высшей справедливости, в какую он неукоснительно верил, хозяин весьма сдержанно выразил свою благодарность.

Валерик и отставной полковник, невыспавшиеся, злые, тоже не проявили любопытства к путешествию Козырева. Муханов даже сказал с простодушным нахальством, выкашливая дым из легких:

— А еще ехать не хотел. Хорошо — мы заставили.

— Спасибо вам, — сказал Козырев. — Молодцы, ребята, что довели это дело до конца!

— До конца-то вы его довели, — великодушно возразил полковник. — Наша, так сказать, инициатива...

— Я вчера двух вальдшнепов взял, — сообщил Валерик. — На твоё место ходил, чудная тяга была.

— Жаль, что вы вчера не охотились, — подхватил отставной полковник. — Они давно тянули, я по дороге домой одного сшиб.

— Когда тепло и дождичек — вальдшнеп это обожает, — сказал Муханов.

Отставной полковник возразил, что вальдшнеп «обожает» сухую, ясную погоду, они ожесточенно заспорили, сразу забыв о Козыреве.

Когда они уезжали, хозяина не было дома — пошел в обход. Бабка с младенцем проводила их до порога.

— Приезжайте, приезжайте! — твердила она. — Вели дядям приехать! — сказала она внуку.

И тот повелел:

— Бу-бу!

— Мы-то приедем, — весело оказал Муханов. — Да вас, поди, уже здесь не будет.

— Верно, милоч! — радостно согласилась бабка. — Обратнo в колхоз вернемся. У нас там и дом, и садик, и огород, и общество. Да ведь другие люди будут, вы к ним и приезжайте. Охота хорошая, вон как надобычили.

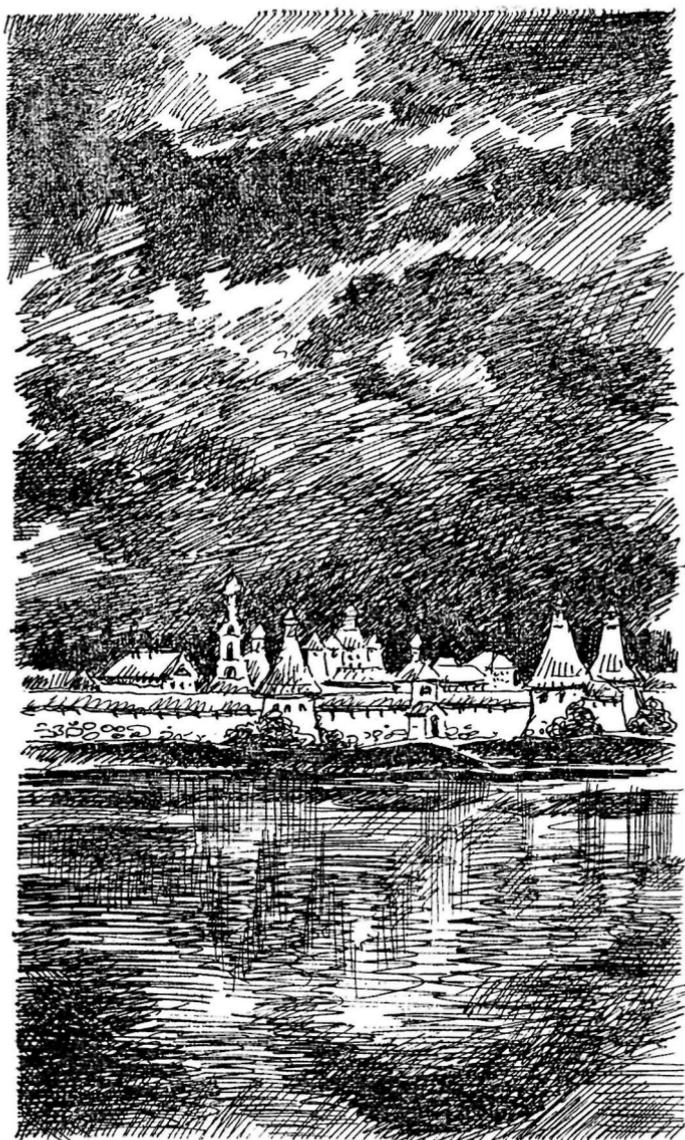
Хозяйка стирала на улице. Не прерывая работы, она закивала им пепельной головой, потом махнула рукой в радужных мыльных пузырях.

К лодке их проводили только хозяйская дочь да веселый егерь. Но девочка, охваченная юной тревогой, вдруг издала ликующий вопль и умчалась в сырую чашу леса, а егерь в своем счастливом трансе не был готов даже к той поверхностной душевности, какая положена при разлуке. Холодным оказалось прощание с кордоном.



Разное
о
разном





В селе КрасноМ

После войны я работал в сельскохозяйственной газете. Первое время меня посылали в командировки вместе со старым газетным волком Окским, чтобы я набирался возле него «ума-разума».

Однажды мы оказались в селе К., неподалеку от Суджи. Председатель здешнего колхоза несколько лет директорствовал на сахарном заводике, перевыполнял план, получал премиальные, словом, жил тихо и спокойно. И вдруг пожелал расстаться со своей «сладкой» жизнью и принять соседний с заводом большой отсталый колхоз. Месяца три назад колхозное собрание с недоверчивым любопытством избрало его на эту должность.

Мы застали председателя на дому, он только что отобедал. Рослая, моложавая женщина с сильной проседью в волосах убирала со стола. Сам председатель был человек пожилой и невидный: узкой кости, малого росточку, но его обыденное, подсушенное солнцем, обдурое ветром лицо невольно привлекало внимание хорошим и непростым выражением доброты, пронизательности и упорства.

Окский, не мешкая, клещом впился в председателя, а я вскоре потерял нить разговора — слишком глубоко копали эти знатоки. Рассеянно глядел я в окно на затекаю-



щее пунцовым августовским закатом небо. Дом председателя стоял на краю села, отсюда проглядывалась околица, будто нарочно помеченная тремя растущими из одного корня вязами. За этими вязами земля горбилась курганчиком, и на верхушке курганчика стояло старое, почерневшее от времени строение — не то амбар, не то сарай с созревшей соломенной крышей. И, как нередко бывает, мне стало казаться, будто я уже видел это: закатное небо, темный длинный сарай, три могучих, из одного корня вяза. Ничего особо своеобразного не было в этой картине, и все же: «Видел, видел», — все настойчивей стучало в мозгу. Мне стало казаться, что я видел все это в далекой старине, раньше начала моей собственной жизни. Подобную незамысловатую картинку я мог наблюдать в десятках, если не в сотнях деревень, где мне доводилось побывать, и это не могло не запечатлеться в моей памяти именно в силу своей обыденности.

И тут солнце прикрыло фиолетовой тучей, из-за края тучи вытянулись прямые резкие лучи, ровный свет, заливавший окрестность, померк, и особенная, контрастная четкость вязов и древнего строения за ними подстегнула мою память. Я видел все это на литографии, изображавшей родину великого Щепкина...

— Скажите, — обратился я к председателю, — ошибаюсь я или нет: Щепкин родом из этого села?

— Точно! — улыбнулся председатель. — Из этого самого. Тут до сих пор его современник обитает.

— Современник? Сколько же ему лет?

— А вот считайте: Щепкин умер в шестидесятых годах, а люди говорят, будто наш старик знал Щепкина. Стало быть, сто с хвостиком, и хвостиком лет десять, если не больше. Я-то, по совести говоря, хоть и работаю тут четвертый месяц, а знакомства с ним до сих пор не свел: не до того, признаться, было. Он тут, на выселках, живет. У него жена, хозяйство, колхоз помогает. — Председатель улыбнулся. — Над ним комсомольская организация шефствует.

— А нельзя с ним познакомиться?

— Отчего же нельзя...

Председатель поднялся и вышел в сени. Было слышно, что он о чем-то советуется со своей хозяйкой.

— Что вы затеяли? — накинулся на меня Окский. — Я хотел расспросить о строительстве овчарни...

— Послушайте, — перебил я, — разве будет у вас

другая возможность поговорить с современником Щепкина?

— Меня интересует не Щепкин, а зимовка скота, — нетерпеливо ответил Окский.

— Вы только представьте себе: этот человек был современником всей русской классики, он еще застал Лермонтова!

— Но мне-то что с того?!

— Он жил при крепостном праве, — пустил я главный козырь. — Кстати, Щепкин тоже многие годы был крепостным. Неужели вы не чувствуете, какой материал сам идет к вам в руки? Над бывшим крепостным, современником великого Щепкина, шефствует комсомольская организация. Вы можете написать художественный очерк!..

Удар попал в цель. Нет такого газетчика, который не мечтал бы написать художественный очерк.

— Интересно, когда щепкинские даты? — задумчиво проговорил Окский.

Вернулся председатель в сопровождении паренька лет восемнадцати с очень румяным и озабоченным лицом.

— Вася Трушин, наш комсомольский секретарь, — познакомил нас председатель. — Вася советует привезти старика сюда, а то у него старуха чересчур бойкая — слова сказать не дает. Разрешите воспользоваться вашей машиной?

Когда наконец в сенях послышался шум, шарканье сапог и мы решили, что сейчас увидим современника Щепкина, вошли пять или шесть колхозников во главе с высоким бритоголовым человеком, счетоводом. Им тоже хотелось послушать беседу со стариком.

— А вы уверены, что он лично знал Щепкина? — тревожно спросил Окский.

— Должен знать, — убежденно ответил счетовод. — Покойный дедусь говорил, что у них тут не было мужика, чтоб не знал Щепкина.

— Старики балакают, будто Щепкин сюда наведывался, когда на юг лечиться ездил, — заметил один из колхозников.

— Покойный дедусь говорил, — строго продолжал счетовод, — что они Щепкина на театре в Курске видели, а после с ним беседу имели.

— А вот мой дед Щепкина в орловском театре гля-

дел, — вставил другой колхозник, — дед на Орловском тракте извозом занимался.

— Ну а что они про Щепкина рассказывали? — спросил Окский.

Колхозник покосился на блокнот в руках Окского и потер подбородок, точно удивляясь, как это он быстро зашестинился.

— А чего рассказывали, про то вы сейчас от очевидца услышите, — ответил он спокойно.

— Покойный дедусь говорил, — все так же строго, не то в осуждение, не то в назидание кому-то, сказал счетовод, — что Михаила Семенович правильный человек был: из крепостных мужиков в большие бары вышел.

Его спутники осторожно засмеялись, счетовод поглядел на них, потом на нас и вдруг тоже улыбнулся большой, белозубой улыбкой.

И тут снова послышался шум в сенях и голос председателя: «Полегче, Василий, переставь ему ногу через порог!» И голос комсомольского секретаря: «А ну-ка, еще разок, раз-два... Порядок!.. А ну-ка, еще разок!» И еще чей-то голос: тихий, как шепот далеких деревьев в ночи, голос странный, будто лишенный плоти звука, и все-таки слышимый, вопреки всему, голос, от которого вдруг натянулись нервы и забилось сердце: «Ничего, ничего, миленький, спасибо, уж я сам».

Откинулась дверь, и показалась крупная, под старинным кожаным картузом голова в седине волос, бровей, усов и длинной, мало не до полу, бороды. Из заросли выглядывал крупный нос, тоже в мелких седых волосках, и два синих-синих глаза. За головой показалось большое, сломленное в пояснице туловище. Не знаю, мне почему-то представлялось, что он маленького роста. Но, даже скрюченный годами, он все равно был высок, куда выше не только председателя, по и комсомольского секретаря, поддерживавших его сзади за локти. Он опирался на толстую палку, медленно переставляя как свинцом налитые ноги в аккуратных чесанках. На нем был опрятный, добротный азамчик, застегнутый до самого горла, и брюки в полоску, заправленные в чесанки. Его обличье, в котором, несмотря на нынешнее бессилие, угадывалась былая твердая прочность, не только не уменьшало, напротив, подчеркивало дряхлость старца. А ясная синь чистых, будто промытых ключевой водой глаз говорила лишь о бездумье, о почти полной исключенности сознания, и у меня мелькнула мысль, что на нашу среднюю полосу

не распространяется благостный закон Кавказа, где «век за возраст не считают», и Окский едва ли на этот раз напишет художественный очерк.

С великими предосторожностями старика уместили за стол. Он снял свой картуз, белые тонкие волосы рассыпались по плечам, он улыбнулся тому облегчению, какое почувствовал, перестав двигаться.

Все взгляды обратились к Окскому. Тот встал и, подойдя к старику, спросил громко, с ненужной полуулыбкой:

— Дедушка, как живешь-можешь?

Старик приветливо кивнул, но ничего не ответил.

— Он не слышит. — Председатель сложил руки рупором и прокричал в самое ухо старика, большое, мягкое ухо, поросшее длинными седыми волосками: — Товарищи интересуются — как живешь?

— А хорошо живу... Справно... — Речь его звучала то вполне отчетливо, с басовым наполнением голосового вещества, то замирающе тихо, будто уходя вдаль. — Дом под железом... животина всякая... Общество меня уважает...

— Сколько тебе лет, дедушка? — проорал Окский.

— Да, поди, за сотню будет...

— Знаем, за сотню. А точнее?

— Годков с пяток за сотню перевалило.

— Убавляет, — строго сказал счетовод. — Почитай, все пятнадцать.

Счетовод сказал это негромко, обыкновенным голосом, но старик его почему-то услышал.

— Быть не может, — заговорил он, беспомощно оглядываясь. — Нешто я столько своей бабки старше?..

— Ладно с бабкой-то! — перебил Окский. — Ты лучше, дедушка, скажи: крепостное право помнишь?

— Помню, милый, помню, — закивал тот головой, и от этого движения встали дыбом его легкие волосы.

— Ну а как при крепостном праве жилось?

— Плохо, милый, плохо...

— Сейчас лучше живется? — последовал умный вопрос.

— Лучше, — подтвердил старик.

Хозяйка принесла чаю, забеленного молоком, вазочку с конфетами и печеньем, поставила перед стариком. Медленными, прерывистыми движениями он потянулся к стакану, налил чай в блюдце и, нагнув голову к самому столу, принялся схлебывать. На все последующие распросы

Окского, желавшего получить от старика характеристику экономики крепостного строя, он только кивал головой, приговаривая впопад и невпопад:

— Бывало, милай, всяко бывало...

Окский продолжал выпрашивать старика о войне. Оказалось, война четырнадцатого года и Отечественная слились для него в одну войну с германцем. Подобным образом спрессовались для него и многие другие события, что явно сердило Окского.

И чем дальше шел этот странный разговор, тем более призрачным и бестелесным казался мне мой быстроумный спутник, а этот выходец из другой эпохи, напротив, — вещественным, как сама земля.

Видимо, отчаявшись в попытках исторического экскурса, Окский принялся за старика с другой стороны:

— Дедушка, а ты в Москве бывал?

Старик кончил пить чай, перевернул стакан кверху доньшком, положил на донце обсосочек сахару и, разобрав пальцами усы и бороду, сказал благодушно:

— Нет, милай, бывать не бывал. Слыхать — слышал... Я в Понырях бывал...

— Ладно, — сказал Окский и, невольно сделав паузу, спросил почти торжественным голосом: — Ну а Щепкина ты помнишь?

— Ась? — старик приложил ладонь к уху.

— Щепкина, земляка своего.

— Кого?

— Щепкина, Михаила Семеновича Щепкина, — присоединил свой голос председатель. — Артиста знаменитого?..

— Щепкина... — повторил старик. — Нет, не помню.

— Вот те на! — испуганно воскликнул один из колхозников. — А мы ему корову дали!..

Общее разочарование было настолько велико, что это наивное восклицание прошло незамеченным. Видимо, старик почувствовал, что огорчил присутствующих.

— Всех помню... Гурьева помню, Петухова помню. Опанасенку помню... Лучкиных братанов помню... Барвинка и то помню, а Щепкина нет, не помню.

Я подумал, что тут, в сущности, нет ничего удивительного. Память старика сохранила имена тех, с кем он был связан каждодневной жизнью: взаимоотношениями по части инвентаря, семян, мирским делом, всем крестьянским существованием, и утратила имя того, кто лишь случайно мелькнул в давнем-давнем прошлом.

В этом смысле я и высказался вслух.

— Нет, — задумчиво проговорил председатель, — тут что-то не то... Послушай, Андрей, — обратился он к счетоводу, — я вот чего не могу понять... Мне, конечно, Щепкина не привелось видеть — годами малость не вышел, — но в областном театре я был. Там один артист за Гамлета играл, так я вот каждое его выражение, каждую крохотную малость перед глазами держу... Или взять Чапая в картине — ведь до смерти не забудется. Нешто можно такое забыть, что в тебе всю душу перевернуло? Тут, по-моему, одно из двух: или он сроду Щепкина не видел...

— Видел, — упрямо перебил счетовод, — покойный дедусь зря слов не бросал, не было тут мужика, чтоб Щепкина не видел!

— А коль так, значит, в нем душа оловянная! — в сердцах сказал председатель. — Может, он потому и прожил столько, что Щепкина не помнит. Другие-то мужики, те, что помнили, давно перемерли, а с этого, видать, как с гуся вода...

— А вот, товарищи начальники, — раздался вдруг из дремучей заросли усов и бороды громкий, ясный, свежий голос. — Двадцать пять лет назад взял я себе бабку... Молоду-у-ю!..

Это было так неожиданно — и самые слова, и чистый, омолодившийся звук голоса, и преображенное живым и глубоким блеском глаз лицо, — что странный трепет прошел по сердцу, и все мы невольно как-то посунулись к старику.

— Я ведь на ней и гражданским, и церковным браком оженился, — сообщил старик, смеясь и утирая слезы.

— Это почему же? — с интересом спросил председатель.

— А для верности! — ответил старик, который вдруг стал хорошо слышать. — Коли одним гражданским, так это и бросить можно... А от церковного куда денешься?

— Ловкий дед! — засмеялся председатель, звонко стукнув себя по колену.

— Ловкий! — закивал тот головой. — Мне бы годов десять скинуть, ух, я бы!.. А то — староват... Никак своей силой на печь не могу залезть. Она мне помогает, ругается, а помогает...

— Любит, значит, — сказал председатель.

— Жалееет, — строго поправил старик. — Ругается, а жалееет... Да... жалееет...

Голос его потух, перешел в безотчетное бормотание, он как-то заторопился, сидя на месте, попытался завернуть несколько конфет и печений в носовой платок (видно, для своей бабки), но рассыпал гостинцы по столу и теперь беспомощно двигал руками, пытаясь их собрать. Хозяйка председателя пришла на помощь, быстро и ловко связав аккуратный узелочек. Но он словно забыл о своем намерении. Тьма и забвение окутали его на миг взволнованную древнюю душу. Но, верно, не в нраве председателя было отступать перед властью природы. И, ловя последние секунды просвета в этом задавленном лавиной лет сознании, он заорал в мохнатое ухо старика:

— Дедушка, может, теперь вспомнишь Щепкина?

Старик устало и бессильно скосил на него синие, помутневшие глаза, в нем еще сохранились силы на маленькую человеческую хитрость.

— Как же, — проговорил он своим вновь обеззвучившимся голосом. — Был такой начальник!..

— Он артистом был!.. Он людей смеяться и плакать заставлял! Неужто не помнишь?

— Надо б помнить... — слабым эхом отозвался старик.

Мне стало ужасно жаль старика, и, чтоб прекратить бесполезное мучительство, я сказал:

— Что же, отпустим его...

— Видать, так, — неохотно ответил председатель и задумчиво добавил: — А все же я ошибся, есть в нем душа.

Он оглядел старика, точно прикидывая, с какой еще стороны к нему подступиться, но, так и не найдя податливого места, прокричал:

— Не спи, дедушка, сейчас к бабке своей поедешь!

— Да... да... к бабке, — прошептал тот как сквозь сон.

— Дедушка, слушай сюда! — взобив напряжением горло, заорал председатель. — Тут начальники большие из Москвы. Может, у тебя какие нужды есть, вопросы, может, чем недоволен? Ты скажи!

Медленно, будто разрывая одну завесу за другой, проникли слова председателя в мозг старика. Это было видно по его постепенно оживающему лицу, будто оттаивающему морщинка за морщинкой. Вот очистились, заблестели глаза, и прежним звонким голосом старик сказал:

— А скажите мне, товарищи начальники, отчего так

бывает: воды за день чашки две выпьешь, а на двор ночью раз десять сходишь?

Все рассмеялись. Все, кроме председателя. Он сурово сдвинул брови к переносью, разрубленному, как ножом, глубокой острой складкой:

— Вы смеетесь, а он всерьез спрашивает. Он же ведь бабушку свою тревожит: ей вставать да на печь его подсаживать. Смеяться нечего — он о главном для себя спросил.

Но как ни обидно было, на этот единственный вопрос, какой еще волновал древнюю душу, мы не могли ответить.

А он ждал, ждал, что мы, большие начальники из Москвы, поможем в его задаче. И председатель крикнул:

— Вопрос трудный, дедушка!.. Начальники обдумают и сообщат тебе!

— Да... да... — благодарно закивал головой старик.

— Ну, все ясно? — словно ставя точку, произнес Окский.

Потеряв надежду на создание художественного очерка, он не вмешивался в разговор председателя со стариком, следя за происходящим с выражением грубой и нетерпеливой непричастности.

Поняв намек Окского, Вася Трушин, комсомольский секретарь, пошел за машиной. В комнате воцарилось молчание.

А со стариком творилось что-то странное. Быть может, растревоженный председателем, он попал во власть далеких воспоминаний. Он ерзал на стуле, то порывался встать, то вскидывал руки, ворочал шейю, чему-то смеялся, утирая обильную слезу в своих синих глазах. И все время бормотал — то громче, то тише, иногда казалось, что он бранится, но смех, которым он прерывал свое бормотание, никак не вязался с бранью. Мыслилось, что его обступили призраки былого и он ведет с ними напряженный, страстный и веселый разговор, радуясь этому неожиданному свиданию через столько десятилетий. В его как будто бессвязной, глухой речи ощущался странный ритм, невольно привлекавший внимание, заставлявший вслушиваться в слова.

И мне кажется, присутствующих словно пронзило единым вздрогом, когда в звуковом сумбуре, льющемся из

темной ямки между усами и бородой, отчетливо прозвучало:

— А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!..

Он залился долгим-долгим смешком и обеими руками стал утирать слезы.

Не было толку добиваться, где и когда слышал он моголог Городничего: в родной ли деревне, куда, по утверждению старожилов, заезжал Щепкин, или сам ездил с мужиками в Курск или Орел подивиться в театре на великого земляка. Он этого, конечно, не помнил, как не помнил и самого Щепкина. Но что с того? Пусть давно стерлось в старческой памяти имя творца, но сила чуда, поразившего душу чуть не столетие назад, сохранилась в этом обобранном годами существе. Да и можно ли называть «обобранным» этого старика, что, век с лишним прожив на земле, до сих пор нес в себе двойное счастье: любви и искусства?..

Мы заночевали в этой деревне. Нам постлали на сеновале, полном хрусткого, пахучего клевера.

Как всегда на новом месте, я долго не мог уснуть. В маленькое оконце виднелось черное, глухое небо. Я подполз к оконцу — небо тут же наполнилось звездами, будто только и поджидавшими меня, — я закурил, высунув наружу руку с папиросой.

Все спало кругом — крыши, деревья, дорога, — спало вблизи и вдалеке. Спал Окский, сердито поджав губы и во сне переживая свое дневное разочарование; спал в домике напротив Вася Трушин, комсомольский секретарь, смяв твердой скулой подушку; спал, а может, опять тревожил ночным беспокойством свою молодую бабу современник Щепкина; спали колхозные люди, копя силу для дневной жизни.

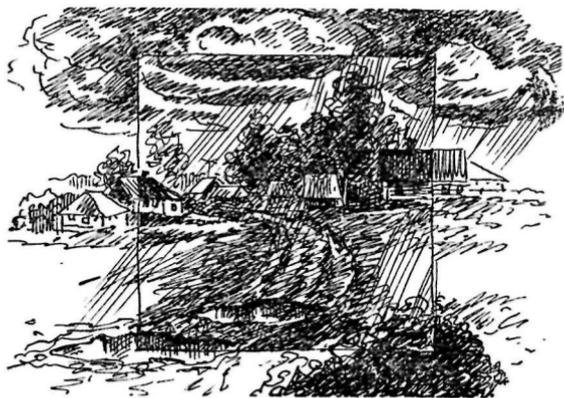
Не спали только у нас за стеной. Председатель все ходил и ходил по избе, я отчетливо слышал его то приближающиеся, то замирающие шаги, слышал тихий, звывший его женский голос и вновь — мерные, неспешные шаги размышляющего человека. Видно, все думалось ему о той нелегкой крестьянской заботе, которую он по доброй воле взвалил на свои плечи. Мне вспомнилось все виденное и пережитое за день, вспомнились чудесное упорство и вера этого человека, оживившие почти неживое. И последнее чувство, какое я испытал, прежде чем сон опрокинул меня в пахучую духоту клевера, было нежное уважение к моему простому и прекрасному современнику.

В дождь



Началось все... А с чего началось — и не скажешь. В эту пору года жизнь деревни связана с сеном. Но прямого отношения к сену наш рассказ не имеет. И можно было бы начать, что в один из долгих июньских дней Демин Михаил Иванович, 1933 года рождения, холостой, член КПСС, образование среднее, затосковал по женской ласке. Но когда именно почувствовал он эту тоску, сказать без обиняков затруднительно. Скорее всего, она зрела исподволь и в какой-то момент стала неодолимой, а может, вспыхнула внезапно, хотя, разумеется, не беспричинно. Попробуем не спеша разобраться.

Время для личной жизни было самое неподходящее. До сеноуборочной оставалась еще неделя, но у колхозного инженера Демина эта кампания началась уже давно, а с завтрашнего дня приобретала авральный характер, ибо во всех областях хозяйственной деятельности — дубасовские механизаторы не являли исключения — за ум берутся в последний миг. В текущие же дни колхозники беспокоились о сене в индивидуальном порядке, для своей скотины. У Демина покосы находились в двух местах: в Дубасове, где он жил и работал, и в Перхове, где остался родительский дом. Старуху мать Демин не без



труда заставил перебраться к себе лет пять или шесть назад.

На подмогу съехалась родня. Сестра Верушка с мужем-шабашником: когда трезвый, лучше работника и человека не сыскать, во хмелю же неуютен — задиристый, взрывчатый. Они приехали из Глотова, района, где сестра работала бригадиром на фабрике детской игрушки; а из Саратова, подгадав отпуск, прикатил двоюродный брат Сенечка, токарь шестого разряда, не уступавший рабочей хваткой зятю-шабашнику, к тому же культурного нрава. К ним присоединились местные: младший брат Жорка, бригадир механизаторов, живший напротив, и его сын Валера, тракторист призывного возраста. Сам Шорка особо за сено не переживал, его коровенка была на пищу скромная, не то что Говоруха старшего брата, на эту животину не напасешься, даром что невеличка, вымя мелкое, тугосисее, но дойная до оторопи. Чистая рекордсменка — вся «заготовительная команда» по затычку наливалась живейшим Говорухиным молоком, и на молокозавод каждый день бидон отправляли. Говоруха досталась Демину по случаю. У прежней коровы пропало молоко, пришлось отвести ее на базу заготскота. Возвращаясь автобусом домой, Демин разговорился с попутчиком, мужичонкой из зареченской Ольховки, ладившим перебраться в город. Мужичонка ликвидировал все сельское имущество — и недвижимое, и движимое. К последнему принадлежала корова, о которой ольховский мужичонка не говорил, а пел. Смешно сказать, но Демина пленила ее наружность: белая, как кипень, а чулочки и морда красные и белая звездочка во лбу. Кота в мешке не покупают, а Демин заглазно корову приобрел, прямо в автобусе отвалил за нее аванс. Конечно, красное оказалось рыжиной, звездочка во лбу не проглядывалась, а вот насчет молока не наврал автобусный трепач. Брат Шорка после шутил: «Женился ты, Миша, по любви, а вышло по расчету».

Хотел Демин ему Говоруху уступить, все-таки в Шоркиной семье на едока больше, но тот наотрез отказался. Валерику осенью в армию идти, а им хватит скупой на молоко Пеструшки. Зато и с кормами особых забот нету. А главное, жена доить не любит — забалованная, руки бережет. Нарядится с утра и сидит в окне, как в раме, и на улицу глядит. Не глядит, а себя показывает, свою выдающуюся красоту. А любоваться ею некому, родня и соседи уже привыкли, а посторонние редко на их конце случаются.

Жорка светлый человек, другой бы на его месте ожесточился на жизнь. Как с армии вернулся, так и посыпалось... Нет, зачем зря говорить, не сразу это случилось, вначале все путем шло. Взял жену по сердцу, она его сыном обрадовала, устроился механизатором, хоть в технике не больно кумекал, но до того быстро все превзошел, что стал бригадиром. А потом началось! Жена не хозяйка, белоручка, домом и огородом не занимается, мальчонке сопли лишний раз не утрет. Жорка и сына, и дом на себя. До того доходило, что сам полы мыл и пеленки стирал. Но никогда не жаловался. «Все нормально!» — одна погудка. Потом сын подрос, а Жорка, на свою беду, дорогами «заболел». Понял раньше других, что без дорог в их глинистой мокрой местности никакая техника не спасет. И сама не спасется. Черный гроб машина — непролазная, лишь в пожарную засуху спекающаяся местная грязь. Она оборвала все грейдерные дороги, понастроенные после войны; на автодорожных картах они до сих пор нанесены, иные даже желтой полоской, и без числа водителей на том попадаетеся. Едет себе, сердечный, доверившись карте, и забирается в такую непролазь, что трактором не выдернешь. Нужны настоящие дороги: асфальтовые либо бетонки, только они выручат край. Жорка это давно понял и, отчаявшись выжить из предколхоза и послушного ему правления деньги на строительство короткой и самой необходимой дороги от Дубасова до шоссе, сам с механизаторами в неурочное время погнал эту дорогу. Убедил мужиков: когда, мол, дорога будет, правление, хочешь не хочешь, разочтется с нами. Может, и не особо ему поверили, но решили рискнуть, потому как видели и водители, и комбайнеры, и даже не зависящие от дорог трактористы и рабочие ремонтных мастерских, что без дорог — зарез. Колхозное правление «спохватилось» быстро: работы остановило, с людьми расплатилось, а Жорку оштрафовало на эту сумму. Ничего он не сказал, только зубами заскрипел и после недели две все за голову хватался. Началась у него болезнь — гипертония. Тем только и спасается, что японский браслет носит. Демин в Москве достал две штуки, брату и за компанию себе. И в области, и в районе все начальство такие браслеты нацепило — для престижа. Но голова головой, а видел Жорка, что некоторые материалы остались, и предложил брату заасфальтировать семейными силенками машинный двор, чтобы стояли машины на твердом, а не засасывало их выше колес в дождевую

грязь. Работу они сладили и получили по выговору за самоволку. Старший Демин на том успокоился, а Жорка со своей упрямой больной головой через год попытался достроить начатую дорогу. На этот раз «руководитель», как едко называл предколхоза Жорка, застукал его в самом начале и сдал в милицию, где ему вкатили пятнадцать суток за злостное хулиганство. Конечно, старший брат нашел ходы, Жорку отпустили, но что-то важное в Жоркиной душе обломилось. «Все! — объявил он, выйдя из узилища. — Теперь я дорогам лютей враг!»

Тяжело это было Демину. Он жалостно любил брата с того далекого, неправдоподобного времени, когда осознал его хрупкое бытие рядом со своим. Самого появления Жорки он как-то не углядел, будучи всего тремя годами старше, а когда обнаружил новое, орущее, мокрое, беззащитное существо, то обмер и зажалел его на всю жизнь.

Подумав о брате, Демин схватился за кадык и коротко взрыднул. Станный этот взрыд — его отметина. Если Жорку к внутреннему срыву привели дорожные напасти, то у старшего брата это случилось куда раньше, на заре жизни, можно сказать, когда он вернулся с действительной и узнал, что Таля его не дождалась и вышла замуж. На письма же отвечала и в письмах врала, что ждет, по слезной просьбе его матери, страшившейся, что сын в расстройстве и гневe совершит что-то не дозволенное строгой военной службой и сломает свою судьбу. Служил Демин в танковых частях. Уже в первый год обнаружил он редкое чутье к технике и был определен в мастерские, где прошел серьезную и любую ему науку. А вернувшись домой и узнав об измене Тали, он, отличавшийся молчаливой скупостью на всякое проявление чувства, издал горлом жалкий, захлебный звук и схватился рукой за кадык, будто тот стал ему поперек дыхания. И, услышав этот задавленный взвой своего квадратноглыбного — танком не сокрушишь — сына, мать зарыдала и навсегда испугалась за него, как он боялся за младшего брата, а сама она сроду ничего не боялась. Так и стали они жить, связанные цепочкой страха, не делавшего их слабыми. Оба брата — широкогрудые, плечистые, громадной мышечной силы — и в восьмидесятилетней матери проглядывали былая стать и мощь, — на чуть подкривленных, но прочно упирающихся в землю ногах, Демины были столь же крепки верностью, преданностью земле, делу, людям, памятливым добротой, снисходительной к чужой

малости, слабости, даже порокам. В нежной сердцевине каменных с виду богатырей рождались и слезы матери, и боль, сжимавшая обручем голову Жорки, и влажный взрыд Михаила.

Узнав об измене Тали и родив в горле горестный звук, выбивший слезы у матери — вон когда научилась плачу солдатка, без слезинки проводившая мужа на войну и без слезинки принявшая от почтальона похоронку, — Демин не смирился, не поставил крест на своем чувстве. Он пытался вернуть Талю, которую простил сразу и навсегда. Но и та оказалась на свой лад богатырской породы. Выполнив просьбу старухи Деминой, не пошла ни на какие объяснения с бывшим женихом. «Не надо. Что сделано, то сделано», — были единственные ее слова при встречах, большей частью случайных — жили они теперь в разных деревнях. Лишь раз расщедрилась Талья на подробную речь: «Нечего прошлое ворошить, возврата туда нету. У меня дитя народилось, я ему отца менять не стану». — «А ты счастлива?..» — Демин вздохом заменил ненавистное имя Веньки Тюрина, сельского интеллигента средних лет, «коровьего фелшара», как его величали старухи. Венька учился в Москве и вдруг вернулся и отбил у него Талю. Правда, в «отбил» Демин не больно верил — хлипок душой и телом Венька, настолько хлипок, что на него рука не подымалась. Демин не любил драк и, будучи человеком трезвой жизни, почти никогда в них не участвовал, но все же не исключал кулачную расправу из мужского обихода. Честная драка, когда все другие аргументы исчерпаны, — законное дело. Но с хлипким сельским интеллигентом Венькой не могло быть честной драки. Демин с самого начала знал, что все решила сама Талья. Тонкая, упругая, как хлыст, и с такой же душой — ее не подчинишь, не сломаешь, а и согнешь, так распрямится и тебя же в кровь отхлестнет. И в их дружбе, начавшейся со школьных дней, она, хоть и младшая годами, была ведущей. Незадолго до расставания позволила обнимать себя и целовать, но дальше Демин пойти не решился, боясь ее оскорбить. А надо было решиться — бережь бережи рознь. Тогда бы дождалась. Даже если б не понесла. Стыдно было б ей, не сохранив чести, с другим округиваться. А сейчас Талья в грош не ставила их прежние отношения, детские ласки и признания. Трудный у нее характер, жесткий, тесный, и губы тонкие, всегда сжатые. А может, Венька сумел их разомкнуть? Никогда он от нее не узнает. Заперта на все замки. Что это —

гордость или злая уость в ней? Она резко отвергала не только попытки объяснений, но и простые знаки внимания: связку вяленой рыбы или грибов, какой-нибудь московский гостинец для пацана, детскую игрушку, ничего не принимала с каким-то даже ожесточением, будто он перед ней виноват. А может, она и впрямь его винила, что, уходя в армию, не сделал своею?.. У баб мозги набекрень, всё на свой манер вывернут. Оп бы оставил ее в покое, если б верил, что она счастлива. Но такой веры почему-то не было. Про себя же он с годами узнал, что ни с одной женщиной — даже в полноте любви — не будет ему так горячо и нежно, как в сухой возне с Талей. Запах ее бледноватой, не смугляющей на солнце, а розово обгорающей кожи, запах ее светлых длинных слабых волос навеки проникли ему в нутро, и все другие женщины невкусно пахли, даже sprыснувшись «Красной Москвой». И мягкая влажность тонкогубого рта, когда он со всей силой впивался в него своим жестким ртом, убила сладость всех других румяных, полных, нежных, жадных женских уст. Отравила она ему кровь, и ничего тут не поделать...

Демин сжился со своей странной бедой, как сживает человек с горбом, культей или кривым глазом. Живет, трудится, гуляет в праздники, разные испытывает желания, вроде и не помнит о своем увечье. Ан, помнит, последней глубиной никогда о том не забывает, иной же раз так вспомнит, что зубами заскрежещет и слезу сринит. Демин вкалывал за троих, нечеловечьей мукой вместе с братом вытягивал сельхозтехнику, которую безжалостно гробило местное бездорожье (варзовские моторы вместо положенных тридцати тысяч после ремонта восьми не набежали, задние мосты «уазиков» на колдобинах напроць срывало), и по дому успевал: то мебель купит, то обоями все стены оклеит, то терраску или каморку пристроит, то туалет на городской лад оборудует, только без слива. И не скрежетал он зубами, не ронял слез, разве что не удерживал иной раз короткого взвоя. Правда, обнаруживалась в нем некоторая чудина, не идущая такому положительному и серьезному человеку. Он тяготел к оптовым покупкам, чего бы не брал, старался взять побольше, хотя и к вещам и к еде был равнодушен. Много было женской одежды, которую он покупал вроде бы для матери, хотя иные вещи заведомо не годились ей по возрасту и размерам, а другими она пренебрегала, донашивая старые добротные платья и кофты. Были у него и за-

мечательные игрушки из «Детского мира», их он покупал для Талиного парня, но получал неизменно назад и не выбрасывал, жалея красивые изделия. Случалось, он дарил что-нибудь детям дачников; у родных и соседей не было маленьких детей, а внуки появлялись уже в городе. Странно выглядели все эти рычащие при наклоне медведи, куклы с закатывающимися бессмысленными глазами, автомобильчики, парходики, самолетики и трехколесные велосипеды в холостяцком доме, не слышавшем голоса ребенка. Была и более подходящая Демину подвижность: в длинном гараже из ребристого железа стояли «Волга», мотоцикл с коляской и мотороллер, там же висел на стене лодочный мотор «Москвич», хотя местная речка Лягва была несудоходна, в засушливое лето ее курица вброд переходила. «Волга» тихо ржавела снизу, не накатыв и десяти тысяч, в редкие выезды он тянул машину трактором «Беларусь» на листе железа до грейдерной (по прозвищу) дороги, ведущей в райцентр. Мотоциклом с коляской по причине бездорожья вообще не пользовался, и тот стоял на приколе, сверкая первозданной голубишной, не замутненной прахом верст (Демин что ни день драил его куском замши), а вот на мотороллере в иное погожее время доезжал до магазина и даже в соседние деревни навевывался, хотя порой приходилось тащить его за рога; были такие места, к примеру, перед клубным крыльцом, которые сроду не просыхали, будто поступали туда воды из подземного озера.

Думается, не только в деревне или райцентре, но и в самой столице нечасто встретишь столь оснащенного и обеспеченного всем, что душа пожелает, человека, как Михаил Демин. А ведь для себя ему ничего не нужно: телевизор не смотрит — времени не хватает, редко, да и то через черную тарелку, висящую на кухне, слушает радио — тарелка не выключалась, по ней передавали колхозные новости и распоряжения, ездить ему некуда, да и не проедешь; случается, напяливает на себя какой-нибудь клетчатый пиджак или кожаную куртку, но вида все равно нету, потому что джинсы или вельветовые брюки приходится заправлять в подвернутые под коленями, а то и натянутые по самую задницу бродни. И обычно Демин довольствуется бумажными штанами, ковбойкой и ватником.

Похоже, что какой-то неделовой, схороненной от разбитых машин, запоротых моторов, потонувших в грязи комбайнов, охромевших тракторов, пьяных слесарей, куз-

нецов-халтурщиков, скрытой от всех и от себя самого частью души он жил в воображаемом мире, в котором неведомо как осмыслялись его бессознательные поступки. Если попробовать расшифровать эту скрытую жизнь Демина, то оборачивается он в ней главою большой требовательной семьи, на которую не напасешься, а капризнице-жене подавай все новые наряды (да и сам держи фасон), и чтоб бензиновые кони ждали у ворот, бия от нетерпения шинами, и быстроходный катер содрогался в готовности вспенить воды Лягвы, и напрягался весь животный мир для пущей семейной сытости: чтоб вышибала донце из подойника тугой молочной струей Говоруха, чтоб куры несли яйца больше гусиного и ускоренно нагуливал розовое прозрачное сало дюжий боровок в закутке, стремясь к пику формы, когда ему всадят тонкую сталь под переднюю левую ногу.

Это тайнодумие, или тайночувствие, оставалось скрытым даже от его спящей души, когда многое, гонимое дневным сознанием, выходит наружу, пусть порой и в зашифрованном виде, но все же позволяющем догадаться о сути. Он был настолько во власти безотчетности, что даже не помнил о своих покупках. Бывало, задев в темноте плюшевого мишку и услышав его недовольную ворчбу, он замирал, думал, что потревожил живое существо, и недоумевал, как завелось оно в доме.

От матери не укрылся ущербный смысл избыточных, ненужных приобретений сына. Она долго крепилась, но раз, встречая вернувшегося из города и, как всегда, нагруженного свертками Михаила, не удержала слезу. Преисполненный ответной жалости к матери и смутного чувства какой-то своей вины, Демин растерянно бормотал: «Ну, ладно, маманя!.. Чего там!» — «Ох, сынок, зачем нам все это?.. И кому достанется?.. Во сне ты, что ли, живешь!» Демин молчал. «Уйду я от тебя, — вдруг сказала мать. — Есть у меня свой угол». — «Да что ты, маманя? — испугался Демин. — Нешто нам плохо вдвоем?» — «Плохо, сыночек, плохо. Не могу я на тебя глядеть. Сколько же можно так маяться? Неужто ты порченный какой и за тебя ни одна девка не пойдет?» — «Да где их взять, девок-то? — не глядя матери в глаза, оправдывался Демин. — Как в цвет входят, так из деревни дёру. Не приживаются девки на нашем грунте». — «Да ведь гуляешь ты с женщинами, Михаил, я же знаю. Что ж, они только для баловства хороши и ни одна жениной работы не справит?» — «Не придутся они тебе, маманя», —

врал Демин. «Не обо мне речь. Мне теперича любая придется, лишь бы ребятеночка выносила. Я уж не запрашиваю. Мне бы внучка перед смертью покачать». — «Ну а мне-то как с нелюбой жить?» — «Стерпится — слюбится... Нельзя целый век о Тальке вздыхать. Да на кой ляд она сдалась, пустокормок, кабы и сама попросилась? С тремя детьми, старший уже армию отслужил. Сухара, одно слово! Ладно, молчу, уж и слова о ней не скажи. Надо же! — удивлялась мать. — Какое счастье девке светило!» — и призрак чужого счастья зажег ее потухшие глаза.

В тот день, о котором идет наш рассказ, с утра прийнялся дождь, хотя ночь была чистая, звездная и появилась надежда, что погода наконец-то устанется. Бюро погоды тоже обещало «без осадков», правда, что-то сбормотнув о циклоне над Тянь-Шанем, а дубасовцы знали: циклон в любой точке планеты оборачивается для них дождем, такая уж чувствительная местность. Пришлось срочно закопнить разбросанное накануне для просушки сено. В связи с этим терпеливый саратовский кузен Сенечка вдруг вспомнил, что отпуск у него кончается, а сено все еще не убрано, Демин намек понял и поставил к позднему завтраку бутылку армянского коньяка «пять звездочек». Сенечка так засмутился, что жидкость пошла ему не в то горло. Чуть не задохнулся, насилу отходили. А зять-шабашник, хвативший где-то накануне, красноглазый, подпухший и злой — жена не давала опохмелиться, — заявил, что даром тут время теряет, его зовут печник класть печи в новых домах для доярок. «Нешто мы на чужих ломаемся?» — на высоких нотах завела Верушка. «Кабы на чужих, так бы меня и видели! — веско произнес шабашник. — По-родственному терплю, из последних сил». И, уверенной рукой взяв бутылку, налил себе полный граненый стакан. Жена глянула возмущенно и... промолчала. Момент был тонкий и опасный, муж мог и впрямь подорвать. Шабашник выпил, сморщился, некрасиво вывернув мокро-пунцовый подбородок нижней губы, обронил брезгливо: «Не люблю!.. И чего в нем интеллигенция находит?» Приняв на свой счет слово «интеллигенция», Сенечка счел нужным вступить за честь напиться: «Ты букета не чувствуешь, Адольф. Его нельзя рывчуном брать, смаковать надо. А весь смак в букете, Знаешь, откуда букет? От выдержки. «Пять звездо-

чек» — значит, его пять лет в бочке держали, не трогали. Чуешь, какая выдержка? Выше этого армянского только марочные сорта и небо». — «Не убедил...» — капризно сказал шабашник Адольф (он уверял, что спивается из-за своего позорного имени) и потянулся к бутылке. «Хватит, окаянный!» — Верушка пришла в себя и вновь овладела положением. Адольф молча убрал руку, он умело использовал свой шанс, на большее рассчитывать нечего. Выбив из пачки сигарету прямо в щербину между зубами, Адольф вылез из-за стола. «Пошел корячиться, а вы как хотите!» — «Ох ты! — вскинулась маленькая, осмугленная без солнца дочерна Верушка. — Тоже мне герой, передовик!» — и чуть сдвинула с выгоревших бровей низко и туго повязанную косынку.

Демин с щемящей нежностью смотрел на сестру. Золотой, безотказный человек! Надсаживается в бригадиршах, понуждая к честной работе самовольных и языкастых городских баб, и весь дом на себе тянет, от шабашника какая польза? Заколачивает порядочно, а пропивает еще больше. Верушка, можно сказать, в одиночку подняла семью, детям образование дала: дочь учительница, замужем, сын — лейтенант милиции в Вильнюсе, и но то чтобы палкой на перекрестке махать или с алкашами возиться, он по ученой части, лекции об уличном движении читает; жена у него инженер, парни-близнецы будут десятилетку кончать. Но две молодые и вроде самостоятельные семьи не могут прожить без Верушкиной помощи: она им и деньги на разные покупки шлет, и всякое варенье-соленье, и внуков на лето забирает да еще находит время остальной родне подсобить. Всегда бодрая, невесть чем довольная, знай улыбается сухими, истрескавшимися губами, а глазом шарит: где бы чего прибрать, починить, залатать. Она и в девчонках такой была: худенькая, быстрая, локотки острые так и колют воздух, и все ей работы не хватает, ужасно боится не истратиться до конца. И кому достался такой клад?.. Ей бы женой директора быть, офицера танковых войск или начальника пожарной охраны... А ведь она любит своего охломона, осенило вдруг Демина. Значит, есть в нем что-то, чего другие не видят, а и увидели бы, мимо прошли, но для Верушки важное, нужное. Ведь он, Демин, совсем не знает, что такое жизнь с близким человеком, жизнь вплотную, может, тут появляется такое сильное и проникающее чувство друг друга, что грубая, поверхностная очевидность гроша ломаного не стоит. А стоит лишь то, что

дается тайновидением. При мысли, что он никогда не узнает такой слиянности с женщиной, Демин на мгновение утратил контроль над собой, и короткий взвой вырвался из его просторной груди.

Мать подняла на него усталый взгляд, сестра потупилась. Сенечка нервно плеснул в стакан армянского, а стоявший у печки в зубах сигаретный Валерка опрометью кинулся в сени. Он не мог привыкнуть к этим жутким сигналам тоски, задавленной боли, мерещилось что-то темное, невыносимое, убивающее желание стать взрослым.

Сам же Демин обычно не замечал своего стона, не заметил его и сейчас, но смутно почувствовал какое-то напряжение, замешательство. В таких случаях хорошо принять решение, толкающее жизнь дальше:

— Поеду-ка за перховским сеном, — сказал он веско.

Он знал, что фраза его ничего не разрешила, что-то повисло в воздухе, повисло в нем самом, но и так слишком долго его мысли бесплодно блуждали, не порождая никакого действия. Он не любил ковыряться в себе. Если все время задаваться вопросами: с чего да почему, кончится всякая внешняя жизнь, единственно обладающая смыслом, ты завязнешь в томительных вопросах, забуксуешь мозгами, как в дубасовской грязи на стертых покрышках.

Сейчас его мысль собралась и повернула к конкретным вопросам: на какой машине ехать, взять ли с собой кого на подмогу. И то и другое он решил сразу, как обычно решал всякие хозяйственные дела: поедет на МАЗе — сильная, проходимая машина, к тому же мотор недавно сменили и на задние колеса цепи поставили, а возьмет Жорку, тот давно не видел их старого дома, где оба родились и выросли. На отшибе стоит заброшенное Перхово, не участвующее в экономической жизни колхоза, сейчас там едва ли с десятка обитаемых домов наберется. Взгляд в окно подтвердил, что Жорка дома, да и где ему быть: они переиграли выходной с воскресенья на субботу, чтобы с завтрашнего дня вкалывать без передыха.

Демин совсем было собрался идти за грузовиком, но тут вспомнил о постояльцах, которых ему навязал приехавший из Москвы с семьей на отдых мастер холодильных установок Толкушин. Был он уроженцем Канавина, лежащего километрах в четырех по течению Лягвы. Демин знал его с детства, но впервые обнаружил, что они родственники, когда Толкушин, приехавший на своем

«Жигуленке», попросил у него трактор и железный лист, чтобы добраться до родного порога. «Выручи, Мишутка, всежки мы одна кровь». Демин и так бы ему помог по старому знакомству, но просьба родича свята. Поэтому он и слова против не сказал, когда Пека Толкушин попросил принять на постой двух московских людей: журналиста и еще кого-то — Демин не понял. У того был свой интерес в здешних местах: то ли церкви осматривать, то ли раков лучить, замороченный сеном Демин не стал вникать. Да и какая ему разница, кто они, важно, что родственник просит. Хотя хуже время трудно было выбрать — в доме полно народу, дел невпроворот и, как ни крутись, не окажешь гостям должного внимания. Москвичи прибыли пешим строем, машину бросили на шоссе возле почты, и Демин отвел им боковушку, дал постельное белье, одеяла, подушки, домашние туфли. Журналист был тучным, задышлывым стариком с мешками под коричневыми усталыми глазами и белым пухом волос, он знал, что отыгрался, но по инерции продолжал жизненную суету. Таких Демин видел немало. А вот другой его заинтересовал. Был он без возраста: то ли под сорок, то ли крепко за шестьдесят, поджарый, с обнажившимся костяным лбом, но без седого волоса, гибкий, ловкий, с проворными руками. Он мгновенно разобрался, что к чему и что где лежит, как будто домой вернулся, и через полчаса по приезду уже варил на кухне соблазнительно пахнущую солянку. К удивлению Демина, все острые приправы гость нашел в его доме. Назвался он Пал Палычем. И странно, услышав нехитрое имя-отчество, Демин испытал легкий внутренний толчок, готовый обернуться воспоминанием, но так и не ставший им. Он готов был поклясться, что уже видел этого складного и чем-то соблазнительного человека, но где, когда?.. Хотелось поговорить с приезжими, особенно с Пал Палычем, может, тот подскажет, где могли они видаться, да не выбрать минуты свободной. А сейчас он ощутил необходимость что-то сделать для гостей. Надо украсить их быт. Забрав в гостиной три «полотна», копии которых, как он понял, находились в Третьяковской галерее: «Аленушка», «Неизвестная» и «Богатыри», а также вазу с бумажными цветами, он вдруг задумался, с какой стороны подходит ему родственником Пека Толкушин. Демины и Толкушины из разных мест и разного корня. Может, по женской линии? Пекина двоюродная сестра замужем за ихним председателем, но Демины с ним не родня. Стару-

ха Толкушина в свойстве с тещей кузнеца, но кузнец Деминым вовсе чужой. Жена Пеки вроде калужанка, тут искать нечего... Внезапно он почувствовал усталость, стоит ли ломать над этим голову, при случае он спросит Пеку, а сейчас надо создать людям культурный отдых.

Он вошел в комнату, пропитанную табачным дымом. Постояльцы в спортивных костюмах и носках лежали на кроватях и читали. Пал Палыч нещадно дымил. Журналист с набрякшими подглазьями отложил книгу и улыбнулся Демину.

— Хозяин!.. Милости просим.

— Извините, конечно, — сказал Демин. — Я тут кое-что принес... Чтобы вам красиво отдышалось.

— Что-что? — вскинулся Пал Палыч и ловко сел на кровати, по-турецки скрестив ноги. — Да бросьте! — сказал брезгливо. — Кому это надо?..

— А что? — смутился Демин, — Хорошие картины. — Он прищурился и прочел: — В. Васнецов, И. Крамской... обратно В. Васнецов.

— К тому же подлинники! — хохотнул Пал Палыч.

— Заткнитесь, — тихо сказал журналист. — Человек от чистой души... Спасибо большое, — повернулся он к Демину. — Вы не беспокойтесь, мы сами повесим. Мой друг специалист по живописи.

— Нешто мне трудно гвоздь прибить? — обрадовался его интонации Демин.

Он поставил вазу с цветами на холодильник, вынул из кармана гвозди, достал из тумбочки молоток и стал принаравливать, как бы половчее повесить картины.

— Дивный букет, — заметил Пал Палыч. — Воду надо часто менять?

— Они же бумажные, — удивился его наивности Демин.

— Заткнитесь! — опять сказал журналист, пристально глядя на Пал Палыча.

За долгие годы знакомства, хотя виделись они нечасто, будучи людьми разъезжей жизни, он так и не постиг до конца характера Пал Палыча. Тот был крайне сентиментален, причем с возрастом эта черта все усиливалась; его песочные ресницы частенько темнели от слез, исторгнуть которые могли стихотворная строка, страдания, болезнь и смерть литературного героя, несчастливый конец фильма, вид старой почерневшей иконки, нежный изгиб северской статуэтки. Вся эта чувствительность проявлялась лишь в столкновении с искусственным миром;

жизнь в ее естественном образе не действовала на слезные мешки Пал Палыча. Как замечательно разделились в нем поэзия и правда. Его ничуть не трогал доверчивый жест доброты этого постороннего человека, бескорыстно пустившего в дом незнакомцев, давшего им постель и стол и еще заботившегося о «культурном» оформлении их быта.

— Чем картинки вешать, — послышался высокий, резкий голос Пал Палыча, — лучше бы вонь ликвидировали!

— Какую вонь? — не понял Демин.

— У двери. Какходишь, шибает, аж с ног валит. Что у вас там, покойники захоронены?

Демин повесил на стену «Богатырей», глянул, ровно ли, и пошел к двери. Нюхнув раз-другой, ничего не почувствовал. А несло там нестерпимо, каким-то спертым, душным, ядовитым, опасным для жизни смрадом. Густой, как патока, он не распространялся по комнате, а стоял возле двери; таким образом, пронизав невеликую толщу, ты оказывался в обычном запахе избяной боковухи: дерева, законной дождевой сырости и устоявшейся легкой прели. Словом, незачем было заводится. Но Пал Палыча бесобуял.

Журналист сказал мягко:

— Там правда пованивает. Ничего страшного нет. Может, крыса сдохла?

— Нету у нас крыс, — еще более озадачился Демин и позвал мать.

Старуха быстро приковыляла — любила быть полезной. Понюхав, где указали, она тоже не расчуяла воню. Крестьянские носы, привыкшие к крепким запахам хлеба, свиного закута, наеста, навоза, не обладали городской чувствительностью.

— Да нюхните хорошенько! — закричал Пал Палыч, вскочив с кровати.

Он подбежал к ним и со свистом втянул воздух своим хрящеватым носом.

— О, ужас!.. О, смерть!..

— Правда, Миш, вроде несет маленько, — неуверенно сказала мать.

— Маленько! — передразнил Пал Палыч. — Ничего себе маленько!.. Конец света!.. Гибель Помпеи!..

И странно: Демину казалось, что все это уже было когда-то: и возмущение Пал Палыча, и тяжелая растерянность окружающих, экое наваждение, прости госпо-

ди!.. Он открыл холодильник, заглянул в него, выдвинул нижний ящик, откуда накануне взяли телячью голову и голяшки для холодца. Сегодня этот холодец в тарелках, блюдах, тазах стоял по всему дому.

— Надо так думать, — глубокомысленно изрек Демин, — что головка протухла.

— Чепуха! — авторитетно сказал Пал Палыч. — Зачем на теленка валить? Студень свежий.

— Свежий? — обрадовался Демин, любивший холодец. — Я еще не пробовал.

— Свежайший! — Пал Палыч нагнулся и стал хлопать дверцами старого фанерного буфета. Мелькали пачки с печеньем, шоколадные наборы, банки с вареньем и джемом, упаковки сыра «виола», банки маринованных огурцов.

— Богато живете! — вскользь одобрил Пал Палыч. Он открыл очередную дверцу, и оттуда вырвался ликующе Великий Джинн Смирада, некая правонь, от которой пошло в мире всякое смердение и тухлость.

Пал Палыч держал на мочальной веревке связку вяленой рыбы, то ли плотвиц, то ли красноперок.

— Вот она, душечка!

Демин взял связку, понюхал, небрезгливо помял рыбешку.

— Она же вяленая... — проговорил неуверенно.

— Плохо проявил, брат! — ликовал Пал Палыч. — Стухла твоя плотва.

— Это не моя, Сенечка наловил, — поправил Демин.

— Скормите кошке, — посоветовал журналист.

— Нешто она ее возьмет? Балованная!..

— Да выбросьте вы ее к черту! — взревел Пал Палыч. — К чему столько болтовни?

— Как же так? — скривился Демин. — Значит, пропали Сенечкины труды?

Журналист с любопытством посмотрел на Демина: сильное до грубости, обветренное лицо, сталь зубов в улыбке, плечи гиревика, ручищи лопатами. И надо же, какая деликатность, какая тонкая бережность к чужой душе!

— Я их на терраске новой повешу, — сообразил Демин.

— Там Адольф трудится, — напомнила мать.

— А ему водкой и табаком все обаяние отшибло. Он намедни чуть ацетону не хватил.

— Ну и неси туда! — распорядился Пал Палыч. — Хватит тут вонять.

Пристроив связку рыбок так, чтобы Сенечка мог увидеть и сам распорядиться ее дальнейшей участью, Демин отправился за грузовиком.

До реки он дошел легко по обкошенной луговине. Завяз лишь возле ключа, там и в сушь было потное место, на которое каждую весну прилетала пара чибисов. Провалился глубоко, хорошо, сообразил натянуть до отказа болотные сапоги, а вот выдернуть кол из тына забыл, за что и поплатился, — насилиу вылез, изваявшись в грязи. К реке по скосу он съехал на подошвах, растопырив для равновесия руки. Здесь помылся и проверил вершу, затопленную на излучке под старыми ветлами. Верша оказалась пустой — отчего-то сорвало клеенчатую завязку на горловине. Он пристроил завязку на место и утопил вершу. Потом отломил сухой толстый сук березы и по скользким местам, помогая себе суком-шестом, перебрался на другую сторону. Мимо молокозавода, кисло воняющего выплеснутыми пробами, он поднялся к деревенской площади, где располагались клуб и магазин.

Оба здания были отрезаны от Большой земли огромными лужами в грязевых, топких берегах. Но к магазину был сделан подход из кирпичей и досок, нечто вроде лавы. Клуб же напрасно соблазнял дубасовцев объявлениями о новом художественном фильме и вечере танцев под фонограмму «Голубых гитар» — к нему можно было пробраться разве что на ходулях. Демин двинулся по окружности площади, прижимаясь к плетням, под ними земля была прочной. При этом не упускал из виду магазин, куда то и дело заходили люди, но назад почему-то не выходили, словно поселялись там. В витринах за рекламными пирамидами «Завтрака туриста» и новой рыбки «Минтай» творилось шевеление цветных пятен, но игра красок не обернулась чертами продавщицы Лизы, с которой Демин дружил. А хотелось хоть в промельке увидеть ее горячие крепкие скулы.

Самая грязная грязь начиналась за околицей, и, хотя до машинного двора было рукой подать, Демин потратил немало времени на одоление последних метров. Это ж надо, чтобы главная опора сегодняшней деревни — трактор стал ее сущим наказанием. Лошадь так не умучивали в старое время, как сейчас трактор. На нем не только пашут, боронуют, убирают, возят грузы, навоз, силос, сенаж, доставляют людей в поле и с поля, но ездят на ры-

балку, в гости, на любовное свидание, на прогулку. Трактором изжеваны все деревенские дороги, улицы и площади. Исчезла прелесть тихой зеленой сельской улицы с телком или козленком на привязи, разморенными жарой добродушными псами, с курами, гусями и пушистыми их выводками — от плетня до плетня во всю ширину непрсыхающая, непролазная грязь, чудовищные колдобины, рытвины с водой. Попробуй пройтись с гармошкой на вечерке, попробуй найти сухую, твердую площадку для пляски, даже на лавочке у плетня посидеть да на людей поглядеть, лузгая семечки, — несбыточное дело, куда ноги девать?

Но трактор не виноват, машина не бывает виноватой, размышлял Демин, люди придумывают технику, а справиться с ней не могут. Отжили век проселки, большаки и немощные сельские улицы. Или асфальт под колеса, или вертайся к лошади. Иначе жизни не будет.

Смятенный вид родной земли... И как же хорошо на этом фоне гляделась асфальтовая площадка машинного двора, на которой прочно стояли комбайны, сеялки, жатки, косилки, бульдозеры, траншеекопатели... Эти машины казались вознесенными над всем остальным собранным для ремонта, восстановления и разбора железом, которое медленно погружалось в предвечную хлябь, поскольку не хватало асфальта для всего нужного технике пространства.

Пробираясь к гаражу, Демин услышал, что в кузне ухает молот. Вот те раз! — выходной день, а кузнец трудится. Неужто этого поддавалу и склочника прошибла тревога за сеноуборочную? Горячий цех был в долгу перед ремонтниками, вот Федосеич и решил пожертвовать отдыхом для общего дела. Отъявленный хабарщик, Федосеич был на хорошем счету у «руководителя», потому что всегда брал самые высокие обязательства, не затрудняя себя мыслью об их выполнении. Но проняла и его общая забота. Демин довольно улыбнулся и потер щетинистый подбородок, а черт, опять забыл побриться.

Демин толкнул дверцу и вошел в жаркое нутро кузни. Польшал горн, Федосеич и его подручный с раскаленными лицами трудились с тем старанием, красивой ловкостью и серьезностью, что достаются лишь левой работе. В грохоте двух молотов не слышен был взыв душевной боли и разочарования вошедшего человека. Демин ничего не мог сделать Федосеичу — оба это знали, попробуй найти другого кузнеца. Но и Федосеич нуждался в куз-

не, поэтому, ничуть не боясь колхозного инженера, все же старался не доводить его до остервенения. Демин понимал тщетность слов, если они обращены к такому дремучему сердцу, как у дубасовского кузнеца, к тому же с завтрашнего дня начинался аврал, и раздражать ндравного старика было рискованно. Но что-то сказать было необходимо — для собственного спасения, а то, не ровен час, лопнет сосуд, и так вечно молчишь перед глупостью, наглостью и чтущим лишь собственную выгоду напором.

— Насвинили тут!.. — Демин наподдал ногой пустую консервную банку.

Кузнец оглянулся, будто знать не знал о его присутствии. Медвежьи глазки, как лезвием, чиркнули.

— Не ндравится — возьми да убери.

— Я тебе не уборщица. Свое свинство сам затирай. Или катись отсюдава к чертовой матери!..

Вот бы такие слова да по главному поводу: мол, кузня — не частная лавочка, халтурщик ты и ханыга! А это выстрел, хоть и в упор, да холостой — кузнеца антисанитарией не уешь. Так оно и было: Федосеич презрительно усмехнулся и гаркнул помощнику: «Ровнее держи, черт безрукий!»

МАЗ был старый, битый, из капиталки, но крепко, надежно залатанный, с форсированным двигателем, над чем немало потрудился изобретательный Демин. Машина на редкость мощная, и если не бояться выжимать из нее эту мощь под угрозой сломать себе шею, то она способна одолеть любое бездорожье, благо обута в железные сапоги. Демин уже взобрался на сиденье, когда подбежала Васена, колхозная делопроизводительница, и протянула телефонограмму из райцентра. Отправил ее предколхоза, с утра уехавший в Глотов на совещание. В близости сеноуборочной дергалось само районное начальство и дергало руководителей хозяйств, мешая им заниматься прямым делом. Председатель извещал, что удалось вырвать новый мотор для «уазика», мотор необходимо срочно забрать, а сам он без машины. Это было слишком серьезно, чтобы кому-то передоверить, — перховское-то сено пождет.

И Демин погнал грузовик в сторону, противоположную той, куда собирался. Тактика езды на «гончем» МАЗе была проста, но требовала крепких нервов. Надо ломить на третьей скорости, выбирая по возможности места более проходимые, пренебрегая тем, что машина кренится так, что вот-вот перевернется, что ее заносит и но-

ровит сбросить с дороги, что нос клюет в полные воды рытвины и лобовое стекло ослеплено рыжими заплесками, что глаза залиты потом, а весь ты через полчаса такой езды как отсиженная нога. Но если хватит выдержки не притрагиваться к сцеплению и тормозам и знать лишь одно — вперед, то доедешь, наверняка доедешь.

И Демин ехал. Оглушенный, ослепший от пота, разбив в первые же минуты коленку о щиток, он гнал и гнал машину по лужам и вязкой грязи к грейдеру, изжеванному, разбитому, в рытвинах и ухабах, но все же более надежному, чем этот большак... У перекрестка к машине сунулась было старуха с рюкзаком на длинных ляшках. В поднятой руке она сжимала рублевку. Обычно Демин подбирал на дорогах всех «голосующих» и сроду не брал ни с кого денег, но, остановись он сейчас, на том бы и кончилась его поездка. Здесь было самое гиблое место, которое надо проскочить с разгона. Он резко вывернул руль, чтобы объехать старуху, успел заметить, что она долговязая, с темным недобрым лицом; пробуксовывая, вполз на грейдер, рухнул в рыжее озерцо; вслепую, не давая затащить себя в кювет, проехал с полкилометра и наконец почувствовал под колесами упор. Демин снял с баранки левую руку, утер пот, смахнул грязные капли со лба и надбровий, поерзав, сменил положение затекшего тела, определился в пространстве и вдруг издал тоскливый вой.

Он не понимал, откуда приступ звериной тоски, — ведь худшее осталось позади; теперь-то он знал, что доедет, встретится с председателем и получит долгожданный мотор. Долговязая фигура на перекрестке?.. Старуха, которую не подобрал... Да что ему эта старуха? Сколько их мается по обочинам жизни, на всех души не хватит. Но эту старуху надо было взять. Почему? Он даже не успел задуматься, ответ сказался липким потом, выступившим под рубашкой. Старуха эта была Талья.

Старуха... Они не виделись каких-нибудь три-четыре месяца. Нельзя состариться за такой короткий срок. Нельзя. Конечно, перемена совершалась исподволь, но он ничего не замечал, замороженный ее прежним образом. И когда встречались на деревенской улице, он успевал наделить сегодняшнюю, уже другую Талию ее минувшей, юной прелестью. А сейчас просто не успел, слишком неожиданной оказалась встреча, он был занят дорогой и пропустил тот миг, когда свершалось вселение Тали в

прежнюю оболочку, он увидел Талю такой, какая она есть на самом деле. Господи боже мой, да в ней не осталось ничего, ровнешенько ничего от прежней Тали, которую он любил в молодости и не переставал любить все эти годы. А может, он любит эту долговязую, худую, темнлицую старуху, что махала рукой с зажатой в крючковатых пальцах рублевкой? Ответа не было, в душе пустота...

А Талья узнала его?.. Скорее всего узнала, хотя боковые стекла были залеплены грязью. Что она подумала? Какая теперь разница...

...Председатель встретил Демина как родного. Поехал с ним на склад, помог перетащить двигатель в кузов грузовика. С некоторым удивлением Демин обнаружил, что «руководитель» рассчитывает на угощение, будто старался не для своего колхоза, а для чужого дяди. Да нешто жалко, коли человек хороший?.. Но после истории с Жоркой Демин засомневался, можно ли считать председателя хорошим человеком. Все-таки он повел его в ресторан «Лебедь», который в дневные часы превращался в простую столовку, поэтому водку здесь не подавали, ее приносили с собой и держали под столиками. Но коньяк имелся, и Демин взял бутылку, а в глубокую тарелку набрал некорыстной закуски: сала, колбасы, помидоров, пирожков с мясом. Он налил председателю полный граненый стакан, а себе плеснул на доньшко, чтобы чокнуться, — за рулем не пил, хотя гаишного надзора в райцентре не было. Председатель знал его правило и не настаивал.

— Будь здоров, не кашляй! — пробормотал он, цокнул доньшком своего стакана по деминскому и жадно, одним духом выпил.

Демин чувствовал, что председатель чем-то озабочен, но спрашивать не стал — захочет, сам скажет.

— Хорош моторчик я тебе выцарапал? — спросил председатель.

— Хорош! Недельки на две хватит.

— Болтай! Обязан тридцать две накатать.

— А восемь не хочешь?.. Нет, Афанасьич, пока дорог не будет, на технику не надейся.

— Опять за свое? Еще не надоело?

— Надоело. Потому и говорю.

— Ты же сам знаешь, дороги нам не приказаны. Мы должны дома дояркам строить.

— Зачем?

— Чтобы привязать их к этому благородному труду, — скучным голосом сказал председатель.

— Придуряешься, Афанасьич. Неужели наши старухи перестанут за дойки дергать, если ты их в хоромы не переселишь?

— Не о них речь. Прицел на молодежь. Будь!..

— Молодые в доярки не пойдут, хоть ты им дворцы построй. Им маникюр жалко.

— Что правда, то правда, молодых доить не заставишь, — закусывая салом, согласился председатель.

— А Жорку ты зря обидел.

— Не зря. Пора уже понять, что дороги — не наша работа... — и со вздохом добавил: — От них я не чешусь.

— От чего же ты чешешься?

Председатель внимательно посмотрел на Демина, навалился грудью на столешницу и заговорил торопливо, хриплым шепотом, глотая слова:

— Нюрка... бухгалтерша грозитя уйти. Неохота ей под суд... И очень даже свободно, если ревизия... Никто не защитит. Я не я, и хата не моя — закон игры...

Демин не понимал его возбуждения и тревоги. Напился, что ли? Не такой мужик Афанасьич, чтобы окосеть с двух стаканов. Но не могла же его взволновать Нюркина угроза оставить свой пост. А председатель, дергая головой, словно вокруг вилась оса, сообщил, что Боголепов с автобазы, известный «доставала», собрался в Сочи лечить грязью радикулит.

Не понимая, почему председатель съехал на болезнь Боголепова, Демин счел нужным выразить одобрение услышанному.

— Пусть подлечится. Мужик хороший.

— Очень замечательный... Двигатель вот устроил. И задний мост для ЗИЛа обещал. Но как ты четыреста рублей спишешь, если Нюрка уйдет?.. Не знаешь, и я не знаю.

— Какие четыреста рублей?

— На культурный отдых. На юг с пустым карманом не ездят.

— Вон-на... — дошло наконец до тугодумного Демина. — Понятно... А ты погляди, Афанасьич, с другой стороны. У него же хозяйства нету. У нас-то и коровка, и овцы, и боровок на откорме, и огород. У тебя вовсе вишневым сад, как у Чехова.

— А что я с него имею? На рынок не вожу.

— Твоя Марья варенье тазами варит. А он, сердешный, никаким баловством не пользуется.

— Слушай, пойдешь в бухгалтера? — ошарашил вопросом Афанасьич. — Или в председатели?.. Завтра же соберу перевыборное. Мне ничего не сделают — ветеран войны и печень большая. Лечиться поеду. На свои.

— Не дури, — Демину впервые вспало на ум, что не так-то просто будет найти охотника на место, занимаемое этим тусклым, бесполетным человеком, которого все заглазно костят и вроде бы справедливо. — Давай скинемся. Не обедняем.

Председатель глянул насмешливо.

— Колхозный карман трещит. А наш вовсе лопнет.

— Вон-на!.. Это, значит, завсегда?..

— А ты думал!.. За красивые глаза?.. Нам же вечно больше других надо, — со злостью, метящей в Демину, сипел председатель. — Моторы, кузова, задние мосты, хедеры, захеры...

— Да ведь план!..

— Вот где у меня этот план!.. По мне лучше лечь на дно. С отстающих какой спрос?.. — Афанасьич налил коньяку, выпил, кинул в рот кружок колбасы, сжевал и малость успокоился. — За коровий десант слышал?

— Какой еще десант?

— Конечно, об этом в газетах не пишут. И в телевизоре не показывают. Совхоз «Заря», знаешь, вечно в хвосте плетется, так их чуть не из соски поят. Коров выдали породы шароле. А у них силос подобрали, сенажа ноль целых хрен десятых, комбикорма и в помине нет. А трава и кормовая рожь полегли от дождей — машиной не возьмешь, косарей днем с огнем...

— Выгнать на пастбище?..

— Ага. Там такие же умные. Попробовали выгнать. У двух коров передние ножки сразу — чик, напололам, пришлось стрелить. Вес-то огромный, а ноги тоненькие, не по нашим почвам. И вот кто-то за десант сообразил. Нагнали технику: платформы, на которых пушки возят, погрузили коров — и в поле, в зеленую рожь. Все начальство туда съехалось, газетчики — большой антракцион.

— И чего дальше? — заинтересованно спросил Демин.

— Дальше? Скотина ревет, корма чует, а взять не может. Там все, кто был, прямо с мозгов долой. Рвали рожь и в пасть коровам пихали.

— Не пойму... Чего же они не паслись?

— Порода шароле. Не умеют. К стойловому содержанию приучены. Понимаешь, которое уже поколение из кормушек жрет.

— Мать честная! — ахнул Демин. — Это как же они скотину испортили!

— Чего с них взять! Если мы к ним даже муравейники возим.

— Не лепи горбатого, Афанасьич!

— Честное партийное слово, — серьезно и грустно сказал председатель. — Сам не верил. А наемни в райкоме своими ушами слышал: вывозим муравейники. Леса поддерживать. Очень оживленная торговля. А может, кислота нужна. Может, ревматизм лечат. Я лично не интересовался. Не знал, что ты спросишь.

— Как они только живут! — задумчиво, презрительно-жалеючи произнес Демин. — Почему в России всегда все есть, а кругом пусто?..

Прежде чем покинуть райцентр, друзья заглянули в универсам, куда как раз завезли подарочные наборы, включающие духи, пудру, шоколад, баночку икры, копченую сосиску в целлофане, гаванскую сигару в латунном футляре. Взяли по набору.

Обратная дорога, не ставшая легче, оттого что в кузове ворочался автомобильный двигатель, целиком подчинила себе сознание Демина, но, когда вернулись, сгрузили мотор и расстались с председателем, он почувствовал сосущую тоску. В этой тоске был и рев голодных коров породы шароле посреди полеглой ржи, и унылый бубнеж не справляющегося с делом человека. Но Демин знал дальней-дальней угадкой, что вся эта муть прикрывает главную печаль — встречу на перекрестке с долговязой темнолицей старухой.

Демин не поехал сразу за сеном, а подрулил к магазину, как раз закрывавшемуся на обеденный перерыв. Завмаг Люба впустила Демина и заперла за ним дверь. С удивлением и не без приятства Демин обнаружил здесь своих постояльцев: журналиста и Пал Палыча, оба сидели в креслах гарнитура, каждый с коробкой «Пьяной вишни» в руках. Вкуснейшие эти конфеты впервые достигли Дубасова, но не пользовались почему-то спросом, местные жители предпочитали карамельку. При его появлении крутые свежие скулы продавщицы Лизы жарко вспыхнули, и Демина чуть отпустило. Хорошо, что он за-

стал тут своих гостей, видимо, наскучивших постельным режимом, можно будет немного развлечь приезжих, которым так не повезло с погодой.

Подмигнув Любе, он взял пива, пачку печенья, корбку с «Пьяной вишней» и пригласил постояльцев в чуланчик на задах магазина, считавшийся кабинетом завмага. Москвичи охотно приняли приглашение. Люба внесла пай от лица работников прилавка: съезжившийся, но еще годный лимон, сахарный песок, несколько болгарских помидоров и свежую сайку. Компанию пополнила уборщица тетя Дуся, громадная, не старая, но рано поплывшая женщина. Пал Палыч окрестил ее Валькирией, и Демин, не зная, что это значит, стал так называть Дусю, а та откликаться перед Пал Палычем из робости, которая сродни той, что испытываешь при виде незнакомого, ярко окрашенного и, наверное, ядовитого насекомого. Пал Палыч с его лезвистым лицом, верткостью, вездесущими руками и небрежно-самоуверенной речью тревожно завораживал местных бесхитростных людей. И как-то сразу он стал хозяином за столом: командовал, кому куда сесть, распределял кружочки лимона и нехитрую снедь.

Женщины сняли халаты и оказались в одинаковых нарядных кофточках, заслуживших одобрение Пал Палыча. Он властно усадил рядом с собой Лизу, приткнул Любу к журналисту, а Демину предоставил ютиться у огнедышащего бока Валькирии-Дуси.

Журналист — человек усталый и пассивный, но сохранивший вкус к недоброму наблюдению жизни, уже понял, что сегодня будет чем поживиться. Пал Палыч явно клюнул на красивую Лизу с жарко вспыхивающими крутыми скулами и, будучи в любви сторонником кавалерийского наскока, дал шпоры коню, бросил поводья и с занесенной саблей ринулся вперед. В самом порыве Пал Палыча не было ничего оригинального и тем паче привлекательного, но Лиза — женщина гранитного Демина, о чем немедленно догадался тяжелый, сонный рохля и что осталось скрытым от приметливых глаз его шустрого приятеля, и это обстоятельство дарило надежду...

— Стоило забираться в проклятую глушь, чтобы встретить такую женщину! — витийствовал Пал Палыч. — Предлагаю тост за Лизу. Нет, за ее скулы. Они горят, как светофоры. Только что значит красный цвет: нельзя или можно?

Лиза пламенела, Демин осторожно вздыхал, Люба пофыркивала: экий насмешник! Валькирия-Дуся усиленно жевала, приглушая в себе слух челюстной работой, всем было стыдно.

— Сегодня мы устроим бал! — объявил Пал Палыч, разливая пиво по стаканам. — Бал, переходящий в свадьбу. Покончено с холостяцкой жизнью. Вручаю ключ от своей свободы лучшей женщине Нечерноземья. Хозяин! — повернулся он к Демину. — Приготовишь молодоженам боковушку, только подальше от тухлой рыбы!.. — и захохотал.

Демин не знал, что подобное бывает среди людей. Этот приезжий впервые видит женщину, отнюдь не девчонку, не вертихвостку, вдову и мать в той прекрасной, грустной поре, которую называют бабьим летом, и что он себе позволяет. А ведь Лиза ни взглядом, ни жестом не поощрила его к такому поведению. Гостеприимство и великодушье боролись в Демине с оскорбленным чувством. И опять ему казалось, что все это он уже видел: разнузданное ухажерство Пал Палыча, замешательство присутствующих; кажется, дальше происходило что-то совсем гадкое, но что, он не мог вспомнить, как не мог прикрепить к месту и времени смутное воспоминание.

Журналист ждал. На его глазах Пал Палыч не раз попадал впросак, но из всех житейских передраг выходил, не отступив ни на волос от своей обволакивающей сути, сочетавшей хваткость и наглость со стрекозиным легкомыслием. Его выживаемость впечатляла, но журналист долиставал книгу своей жизни и хотел, чтобы на последних страницах порок был наказан, а добродетель восторжествовала. Пока что Пал Палыч проигрывал лишь бои местного значения. Но чистоплюйство, порядочность бессильны перед цинизмом. Хотелось верить, что Демин — воинствующий гуманист. Если Демин стукнет Пал Палыча, думал журналист, то прихлопнет как муху. Он внимательно поглядел на Демина и понял: добрый богатырь. Такой и пальцем не тронет разыгравшегося мышиного жеребчика, слова не скажет, только поглядывает украдкой на Лизу и будто просит: потерпи, милая, черт с ним, с дураком... А хорошая пара — их хозяин и эта продавщица. Почему Демин на ней не женится?.. И тут у журналиста внезапно пропала охота в недобром самоустранении. Не ради Пал Палыча, разумеется, а ради Лизы и Демина пора вмешаться. В любом застолье случаются мгновения дружного отвлечения от общей темы.

Журналист дождался такого мгновения и шепнул Пал Палычу:

— Угомонитесь!.. Это подруга Демина.

— Как?! Почему не предупредили?.. Хорошенькая история!..

Пал Палыч скосил бледно-голубой глаз на Демина. Тот сидел над нетронутым стаканом; каленое лицо с капельками пота на лбу, клетчатая рубашка расстегнута на широченной, тоже загорелой, поросшей седеющим волосом груди, пудовые кулаки отдыхают на столешнице. Воображение Пал Палыча разыгралось...

— Разгонную! — крикнул он, вскочив. — Пошутили, почесали языки, посмеялись — пора и за работу. Обеденный перерыв кончился. Мы-то бездельничаем, а Любушке и Лизоньке пора обслуживать покупателей, Дусеньке наводить чистоту. Предлагаю тост: за культурную торговлю. И чтобы покупатель был взаимно вежлив с продавцом. Внешняя торговля — оплот мира, она соединяет народы и государства. Но миротворчеству, сближению людей служит всякая торговля, в том числе сельская...

Снаружи донесся сильный стук: нетерпеливые покупатели рвались в магазин.

Завмаг Люба двинула стулом, готовая к сближению с покупателями.

— Успокойтесь, — шепнул Пал Палычу журналист, — он не будет вас бить.

— За советскую торговлю! — провозгласил Пал Палыч и выметнулся из-за стола.

Через несколько минут журналист нашел его за поленицей дров.

— Ну что? Угомонился наш ревнивец? — с улыбкой, но несколько нервно спросил Пал Палыч.

— А разве он буйствовал? Терпеливо сносил ваше хамство.

— Откуда мне было знать?.. Вам кто сказал?..

— Никто. Это и слепому видно. Но вы настолько эгоцентричны...

— Я увлекающаяся натура! — перебил Пал Палыч. — Ладно. По-моему, я здорово запудрил им мозги. Кстати, вы не обратили внимания: напротив нашей избы целый день в окне очаровательная мордашка. Спелая рожь, молоко, васильки. Если б не чисто русский тип, то, ей-богу, Ренуар...

— Успокойтесь. Это жена младшего Демина.

— С ума сойти! — взвился Пал Палыч. — Братья-разбойники! Расхватили всех лучших баб. А мне что — на Дусю кидаться? К черту!.. Вы домой?.. А я хочу заглянуть в божий храм...

— Слушай, — сказал Демин Лизе, — я приду сегодня.

— Боюсь, сын приедет.

— Да что он, маленький, не знает?

— Знает, конечно, — вздохнула женщина. — Все знают... Может, другой раз?

— Смотри, — сказал Демин, отводя глаза, налитые тоской.

— Ты что? — спросила она озабоченно. — Неужели из-за этого таракана? — Она прыснула. — Господи, да по мне...

— Нет, — сказал Демин. — При чем тут этот?..

Он не знал слов, чтобы сказать о том, что его томило. А слова были простые, как трава, но не шли на ум.

— Так чего же ты? — допытывалась Лиза.

— Не знаю... Давай поженимся.

— Еще чего?.. — Ее яркие скулы побледнели. — Мой поезд ушел. Найди молодую. Тебе дитя нужно. Слушай... ладно, может, Колька и не приедет...

Лишь во второй половине дня, прихватив гостинцев для старух в заброшенном Перхове и забрав Жорку, Демин отправился за дальним сеном. Немного распогодилось, в небе появились синие промоины, и в них, будто истосковавшись по земле, лупило солнце. Шевельнулась надежда, что, вопреки мрачным прогнозам метеослужбы и бушующему над Гималаями циклону, погода установится. Уж больно хотелось этому верить, ведь что ни год — то потоп, то засуха, и вообще не стало ровного, справедливого на дождь и ведро лета. Можно впрямь поверить старухам, что продырявило кровлю над землей, отчего не стало защиты от всякой вражды.

По дороге Демин поведал брату о своей встрече и разговорах с председателем. Из всего услышанного Жорка заинтересовался лишь тем, что касалось дорог, и сразу стал тереть свою черепушку. Демин уже жалел, что коснулся запретной темы, вредно это для Жорки.

— Значит, он так ни хрена и не понял? — морщась, спросил Жорка.

— А чего понимать-то?.. Он человек зависимый: что прикажут, то и делает.

— А вот Миликян из «Богатыря» взял да и построил дорогу. И никого не спрашивал. А «Богатырь» сейчас — лучший колхоз в области. И молодежи в нем полно.

— У Миликяна высшее агрономическое образование, его где хошь с руками оторвут. Да и в Армении полно родни. Чего ему бояться? А нашему Афанасьичу коли дадут по шее, уже не встанет.

— А ты думал, братуша, — сказал Жорка с каким-то странным светом в дымчато-голубых, как у младенца, глазах, — что на войне люди погибали не только за Москву, или Ленинград, или за взятие рейхстага, а и за безымянную высоту, за речушку, вроде нашей Лягвы, даже за болотную кочку?

— Ну и что?

— А то... Почему мы сейчас так за себя боимся? Ну, снимут с работы, ну, еще чего... Подумаешь!.. Ради стоящего-то дела, а?.. То, вишь, и речушка, как кот на сикал, и болотная кочка столь для родины важны, что жизни не жалко. А сейчас, выходит, нету вообще ничего такого, за что пострадать не страшно?

Демин жалел, что затеял этот разговор. Он не знал, может ли доказательно возразить или всякие возражения хитры и ничтожны, а настоящая правота у Жорки, но знал, что разговор этот брату вреден, и попытался все свести к шутке:

— Постой, ты же завязал с дорогами?

— Да ну, глупость какая! Сказал со злости... Не будет дорог, не будет улиц — и ни хрена не будет. Сам же понимаешь.

Огромная лужа, обдавшая лобовое стекло мутной волной, избавила Демина от ответа...

...К удивлению братьев, в покинутом Перхове занялась какая-то новая, странная жизнь, посторонняя тем древним местным насельникам, которые еще теплили свою свечу. Перхово давно уже отключили от электросети, сняли со снабжения продуктами и хлебом. Но деревня не померла. Тут обосновались, пусть временно, сезонно, пришлые из города люди. Они населили покинутые избы, затопили печи, чего-то посадили в огородах, очистили их от сорняков, развешали белье. Не очень понятно было, как они добирались сюда, но добирались и за это пользовались здешним чистым воздухом и здешней тишиной, добрым лесом, прозрачным мелководьем Лягвы, ку-

пались, ловили рыбу и раков; наверное, об них грелись и местные старухи, чего-то им перепало от пришельцев, и, видать, не так уж бедно, коли дары Демина были приняты хотя и благодарно, но без надрыва.

Эти перемены особенно удивляли старшего Демина: недели полторы назад, когда он косил тут, то не приметил какого-либо оживления, деревня покорно сползала в смерть. То ли городские еще не съехались, то ли в погожий день все были на речке, в лесу, то ли ему застило зрение. А Жорка взыграл и, склонный к радению о народной пользе, уже трудил свою больную голову, как надо бы использовать Перхово. Объявить его дачной зоной и сдавать дома от колхоза, создать базу для грибников и ягодников и, обратно, взимать за аренду, оборудовать привал для рыбаков и охотников, тоже, разумеется, не бесплатный, а все вырученные средства пустить на дорожное строительство. В одержимости Жорки было что-то пугающее...

Рассуждения брата и оживленный вид Перхова нарушили привычные грустные связи Демина с тем местом, где прошли его детство и юность, где он навсегда угадал Талию в стае веснушчатых, белобрыхых, голенастых девчонок и где навсегда же ее потерял. Но это длилось недолго, слабые приметы новой жизни и оживляющие пейзажи фигуры новоселов смазались, истаяли и Жоркины речи, он опять видел заросшую бурьяном, лопухами тихую сельскую улицу. В ее запустении была опрятность — палисадники, лавочки, яблони, покосившиеся плетни — свой старый, нежный мир. Но возвращение прежнего Перхова вместо привычной сладкой тоски принесло острую, неудобную боль. Наверное, ото связывалось с явлением Тали на дороге: как безнадежно изжился образ, который он нес сквозь всю свою жизнь! И ведь так же — со стороны-то видно — изнашивался и он сам, без толку истратив себя на ожидание, на дурную упрямую игру в надежду, не желая понять, что назад дороги нет, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Даже Перхово, заторопившееся к исходу в последние годы, обнаружило животворные силы с появлением новых людей. Как же мог он так закоснеть, залениться омероченной душой, покорно упуская время, которого не вернуть?..

Захотелось скорее к Лизе. Гонимый потоком, не дающим взглянуться в лик ускользающего бытия, лишь уцепившись за нее, как за прибрежный тальник, сможет он остановиться, очнуться, а там, глядишь, и выбраться на

прочный берег. Но между ним и Лизой было еще много непрожитого делового времени, неубранного сена, недоезженных километров. И он покорно и мощно принялся метать влажное сено в кузов грузовика...

А солнце, похоже, всерьез укрепилось в небе. Светило всюду, лишь изредка задерживаясь скользящим облачком, и пока они работали, и пока отвозили сено, и пока Демин медленно, задом подавал машину в узкий двор, и пока скидывали сено, и пока он отводил грузовик на машинный двор, а на пути назад, раздевшись до сатиновых трусов, отмывался с мылом и мочалкой в холодной Лягве. И тут поверилось, что это навсегда. Солнечное тепло растекалось по остывшему телу, неохота было одеваться. Какое же благо — великое и живительное — доброе летнее солнышко! Демину захотелось прочесть какие-нибудь стихи о солнце, из тех, что в школе учили. «Солнце зеленеет...», да нет, какого хрена ему зеленеть? «Травка зеленеет, солнышко блестит!..» А дальше забыл. Как и все забыл, чему в детстве учился. Не помнит он стихов ни про солнце, ни про Евгения Онегина, ни про Анну Каренину. Надо достать «Родную речь» и всю насквозь прочитать, а стихи выучить наизусть.

И чего он так взбодрился? Оттого, что светит солнце? Или оттого, что, смыв с тела грязь, пот и пыль, он заодно и с души смыл что-то дурное, липкое, что таскал не день и не год?

— Инженер! — послышалось с того берега. — Его-рий мне наряд закрыл. Не возражаешь? — Это был знаменитый шабашник-печник Звягин, которого позвали складывать печи в домах для доярок. Звягин был знатный мастер, его печи сроду не дымили, не гнали угара, а тянули так, что едва не утягивали поленья в дымоход.

— Закрыл, и ладно, — отозвался Демин, не понимая, зачем Звягин сообщает ему об этом.

— Забираю я Адольфа. Ты не возражаешь?

Вон что! Значит, стакнулся с ним зятек вопреки всем заверениям, эх же допекло его полусухим законом!

— Дай хоть с сеном кончить, — попросил Демин.

— Зашиваюсь я с печами, — хмуро сказал Звягин. — Кирпич весь битый, намаисси, пока цельный найдешь, а меня в Воропаевке ждут.

— Ладно, Незаменим Петрович. Зять не в крепости у меня. Уйдет, так уйдет.

Звягин потащился навздым, оскальзываясь в грязи, а Демин сказал про себя ему вслед: хрен ты его полу-

чишь. Буду ему тайком персональную бутылку ставить. А засыплюсь, Верушка простит. Ей же лучше, чтоб Адольф под приглядом чумел. Экую власть забрал над человеком яд, заключенный в бутылке! Мысли Демина скользнули на соседнее, не менее важное: рядом с действительностью школиво существует вторая, тeneвая, которую и замечают и вроде бы не замечают. Жорка пятнадцать суток огреб за то, что пытался дорогу построить, а хабаршики цветут и пахнут. Не может государство за всем поспеть, помнить о каждой пуговице для порток, сортирном крючке, деревенской стежке-дорожке или избыной печи. Значит, надо чего-то придумывать, а не отдавать свою заботу на откуп кому не след... Заключив свои невеселые мысли горловым нутряным звуком, Демин пошел домой.

Он надел чистое белье, рубашку, вельветовые брюки, кожаную куртку, натянул короткие резиновые сапожки, а на голову большую «грузинскую» кепку, сделанную в Москве на заказ. В полиэтиленовый мешочек сунул парфюмерно-пищевой набор — Лиза не терпела дорогих подарков и принимала лишь знаки внимания, не имеющие большой денежной цены.

Родня собиралась вечерять, но Демин не стал терять времени — до Лизы было восемь километров грязи. Хорошо еще, что маленько подсохло, а то и к ночи не доползешь. Он, не присев, съел кусок студня, запив его кружкой парного молока, зятю сказал:

— Пока не кончим с сеном, не вяжись с Васькой Звягиным. Осталось ровно ничего. А нервы я тебе подержу.

Сильный шорох, будто горох за стенкой просыпали, отвлек Демина. Он прислушался, боясь поверить догадке, нехотя глянул на окно: опять пошел дождь. Несильный, тонкий, надо выбрать угол зрения, чтобы разглядеть его нити, но такой может на сутки зарядить, его не переждешь. Демин вздохнул и потянулся за дождевиком. Но тяжелый, брезентовый, обметанный понизу засохшей грязью плащ грубо противоречил нарядному виду, и Демин повесил его на место.

— Хватит с тебя и болоньи, — сказал Демин дождю.

...Как быстро намокает окружающий мир. Будто не бывало солнечной передышки, за несколько минут замесилась вновь рыжая грязь, вспухли, пошли пузырями лу-

жи, нагрузили влагой растения и драгоценно, глянцево зазеленела давленная кожа громадных лопухов.

Скользко. Остановился. Выхватил кол из тына. Пошел дальше. Небо какое-то рваное, клочьями свисает, по верхушкам деревьев метет. И видно, как стряхиваются с исчерна-серых косм капли. А затем происходит дождь в дожде. С белесой — солнышко маленько подсвечивает с исподу — глади высеивается дождевая пыль, а сквозь нее вдруг прорывается крупный косою дождь из сумрачных, низких туч. Обдало все, что есть на земле, отбарабанило по кожаным лопухам и сгнуло. С минуто-другую кажется, что дождь вовсе перестал, ан нет, к мокрому лицу будто паутинка липнет — по-прежнему сочится бледная высь. Новый охлест, на этот раз сзади, в спину бросает вперед по скользоте.

И раз Демин не удержался на ногах, но сумел упасть не в грязь, а на травяную обочину. Раздалась лопухорепейно-подорожниковая поросль, мягко приняв беспомощное тело. Подымаясь, схватился за волнец, раскраснел о колючки ладонь, по спине холодные струйки ползут — налило за ворот. Демин рассмеялся над своей дурацкой неудачей: Адольф так не кувыркается, когда вдугаря пьяный домой ползет. Надо внимательней быть, больно ты горяч, брат Демин!..

Мать честная, во что превратились его фартовые брючки — до колен захлюстаны, а на заднице глиняный блин. Демин соскреб нашлапку, штанины трогать не стал — все равно без пользы. Хорошо, что догадался забросить к Лизе джинсы — будет во что переодеться. И рубашка там у него есть, Лиза сама ему в магазине взяла. Надо бы забросить туда и другую амуницию — трусики, майки, носки, ботинки. А то сейчас придется джинсы на голое тело напяливать, чувяки мягкие, глядишь, найдутся, а майку Лизину натянет. Лиза не толстая, но крупная, ширококостная, на него ее майка влезет, только на груди будут торчать две шишечки от ее сосков.

Он вспомнил теплоту ее груди, всего большого доброго тела, ласковых легких рук, и от всех этих волнующих воспоминаний заторопился, сердяга, и запахал брюхом в грязь. Он и не заметил, как его скосило. Может, убыстрил шаг, но ставил ноги твердо, не скользил, может, из земли что торчало и за штанину зацепилось, а может, травяная плеть сапог захлестнула.

А болонья от сильной мокрети не защищает, пустая

вещь, — для городских, игрушечных условий. Он промок насквозь. Надо было дождевик натянуть. Дофорсился, Демин, придешь свинья свиньей. Конечно, Лизаню этим не смутить, она его в любом виде примет, на редкость преданный человек. А может, любящий?.. Демин усмехнулся. Ишь чего захотел, старый барбос. Рассластился. Тебя и молодого не полюбили, когда волос был густой и темный, и зубы все на месте, и кожа гладкая, и глаз веселый, а кому ты сейчас нужен? От одиночества, пустоты не гонит тебя вон вдовая женщина. Мужики-то нынешние или женатики, или пьянь, а ты — свободный и трезвый, — не за бутылкой тащишься.

До чего ж хотелось в тепло, к самовару, надуться бы чаю с медом, греть руки о фарфоровую чашку и глядя, как плавно поворачивается Лиза по избе, готовясь на ночь, а потом слышать спиной, как взбивает подушки в спальне, оправляет постель. И дожить до ночи с нею, и освободиться от всего налипшего на душу за сегодняшний большой день, и чтобы навсегда сгинула темнолицая старуха на росстанях с поднятой, будто для проклятия, рукой, и живое страдание тогда стало бы грустной памятью. И все это без слов, без тщетных потуг высказаться, он не говорун, не умеет сорить словами, да это и не нужно с Лизой, при ней тишина становится умной.

И опять мысль о Лизе обернулась нетерпением, а нетерпение новым нырком в грязь. Демин не спешил подниматься, он уже промок насквозь. Руки — выше часов на левой, выше японской браслетки на правой — провалились в грязь, и Демин спокойно опирался на них, чтобы сохранить полусидячее положение и рассчитать дальнейший путь. Нельзя сейчас думать о Лизе, а то сроду не дойдешь. Надо думать о чем-то успокаивающем, придающем шагу размеренность. О ком же ему думать? О матери — стара, плоха, никакой тут не будет успокоенности; о брате Жорке, как загредел на пятнадцать суток за горячую свою честность? О племяннике — справный малый, да в армию идет, все равно жалко; о Жоркиной жене, о картинке писаной, обратно за брата переживаешь; о Верушке и ее благоверном думать — душу рвать. Вот о двоюродном брате, саратовском Сенечке, можно думать, у него все красиво — и в работе, и в быту. Решено: он будет думать о Сенечке сколько хватит, а там, может, еще какая легкая мысль зацепится.

Демин обтер руки мокрой травой и поднялся. Дождь проредился, впереди, за бугром, открылась луковками и

крестами церковь. Мать честная, огорчился Демин, шел-шел, а и двух километров не прошел, это когда же доберется он до Лизаветы? По левую руку зеленая луговина полого уходила к густому ивию, скрывавшему узкую Лягву. Там паслась по конскому шавелю лошадь темной масти. Такой у них в колхозе не значилось. И тут Демин сообразил, что это Соловый, прозванный так за расцветку старый мерин. А потемнел от дождя. Шальная мысль пришла ему в голову: прискакать к Лизе на коне. Конечно, по такой дороге не поскачешь, особенно без поводов и седла, но и шагом доехать все лучше, чем вот так — окарачь.

Демин пошел через луг, ставший топким болотом, вода заливала в короткие сапожки, но это уже не имело значения. Пощипывая траву, равнодушный к секущему его дождю, Соловый медленно удалялся к реке. Демин позвал его, но тот и ухом не повел. Казалось бы, в сиротливой своей неприютности он должен был откликнуться человеческому голосу, но старому мерину надоели люди. Он знал, что от них не может быть ничего, кроме доукки. Когда Демин положил ему ладонь на шею, Соловый не отозвался даже вздрогом кожи, не повел глазом, залепленным мокрой челкой. Приговаривая что-то ласковое, Демин соображал, как бы на него взобраться. В детстве Демин был лихим наездником, не боялся даже злых, закидистых кобыл, но с той далекой поры и близко не подходил к лошади. Чтобы сесть на неоседланную лошадь, надо упасть на нее животом и, держась за холку, перекинуть через круп ногу. Он так и хотел сделать, да, видимо, недопрыгнул и сполз назад. Изловчившись, подпрыгнул, как мог, высоко, упал брюхом на скользкую спину Солового, но перекинуть ногу не сумел. Забылся молодой навык, ногам его ловко с педалями машины, не с телом животного. Соловый отказывался ему помочь. Он вскинул голову, всхрапнул, затрусил боком, прогнулся, рванул вперед — и Демин оказался на земле. Соловый сразу стал и, не оглянувшись на поверженного человека, принялся пощипывать траву.

Было не больно, а обидно. Что стоит этой кормленной скотине оказать снисхождение путнику? Какие особые труды несет мерин в колхозе? Ну, воду возит, обед в поле, только и делов. Экая нелюбезная скотина!.. Переупрямить Солового не удалось: когда Демин в очередной раз направился к нему, мерин не спеша повернулся и кинул в него задними ногами.

— Ну и черт с тобой! — обиделся Демин и побрел через луг к дороге...

...Дальше все было не по правде. Ведь когда зарядит такой вот обложной дождь, он может быть сильнее или слабее, может тихо сеяться и хлестом бить, может обратиться в мельчайшую водяную пыль или кропить землю тяжелыми густыми каплями, но, чтобы сквозь него прорвался грозовой ливень, такого сроду не бывало. А вот случилось.

Тугой ветер натянул пространство, уперся в грудь Демину, оборвав его шаг, дождь понесся над землей, будто лег на ветер, и вдруг исчез. Ветер ушел ввысь, разорвал и разметал серую наволочь, обнажилась грифельно-белесая рыхлость, в которой ворочались не обретавшие форму громозды, оттуда вырвался разящий блеск, задержавшись точками слепоты в зрачках, гром и ливень рухнули одновременно.

Ослепленный, оглушенный, сбитый с толку, Демин пришел в себя меж гранитных плит и металлических оград старого церковного кладбища. Над кладбищем смыкались кроны высоченных вязов, задерживая ливень. Демин вытер лицо носовым платком, проморгался. Перед ним был старый гранитный голбец с золоченой, почти осыпавшейся надписью: «Драгоценному супругу — безутешная вдова». Вон как — драгоценному!.. От безутешной!.. Надпись была с буквой «ять». Давно истлели в земле гробы и заключенная в них плоть, а память о далекой супружеской любви жива и поныне. Ах, как хорошо оставить по себе безутешную вдову! Демин представил себе черный вдовий, плотно повязанный платок, из траурной рамы с тихой скорбью глядят теплые карие глаза, и одинокая слеза вычерчивает дорожку по крутой скуле. До чего легко и удобно вместились Лиза в примечтанный образ!..

Демин заметил свет, пробивающийся из церковных дверей. Шла служба, очевидно, всенощная. Демин не больно разбирался в обрядах, в церковь он ни ногой. Не только потому, что был членом партии. Разве не бывает таких — с партийным билетом в кармане, — что и детей крестят, и покойников отпевают, и куличи святят, а схваченные за руку, трусливо брусят, что в бога на иконах не верят, но допускают что-то такое высшее. Демин не успел обрести веру в раннем детстве, а вся последующая жизнь с войной, голодом, разрухой, трудом и усталостью, личными неудачами не могла убедить его в

существовании бога. Демин был знаком с батюшкой, недавно заменившим совсем одряхлевшего священника. Он наивно спрашивал у Демина разрешение на заказ Федосеичу какой-нибудь вьюшки или дверного засова. Опираясь внутренне на свое знакомство с попом, Демин счел удобным зайти в церковь погреться.

Шла служба. Демин следил за уверенными и хоть не торопливыми, но слишком деловыми движениями батюшки, человека лет сорока, с худым скуластым лицом, слушал его теноровый, жестковатый голос и удивлялся: нормальный мужик, небось в армии отслужил, почему же выбрал окольную тропку, идущую мимо всего, чем дышит страна, а ведь мог бы и в сельском хозяйстве работать, и в школе преподавать. У него семья есть, дочка с сыном — школьники, еще не успел их с прежнего места перевезти, поди, ребятишкам не больно ловко, что их отец долгогривый.

Подсобляли священнику две черные легконогие старухи из церковной десятки. Еще шесть-семь старух истоиво молились и клали поклоны. Негусто. Да кто потащится по такой погоде в церковь? Мать, впрочем, говорила, что и в любое время тут пустовато. Как только держится приход при такой слабой посещаемости?.. Набрав в грудь медово-восковитого духа, Демин двинулся в глубь храма, где было теплее, но тут окончилась служба.

Разоблачившись в ризнице, стройный и тонкий в черном стихаре, священник подошел к Демину поздороваться. Не желая быть заподозренным в религиозном усердии, Демин поспешил сообщить, что пробирается в Усково, а в храме укрылся от ливня.

Чуть приметная улыбка тронула бледные губы батюшки.

— Лишь важная цель может погнать человека за порог в такую непогодь.

— Куда уж важнее!.. — пробормотал Демин, которому показалось, что поп видит его насквозь.

— Вы не обижены за вашего постояльца? — Голос священника звучал вкрадчиво.

Демин не понял.

— Явился некий муж, видом странен и непригляден, взором непокоен и быстр, — деланно-шутливый тон прикрывал тревогу. — Сообщил о гостеприимстве, оказанном ему вами, и поинтересовался иконами.

— Вон-на!.. — только и сказал Демин.

— По его мнению, в домах у местных жителей завалялись черные доски, и он просил меня стать его эмиссаром по спасению еще не расхищенных художественных ценностей.

Надо же, никак не угомонятся, разбойники. Все лезут, лезут, и грязь, и бездорожье им нипочем... Сколько же скопила русская деревня, если до сих пор к ней тянутся жадные, загребущие лапы?..

— Он полагал, — все неуверенней продолжал поп, — что в церковных запасниках есть лишние, по его выражению, предметы.

— Вы хорошо турнули его, батюшка? — с надеждой спросил Демин.

Улыбка облегчения тронула тонкие губы.

— Памятуя, что Христос изгнал мытарей из храма, я вежливо, но решительно указал ему на дверь.

— Вот и славно! — Демин понял наконец, что беспокоило священника. — Обогрелся. Спасибо. Мне пора.

— Возьмите фонарик. — И, предупреждая отказ: — У меня этого добра, как в магазине.

Демин сунул фонарик в карман и протянул руку.

— Семью привезешь — транспорт завсегда. Только скажи загодя, — доверчивым «ты» Демин как бы скрепил временный союз светской и церковной власти против шустрого браконьера...

Фонарик был с динамкой, давно уже такие не попадались Демину, он нажал на рычажок и выдавил бледное пятно света. В церковном дворе было темно от деревьев и высокой каменной ограды, а небо еще не налилось ночью — дымно-палевое от закатившегося, но еще творящего свет солнца.

Ливень кончился. Изредка по лопухам гукали полно слитые капли, то ли стряхивались с деревьев, то ли опроставшиеся тучи, уходя, отжимали остатнюю влагу. От земли тянуло легким куром. Надгробия призрачно выступали из замешенного туманом сумрака. Фонарик света не прибавлял, ему нужна чистая ночная темнота. Демин шел осторожно, опробовать землю впереди себя было нечем — кол где-то потерялся. Тепло, которым он не успел как следует пропитаться, покидало его знобкой дрожью. Выйдя за ограду, он не столько увидел с бугра, сколько почувствовал большое неприятное пространство, отделявшее его от Лизы. Он как будто сначала начинал свой путь.

...Время приближалось к полуночи, когда задремавшая в кухне Лиза услышала скрип нарочно не запертой входной двери и шаркающие шаги в темных сенях. Спросонок она не сразу сообразила, кто это может быть. Потом к ней вернулась память: она ждала Демина, обещавшего прийти, но дождалась сына-пэтэушника, учившегося в райцентре. Он предупреждал, что явится в субботу, если у них отменят вечер самодеятельности. Она говорила Демину, но тот не поверил, настоял на своем. Жизнь, как всегда, распорядилась по-дурному: если б Демирин не собирался к ней, сын приехал бы в воскресенье, если б вообще приехал — путь из райцентра в плохую погоду не больно заманчив. Но все же куда лучше, чем из Дубасова, особенно с того края деревни, где живет Демирин. Каково ему тащиться сюда по грязи и дождю и получить от ворот поворот! Мужик замотан хуже некуда, как еще хватает сил думать о любви. Всю жизнь один, вот и не успел истратиться... Но Демирин все не было. Они поужинали, сын куда-то выходил и скоро вернулся, молчаливый, злой, выпил бутылку «Байкала», лег спать. Она осталась в кухне. Лиза знала обязательный характер Демирин и не сомневалась, что он придет. Она вздрагивала, при каждом охлесте дождя в оконное стекло, представляя, каково сейчас путнику на дороге. Потом разразилась гроза с обломным ливнем и молниями, вблескивающими одна в другую, и Лиза взмолилась, чтобы Демирин не шел к ней, чтобы загодя раздумал идти. Она почти убедила себя в том, что он оказался человеком предусмотрительным и не высунулся из дома. Но все-таки осталась в кухне и задремала, положив руки на кухонный стол, а голову на руки. Она не заметила, как уснула, и не знала, что спит, потому что ей ничего не снилось. А потом скрип двери, тяжелые шаги, и вот он стоит перед ней, шумно дыша, мокрый, грязный, заляпанный с ног до головы глиной, с расщепленной губой и подбитым глазом.

— Миня!.. Да что же это с тобой?

— С мостков свалился, — хрипло ответил Демирин. Он прочистил горло, и, отвернувшись, сплюнул за порог. Затем вынул что-то из-под болоньи. — Держи.

Она не любила подарков, но сейчас взяла, не споря, и положила на подоконник.

— Жалкий ты мой, — сказала женщина. — Нельзя ко мне. Сын приехал.

— Давно? — бессмысленно спросил Демирин.

Странно, но в глубине души он знал, что так и не достигнет Лизы. Он все время ждал той последней помехи, которая оборвет ему путь. Выбор был большой: неудачное падение, удар копытом в лоб, молния, гнилые мостки. Последние едва не сработали, бросив его лицом на торчком вставший комель, но судьба рассудила иначе — разминуться с Лизой у самого ее сердца. Быстро перекатился через память весь проделанный путь, он поймал готовый сорваться взвоя и словно проглотил его. Больно оцарапало гортань.

— Какая теперь разница? — услышал он и догадался, что спрашивал о чем-то сто лет назад. — Завтра к вечеру уедет.

Понятно, речь шла о сыне. Демин не хотел, чтобы Лиза переживала. Никакой вины на ней нет. Это жизнь всех виноватит, порой без смысла и разбора.

— Путем. Тогда и забегу, — сказал он, зная, что завтрашний день не оставит ему ни времени, ни сил.

Она тоже это знала и не хотела, чтобы Демин выглядел обманщиком:

— Чего загадывать? Там видно будет.

— Ну, я пошел, — сказал Демин.

— погоди.

Лиза намочила полотенце под рукомойником и протерла ему лицо.

— Йодом прижечь?

— Не люблю — щиплет. На мне как на собаке жаждает. Бывай.

— Постой! — она сунулась к буфету, достала коробку, завернутую в целлофан, протянула Демину. — Сегодня завезли.

Он взял коробку и рукой мгновенно угадал подарочный набор: духи, пудра, шоколад, баночка икры, копченая сосиска и гаванская сигара. Все правильно, за этим он и шел. Он хотел коснуться Лизы — благодарно, прощально, печально, но побоялся испачкать ее. — Ладно, обойдемся.

Зажужжал в руке фонарик с динамкой. Он шел, ступая в бледное пятно света. Все сущее вмещалось в этот маленький круг: он сам, клочок раскисшей земли и влажная яркая мурава, больше не было ничего, тьма. Пойдет ли он еще к Лизе? Не в том дело, что сын приехал. Сегодня сын, завтра племянница, послезавтра бывшая свекровь, а там постирушка затеется или еще чего.

Он не вмещается в Лизино время, он посторонний. И она не хочет, чтобы он стал ей другим. Нет у нее для него душевного места, оно занято сыном, родней, памятью о прежней жизни, разными заботами, и ничего менять она не хочет. А места в ее постели, когда она удосужится пустить, теперь ему почему-то мало. Демин еще не знал, больно ли это открытие — не беден на них оказался сегодняшний день! — хочет ли быть всегда с Лизой?.. Ответа он не знал. Знал только, что нельзя больше одному...

Поездка на Острова

1

Они опоздали на теплоход. На прекрасный туристский теплоход, с нарядными каютами, баром, кинозалом, скоростной теплоход, который тратит от Архангельска до Соловков всего одну ночь. Их подвело доверие к авиации.

— Зачем трястись ночь и утро в поезде, когда за полтора часа лету мы будем в Архангельске, — говорил Борский — ведущий в паре, — и нас с аэропорта доставят прямо на теплоход.

Борский достал туристские путевки в Соловки, куда после пожара, уничтожившего всю органическую жизнь на Заицких островах, вольных странников не только не допускали, но, буде кто прорвется, под конвоем возвращали на Большую землю.

Неорганизованные туристы пускали на свои якобы романтические костры реликтовые деревья, они истребили не только рыбу, водоплавающую и боровую дичь, но подобались к тюленям, нерпам и «зайцам», заразив многочисленное и кроткое местное население беспримерным хищничеством. Отбраконьерив, натрескавшись ухи, налившись водкой и пивом, романтики второй половины двадцатого века принимались щипать гитарные струны и



петь горестные — не из своей биографии — песни, затем, взбодрив костры в защиту от комарья, забирались в палатки и засыпали, довольные собой и жизнью. В одну из подобных ночей сгорели дотла Заицкие острова. На чем и кончилась браконьерски-гитарная романтика в соловецком микромире.

Эти сведения о Соловках собрал, разумеется, Борский, которому принадлежала инициатива поездки — сам Егошин никогда бы не отважился на такое громоздкое мероприятие. Вообще-то он давно мечтал — да еще как мечтал! — о поездке на Соловецкие острова, именно туда, а не в Кизи, или в Холмогоры, или в Каргополь, там ему тоже хотелось побывать, поскольку он любил всю русскую старину, но Соловками — грезил. Не следует думать, что сильная эта тяга мешала ему жить, спать и выполнять свои служебные обязанности — он был старшим редактором отдела поэзии крупного московского издательства, — но когда заговаривали об отпуске, а отпускная горячка охватывала его друзей и близких с первым весенним солнцем, Егошин всякий раз убежденно говорил: «Кто куда, а я — в Соловки». Прежде этому просто удивлялись: за каким, мол, чертом вас туда несет? «Там особый микроклимат», — застенчиво отвечал Егошин, не зная иного объяснения. Он где-то вычитал, что на Соловецких островах летняя температура, равно и зимняя, на несколько градусов выше, чем положено в том климатическом поясе. Позже, когда Соловки вошли в моду, — о них стали писать литераторы-природолюбцы, — намерение Егошина уже не удивляло, а раздражало: мол, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Егошин славился неподвижностью, косностью и домоседством: он не бывал ни на Кавказе, ни в Крыму, и даже в Ленинград попал уже на старости лет по служебной командировке, хотя бредил петербургскими стихами Пушкина, Блока, Мандельштама, помнил наизусть ленинградский цикл Кирсанова. Он был до ноздрей набит стихами, в том числе мусорными, которые хотелось сразу и навсегда забыть. Но тут он ничего не мог поделывать со своей памятью, цепкой, как волчец, к рифмующимся строчкам. Сам же писал стихи лишь в переходном возрасте — очень звучные, четкие, с хорошими, даже изысканными рифмами и вовсе бесталанные, что он понял довольно рано и почему-то — без боли. Он забросил стихи, почти забросил, но раз в два-три года возникала настоятельная потребность написать стихотворе-

ние. Егошин сопротивлялся, как мог, этому странному и докучному велению, но оно неизменно побеждало, и он быстро, мелким, четким почерком, без помарок записывал уже сложившееся в нем стихотворение, а потом удивлялся, почему он, человек, лишенный поэтического дарования, пишет так хорошо, а талантливые божьей милостью поэты — так плохо. Не всегда, разумеется, но частенько. Стихи свои он никому не показывал и, протаскав день-другой в кармане, уничтожал. В издательстве почему-то были убеждены, что он иступленно предается греху поэтического словоблудия. Это придавало оттенок насмешки вообще-то доброжелательному отношению к скромному и безвредному человеку, которому прощали даже высочайшую квалификацию. А вот начальство его не жаловало, хотя и знало ему цену. Работник он был безукоризненный и безотказный, но лишь в пределах своих прямых обязанностей. На собраниях он, случалось, появлялся, демонстрируя тем самым добрую волю, но неизменно минут через десять уходил — крайне деликатно, на цыпочках. Особенно же плохо проявлял он себя на сельскохозяйственных работах. Нередко путал хорошие растения с плевелами, выпалывал ростки турнепса вместо сорняков. Разумеется, без злого умысла, а по причине крайней близорукости. Из-за плохого зрения Егошин всю войну прослужил писарем и в сражение попал лишь раз, случайно, когда выбили весь боевой состав и командование заткнуло щель нестроевиками: писарской братией, почтарями, кашеварами, ездовыми и похоронной командой. И самое удивительное, что эти не обученные бою люди продержались против немецких танков и автоматчиков до подхода подкрепления. Егошин вместе с другими стрелял из винтовки в указанном направлении, ровным счетом ничего не видя в тумане, роящемся сразу за мушкой, которую он неведь зачем старался совместить с прорезью прицела. Этому занятию он предавался так долго, что под конец вообще перестал что-либо соображать и только палил в белесую муть, а когда иссякали патроны, доставал из подсумка новые и неловко запикивал в магазин. Этому его научили еще в школе. Наконец все кончилось, и Егошин обнаружил, что у него рукав полон крови. А он и не заметил, что ранен «в упоении боя», как шутил про себя в госпитале. Егошин думал, что его впечатления были бы значительно полнее и богаче, если бы он видел противника. Другие-то видели, но из всех оставшихся в живых лишь Егошин удостоился

ордена Славы III степени, наверное, потому, что был ранен. Начальство словно стеснялось этого сражения и награды отмерило скупое. Высокий солдатский орден смутил Егошина, ведь он-то знал, слепой крот, что стрелял хуже всех, а рана — просто случайность, к тому же он ее даже не почувствовал. Это лишний раз убедило его, что награды столь же условны, как и всякое возвеличивание одного человека над другим. В мирные дни Егошин не корчил из себя ветерана и о своей ране не вспоминал.

Сельскохозяйственные промахи Егошина стали известны издательскому начальству, и его вызвали «на ковер». Старшего редактора отдела поэзии спросили без обиняков, почему он не уважает земледелие.

Егошин пояснил, что считает труд земледельца высшей формой человеческой деятельности; Лев Толстой, по его мнению, пахал вовсе не из сухих этических соображений, а из любви к этой потной работе.

— Тем более непонятно, почему вы так небрежны... — сказал вальяжный человек, утопавший в кожаном кресле, кажется, то был новый директор, Егошин видел его впервые.

— Я близорук...

— А очки для чего?

— Извините, но под жарким солнцем их заливает потом.

— Ну, знаете!.. — директор развел руками. — Это ни в какие ворота не лезет.

— Позволю себе напомнить вам, что я поступил сюда редактором отдела поэзии, а не пахарем, не полольщиком турнепса, не сборщиком картофеля.

— А как же все?..

— Вот об этом стоило бы серьезно подумать, — сказал Егошин, поправив очки со сломанной дужкой, — и не на таком уровне... Я никому не навязываю своей точки зрения, но разум и совесть подсказывают мне, что эта практика — экономический и этический нонсенс.

— Это что еще такое? — грозно спросила задыхающаяся под собственным жиром женщина. Егошину казалось, что он видел ее за стойкой редакционного буфета, но сейчас она представляла нечто высшее, видимо, профком.

— Нонсенс — это абсурд, ну, чепуха, бессмыслица, — пояснил директор. — При чем тут только этика? — обратился он к Егошину.

— Ага! Вы не спрашиваете, при чем тут экономика. Значит, вам понятно, во что обходится государству кар-

тошка, которую неумело, с огромными потерями убирают люди, получающие от полутораста до пятисот рублей в месяц...

Он вдруг осекся, поняв, что не сумеет пробиться к этим людям. Он не верил в Ромео, спешащего на свидание к Джульетте после прополки турнепса, в Джульетту, едва отмывшуюся после овощной базы, не представлял, чтобы виттенбергский студент Гамлет мог закрутить свою великую карусель, перебрав вместе с Горацио тонну гнилой капусты. В лучшем случае на это годятся Розенкранц и Гильденстерн. Он не видел на овощной базе юных Герцена и Огарева.

Он молчал, а двое за столом с безразличным удивлением смотрели па мозгляка-очкарика, вечного редактора, засохшего на ста шестидесяти, человека не растущего, никогда не бывшего за рубежом, лишённого малейших привилегий, заслуженных преимуществ и еще смеющего рассуждать.

— Мы ждем, — сказал директор.

Егошин вздохнул и по обыкновению уклонился.

— Я думаю, такого рода вопросы дело... вкуса каждого. Я не земледелец, но и не трибун, не спорщик. Нестроевик по всем статьям. Редактор отдела поэзии...

— Как можно тебе доверять воспитание!.. — начала толстая женщина; привыкнув всех «тыкать» за стойкой буфета, она не могла изменить тон и в новой, высшей ипостаси.

Директор не дал ей разойтись.

— Ладно! Мораль читать ни к чему. Вот что, товарищ Егошин, мы не будем посылать вас в ноле, только на склад, там вы справитесь.

— Постараюсь, — пожал плечами Егошин и покинул кабинет.

— Вот хлюпик! — презрительно выхрипнула толстуха. — Гнать таких надо!

— Если бы у меня был план только по картофелю и турнепсу, — сказал директор, — я бы так и сделал. Но мы должны еще и литературу выпускать...

Разговор этот имел для Егошина лишь одно отрицательное последствие: отныне его стали тщательно обходить премиями, поощрениями, наградами, даже простыми благодарностями. Но разве унизишь человека, который не стеснялся ходить на работу с продранными локтями и без единой пуговицы на пиджаке? Когда же ему указали на неприличие такого вида, он стал являться

в любой сезон в белой рубашке апаш, сохранившейся с довоенной поры, и в лыжных штанах. Он не потрудился объяснить сослуживцам, что деньги, отложенные на новый костюм, ухнул на случайно подвернувшийся Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. С полным равнодушием относился он к тому, что отпуск ему дают только в ноябре или апреле (глубиной души он никогда не верил в свой соловецкий вояж), а и в эти неудобные месяцы прекрасно валяться на продавленном диване с книжкой в руках. Сослуживцы в конце концов заметили стойкую немилость начальства к Егошину и бессознательно взяли с ним небрежно-высокомерный тон. Как-то само собой получилось, что его рабочее место переместилось к окну, на сквозняк, и теперь он не вылезал из простуды. Его хронический насморк стал предметом постоянных шуток, тем более что холостяцкие носовые платки Егошина не отличались свежестью. Его прозвали «бациллоносителем» и при каждом удобном случае ехидно замечали, что работавшая прежде на этом месте кудрявая Машенька почему-то не простужалась. Можно было напомнить, что Машенька почти не присаживалась к своему письменному столу, как-то иначе используя служебное время, но Егошину это и в голову не приходило. К чему было заводиться, если все это ничуть его не трогало, не доставляло даже минутного огорчения, ни тени раздражения и досады?

Лишь изредка с добродушной усмешкой он сознавал, что его свойства, поступки, привычки, облик кажутся окружающим нелепыми, отсталыми, смешными, но не задерживался на этом душевно, ибо в мире было столько прекрасного: стихи, проза, картины, музыка, красивые лица, солнце, небо, облака, снег, весенняя капель, грозы, упоительные безнадежные верленовские осенние дожди, и ведь кроме настоящего — дано прошлое, и при малом усилии он может спорить с Чаадаевым, танцевать с Марией-Антуанеттой, шагать в каторжном строю с декабристами, слыша справа дыхание Пущина, а слева — Бестужева, и на дивном этом пиру, дарованном невесте за какие заслуги, волшебном, но таком кратком пиру не успеешь надыхаться поэзией одного Пушкина, а ведь есть еще Тютчев, Лермонтов, Фет, Анненский, Блок, Мандельштам, и чего стоят рядом с этими те малости, которыми люди стараются отравлять друг другу мимолетность бытия? Надо закрывать глаза на все мелкое, лишнее, до предела упростить существование, и ты ста-

новишься свободен, как птица, если птицы действительно свободны.

Любимый его прозаик из новых — Андрей Платонов презирал людей, не стоявших в очередях. Грустный символ нашего отечественного бытия — очередь как выстроилась сразу после революции, так, лишь изредка укорачиваясь, подтаивая, протянулась через всю нашу жизнь. Очереди эпохи «военного коммунизма», очереди поры коллективизации, скорбные, безнадежные очереди войны, злые, но бодрые от привычности, натренированности очереди последующей поры — они породили особую психологию, выносливость, выдержку, закалили и укрепили народ в том великом терпении, какого ему и от века не занимать, породили свой особый язык и терпкий юмор — жаль, что никто не удосужился собрать фольклор очередей. А вот тихий человек Егошин никогда не стоял в очередях, считая это самым пустым, пропащим из всех занятий. И, конечно, не потому, что знал способ получить что-либо в обход. Он просто не становился в очередь, обходясь без того, чего иным путем нельзя достать. Там, где извивался серый хвост очереди, Егошина не стоило искать. Он предпочитал тащиться пешком на службу и со службы километров пять-шесть, но не выстаивать очередь на троллейбус, не стремился на премьеры кинофильмов и экстраординарные выставки, не чувствовал себя обделенным на пиру жизни, оставаясь без новогодних мандаринов, которые любил с детства, и без колбасы в будние дни, хотя тоже очень любил этот продукт. Он твердо считал, что в материальном мире нет такого, ради чего стоило бы стоять в очереди. При этом отнюдь не кичился этим своим свойством, прекрасно сознавая, что если бы у него в доме плакали дети, то ради них он выстоял бы любую очередь. Но детей не было, и щедушный, но по-своему закаленный и выносливый субъект, именуемый Егошиным, приучился обходиться столь мизерным количеством самой примитивной пищи и был так неприхотлив во всех своих привычках, одежде, развлечениях, что мог позволить себе не стоять в очередях. Свой хронический насморк он не лечил — в аптеках тоже очереди, но зато его обходили ежегодные эпидемии гриппа, он был морозоустойчив, поскольку всю жизнь — после армии — довольствовался плащом с подстежкой. Изнашивал он эти плащи, равно и костюмы, до полного уничтожения.

Случалось, что непрактичность Егошина, так пред-

ставлялось окружающим его сознательное пренебрежение материальной стороной жизни, вызвала вспышку брезгливого сострадания, и ему, как с неба, падал христов гостинец: к примеру, очень приличная байковая куртка, когда он целый год проходил в рубашке апаш, сослуживцы скинулись и преподнесли ему на Новый год куртку, чтобы он не срамил своим видом отдел; другой раз он получил стопку носовых платков. После обеденного перерыва, на который он не ходил, Егошин вдруг обнаруживал на своем письменном столе бутерброд или плюшку. Егошин понимал, что его отвлеченность оборачивается некоторым паразитизмом, но переделать себя не мог. Он просто не в силах был доставать одежду, равно помнить о плюшке или бутерброде, когда корпел над рукописью. Егошину искренне хотелось не допускать жестов милосердия, но ничего не получалось. Он старался отслужить дарителям тем, чем сам обладал в избытке: чувством стиля и слова, литературным слухом, высоким редакторским мастерством, и нельзя сказать, чтобы его помощью пренебрегали — он делал много чужой работы, но всегда чувствовал себя в неоплатном долгу перед сослуживцами.

Неухоженный насморчный мозгляк и небожитель, Егошин одних раздражал, у других вызывал чувство снисходительного презрения, но вне служебного мира немало людей относились к нему не просто с симпатией и интересом, а даже с некоторой горячностью, среди последних преобладали женщины. Устав от своих бойцовых спутников, их нахрапа, алкоголизма и хамства, молодые красивые женщины прикидали к тихому Егошину как к живительному роднику. Им нравились его мягкость, деликатность, старомодность, даже неосведомленность в том, что общеизвестно, при странной, через край наполненности чем-то лишь ему важным и нужным. Ничемность его богатств вызвала у них уважение и нежность, они сильно, хоть и ненадолго, привязывались к нему, а покинув, сохраняли о нем трогательную и чуть удивленную память, ибо, догадавшись, наконец, что от него требуют не только стихи и соображения о Сергии Радонежском, Егошин оказывался весьма пылким любовником.

Но женился Егошин лишь на женщинах, которые ему давно и прочно не нравились, на злых, сварливых, корыстных и несчастных бабах, которые шли за него с отчаяния. И он, смутно догадываясь об этом, стремился им по-

мочь; у него было жертвенное отношение к браку, от которого он не ждал для себя ничего хорошего. В чем и не обманывался. Но каждая из этих жутковатых недолговременных спутниц что-то выгадывала для себя, и Егошин считал, что цель достигнута. В результате трех браков, вернее, трех разводов, сопровождавшихся разделом жилплощади, Егошин из родительской трехкомнатной квартиры попал в коммуналку. В описываемую пору, приближаясь к шестидесяти, он считал себя навсегда освобожденным от обязательств перед одинокими противными женщинами с несложившейся судьбой. Он многого достиг на пути к чистой духовности: восьмиметровый пенал служил ему жильем, здесь помещались диван, столик, стул и полка с книгами; из движимого имущества у него еще был кофейник, две чашки без блюдец, тарелка, нож и остатки материнского серебра — три чайные ложечки. На гвозде у входной двери висел плащ с подстежкой, на другом — странная мохнатая кепка с наушниками. Егошин не помнил, откуда она взялась. Если законные жены подчистую обобрали Егошина, то заботой временных подруг он был обеспечен постельным бельем и весьма изысканными туалетными принадлежностями: в комнате Егошина, переоборудованной из ванной, находился фарфоровый умывальник, и там стояли всевозможные флакончики с духами и одеколоном, в мыльнице благоухало чудесное «парижское» мыло, а свои седеющие редкие волосы Егошин мог холить замечательными щетками и расческами. Никакой техники, даже электробритвы, у него, разумеется, не было. Зато Егошин гордился, что у него, как у Аполлона Григорьева, имелся собственный эмалированный ночной горшок.

В этой берложке Егошин по знал ни скуки, ни одиночества. Помимо того, что он то и дело устраивал себе пиры духа: курил с Байроном, пил с Эдгаром По, спорил с Верленом о верлибре и с Петраркой о сонете, зачитывался до одури стихами (в совершенстве владел пятью главными европейскими языками, свободно — древними), его посещали современники во плоти и крови. Прежде всего — «даменбезухе», как стыдливо и старомодно называл Егошин визиты своих приятельниц, затем — общение с поэтами и другими литературными людьми, артистами-чтецами, коллекционерами, любителями старины и разными чудаками, которых почему-то влекло к нему. Среди прочих был отставной генерал-лейтенант — сосед по дому. От сытого безделья он приходил к Егошину по-

пенять тому за бессемейность и богему, а заодно пожаловаться на домашних: аспиду-зятя и кобру-невестку. Облегчив душу и выпив принесенную с собой четвертинку, генерал уходил в свои неуютные хоромы, — Егосину казалось, что старый воин не то чтобы завидует ему, но проводит какие-то безрадостные для себя параллели, сопровождаемые глубокими вздохами, отчего звякали ордена на богатырской груди. Из всех своих посетителей Егосин выделял Борского, казалось бы, самого чуждого себе. Впрочем, это старая истина, что легче всего сходятся противоположности: зубец — в прорезь, и образуется нечто цельное и прочное. Люди же одного плана обыкновенно отталкиваются друг от друга. Узнавать себя в другом почему-то неприятно, оскорбительно глубинному существу человека, и действует тут рефлекс, а не рассуждение, не анализ.

За Борским угадывалась сложная, путаная, мутная жизнь, которую Егосин боялся узнать слишком хорошо. Он отнюдь не был моралистом, чистоплюем в собственном поведении и подавно не предъявлял завышенных требований к окружающим. Он мог понять и принять очень многое, что не соответствовало общепринятым, якобы нравственным, нормам, но не все. Борский не навязывался с признаниями и откровенностями, но когда люди часто встречаются и не играют в молчанку, самораскрытие происходит само собой. Борский шел по жизни не торной дорожкой. Он рано лишился отца, вслед за тем матери, воспитывался у бабушки, вернее, терроризировал беспомощную болезненную старушку, не позволял ей вмешиваться в свои дела, которые очень скоро от лжеромантики ватажного хулиганства привели к прямому столкновению с законом. Дворовая вольница сблизила сильного, ловкого и бесстрашного паренька с мелкоуголовным миром. Но юный Борский стремительно двигался вверх по лестнице, ведущей даже не вниз, а в пропасть, и в шестнадцать лет угодил в тюрьму за участие в вооруженном грабеже. Он легко отделался по малолетству (безотцовщина тоже сработала на него), но вскоре опять попался и, встретив в камере предварительного заключения свое совершеннолетие, получил «на всю катушку». В этом месте рассказа Егосин нервно поправил очки и, запинаясь, спросил: «Но вы... э-э, простите, не убивали?» — «На мокруху я сроду не шел», — ответил Борский со скромным достоинством поэта, отводящего упрек в использовании глагольных рифм.

Во время войны Борскому было дано право искупить свое преступление кровью — он был отправлен в штрафной батальон. «Только со мной так бывает, — говорил Борский с наивно-детским выражением, порой возникавшим на его сильном до грубости, загорелом лице — он и зимой стремился на южное солнце, видать, крепко нахолодался на заре туманной (непроглядно туманной); юности. — Наш батальон почти не выходил из боя, ребята один за другим искупали кровью или смертью свои вины, а меня не брала пуля. Там было решили, что я где-то отсиживаюсь во время боя, как будто это возможно. Я лез в самое пекло, и ни черта! А ранило меня подрацки, когда я дергивал сапоги с убитого фрица — надоело воевать в обмотках. У паршивых обозников — сапоги, хоть и кирза, да с голенищами. Мне это за искупление вины не посчитали, из госпиталя я вернулся в штрафняк и уже на границе с Германией, взяв важного «языка» и получив царапину, удостоился наконец прощения. Войну кончал в обычной части и даже успел схватить Красную Звезду и «За отвагу». Ну а с немца я крепко спросил за наши порушенные города...»

Из дальнейших бесед выяснилось, что, вернувшись на родину, Борский добрал все, что недополучил в своей рано оборвавшейся юности. Он даже учился в каком-то институте, но не кончил его, снова не поладив с законом. Это было как-то связано с фотографиями. Борский долго отказывал в пояснениях, ссылаясь на знаменитый фельетон, который «читали все грамотные люди». Но грамотный Егошин не читал галет. «Мы, в сущности, делали доброе дело, — недобро сузив серые глаза, снизошел Борский до объяснений. — Какой деревенской женщине не хочется иметь портрет сына или мужа, не вернувшихся с войны? А оставались у них большей частью жалкие паспортные карточки или групповые снимки: выпускники школ, техникумов, курсов, где и не разглядеть своего роденького. Мы делали им из этих карточек портреты — двадцать четыре на сорок восемь, представляете?» — «Что же тут плохого? — удивился Егошин. — По-моему, очень благородно». — «Еще бы! Я забирался в такую глухомань, где не видели ни кино, ни паровоза. Шагал по двадцать километров в сорокаградусный мороз из деревни в деревню. Раз я летел на вертолете с мужиком, отрубившим голову жене по случаю престольного празд-

ника, девушкой-милиционером и бурым медведем в клетке из щепочек: мужик выл, медведь ревел, а милиционерка плакала, чувствую — не уснуть. Пришлось взять игру на себя. Я дал в морду убийце, чтоб заткнулся, медведю — по кожаному рылу, а милиционерку крепко поцеловал. Все успокоились. Мы буквально творили чудеса... — все более оживлялся Борский. — У одной старухи подняли мужа из гроба». — «То есть как это?» — «А так. У нее была только его покойницкая карточка. Мы его посадили, открыли ему глаза, гроб убрали — старуха чуть не рехнулась от счастья». — «Так что же тут противозаконного? Раз государство не справляется, почему не дать свободу частной инициативе?» — «Ну, если государство будет передавать частной инициативе все, с чем оно не справляется... Ладно, не о том речь. Нас подвела конкурирующая организация. Конечно, определяя наши скромные доходы, мы не отличались аптекарской скрупулезностью. А кто этим отличается? Те жулики, что толкнули донос? Меня взяли. Конечно, я выкрутился, придравшись к нарушению процессуальных норм. Но знаете, эта неожиданная слабость закона перед правонарушителем что-то во мне перевернула. Я вдруг задумался: так ли у меня все хорошо и правильно? Впервые я увидел себя как бы со стороны — зрелище оказалось неважнецким. Я стал на путь закона против себя самого. Себя прежнего: новый Борский засел за роман о доблестной милиции. С тех пор я строчу их один за другим, скопленного материала хватит на многие годы. Читатели клюнули, наверно, почувствовали, что это не липа. Мой любимый романс — шубертовский: «Как на душе мне легко и спокойно». У меня куча похвальных грамот от милиции, номер на машине — из сплошных нулей, попробуй задержи! — «закатанные» права и красная книжечка в нагрудном кармане: «Консультант МВД по эстетическим вопросам». Я гроза таксистов, гостиничных администраторов, кассирш Аэрофлота, продавщиц, официантов, вообще всех жуликов, которыми небедна наша кроткая Родина. Есть глубокий и утешающий меня в редкие минуты упадка духа комизм в том, что я — любимец милиции и гроза правонарушителей. Любопытно, что никто из этой публики не только не задался вопросом, так ли уж им опасен «консультант по эстетике», но даже не прочел этих слов. От нечистой совести их поражает шок при виде красной книжечки. Считается, что красный цвет возбуждает быков, это вранье, рогатый скот не различает

красок, быка бесит трепыханье плаща у его морды, но жулики различают — и красный цвет их парализует. А писать мою муру мне нравится, я столько имел дела с милиционерами, что в конце концов полюбил их. Есть воистину замечательные парни — редкой храбрости, самообладания и — вот что удивительно — доброты. Ненавидят оперативники только убийц, ворами — особенно — ловкими, находчивыми, дерзкими и умеющими долго водить за нос, чуть ли не восхищаются. Тут нет ничего странного, это же профессия: оперативник, а какой профессионал не любит тонкой и сложной работы? Даже я, хотя о моей литературе смешно говорить, стараюсь закручивать помудренее. Может, со стороны это незаметно, но я обычно ставлю себе задачу малость выше своих возможностей. Вы это сами знаете, недаром я вас терзаю».

Борский, конечно, ходил к Егошину не из любви к поэзии, хотя знал на память уйму стихов и, похоже, отзывался им (стихи он некогда заучивал в камерах, чтобы скоротать время, тренировать память и не свихнуться от ненужных дум), он нуждался в литературных советах. Егошин не любил детективную литературу, но повести Борского читал почти с удовольствием, потому что в них было то волевое начало, которое казалось ему главным признаком творческой личности. Борский не был писателем в серьезном смысле слова, всего лишь умелым производителем легкого чтива, но в его писанине чувствовался сильный характер, напор значительной личности. Приступая к чтению, Егошин неизменно ощущал, что его берут за шиворот и властно ведут туда, где обязательно окажется интересно. И милицейские парни выглядели у Борского на редкость симпатичными, в чем обнаруживалась далеко и тщательно запрятанная душевность самого Борского. Нет, не зря его привели органы внутреннего порядка и сделали своим эстетическим наставником.

Но Борский и впрямь не довольствовался обретенным умением и стремился усложнить себе жизнь. «Мне хочется больших страстей, должен быть милицейский Шекспир», — говорил он, хотя и с улыбкой, на деле же — серьезно. Шекспира пока что не получалось. У Борского с женщинами был обширный, но слишком грубый опыт. Создать сержанта Ромео или старшего лейтенанта Орсино ему не удавалось прежде всего потому, что от их возлюбленных тянуло парикмахерской, восточным рестораном, комиссионным магазином. Помощь Егошина заключалась

преимущественно в сокращениях, вымарывании совсем уже слабых мест, писать прозу, особенно милицейскую, он начисто не умел. Борский мрачно выслушивал замечания, вздыхал, но никогда не спорил. Текст становился гораздо чище, достойней, но Шекспира все-таки не получалось. Но чему-то он медленно и неуклонно обучался. Егошин был уверен, что если щедрая природа пошлет Борскому долголетие пастуха из Сванетии, то милицейский Шекспир явится в мир. Видимо, и Борский рассчитывал на это, он не порол горячки, но продвигался к высшему.

Была у Борского одна особенность, воспитанная, видимо, прежней жизнью, ибо литературная среда подобных свойств не создает: упрямое до настырности стремление отслужить человеку, сделавшему ему даже незначительное одолжение. Егошину доставляла удовольствие малая возня с рукописями Борского: он любил редактировать, расчищать авгиевы конюшни слов, ему нравилось искать на пару с толковым человеком решения не слишком сложных литературных задач. Это давало разрядку от постоянного напряжения мысли, ведь в сочинении детективов участвует не головной, а спинной мозг. Но Борский считал себя обязанным Егошину, а он не любил быть в долгу. Стоило Егошину однажды заикнуться просто так, не придавая значения сказанному, что не мешало бы перед смертью увидеть Дарьяльское ущелье, как Борский тут же записал его в какую-то туристскую группу. Пришлось сказать больным, что человеку с хроническим насморком не представляло большого труда. Борский предлагал ему устроить выгоднейший обмен жилплощади, достать путевку в любой санаторий Крыма, Кавказа, в Пушкинские Горы, Прибалтику, объездить на машине окрестности Ленинграда, звал на закрытые просмотры выдающихся фильмов современности, пытался подарить икону строгановского письма и миниатюру с дегенеративным лицом царя-страдальца Ивана Антоновича, альбом петербургских офортов Остроумовой-Лебедевой, шкуру белого медведя и панты изюбра, но все тщетно. Тогда он не на шутку обиделся, и, пожалев его, Егошин согласился принять рога. С помощью Борского он прибил их над дверью как грозное предупреждение против новых попыток супружеской жизни.

Но рога — черт с ними — висят себе и висят, он влип в куда худшее — поездку на Соловецкие острова. Эта земля действительно манила его, звала — по при-

чинам, ему самому неясным. В какую-то недобрую минуту, отделяясь от очередного соблазнительного предложения Борского, он ляпнул: «Увольте, дорогой, вот если бы Соловки!..» — и прикусил язык. Но было поздно. На этот раз Борский отрезал все пути к отступлению: сам добился для него отпуска, взял путевки и билеты на самолет. Рядом с Егошиным Обломов казался бы живчиком, шатуном с приметной авантюристической жилкой. Егошин едва не заболел по-настоящему, так напугала его предстоящая перемена мест. Он тщетно пытался понять, чем привлекали его Соловки: личностью Филиппа Колычева, казавшегося ему самой моральной фигурой в старой русской истории, могилой Авраамия Палицына, героя Смутного времени, самим звучанием певучего слова «Соловки», таинственным прошлым этого затерянного в Белом море крошечного архипелага, с которым связано столько глухих русских дел, заманчиво-сладкими описаниями несравненных красот природы или же какой-то необъяснимой родовой памятью?! Но теперь, когда свидание с Соловками стало неизбежным, он не находил ответа, ибо в нем погас всякий интерес, остались только робость и смятение.

И тут в Москве зарядили дожди, пробудив слабую надежду, что поездку можно отменить. «Кто ж едет к черту на кулички в такую погоду?» — сказал он Борскому. Вместо ответа, словно предвидя этот ход, Борский положил перед ним вырезку из газеты, где сообщалось, что в Карелии и Архангельской области стоит сухая, жаркая погода. «На Соловках же, вы сами знаете, особый микроклимат, там всегда на два-три градуса теплее, чем на всем Беломорье». Так же был снят вопрос об экипировке: Борский притащил огромный рюкзак, куда без труда вошли все необходимые им обоим в поездке вещи, включая теплое белье, плащ с подстежкой, кепку с наушниками, книги, сам Борский, странствуя, читал лишь путевые справочники. На долю Егошина оставалась аэрофлотовская наплечная сумка с умывальными принадлежностями. Жизненный обиход Егошина был настолько портативен, что не давал зацепки для отмены путешествия. Ни больших родственников (здоровых тоже не водилось), ни кошмара предстоящего ремонта, ни бракоразводных осложнений, ни сверхурочной работы, — и Егошин смертельно затосковал.

Объяснить это болезненное чувство он не мог: неужели ему так жалко расстаться на неделю со своей убогой

комнатенкой, прокуренной гостями, как подвальная бильярдная, с привычным, до стыда жалким укладом: утренняя толчея возле уборной, жидкий кофе, чаще всего пустой, машинальная неизменность всех движений и жестов, пока он не окажется за рабочим столом на сквозняке и не погрузится в очередную рукопись, — тут кончался пустой автоматизм, и начиналась жизнь духа, но поскольку Борский отправил его в отпуск, то единственно осмысленная часть дня отпала: что же осталось? — валяние на продавленном диване, порой тусклое ожидание «даменбезуха», хорошо, коли тщетное, но это случилось редко, и тяжкая расплата скукой за бедное наслаждение, да еще зашельцы — большей частью вовсе не нужные... Так чего же он тосковал, чего страшился? Перемены как таковой, обрыва рутины?.. Он привык жить по инерции, а сейчас от него потребуются какие-то непривычные поступки... Трусость, как и храбрость, бывает разная. Егошин не был физическим трусом, это доказала война — страх ни разу не коснулся спокойно бьющегося сердца маленького писаря: ни в том единственном бою, за который он получил награду, ни во время бесчисленных бомбежек, ни когда дивизия попала в котел и чуть было не сварилась в нем; с неменьшим хладнокровием относился он и к опасностям мирных дней; все городские страхи — перед легендарным убийцей Ионесяном, подворотными юнцами с хорошо наточенными напильниками, окраинами в ночную пору, пьяными хулиганами не достигали сознания Егошина. Он вовсе не испытывал презрения к своему пребыванию на земле, но инстинкт самосохранения был в нем явно притушен. А вот за окружающих он боялся, население мира казалось ему хрупким и непрочным. Он весь сжимался при виде ребенка, переходящего улицу, постоянно пристраивал куда-то бродячих собак и кошек, поскольку жильцы его коммуналки наложили запрет на всякую живность; своих подруг он старался проводить до самого порога их дома (где-нибудь в Мневниках или Чертанове), что тех не всегда устраивало, при виде же летящего в небе самолета бормотал про себя нечто вроде молитвы во здравие и спасение путешествующих по воздушному океану.

Известно, что иные отважные воины становятся всема робкими гражданами в дни мира, физическая и общественная храбрость — разные вещи. К Егошину слово «храбрость» вообще едва ли приложимо, ибо храбрость — активное, действенное качество, а в основе его существа

лежала пассивность. Он был из числа уклоняющихся и воздерживающихся. Когда его изредка вызывали к начальству, он шел с таким же спокойствием, хотя и не столь поспешно, как в туалет. Сталкиваясь с глупостью вышестоящих, никогда не возражал, но и не соглашался и уж подавно не выражал одобрения. Если его припирали к стене, он пожимал плечами и бормотал что-то вроде: «Вам виднее», но было ясно, что он остается при своем мнении. Относительная независимость его поведения стоила недорого — он был человеком без поступков. Сослуживцам Егошин представлялся тихим, безобидным и чуть пришибленным. В последнем они заблуждались. Пришибленность неотделима от чувства страха, а Егошин так же мало боялся неприятностей мирной жизни, как немецких снарядов и пуль. Он просто не хотел связываться — это обременительно. Своеобразное, пассивное, глубоко запрятанное бесстрашие Егошина не мешало ему испытывать порой странный, необъяснимый ужас.

Таким вот ужасом опажнуло его, когда он понял, что поездка на Соловки неотвратима. Внутри у него стало холодно и сыро, как в склепе. Высмеять себя за паникерскую дурь не удалось — собственный окарикатуренный образ не веселил. Тогда он решил поговорить с собой всерьез. Глупо и недостойно так пасовать перед комфортабельной туристской поездкой, которая промелькнет — не заметишь. Отгудят самолетные моторы, отшумят за бортом теплохода волны Белого моря, и душу примет тишина, благолепие, медовый дух сказочного острова Буяна с непуганым зверьем и птицами, и только полюбишь все это — уже назад, в свое привычье, в эту комнатушку с книгами, но внутри тебя будет что-то новое, нежное, еще одна любовь, и, обогащенный сверх меры, ты больше никуда никогда не поедешь. Но этот скромный подвиг ты обязан совершить, ведь тебя всегда тянуло туда...

Борский, похоже, догадывался о загадочных терзаниях Егошина, но поскольку это его не касалось, он делал вид, будто ничего не замечает, и ограничивался чисто деловыми советами: взять столько-то денег, одеться полегче, но захватить шерстяной свитер — на палубе будет свежее, приделать тесемки к дужкам очков, чтобы не потерять...

В назначенный час и день Борский заехал за Егошим и сказал, что такси ждет внизу. Первая приятная неожиданность — Егошин почему-то был уверен, что они будут долго и мучительно заказывать такси по телефону, разумеется, не преуспеют в этом, кинутся ловить машину на улице и в конце концов опоздают на самолет. У Егошина мелькнуло, что ледящий ужас, охвативший его перед путешествием, коренился в преувеличенной им опасности сближения с жутковатым миром бытового обслуживания, рисовавшимся чем-то вроде «сада пыток» Октава Мирбо.

Оказалось, что в одном и том же пространстве и времени существует несколько миров, пребывающих в разных измерениях и потому не соприкасающихся между собой. Он читал о чем-то подобном не то у Герберта Уэллса, не то у другого крупного писателя-фантаста. Мир Борского, где и он сейчас оказался, не имел ничего общего с миром егошиных. В мире егошиных вас окружают ядовитые змеи, а в мире борских — преданные и услужливые коньки-горбунки; в мире егошиных царит «нельзя», в мире борских — «можно», а конкретнее — в мире егошиных все таксисты либо кончили смену, либо едут в парк, либо на обед, либо просто никуда не едут, в мире борских — они едут туда, куда вам надо. Конечно, где-то кончается и власть Борского, так вся его могучая воля не могла заставить рейсовый самолет вылететь по расписанию — посадку трижды откладывали, и стало ясно, что они опаздывают на теплоход.

Но в промежутках между отменами рейса, когда огорченные пассажиры вповал растягивались на лавках, по воле Борского заработал буфет (он и должен был бы работать согласно повешенному на двери объявлению, но тяжелый амбарный замок утверждал обратное, что воспринималось томившимися и ожидании людьми как нечто само собой разумеющееся). Заставив открыть буфет и поместив за стойку толстую, злую, как черт, буфетчицу, Борский сперва превратил ее в улыбчивого ангела, потом заказал две яичницы с помидорами, хотя ангел клятвенно уверял, что располагает лишь холодными закусками. Разделавшись с прекрасно приготовленной яичницей и не дав буфетчице за старание даже пяточка на чай, Борский потребовал жалобную книгу и не спеша принялся сочинять пространную кляузу. Для Егошина это было уже

слишком, он выскользнул из буфета и забился в самый дальний угол зала ожидания, за газетный киоск, где его не без труда отыскал Борский.

— Зачем вы так?.. — болезненно морщась, укорил Егошин спутника.

— Учить этих сук надо, — спокойно отозвался Борский, ковыряя спичкой в зубах. — Аж перекосилась вся — воровская морда!..

Он подошел к киоскерше и попросил дать ему «Правду», «Неделю» и «Литературную газету». Егошин следил за ним с легким злорадством. Он тоже сунулся к киоскерше за какой-нибудь утренней газетой и был крепко отчитан ею: «Ишь, какой приткий!.. Ты бы еще позже очухался! А «Блокнот агитатора» не хочешь?» Извинившись, он отошел. Но сейчас случилось нечто странное: киоскерша вдруг задержалась, как ярмарочный Петрушка, шатнулась, замотала головой, вскинула руки, уронила, присела, вскочила, вытянулась, и перед Борским оказалась гряда газет, Егошин издали узнал «Правду», «Неделю», «Литературную газету».

— Как вам это удастся? — спросил он Борского, когда тот уселся возле него с пачкой газет.

— Вы о чем? — рассеянно спросил Борский, шелестя газетными листами.

— Ну... буфет... газеты...

— Это чепуха, не пришлось даже вынимать красную книжечку. Любопытно другое: всеобщее неумение и нежелание пользоваться своими правами. Люди добровольно отказались от всех прав, даже самых чепуховых: съесть холодную сосиску в буфете... Их можно обвешивать, обворовывать в открытую, не пускать куда угодно и откуда угодно выгонять, заставлять неделями, месяцами, даже годами ждать ответа на пустяжные просьбы или жалобы — требовать никто ничего не смеет. И хотя бы одному вспало громко заявить о своем праве. Какое там!.. Если же нам что-то дается, мы принимаем это как жест добра и милосердия, как великое благодеяние или подачку с барского стола. Мы неумоимо «благодарим», причем благодарность носит не устный, а сугубо материальный характер, продавцов, парикмахеров, жэковских полупьяных слесарей и водопроводчиков, вконец зажавшихся механиков авторемонтных мастерских, портных, сапожников, таксистов, секретарш, кассирш, администраторов всех рангов, зубных техников... Я не добряк, равно и не мстительный по природе человек, но я с наслаждением

давлению этих гадов, где только могу. К сожалению, поодиночке их не передавишь. Нужно что-то другое... Я знаю, вас это не интересует. Вы придумали по-своему удобный способ жить — ничего не хотеть, от всего отказываться, свести свои потребности до минимума, в духе святого Франциска Ассизского. Что ж, каждый спасается, как может... Ну а я, к примеру, не святой Франциск, я тот, каким он был до своего обращения, власяницы и прочей мути, то есть нормальный кровавый мужик, «любящий баб да блюда», хорошую одежду и все удобства, я вашу философию отвергаю. Да и с чего я должен нищенствовать Христа ради, когда другие уплетают, аж треск стоит? Нас употребляют буквально на каждом шагу. А мы молчим. Гражданское чувство захирело... — он вдруг резко оборвал себя. — А ведь это я для вас распинаюсь. Хочу обратить вас в свою веру.

Егошин, внимательно слушавший непривычно длинное рассуждение Борского, промямлил что-то уклончиво-невразумительное.

Незадолго перед отлетом Борский вдруг вспомнил, что они так и не зарегистрировали билет. Егошин всполошился: не поздно ли?

— Нет. Пошли. Держите ваш билет и паспорт, теперь вы — Булдаков Александр Степанович.

— Что за шутки?

— У меня не было вашего паспорта, когда я брал билеты. Выручил приятель — журналист Сашка Булдаков — певец Нечерноземья. Он кончает книжку, ушел на дно, и паспорт ему ни к чему.

Все еще ничего не понимая, Егошин раскрыл паспорт: на него глядело крупное челюстное лицо человека лет под сорок со лбом на полтемени — рано облысел приятель Борского на своей нервной работе.

— Да вы что — смеетесь? — Егошину трудно давалось возмущение, и голосе его появились плаксивые нотки. — Между нами ничего общего.

— Отыскать вашу копию было не так просто, — сухо отозвался Борский.

— Перестаньте острить! Я не поеду с этим паспортом. Меня примут за диверсанта.

— Хорошее у вас представление о диверсантах!.. Никто и внимания не обратит. Вы, наверное, никогда не летали.

— И не полечу. Давайте сдадим билет.

— И что дальше?

— Я куплю его на себя — Егошина. Потеряю пятерку или сколько там — неважно.

— А с чего вы взяли, что билет достанется вам? Там же очередь. На ваш билет претендуют по меньшей мере человек двадцать.

— Откуда вы знаете?

— Билетов не было, уже когда я брал. Мне сняли с брони. Послушайте. Егошин, да будет вам известно, что надо очень долго вглядываться в карточку и лицо человека, чтобы обнаружить их несоответствие.

— Что за чепуха!

— Нет, не чепуха. Хотите пари, что контролерша ничего не заметит?

— Это невероятно!..

— Но факт! Это же не зарубежный рейс. Там сидят специально натасканные ребята, и знаете, сколько минут они вглядываются то в карточку, то в пассажира?.. А не знаете, так и не спорьте, Александр Степанович!

Егошин был близок к обмороку — не от страха, от нестерпимого стыда, когда протянул чужой паспорт молодой, сильно накрашенной контролерше. Только что она, почти не глядя, вернула паспорт женщине с ребенком, спящим на ее плече. Но егошинский, вернее, булдаковский паспорт она развернула, забегала по нему глазами, не переставая при этом пикироваться с крутящимся поблизости лейтенантом милиции.

«Может, признаться во всем?» — подумал Егошин, и тут из-за спины раздался железный голос Борского:

— Девушка, договоритесь с лейтенантом, когда мы пройдем!

«Он что, с ума сошел? Нарочно натравливает ее на меня?» Лейтенант с покрасневшими ушами поспешно шагнул в сторону, контролерша, сделав вид, будто не слышала дерзости, так и впилась глазами в просторное молодецкое лицо нечерноземного Булдакова, столь не похожее на узкое старое и несчастное лицо стоящего перед ней человека. Но то ли мысли ее витали далеко, то ли смущение и злость туманили взор, то ли прав Борский — и не простое это дело: соотнести фотографию с живым образом, но она спокойно вернула паспорт Егошину, прощтемпелевала билет, вручила посадочный картончик и с подчеркнутой деловитостью объявила:

— Следующий!..

Следующий был Борский, и тут у контролерши мелькнула возможность реванша.

— Почему не сдали в багаж? — кивнула она на громадный рюкзак.

— Потому что там взрывчатка, — последовал хладнокровный ответ. — И я не хочу, чтобы ее разворовали, рюкзак, как известно, не запирается. — И, засовывая на ходу паспорт в карман кожаной куртки, Борский нагнал Егошина.

— Путевка — тоже на имя Булдакова? — спросил тот.

— Успокойтесь. Вы вновь на легальном положении. Верните мне Сашин паспорт.

— А как мы доберемся до Соловков, если опоздали на теплоход?

— Откуда мне знать? Самолетом.

— Я надеялся увидеть Белое море.

— Тогда катером.

— Каким катером?

— Милицейским. На котором ловят контрабандистов. «На правом борту, что над пропастью вырос, Янаки, Ставраки, Папа Сатырос».

— Багрицкий тут ни при чем. Сейчас не двадцатые годы.

— Ну, так нам дадут лайнер, сейнер, нефтевоз, китобойное судно, крейсер. Какая вам разница? Мы будем на Соловках, как бог свят.

— Я не думал, что наше путешествие окажется таким сложным. Я все-таки старый человек.

— Вы нудный человек. Я моложе вас всего на три или четыре года. Вы же убедились, что мне можно верить. Я за вас отвечаю. Доверьтесь мне, и все будет как надо. Иначе мы сорвем друг другу нервы.

— Вы правы, — сказал Егошин. — Не сердитесь на меня. Просто я слишком засиделся, и мне все представляется неимоверно сложным, мучительным, непреодолимым. Это пройдет. Считайте, уже прошло.

— Я принимаю ваши слова к сведению, — сказал Борский как-то чересчур серьезно, и Егошин понял, что тот уже давно злится, но не показывает виду. — Давайте наслаждаться жизнью, — и осторожно подтолкнул Егошина к трапу самолета...

Первый в жизни полет не произвел на Егошина значительного впечатления, ни на миг не почувствовал он себя птицей, парящей в поднебесье. Было лишь ощущение некоторого дискомфорта: от пробок, забивших уши, надсадного гула моторов и неприятного резинового за-

пах. Зато поразила и восхитила быстрота, с какой они перенеслись в далекий северный мир, на родину дивного холмогорского мальчика.

В Архангельске их ждали. Прямо к трапу был подан синий милицейский «джип» с красной полосой, и сероглазый капитан в юбке, туго облегавшей спелые рубенсовские формы, браво и сердечно приветствовал консултанта по эстетике и его друга. Гостям было предложено откусать в ресторане «Приморский», славящемся блюдами из лосося, после чего их доставят на борт рейсового пассажирского парохода «Беломорск», курсирующего между Архангельском и Соловками. Каюта уже зарезервирована.

— Умеют ценить в милиции своих певцов, — шепнул Егошин Борскому, усаживаясь рядом с ним на заднем сиденье «джипа».

— Да, — не понижая голоса, согласился Борский, — на редкость благодарный народ. Причем, учтите, я ни о чем не просил, только сообщил, что буду проездом в Архангельске. Они сами все рассчитали и приняли необходимые меры. Они заслуживают своего Шекспира.

— Может быть, не так громко? — шепнул Егошин.

— Да эта сероглазка сейчас — как под колоколом. Мы можем условиться об ограблении банка, она все равно не услышит. Ведь я человек оттуда!.. А это выше неба. Она полна лишь одним: выполнить задание, чтоб — ни сучка ни задоринки. Но до чего же вы далеки от реальной жизни! Как можно дотянуть до шестидесяти лет при такой непригодности?

— Еще не дотянул, — задумчиво — не в тон — поправил Егошин. — Если дотяну, попробую объяснить...

— Ну, ждать недолго.

— Кто знает? — не Борскому, а себе самому отозвался Егошин.

В ресторан сероглазка, мило покраснев, отказалась идти. Дела!.. Служба!.. Заедет через час с четвертью.

— Стесняется, — глядя ей вслед, сказал Борский. — Нет, нельзя показывать мне молодых баб в сапогах, особенно с полными ногами, — и от подавленной страсти закричал своими крепкими желтоватыми зубами. — Бросить все. Жениться на ней, предварительно забрав из милиции. Поселиться у моря. Рыбачить. Увеличивать фотографии поморским старухам. И каждую свободную минуту любить эту Венеру. Делать с ней пацанов. А?..

К чертовой бабушке милицейского Шекспира и всю московскую муть!..

— Сколько в вас жизненных сил! — воскрился Егошин.

— Что есть, то есть, — подтвердил Борский. — Иногда мне кажется, что я еще не начинал жить. Что все впереди. Я даже женат не был. А чего ждать?.. Неужели может встретиться лучше?.. А вдруг?.. «Есть женщины в русских селеньях...»! Не знаю, будет ли загробный мир, но такого хмельного напитка, как на земле, нам уже не пить. До чего же богата жизнь! Пилишь на Соловки с пересадкой в Архангельске — любознательный путешественник, немного этнограф, мудрец, и вдруг встречаешь богиню с капитанскими погонами, и вся этнография — в куски!..

Оглушительная музыка ресторанныго джаза — музыканты были почему-то включены в электросеть, — световые эффекты — танцевальную площадку заливало то бордовым, то зеленым, то синим светом, то некой золотистой рябью, превращающей ее в подводное царство из оперы «Садко», — многолюдство, толчея и рюмка водки, выпитая под истаявший во рту кусок лососины, — ошеломили Егошина до утраты сознания. Очнулся он лишь на борту «Беломорска» и услышал, что путешествие их продлится — ни много ни мало — двадцать шесть часов, поскольку рейсовый пароход идет с семью остановками. Но хмель и обалдение окончательно покинули его, когда он увидел каюту — узкую, со скошенным потолком и круглым окошком-иллюминатором, смотревшим на переднюю палубу. Койки располагались одна за другой, как нары. Егошин плохо переносил тесноту и духоту, он попробовал впустить в душный чулан пространство и свежий воздух, и его обдало холодным мелким дождем. Он поспешно задраил иллюминатор. Если и сейчас в каюту заплескивает, то по ходу движения нечего думать открывать окошко. Все это настолько его обеспокоило, что он как-то проглядел момент отплытия, упустил и своего напарника, совершавшего значительный обряд прощания с сероглазым капитаном на палубе, заметался внутренне и, желая утишить нервную бурю внешним покоем, прилег на койку и закрыл глаза.

Как и всегда, этот маневр не помог, даже хуже стало, страшнее. Он вскочил и уставился в иллюминатор, исхлестанный дождем и при этом пыльный, непрозрачный. Вертя головой, он уловил скольжение берегов вспять и по-

нял, что пароход не стоит на месте, а идет своим курсом — надежда на скорую встречу с морем принесла некоторое облегчение. Он задремал сидя, а когда очнулся, пароход окружала бескрайняя бурная вода.

Неласково приняло их Белое море. Оно оказалось вовсе не белым, а бурым, с пенной оторочкой волн, надоедливо и грубо шлепавших в бок парохода. Егошин понял, что они попали в ту самую бортовую качку, о которой он нередко читал в морских книгах, но сам никогда не испытывал — знакомство с водной стихией исчерпывалось для него одной-единственной, еще в довоенную пору прогулкой на речном трамвае. Ему было почти шестнадцать, а его спутнице — двадцать четыре: взрослая, окончившая институт и работавшая инженером замужняя женщина учила целоваться мальчишку-восьмиклассника. И он так научился целоваться по-настоящему в это непродолжительное плавание от Москворецкого моста до Воробьевых гор и обратно. По дороге туда они целовались украдкой, на задних местах салона, стесняясь светлого дня и многочисленных пассажиров, но когда отправились назад, загорелся темно-вишневый, придавленный тучей закат, черно и густо налив все тени на земле, и они предавались упоительному занятию прямо на палубе, скрытые от чужих глаз кроваво-грозной тьмой заката. Почему эта милая, странная, беспутная женщина, не боявшаяся рисковать своей репутацией из-за жалкого мальчишки, который ничего не умел, исчезла из его жизни, он уже не помнил. Она подвела его к самому краю, где начинались страшные тайны, и бросила. Память о ней была такой сильной, обжигающей, что он не замечал своих сверстниц, а никакая другая взрослая женщина не хотела повести его дальше. Ему пришлось начинать все сначала в девятнадцать лет со студенткой-медичкой, весьма не деликатно удивлявшейся его беспомощности: «Да ты совсем зеленый!» — бросила она презрительно.

Воспоминаний ему хватило ненадолго, качка раздражала, утомляла, но он уже понял, что не подвержен морской болезни, как опасался.

Вернулся Борский, снял кожаную куртку, повесил на спинку стула и, забрав умывальные принадлежности, ушел в туалет. Он явно собирался ко сну, чему не мешала потрясая его душу внезапная влюбленность. Егошин чувствовал, что ему не заснуть в этой тесноте и духоте. Глянул на часы — с отплытия прошло меньше двух часов, впереди были целые сутки; это не так много, когда

время движется своим обычным ходом, но сейчас оно замедлилось почти до полной остановки, и если он не найдет способа вновь двинуть его вперед, произойдет что-то ужасное, чему нет ни образа, ни подобия, ни названия — мучительное изничтожение рассудка. Да нет же, время не может выпасть из системы координат человеческого бытия, но, глянув на часы, он убедился, что время остановилось, — его переживания несомненно обладали длительностью, но минутная стрелка не переместилась даже на одно деление. Если уж минута — пылинка времени — обрела такую чудовищную продолжительность, то во что превратится час, — думать о сутках он не решился.

Как обмануть пароходную вечность? Нужно что-то простое и верное. Пойти в ресторан, взять водку и какую-нибудь закуску. Но он не приучен к алкоголю. При такой качке его непременно вырвет, а потом долго и нудно будет болеть живот. Боль по-своему заполняет время, но он не уснет и тем лишит себя нескольких часов забвения. Это не годится. Вернулся Борский, все такой же молчаливый, и стал укладываться спать. Стянул через голову свитер, оставшись в матросской тельняшке, сменил брюки на пижамные штаны, взбил тощую подушку и скользнул под одеяло, которое ловко подоткнул со всех сторон, чтобы не раскрываться ночью. Было приятно наблюдать его точные, отработанные годами одинокой жизни движения, гарантирующие спокойный и надежный сон. Борского внимание Егошина не смущало, он привык справлять обряд сна на чужих глазах.

Заснул он вроде бы мгновенно, едва голова коснулась подушки, но внимательному взгляду Егошина открылось как бы несколько этапов его засыпания. Как только Борский закрыл глаза, дыхание его стало мерным и спокойным, но то был результат волевого усилия. Спал Борский на спине, вытянувшись во всю длину и низко держа голову, по методу японцев, самое важное для спящего человека — положение позвоночного столба. Сон так много значит для самочувствия человека, и Борский, едва ли слышавший о японских правилах, сам нашел наилучшую позу для сна — суровая жизнь научила его беречь себя... Затем лицо Борского как-то странно сползло, поставило — вот когда сон по-настоящему взял верх над ним...

Егошин осторожно вышел из каюты. В узком коридоре качка ощущалась еще сильнее, его швыряло от стенки

к стенке. В салоне свет не горел, но, приглядевшись к прозрачному сумраку, Егошин увидел, что на всех диванах, во всех креслах и даже на столе для игр спят люди — пассажиры, которым не хватило билетов. Он прошел в круглый вестибюль, куда выходила дверь уже закрытого ресторана; отсюда можно было пройти и на палубу — в обе стороны. Егошин раздумывал, что бы ему предпринять, когда мгновенно и неожиданно оказался в центре отвратительной драки подростков. Он так и не понял, откуда взялись эти мальчишки лет пятнадцати-шестнадцати, самого опасного в наши дни возраста: впечатление такое, что часть выскочила из-под пола, другая свалилась с потолка. Один из них уже истекал кровью из носа и рта. Егошин почувствовал себя лишним в этом окружении, но его призывы дать ему пройти не достигали слуха остервенелых драчунов. Егошин старался не попасть под удар, кого-то отталкивал и с отвращением ждал, что его замешают в эту мерзкую и жестокую драку, где в каждый удар вкладывались злоба и коварство. Но подростки, длинноволосые, в обтяжных джинсах и курточках под кожу, порасшибав друг дружке носы и наставив фонарей, вдруг сгнули так же внезапно, как появились. Наверное, тут были какие-то двери, лазы, лестницы — Егошину не хотелось в этом разбираться. Достаточно того, что буйная юность исчезла.

Он выбрался в длинный, узкий проход, тянущийся вдоль борта. Сюда выходили окна кают, в большинстве не зашторенные, а впереди был барьер — по-морскому он наверняка назывался как-то иначе, о который удобно опираться, подставив лицо ветру и соленым брызгам. То, что происходило сейчас с темным — под бесцветным небом белой ночи — до спазма души неуютным морем, тоже, очевидно, имело специальное название — радость нудных и педантичных морских писателей. Темная, изрытая ямами, бескрайняя и безнадежная вода как будто задалась целью унизить романтические потуги маринистов литературного и художнического цехов. Но ее неприветливость и мозжащий холод обернулись милосердием с появлением фигур, оживляющих пейзаж. Эти люди возникали поодиночке, иногда по двое и сразу начинали «травить» — кто за борт, кто прямо на пол. Они хоро-- , душевно посидели в ресторане, и сейчас взбаламученные желудки извергали назад водку, портвейн, плодово-ягодные вина и некорыстную закуску. Егошин поспешно проковылял в самый край коридора, ближе к носу, куда

уже было не пройти из-за каких-то грузов, и далеко вы-
сунулся наружу, навстречу морским брызгам.

Егошин знал, что обречен томиться на собачьем хо-
лоде, потому что узкая каюта со скошенным потолком
слишком похожа на гроб, где и одному тесно, вдвоем же
вовсе непереносимо...

История ему часто помогала — он вспомнил, что некогда этим же путем шел, — только не на большом пароходе с мощными винтами, а на стругах — гребных или парусных, — тот даровитый и честолюбивый мордвин, что, поднявшись до сана патриарха, вздумал повторить на русской почве спор папы Григория Гильдебранта с королем Генрихом VII. Русский царь не пошел в Каноссу, кровавая колени о жесткую землю, хотя Никон принудил его склониться перед гробом умерщвленного по приказу Грозного митрополита Филиппа и вымаливать у великомученика прощение царской власти. Но встав с колен, царь Алексей в свой час посчитался с патриархом. Подвергнутый опале, Никон бросил «жезл Ааронов» и укрылся в Ново-Иерусалимском монастыре, своем детище. Больно близко себе ссылку назначил, царь спровадил его подалее, в Феропонтов монастырь, откуда Никон вышел в смерть. Но в пору, которая припомнилась Егошину, был патриарх в славе и силе; он убедил царя перенести мощи св. Филиппа из Соловецкой обители в патриарший Успенский собор, что стоит посреди Московского Кремля. Игумен Филипп из мятежного рода Колычевых был некогда затребован Грозным в Москву из Соловков, — вряд ли бывало в русской церкви, чтоб из игуменов возводили в митрополиты, и подавно не случилось, чтоб новоиспеченный — царевым изволением — глава православной русской церкви восстал против своего государя. Не ждали того ни сам Иван Грозный, ни ближние к нему люди, ни церковники, хотя скромная твердость Филиппова нрава, чистота и прямотуше были всем ведомы, а при подобных свойствах характера, как мог он уладиться с грозным царем, уже создавшим опрочнину? Неспроста затеял хитроумный Никон перенесение останков смелого супротивника царя в патриарший собор, ибо значило оно победу — пусть посмертную — церкви над светской властью. Понимал ли Алексей Михайлович умысел Никона? Он, если память не изменяет, не сразу на это согласился, знать, проглянул своим раскидистым умом скрытые цели Никона. Но в конце концов дал согласие. Он хотел укрепить авторитет русской православной церк-

ви и сблизить ее с греко-римской, до поры до времени стремления царя и Никона совпадали. А может, богобоязненный Алексей Михайлович питал тайную надежду, что непокойное Белое море укротит или хотя бы остудит сомнительное усердие честолюбивого святителя? Чуть было так оно и не случилось: торжественно отплыл Никон со свитой к Соловецким островам, но буря пораскидала струги, немало людей утащила на дно, и пришлось, «солонно хлебнувши», повернуть назад. Другой бы благочестивый человек увидел в этом знак божий и отступился бы от своего намерения, но не таков был упрямый мордвин. Верил ли вообще в бога этот честолюбец, любовник царицы и — по народному убеждению — истинный отец Петра I, схожего с ним чертами лица и силой духа? Он велел наново подготовить флотилию и, не дожидаясь благоприятной погоды, снова пустился в путь. Ох, и поблевали святые отцы на бурных водах — почище здешних пассажиров, хоть и не споласкивали нутра горячительными напитками! А Никон небось не блевал: смелые, целеустремленные честолюбцы оказываются всегда хорошо подготовленными природой для дерзких затей. Ведь известно, что Наполеон куда легче своих соратников переносил и египетское пекло, и русские морозы. А может, и Никон блевал, кто его знает, но гнал и гнал вперед хлипкую флотилию, пока не достиг островов, и, несмотря на все плачи, вопли и стенания соловецкой братии, не желавшей расставаться со святыми мощами — от них и слава, и немалый прибыток монастырю шли, — велел переложить останки в свинцовый водонепроницаемый гроб и отвалил назад. Да, он еще сделал что-то противное: по слезной мольбе монахов отрезал от нетленных мощей добрый шмат и оставил в обители, чтоб было чему поклоняться.

В Соловецком монастыре хранились останки еще трех святых: Савватия, Зосимы и Германа. Что за странная и загадочная фигура этот Герман? Его причислили к лику святых куда позже, нежели Савватия, с которым он пришел на необитаемые острова в Белом море и основал здесь скит, и даже явившегося через много лет Зосимы — этого чтили едва ли не выше Савватия, считая истинным основателем обители. Первую деревянную церковь на островах — Преображения Господня поставил действительно, чем и заложил будущую скинию. А с Германом — какая-то муть. По непонятным причинам он вдруг оставил своего напарника, «отлучился» в Поморье и вернулся

назад, когда Савватия уже не было в живых. Через год к нему присоединился преподобный Зосима. А потом начала стекаться братия и строить кельи при церкви. А умирать Герман, кажется, опять ушел на Большую землю. Его долго не канонизировали.

Егошина всегда отличало пристрастие ко «вторым», затененным людям. Быть может, это коренилось в присутствии ему обостренном чувстве справедливости. Всякое нарушение ее было ему болезненно. Поэтому он и заинтересовался Германом, но так и не смог рассеять завораживающего эту фигуру тумана. Об этом запоздало канонизированном святом говорилось всегда глухо и уклончиво. Дважды Герман оказывался сотоварищем таких значительных людей, как Савватий и Зосима, выходит, было в нем что-то притягательное для совместного скитского уединения. Но и чем-то неполноценным, убогим веяло от этого размытого образа, и почему он всегда в загоне? Ведь церковь любит убогих и охотно возвеличивает их. «Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное». Но нищим духом его не назовешь; не побоялся же он по какой-то таинственной «надобности» бросить Савватия и перебраться на Большую землю. Этому решительному и непонятному поступку церковные авторы никогда не давали оценки. А затем его приблизил такой крупный человек, как Зосима. Привлекал чем-то Герман ищущих уединения и вящего пустынножительства далеко еще не старых старцев. Но чем?.. Рабочей силой, простодушием и молчаливостью или телесной красотой? Любопытное явление это парное отшельничество. Привлекал, сильно привлекал ядерных старцев пригожий и простодушный Герман!.. Потому и вышла заминка с его канонизацией...

Необычна участь Соловков! Несколько комочков суши, будто отколовшихся от пустынной карельской земли, а сколько связано с этим крошечным архипелагом: и великого, и скорбного, и ужасного, и высокого, и печального. Там все наособицу, начиная с климата. Наверное, это заметили и другие пустытники, но практический вывод сделал игумен Филипп и пересоздал флору и фауну островов. Он насадил растений из других климатических поясов: кедр, пихту, вязы, клены, фруктовые деревья, разные злаки, овощи, цветы, даже розарий заложил знавший цену всякой земной прелести монах. Егошину нравилось думать о Кольчеве в духе старинного русского велеречия. Филипп поселил на острове оленей лапландских, лосей, медведей, лисиц, зайцев, развел рыбу в местных озерах, завел па-

секу, обеспечив монастырь добрым медом. Сам Филипп, даром что боярского рода, стало быть, воспитывался во всяком баловстве и довольстве, отличался аскетическими привычками — принимал лишь самую простую, грубую пищу, не пил ничего, кроме воды, спал на жестком, с камнем в изголовье, вставал до свету и даже в старости отказывал себе в дневном отдыхе, носил рясу из жесткой, суровой ткани, а монахов, которых держал строжайше по части службы, рабочих повинностей и чистоты поведения, утешал обильной, разнообразной и вкусной трапезой: в постные дни — всегда свежая рыба, морская и речная, а в остальные — щи с убоинкой, каша масляная, при нем стали готовить знаменитый соловецкий квас и выпекать несравненный по вкусу и мягкости хлеб, одна из пекарен вроде и по сию пору сохранилась. Так же изобильно кормил он послушников и трудников — знал Филипп, что хорошо кормленный человек на большую работу способен, чем убивающий плоть праведник. Умерщвляющие плоть лежали в деревянных гробах и ничего не делали, разве что по нужде вставали, да какая там нужда с акрид и водицы? — у Филиппа бездельникам не было места, у него все вкалывали до изнеможения. Сам он был человеком такого мощного духа, что ему для горения требовалось совсем мало хвороста, но Филипп не мерил по себе окружающих людей. Монахи многого лишены, особенно на островах, и он давал им веселие плоти, строго следя, чтобы не обросла жирком эта плоть. Есть они приучены были быстро, опрятно и не жадно, разумно питая тело, которое расходовали на многих строительных и прочих работах. Филипп ставил церкви, расчищал леса и пронизывал их дорогами, тянул каналы, разводил рогатый скот, для чего нашел пажити и вычистил в способных местах пожни; были у монастыря мельницы водяные, кирпичный завод и соляные варки; в Новгороде, с которым вели большие дела, поставили каменный дом — монастырское подворье. Филипповым рвением да многочисленными дарениями Соловецкая обитель шагнула на Большую землю, обретя многие земли и деревни не только в Поморье, но и в Новгородчине, окрест Твери и в иных местах...

Что-то изменилось в пространстве: оно уже не было столь безнадежно тусклым, обесцвеченным. По бутылочного цвета волнам промелькивали искорки — отзыв на ловимый полегчавшим, вознесшимся и опрозрачневшим небом блеск еще не вставшего из-за края земли солнца.

Егошин прошел на заднюю палубу и увидел на востоке узенькую желтую полосу. И в той же стороне, на горизонте ему привиделась земля — протяженное синевато-коричневое взгорье, которое то выростало над волнами, то закрывалось ими. А вокруг них море зримо затихало, качка уменьшилась, похоже, они входили в бухту, и было странно, почему пароход не поворачивает в сторону гряды, а словно удаляется от нее. Но через некоторое время Егошин убедился, проглядев глаза до едучих слез, что мнимая гряда — те же волны, только более рослые на глубине. А земля возникла внезапно и совсем рядом, по другую руку — плоский пустынный берег с двумя-тремя деревянными строениями, и туда держал путь пароход, хотя там не виднелось ни пристани, ни даже причала. А может, так казалось сухопутному глазу Егошина?..

И тут пароход разом ожил. Откуда-то возник матрос со шлангом и шваброй и принялся ловко смывать подсохшие следы вчерашнего безобразия. Появились и другие матросы, молодые, озабоченные, затем вышел помощник капитана в морской фуражке, к толстой нижней губе прилипла погасшая сигарета. Квадратный, без шеи, с каменно-невозмутимым лицом он что-то говорил матросам тихим домашним голосом, и казалось, что он ничуть не настаивает на выполнении своих распоряжений. Между тем пароход стал снижать ход, разворачиваться левым бортом к берегу, машины ворчали глухо, замирающе. Нахлынули — целой толпой — пассажиры, собирающиеся сойти, среди прочих молодая женщина с тремя детьми: грудняком, мальчуганом лет пяти и девочкой школьного возраста, живая, юркая, черноглазая старуха, стройная девушка на высоких каблуках, одетая, как для театра, братски похожий на помощника капитана квадратный человек в жесткой робе и с невероятным количеством багажа в разнообразной упаковке, другие пассажиры смазались в памяти Егошина, удивленного, что с виду пустой, безрадостный, почти необитаемый клочок голой земли обладает такой притягательностью для многих, весьма разных людей. Значит, что-то существенное оставалось скрытым от глаз, пряталось в глубине, но тогда вовсе удивительным казалось отсутствие причала.

Загремела якорная цепь.

— Идут! — радостно произнес чей-то голос,

Теперь и Егошин углядел крошечную моторку, держащую путь к пароходу, и ужаснулся хрупкости и ненадежности скорлупки, на которой доверчивые люди соби-

раются достичь берега. Но когда он разглядел команду лодки, страх перешел в панику. Это были пацаны-школьники; старшему — он сидел на корме, сжимая в руке самодельный руль из заводной рукоятки автомашины, — было лет шестнадцать, двум его матросам — от силы по четырнадцати. Казалось, рулевой сидит в воде, так низко опустилась корма, зато высоко задранный нос слышимо колотил по волнам. С парохода спустили трап — нечто хлипкое из канатов и дощечек; моторка ловко подрулила к нему, но нижняя ступенька трапа на метр не достигала лодочки. С бьющимся у горла сердцем Егошин ждал, какой выход найдут эти — хотелось верить — опытные и умелые люди. Оказывается, никакого. Вперед предусмотрительно пропустили мать с тремя детьми, старшие расплывающегося трапа, женщина что-то крикнула пацанам. Двое встали, шатаясь и поддерживая друг друга, чтобы не упасть, женщина примерилась и швырнула им через пучину конверт с младенцем. Один из парнишек поймал его, словно грушевидный мяч для регби, и с размаху сел на скамейку. Женщина подняла за подмышки пятилетнего сынишку, раскачала и метнула в лодку. Видать, был он тяжеленок — поймавший его юный лодочник повалился вверх тормашками. Но быстро вскочил и усадил мальчонку рядом с братцем. Мальчонка поерзал, о чем-то подумал и разревелся. На него цыкнули, и маленький помор мгновенно смолк, тесно сжав губы и зырящая глазами-кнопками.

Затем в лодку легко прыгнула девочка и, наконец, — мать, хорошо и крепко приземлившись широким задом возле своего младенца; она тут же вынула из кофты не упрятанную под лифчик грудь и сунула в маленький жадный рот. Егошин был так очарован хладнокровной отвагой семьи, что проглядел прыжок черноглазой старухи. Он услышал короткий вскрик, оглянулся и увидел, что юные матросы вытягивают бабушку за шиворот из воды — суевливая старушка сиганула прямо в море. Никто не придавал этому случаю преувеличенного значения, а промокшая до нитки старушка от души хохотала над своей неуклюжестью. Немного успокоившись, она принялась отжимать подол и сливать воду из туфель. Тут произошла маленькая заминка: к прыжку готовилась красивая девушка на высоких каблуках, и трое лодочников, стремясь принять драгоценный груз, отпихивали друг дружку плечами. Пока они препирались, лодку отнесло от тра-

па, пришлось мотористу вернуться на свое место и пустить мотор. В сердцах он слишком резко дернул руль, который вырвался из гнезда и едва не пошел ко дну. Наконец лодка вновь приблизилась к пароходу, и тут девушка грубо прикрикнула на мальчишек, чтоб они катились подальше и не смели ее трогать. Столь плоское непонимание рыцарственной чистоты намерений оскорбило морские души, подростки рассыпались, и девица, чуть поддернув юбку, птицей пронеслась над пучиной и врубила каблуки в днище лодки. Когда погрузился квадратный человек в робе, лодка угрожающе осела, и помощник капитана велел отваливать. Было ясно, что с одного захода всех не увезти...

— Привет, вот вы где! — послышался свежий самоуверенный голос, и на палубу вышел прекрасно отоспавшийся Борский, умытый, выбритый до кости, благоухающий одеколоном.

Он искал Егошина в ресторане, заказал там две яичницы с колбасой, сметану, хлеб, масло и даже маринованные огурчики, заставив открыть громадный стеклянный сосуд, предназначенный буфетчиком для продажи целиком, нераспечатанным. Эта первая утренняя сшибка с беззаконием, как всегда поверженным в прах, еще улучшила настроение Борского, и вообще-то не склонного к унынию.

— Пошли заправимся, — предложил он Егошину. — А потом, мой вам совет, — хорошенько выспаться. Иначе вы не будете ни на что годны.

Егошин так и поступил. Позавтракав, он пошел в каюту и, не раздеваясь, рухнул на койку, мгновенно погрузившись в провальный, без сновидений сон. Он проспал часов двенадцать, пропустил, по уверению Борского, массу интересного, но ничуть не жалел об этом. Он едва успел вымыться и побриться, как показались Соловецкие острова. На палубу он вышел в самый раз — пароход шел мимо черных мертвых скал — горестного памятника человеческой безответственности, «страшные Заицкие острова», — перефразируя Джека Лондона, пробормотал про себя Егошин.

3

И вот, совсем не торжественно и не таинственно, не градом Китежем со дна морского, а строительными лесами за кремлем из каменных глыб, зелеными куполка-

ми церковей, колокольной, рачительно увенчанной красной звездой, с будничной деловой отчетливостью стал перед ними Соловецкий монастырь. Пройдет немного времени, и Егосин будет восхищаться великолепными в своей присадистой мощи башнями, точно и красиво рассчитанными по высоте крепостными стенами, держащимися без раствора, одним лишь весом валунов, но сейчас он искал другого и не находил. Боже мой, неужели это нелепое здание со снесенным куполом и есть Преображенская соборная церковь — ее обезглавленное тело?

— Зачем же купол-то сорвали?.. Кому он мешал?.. Боже, как он сверкал, ярче огней маяка лил свой свет в пространство. Он был словно второе, незаходящее солнце. Даже в полярной ночи собирал на себя блеск звезд, фейерверк северного сияния, какое-то тайное свечение, что всегда пребывает в просторе...

— Bravo! — насмешливо сказал Борский. — Весьма поэтично и так, будто вы здесь бывали в незапамятные времена.

Егосин посмотрел на него и ничего не ответил. Он здесь бывал...

На пристани пароход встречали три милиционера, и Борский возвеселился душой: «Вот не ждал, что в Соловках такой мощный гарнизон. Думал — один уполномоченный. А тут, глядите: капитан, сержант и рядовой. И все ребята — как на подбор!» С этим нельзя было не согласиться. Капитан и сержант — писанные красавцы, но в разном жанре; старший по званию являл совершенство голубо-золотого славянского типа, младший — цыганский огонь. Рядовой, видать, был из местных: лежащий неподалеку ненецкий округ уделил ему узковатую припухлость глаз, подпертых румяными яблоками скул. В ход была пущена красная книжечка — улыбки, бравое козыряние, рукопожатия, милое сетование, что вышестоящие не предупредили. Рюкзак и аэрофлотская сумка тут же были забраны у знатных путешественников симпатичным помором, которому этот груз был — что пушинка. Они двинулись в сторону поселка. Борский с капитаном ушли немного вперед для летучей разработки плана действий. У бывалых людей это не заняло много времени, и Егосину было предложено не соединяться сегодня с экскурсионной группой, а поехать на «дачу» в глубине острова, где будут уха и чай, русская баня «на шесть шаров», и прекрасная ночевка в просторной чистой комнате с окнами, затянутыми марлей, что защищает от ко-

маров, но дает свободное проникновение медвяному лесному воздуху. Экскурсия по монастырю состоится завтра, и капитан позаботится, чтобы их группе дали лучшего гида. Все же остальное, что туристы видели сегодня, они могут посмотреть по пути на дачу: ботанический сад, маяк, часовню. На даче есть плоскодонка, и сержант Мозгунов после бани и легкой заправки прокатит их по всей водной системе. «А на чем мы доберемся до этой дачи?» — с легкой тревогой спросил Егошин, который был плохим ходоком. «На «джипе», на чем же еще?..» Сказка продолжалась...

И капитан и сержант — первый уралец, второй волжанин — были влюблены в Соловки и по дороге наперебой засыпали вновь прибывших местными историями. Капитан рассказал о знаменитом Соловецком восстании, когда ревнители старой веры, вооружившись пищалями, мечами и бердышами, восемь лет держали оборону против царевых войск и были сломлены не силой оружия, а предательством одного из монахов, показавшего врагу тайный лаз — обычная судьба долговременных осад — всегда находится изменник, по слабодушию или корысти губящий геройское дело... А сержант поведал о «конфузии», учиненной инвалидным соловецким гарнизоном английскому флоту в Севастопольскую войну. После долгого и бесплодного обстрела крепости, выпустив сотни ядер и не проделав даже малой брешы в стене, англичане предложили стойким инвалидам и упрямым монахам сдаться на почетных условиях. В ответ смиренный инок вкупе со старым инвалидным бомбардиром ахнул из крепостной пушечки и снес грот-мачту на командирском корвете. Потрясенные меткостью православного бога — человеческой удаче, тем паче — умелости такое не под силу, — англичане попросили дать им питьевой воды, после чего с позором удалились от соловецких берегов.

— Вот оглоед! — вдруг вскричал капитан, и в голосе его звучали досада, восхищение и укор. — Опять за свое...

По грудь в студеной беломорской воде стоял средних лет человек с обветренным обрюзглым лицом, в пиджаке и кепке.

— Вылезай, Акимыч, не срамись перед людьми, — попросил сержант Мозгунов.

— Ишь, хитрый какой! — отозвался Акимыч. — Я вылезу, а вы меня обратно макнете. Нет уж — дудки!

— Да. на кой тебя макать, когда ты сам себя макнул, хуже некуда! — в сердцах сказал капитан.

— Ты мне, товарищ капитан, зубы не заговаривай, — выбивая дробь зубами, сказал Акимыч. — Не хочу, чтобы меня макали.

— Вылазь, Акимыч, простудишься! — уговаривал сержант. — Неужто тебе захворать охота? Скоро самая рыбалка начнется.

— Не вылезу, — твердо сказал Акимыч, погружаясь в воду по шею. — Не хочу, чтобы меня макали.

— Он что, ненормальный? — спросил Борский.

— Нет, он автомеханик, — сказал капитан. — Но зашибает крепко. А у нас вытрезвителя нету. Ну, мы его разок-другой остудили, чтоб очухался. А что делать?.. Не можем мы, вместо охраны порядка, с алкашами возиться. Так он теперь вон чего удумал — как нас увидит, так в воду. Срамотища! Акимыч, в последний раз тебе говорю: вылазь. А то мы тебя сами вытащим.

— Не вылезу, макнете, — и, отступив, Акимыч хлебнул воды.

— Ничего не поделаешь, ребята, — обратился к своим помощникам капитан, и те принялись разуваться.

— А у вас тут немало трудностей, — заметил Борский.

— Не без этого, — согласился капитан. — Главное — это отсутствие вытрезвителя. Тюрьмы тоже нет. Раньше в Кемь было проще доставлять, а теперь надо в Архангельск везти. Вообще-то у нас довольно тихо. Потом нам сильно дружинники помогают. Особенно по части алкашей. Подбирают их, отводят домой. Нет, преувеличивать наши трудности не стоит, но надо быть начеку.

Акимыча извлекли из воды, хотя он и применил хитрую тактику красноголового нырка. Милиционеры обулись, усадили дрожащего Акимыча в проходивший мимо грузовик. Капитан насильно впихнул Акимычу в рот какую-то противопростудную пилюлю; в сопровождающие нырлящику был выделен молодой помор...

«Джип» подан, вещи уложены, и вот уже Егошин с Борским, сопровождаемые сержантом Мозгуновым, обогнув кремль, мчатся сквозь душистый лес по прямой ухабистой дороге, то подскакивая на сидении до крыши, то валясь друг на друга.

— Дорожку-то небось не ремонтировали со времен отцов-пустынников? — заметил Борский сержанту.

Егошин не расслышал ответа. Он впал в какой-то

странный полусон. Отлично выспавшись на пароходе, он бодро сошел на берег, пережил и подавил горькое чувство, вызванное отсутствием светозарного купола, живо включился в мельтешню современной жизни с милиционерами, их рассказами, умным Акимычем, прячущимся в холодную воду, чтоб его, упаси господи, не окунули, козлоскачущим «джипом», а тут вдруг не то чтобы отключился от спутников с их житейщиной, но остался с ними лишь малой и слабо сознающей частью своего существа. А другой, большей, он погрузился в сновидческое переживание окружающего, но вневременного мира. И настойчиво стучало в сердце: это моя земля... мой мир... мое, мое, мое...

Вспомнился давно читанный роман, вернее, его главная образная суть, содержание начисто выветрилось. Там говорилось о каком-то человеке, который вдруг, вдалеке от своего дома, открывает ту единственную землю, где он должен жить. Он не только не обретает здесь никаких преимуществ, напротив, все теряет, превращается чуть ли не в люмпена, и все же теперь он счастлив, душа его расцветает, он становится собой истинным, а рядом с этим все утраты ничего не стоят. Причем его открытие не предвзялось ни тоской по земле обетованной, ни чувством неродности окружающей прежде жизни, ни мутным томлением по чему-то несбывшемуся. Но вот он оказался на земле, лишенной для других особой привлекательности, и он охвачен, закапканен и не уйдет отсюда никуда и никогда. При сходстве главного мотива Егошин не уподоблял себя герою этого романа. Как ни любо ему было это место: густой пахучий лес, взблескивающие за деревьями озера, звенящая тишина, медовый воздух, как ни заманивало терпкое прошлое крошечной таинственной страны, ему и на миг не вспало, что можно остаться здесь. В отличие от того очарованного человека, он был настроен на встречу с Соловками, знал, что ему там будет хорошо, но когда встреча состоялась, в нем не родилась другая душа, вмиг слившаяся с окружающим. Скорее, очнулась некая старая, давно сношенная и вдруг обнаружившая волю к сопричастию. И все же он оставался тем же московским старожилом, вечным пленником провонявших гарью улиц, кропотливым редактором поэтических текстов и книжным червем. И этот свой образ он не поменяет ни на какой другой. Впрочем, сейчас в нем обнаружился новый Егошин, который строго напомнил спутникам, что они собирались заехать в дендрарий. Но

милиционер признавал за ним лишь право совещательно-го голоса, а Борскому не терпелось в баню «на шесть шаров», он пропустил слова Егошина мимо ушей, и машина продолжала идти своим курсом.

— Вы проехали указатель, — сказал кто-то из тела Егошина звучным, привыкшим повелевать голосом. — Назад!..

— Да, да, — непривычно смешался Борский, — мы проскочили поворот.

А когда приехали в ботанический сад, Егошин, не интересуясь, следуют ли за ним остальные, выскочил из машины и направился к розарию. Власть надышавшись каждым распустившимся бутонем красных, белых, чайных, исчерна-пурпурных роз, пропитавшись их сладким ароматом, он важно молвил поспешавшему за ним старичку-садовнику:

— Завидую, по-доброму завидую вашим прекрасным розам. И не грезилось мне такое великолепие.

— Рады стараться! — вытянулся цветочный дедушка.

Вспоминая потом собственные высокопарные слова и особенно — интонацию, а также старомодный ответ садовника, Егошин отнес ото за счет своего сдвинувшегося и слегка галлюцинирующего сознания. Наверное, это естественно для человека, тридцать пять лет не выезжавшего из Москвы, не менявшего своих крайне скромных привычек, всего до предела упрощенного образа жизни и так оглушившего мозг безостановочным чтением, что реальность и вымысел образовали нераспутываемый клубок. Казалось, сейчас в него проник другой человек и подсказывает ему странные слова и жесты; но и обнаружив непрошеного зашельца, Егошин не мог изгнать его из себя. Когда они осматривали фруктовый сад с молодым вишенем, садовник спросил с тоской: «Приживутся ли?», в ответ Егошин значительно возвел очи горе.

Не обошел Егошин вниманием и кусты смородины, крыжовника, облепихи, весьма одоббив последнюю за многие целебные свойства; равно и небольшую оранжерею с разными растениями, и парник с огурцами, и под конец сказал садовнику, что дело ведется весьма разумно и старательно, и нет сомнения, что каждое плодоносящее дерево и родящий сладкие ягоды куст, а также всякий овощ отплатят сторицей за уделенные им великое человеческое терпение и неустанный труд. Старик всхлинул и долго тряс руку Егошина.

И в машине Егошин сохранил свой новый, мягко-по-

велительный тон и, не дав свернуть к даче с уже дымящейся банькой, погнал «джип» вверх, к маяку. «Вот не думал, что вы такой жадный путешественник!» — с удивлением, вытеснившим недовольство, заметил Борский.

До самого маяка доехать не удалось, путь к башне преградил намертво замкнутый шлагбаум, и последние десятки метров они прошли пешком по крутой булыжной дорожке, сопровождаемые неистовым, взхлеб, лаем сторожевого пса — помесь гончака с лайкой. Здоровенный пес так натягивал железную цепь, что казалось, вот-вот порвет, и перетрусивший шофер стал взывать к хозяину маяка, чтобы унял своего дьявола. И тут Егошин неторопливо, задумчиво пошел прямо на пса, враз замолчавшего, прижавшего уши к голове, и потрепал его по загривку.

— Вы еще и укротитель? — в тоне Борского звучала не только насмешка.

На маяке их радушно встретил смотритель, рыжий, с изумрудными шальными глазами. Казалось, он их ждал, что ничуть не удивило рассеянного Егошина, но озадачило Борского, крайне приметливого ко всем подробностям жизни. Насколько он помнил, они собирались сюда после банки, ухи и чая (все это должен был обеспечить прикомандированный к «даче» матросик) и дендрария, но, очевидно, капитан милиции позвонил по телефону и предупредил смотрителя, чтобы тот был наготове, если планы гостей изменятся. Так оно и произошло — довольно неожиданно для Борского. «Умный человек, — одобрил капитана Борский, — почуял туристскую одержимость Егошина, начисто ускользнувшую от меня». И он слегка омрачился, ибо не прощал себе мелких промахов, считая, что из них вырастают серьезные неприятности.

— Все, как было, — задумчиво произнес Егошин, когда они следом за смотрителем поднялись по каменной винтовой лестнице на верхушку башни, где располагался прожектор.

— Все, кроме источника света, — глубокомысленно заметил смотритель. — Вместо нефтяного фонаря — современная техника.

Над морем держалась туманная дымка, и, отделенное ею от бледно-голубого неба, оно в самом деле стало белым. Низко кружились большие чайки и вдруг клевали воду, добывая из нее пропитание.

— Не скучаете? — спросил Борский смотрителя.

— Скучаю, — признался тот. — Ко мне жена перемалась, а пацана на бабку бросила. Так и сидит тут неотлучно. Скукота.

— А вы, стало быть, не промах?.. — засмеялся Борский.

— Нет, — серьезно ответил смотритель, — я меткий стрелок. Но сейчас все глухо, жена и повелительница неотлучно при мне зевает. Вчера не выдержал, слетал в Архангельск и накупил литературы: и, простите за выражение, художественной, и научной.

— Вы книголюб?

— Поживешь с моей бок о бок, тут не то что книголюбом станешь!..

Они уже спускались вниз, и Борский оглянулся, чтобы привлечь Егошина к беседе со смотрителем, но того не было видно.

— Егошин! — закричал Борский, сложив руки рупором, в каменную гулкость лестницы. — Спускайтесь вниз!.. Надо ехать!..

Его голос не сразу достиг ушей загрезившего Егошина. Он по-прежнему вглядывался в пустую белесую даль моря, населенную лишь чайками, которых он едва различал своими «подстриженными» глазами, но росчерк их движений улавливал. Ему было удивительно хорошо и покойно на душе, и не хотелось никакой суеты, даже осматривать полуразрушенный монастырь не тянуло. Так бы стоял тут, отрешенно вглядываясь в даль, постигая ее чистоту и глубину не внешним, а внутренним зрением. Вот оно — счастье!.. Он никогда прежде не испытывал этого чувства, о котором столько наговорено, насочинено, напето, всегда что-то мешало: или неуверенность в себе, или в том человеке, который мог стать источником счастья, или посторонние заботы; тень — знак Аида, его тьмы и пустоты, — всегда марала небесное золото счастья. Пожалуй, лишь одно-единственное переживание осталось в нем ощущением совершенного счастья: когда в раннем детстве, после ванны бабка тащила его на загорбке в постель, завернутого в огромное мохнатое полотенце, и он, разомлевший, нарочно свешивался бесформенным кулем. Все остальное было лишь суррогатом счастья, даже стихи — чуть приметная горечь от собственной бездарности примешивалась к сладко-счастливым слезам. А сейчас, пялясь в белесую пустоту и не насаляя ее никакой думой, он был бессмысленно и прекрасно счастлив...

...Симпатичный чернявый матросик с круглыми детскими глазами встретил их в растерянности, он уже столько раз впустил раскошегаривал баню, что теперь не отвечал за «шесть шаров». Но для непривычного слабогрудого Егошина уже предбанник показался филиалом ада, а сунувшись в парилку, он вылетел оттуда кубарем — через сени наружу, благо «дача», как называли маленькую усадьбу, служащую пристанищем заезжего морского и гражданского начальства, стояла на отшибе, в лесной смолистой глуши, и голый человек не мог оскорбить чей-либо взор.

Немного оклемавшись, Егошин вернулся в предбанник, но дышать тут было нечем. Из парилки слышались стоны, вопли, сладостные проклятия, там творилась могучая мужская жизнь Борского, он не просто парился, а изгонял боса. Егошин набрал немного воды в шайку, потер обмылком шею, грудь, под мышками, но, чувствуя, что опять задыхается, поспешно окатился прохладной водой и стал вытираться.

— Чего не идете париться? — прогремел голос, и в приоткрытую дверь вырвалось белое раскаленное облачко.

— Можжевелового веничка нету, — отозвался Егошин и выскочил из предбанника.

Пока Борский неистовствовал на полке, Егошин успел одеться, отдышаться, побродить вокруг баньки, наслаждаясь пчелиным и шмелиным гулом — всюду трудились крылатые сборщики нектара над россыпью медоносов. А ведь как не верили когда-то, что может быть медосбор в Соловках! Так же не верили, что приживутся яблони, вишни, крыжовник, что можно кормить скот на местных пожнях, каждое новшество считали чудом, содеянным господом для угодного ему праведника Филиппа. Потому и сыпались на монастырь всякие милости и пожертвования от больших и знатных: от Марфы Посадницы, князей, бояр, воевод, от самого царя...

Матрос с детскими глазами накормил их ухой — наваристой, но опасной для жизни, ибо варилась она из рыбы непотрошенной и нечищенной; к деснам и нёбу противно приставала чешуя, но было куда хуже, когда такая вот шелушинка приклеивалась к горлу; пытаясь ее отхаркнуть, Егошин неизменно давился мелкой костью, неприметно пристроившейся между зубами или под языком.

— Архиерейской эту ушицу не назовешь, — заметил Борский, когда Егошин подавился в очередной раз.

— Таковую ушицу не то что архиерею, простому инок не посмели бы подать. Даже послушнику, даже труднику, — переводя дух, отозвался Егошин.

— А ты, видать, здорово ленивый парень, — сказал Борский матросу с детскими глазами.

— Есть малость, — подтвердил тот. — Но вообще-то в нашей деревне, когда пироги с рыбой пекут, то нечищеного карася или там сазана целиком в тесто запекают. С глазами, хвостом, чешуей, всеми зебрами и костями. Так и называется — крестьянский пирог.

— Стало быть, ты из-под Белозерска, — сообразил Борский.

— Точно! — обрадовался парень. — Как вы догадались?

— По пирогам. У вас на острове тюрьма имеется, в бывшем монастыре, — уверенно сказал Борский.

— В двух километрах от нас! Откуда вы все знаете? — поражался и радовался матросик.

— Там фильм знаменитый снимали — «Калина красная», — не сразу ответил Борский. — Я у них немного консультировал, — и так подавился костью, что выскочил из-за стола, схватившись рукой за горло.

Вернулся — бледный, с мокрым лицом.

— Убери сейчас же эту гадость. Чай у тебя хоть без костей?

— Как можно?..

Чай у матроса был без костей, но почти и без заварки. Борский брезгливо выплеснул желтоватую жидкость, ополоснул чайник кипятком и умело, быстро заварил крепчайший вкусный чай. Но чаевничать долго не пришлось, вернулся с деловой отлучки сержант Мозгунов, чтобы везти их по озерной системе, созданной Колычевым.

— Башковитый монах был, — уважительно говорил о Колычеве сержант. Гордый доверенной ему ролью не только гондольера, но и гида, он счел нужным рассказать приезжим о гидротехнической системе игумена Филиппа, соединившего все соловецкие озера между собой каналами с проточной водой. Эта гидротехническая система безукоризненно служит по сию пору. Тут не знают, что такое цвеляя вода.

Егошин по-новому увидел Филиппа: пантеиста и зиждителя. Соловецкий игумен бесстрашно хозяйничал в

природе, не признавая над ней ничьей власти, кроме ее собственной и человеческой. Какой там церковный фанатик — вся его преобразующая деятельность была отрицанием бога. Столь же независимым и отважным явил он себя в распре с Грозным, став вровень с Томасом Мором, да что там — выше. На беду, часто забывают, что старую русскую историю двигали: мыслью — люди в рясах, делом — в бранных доспехах. Духовные вожди той Руси могли сказать о себе пресловутое: мы университетов не кончали — их просто не было, мысль напрягалась в кельях.

— Нет на тебя Колычева, — мстительно сказал Борский матросику, когда встали из-за стола. — Старик не терпел разгильдяев.

— Я вообще по радару, — сконфуженно сообщил матросик.

— Да уж ясно, что не по камбузу, — заключил Борский, любивший в каждом деле ставить точку...

Но вскоре вся эта чепуха перестала существовать для Егошина. Он сидел на носу плоскодонки, глядя на растилающуюся перед ним туго натянутую водную гладь, осиянный тишиной, творимой водой и небом, и дикими утками, бесшумно садящимися на воду, доверчиво подплывающими к лодке и подставляющими под лапоть гибкие шеи, затем отплывающими прочь, не тревожа воды даже слабым шелухом. Озеро было темным по краям от деревьев, подступающих к самой воде и погрузивших в нее свое слитное отражение, а по центру вода светлела той изнемогающей в близости белой ночи слабой голубизной, какую отдавало ей удаляющееся от земли небо.

А в каналах копился сумрак, казалось, вот-вот врежешься в берега или в торчащие из воды обломки черных, как сажа, свай.

Что это — останки мостовых опор или причалов?.. Много тут погублено доброго: мельниц, плотин, причалов, мостов, — потомство не только не умножило, но и не сохранило наработанное предками четыре века назад. Как небрежливый, как расточительный люди!.. Но вопреки варварскому небрежению, разгильдяйству и бесхозяйственности, чудно выстояла водная система Филиппа, хотя ее забросили, как и все остальное: чиста и прозрачна до дна вода озер, не заилились канавы и протоки, не заросли зеленой ряской и ушками. Сквозь всю поруху, войны, человечьи бесчинства сохранилась кровеносная система островов, рассчитанная дивным русским человеком: строи-

телем, гидрографом, ботаником, зоологом, пчеловодом, рыбарем, хоть сам сроду не хаживал с сетью, промысловиком и радетелем здешних мест Филиппом Колычевым.

— Приехали!.. Вы спите?.. — услышал Егошин за своей спиной голос Борского и увидел, что нос лодки рассек прибрежные камыши и мягко ткнулся в берег.

— Кто спит? — пробормотал он, почему-то не желая признаться, что действительно то ли находился в трансе, то ли в каком-то сне наяву.

Он поднялся, разминая замлевшее тело, и шагнул на берег. За ним последовали Борский и милиционер с веслами. Борский шумно восторгался прогулкой, и польщенный сержант предложил пройтись с бредышком, хоть это и не положено, для взбодрения вечерней ухи. Егошин чувствовал себя таким разбитым и опустошенным, что никак не отозвался на заманчивое предложение, буркнул: «До завтра!» — прошел в пахнущую смолой дачу, рухнул на койку и забылся черным сном.

Утром его разбудил Борский — их уже ждал какой-то попутный грузовик, а надо было умыться, привести себя в порядок и попить чаю — экскурсия предстояла долгая.

Они собрались быстро, и так же быстро и беспощадно домчал их до монастыря по чудовишной лесной дороге спешащий куда-то шофер. Маленькая задержка вышла за мостом через ручей, где дорога подходила вплотную к морю, — их милицейские друзья с унылым отчаянием вылавливали из воды надравшегося спозаранку Акимыча. «Не выйду — макнете!» — мотал головой посиневший от холода алкаш, а капитан тем же рассудительным голосом объяснял ему вредность для организма холодной воды. «Не выйду — макнете!» — упрямылся Акимыч. Капитан повернул к Борскому усталое лицо: «Вот так мы живем... Ваша группа уже во дворе. Я договорился с лучшим лектором, он из Академии художеств. Позже встретимся...»

Туристская группа в полном сборе переминалась возле закрытого магазина сувениров и расположенного напротив загадочного комиссионного с уцененными товарами. Это взволновало хозяйственного Борского, но ему объяснили, что магазин торгует лишь комбикормом, сеном и прочим нужным для крестьян товаром...

Туристы успели перезнакомиться между собой на пароходе, вчерашний экскурсионный день сблизил их еще больше, и появление двух блудных сыновей было вос-

принято холодно, чтобы не сказать враждебно. Никто не поинтересовался, почему они отстали от группы, как добирались, где ночевали. У них завязались друг с другом сложные, тонкие отношения: над кем-то подтрунивали, кого-то высмеивали за сонливость, другого — за чревугодие, третьего прозвали за рассеянность Паганелем, и он охотно отзывался на кличку; были тут и две соперничающие красавицы, одна из них — с горячим смуглым лицом — и впрямь хороша, другая — крашенная блондинка в сверхмодном пиджаке из кожзаменителя и узких джинсах — олицетворяла в глазах туристов высший свет и, похоже, обладала преимущественным правом стать «мисс Соловки», что сильно язвило соперницу. Та отпустила в ее адрес колкие замечания, антическая соль которых пропадала для Борского и Егошина, ибо использовался уже накопленный материал отношений, им неизвестный. Егошина удивило, что эти люди, проведенные вместе менее полутора суток, так много друг о друге знают, так крепко связались, отчасти и разделились, что не мешало им оставаться монолитом, стойко противостоящим чужакам.

Отчасти это объяснялось тем, что женщин было меньше, чем мужчин — редчайший случай, — и находящиеся в изысканной кавалерии невольно сплотились против новичков, из которых один являл несомненную опасность. В мужском стане выделялся рыжеватый детина в джинсах с широким ремнем и немыслимой — под бронзу — пряжкой. На нем был полосатый батник, похожий на морскую тельняшку, завязанный узлом на толстом пузе. Между узлом и сидящими низко, на бедрах, джинсами оставалась широкая полоса розового веснушчатого тела; видимо, это соответствовало каким-то нынешним стандартам, ибо никого не шокировало. От малого, ему было за тридцать, шел некоторый дискомфорт — уж слишком развязно и по-хозяйски он вел себя. Он то и дело обхватывал сзади красавицу блондинку и громко требовал, чтобы их «щелкнули» в таком виде. Блондинка раздражена, но в меру, чтобы не выглядеть недотрогой и тем повысить шансы соперницы-смуглянки, вырывалась, но всякий раз юный и услужливый фотограф-любитель успевал запечатлеть пару. «Одну карточку пришлешь мне, — приказывал детина, — другую — ей, в профком», — и громко ржал. Еще у него была манера приставать к туристам с одной и той же глупостью: «Сидели два медведя на ветке золотой, — говорил он многозначительно. —

Один качал ногой, — и хитро прищурившись: — А другой чего делал?» Егошина до боли злило, что парень то ли сознательно, то ли по тупости, то ли из скотской шутливости пропускает одну строчку, отчего разваливается глупое стихотвореньице-песенка из довоенного кинофильма. Стихотворный обрубок ранил слух.

Шатаясь от одной группы к другой, Рыжий набрел на Борского.

— Ну, чего делал другой, а?..

— Не знаю. Водку жрал, — сказал Борский и отвернулся.

Вопреки ожиданию Егошина, Рыжий не обиделся, а глупо захохотал.

— Ну, ты даешь!.. Водку жрал. Надо взять на вооружение.

Он подошел к немолодой женщине с добрым усталым лицом.

— Слушай, бабка: сидели два медведя на ветке золотой. Один качал ногой. А другой чего делал?

— Ох, хватит, Михаил Семеныч, вы уж меня спрашивали. Неужели вам самому не надоело?

— Подумаешь, спрашивал! И еще спрошу, не помрешь раньше срока. — Из-под добродушной маски «души общества» проглянуло что-то не просто злобное, а невыразимо гадкое, до содрогания враждебное всему существу Егошина.

Удивляясь силе своего омерзения, он шагнул в сторону и этим привлек внимание детины. Тот немедленно привязался к нему.

— Сидели два медведя на ветке золотой. Один качал ногой. А другой чего делал?

— «Один сидел как следует, другой качал ногой».

— Ишь ты, умник выискался! Философ!.. — голос звучал откровенной ненавистью. Видать, парень уже был заведен двумя предыдущими проколами и сейчас хотел отыграться.

«Мои дела! — подумал Егошин. — Есть во мне что-то стимулирующее таких вот подонков. Наверное, моя незащищенность, или они бессознательно чувствуют, как мне гадки!.. Слава богу, мы здесь не одни, ему придется оставить меня в покое. Нечего сказать — удачный попутчик!.. — Он отвернулся и стал смотреть на девушку в комбинезоне и косынке, которая, сидя на корточках посреди монастырского двора, вколачивала в землю лобастый булжник. — А ведь это она мостит! — догадался

Егошин. — Студенточка из стройотряда. Какие у нее тонкие руки! Сколько же ей понадобится лет, чтобы замостить всю площадь?..»

— Ты, философ, чего не отвечаешь? Язык проглотил? — рыжий обормот не отличался отходчивостью.

— Он вас не утомил? — послышался ленивый, по-особому ленивый голос Борского.

Рыжий верзила оглянулся и... поверил инстинкту самосохранения.

— А второй водку жрал! — гыкнул дурашливо, шлепнул себя по брюху и пританцовывающей походкой направился к девицам.

— Дешевка! — громко сказал Борский. — Ну почему в любую компанию должна затесаться такая вот шваль? Все люди как люди, а этот откуда взялся? И чего он притащился на Соловки? Сидел бы себе в пивнухе или давил на троих в подъезде.

— А может, просто жалкий дурень? — чужое унижение всегда было тягостно Егошину. — Ему кажется, что он невероятно остроумен, обаятелен и всеми любим. А дома — обычный трудяга.

— Нет, — покачал головой Борский. — Он приклатенный.

— Не понимаю.

— Как бы вам объяснить?.. Он еще не настоящий... зеленый, но созреет быстро. И будет на все готов. Он вообще не думает, что обольстителен, ему это и не надо. Он самоутверждается. Навязывает себя... заставляет плясать под свою дудку. И заметьте, ему подыгрывают, улыбаются. Не хотят связываться, портить себе отдых, просто боятся. И он это знает. И пользуется, сволочь!..

Егошину стало грустно. Хотя бы здесь, в этой тишине, не лютовала человечья злоба. Тем более что Соловкам этого с избытком хватало в прошлые годы. Невеселые его мысли были прерваны появлением экскурсовода — пожилого, изящно-сухощавого, невесомого и незаземленного человека с реющими над загорелым теменем редкими золотисто-седыми волосами.

Он казался небожителем, ангелом на пенсии. И речь его была ему под стать — парящая, изящная, взволнованная, будто он впервые говорил о своем любимом, избранном душой месте светлым людям, настроенным на одну волну с ним. Надо отдать должное экскурсантам, они держались так, словно паломничество на Соловецкие острова было целью и апофеозом их жизни. Егошин уми-

лялся трогательной способности своих соотечественников так серьезно и воодушевленно отдаваться тому, что не имеет ни малейшего отношения к их последующему бытию.

Что же касается его самого, то с некоторым смущением он обнаружил, что воспринимает вдохновенные слова гида лишь эстетически. Ему нравилось, как тот говорит, но совсем не интересовало, что тот говорит. Иначе и быть не могло. Гид обращался к людям, вовсе не обязанным знать историю Соловков, его лекция носила популярный характер. Но было и другое: Егошин ловил гида на ошибках, неточностях, хотя сам не знал, где почерпнул свои сведения. Осведомленность Егошина принадлежала к тем необъяснимым странностям, которые насылала на него Соловецкая земля, игравшая в загадочные игры с его памятью. Экскурсовод, как и следовало ожидать, не знал, что мысль об укреплении монастыря родилась у игумена Филиппа, что тот вел переговоры с мастером Трифоном, совсем еще молодым человеком, возведшим крепостные стены и башни много лет спустя, когда Филиппа уже давно на свете не было. Но Егошин не считал допустимым поправлять лектора — это было бы и бестактно, и безответственно, поскольку он не мог называть источники своих сведений.

Они находились в трапезной, почти восстановленной. С глубоким сердечным волнением Егошин увидел столь поражающий во время оно человеческое воображение опорный столб, который хотелось назвать стеблем, несмотря на всю его массивность и могучность, — вверху словно побеги расходились. Рассказывая о том, как снедали иноки и как разнообразил скупой монастырский стол аскет Филипп, гид со вкусом перечислял: шти с маслом (он так, по-старинному, и сказал: «шти»), разные масляные припеки: пироги, блины, оладьи, яични, рыбу всякую, кисели.

— Огурцы и рыжики, — машинально подсказал Егошин.

— Рыжики — возможно, — пожал плечами гид. — Но огурцы? Тут не было парников.

— Завозные, — покраснев, сказал Егошин.

— Ну, если вы знаете больше моего, — тоже покраснел гид, — я уступаю вам место.

Экскурсанты недовольно загудели.

— Простите великодушно, — совсем смешался Егошин и по-детски добавил: — Я больше не буду.

Самолюбивый небожитель несколько секунд молчал, отметив тем самым подавление бунта, затем продолжал рассказ на прежней высокой ноте, словно его не прерывали.

Егошин прикусил язык раз и навсегда. Ему стало скучно. Он понял, что все уже состоялось — вчера, когда они оплывали на лодочке озеро и каналы, ради этого он сюда ехал, все остальное вовсе не нужно. Он заметил, что еще одна душа, отнюдь не родственная, изнемогает от скуки. Лишившись внимания окружающих, Рыжий буквально места себе не находил. Он то присаживался в сторонке с зажженной сигаретой, прикрывая ее ковшиком ладони, поскольку курить было строго запрещено, то отставал от группы, откалывая от нее двух-трех человек для конфиденциальных переговоров о пиве, которое, по «данным его разведки», должны завести в киоск. Не пропускал он случая сфотографироваться возле какой-либо достопримечательности в нарочито нелепой или шутовской позе. Впрочем, может, он и не выламывался, просто его дурацкое тулово с переваливающимся через ремень брюхом, откляченным задом, все какое-то вихляющееся и странно гибкое при своей топорности, казалось оскорбительно-неуместным на фоне старинного крыльца, изразцовой отделки стен, в проеме крепостных ворот. Порой он желал быть запечатленным вместе с красавицей блондинкой или ее смуглой соперницей, порой, прибегая к легкому насилию, формировал групповой снимок, чем задерживал остальных, нарушал стройный порядок экскурсии. В конце концов гид при всей своей увлеченности и незаземленности ощутил некую противоборствующую силу и легко разгадал ее источник. В его речах все чаще стала пробиваться тема душевной невоспитанности, неуважения к прошлому и деяниям предков. Для обличения безобразников он пользовался цитатами из дневников Пушкина и местных милицеских протоколов. Но поскольку последние касались людей, соблазненных зеленым змием, его стрелы летели мимо цели — Рыжий был трезв как стеклышко.

Тут они перешли в другой двор, и гид коснулся новой темы: отдаленность, изолированность Соловецкой обители очень скоро превратили ее в место ссылки. Первым сюда прислали для «строжайшего содержания» впавшего в ересь игумена Троице-Сергиева монастыря, Артемия, вслед за ним — Матюшку Башкина, изрыгавшего хулу на Николая Чудотворца. Чистый образ Соловков замутил-

ся, а там все отчетливей стал двоиться. Сюда присылали и проштрафившихся монахов, и уличенных в разных злоумышлениях знатных лиц; здесь сидел в волчьей яме несчастный безумный декабрист Александр Горожанский, томился знаменитый Мусин-Пушкин, до сих пор сохранилась камера-келья, где провел в заточении двадцать пять лет последний атаман Запорожской сечи Кальнишевский, помогший князю Потемкину выиграть Крымскую войну. Осыпанная бриллиантами табакерка — подарок Екатерины II бесстрашному атаману — весьма уязвила князя Таврического, богатого государственным талантами, но бездарного в ратном деле. Как положено, атамана-сечевика обвинили в попытке отложиться от России; четвертование восьмидесятилетнему изменнику по просьбе сердобольного Потемкина заменили пожизненным заключением в Соловецком монастыре. Более того, Светлейший отвалил старцу рубль на месячное содержание вместо положенного гривенника. Не в силах прожить такие деньги, разжалованный атаман засыпал монастырь ценными вкладами и еще завещал немалую сумму на помин своей души.

— Сколько же ему тогда было? — поразились туристы.

— Сто одиннадцать. Когда на престол вступил Павел I, о старике вспомнили и прислали ему помилование. Но он его не принял, сказав, что за годы, проведенные здесь, так свыкся с внутренней свободой, что не хочет никакой иной. Он даже отказался перейти в другое помещение. И прожил еще два года. Перед вами его келья-камера.

— А женского монастыря тут не было? — ни к селу ни к городу двусмысленным, сулящим юмор голосом спросил рыжий озорник.

— Нет! — резко сказал гид. — Здесь все было только для мужчин.

— Товарищ лектор, — сказал усатый серьезный человек, похожий на положительного рабочего из довоенного кинофильма. — Интересно нам, что за каменюка такая красная, вон, у стены. Все мимо ходим, а вы словечка не скажете.

— А-а! — обрадовался гид. — Молодцы, что заметили. Этот саркофаг найден совсем недавно. И в отличном состоянии. Он хранит память о замечательном сыне России Авраамии Палицыне, герое Смутного времени.

И он вдохновенно рассказал о великом русском патриоте Авраамии Палицыне. Рачительный келарь Троице-

Сергиевой лавры, обремененный хозяйственными делами богатейшей обители, очнулся для великой всенародной службы в черные дни Смутного времени, какими Русь расплачивалась за безумства Грозного царя. Оказывается, Палицын знал слова, способные пробиться и в заросшее, и в оробевшее, и в смятенное, и в заледенелое от ужаса сердце. Своими огненными посланиями он поднял русских людей на отпор торжествующей иноземной рати, разбудил нижегородского мясника Минина-Сухорука, открыв в нем народного вождя, отверз вежды залечивающему старые раны князю Пожарскому на беды России и вознес дух умелого, но чуть вялого воина. А когда Русь стряхнула врагов со своего тела, Авраамий вновь ушел в тень. Почувствовав приближение смерти, он захотел вернуться в Соловецкую обитель, где провел молодые годы, и навек успокоиться в ее тишине. Настоятель Троице-Сергиевой лавры, явив странную черствость, даже не пытался удержать черноризца-трибуна.

После этого гид, несколько утомленный, предложил сделать пятнадцатиминутный перерыв. Люди разбрелись кто куда. Одни пошли в сувенирный магазин, хотя еще накануне приобрели комплекты соловецких открыток, а ничего другого там не водилось, другие отправились на поиски туалета, чье далекое местонахождение было отмечено многочисленными стрелками. Борский остановил выбор на кормовом комиссионном. Егошин, не нуждавшийся ни в фураже, ни в туалете, ни в открытках, рассеянно побрел на первый двор. Студенточка из стройотряда по-прежнему ползала по земле, вколачивая слабыми руками бульжники в почву. Егошин с легкой грустью подумал, что ее жизни не хватит, чтобы увидеть двор замощенным. Он решил подняться в трапезную, постоять в чудном рассеянном свете, падающем из скошенных окон. Замечательно рассчитаны эти окна, как будто всасывающие свет. Поднимаясь по винтовой лестнице, он услышал доносившийся из трапезной разговор.

— Ладно строить-то!.. — говорил густой мужской голос. — Тоже мне, архитектор!..

— Я с вами свиней не пасла, — брезгливо ответила женщина.

— Тоже мне, маркиза де Помпидур!.. Пошли в гостиницу. У меня коньячишко марочный. А напарнику сказано — не соваться. Пошли, ласточка!..

— Отстаньте!.. Я сказала — без рук!..

Послышалась возня и звук, похожий на пощечину.

Зацокали каблучки, и мимо Егошина, заставив того вжаться в стену, промелькнула женская фигура; в сумраке светились разлетевшиеся волосы. За ней ринулся кто-то крупный, больно толкнув Егошина локтем, по-враждебному едкому запаху он узнал Рыжего. Похоже, что тот его не заметил. Ну и цепкий тип! Хорошо, что наконец нарвался. Может, теперь уgomонится.

Егошин вошел в трапезную, постоял у опорного столба, прислонившись к нему спиной, и то закрывал глаза, то открывал их в мягкий серебро-голубоватый свет, льющийся в прорези окон; нежный, роящийся, он наполнял помещение какой-то тайной жизнью. И вчерашнее чувство сродности с окружающим, так властно владевшее Егошиным на воде — пусть приглушенно, — пробудилось вновь. А что же мешало по-давешнему потерять себя, исчезнуть в прошлом? Запах, догадался Егошин, кислый, введливый современный запах скверной шпаклевки.

Когда он вернулся к месту сбора, вокруг саркофага Палицына теснилась небольшая толпа: туристы, студенты-строители, какие-то мальчишки, чуть в стороне ругалась и плевалась старуха-сторожиха на больных распухших ногах. Повинуясь стадному чувству, Егошин направился к саркофагу, полускрытому толпой. Протиснувшись вперед, он увидел паренька-фотографа из их группы, который, бесцеремонно расталкивая окружающих, обшелкивал со всех сторон — то с колена, то с корточек — возлежащего на саркофаге в томной русалочьей позе рыжего паскудника.

Легко пережив поражение, он придумал новую забаву, вернувшую ему внимание окружающих.

Потом Егошин вспомнил, как быстро вобрал он в себя множественность выражений, написанных на лицах людей, не только обступивших саркофаг, но и расположившихся поодаль — на камнях, ступеньках лестниц, приступочках. Он обнаружил и возмущение, и отвращение, и осуждение, и безразличие, и удовольствие, как не от слишком пристойной, но забавной шутки, а у мальчишек — откровенный восторг, ранивший его сильнее всего. И еще он заметил неподалеку спину Борского, увлеченного разговором со смуглой туристкой. До чего же дошли равнодушные, робость перед грубой силой, если, кроме старой больной сторожихи, ни один не отважился хотя бы укорить, если не урезонить распоясавшегося хулигана!

— А теперь — дельфинчиком!.. — объявил Рыжий, повернулся на пузе, ноги сплел в хвост, руками затрепе-

тал, как лапами, и стал высоко подкидывать плотно обтянутую джинсовой тканью толстую задницу, подражая прыжкам дельфина.

Мальчишки покатались от хохота. Егошин увидел светловолосую девушку, так хорошо отбритую Рыжего в трапезной, она тоже не удержалась от улыбки и, словно рассердившись на себя, тряхнула золотыми волосами и отвела глаза. Борский обернулся на шум, брезгливо дернул губой и продолжал прерванный разговор. И еще он заметил бледного, как мел, экскурсовода, разминавшего в пальцах сигарету и не замечавшего, что тонкая бумага порвалась и табак крошится на землю. Вслед за тем он кинулся к саркофагу и в бессильной ярости толкнул обеими слабыми руками жирное, потное тело. Его жест не имел бы последствий, если бы расшалившийся «дельфин» не «подплыл» к самому краю гладкой, скользкой гранитной плоскости. Рыжий плюхнулся на землю и, не успев собраться, спружиниться, шмякнулся огромной лягухой, не только мясом и костями, но и всем нутром, как-то противно екнувшим.

Был миг странной оцепенелой тишины, взорвавшейся шумом. Мальчишки выли, визжали от восторга, столь же довольные позором своего кумира, как прежде его уморительными выходками. Сторожика на больших ногах крикнула влажным голосом: «Хоть один человек нашелся!» — «Так ему, храпоидолу, и надо!» — поддержал ее мужик с пилой, видать, из местных. То были различные голоса. В шуме же прослушивалось разное: преобладало одобрение, но звучало и недовольство, даже осуждение его поступка. Женщина с красным активным лицом насадала на положительного рабочего: «Языком трепи, а рукам воли не давай!» Егошин усмехнулся лицемерию этой фразы: обидели славного рыженького мальчугана!.. А вообще, он не успел ни многое расслышать, ни разобраться толком в реакции окружающих, и не потому, что был потрясен собственной дерзостью или боялся расплаты, ни о том, ни о другом он просто не думал, — Рыжий не дал ему времени. Хоть и ошеломленный падением, он тут же вскочил с проворством, которого от него трудно было ждать, перемахнул через саркофаг и схватил Егошина «за душу», скомкав в горсти рубашку на его груди.

— Пихаться, сука?..

Егошин задохнулся и на мгновение утерял из виду происходящее. Когда же вновь прозрел, между ним и Рыжим был заслон: фигура Борского.

— Чего суешься? — орал Рыжий. — Он меня уронил!..

— Нянька тебя уронила, темечком о порог, — не повышая голоса, сказал Борский. — Давай без блатных истерик. Линяй отсюда!..

Он был на полголовы ниже Рыжего, уже телом, хотя столь же широк в плечах, но окружающие, даже самые далекие от бойцовых дел, сразу увидели, что тут сошлись силы неравные: с одной стороны — обточенный до совершенства жизнью, войной, испытаниями стальной брус, а с другой — мешок с мокрым дерьмом. И едва ли не раньше других это понял сам Рыжий. Он был унижен, взбешен, он хотел стереть с лица земли заморыша, осрамившего его на глазах всего общества и белобрысой дуры, которая его по роже ударила, ну, с ней — еще не вечер. Но против этого загорелого, с белым шрамом на каменной морде он бессилен. Он знал, что драки не будет, а будет что-то такое стыдное и пакостное, что жить не захочется — искалечит, как бог черепаху. А Рыжий любил себя, свое здоровье, молодость, свою расчудесную жизнь с вином и бабами и обожавшими его дружками, с немалыми башлями, которых, если не сорвется одно дельце, окажется столько, что он сразу перейдет в другой вес — через категорию, и будут девки классом повыше, чем официантки и продавщицы, и «Жигули» вместо «Запорожца», а вместо Сочей — Золотые Пески или Эйфория-норд, где голые бабы обмазываются черной глиной с головы до пяток, и на них можно смотреть, сколько влезет, сквозь дырку в заборе, отделяющем ихний пляж от мужского; и кой черт потянуло его в эти вонючие Соловки — Валерка, сволочь, натрепал с три короба, ну, он вмажет ему за рекомендацию, а этого — с каменной мордой и белым шрамом, не то уголовника, не то из мусоров, или фифти-фифти, что еще хуже, он, конечно, не тронет. Мы тоже кое-что соображаем, нас модными курточками не собьешь, виден сокол по полету, с вами, дорогой шеф, нам пока еще рано связываться. Вот накопим багажик, тогда...

— Все, тихо, командир, — сказал Рыжий почти шепотом. — Детки спят и видят золотые сны, — и отошел прочь на мягких лапах...

— Если бы вы знали, как я вам завидовал! — сказал Егошину, подойдя, экскурсовод. — Всю жизнь я мечтал стукнуть по такой вот вздорной, тупой, пошлой, гнусной башке, — вы даже не представляете, сколько хамства мы

тут видим, — но боялся. Не ответного удара, не избития даже, а стыда, когда я, путаясь в кровавых соплях, буду подбирать разбитые очки, сломанный зубной протез и черепки собственного достоинства... Или вы все-таки рассчитывали на своего друга?

— Мне хотелось бы сказать: да, чтоб вам было легче. Но не стану врать. Я просто забыл о нем. Понимаете, я вообще не думал о последствиях. Наверное, в этом все дело, — сказал Егошин задумчиво, — надо поступать, а не прикидывать, иначе никогда ничего не будет.

— Да здравствует воинствующий гуманизм! — с каким-то бедным весельем произнес экскурсовод. — Ну, мне пора сеять дальше разумное, доброе, вечное.

Они пожали друг другу руки и разошлись.

— Насладились боевой славой? — спросил Борский.

— Какая там слава! Если б не вы, он бы меня уколошил. Но вообще я рад, что это было.

— А я — нет! Зачем лезть не в свое дело?

— Мне показалось, что впервые в жизни я полез в свое дело. Ужасно жалко, что никогда никуда не лез... Кстати, вы непоследовательны. Вспомните наш разговор в аэропорту.

— Что тут общего? Там было нарушение закона. А этот — уголовной юрисдикции не подлежит.

— Вот почему вы остались в стороне?

— Если хотите — да. И повод был ничтожный.

— Моя бабушка говорила: нет малого зла, зло — оно зло и есть. Неужели утаенные киоскершей газеты важнее осквернения памятника?

— Тогда будьте последовательны. Рыжий кочевряжился на саркофаге, другие на него мочатся или валят девочек. Наймитесь сюда сторожем вместо той старухи с распухшими ногами.

Почему он злится? Потому что недоволен собой?.. Тогда это хорошее в нем. А может, последовать его совету? Выйти на пенсию и поступить сюда сторожем?..

— Возможно, я так и сделаю, — серьезно сказал Егошин.

— Старое дитя!.. Не связывайтесь вы с этим охломоном. Поверьте моему опыту: это не просто фальшак, дешевка, он опасен.

— Вы считаете, тут пахнет убийством? — с нарочито серьезным видом спросил Егошин.

— Надеюсь, что нет! — Странная, медленная, нежная улыбка всплыла из глубины существа Борского и завладела

лицом, наделив его непривычной мягкостью. — А вы никогда не задумывались, как легко убить человека?

— В практическом или этическом плане? — Егошина поразило дикое несоответствие вопроса Борского его улыбке. Может, улыбка относилась не к самому вопросу, а к тому доверию, какое тот впервые кому-то оказывал?

— Практический аспект неинтересен: так или иначе способ всегда находят. Если же возникает этическое сомнение, то это невероятно трудно. Но вся соль в том, что этический момент часто не возникает. У Раскольникова он возник, поэтому самые умные исследователи считают, что он вовсе не убивал ни старуху-процентщицу, ни жалкую Лизавету. Убивали и убивают те, перед кем такой вопрос не возникает. Из всех так называемых извечных запретов людям легче всего переступить именно этот. Гарантируйте безнаказанность — человечество исчезнет с лица земли в гомерически короткий срок.

— Если вы хотели меня запугать, — Егошин улыбался несколько натянуто, — то, кажется, достигли цели.

— Очень рад. Мне, видите ли, надо отлучиться вечером... Я не хочу, чтобы вы попали в скверную историю... Может, пойдете со мной?.. — добавил он неуверенно.

— Нет, — покачал головой Егошин, догадавшись, что Борский будет вытягивать сюжеты из милиционеров. — Мне хочется поглядеть на озеро.

— На какое еще озеро?

— Да рядом. Минутах в пятнадцати отсюда.

— Ладно, сходите на озеро и пораньше возвращайтесь. Вот ключи от номера. Запритесь и спите спокойно. Мне откроет коридорная.

5

...Когда Егошин вечером вышел из номера, монастырское подворье казалось вымершим. Света в окнах гостиницы не было: туристы постарше уже легли спать, а молодые «жуировали жизнью» в столовой, которая вечером превращалась в ресторан с джазом и танцами. В тьму огромного двора вцеживался сквозь наволочь слабый свет ущербного месяца, но над крепостными стенами подымалось зарево поселковых фонарей.

Егошин с близорукой осторожностью отыскивал примеченный еще днем пролом в стене, глядевший то ли на

заливчик, то ли на расширяющийся здесь канал, который и приведет его к озеру. Поселок оставался по другую сторону монастыря, а здесь Егошин сразу попадал в природу. Будь немного посветлее, он без труда отыскал бы озерко, находившееся в том же направлении, что и дача, оно блистало им из-за деревьев. Егошина смутила глухая черная стена, выросшая впереди, но тут он сообразил, что это лес, значит, идет правильно. Он медленно, нашаривая ногой землю впереди себя, направился к лесу, порой спотыкаясь о кротиные холмики, оступаясь в ямки от коровьих копыт — почва близ воды была мягкая. Все же он благополучно обогнул воду, оказавшуюся-таки заливчиком, заметил сгусток тьмы — пивной ларек на самом краю поселка и понял, что путь выбран правильно. Егошин не старался найти дорогу, по которой они ездили, шел прямо по луговой целине на все вырастающую и наливающуюся черной глухотой стену леса. И в какой-то миг стена потеряла свою цельность, расслоилась, в ней обнаружились щели и просветы — опушка не очень густого леса, окружающего озеро. Он заметил что-то вроде просечки и двинулся по ней. Дивная тишина объела путника, лес спал, и ночное дыхание его было ароматным, чуть влажным, и счастье Егошина стало материально уютным теплым зверем, мягко и нежно вселившимся в него...

6

Борский и сержант Мозгунов пришли на второй двор, тот, где находился Преображенский собор. Ворота были закрыты, но Мозгунов достучался до спящей сторожики, им открыли. Они прошли в глубь двора, где возле угольной башни, в утолщении стены, как показалось Борскому, был несквозной пролом, к нему вели три-четыре обвалившиеся ступеньки.

Мозгунов вынул карманный электрический фонарик и навел на углубление или нишу — трудно подыскать точное слово. Там торчали обнажившиеся красные кирпичи, полуразрушенная стена сохраняла округлую форму. Пол был завален битым кирпичом, кусками штукатурки, какими-то железяками, сквозь мусор проросли жесткие худые травы из накопившейся под завалом почвы.

— Здесь его брали, — сказал Мозгунов. — Он чуть не год скрывался. Я-то сам тогда еще на Соловках не слу-

жил, — добавил со вздохом. — Мне сроду «особо опасные» не попадались, а капитану нашему «За отвагу» навесили. Подранил его бандюга...

— Какой сюжет! — восхитился Борский. — И какие декорации!.. Тут нужен Шекспир!..

— Сколько уже служу, а не довелось мне личное оружие применить, — грустно сообщил Мозгунов. — Так и молодость пройдет...

— Не падай духом, сержант, — подбодрил его Борский. — Преступников на твой век хватит...

7

...Егошин раздвинул прибрежный кустарник, опрыскавший его нестуденой вечерней росой, и чуть не наступил на пристроившуюся там пару. Взвизгнула женщина, и грязно выругался мужчина.

— Извините!.. — пробормотал Егошин, поспешно отступив. Мимо него, одергивая платье, проскользнула женщина, он не разглядел ее в потемках, но по запаху духов и светлому взлету волос угадал туристку из их группы, и тут же признал мужской голос. Он не представлял себе, что ему будет так больно. А он-то поверил в эту женщину, в ее гордость, опрятность, честь. И как после всего срама рыжий прохвост уломал ее? Неужели марочный коньячок и потные объятия столь соблазнительны? Да что я понимаю в сегодняшних молодых людях, особенно — в женщинах! Может, физически он ей вовсе не противен — ядреный настойчивый мужик, а она, наверное, одинока — едва ли муж пустил бы ее в такую романтическую поездку! — и ей, конечно, мечталось о приключении, о том, чтоб развеять пустоту, обыденщину, опять поверить в себя, в свою неотразимость и что не все пропало. Наверное, она предпочла бы другого кавалера: киноартиста или эстрадного певца, но за неимением лучшего сойдет и этот, все-таки нестандартный и чудовищно настырный, что, несомненно, льстит. Егошин слышал, как Рыжий звал ее, бранился, и прибавил шагу не из страха, а потому что при своем разочаровании чувствовал вину перед людьми, которым все испортил. Его раздражала и злила собственная неловкость. Нельзя же быть таким растяпой! Не везет Рыжему, то его спихнули с саркофага, а теперь согнали с груди избранницы! Последнее — просто свинство. Но что поделать, не может же он вернуть эту испуганную газель под сень кустов.

— Ах, вот ты где, гнида! — произнес за его спиной задыхающийся голос. — Не удалось удрать?

Егошин остановился.

— Я не удирал. Мне совестно, что я помешал вам. Извините.

— Вон как заговорил!.. Видать, дружка твоего рядом нету. — Рыжий встревоженно оглянулся.

— Не беспокойтесь. Его здесь нет, — мягко сказал Егошин.

— Ты мне, сука, за все заплатишь. Вся вонь от таких, как ты. Вечно ты мне поперек лезешь, всю жизнь!..

«Неужели это правда? — подумал Егошин. — Значит, я все-таки не зря коптил небо, если мешал таким, как он... Жаль, что я поздно об этом узнал... Но ничего... ничего... Я еще буду... когда-нибудь буду опять. И тогда прикончу железную старуху зла...»

— Ладно, — сказал он ясным и звучным голосом. — Брось болтать пустое, делай, зачем пришел!..

И рыжий верзила, что стоял напротив него, будто что-то вспомнил. Нет, то было не воспоминание, а догадка, что ему подсказывают его истинную суть. Он смешно, наивно наклонил к плечу голову, силясь постигнуть конечный смысл услышанных слов или разгадать отзвук, который они породили в нем. И какое-то доверчивое выражение появилось на его грубом лице, он верил, что сейчас все объяснится до конца. Но Егошин молчал, глядя выжидающе ему в лицо. Рыжий потупился, потом вскинул голову, быстро шагнул к маленькому человеку, стоявшему над черной водой, и протянул вперед руки...

... — Ну и удар у вас, товарищ консультант! — услышал Егошин и удивился тому, что жив.

Затем он увидел, как с земли метнулось крупное тело, и голос, теперь узнанный, — он принадлежал сержанту Мозгунову — отрывисто бросил:

— Стой!.. Руки на затылок!..

И блеснул ствол пистолета.

Конечно, это еще не было тем применением личного оружия, о котором мечтал отважный сержант милиции, но впервые он извлек пистолет из кобуры не для чистки и смазки. А это уже кое-что...

Ненаписанный рассказ Сомерсета Моэма

Когда мы встретились, он уже подвел итоги и зачехлил стило. С подведением итогов явно поторопился, сделав это четверть века назад, видимо, не допускал, что господь пошлет библейское долголетие худому, слабогрудому, много болевшему человеку. Стило еще долго служило ему верой и правдой. Его быстрый бег по бумаге навсегда остался дрожанием в правой кисти. «Это не «Паркинсон», — сказал Сомерсет Моэм, заметив, что я смотрю на его руку. — Профессиональная болезнь. Расплата за прилежание».

Сказав фразу-другую, Моэм плотно сжимал запавший рот и ждал реакции собеседника; отзыв был ему необходим, как автомату монета. Иначе — немота. Но так продолжалось, пока он не сел на своего конька. Тут сразу обнаружилось, что по натуре он рассказчик, а не собеседник, мастер монолога, а не диалога. Но сейчас для «автомата» срочно нужна была «монета». Я тщетно шарил в карманах памяти. Лев Толстой «выдавал» порой больше печатного листа в день, но рука его оставалась тверда. Вряд ли эта справка взбодрит Сомерсета Моэма. Я ограничился нейтральным сообщением, что у меня тоже ноет плечо. «Это соли!» — сказал он быстро и раздра-



женно. Мальчишка, щенок, разве я пролил столько чернил, чтобы нажить благородную профессиональную хворобу! Тяжело со стариками, никогда не знаешь, что может их задеть. И так не хотелось огорчать Моэма. Меня заливала несказанная нежность, обостренная страхом за грозную хрупкость так щедро истратившей себя души.

Я чуть ли не со слезами смотрел на мумизированного, изысканного джентльмена, сотворившего столько чудес. Все на нем было сверхэлегантно: летний пиджак из синей рогожки, узкие светлые брюки с бритвенно-острой складкой, бесстрашно яркий шейный платок и последней модели массивный «Роллекс», соскальзывающий на узенькое смугло-крапчатое запястье.

Он живет почти безвыездно на Ривьере, прогревая свою оскудевшую кровь жарким солнцем Средиземноморья, но раз в год отправляется в Лондон, чтобы обновить гардероб. Лучшему портному заказываются костюмы и пальто, лучшему сапожнику — обувь, с особым тщанием отбираются галстуки и платки в нагрудный кармашек. Франтовство девяностолетнего старца не смешно хотя бы потому, что оно позволило ему одевать своих персонажей (особенно дам) с изысканностью, которую можно встретить у Бальзака и Пруста.

В разговоре нам подвернулся Жан Жироду. Возможно, я упомянул о том, что живу в Париже на улице, носящей его имя, это возле Елисейских полей, в сторону Триумфальной арки. Моэм стал говорить о нем в тоне, напрочь отвергающем лицемерное правило: о мертвых или хорошо, или ничего. То был уже не первый случай, когда он набрасывался на ушедших с яростью, достойной противника во плоти и крови, в крепком доспехе, с наостренным мечом. Я осмелился напомнить, что Жироду беззащитен перед живыми — стоит ли нападать на него столь яростно.

— Бедные, бедные великие мертвецы! — всплеснул он своими маленькими старушечьими руками. — С ними никто не считается, их в грош не ставят. За что?.. Они творили, боролись, шумели, отстаивали свое я, делали все, чтобы вырваться из тенет забвения. А мы, пользуясь печатью на их устах, отмахиваемся от всего ими сделанного и считаем ниже своего достоинства спорить с ними, опровергать их, тем паче ругать, как по выдумке Жироду ругали греки, неприятеля, прежде чем кинуться на деморализованных бранью воинов. Жироду беззащитен? Ничуть! Он имеет миллионы защитников по всему миру,

вы, очевидно, из их числа, он имеет защитника в себе самом и даже во мне — я до сих пор разделяю его заблуждение, что можно находить достаточно глубины на поверхности жизни. Но я злюсь на него, я не могу простить, что «Электру» написал он, а не я. Пьеса о троянской войне еще лучше, но я не завидую — такого мне не написать. Английской иронии, тяжеловесным потугам на юмор никогда не достичь роскошества галльского остроумия. А нет ничего остроумнее «Троянской войны не будет». У англосаксов есть ирония, есть сарказм, грубоватый юмор, но остроумие всегда вымученное, даже у Бернарда Шоу. Я остроу тоньше, чем Шоу или Во, но слишком робко. А «Электру» я мог бы написать, но написал ее Жироду, оставив меня без лучшей пьесы. Что я, должен ему за это руки целовать? И я ведь тоже не из землероек, мне на поверхности было не хуже, чем Жироду, но в этом двухмерном пространстве он меня теснил. Боже, как он был красив и элегантен! Прав этот школьный учитель Моруа, назвавший его первым во всем. Говорят, Жироду отравили. Он был дипломатом и пал жертвой политической интриги. Никогда в это не поверю. Как не верю в важность дипломатических миссий Рубенса. Художник не может быть ничем, кроме того, что он есть. Все остальное — игра.

Я спросил: была ли служба Моэма в Интеллидженс сервис тоже игрой. «Чистой воды! — не задумываясь, ответил он. — Лоуренс — Аравийский, Моэм — Петербургский. Я начисто не понимал, что у вас происходит. Положа руку на сердце, не понимаю и сейчас. Вы хотите осчастливить людей, в этом, если не ошибаюсь, цель марксизма. Но ведь это невозможно. Каждый носит в себе свой ад и никому его не отдаст». Я не стал возражать. Нельзя же на скорую руку перевоспитать девяностолетнего старца. Лучше вернуться к литературе. Он сделал это сам, прежде чем я отыскал монетку. У него не было склероза, он не терял нити разговора и размышления. Хорошо разработанный мозг сам себя защищает. «Жироду убили из зависти, — сказал Моэм. — Он был слишком талантлив, слишком знаменит, слишком блестящ и к тому же на редкость удачлив. Он шел от успеха к успеху, ни разу не оступившись. Добавьте к этому победительную внешность, обаяние, брызжущее фонтаном остроумие, успех у женщин и душевную широту, начисто отсутствующую у французов. Чересчур много для одного человека. Казалось, он создан господом в назидание и

унижение окружающим. А великих людей и так ненавидят. Сколько ненависти возбуждали ваш Толстой и ваш Достоевский. Как ненавидели Байрона, мучили Шиллера, Бетховена, тех, кого надо носить на руках и осыпать лепестками роз. Их и носили и осыпали, но за это же ненавидели: за свои восторги и поклонение, за собственную малость».

Я вспомнил его слова, когда через много лет был застрелен Леннон, лучший из «Битлов», давший людям столько радости и не обронивший крупинки зла.

— Это горестная и страшная черта двуногих, — продолжал Моэм. — И чем дальше, тем будет хуже. Ненависть распространится с творцов на их творения.

— Но почему ненависть ограничилась одним Жироду?

— А вам мало? — ядовито осведомился Моэм.

— Получается так: живых надо холить и лелеять, а мертвых поносить?

— Я имел в виду другое: не делать между ними различия. Любовь не исключает спора, даже ругани. Полагаю, что могу говорить от лица мертвых, я к ним ближе, чем к живым.

Как и полагается в подобных случаях, я выразил смутное несогласие с последним утверждением.

— Ну-ну, не надо... Лучше спросите меня о том, что вам наверняка интересно: очень ли страшно быть таким старым.

А мне это и в голову не приходило. Глядя на Моэма, я думал не о том, как много он прожил, а о том, как много он сделал и сделал блистательно. Вот человек, осуществивший себя до конца. Впрочем, сам он может быть на этот счет иного мнения, но мне казалось, что, написав свои романы и пьесы, он мог бы без паники поджидать неминуемое. У меня лично были куда более напряженные и тревожные отношения с потусторонним миром, о чем я и сообщил Моэму.

— Это мысли очень молодого человека, а ведь вам за сорок.

— У меня замедленное развитие — общее и литературное.

— У меня тоже, — сказал Моэм. — За всю свою жизнь, считающуюся долгой (это грубое заблуждение), я почти ничему не научился. То, что я мог с самого начала, то и осталось со мной. Разве мой последний роман написан лучше, чем «Луна и грош»? Я накатал кучу мур, вроде «Мага», в пору своего утверждения, но в смысле

словесного искусства это было не хуже моих поздних вещей. А можно ли вообще утверждать, что писатель развивается, прогрессирует с годами? Я не уверен. Прибавляется ремесла, профессионального навыка, но это зачастую оплачивается утратой непосредственности. Разве поздние романы Диккенса, Гамсуна, Фаллады лучше ранних? Конечно, можно отыскать примеры литературного роста, но еще легче — примеры обратные: хотя бы Тургенев или Хемингуэй. Но все это — исключения. А правило: писатель задан сразу, раз и навсегда.

— А почему вы в какой-то момент бросили писать романы и занялись мемуаристикой?

— Необычайно приятно писать романы, когда они пишутся, и необычайно приятно не писать их, когда они не пишутся. Тогда смакуешь каждое мгновение бытия. — Он вдруг озадачился. — Что это — плохие стихи или внезапно родившаяся во мне банальность? Когда вы пишете прозу, вы или закрываете глаза на окружающее, коли оно посторонне вашей теме, или относитесь к нему сугубо потребительски: выискиваете детали, вылавливаете нужное, копаетесь, как мусорщик на свалке, в надежде найти серебряную ложку, перстень или монету в куче дряни. Вы не живете окружающим, вы паразитируете на нем. А когда душа свободна от замысла, все в радость и удивление: свежест травы, дождевые капли на ветвях, птицы, цвет и запах земляники — все источник счастья. Наименьшее — человек. Он всегда многозначен и потому неудобен. Раньше мне интереснее всего были люди, сейчас этот интерес почти угас. Влекут сигналы неодошевленного бытия, несознающей себя материи. Я рад, что у меня оказалась долгая старость. Все-таки упоительно не готовить уроков, а просто быть в мире. Страх смерти?.. Я его не знаю. Потому что не знаю, что такое смерть. Иногда я ловлю себя на теплом чувстве: интересно, в какие игры играют там. Вообще же долгая жизнь ничуть не длиннее короткой. Ведь ты не замечаешь, что живешь долго. Все пронесится слишком быстро, ни в кого, ни во что не успеваешь взглядеться, ни в чем разобраться. Чем хорошо творчество? Оно дает иллюзию сближения с собой. Знаете, что мне доставляло наибольшее удовольствие, когда я садился за очередной роман? Примерять новую маску. Так называли критики мой обычай уступать роль рассказчика кому-то, кто не совсем я. Впрочем, когда я выступал под собственным именем, они считали это наиболее изощренной маскировкой. На самом деле,

тут совсем другое. Человек не может познать себя изнутри. Но кое-что он узнает о себе в общении, столкновениях, близости с другими людьми. Я был всю жизнь очень одинок и потому лишен возможности взглянуть на себя глазами близких, глазами людей, по-настоящему ощущающих давление моей личности. Надо в ком-то отражаться, лишь тогда что-то увидишь в себе. Персонажи, которым я поручаю рассказ, служат мне зеркалами.

— Но почему бы не оставаться самим собою?

— Я-то думал, вы меня слышите!.. Что значит «самим собой»? Это и нужно выяснить. Рассказчик интереснее для меня других действующих лиц. Если б я знал себя, вернее, думал бы, что знаю, то никогда бы не писал от первого лица.

— Но вы же не всегда писали от первого лица. Вы часто пользовались «объективной» формой.

— Да, но всегда мне было как-то не по себе. В свое время я очень преуспел в театре. Меня прочили в новые Бернарды Шоу. А я порвал с театром. Ведь автору нет хода на подмостки. Правда, Шоу это делал, но ради сценического эффекта, а не ради самопознания. Еще не кончили оплакивать Моэма-драматурга, а я уже покончил с беллетристической и перешел к мемуарной форме, наиболее подходящей для моих целей.

— Насколько мне известно, вы публикуете лишь малую часть своих воспоминаний. И старательно уничтожаете переписку и все прочее, что может пролить свет на вашу таинственную личность.

— Но разве я говорил, что хочу объяснить себя окружающим? Я говорил о самопознании. Это совершенно разные вещи. Почему нельзя творить только для себя, как мой вымышленный Гоген? Меня до сих пор радует, что Гоген сжег хижину со всей своей живописью. Хорошо придумано! Важно творческое состояние, а не сопутствующая шумиха. Я все время жгу какие-то бумаги, наброски, записи, но я не сжег ничего законченного, за исключением одного вовсе не удавшегося романа. Я не сжег даже «Мага», слишком нужны были деньги. К сожалению, деньги нужны подавляющему большинству литераторов. Писатели редко рождаются в семьях миллионеров. Марсель Пруст, а кто еще?.. Но дело, конечно, не только в деньгах. Литература под стать письму, а письмо всегда кому-то адресовано. Но разве нельзя писать самому себе? Вернее, себе будущему, мы же каждый день становимся иными. Были люди, которые так и поступали, ведь обна-

руженные посмертно рукописи — вовсе не редкость. А что мы знаем о сожженных рукописях? Существующая литература — это то, что не сожгли и не скрыли. Ее много, очень много, а вот есть ли в ней смысл? Раз все миллионы написанных книг не могут помешать ни войне, ни мирному убийству, ни насилию, ни предательству, ни всем формам подавления человеческой личности, значит, литература не нужна. Но кто знает, какой бы царил разбой, если б не литература. Да и можно ли исходить из критерия нужности? Что нужно, а что не нужно? Если жизнь — состояние, а не предприятие, — жалко, что эту формулировку придумал не я, а Жан Ренуар, откуда такая пруть у киношника? — то надо жить, доверяясь самой жизни, и не опутывать ее правилами. Значит, вовсе не обязательно сжигать рукописи, ведь они чему-то соответствуют в прожитых днях, они частица жизни и принадлежат ей, а не нам, как листья и трава. И все же я, наверное, уничтожу большую часть своих мемуаров. Из опрятности, не из принципа. Я подбираю бутоньерку не менее тщательно, чем слова во фразе. Девяностолетний франт, наверное, смешон, но если господь пошлет мне Мафусаилов век, я не изменю своим привычкам. Никто не увидит меня с расстегнутой ширинкой, в заляпанной овсянкой пижаме, я и в гробу буду — с иголки. Мои сомнения, муки, страхи, мое смятение принадлежат только мне. Не хочу кормить стервятников своей печеню. Уходя, прибирай за собой. «Лев Толстой этого не сделал». «Лев Толстой!.. Это не писатель, не человек, это стихия. Он не судим, ибо не подвластен никаким законам. Он сам — закон. — Мозм помолчал, шевеля губами, и вдруг сказал с детской радостью. — Но и его подводили утверждения. Помните, что писал ваш любимый Жироду? «Трою погубили утверждения». Ну почему это не я придумал, ведь мысль гнездилась во мне, только не успела одеться в слова». Я сказал, что не улавливаю его мысль. «Но это так просто! Вспомните хотя бы утверждение, каким начинается «Анна Каренина», эти чудные, музыкальные, остающиеся навсегда в памяти слова «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Но если справедливо первое утверждение, то несчастье, разрушая стереотип, тоже будет неизменным. Нет, семьи счастливы так же по-своему, как и несчастливы. Я не успел написать рассказ на эту тему, — вернее, быть, — хотите, я вам его подарю?»

Я не в силах передать дословно рассказ Моэма, буду пытаться, насколько возможно, сохранить его интонацию, но боюсь, что и в этом не преуспею. Слишком много времени прошло, и стерся его голос в моей памяти, а заметки, сделанные по живому следу, обидно кратки.

Прежде всего Моэм познакомил меня с героями. О Капитане (пишу с большой буквы, поскольку так он будет называться в рассказе) Моэм начал чуть расплывчато, приблизительно, то ли не очень хорошо зная его предысторию, то ли позабыв, а придумывать не хотелось. Еще в молодых годах Капитан испортил себе карьеру, разбив — по лихости — катер о причал. После этого ему пришлось начинать все с начала, очень медленно одолевая каждую ступеньку служебной лестницы. Это не улучшило характера колючего нелюдима.

Однажды, очумев от штурманского безделья (из-за поломки долго болтались возле скучных Гибридных островов), он набросал несколько морских пейзажей двухцветным карандашом. Это его развлекло, и в очередное плавание он захватил с собой ящик с дешевыми масляными красками. Писал он каждую свободную минуту, не получая ни малейшего поощрения от окружающих: неумелые и странные его картины отталкивали простодушных моряков. Да он и сам, вроде бы, не придавал значения своей мазне, но, вернувшись на берег, не выбросил полотна за борт, а взял с собой. Он снимал крошечную квартиру в портовом городе Саут-энде.

Мотаясь по морским и житейским волнам, Капитан оставался безбытным человеком. Заядлый холостяк, он беспощадно обрывал каждую связь, которая грозила затянуться. Если женщина не ждала от него ничего, кроме короткого партнерства, он легко и спокойно сближался с ней и также спокойно брал расчет, потому что не был ни пылок, ни ласков, ни привязчив. Ему казалось, что он оберегает свою свободу, на самом деле он боялся малейшей ответственности за другого человека. Капитан был эгоистом до мозга костей. Больше всего он ценил нетребовательных портовых дам. А вообще он не был бабником, виски играло куда большую роль в его жизни. Он любил беседовать с бутылкой один на один. Беседовать в прямом смысле слова: когда в бутылке «Скотча» оставалось не больше чем на три пальца золотистой пахнущей гнилым сеном жидкости, Капитан начинал говорить, вглядываясь в темное непрозрачное лицо собеседницы. Он говорил всегда об одном и том же: какая кругом сволочь и

какой он прекрасный, чистый, непонятый человек. Иногда бутылка отвечала, иногда нет, но и в том, и в другом случае была полностью согласна с Капитаном.

Все были виноваты перед Капитаном, прежде всего и больше всего — родители, которые, не отличаясь ни красотой, ни статью, осмелились его родить. От них он такой низкорослый, костлявый, ястреболикий. В нем не было ни одной привлекательной, хотя бы заметной черты, кроме улыбки, но улыбку эту — нежданную и опасную — он не получил в наследство, а воспитал сам, подметив, что внезапное обнажение белых острых зубов, врезавшее в кожу две глубокие складки от крыльев хрящеватого носа к уголкам тонкогубого, тугого рта, производит впечатление на окружающих. Улыбаясь, впрочем, редко, он становился человеком, с которым надо считаться.

В состоянии крепкого подпития Капитан начинал верить в бога и менял собеседника. В пошибе библейского Иова — верующего номер один, по мнению Серена Кьеркегора и его последователей, — он предъявлял вседержителю серьезный счет. В отличие от шумного, но корректного Иова, Капитан не стеснялся в выражениях, требуя у господ возмещения убытков: его подло обманули — не дали причитающегося таланта. Этим он являл трогательную веру и во всемогущество, и в бесконечную снисходительность Творца Всего Сущего.

В трезвом виде он был куда более высокого мнения о своих художественных возможностях, порой чувствовал себя положительно талантливым, очень талантливым, дьявольски талантливым, но взлету мешало полное незнание ремесла. Учиться было поздно, к тому же он догадывался, что кое-как усвоенные профессиональные навыки убьют то единственно несомненное достоинство, которое удерживало самых разных людей у его картин: какую-то варварскую свежесть.

Начавшееся со скуки незаметно стало потребностью и отдушиной, а там и единственным смыслом существования. Конечно, он не порывал с морем, если каботажное плавание на гнилых посудилах можно числить по романтическому морскому ведомству, да ведь нужно было на что-то покупать выпивку и краски. Человек с душой Дрейка, сэра Уолтера Раллея, Нельсона и Кука терся у грязноватых берегов Англии, развозя какие-то скучные грузы. Его фрегаты, корветы, бригантины назывались «сухогрузами» — нет унылее, безнадежнее слова. Но мечта о белых кораблях, томившая юношеское воображение,

не оставила его, хотя он никому в этом не признавался, даже самому себе. И если возникал волнующий образ, он гнал его прочь, как Мартин Лютер — беса, правда, не с помощью чернилницы.

Изображал он лишь то, что было перед глазами: мусорное прибрежное море, причалы, пристани, складские строения, порталные краны, лебедки, катера, баржи, сухогрузы, чаек на маслянистой, радужной воде, восходы, закаты, сумерки, очень редко людей — всегда в пейзаже, за портреты не брался, равно и за натюрморты. Он писал без затей, с первобытной простотой и доверием к руке, но получалось затейливо, странно — часто он сам не узнавал предмета изображения. Непослушная кисть делала, что хотела: окружающий мир смещался, перекашивался, терял свои пропорции и предстал в «обратной перспективе» — все, что позади, оказывалось крупнее того, что на переднем плане. Но главное, он становился разнужданно-нищенски ярким, словно цыганские лохмотья. Коли непременно надо сравнивать, то ближе всего Капитан был к итальянским примитивистам и отличался от них лишь отсутствием нежности и неосознанной радости бытия. Все его пейзажи, кричащие и не озаренные солнцем, а будто исходящие собственным свечением, как гнилушки, давили мрачностью, именно мрачностью — не печалью, в последней есть очищение; омраченная душа Капитана внедрялась в аляповатую яркость красок и отравляла их. Он был человеком художественно необразованным, никогда не ходил в музеи, на выставки, понятия не имел о направлениях в искусстве, но чем больше тратил красок, тем тверже и ожесточеннее утверждался в своем праве писать так, как он пишет. Иначе он не хотел. А затем кто-то показал ему альбом таможенника Руссо и назвал направление: «примитивизм». Слово его разозлило, но уверенности в себе прибавило — можно делать все, что хочешь, никаких правил не существует, никто тебе не указка, и пусть другие придумывают твоей манере какое хочешь название. Это делается от трусости, так заговаривали в деревнях бесноватых. А ты плюй и беснуйся на всю катушку. Кстати, Руссо в репродукциях ему не понравился. Капитан решил, что Руссо — таможенник липовый, а художник — профессиональный, хорошо обученный, только ломающийся под ребенка, чтобы не походить на других. Его деревья, листья, травы, звери были слишком изысканны, чтобы поверить в топорные и смешные фигуры людей. Зато Капитан поверил искренности, не-

умению и таланту другого художника, с которым познакомился позже, грузина Пиросмани, но чернобородые, на одно лицо, люди, пирующие за длинными столами, были ему неинтересны. По правде говоря, вся живопись, какую только доводилось видеть, была ему неинтересна и чужда. По душе было лишь то, что делал он сам, и то лишь на трезвую голову. Подвыпив, он терял веру в свой гений.

Неприятное подозрение шевельнулось во мне: уж не угощает ли меня старец своим главным романом, вывернутым наизнанку. У англичан есть странное слово для обозначения старческой замутненности рассудка: гага. Конечно, я не произнес этого слова, но, как мог деликатно, дал понять, что очень хорошо помню «Луну и грош» и хорошо бы быстрее двигаться к цели, если таковая имеется.

— При чем тут «Луна и грош»? — сказал он холодно. — Там история гения. Выразить себя до конца и, уходя, истребить созданное — вот высшее бескорыстие творчества. Этим поступком человек становится выше бога, ибо стирает со стекол вечности прекрасное, господь же все не отважится прибрать за собой после провалившегося эксперимента. А то, о чем я сейчас говорю, принадлежит не богу, а быту... В сущности говоря, художество Капитана не заслуживает столь пространного разговора, хотя со временем он добился определенного успеха, известности, имел персональные выставки и неплохую прессу. Некоторое время он был даже в моде, то есть полагалось знать его имя, видеть или хотя бы утверждать, что видел его последние работы, слегка иронизировать над ним, но с подтекстом: конечно, тут что-то есть, но я, признаться, ретроград. Дурной, заносчивый, вздорный характер Капитана пробивался в его живопись, наделяя ее той энергией и резкостью, которые не свойственны искусству примитивистов. Там всегда присутствует какая-то уютность, мило-та, безопасность, даже в чудовищных страстях праведников итальянских примитивов. Полотна Капитана бранились, брызгая слюной, и это стало нравиться снобам, они же все немного мазохисты.

Когда он познакомился с четой Джонсов, его имя мало кому что говорило, но Джонсам было небезызвестно. Случаются такие приметливые, внимательные ко всякой малости люди. Идет ли это от доброты, сочувствия к спутникам-пассажирам того же обреченного корабля дураков или от внутренней суетливости — сказать затруднитель-

но. Но Джонсы действительно были людьми добрыми и участливыми. Они угадали за картинами художника-моряка то, что ускользало от других, заведомо настроенных на неприятие: одиночество и несчастный характер, и зажалели его в своем душевном комфорте. Конечно, Капитан не преминет взорвать этот хрупкий комфорт, но не делайте пронизательного лица, на историю моего Стрикленда это ничуть не похоже.

Кто такие были Джонсы? Он — крупный археолог, много работавший в Африке, ученый с мировым именем. Но научное мировое имя — это совсем не то, что в литературе, живописи, музыке. О выдающихся людях искусства слышали все или почти все, знакомство с их художественной продукцией отнюдь не обязательно. Имя ученого, если он не перевернул все вверх тормашками, как Дарвин, Маркс, Эйнштейн, Фрейд, не знает никто, кроме его коллег, учеников и кучки интеллигентных вездесуев. Впрочем, в физике и химии — за всю историю этих наук — наберется с десятков имен, которые на слуху у обывателей, но из археологов знают одного Шлимана, для этого ему понадобилось открыть местонахождение Трои.

Джонс ковырялся в пересохшей земле африканских пустынь, за его убийственно медленным продвижением к глубоко захороненным тайнам с волнением следил чудаковопонец, ковырявшийся на острове Пасхи, другой чудаковопонец — швейцарец, убивавший жизнь где-то на Юкатане, и еще несколько прекрасных безумцев, но ни один лондонец, ныряющий по утрам в подземку или штурмующий переполненный автобус, не подозревал о существовании ученого мужа Джонса, носившего, кстати сказать, довольно звучное старинное имя, но по меньшей мере один на тысячу слышал о зловредном Капитане, малюющем море и прибрежные виды. Правда, в узком, ото всех отгороженном миреке Джонс одерживал многочисленные победы: он рано стал доктором, затем членом Королевской академии, президентом археологического общества, почетным членом старейших европейских академий, был награжден несколькими золотыми медалями. Он издал много толстых умных книг, но все это происходило словно в иной системе координат, посторонней сфере обычного человеческого существования.

Джонс отнюдь не мучился своей безвестностью, он любил науку за нее самое. Награды и поощрения его удивляли: смешно и странно было бы получить медаль или звание за то, что ты дышишь, ешь, пьешь, чистишь зу-

бы, брешь, ходишь в туалет. Возня с черепками, костями и прочим мусором, пролежавшим в земле тысячелетия, была его естественным состоянием, как и любовь к жене, сыну, интерес к искусству. Да, при всей своей захваченности наукой Джонс не принадлежал к зашоренным фанатикам, он видел во все стороны, был отзывчив и знал много ненужного: органную музыку добаховского периода, наизусть всего Йитса и огромные куски непроротной прозы Марселя Пруста; следил он и за современной литературой, посещал выставки и не ленился съездить в другой город на премьеру шекспировского спектакля. И что вовсе неожиданно для такого серьезного и занятого человека — мастерски играл в теннис. Джонс утверждал, что в Оксфорде проводил куда больше времени на травяных и грунтовых кортах, нежели в библиотеке. Наверное, это не так, просто он был от природы силен и ловок. Спортивная закалка помогала ему в экспедициях, и он тщательно следил за своей формой.

Счастливчик Джонс! Ко всем прочим достоинствам природа наградила его привлекательной и оригинальной внешностью. Будучи чистокровным англичанином, хотя нет ничего более зыбкого, ненадежного, чем чистота крови, ибо как за ней уследишь? — он являл собой полное отрицание англосаксонского типа. Многие думали, что его просторное лицо покрывает вечный африканский загар, нет, он был смуглым от рождения, а смуглота отличала кирпично-красным, что еще усиливало его сходство с индейцем: крупный нос с горбинкой, белые острые клыки, удлинённые глаза под тяжелыми веками, широкие крепкие скулы — ни дать ни взять цивилизованный Чингачгук. Он рано облысел, но ему это шло: обнажился совершенной формы крупный череп с мощным сводом лба, округлым затылком и гладким теменем, обтянутым коричневой глянцевиной кожей; черные сухие тщательно зачесанные с висков волосы придавали завершенность великолепному абрису головы. У него были широкие, чуть покатые плечи, плотная фигура без унции жира. Для того чтобы создать его внешность, смеясь, говаривал Джонс, одной из его прабабушек пришлось согрешить с последним из могикан, на худой конец, с сыном племени навахо, риу или кроу. Что, кстати, представлялось возможным, поскольку предки Джонса устанавливали, отстаивали и утрачивали владычество Британии на всех материках. Среди них имелись воины, администраторы, миссионеры.

Своеобразная внешность Джонса являлась его личным достоянием, и родители, и деды были типичными англосаксами: бледными, высокими, худыми. Не передались его черты и единственному сыну, которого он любил почти так же, как свою науку. Мальчик все взял от матери: здоровую матовую бледность кожи, синие глаза под темными ресницами, золотисто-рыжеватые волосы. Смущали Джонса его узенькие плечи и некоторая слабогрудость. Но то был очень здоровый, выносливый и спортивный мальчик с нежной долгой улыбкой, от которой у Джонса все замирало внутри. Это была улыбка доброго и незащищенного человека, это была улыбка матери мальчика, которую безнадежный однолюб Джонс обречен любить до последнего вздоха. Его радовало, что сын — весь в мать: черты лица, сложение, краски — все ее. Но каким-то таинственным образом и он проник генами в столь несхожую с ним плоть. Даже ненаблюдательному человеку мгновенно становилось очевидным, что хрупкий, светлый, эльфический подросток — единая кровь с коренастым меднолицым крепышом. Поворот головы, извиняющаяся улыбка, какой он искупал внезапный провал в себя посреди общей беседы, наклон головы к плечу, когда что-то в окружающем соглашалось стать милым, трогательным, интонации доверия, даже резкое отклонение корпуса при теннисной подаче — все было отцовским. Как и рыцарственное отношение к матери.

Эта милая, красивая женщина жила в атмосфере неустанного поклонения. И большой, и маленький мужчина вели себя так, словно она фарфоровая хрупкость, которую надо непрестанно оберегать. Они вскакивали при ее появлении, угадывали каждое ее желание, окутывали сетью заботливых жестов, словно незримым покрывалом; за семейными трапезами превосходили друг друга в церемонной предупредительности. Так на сцене «делают» королев актеры-придворные, сыграть собственное величие невозможно. Но Мери Джонс вовсе не привлекал трон, ей хотелось бы поменьше почтительности, поменьше ухаживаний, поменьше опеки и побольше семейной простоты, непосредственности, товарищества с самыми близкими людьми, даже небрежности, несогласия, спора — во всем этом больше теплоты, нежели в чопорном обожании. Нельзя быть всегда при параде. Когда кто-то из них недогадал, она почти радовалась, рыцари хоть на время расставались с доспехами, и она могла помочь их недужащей плоти, могла быть полезной родным людям.

В остальной жизни ее доброта не находила себе применения. А доброта была единственным даром этой милой, мягкой, скромной, созданной для котурн женщины. Она принадлежала к средним классам, удобно чувствовала себя в роли учительницы начальной школы, где ее доброта, жалость к малым и слабым, не знающее срывов терпение находили широкое поле для применения. Случайно на нее наткнулся Джонс, влюбился с первого взгляда и сделал предложение. Он ей тоже нравился и, не имея сколь-нибудь отчетливого представления о его характере, занятиях и жизненном положении, она дала согласие. Стремительно взлетев по социальной лестнице, она вначале озадачилась, смутилась, но постепенно и без особого труда свыклась с новизной: быть спутницей многообещающего ученого, хозяйкой большого дома оказалось куда приятнее, чем бедной училкой. Ее очень женственная, а стало быть, пластичная натура легко приспособлялась к любым обстоятельствам, формам быта и отношениям. Первая очарованность необыкновенным, чуть загадочным человеком с красной, как у индейца, кожей перешла в спокойную, преданную любовь.

У Мери были чудесные глубокие темно-синие глаза, но еще заметнее на красивом лице был яркий, свежий рот. Его часто сминала произвольная гримаска жалости, сострадания. Ее добрая душа все время получала неслышимые другим сигналы бедствия из окружающего. Если верить ее сминающимся печалью и тайным страхом губам, мир губельно бедовал, все наполняющее его своим дыханием — от человека до дерева или цветка — взывало к спасению. Джонс чувствовал разрывающую родное сердце доброту и томился невозможностью доказать, что не надо так тратиться: люди в подавляющем большинстве не заслуживают да и не хотят жалости, животные обречены, а неодушевленная материя сама разберется с «венцом творения», которого сотворила для своего познания и уберет в должный срок. Его попытки что-либо объяснить ни к чему не вели, Мери неспособна была к отвлеченному мышлению. На все мудрые и мудреные слова она лишь послушно кивала, а губы продолжали сминаться болью. Муж не давал жалеть себя, а как откликнуться темным сигналам мирового неблагополучия? Неухоженные дети бедняцкой школы требовали участия и заботы, а здесь ее окружали выхолненные люди. Джонс правильно решил: единственное спасение — деньги, он записал Мери в разные благотворительные общества, вы-

делив из семейного бюджета порядочную сумму в помощь нуждающимся. Пусть это было совсем не то, к чему стремилась ее душа, все же оно давало некоторое облегчение.

Джонс и сам был добрым человеком, но в разумных пределах, его доброта ничем ему не грозила. А жене грозила, и он не поступался тяготящими ее перенапряженностью и церемонностью быта, чтобы хоть немного подсушить ей душу. Внешнее поведение влияет на внутреннюю суть человека, и если б миссис Джонс не сдерживали домашние ритуалы, почти равные религиозным обрядам, пути неукоснительного порядка и многочисленных обязанностей, ее поглотила бы бездна чужих муки горя, разверстая у самых ног. Уплотненный день: домашние хлопоты, заботы о большом открытом доме, о муже, потом и о сыне, ежевечерние приемы, посещение театров, музеев, выставок, концертов, заседания благотворительных комитетов с неизменным чаем и с сухим печеньем — служил противоядием изнуряющей душу доброте.

Рассказ о семье Джонсов носит сугубо локальный характер, историческим событиям уделяется место, если они имеют прямое отношение к этой маленькой человеческой ячейке. Первая мировая война такое отношение имела: дала занятие миссис Джонс и оттянула неминуемое. Корпии, которую нащипала трудолюбивая Мери, хватило бы еще на одну битву народов. А за мужа она не успела испугаться: лейтенант Джонс вернулся из Франции с перебитой рукой, когда англичане еще толком не осознали, что воюют. Кость срослась, и рука вернула прежнюю подвижность в самом исходе войны.

А дальше пошло все то же, нет, куда хуже: Джонс стал надолго уезжать в далекие экспедиции. Пока рядом был сын, Мери не чувствовала пустоты, она слишком любила его и входила — ненавязчиво, тонко — во все детские, потом и отроческие увлечения. Но когда сын поступил в колледж и уехал в Оксфорд, ей стало невмоготу. Она ринулась на передний край приложения собственной благотворительности — в трущобы. Это скрадывало время, но ее преследовало чувство какой-то скользкой неправды. Похоже, ей попадались профессиональные бедняки: их нищета была напоказ, благодарность преувеличена, смирение и праведность отдавали лицемерием и скрытой насмешкой, к тому же от всех взрослых (старше пятнадцати) несло джином и кукурузным виски, а от малолетков — пивом. Ей всегда было

немного стыдно, а главное, она подозревала, что ее помощь проходит в стороне от истинной нужды.

Какая-то часть души тратилась на страх за сына и мужа, на ожидание их приезда. Телефонный звонок из Оксфорда, письмо с яркой африканской маркой дарили ее счастьем на целый день. Не желая быть счастливой в одиночку, она приглашала в гости своих старых подруг, таких же, как некогда она сама, школьных учительниц, а потом долго плакала в постели, не понимая, за что они так ее ненавидят.

Но когда муж и сын возвращались домой, она тоже не была по-настоящему счастлива. Их самостоятельность, уверенность в себе и в своих целях, благородно-покровительственное отношение к ней, слабой женщине, лишало Мери главной радости — жалеть любимых. Молоко ее нежности и доброты перегорало в ней, причиняя боль. Джонс понимал это умным сердцем, но бессилён был помочь. Не мог же он в угоду Мери бросить труд своей жизни и опуститься, как не мог их великолепный сын искусственно стать «трудным» ребенком, утехой психоаналитиков. И вот в эту притуманившуюся без чьей-либо вины жизнь семьи шагнул Капитан во всем своем отрицательном обаянии.

По чести говоря, никакого обаяния, даже отрицательного, не было и в помине: вздорный, колючий, неудовлетворенный, почти всегда нетрезвый человек без малейшей культуры чувства и уважения к чему бы то ни было. Ленивый браконьер с моральным вакуумом. Но для Мери он обладал одним великим достоинством, перед которым меркли все неудобства его характера. Если мир пел для нее бесконечную песнь боли, то от Капитана шли волны беззвучного волчьего воя тоски, злобы и одиночества. Недавняя война усугубила в нем чувство несостоятельности. Половину войны он переучивался на военного моряка, вторую половину расхлебывал дело о разбитом в избытке лихости катере. Очнулся он от кошмара следствия, суда, обжалования, пересмотра, взыскания, помилования посреди тихих прибрежных вод и остался в них, похоже, навсегда. Лавры Нельсона безнадежно ускользнули, на лавры Кука плоха надежда в прозаический век, когда все моря и океаны исплаваны и заплеваны. А живопись не принесла даже тернового венца, что в искусстве нередко ценнее лаврового.

Джонсы познакомились с ним на выставке. Его пейзажи понравились Джонсу, и он объяснил Мери, поче-

му они хороши. Она это поняла, когда ощутила кричащее с полотен одиночество.

Капитан был на выставке. Их познакомили. Мятый китель, воспаленные глаза, смрадное дыхание, в котором запах виски боролся с запахом крепкого табака — Капитан курил в выставочном зале, пуская дым в рукав с обтрепанным обшлагом, — произвели на Джонсов сильное, хотя и диаметрально противоположное впечатление. Свежий, опрятный, собранный человек, Джонс содрогнулся и тут же осудил себя за дешевое чистоплюйство, а миссис Джонс зажалела Капитана всем своим большим сердцем. Она увидела связь между ним и его полотнами — при всей несхожести красок живописи и личности, — и это было залогом правды.

Мучаясь тайной виной перед Капитаном, Джонс пригласил его поужинать. Капитан пожал плечами, что можно было принять за согласие. К ним присоединился владелец выставочного зала Смит, давнишний знакомый Джонса. За столиком Капитан упорно молчал, ничего не ел, зато пил, не переставая.

— Зачем вы так много пьете? — наклонившись к нему и коснувшись грязноватого рукава, спросила миссис Джонс.

— А вам какое дело? — громко ответил моряк.

Он посмотрел на медленно сползающие с его рукава длинные, просвечивающие розовым пальцы и добавил:

— Чтобы скорее очуметь.

Рот миссис Джонс смялся и не вернул твердых очертаний до конца томительного застолья.

Разговор не клеился. Капитан жадно курил, скрываясь в клубах вонючего дыма; обычно говорливый Смит, напуганный его угрюмством, отвечал односложно и косился на Капитана. Один Джонс упрямо раздувал огонек общения, мужественно снося неудачи.

— Вы позволите посетить вашу мастерскую?

— У меня нет мастерской, — со странным злорадством отозвался Капитан.

— Вы продаете ваши работы?

— Я-то продаю, но никто не покупает.

— Почему? — осмелился возразить Смит. — Две работы оставил за собой музей...

— Ладно! — прервал Капитан. — Это никому не интересно.

— Если пейзаж с опрокинутой лодкой еще не продан, я хотел бы его приобрести, — оказал Джонс.

— Меценатствуете? — едко спросил Капитан.

Виски пошло ему не в то горло, он закашлялся, давясь и хватаясь за грудь.

В атавистическом порыве миссис Джонс вскочила и стала бить его кулаком по спине. Боже, какая это была костлявая, бедная спина!

Капитан прижал салфетку ко рту, сплюнул в нее и перевел дух.

— Спасибо, — сказал он, с усмешкой глядя на раскрасневшуюся от трудов миссис Джонс. — Для такой тонной леди у вас крепкий кулак.

— Я вовсе не тонная леди, — сказала миссис Джонс, — с чего вы взяли?

Капитан рассмеялся и отчего-то пришел в хорошее настроение.

— Хотите, приятель, я вам задарма отдам этот пейзаж?

— Нет, — спокойно сказал Джонс. — Если вы действительно хотите оказать нам любезность, назовите цену и разрешите по закрытии выставки забрать вашу работу.

— Он скажет, — небрежно кивнул Капитан на Смита. — Я ни черта в этом деле не смыслю.

— Ваше здоровье! — Джонс поднял бокал.

— Всеобщее процветанье! — отозвался Капитан.

Вечер завершился лучше, чем можно было ожидать.

Смит спросил Капитана, почему тот никогда не пьет большую воду.

— Это что еще за «большая вода»?

— Море. Открытое море. Вы всегда пишете его с видом на берег. Вы маринист, который пишет берега.

— А море нельзя написать, — тихо, без следа обычной агрессии сказал Капитан. — Это не удалось Тернеру, ни тем паче всем остальным. И не может удасться. Знаете ли вы, островитяне, что такое море? — Он разразился невнятной яростной речью, из которой миссис Джонс не запомнила ни одного слова, но навсегда поверила, что ей открылась грозная тайна — море. Это было прекрасно — то, что он говорил и как он говорил. А смолкнув, он улыбнулся страшной улыбкой, слил в стакан последние капли виски, которое пил, не разбавляя, медленно выцедил и сказал без обычной запальчивости:

— Седьмая степень концентрации. Все! Пошел спать.

— ...Как он говорил — чудо! — мечтательно сказала миссис Джонс, когда они вернулись домой.

— Да, — согласился муж. — Хотя я чувствовал лишь силу страсти. Суть от меня ускользнула.

— Он все-таки необыкновенный человек!..

— Не знаю, какой он человек, но художник интересный. Странно, — задумчиво добавил Джонс, — почему художественный талант так часто оплачивается ужасным характером, алкоголизмом или сумасшествием! Что это — в природе дарования?..

«Тебе легко говорить, — подумала миссис Джонс, и впервые легкое недоброжелательство к мужу шевельнулось в ней. — Ты всегда жил на солнечной стороне жизни». А вслух сказала:

— Он такой несчастный!..

Джонс посмотрел на нее и подавил вздох.

Капитан задержался в Лондоне, и встречи продолжались. Джонс купил понравившийся ему пейзаж с опрокинутой лодкой и сам повесил в гостиной между гравюрой Хогарта и этюдом Дерена. Капитан посмотрел и не сказал — понравилось ли ему соседство. Эта встреча, уже на дому у Джонсов, происходила в том же ключе: Капитан много пил, не прикасался к еде, жадно, неаккуратно курил, изредка улыбался жесткой улыбкой, как бы призывавшей окружающих к осторожности, что было совершенно излишним с Джонсами. Он не эпатировал их, но и не прорывался больше той сумбурной искренностью, с какой говорил о море. От того, что он не дерзил, Капитан казался (конечно, Мери, а не ее мужу) еще более несчастным, одиноким, заброшенным, нуждающимся в дружеском участии, заботе, уходе, оберегании (его мучила застарелая язва), поддержке, похвалах, поклонении. Капитану не пришлось лишнего жеста сделать, чтобы разрушить семейное счастье Джонсов. Он был так образцово несчастлив, что стендалевская кристаллизация творилась в душе миссис Джонс с умопомрачительной быстротой. Капитан был достаточно проницателен и циничен — в отличие от Джонса, — чтобы сразу увидеть, какой неожиданный подарок приготовила ему обычно немилостивая судьба. Но самолюбие отвергало истинную причину удачи. В сознании Капитана отсутствовали такие понятия, как неопрятность, дурные манеры, невоспитанность, захудалость, он казался себе мужчиной хоть куда, во всяком случае, интереснее и

привлекательнее разлюбезного, прилизанного растяпы Джонса.

Капитан с годами изменил мнение и о своей внешности. Экранные красавцы уже не царили безраздельно, в цену вошли мужчины с характером. Пусть ты не Аполлон, не Антиной, ты человек, обдутый ветрами, просоленный морскими брызгами, овеванный романтикой странств, грубый, прямой, неотесанный мореход, бродяга, презирующий расслабляющую светскую муть, ты личность, к тому же большой и странный талант.

Овладев Мери, Капитан осуществил право сильного. Его не смущало, что Джонс куда больше изнемогал под беспощадным солнцем пустыни, часто без пищи и воды, чем он просаливался на своих сухогрузах, что Джонс пользовался непрерываемым научным авторитетом, а он — сомнительной славой художника-дилетанта, в котором «что-то есть», что Джонс мог раздавить его, как клопа, если бы захотел, что никакого мужского подвига в его победе нет, ибо это поступок Мери, а не его.

Капитан не допускал в бодрствующее сознание и мысли, что он рассчитывается с Джонсом за его превосходство — материальное, моральное, мужское, за его безукоризненные манжеты, красивый дом, девонширский замок, за его гордость сыном — загребным студенческой восьмерки, за его деньги, манеры, дурацкую доверчивость, идущую от смехотворной веры в первоклассность всего, чем владеет. Но в пьяной откровенности с собой Капитан торжествовал, что нанес Джонсу удар, от которого тот уже не оправится, — в сплетение всех жизненных устоев. Но мы сильно забежали вперед.

Началось же все так. Мери едва дождалась отъезда Джонса. В дни, когда муж готовился к экспедиции, придирчиво осматривая каждый предмет снаряжения, каждую банку консервов и соков, плитку сушеного мяса, упаковку с витаминами и лекарствами, Мери, безразличная к его заботам, чуждая тревоги, думала только о Капитане, который валяется где-нибудь в дешевом номере захудалой гостиницы на неприбранной постели, потягивая дрянное виски, губительное для язвенника, и соря вокруг пеплом. Едва Джонс отбыл, она с удивительной ловкостью, не вызвав ничьих подозрений, отыскала след Капитана.

Он и впрямь валялся в дешевом номере на смятой постели, курил, роняя пепел на подушку, но был трезв

и потому раздражен. Добрую самаритянку встретил выговором:

— Надо предупреждать о своем приходе. Я мог быть не один.

— Простите, — смиренно прошептала миссис Джонс. — Я так тревожилась за вас.

Мери поразило, что Капитан воспринял ее появление как нечто само собой разумеющееся. Она не знала, насколько хорошо владеют собой бездушные люди.

«Она что — дура или потаскуха? — думал Капитан. — А может, и то и другое одновременно?»

И он немедленно решил проверить это. Надорванный алкоголем и безалаберной жизнью организм Капитана лишил его, однако, уверенности в себе. Но с теми дамами, с какими он обычно имел дело, это ничего не значило. Все сводилось к тому, что заслужит партнерша — два фунта или оплеуху, — себя Капитан никогда ни в чем не винил. Здесь же все было иначе.

А миссис Джонс вряд ли знала, когда шла сюда, что, спасая душу страдальца, ей придется спасти и его тело. Она просто подчинилась обстоятельствам. В нежной, постоянной, чистой и спокойной близости с мужем, приносившей ей тихую радость, что ему хорошо с ней, Мери не была страстной натурой. Это, как ни парадоксально, вероятно, и облегчило ей шаг, который не просто дается и весьма искушенным в любви женщинам.

И почему-то все физически тягостное, что она испытала, отхлынуло, ей стало нежно, грустно и окончательно, когда рядом с собой она увидела маленького, худого, как скелет, гордого Капитана.

То, что близость далась непросто, стало значительным. В сравнении с Джонсом Капитан предстал человеком с содранной кожей, нервным, трепетным, истинно художественной натурой. Приговор Джонсу был подписан. Впрочем, сейчас муж ее мало заботил, как не заботила и вся разом перечеркнутая прежняя жизнь. Она даже о сыне не подумала, а ведь и с ним теперь будет другому...

Возвращаясь от Капитана, Мери испытывала новое, незнакомое чувство: она — нечто. Женщина, которая решилась... Решилась бросить в ноги своей любви (жадность уже вознеслась в сан любви) любящего мужа, единственное дитя, блестящее положение в обществе, все устои своей среды. Ее непривычное возвышенное состояние естественно включило в себя простую житей-

скую заботу, когда она вспомнила об одной поразившей ее подробности: на Капитане не было белья. Казалось, само сердце сжалось: «Милый... бедный... дорогой!..» Теперь она знала, что делать: начинать надо с малого...

Душа ее словно расправилась и заполнила все тело, как рука лайковую перчатку. Она никогда не знала такой блаженной цельности и совпадения с самой собой.

Днем Мери позвонила Капитану, получила милостивое разрешение на визит и явилась с огромным пакетом белья, одежды, разных косметических принадлежностей. Капитан пришел в такую ярость, что чуть не прибил ее.

— Нечего было связываться со мной! — бушевал он. — Ты думала, я вроде твоего вылощенного мужа? Плевать я хотел на это тряпье, на эти вонючие прикиды.

Кончилось тем, чем обычно кончаются такие бессмысленные бунты: Капитан позволил загнать себя под душ и — верх унижения — вымыть с головы до пят. Когда ему было подано нательное белье, легкие фланелевые брюки и шерстяная рубашка с большими нагрудными карманами для табака и трубки, он снова расшвырнул белье, но уже по другой причине. На кой черт она вводит его в непредвиденные расходы, он не так богат, чтобы швырять деньги на пижонское барахло.

— Но это подарок, — пролепетала Мери.

Капитан, в элегантных брюках и кокетливой рубашке, с мокрой маленькой головой, взвился под потолок. За кого она его принимает? Он что — альфонс, жиголо, сутенер? Он кинулся к старому комоду, долго рылся там, потом швырнул деньги.

— Это много...

— Остальное пропьем, — безмятежно сказал Капитан.

Он поднял весь шум, боясь не расплатиться. В чем, в чем, а в деньгах он был крайне щепетилен. Ему часто приходилось туго, но никогда он не позволил Мери заплатить хотя бы за пиво. Лишь раз он принял от нее подарок — дешевую вересковую трубку.

Ему пришлось сократить расходы по части виски и основательно заняться живописью, чтобы как-то сводить концы с концами в новой полусемейной жизни.

Видя его изо дня в день трезвым, с перепачканными краской пальцами, Мери все более и более верила в свое благотворное влияние и в своей слепой вере не могла трезво оценить, что в Капитане брало верх не нрав-

ственное начало, а то «мужчинство», которое и обрекало его на праведную жизнь, если исключить такую малость, как сожителство с чужой женой.

Но порой Капитану требовалось спустить пары. Он исчезал на несколько дней и возвращался без гроша в кармане, с глазами кролика и трясущимися руками. Обсуждению такие выходы не подлежали. Мери разрешалось приводить его в чувство. Поправившись, Капитан наказывал за свой разгул и мотовство их обоих — заключением в четырех стенах. А Мери так хотелось пойти с ним в какой-нибудь бар и потанцевать под громкую джазовую музыку или покачаться на качелях в увеселительном саду, а потом тянуть темное пенистое пиво за столиком над прудом, в котором отражались китайские фонарики. В чопорном мире Джонса Мери жила не своей жизнью. Пластичная натура помогала ей прилаживаться к окружающим, но сродниться с их уставом она так и не сумела. Ее настоящее жизненное пространство было возле Капитана.

Он нередко обижал ее, мучил пустой подозрительностью, пытал молчанием за воображаемые провинности, редкий день не доводил до слез, Мери все ему прощала. Особенно досталось ей за неумение позировать, когда у Капитана не получился ее портрет.

Посещая с мужем музеи и выставки, Мери была знакома с самыми смелыми художественными манерами. Порой от странных портретов исходила некая магия таинственной человеческой сути, чаще ничего не исходило, но был ребус, загадка. Она не любила и не умела разгадывать ребусы, а Джонс любил и умел, и, рассматривая нагромождения кубов, конусов, скрещения плоскостей и просто мутные разводы, Мери верила, что там действительно что-то скрывается.

Но в последней работе Капитана не было ни художественного произвола, ни «опрокинутого» зрения, ни ребуса, ни дикарской игры, бедняга был вполне серьезен и добродетелен, когда писал портрет «своей женщины». Он явно пытался создать реалистическое произведение. Мери оценила это трогательное усилие превзойти самого себя ради любимой, у нее пощипывало в носу, когда она вглядывалась в изображение безрадостного и безжизненного существа, имевшего в чертах известное сходство с нею. Он не был виноват, видит бог, он выложился до конца, но даже гений расшибается о тусклую маску, о безнадежную пустоту бытового, неодоухотворенного лица.

Мери со всем соглашалась: если в портрете чего-то и не хватало, то лишь по ее вине. Она действительно не умеет позировать, думает о всякой чепухе, а ведь натура должна возвыситься до художника. «Откуда ты это взяла?» — подозрительно спросил Капитан. Мери пробормотала, что где-то прочла. Капитан перестал беситься, швырять кисти, пинать ногами мольберт, но в остаток дня вызывающе хватался за бутылку кукурузного, а Мери не отважилась даже на слабый протест, она понимала, как тяжело этот ранимый человек переживает неудачу, грозящую — намекал он зловеще — обернуться затяжным творческим кризисом. Мери знала, чем это грозит, и слезы набегали на глаза...

И все-таки это была жизнь. Терпкая, грубая, горькая, упоительная жизнь, а не скакание с жердочки на жердочку по золотой клетке.

Все оборвалось в ней, когда Капитан объявил, что уходит в плавание. Она зарыдала, и он, видимо, не ожидая такого взрыва горя, тронутый до растерянности и потому сразу обозлившийся, резко прикрикнул: «Хватит реветь! Забыла, что твой скарабей возвращается?» — «Забыла», — честно призналась она. И он впервые допустил, что близость с Мери — не прихоть заевшейся барыньки, не магическое, но краткое действие его чар, которые развеются с приездом настоящего хозяина, а нечто совсем иное, никогда им не испытанное, то, что люди называют любовью.

Он не знал, что делать с этим даром, а мыслишка, что его хотят опутать, связать по рукам и ногам, лишить мужской свободы, превратила растерянность в панику. Но он тут же понял, что его свобода и безответственность гарантированы Джонсом-отцом, Джонсом-сыном, всем мощным семейным сепом, и успокоился, остались благодарность женщине и гордость собой. Вот что значит сильная личность: с какой легкостью он, безродный скиталец, морской бродяга, бедный художник, опрокинул замок, возводимый многими поколениями Джонсов!

Мери не догадывалась об этих мыслях Капитана. Она впервые поверила, что тоже нужна ему, так почему же не скажет он простого слова: останься. Она готова была ехать с ним в Саутенд и терпеливо, как положено моряцким женам, ждать его возвращения из плавания. Но заветное слово так и не сорвалось с сухих; обветренных губ Капитана. Как может он при его бешеном, необузданном нраве мириться с ее возвращением к Джон-

су? Лучше бы он убил ее. Но Капитан молча укладывал свой скудный багаж и даже не огрызался на бессмысленные просьбы беречь себя и свой талант, следить за здоровьем, не пить и хоть немного помнить о бедной Мери. Насчет переписки Мери не заикалась. Капитан давно предупредил, что не признает эпистолярной формы общения.

Она проплакала весь путь до дома, рыдала всю ночь, с грустью подумала утром, что Капитан уже ушел в плавание, и по контрасту вспомнила, что вечером приезжает муж.

Это не вызвало в ней никаких чувств — ни дурных, ни хороших, было естественно, что Джонс возвращается в свой дом. Надо сделать необходимые распоряжения, позаботиться об ужине. Джонс, обходившийся в экспедициях сушеным мясом, консервами и сухарями, дома становился гурманом, ему подавай все самое лучшее. Пустые домашние заботы неожиданно доставили ей удовольствие. Этим хоть как-то заполнялась объявшая ее пустота. Надо было купить цветы. Джонс обожал ее букеты, которые она, и правда, умела составлять с неподражаемым искусством. Потом она вспомнила, что на каникулы придет сын. Последнее время она запрещала себе думать о нем, и это ей удавалось. Но сейчас можно было порадоваться свиданию.

Джонс не любил, когда его встречали. С аэродрома он приехал на такси, вид у него был такой, словно он явился не из тягчайшей экспедиции, а из Букингемского дворца. Она сама потом удивлялась, что все произошло как обычно, будто не было этих сумасшедших месяцев с Капитаном, ее любви, измены, внутреннего переворота.

Многолетняя привычка руководила ее поступками, жестами, словами, интонациями. Их отношения с мужем всегда были если не регламентированы, то обузданы формой: они не кидались в объятия друг друга, она не висла у него на шее, не утирала слез радости после долгой разлуки, не было ни беспорядочных речей, ни разных милых нелепостей, когда люди над чемоданом сталкиваются головами, говорят не попадая, заливаются бессмысленным счастливым смехом. Джонс церемонно склонялся к ее руке, потом осторожно целовал в голову, отстранял от себя, заглядывал в глаза и прижимался виском к виску. Ей почему-то отводилась роль сугубо пассивная.

Стол был накрыт, шампанское стыло в ведерке со льдом. Они садились ужинать...

Конечно, он рассказывал об экспедиции очень скупое, понимая, что для неспециалиста изнуряющее ковыряние в земле малоинтересно, но всегда в его рассказе оказывался какой-нибудь забавный случай, заставлявший ее смеяться.

И на этот раз все шло по заведенному порядку. Джонс спросил, как она жила без него. Этот вопрос он всегда задавал как бы между прочим, с улыбкой, подчеркивающей, что не ждет сколько-нибудь пространного ответа. Прежде, когда ей нечего было скрывать, она объясняла его манеру той деликатностью, которой было отмечено все его поведение, он не хотел, чтобы она отчитывалась перед ним. А тут ей вдруг почудилось в легкости его тона что-то нарочитое, поддельное. Дико думать, что в пустыню дошли какие-то слухи. И все же она не могла отделаться обычным: «О, господи, да что у меня могло быть?.. Разве было вообще что-нибудь?.. Да, заседания, жидкий чай, сухое печенье и мои дорогие бедняки...» Попробуй бездумно щебетать, когда ты пронесла Антееву ношу.

Как быть? Признаться?.. Слишком неожиданно и жестоко. Он вернулся из долгой, трудной экспедиции, и за безупречной формой угадывается смертельная усталость, возможно, какие-то неудачи, разочарования, неотделимые от его профессии. Ему надо выспаться, отдохнуть, прийти в себя. К тому же Капитан ни словом не обмолвился о том, чтобы она открылась мужу. Похоже, он вовсе не хотел этого. Она не имеет права делать решительный шаг без его согласия. Да ее и не тянуло. Сейчас она находится в привычной системе координат, начисто исключающей подобного рода признания. Это было все равно, что положить ноги на стол, выругаться или плюнуть в супницу. У нее хватит мужества сказать правду, пока еще эта правда была не нужна ни Капитану, ни Джонсу... А ей самой?.. Этого она не знала.

Не дождавшись ответа, удивленный и слегка встревоженный, Джонс спросил о сыне. Мальчик почти не пишет, пожаловалась она, я знаю только, что он здоров и много времени проводит на гребном канале. «А большего и не требуется, — усмехнулся Джонс. — Переходный возраст. Сейчас ему нужно освобождаться от нашей власти, опеки и авторитета. Мы должны осторожно помогать ему в этом: не приставать с расспросами, наставле-

ниями, поучениями, а не то он нас возненавидит, но и не выпускать его из поля зрения. Сейчас не он, а мы сдаем экзамены на зрелость». — «И сколько это будет длиться?» — спросила Мери, озабоченная тем, что до «сдачи экзаменов» нечего и думать о каких-то переменах в жизни. «Года два-три», — неуверенно ответил Джонс.

В эту ночь она проявила стойкость, разделив с мужем ложе и пойдя навстречу его желаниям, не остуженным чудовищной усталостью.

Целую неделю Джонс отсыпался. Она терпеливо сносила его нежность. Ведь так было всегда, а привычка — госпожа души. Однажды Мери представила на месте мужа Капитана и впервые испытала наслаждение, какого в отдельности не мог ей дать ни тот, ни другой. Было сладко и очень стыдно, и она зареклась думать о Капитане в объятиях мужа. Иногда ей это удавалось, иногда нет, а потом все пошло по-прежнему, как и всегда с Джонсом — тихая, отстраненная нежность.

Приехал сын. О Капитане она почти не вспоминала. А затем начался новый виток: сын вернулся в колледж. Джонс снова отправился в экспедицию, а незадолго перед тем появился Капитан, обдутый прибрежными ветрами.

Поначалу Мери казалось, что она не выдержит раздвоения, сойдет с ума, наложит на себя руки. Но и через десять лет все оставалось по-прежнему. Нет, это неверно. Произошло много трудного, грустного и страшного, тайное стало явным, боль одних послужила расхожей монетой сплетен для других, затем и сплетни смолкли, но в главном ничего не изменилось: Мери все так же оставалась женой Джонса, любовницей Капитана, грешной матерью теперь уже взрослого сына, прошедшего в отношении к ней через все этапы: гнева, стыда, страдания, презрения, брезгливости, полупрощения и благожелательного равнодушия.

В этом месте рассказа Мозма у меня снова возникло ощущение повтора — такое уже было, потом забрезжило воспоминание, вначале смутное, но вскоре прояснившееся.

— Ей-богу, мы впадаем в Ивлина Во!

— Никуда мы не впадаем, — последовал незамедлительный ответ, — и впасть не можем. Это мистер Во вытек из меня, когда я зазевался.

И только тут я поверил, что, несмотря на свой профессиональный нюх, понятия не имею, куда движется

эта история. Я посмотрел на Моэма: от усталости и жа-ры он побледнел, еще больше съежился, как-то запал в самого себя. До чего же он был изношен, ветх, да хватит ли у него сил довести до конца затянувшийся рассказ?

Мери тщетно ждала, чтобы Капитан позвал ее к себе навсегда. Что мог он предложить ей, кроме своей потрепанной личности, дурного характера и жалких мебелирашек? При всей завышенной самооценке он полагал, что это будет слабой компенсацией за потерю того образа жизни, который создал для нее Джонс. Он не верил в человеческое бескорыстие. Ему и в голову не приходило, что Мери все бросит по первому же его слову. Сын перестал отвечать на ее письма, значит, узнал все раньше отца, этим обрывалось последнее, что привязывало ее к дому.

Мери поражало, как Капитан может мириться с тем, что она принадлежит двоим. Собственная раздвоенность ее тяготила, хотя и не слишком. Она отвечала Джонсу только покорностью. Мери не знала, что к мужьям и вообще-то не ревнуют, а Капитан продолжал находить удовольствие в том, что наставляет рога этому богатому простодиле, этому лощеному джентльмену, потомуку раздувшихся от спеси недоносков, чьи мерзкие рожи не гнушались писать Рейнольдс и Гейнсборо.

Оставалась надежда, что Джонс все узнает и сам прогонит ее, тогда Капитану волей-неволей придется открыть перед ней дверь. Неведение Джонса поражало. Они же ничуть не скрывались. Всюду появлялись вместе: в барах, дешевых ресторанах, кафе, в дансингах, на боксе (Капитан любил этот мужественный вид спорта и в молодости не без успеха подвизался на ринге в весе блохи), на выставках, в музеях. Конечно, люди одного с Джонсом круга чуждались тех народных развлечений, до которых охочи были Мери и Капитан, а появление ее на вернисаже или в музее с художником, чьи картины приобретает муж, казалось естественным. И все же... Сын знал, прислуга знала — и Мери усомнилась в неведении Джонса. Это было похоже на него: знать и молчать.

Неизвестность, зловещая немота Джонса, ложь, проникавшая в каждое слово, жест, улыбку, ледяное отчуждение сына доконали Мери, и она, не думая о последствиях, однажды открылась мужу.

Сделав свое признание, Мери так и не поняла, явилось ли оно неожиданностью для Джонса или подтверж-

дением давно мучивших его подозрений. Вид у него был до того растерянный, ошеломленный и беспомощный, что Мери почудилось: игра! Но тогда он был гениальным актером. Во что не слишком верилось. Самое же непонятное: он молчал и словно ждал продолжения. Мери задумалась. Конечно, она не сказала главного: я уйду от тебя. Но этого она и не могла сказать, ей некуда было идти. Если в нем есть хоть капля гордости, самолюбия, он должен выгнать ее вон. Это будет жест милосердия, тогда все само собой образуется. Или не образуется. Но это уже не его забота. От него требуется короткий и естественный мужской жест.

Джонс молчал. Лицо его стало спокойным, благожелательно серьезным, разве что немного поглупевшим. «Ну скажи хоть что-нибудь», — попросила Мери.

Голос прозвучал издали, словно из пустыни:

— Видишь, как жестоки белые люди. Их губы тонки, носы заострены, на их лицах складки и морщины, в глазах острое ищущее выражение. Белые всегда чего-то хотят, всегда ищут. Они беспокойны и нетерпеливы. Они никогда не довольствуются своим, им нужно чужое. Я — индеец, а ты предпочитаешь белого.

— Ты кого-то цитировал? — неуверенно спросила Мери, которой в первые мгновения показалось, что Джонс сошел с ума.

— Карла Юнга. Весьма приблизительно. Это из его путешествий.

— Даже в такую минуту у тебя нет собственных слов. Наверное, из-за этого все и произошло.

— Важно то, что за словами, — сказал Джонс. — Тонкие губы, острый нос, складки и морщины. Голодный ищущий взгляд. Разве не точный портрет? Конечно, он должен был найти, хотя сам толком не знал, чего ищет.

Выложив ему правду, Мери совсем обессилела. Его околичности падали в пустоту. Люди были слишком сложны для прямолинейной Мери. Они набиты сентенциями, цитатами, парадоксами, чужими мнениями, дурными страстями, изворотливыми пороками, непрозрачными добродетелями и непоколебимой внутренней правотой. Наверное, Джонс лучший в мире человек, но и в нем она ничего не понимает. Зачем он витийствует, вместо того чтобы прямо объявить свое решение. Она на все согласна. Лишь одно страшило: а что же с сыном?.. Она сознавала, что лишилась прав на сына, — Джонс ни при чем, мальчик сам от нее отказался. Но тут уж ничего не

поделаешь, надо было раньше думать. Остается одно: верить, что, повзрослев, он простит или хотя бы поймет грешную мать. Скорее бы все кончилось. Но Джонс не спешил подвести черту, он только страдал, теперь уже молча, не стало даже чужих слов. Что-то сломалось и в Мери, она забыла о своей цели и смертельно зажалела Джонса. Все в нем взывало к жалости: модный твидовый пиджак и старомодное благородство, стрелка брюк, крахмальные манжеты, мягкие замшевые мокасины (бедный лондонский индеец!), вся его безупречность, которая ни от чего не защищает, его растоптанная радость возвращения в родной дом, представлявший ему крепостью.

В постигшем их крушении оставалась лишь власть многолетних привычек. Ни одному не пришла в голову естественная мысль покинуть супружеское ложе — огромную старинную кровать, каждый лег, как обычно, на своей стороне. Ночью не исчезнувшее и во сне чувство жалости толкнуло Мери к мужу, он машинально обнял ее, как всегда обнимал — оба подчинялись инерции годами выработанного поведения. Утром Мери подумала: пересчитаны все ступени, дальше падать некуда, я законченная дрянь. Но не почувствовала ни боли, ни раскаяния. Все произошло по какой-то не зависящей от человеческой воли правде.

Больше она к этим мыслям не возвращалась. Пришел черед новых дел, слов, жестов, движений, улыбок, бытовых необходимостей.

Предстоял традиционный прием в честь благополучного возвращения Джонса из экспедиции. Это всегда стоило Мери больших волнений и хлопот.

Прием удался на славу, заодно выяснилось, что на нее в обиду все старые друзья: она исчезла, не подходит к телефону, не отзывается на приглашения, за что такая немилость? Неужели благотворительность поглощает все ее время?

Капитан находился в плавании, и она могла посвятить себя целиком восстановлению дружеских связей и светским обязанностям. Все складывалось так, чтобы избавить Мери от самокопания, от бесцельной и тягостной возни с собой. Порой она забывала о своем признании. Джонс вел себя так, будто оставался в блаженном неведении — и при этом ни одного ложного жеста, ни одной фальшивой ноты. Она восхищалась его выдержкой, тактом и добротой. Джонс — чудо!

И тут случилось еще одно событие в их жизни: Джонсу дали титул баронета. Он был представлен королю, разумеется, с женой, и дочери лондонского Истэнда оказалось небезразличным внимание коронованных особ. Огорчало одно: не сможет она рассказать об этом Капитану, презиравшему титулы и прочие пережитки феодализма.

И тут Мери постигла огромная нечаянная радость: она получила короткое, почти ласковое письмо от сына с извинениями, что не сможет приехать на каникулы домой, потому что нанялся коллектором в экспедицию на север Шотландии. Пусть его любовь еще не вернулась, но у нее снова был сын. Она сразу поняла, кому обязана этим даром. Как сумел Джонс — да еще на расстоянии — сломать упрямство гордого, оскорбленного юноши и вернуть сына матери? Это принадлежало той державе тонких отношений и чувств, куда Мери была не в силах последовать за Джонсом. Ее восхищение мужем возросло, но ничего не отняло у Капитана, внезапно вернувшегося в Лондон.

Потом оказалось, что никакого «вдруг» и не было, он явился в точно назначенное время, это она все перепутала в своей счастливой замороченности.

О том, что он в Лондоне, Мери узнала от приятельницы, с которой столкнулась в антикварной лавке — искала подарок баронету Джонсу. Подруга сообщила о прибытии Капитана как бы невзначай, но таким фальшивым тоном, что отпали всякие сомнения в полной осведомленности света. И тут же вспыхнула мысль о Джонсе: каково ему все это? Вспыхнула и погасла. Мери купила мужу бювар XVIII века, а Капитану, тоже слегка ею обиженному, — недорогую вересковую трубку; кажется, такие старые, давно вышедшие из употребления трубки называются носогрейками — подарок в самый раз для удалившегося от дел пирата.

Ей захотелось скорей вручить Капитану и подарок, и шутку, но между ей и любимым стояла безупречная фигура мужа — в твиде, фланели и замше. Да и попробуй забыть, кто вернул тебе потерянного сына. Красноватое лицо, серо-голубые глаза и твердая загорелая рука были гарантией ее сохранности в мире, лишь прикидывающемся добрым. Она пыталась стать ангелом-хранителем Капитана, но ее ангелом-хранителем был и оставался Джонс. Капитан слишком мучается с собственной неустроенной душой, чтобы тратить на другого человека. И Мери затосковала.

Помощь, как всегда, пришла от Джонса. Как-то вечером он сказал своим обычным, спокойно-мягким голосом:

— Я слышал, Капитан в Лондоне. Ты не хочешь повидаться с ним?

Сказанное Джонсом выходило за рамки нормальной человечности, от его слов отдавало каким-то великодушеством или... холодом.

— Ты что же, совсем не ревнуешь меня? — Наивность порыва искупала жестокость слов.

— А тебе еще и этого хочется? — улыбнулся он одними губами. — В основе всякой ревности — недостаток любви.

Это прозвучало сентенциозно, похоже, он опять кого-то цитировал. Да бог с ним, что поделаешь, если о самом задушевном он умеет говорить лишь чужими словами. Так его воспитали, приучив прятать слабость за броней обескураживающих формулировок.

— Как я могу тебя уважать, не уважая твоих чувств? — продолжал Джонс. — И я не средневековый рыцарь, чтобы верить в пояс добродетели. Мне не хочется, чтобы ты унижалась до лжи.

И тогда Мери показалось, что игра мужа не совсем чистая. Ощущение такое, будто ее незаметно к чему-то подталкивают. К чему?.. Ведь какая-то преграда между нею и ее любовью уже выросла. А щедро предложенная мужем встреча с Капитаном скорее связывает, нежели раскрепощает. Зачем все это? Она не могла состязаться с мужем в благородстве и жертвовать Капитаном. Неужели Джонс так наивен? Ведь когда ей станет невольно, она просто уйдет к Капитану, и пусть тогда Джонс на досуге придумывает софизмы для ее оправдания. Неужели до сих пор неясно, что он сохранит ее лишь до тех пор, пока Капитан не скажет своим прокуренным, непроклянным голосом: к ногам!..

— Я ничего не имею против Капитана, — продолжал Джонс. — Какое мне до него дело? Он просто частица мировой суеты и неустройства, откуда приходят все беды. Лишь мы сами придаем безликостям силу рока. Он мог быть не Капитаном, а шофером, клерком, кондуктором, не писать картины, а играть на трубе или на бильярде, все это не имеет значения, кроме одного: он попал в круг твоей доброты. Он замечен, выбран, вознесен тобой, наделен вовсе не присущими ему силой и властью. Все эфемерно, это ты одариваешь столь щедро человека толпы. И его значительность лишь в нас двоих.

Для всех остальных он неприметнее моли. И ненавидеть я должен не его, а тебя, но я тебя люблю, и ничего с этим не поделаешь. Так пусть не становится наша жизнь фарсом. Повторяю, я не хочу, чтобы ты научилась лгать, обманывать, притворяться, носить в себе тайную злость. Оставайся свободной и достойной. Ты не виновата в случившемся, и ты сказала мне правду. Спасибо тебе за это. Знаешь, как сходятся великие вожди? С гордо вскинутыми головами. Сохраним в глазах отвагу встречать взгляд другого... Странно, я действительно начал чувствовать себя индейцем, а ведь прежде шутил насчет своей красной кожи. Так вот, «индеец» удаляется в старый девонширский вигвам. А ты можешь увидеться со своим гринго. Скажи ему, что нет никакой нужды избегать меня. Но упаси его бог приучить тебя к огненной воде, тогда я без шуток вытряхну его морскую душу. В конце лета мы съедемся всей семьей, я привезу на несколько дней нашего мальчика, а там — опять в экспедицию.

Все было, вроде бы, по чести, по добру и справедливости, а осадок у Мери остался горький. И не понять, в чем причина? Он ставит ей условия... Смотреть друг другу в глаза. Тут нечего возразить. Он сам сделал все, чтобы она не опускала головы. Так в чем же дело? Хозяйская интонация?..

Встреча с Капитаном после долгой разлуки получилась сердечной. Правда, не сразу. Капитану сперва надо было выплеснуть все свое презрение к титулам и прочей светской мишуре. Потом он выдал ей за то, что заставила так долго себя ждать. Но в сильнейший гнев его повергло сообщение, что Джонс сам предложил ей встретиться с ним. Мери не сочла нужным это скрыть. Капитан взвился и заорал, что не намерен плясать под Джонсову дудку. Если она настолько зависит от мужа, им лучше прекратить встречи. Он просит раз и навсегда избавить его от подробностей ее отношений с Джонсом, из которого она делает дурака и все-таки трусливо ему врет.

— Я не вру, я ему все сказала.

— Что сказала?

— Про нас с тобой, — замерев от страха, пролепетала Мери.

Вопреки ожиданию, Капитан пришел в восторг. «Так и влепила ему? Bravo, старушка! Это по мне. Пусть почувствует, как у него растут рога. Люблю открытую игру. Ну, расскажи по порядку. Ты, значит, ему так спокойненько, а он?..»

— Ему было неприятно, — пробормотала Мери.

— Я думаю! — захохотал Капитан. — Если б моя жена... — Тут он осекся и закончил другим, деловым тоном: — Так или иначе, дело сделано. Молодец! Не выношу недомолвок.

Но недомолвка, и весьма серьезная, осталась — для Мери. Она не услышала заветных слов.

А Капитан стал на редкость мил. Рассказывал о своем плавании в комических тонах, что ему не было свойственно, ибо смешное он подмечал только в других людях, показывал новые работы, которые очень понравились Мери. Это было все то же, но как-то раскованнее — смелое неумение становилось твердой манерой. Потом они сходили в ресторан, пообедали и вернулись назад.

Мери хотела остаться у Капитана, но он не позволил. Она уже научилась не обижаться, ей нравилась его грубая прямота после утомительных околичностей Джонса. Он проводил ее на такси.

В общем, это был счастливый день. Капитан даже трубку принял великодушно. Набил ее табаком и задымил, строя свирепые «пиратские» рожи. Делал это на редкость артистично. «А ведь он и сам не знает, как много в нем заложено», — думала Мери.

«Все течет, но ничего не изменяется», — шутка Анатоля Франса как нельзя лучше выражала ситуацию этого тройственного союза. Кажется, у всех его участников было достаточно времени разобраться в себе самих и в своих отношениях, сделать выводы, принять достойные решения и осуществить их. Создавшееся положение не устраивало всех троих. Но никто не отваживался на решительный поступок.

Джонс не пытался что-либо изменить, боясь потерять Мери, та ожидала знака от Капитана, робея взять игру на себя; а Капитан равно опасался того, что Мери в последний момент отступит, и того, что на него ляжет ответственность за другого человека.

Но внутри этой стабильной системы все время происходили какие-то сдвиги. Так, Капитан стал появляться у Джонсов, конечно, по желанию главы дома. В Англии любое отклонение от нормы, если оно освящено временем, обретает силу непреложности, поэтому связь Мери с Капитаном была как бы санкционирована обществом и уже не подлежала ни обсуждению, ни тем паче осуж-

дению. Чутко уловив перемену в общественном мнении, Джонс решил узаконить Капитана в традиционном образе друга дома.

Передавая в первый раз Капитану приглашение на ужин, Мери была уверена, что он по обыкновению взовьется и обрушит на голову Джонса — да и на ее собственную — отборную брань. Однако он спокойно и даже как-то чопорно принял приглашение. Ей и невдомек было, что этого требовал капитанский «кодекс чести» — не отступить перед любым вызовом.

Мери заранее мучилась, что Капитан придет в нарочито расхристанном виде, с сальными волосами и вонючей трубкой в зубах, а Джонс будет делать вид, что все в порядке, и глубоко презирать неряху. Вообще-то Капитан отказался от босаяцких замашек, он носил либо безупречную морскую форму, либо черную бархатную куртку художника, но склонность к эпатажу в нем сохранилась, и едва ли он упустит свое.

Действительность превзошла все ожидания: Капитан принарядился. Он раздобыл черную пару, которая была ему великовата: пиджак сидел мешком, а рукава закрывали пальцы, отчего он казался безруким. К тому же он нацепил глухо-черный шелковый галстук — последний штрих к портрету факельщика диккенсовских времен. Неужели это маскарад и он оделся в магазине «Все для похорон», чтобы посмеяться над Джонсом? Как и большинство добрых людей, Мери не отличалась проницательностью. Она взглянула на мужа, надеясь по его реакции понять, что это — всерьез или очередной фортель Капитана. Джонс был слегка ошарашен, но явно не подозревал Капитана в мистификации. И сердце Мери исполнилось щемящей нежности — не к элегантному, изящному, прекрасно владеющему собой Джонсу, а к нелепой фигуре в траурном одеянии.

Джонс мгновенно угадал, что соперник выиграл эту блицпартию, ему все на пользу, даже самые нелепые промахи, и это лишний раз подтверждало, что дело не в нем, а в Мери, поэтому и бороться с ним бессмысленно. Джонс с трудом высидел ужин, а затем разыграл маленький спектакль: взглянул на часы, охнул, сделал огорченное лицо, извинился перед женой и Капитаном: у него назначено в клубе деловое свидание, и он должен там быть. Для дома Джонсов это было нарушением этикета, полагалось дожидаться кофе и ликера, но впервые в глазах Мери выдержка изменила Джонсу. Капитан, конеч-

но, ничего не понял и великодушно простил хозяина, обменявшись с ним крепким рукопожатием.

— А он ничего, твой брат, — заметил он добродушно, когда Джонс откланялся. — Я думал, он хуже. И что мне нравится — знает свое место.

Мери не отозвалась, сейчас она жалела Джонса: по-тащился в клуб со смертной тоскою в душе, а там надо делать вид, что все в порядке, что у тебя отличное настроение, улыбаться, отшучиваться, поддерживать беседу. Бедный Джонс!..

Мери все-таки не до конца знала своего мужа. Джонсу по роду его деятельности приходилось всегда рассчитывать, предусматривать всевозможные случайности — ведь успех экспедиции зависит от самых разных причин, прямого отношения к науке не имеющих. От состава группы, в первую голову от снаряжения, продовольствия, транспорта, медицинского обслуживания, запасов питьевой воды, исполнительности и честности рабочих, нанимаемых на месте. Но и это все еще не гарантирует успеха, в дело могут вмешаться стихии, политические осложнения, расовая ненависть, тайные пороки. Всего предвидеть нельзя, но надо стараться предвидеть все.

Он не мог, например, угадать, что Капитан вырядится как шут гороховый и Мери от доброты и жалости потеряет над собой контроль, а он не выдержит зрелища такой нежности, изливаемой на другого, и будет вынужден удрать из дома. Но он предусмотрел главное — что ему захочется уйти хотя бы для того, чтобы дать им возможность побыть вдвоем. И что настроение при этом у него будет совсем не клубное.

Сейчас речь пойдет об институции, которую ошибочно считают порождением нынешнего просвещенного времени, а существовала она, хоть далеко не в таких масштабах, с середины тридцатых годов. Воистину новое — это хорошо забытое старое. Сейчас на Лазурном берегу каждый уважающий себя отель располагает штатом «девочек по вызову», но еще в доброй старой довоенной Англии имелись хорошо засекреченные отельчики, приносившие своим владельцам славные доходы отнюдь не за счет коммивояжеров и путешествующих старых дев. Обстоятельный во всем и дотошный человек, Джонс получил доступ в один из таких отелей. Он был потрясен, узнав, что ночь с телефонной жрицей любви стоит много дороже той суммы, какую выручает за сезон рабочий-абориген в экспедиции. «Что же такое умеет эта молодая особа?» —

спрашивал себя Джонс, разглядывая фотографию темно-волосой девушки с широко расставленными светлыми глазами. Она отличалась от журнальных красавиц печатью индивидуальности: хорошо очерченный рот не улыбался, светлые, чуть удлиненные глаза смотрели спокойно и строго — серьезное, хмуроватое лицо профессионала высокой пробы, и он, не колеблясь, выбрал эту девушку, хотя с альбомных фотографий ослепительно улыбались и более яркие существа.

Когда девушка пришла — точно в назначенный срок, как служащая, которая и минуты не подарит работодателю, Джонс оторопел. Она была невиданной стати: выше его ростом, с развернутыми плечами, с сильными округлыми икрами и гордо посаженной головой — воительница, темноволосяя Брунгильда, Валькирия. На сворке она вела рослую афганскую борзую с громадными мягкими лапами, пышной, промытой и расчесанной волосок к волоску золотистой шерстью и длинным острым шипцом. Афганские борзые обычно добры и чуть флегматичны, но этот аристократ был напряжен, собран, как перед бегом или броском, он не располагал к фамильярности.

— Какой красавец! — восхитился Джонс, помогая Брунгильде снять шиншилловую накидку.

— Чемпион породы, — сдержанно сообщила та.

Она опустила в кресло, закинула ногу на ногу, пел сел рядом, он шурился, тяжело дышал, высунув розовато-пепельный язык, но не расслабился.

— Зачем вы водите его с собой? — поинтересовался Джонс.

— Отчасти для стиля, — без улыбки ответила девушка. — Когда клиент видит такое чудо, он уже не считает, что переплатил. А еще — моя защита. Вы не представляете, с какими психами приходится иметь дело... — Она внимательно посмотрела на Джонса. — Вы не псих, но вы трудный случай.

— В каком смысле?

— Плакать не будете? — спросила она мимо его слов. Джонс деланно засмеялся.

— Пожилые женатые мужчины оплакивают свое падение, как изнасилованные монашки.

— О чем вы?

— Первая измена жене в таком возрасте страшнее потери невинности.

Джонс разозлился, но как-то глупо ссориться с женщиной, которая так дорого стоит. Он пожал плечами.

— Что вы обо мне знаете?

— Вы женатый человек, — она кивнула на обручальное кольцо Джонса. — Вы лондонец и джентльмен. Вы никогда не имели дела с продажной любовью. Интересный, богатый, знающий себе цену человек — вам ничего не стоит сделать любовницей даму вашего круга, это приличнее и неизмеримо дешевле.

— С последним я полностью согласен, — вставил Джонс.

— Мы — для нуворишей, американских миллионеров, считающих Европу сексуальным раем, неполноценных, но богатых старцев и богатых юнцов, которым хочется скорее все узнать, — продолжала она, не обратив внимания на фразу Джонса. — Вы не подходите ни под одну из этих категорий. Что остается? Крушение. Вы потерпели крушение, приятель. — Странно и волнующе прозвучало это фамильярное обращение.

— Вы проницательны, — пробормотал Джонс.

И тут он заметил, что с появлением Брунгильды его рана перестала кровоточить. Конечно, так не излечишься, но и малая передышка — благо.

— Эй, приятель, вернитесь! О чем вы думаете?

— О вас.

— Как трогательно! Я вам была нужна лишь как предмет для размышления?

— Нет, — сказал Джонс. — А собака не может побыть в прихожей?

— Она не мешает. Или у вас аллергия?

— Нет. Но я верю, что у животных есть зачатки душевной жизни.

— Рой! — повелительно сказала Брунгильда.

Пес поднялся, ореховые глаза его сочились тоской. Он медленно, понуро побрел в прихожую.

Позже, за ужином, который им подали в номер, Брунгильда сказала:

— Вы великолепный мужчина. Так в чем же ваша беда?.. Хотите, угадаю? Вам изменяет жена.

— Предположим, — сказал Джонс, не понимая, как он позволяет себе говорить об этом с девкой.

— Вы не можете ее оставить?

Джонс кивнул.

— Дети... дом... налаженная жизнь... — У нее был рассеянный вид, потом взгляд вдруг собрался в фокусе. — Это все не главное. Любовь. Единственная и не-

повторимая. Что ж, бывает, крайне редко, но бывает. Почему она не уходит?

Джонс промолчал. Ему было стыдно продолжать этот разговор и вместе с тем хотелось, чтобы она продолжала.

— Опять же... дети, дом, положение... — И в упор: — Любовник не хочет?

— Может быть, и хочет, но не говорит.

— Он беден?

— Неустроенный. Безбытный.

— Понятно. Так ему удобнее. И давно это у вас?

— Сейчас мне кажется, что всю жизнь.

— Она стерва?

— Добрый и милый человек.

— Немножко вялая, да? Ни рыба ни мясо?

— Чепуха! Она женственная, милая...

— И бестемпераментная, — уверенно добавила Брунгильда. — Дайте мне мужчину, и я скажу, чего стоит его жена. Успокойтесь, она не уйдет.

— Вы предсказательница?

— Да нет, это все так просто. Никуда не денется ваша Мери.

— Откуда вы знаете, как ее зовут?

— Вы дважды назвали меня «Мери». Ее поезд уже за поворотом, она сама это скоро поймет. От вас требуется немного терпения. Ну а станет немогогу, у вас есть мой телефон. Теперь поняли, почему я так дорого беру?

— Да! — искренне и серьезно подтвердил Джонс.

Мери и Капитан провели время менее содержательно. Капитан захотел осмотреть квартиру и сделал это с большим тщанием, воздерживаясь от критических замечаний. Большое впечатление произвела на него библиотека Джонса, да и весь кабинет. Он отдал дань картинам, их было немного, но все высшего качества, долго стоял перед своим старым пейзажем и что-то соображал про себя.

— Юношеская работа... Не мешало бы Джонсу приобрести меня позднего.

Мери подумала, что он шутит. Ни в малейшей мере. Капитан был серьезен, искренен, прост — не так часто эти добродетели совокупно осеняли мятежную душу Капитана.

Как и всегда, когда Капитан отдалялся, Мери попыталась прибегнуть к нежности, но была не грубо, однако

решительно отстранена. То ли его сковывала возможность скорого возвращения Джонса, то ли весь чужой, слишком основательный, жирный быт, но когда Мери проявила слабую настойчивость, он сказал важно: «Я пират, а не карманник». «Устричный пират!» — сердито подумала она, покоробленная мелкотравчатой этикой ближнего действия. А потом возникла другая мысль: Капитан уважал Дом и Ложе. Возможно, тут сказывались его крестьянские корни, он не полностью деклассировался в городской жизни.

Капитан вообще был положителен и очень важен в этот визит, он хотел во что бы то ни стало дожидаться Джонса и напоминал ей сторожа, который должен сдать под расписку оставленный на сохранение товар.

Джонса он так и не дождался и, добродушно поворчав насчет «загулявшего старика», отбыл.

И во все последующие визиты Капитана (для Мери они были наказанием божьим, но муж настаивал, а Капитан не уклонялся) программа оставалась неизменной: в какой-то момент Джонс ссылался на неотложное дело и оставлял их вдвоем. При этом он далеко не всегда спешил к даме с афганской борзой, чаще просто шел в клуб или в ночной бар. Он догадывался, что локальная верность Мери гарантирована лишь присутствием в их доме Капитана. Впрочем, теперь это его волновало меньше. Близость с Брунгильдой сделала духовнее его любовь к Мери, что отнюдь не остудило супружеского рвення. Он заметил, что Мери стала как-то «обязательнее» к этим постоянным приливам страсти, начисто исчезла едва ощутимая даже обостренным чувством Джонса заминка — знак пассивного сопротивления. Тайная душа Мери угадывала неведомо для нее самой, что за спиной Джонса не так пусто, как прежде, и столь же неведомо для своего дневного сознания она ревновала мужа.

Были очевидны и перемены в жизни Капитана. Скандальная слава донжуана способствовала его успеху как художника. Свет прослышал о нем и заинтересовался. Стало модным иметь одно-два полотна этого героя-любовника, «пирата», «морского разбойника», завладевшего женой баронета Джонса. Сам баронет был слишком взыскан удачей, чтобы желать ему добра. Светские люди, не сговариваясь, делали все, чтобы поддержать «дьявольски талантливому» и романтического отщепенца. Конечно, в широком мире Капитан оставался безвестен, но ведь люди живут не в безбрежности, а в той ячейке, ко-

тору им отвела судьба, Капитан и плавал-то у берегов, имея даль лишь по одну руку, а по другую — преграду земной тверди. Но ему повезло и на суше, и на море.

За годы близости с Мери Капитан цивилизовался. Ушли в прошлое дебоши, драки, безрассудное злоязычие, сменились и люди, ведавшие его морской судьбой. В глазах нового начальства он слыл умелым, опытным и дисциплинированным мореходом, которого незаслуженно держали в загоне. И Капитана толкнули наверх. Нет, он не стал водить океанские лайнеры, китобойные флотилии или гигантские нефтеналивные суда, которые почему-то нередко гибнут в самых рыбных местах и возле пляжей, ускоряя экологический кризис, но он оторвался от прибрежной полосы. Теперь океан предлагал ему свою грандиозную ненужность во все четыре стороны. И наконец настал тот великий день, когда он впервые пошел не старпомом, а капитаном на экспедиционном судне и не куда-нибудь — на Джорджес-банку, а это для морской души, что Мекка для мусульманина. Сладко было проносить мужественное, щекочущее гортань и небо слово: «Джорджес-банка».

Как на грех, Мери никогда не слышала об этой океанской ямине.

— Можно ли быть такой дурой? — даже не разъярился, а затосковал Капитан. — Такой непроходимой дурой!

— Хорошо, я дура, — смиренно сказала Мери. — Но объясни мне, что это такое.

— И не подумаю. Не знать Джорджес-банку!.. И ты хочешь быть подругой моряка!

— Я хочу другого, — тихо сказала Мери, — быть женой моряка. Подруга я уже сто лет.

— Одинокий путник идет дальше других, — подумав, сказал Капитан.

Мери разрыдалась. Сколько лет ждала она, что Капитан ее позовет, позовет навсегда, сколько лет жила мечтою о полном соединении с ним. Ей до судорог надоело быть неверной женой, грешной матерью, нарушительницей общественной морали, она уже немолодая женщина, неужели не заслужила она права на покой? Ее любовь, терпение, преданность — все ничего не стоит перед какой-то Джорджес-банкой, будь она проклята! И почему мужчины в трудную минуту прикрываются чужими словами?..

Конечно, они помирились. Ее доброта не могла устоять

перед смутным обещанием «все крепче обдумать». Под конец она попросила написать для нее эту замечательную Джорджес-банку, что вызвало новый приступ гнева у Капитана: с таким же успехом можно просить его написать дыру, пустоту. Тут Мери вообще перестала что-либо понимать; если Джорджес-банка — просто дыра, то почему столько шума из ничего? Но сказать это вслух не решилась. На всякий случай попросила Капитана одеться потеплее, наверное, оттуда сильно дует.

Капитан уехал. Джонс приехал. Медно-красный, худой, как кость, бодрый и помолодевший. Его наградили Золотой медалью Шведского Королевского общества и торжественно вручили ее в посольстве.

«Я спутница двух величайших людей Англии, — с горькой иронией думала Мери. — Наверное, я приношу счастье. Только не себе самой».

Так оно и было: и Джонс, и Капитан процветали, а она по-прежнему сидела между двух стульев, и осень стучалась в ее двери. И тут ей выпала чуть грустная радость: она стала бабушкой. «Бабушке Мери» — так теперь называли ее домашние — было доверено ясноглазое, горластое и алчное сокровище. Целыми днями пропадала Мери в доме сына, вечером Джонс заезжал за ней, она встречала его застенчиво-радостной улыбкой.

В упоении своей новой счастливой заботой она совсем забыла о приезде Капитана, о чем ей напомнило его письмо: впервые Капитан просил встретить его в Саутэндском порту. Видимо, хотел показаться во всем блеске, ведь он возвращался с таинственной Джорджес-банки и сам вел корабль в гавань. Письмо запоздало, ей было уже не собраться.

Вскоре она получила другое послание: оскорбленное, гневное и с неожиданным концом. Капитан крепко обдумал все и пришел к выводу, что в нынешних условиях их связь бросает на него тень. Довольно щадить Джонса, им необходимо узаконить свои отношения. Несмотря на несколько рассудочный тон любовного послания и канцелярскую терминологию (недаром Капитан отвергал эпистолярный жанр), это были те самые слова, которых она тщетно ждала всю лучшую часть жизни. Но вместо ожидаемого счастья Мери испытала растерянность и страх. Все приходит слишком поздно, но выбора нет — ее долг быть с Капитаном. Вспомнилось личико внука с кисло зажмуренными глазенками. Мери разрыдалась.

Вернувшийся с прогулки Джонс нашел ее в спальне,

она лежала ничком на кровати, спина ее мелко дрожала. Немолодая печальная спина с заострившимися лопатками.

Низко наклонившись, чтобы он не видел ее заплаканного лица, Мери протянула ему письмо.

— Я тебя не отдам, — спокойно сказал Джонс.

— Что же мне делать?

— Не знаю. У тебя внук.

— А если он явится за мной сам?

— Я тебя не отдам, — повторил Джонс. — Но он не явится.

Он не явился и не ответил на письмо Мери.

Прошло немало времени, когда Мери услышала от знакомых, что у Капитана был сердечный удар, он лежал в госпитале и с трудом выкарабкался.

Она не помнила, как собралась. Джонс ее не удерживал. Они прожили вместе всю жизнь, но сейчас у нее не оказалось для мужа ни одного слова. Да он, похоже, и не нуждался в этом. Он был тих, задумчив и спокоен. Когда она уже села в машину, он сказал негромко и будто успокаивающе:

— Я тебя ему не отдам.

...Дверь квартиры Капитана не была заперта. Ее охватил страх: в доме покойника двери настежь... Она вошла, миновала прихожую, холл и откинула неприятно захрустевшую бамбуковую занавеску, прикрывавшую вход в мастерскую.

Капитан сидел за столом, уставленным бутылками, с носогрежкой в зубах; напротив в мягком кресле, поджав под себя голые ноги, уютно пристроилась известная лондонская натурщица Лиззи. Она хохотала, расплескивая вино в высоко поднятом бокале. Веселая пара обходилась минимумом одежды, поделив по-братски голубую шелковую пижаму Мери. Лиззи досталась куртка, Капитану — брюки. И в те первые мгновения Мери возмущилась не изменой Капитана, а тем, как распорядились ее пижамой.

С сжатыми кулаками она набросилась на Лиззи.

— Дрянь!.. Паршивка!.. Как ты посмела?..

Непонятно, чего так перепугалась здоровенная молодая девка. Она выронила бокал и кинулась из мастерской, сверкая розовыми ягодицами, столь хорошо извест-

ными ценителям прекрасного. Мери настигла ее, вцепилась в рукав, тонкий шелк лопнул, Лиззи выскользнула из куртки, подхватила брошенное на спинку стула платье и выскочила за дверь.

— Лиззи! — орал Капитан. — Куда ты, девочка?

Он поднялся, пошатываясь, прошел мимо Мери — ее обдало запахом вина, табака, несвежего тела и дамских духов — выглянул наружу.

«А ведь это у них не начало, — мелькнула усталая мысль. — И что я знаю о нем?.. Чем он занимался без меня?..»

— Какой ты скверный человек! — сказала она, сжав виски. — Боже, какой ты скверный человек!

— Ты больно хороша! — ощерился Капитан. — Я чуть не сдох, а ты где была?.. Девчонка меня выхаживала, настоящий преданный друг.

Мери понимала, что он лжет, девчонка его не выхаживала и появилась здесь, как закуска к выпивке, но с нее самой это не снимало вины... Если б не голубая пижама!.. Ее куртка, в которой она столько раз засыпала возле Капитана, обтягивала жирное тело этой потаскухи. Зачем он так унижил ее!.. Конечно, он в запое, не отвечает за свои поступки. Это дало иное направление мыслям. Он только что вышел из больницы, алкоголь смертелен для большого сердца.

— Тебе нельзя пить. Ни капли.

— Не твое собачье дело! — сквозь зубы процедил Капитан.

Ее замечание так его оскорбило, словно она коснулась самого святого, перед чем померкли и другие нестерпимые обиды:

— Будешь мне еще указывать, дрянь!..

— И буду. Тебе нельзя пить.

Инерция столько лет управляла ею: она чувствовала и говорила одно, а делала другое — заботливо вынимала из сумки банки с соками, упаковки с витаминами, лекарства.

— Откупиться думаешь? — с ненавистью сказал Капитан. — Что я — нищий? Не видел этого дерьма? — Он подступил ближе, она опять почувствовала тошный запах чужой, враждебной плоти, и этот запах притуманил ей сознание. Если б она владела собой, то наверняка поняла бы, что в ненависти Капитана больше любви, чем в истерических вспышках страсти или снисходительном — сверху вниз — расположении.

Капитан протянул руку и смел все дары на пол.

Даже самые смиренные души должны хоть раз в жизни взбунтоваться. Мери неловко ударила Капитана по лицу. Он успел отдернуть голову, острый ноготь задел щеку, выступила капелька крови. Капитан коснулся царапины, увидел на пальце пятнышко.

— Ты пролила мою кровь? — произнес он трагическим голосом. — Ты посмела?..

Два оглушительных удара в глаз и в скулу повергли Мери на пол. Она нелепо поднялась на четвереньки, цепляясь за кресло, выпрямилась. В голове гудело, левый глаз ослеп, но боли не было, вся эта сторона лица онемела. «Он выбил мне глаз», — спокойно подумала Мери.

Сознание будто отключилось, а то, что было за сознанием, знало цель: уползти в свою нору, больше ничего не нужно.

В вагоне она заметила, что все смотрят на ее распухшее лицо, но ей это было безразлично.

Джонс ни о чем не спрашивал.

— Давай лечиться, — сказал он и потащил ее в ванную...

Через некоторое время Капитан вышел из запоя, но был так плох, что его опять положили в госпиталь. Здесь он окреп на удивление быстро и запросился домой. Его не удерживали. По дороге он купил бутылку «Скотча» и подцепил в порту некую Мегги, с которой ловкий подельщик старинных икон Линч писал разных святых второго разряда. Но дома он обнаружил, что пить не хочет, а от «святой» Мэгги его мутит. И он ее выгнал. Работать тоже не хотелось. Мысли о новых рейсах не радовали, скорее наоборот. Даже воспоминание о Джорджес-банке вызывало отрыжку. Полугодовое стояние над морской ямой, которую невесть зачем обшаривали вкрадчивые научные гомики, казалось идиотством. Ну их всех к черту!..

Наконец он признался себе через силу, что ему не достает Мери. Все-таки привычка... Вообще-то она неплохая баба и не задавака... Он, конечно, перегнул палку, уж больно ценил свою независимость. Она была хорошо выдрессирована и не капала ему на мозги, но под конец дала сбой. Ему бы помягче... Но с другой стороны — нельзя и распускать, — она подняла на него руку. Подумаешь, застала девчонку в своей пижаме. Все богачи — собственники. А он плевать хотел на барахло, ему человек важен. Ладно. Приползет. Куда денется.

Но Мери не приползала. И беспокойство Капитана обернулось лютой тоской. Никогда еще он так не развалился и даже подумать не мог, чтобы из-за юбки!.. Он был сам себе противен. Все успехи последних лет показались ничтожными. Справедливости нет и не будет. Он должен радоваться, что на старой калоше сплавал на Джорджес-банку, а разные ничтожества водят океанские пароходы, крушат льды Арктики, огибают Огненную землю. Он продал за бесценок десятка два картин, а трюкачи, вроде Руо, пишущего грязью, загребают деньги лопатой, жулик Линч купил замок. Хотелось отвести душу, да не с кем. Эта кретинка Лиззи начинает раздеваться, когда ты просто хочешь спросить о погоде: розовое животное. А ему надо, чтобы его понимали. Мери вздумалось поиграть в оскорбленное самолюбие. Поиграла, и хватит. Пора и честь знать.

Несмотря на случившееся, Капитан был уверен в своей власти над душой женщины, которую так часто и легко брал напрокат, что считал своей собственностью — да так оно, в сущности, и было. Он ничуть не раскаивался в содеянном. Ну, надавал оплеух, так она же его довела. Он валялся, как собака, в госпитале, а ей хоть бы что — уткнулась в мокрые пеленки. Подумаешь, физиологическое чудо: наспали еще одного никому не нужного муравья. Рассиропилась!.. Жалеть надо взрослых страдающих людей... Устроила вульгарнейший скандал, накинулась на его натурщицу, единственно преданного человека. Чуть не прибила бедную девчонку, та выскочила за дверь в чем мать родила. И что она думает: сама где-то шлялась, а он должен заниматься умерщвлением плоти? Пьян был — а кто виноват?.. Но какое все это имеет значение? Она ему нужна. Он привык... да и как им друг без друга — неужели сама не понимает?.. Это все штучки Джонса. С ним давно пора кончать, хватит играть в благородство. Раз в жизни можно нанести удар ниже пояса.

Сказано — сделано. Он написал Джонсу страшное письмо: «Человек вы или нет? Сколько лет я живу с вашей женой, а вы и в ус не дуете. Мне это надоело. Немедленно отпустите женщину».

Ответ не заставил себя ждать: «Вы ошибаетесь, дорогой Капитан. Вот уже сколько лет я живу с Вашей любовницей, и меня это вполне устраивает. Мы оба очень счастливы. Искренне Ваш Джонс».

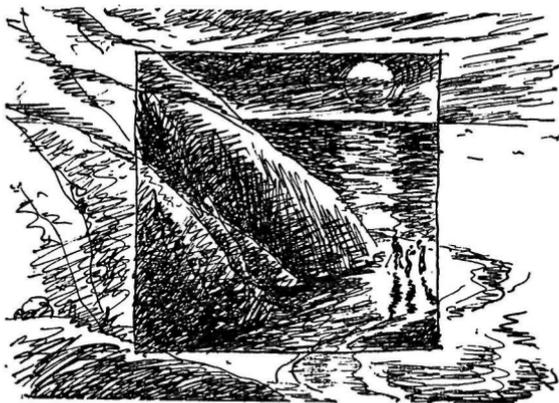
Ночью нет ничего страшного

*Как снежок заводил кавардак гоголек,
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок.*

О. Мандельштам

Я всегда завидовал людям, умеющим писать воспоминания. За последнее время мне попало несколько сборников, посвященных писателям, которых я близко знал. И мне предлагали поделиться своими воспоминаниями о них, но я отказывался, за что навлек упреки в равнодушии, душевной сухости и лени. На самом деле тут было прямо противоположное: слишком сильно — порой до болезненности — ощущал я этих людей при жизни, что мешало работе наблюдения и запоминания. И еще — органическое отсутствие во мне той бытовой, уютной ноты, что считается необходимой для воспоминательной литературы.

Стараясь понять свою незадачу, я вчитывался в воспоминания о Юрии Карловиче Олеши. В целом сборник оставляет ощущение верхоглядства, но в отдельных очерках есть точные, даже глубокие наблюдения, остроумие, изящество, напоминающее литературный и жизненный стиль Олеши — мемуаристы изо всех сил, порой небезуспешно, тянулись за славной тенью. Вместе с тем, меня



томило чувство, что, за редчайшим исключением, никто из них не любил его по-настоящему и уж, во всяком случае, не дрожал над горестной, надломившейся на полдороге судьбой. Может быть, поэтому все так хорошо запомнили его словечки, шутки, подробности поведения, житейскую шелуху личности. Нередко в трезвом прищуре зрится острый, приметливый, порой очарованный, но никогда не зачарованный зрак. Вот я и договорился до того, что понял свою незадачу в качестве мемуариста: я смотрел на него зачарованным взглядом, как и на Пастернака, Платонова, Зощенко, Коненкова, Фалька, о которых тоже не смог написать.

Лишь раз я легко и естественно принял участие в сборнике воспоминаний, посвященных знаменитому, радостно талантливому писателю, и хотя встречался с ним куда реже, нежели с Олешей или Платоновым, вспомнил немало такого, что не задержалось в памяти других мемуаристов. Близ него мое сознание не туманилось, шла обычная работа внимания и памяти, позволяющая мне быть писателем.

Генрих Густавович Нейгауз принадлежал к числу тех, в присутствии которых меня расшибало громом, как говорят сицилийцы. Слишком значительным оказалось его появление в моей жизни.

Мне уже доводилось рассказывать, как сложно соединился я с музыкой, ставшей для меня третьей необходимостью после литературы и живописи. Немилостивая судьба отказала мне в музыкальном слухе; друзья уверяют, что я лишен не слуха, а способности воспроизвести мелодию, которую слышу таинственным внутренним ухом — где оно, интересно, находится? В музыку меня вовлек Лемешев, на котором я тяжело помешался, но очень долго моя тугоухая душа отзывалась лишь пению. Инструментальную музыку я не слышал.

В каком-то из тридцатых в Доме писателей состоялся концерт замечательного, выдающегося, прославленного и вовсе мне не ведомого пианиста Генриха Нейгауза. Выступал он в Москве после долгого перерыва, что придавало известную сенсационность концерту, наверное погнавшую меня, писательского сына, в Дубовый зал, тогда еще концертный, а не пиршественный.

Хорошо помню свое удивление, что великий музыкант оказался крошечного роста, что держался он до надменности строго, а глаза у него были сердитые, словно собравшиеся в чем-то виноваты перед ним. Сколько я потом

ни видел Нейгауза — на сцене, в домашней обстановке или в гостях, всегда пленяли его раскованность, легкость, изящная свобода движений и расположенность к окружающим. Почему он тогда предстал в панцире настороженности и высокомерия, не знаю. Возможно, он отвык от Москвы и москвичей, не был уверен в приеме аудитории, которую в ту пору артисты вообще считали неблагодарной. Но дело не в настроении пианиста, а в музыке. Я не помню программы, помню лишь, что было много Шопена, Бетховен, Шимановский. Я слушал все равнодушно, с усиливающейся скукой, когда вдруг меня постигло нечто похожее на потрясение Шарля Свана, впервые услышавшего сонату Вентейля, вернее, одну ее фразу, что-то перевернувшую в разочарованном баловне Сен-Жерменского предместья. Он почувствовал возможность иной жизни и новой, великой любви, еще неведомой искушенному в страстях сердцу. И когда появилась Одетта де Креси, похожая на Боттичеллиеву Сепфору, она словно заполнила своим узким телом уже готовую форму, вылепленную сонатой Вентейля. Вот эта фраза: «Медленным ритмическим темпом она вела его сначала одной своей нотой, потом другой, потом всеми к какому-то счастью — благородному, непонятному, но отчетливо выраженному. И вдруг, достигнув известного пункта, от которого он приготовился следовать за ней, после небольшой паузы, она резко меняла направление и новым темпом, более стремительным, дробным, меланхоличным, непрерывным и сладостно нежным, стала увлекать его к какому-то безбрежным неведомым далям».

Хорошо, и все же даже несравненному описательному дару Пруста не удалось создать литературный эквивалент дивной сонатной фразы. Так что оставим в покое три ноты Шопена, подсаживавшие непробудившемуся еще сердцу подростка, какие страшные и сладостные бездны ждут его впереди. Тем более что важнее другое: тут впервые обнаружилась та странная, загадочная мембрана, которая вопреки обкарнанному слуху дала мне наслаждение музыкой, пусть всего тремя нотами. Но теперь я знал, что есть недоступный мне дотоле волшебный мир.

Я считал, что отомкнуть его можно лишь полужазой сонаты Шопена, но ключ оказался потерян. У меня не было денег ни на пластинки, ни на билеты в консерваторию, а черная тарелка репродуктора дребезжала иными звуками. И я перестал искать. Осталась лишь память о сердитом миниатюрном человеке, подарившем мне прон-

зительную мимолетность. Я прочел Пруста раньше, чем снова встретил Нейгауза, и мои три ноты еле слышно звучали где-то в стороне Свана.

Прошло много лет, когда в гостеприимном доме Асмусов я познакомился с Генрихом Густавовичем Нейгаузом. На воскресном обеде присутствовали близкие друзья дома: Пастернаки, Сельвинские, одинокий старый литературовед Локс и пришедшие чуть позже Нейгаузы.

Этот приблизившийся к глазам Нейгауз не имел ничего общего с суровым виртуозом тех давних дней. Живой, легкий, летучий, он, едва появившись, сразу озонировал воздух, отягощенный, как в предгрозье, дурным настроением Зинаиды Николаевны Пастернак, чья обычная хмурость усугублялась тревогой за здоровье старшего сына Адика *. Нервные токи шли от показно самоуверенного Сельвинского. Он чувствовал охлаждение Бориса Леонидовича, который еще недавно связывал с ним большие надежды, а сейчас щедро отвел ему первое место среди поэтов, ничуть его не интересующих.

Появление Нейгауза как-то странно объединило присутствующих через разъединение. Исполнив крайне дружелюбно и радостно обряд приветствия, он полностью сосредоточился на Пастернаке. Это отвлекло Зинаиду Николаевну от недоброго пригляда за мужем и дало возможность Сельвинскому спустить пары в споре с Локсом, хозяин дома играл тут роль буфера, смягчающего ошибки. Дамы тоже завели свой особый разговор.

Тульский пряник сперва разглядывают и уж потом надкусывают. И Генрих Густавович, закинув голову, некоторое время лицезрел чуть заметавшегося от этого молчаливого внимания Пастернака, затем как клюнул коротким вопросом.

Представленный Генриху Густавовичу, не обратившему на меня внимания — подобно Лескову, он был равнодушен к «неизвестным величинам», — я уже хотел тихо ретироваться, как вдруг услышал имя Андрея Платонова, а вслед за тем — взрыв восторженных похвал. В ту пору не было для меня никого дороже, да так оно, пожалуй, и осталось. Высокая костлявая фигура творца «Епифанских шлюзов», дружившего с отчимом и матерью, не раз отражалась в зеркальной дверце нашего громоздкого платяного шкафа, лишившего нас половины жилплощади; я всегда смотрел на «зеркального» Платоно-

* Это был сын от первого ее брака — с Нейгаузом.

ва, ибо материальный его образ был непосилен моей влюбленной душе.

Меня потрясло, что Пастернак и Нейгауз так любят Платонова и «открывают» им свою встречу. В ту пору Платонова удручающе плохо знали даже в литературной среде, к тому же я не умел связывать разнородные явления культуры «в единый клуб». Продолжу по Заболоцкому: незрелая мысль была бессильна объединить два несхожих таинства бытия.

Андрей Платонов с его чисто русской, крестьянско-мастеровой маетой казался несовместимым со сложным дачно-городским миром Пастернака (мне невдомек было, что оба пребывают не в уезде и не на полустанке, а в вечности); и уж подавно был я убежден, что страсти по Платонову не имеют никакого отношения к страстям по Шопену или Бетховену. Ан нет, прямое отношение имели друг к другу утонченные московские люди, ведавшие «дыхание почвы и судьбы», и ворончанин с костлявым телом пахаря, лицом рабочего и челом мыслителя, не менее их искушенный в культуре. Приверженность Платонова к русской сути не мешала ему пропускать через себя даже такие органически чуждые явления, как Шпенглер или Вейнингер, ибо в области духа он не признавал ни пространственных, ни временных ограничений. Человечество и вечность были для него реальностью, он признавал певцов мировой, а не районной скорби.

Платонов продолжал управлять беседой небожителей. Сейчас они восторгались рассказом «Фро» о страшном одиночестве покинутой любимым всего лишь на миг молодой женщины.

— Она же дура! — кричал Нейгауз. — Но эвиг вайблихе!..

— Для него нет табу!.. — трубил Пастернак, улыбаясь огромной улыбкой доброго людоеда.

В ту пору он еще обходился собственными, очень длинными, рвущимися из-за губ желтыми зубами. Со вставными челюстями придет поздняя красота, которая и станет для потомков единственной внешностью Пастернака. В. Розанов говорил, что каждый человек в определенном возрасте оказывается словно бы наведенным на фокус: контуры личности совпадают с наружными контурами — это и есть он настоящий. Поэтому, глядя на фотографии, можно сказать: это еще не Чехов, это уже не Бунин. Мандельштам сфокусировался в ранней молодости, Анна Ахматова — на половине жизненного пути, Пастер-

нак — в пожилом возрасте. По-моему, старость придала завершенность облику Нейгауза. Тут, кстати, человек порой бессознательно помогает природе: Пастернак обновил рот, а Нейгауз окутал голову густой и летучей сединой. Пока еще оба находились на подступах к своей окончательной внешности.

— А какую прелестно-бессмысленную песню поют зайчонки из кондукторского резерва! — радовался Нейгауз.

— Он ее сам придумал. Платонов начинал как поэт. И потом писал стихи.

— Хорошие?

— От них пахло Платоновым. Но все портила натужность талантливой самоучки.

— «Вопли Видоплясова»? — засмеялся Нейгауз.

— Господь с тобой, Гаррик! — Добрый людоед обнажил пасть, будто прося на каждый длинный зуб по стихотворцу-самоучке. — Платонов во всем талантлив. Но ученичество ему не к лицу, в прозе он сразу стал мастером.

— Ты хорошо его знаешь?

Нейгауз задавал вопросы отрывистым тоном, словно спешил; отвечая же, скорее тянул, как бы примериваясь к наиболее точному ответу. Впрочем, когда им владело чувство, он словно в упор расстреливал собеседника.

— Он бывает у меня. А знать?.. Ты знаешь кого-нибудь хорошо?

— Конечно! Я знаю тебя.

— Какой ты счастливый, я себя совсем не знаю.

— О чем вы разговариваете?

— Ну... не знаю.

— Как, ты и этого не знаешь?

— Да нет... — тянул Пастернак; интеллектуальная и душевная честность мешали ему говорить приблизительно о важном. — Ну, Гаррик, чего ты меня допрашиваешь?.. Мы говорим о судьбе, о смерти, о паровозах...

— Что ты понимаешь в паровозах?

— Я — ничего. Он понимает. Он паровозник и мелиоратор. Он не считает паровоз машиной. Паровоз — это печь на колесах, а печь — ядро жилья. Паровоз весь горячий, он дышит и требует ухода, как домашняя скотина.

— Так что же паровоз — изба или животное?

— Ни то, ни другое. Он никогда не говорит расхожих банальностей... Вот, вспомнил! Какой-то новатор хвастался, что перед рейсом всегда подкрашивает паровоз: там

красную красочку положит, там желтую, там голубую. Платонов слушал, слушал, а потом сказал: вот еще одну красочку положишь, и паровоз вовсе не пойдет.

Нейгауз счастливо захохотал.

— Это гораздо глубже, чем кажется... Я видел его однажды. У него великолепный череп. Какое чело! — И Нейгауз сказал примерно те же слова, какими позже воспевает наисовершеннейший череп своего гениального ученика.

— Он замечательный писатель и замечательный человек! — от души сказал Пастернак, довольный, что его перестали пытаться по части техники.

— Мне очень близко то, что ты говорил о паровозах...

— Я ничего не говорил, — перебил Пастернак. — Это Платонов.

— Неважно. Я с детства люблю паровозы. Они, правда, дышат, отдуваются, в конце долгого пути с них течет масло, как пот. В ночи они извергают пламя. Они испытывают жажду, требуют насыщения, у них есть характер, личность. Не бывает одинаковых паровозов. Мне ужасно не хочется, чтобы их вытеснили безликие электрички. И потом — про паровоз все понятно, это не то что страшный и загадочный телефон. — Нейгауз передернул плечами.

— Телефон, конечно, непостижим, — согласился Пастернак. — Но ведь не смущают же нас потусторонние голоса?

— Ну, это другое дело... — без связи с предыдущим Нейгауз медленно, словно разбирая буквочки на таблице в глазном кабинете, проговорил: — «...ночью поют одни добрые, кроткие сверчки, квакают лягушки в запруде и сопит бык, ночующий в скотном сарае, — и нет ничего страшного».

— «Июльская гроза!» — узнал Пастернак.

— И рядом с этим конец из «Епифанских шлюзов». — Генрих Густавович сощурился, будто разбирал последнюю, самую мелкую строчку таблицы. — «Где ж твой топор?» — спросил Перри. «Топор! — сказал палач. — Я без топора с тобой управлюсь! Резким...» — Но последняя мелкота оказалась недоступной его глазам.

И тут настала моя минута:

— «Резким рубящим лезвием вцепилась догадка в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу».

Взгляд Нейгауза впервые сосредоточился на мне.

Я увидел себя в его зрачке, странно светлом, серебристом, — в цвет высшего качества зернистой икры; я был там одутловатым, распухшим в щеках, с суженным сверху черепом, как в кривом зеркале «комнаты смеха» (хотелось думать, что он видит меня не таким). Как бы то ни было, я отделился от фона, обрел для него самостоятельное существование.

— Еще один неоплатоник! — засмеялся Нейгауз. — «Наступил вечер; комната остыла, потускнела и наполнилась...»

Ну, в эти игры меня не переиграть:

— «...воздыханием неясных лучей тайного и зачолустного неба».

— Bravo! — восхитился Нейгауз. — А это помните? «Мне наскучило любить лошадей и прочих животных, и я...»

— «...ищу любви у более сублильного существа — женщины».

Мы долго перебрасывались кусками прозы Андрея Платонова.

— А это помните?..

— А это помните?..

— Что вы как попугайчики? — со своей опасной белозубой улыбкой сказала хозяйка дома. Если б у меня был другой собеседник, если бы за нашей игрой не следил, добро и заинтересованно, кумир дома, слово «попугай» прозвучало бы не в уменьшительной форме на сахарных устах моей будущей тещи.

— Это самый лучший, самый чистый способ говорить о литературе! — вскинулся Нейгауз.

— Только так можно найти собрата, — добавил Пастернак.

Любопытно, что лет через десять, в ином историческом времени, после войны, мы предавались той же игре с любимым учеником Генриха Густавовича — Святославом Рихтером, но черпали из другой сокровищницы — Марселя Пруста.

— А знаешь, — вспомнил Пастернак, — Платонов сказал, что мужская несостоятельность такой же мощный источник поэзии, как любовь. В смысле, конечно, не стихоплетства, а богослужения.

— Это звучит ободряюще, — с серьезным видом заметил Нейгауз. — Но примеры?..

— Письма Абеяра к Элоизе, стоящие всей его схоластики, «Повторения» и многое другое у Кьеркегора.

— Абельяр — понятно, а что случилось с Кьеркегором?

— Ну, Гаррик!.. Почему он уступил свою невесту Шлегелю?

— Уступил?.. Кто бы мог подумать!..

— Он сокрушался, что не нашел в себе веры Иова, наоравшего на господу и получившего назад здоровье, богатство и всех своих мертвецов.

— В чем сплеховал Кьеркегор?

— Не притворяйся, Гаррик, ты прекрасно знаешь, что он потерпел фиаско со своей невестой. Просить бога о невозможном, значит, верить в его всемогущество. Но Кьеркегор не возопил к небу, поставил крест на реально-стях любви и принялся творить новые химеры. В чем и преуспевал до конца дней.

— Откуда твой паровозник знает Кьеркегора?

— Но он же еще и мелиоратор.

Я догадался наконец, что это игра. Платонов не владел иностранными языками, а Кьеркегора не переводили на русский. Это был театр для самих себя. Постороннему зрителю не распутать клубка намеков, старых розыгрышей и счетов, шутливых подколов, истинных преодолений, без которых не обошлась эта необыкновенная дружба. И впоследствии я не раз наблюдал их малую игру, где каждый поочередно был то простаком, то ворчунорезонером.

За столом Сельвинский прочел свое новое стихотворение «Тигр», удивительно пластичное и упругое. Оно всем понравилось, даже Локсу, пробормотавшему что-то о молодых, которые «могут, когда не ломаются». Пастернак ничего не сказал, и в этом была жестокость, но не прямая, а жестокость самопогруженности, не позволившей ему, в чем он на склоне дней сам признался, оценить по достоинству современных русских поэтов, за исключением Блока. Слишком серьезная жизнь с собою, пребывание в собственных безднах принуждали его выбирать из внешнего мира лишь то, что было нужно ему самому: в человеческих отношениях, музыке, живописи, прозе, иноязычной поэзии. В новой русской поэзии он не нуждался, место было занято классиками и проговариванием рождающихся строк. Он мог иной раз шумно восхититься чьими-то стихами — из сострадательного безразличия. Но Сельвинский в сострадании не нуждался, и Борис Леонидович не заметил его с тем же хладнокровием, с каким откладывал в сторону книжки Ахматовой с дарственной надписью. Анна Андреевна утверждала, что он

почти не знал ее стихов после... «Четок», и не обижалась на него. Даже «воронежскому» Мандельштаму не удалось пробить его глухоты: он слышал сорванный голос Цветаевой-друга, а голос Цветаевой-поэта звучал ему, как потерявшийся в степи колокольчик. Эти голоса зазвучали для него в старости.

Все стали просить Пастернака почитать, он отказался наотрез: ничего не помнит. Тогда дружно накинулись на Генриха Густавовича, чтобы он сыграл. Пастернак трубил вовсю. Я уже подумал, что, может, выпрошу три заветные ноты, но Нейгауз сердито бросил: не хочу! Это была месть Пастернаку.

А когда мы прощались и я пожимал маленькую, очень сильную руку, Нейгауз сказал, заглянув мне в глаза:

— Поверим, что ночью нет ничего страшного? — Эта перифраза из Платонова стала паролем наших последующих не слишком частых встреч...

Помню одну молниеносную встречу во время войны, когда начались бомбежки. Я приехал к Нейгаузу с каким-то поручением от моих новых родичей Асмусов. И едва я вошел в квартиру, находившуюся в историческом доме по Садовой, близ Курского вокзала, где жили знаменитые летчики, полярники, музыканты и откуда ушел в смерть Чкалов, как начался налет. Не знаю, насколько опасный, но очень шумный, зенитки лупили так, что мы не слышали друг друга. Долгий, всасывающий пространство свист большой фугаски тоскливо подсказал, что придется спускаться в подвал. В доме Асмусов этот ритуал считался обязательным, и потребовалось все кроткое и неодолимое упрямство моей жены, чтобы нас с ней оставляли наверху. Дерзкое неповиновение бесило мою тещу, не боявшуюся ничего на свете, но преданно служившую обостренному инстинкту самосохранения своего мужа. Я забыл, с какими людьми имею дело. Когда от взрыва задрезбжали, трескаясь, оконные стекла, Милица Сергеевна, маленькая, худенькая, с увядшими волосами и выражением беспечной и всеобъемлющей доброты на терпеливом лице, вскричала голосом вакханки:

— Взлетим на воздух, Гарришка!

И поставила на стол бутылку портвейна и рюмки.

Мне почудилась тень печали на ясном и, как всегда, оживленном лице Нейгауза.

— За встречу по Швейку, — он поднял рюмку, — в шесть часов вечера после войны!

— Вы эвакуируетесь?

— Немцам не видать Москвы, как своих ушей. Но я должен ехать — Адик на Урале, в больнице... Ехать один... Теща нетранспортабельна...

— Езжай, Гарришка! — лихо вскричала Милица Сергеевна. — А мы с мамой и Милкой будем прикрывать твой отход.

— О, господи!.. — сказал Нейгауз.

Асмусы наказали мне спросить о Пастернаке: он отправил семью в Чистополь, а сам исчез.

— Мы ездили к нему в Переделкино, — сказал Нейгауз. — Но, похоже, он не слишком обрадовался нашему вторжению. Наслаждается одиночеством, хотя делает вид, что ужасно замотан. В Москве дежурит на крыше, на даче весь день копает гряды, вечером переводит Шекспира. Бодр, улыбчив, свеж, у него поразительно крепкие руки и сильная грудь. Да, еще он ездит стрелять на полигон и страшно гордится своей меткостью. Он говорит, что всегда считал себя движущейся мишенью, оказывается — заправский стрелок.

А когда мы прощались, Нейгауз задержал мою руку в своей:

— Так ночью нет ничего страшного?..

Вскоре ему дано было это проверить. Мы расстались надолго...

...Памятен мне один разговор, свидетелем которого я оказался лиловым коктейбельским вечером у подножия Карадага. Три пожилых человека говорили о женщинах. Двоих я знал: Нейгауза и члена-корреспондента ныне не существующей Академии архитектуры Габричевского, автора изумительного этюда о загадочном Тинторетто, третьего — с голым, массивным, шишковатым черепом — видел впервые. Он казался мне похожим на виолончелиста Пабло Казальса, о котором я слышал, что он вылитый Пикассо, а этот, в свою очередь, — копия кинорежиссера Арнштама. Он был из дней киевской молодости Генриха Густавовича, к искусству отношения не имел, то ли археолог, то ли палеонтолог, но не исключено, что геофизик, впрочем, это было нейтрально к предмету беседы. Худой, жилистый, прокопченный солнцем, он заявил о себе как о зяйдлом холостяке и отчаянном волоките. О, как завидовали ему опутанные браком старые женолюбы!

— Я любил эту женщину, но нам пришлось расстать-

ся. Она не выдерживала моей страсти. Я устал от воплей: «Леонтий, пощади!»

— Она так вопила? — спросил Нейгауз, раздувая усы.

— Именно так, — подтвердил Леонтий.

— От страсти? — прорычал Нейгауз.

— От чего же еще? — небрежничал копченый.

— От страсти еще и не то бывает, — вмешался Габричевский. — Моя дама проглотила зубной протез.

— Твоя дама? — такого удара Генрих Густавович не ожидал. — Когда же это было? В прошлом веке?

— Но, Гаррик!.. — Габричевский делал вид, что крайне смущен своим невольным проговором. — Я надеюсь на твою скромность.

— Черт знает что! — вконец расстроился Нейгауз. — Меня окружают старые распутники!

Копченый пожалел его:

— Я слышал вчера на литфондовском пляже, что Липочка из филармонии сходит по тебе с ума.

— Липочка? Эта кувалда? — взревел Нейгауз. — Мне по моим заслугам полагается мадам Рекамье, маркиза Дюдефан, Мария-Антуанетта!.. — Он задыхался. — Клара Цеткин!..

Самое интересное, что тут не было ни зубоскальства, ни фанфаронства — разрывающая жизненная сила, неисчерпанность, молодость крови и воодушевленная вера в то, что он вполне мог бы составить счастье всех этих дам...

И еще одна встреча.

Это было посреди шестидесятых, на квартире Святослава Рихтера, когда он жил в Брюсовском переулке, в композиторском доме. Рихтер устроил небольшую домашнюю выставку художника Краснопевцева. Он любил этого одаренного и упрямо чуравшегося спроса художника, который писал одни только камни. Возможно, я ошибаюсь, и художник обращался к другим сюжетам, не только оформляя ради хлеба насущного рекламную страницу «Вечерней Москвы», но от той выставки в памяти сохранились лишь камни. Я не знаю, что сейчас делает Краснопевцев, не исключено, что он изменил своему пристрастию, пошел вширь или избрал новый фетиш. В шестидесятых он не разбрасывался, его аскетическое творчество находило признание у людей, тонко чувствующих живопись: верным почитателем Краснопевцева был Рихтер, сам одаренный художник, одно время всерьез поду-

мывавший о том, чтоб оставить рояль ради холста и кистей.

Краснопевцев не писал драгоценных камней, его привлекали обычные серые, серо-голубые, бурые «беспородные» каменные уломочки. Такие каменюки повсюду валяются на земле, выстилают пляжи кавказского Черноморья, никто и внимания на них не обращает. А Краснопевцев подберет, очистит от пыли и грязи, чтобы вернуть естественный неяркий холодный цвет их твердому телу, положит на лист картона, на тряпку, просто на столешницу, редко в близости какого-нибудь сосуда или другого нехитрого предмета и зафиксирует с сугубой точностью скромное пребывание неких малостей в мироздании, предоставляя окружающим либо радоваться тому, что они есть, либо печалиться неслиянностью с их сутью. Нет, эти жалкие слова даже не прикасаются к искусству Краснопевцева, но если б его картины можно было «рассказать», значит, они не нужны. Зачем краски и кисти, зачем добавочная мука, если достаточно расхожих слов?

Художник стоял меж своих картин, приятный молодой человек, молчаливый, как его камни, но еще более скрытный. Камни не скрытничали, они говорили, но язык их был то вятен, как родная речь, то темен, как ночной бормот природы.

— Вам нравится? — спросил Рихтер.

— Да. Хотя как-то странно, непривычно. Я не был настроен на эту встречу. И я не понимаю, почему мне это нравится. А вы?

— Красиво!.. — Рихтер засмеялся, обнажив зубы и натянув крепкие жилы шеи; так он смеялся, когда хотел уйти от разговора, что случалось нередко.

Тут дело не в том, что он держал на запоре свой внутренний мир, а в обостренной духовной шепетильности. Подобно Пастернаку, но еще последовательней, он избегал приблизительности, пустого велеречия, имитаций глубокомыслия, предпочитая им безобидную банальность и беззащитно-извиняющийся смех.

И тут из боковушки при огромном зале, которому Рихтер пожертвовал четыремя комнатами своей квартиры, появился чуть заспанный, хотя и освежившийся пахучей струей пульверизатора, какой-то подсохший и вовсе не заземленный, с реющей сединой Генрих Густавович Нейгауз. И мне подумалось: вот чем обернулся шуточный взрыв неиссякаемой мужественности в лиловом коктейльном вечере. Генрих Густавович отважно сломал

стереотип жизни благостно стареющего посреди любящей семьи виртуоза. Старый артист, консерваторский профессор, воспитавший много поколений музыкантов и одного гения, рванул прочь из теплого дома на сквозняк распахнутых городских пространств, на лежанку в боковушке, чтобы в последний раз начать все с начала.

Никто не был на него в претензии, меньше всего домашние и уж вовсе ничуть — бесконечная в любви и доброте жена. Это не христианское холодное всепрощение, это такая слиянность с любимым, когда не остается места ни ревности, ни обиде, ни уязвленному самолюбию, ни страху перед жалом княгини Марьи Алексеевны. Все это слишком мелкие чувства для такого высокого человека, как Милица Сергеевна. Правда, ревность возведена поэтами в генеральский чин, но Карл Юнг сорвал с нее золотые эполеты: «Ядро всякой ревности составляет отсутствие любви».

Долго и трудно умирая, Милица Сергеевна просыпалась каждое утро со счастливой улыбкой. «Мне приснилось, что Гаррик пришел. Надо прибраться, сегодня он непременно будет». И он появлялся у смертного ложа своей старой подруги, хотя, возможно, не так часто, как обещала ей утренняя улыбка.

— Вам это по душе? — спросил Нейгауз о картинах.

— Да. Но чуточку пустынно. Помните, Платонов писал, что ему одиноко в прозе Пришвина — там только природа и нет человека.

— Я этого не читал. Но в литературе я тоже враг ненаселенного пейзажа. Хотя «Жень-шень» удивительная книга. Пожалуй, там все же есть человек — автор. И здесь есть человек — Краснопевцев. С тонкой, нежной, стыдливой и непреклонной душой. Он не боится этих камней, не боится вечности.

— Много же вы ему приписали! А если весь фокус в том, что мы сами заполняем вакуум? Это наша работа, а не его.

— Но кто же вынудил нас к ней? Вы были в Японии и, конечно, видели «Философский сад»: серый прямоугольник земли и несколько грубых камней. Какой глубокий и бесконечный символ! Каждый выносит что-то свое: умиротворение, не житейское, а то, что предшествует чаше с цикуты, если она — добровольно, или совсем другое — утешение, легкость и тихое желание еще долго пить... — ну, как это у Дельвига? — Он нетерпеливо замахал кистью.

— «Когда еще я не пил слез из чаши бытия», — подсказал я.

— Вот-вот! Еще долго осушать эту чашу. Каждый получает свое, но ничего не было бы, если б гениальнейший художник не разбросал по траве несколько камней. И там, и здесь расчет на сотворчество. Искусству это редко удается. Но знаете, о чем я сейчас думаю: как мало надо для счастья, если уметь вглядываться. Мы и вообще обделены этим даром, а жизнь так сумбурна, в ней чересчур много всего и почти все — лишнее. Какое чудо — простой, грубый камень, какое чудо мы сами, если видим его... Все это очень серьезно и... горестно.

— Почему горестно?

— Сами узнаете в свой час. Старый Лев Толстой плакал по каждому поводу, для окружающих — без всякого повода. А ведь он плакал и над ними, не из любви, а потому что жалко терять всех, даже родственников, не говоря уже о чистых, гладких камнях. Откуда это чувство у начинающего жить Краснопевцева?

А потом начинающая жить поэтесса читала стихи о Пастернаке, и Генрих Густавович отирал щеки маленькими руками, умеющими охватывать безмерность клавиатуры. Жалеешь о камнях, а утрата воспоминаний?..

Когда мы прощались в коридоре, он сказал тихо:

— А ночью правда нет ничего страшного?

Больше мы не виделись.

С той поры прошло много лет. Я уже знаю пронзительное ощущение безмерной ценности всего, что переживет тебя в «прекрасном и яростном мире». И я оттираю слезы своими старыми руками, такими же маленькими, как у Нейгауза, но никогда не прикоснувшимися к клавишам.

Оказывается, писать воспоминания совсем нетрудно, если не посягать на лавры великого наблюдателя нравов Сен-Симона, а простодушно говорить о себе самом. Люди, правда, почти ничего не узнают о том, кто искусил твою слабую память, зато узнают, в каком хорошем обществе ты вращался.

Элли и ПАНОс

Знаменитый английский ученый Джон Бернал говорил: «Жизнь, подобно Афродите, родилась из пены морской». Так просто, мудро и поэтично был расшифрован древнегреческий миф о богине любви и красоты Афродите-Киприде, явившейся в молодой мир с накатом морской волны на каменистый берег. Родилась Афродита возле острова Киферы, но в истоме медленного пробуждения была отнесена ветром на Кипр, где обрела мускулистую силу вертикали.

Жизнь родилась из предвечного океана, говорит наука. То же утверждает на своем языке миф, ведь основа жизни — любовь, а дарящая богам и смертным любовь Афродита явилась из царства Посейдона. Страсть пронизала безлюбый мир, который, познав блаженное таинство соединения, принялся упоенно творить все новые и новые формы жизни.

Мы едем на машине из Лимасола в Пафос, и нам не миновать того заветного места, где прекраснейшая вышла из пены морской. Хочется сдержать бег нетерпеливого коня — старенького «вольво» и приглядеться к окружающему: положим зеленым холмам справа от дороги, долине — слева, к встающему за ней и быстро расцеживающе-



муся утреннему туману, сквозь который уже проблескивает морская вода. Но останавливаться нельзя, тем паче сворачивать с дороги, хотя бы к кювету; в территорию суверенного государства Кипр врзалась английская военная база Акротири. Бывшие хозяева Кипра, уходя, отторгли от небольшой страны два немалых куска ее тела, два шмата кровоточащей плоти. И в памяти возникает шекспировский ростовщик Шейлок, готовый вырезать кусок мяса из тела благородного венецианского купца Антонио за долг, который тот не сумел вовремя вернуть. Англичане куда омерзительнее Шейлока — Кипр им ничего не должен, напротив, это они в неоплатном долгу перед Кипром, из которого восемьдесят лет тянули соки, да и аппетит их вдвое превосходит шейлоковский. Как известно, жадный ростовщик ничего не получил, сраженный хитроумными доводами добровольной адвокатессы Порции, но современные Шейлоки безнадежно глухи к соображениям справедливости, разума, чести и естественного человеческого права, их ничуть не смущает дикость того обстоятельства, что один европейский народ захватил землю другого европейского древнейшей цивилизации народа, в нравственную основу которого заложено благородное миролюбие.

Волнистый, плавный, как-то нежно и округло сопрягающийся пейзаж испещрили жесткие геометрические фигуры английских коттеджей, военных сооружений, казарм, теннисных кортов, спортивных площадок для игры в бейсбол и регби. Рыжие — может, они кажутся такими в утреннем освещении? — веснушчатые по красноватой, не загорелой, а обожженной коже подростки беспечально отмахивают битой сильно пущенный бейсбольный мяч, потом бегут, работая локтями, другие дерутся и пашут носом землю во славу кожаной груши. А вот и английский патрульный «джип» обочь шоссе, солдаты в серых армейских рубашках, черно пропотевших в подмышках и по хребту, курят, оплевывая близлежащую природу, пьют кока-колу из горла, закидывая голову и ерзя кадыком, и даже тень сомнения в законности их пребывания на чужой земле не туманит бледно-голубого безмятежно-идиотического взгляда.

Противно было видеть эту военную шпану на пути к Афродите.

Мы миновали указатель границы оккупированной территории, и через некоторое время впереди вычернилась скала, у подножия которой, как нам уже сообщили, мор-

ская волна вынесла златокудрую богиню. Еще один легкий удар по нервам: на обрыве, прямо над заветным местом, стоял грузовичок-фургон с итальянским мороженым. Приторный эрзац шоколадного, фисташкового, малинового, абрикосового и кофейного цвета спирально вытекал из краников и заполнял вафельные стаканчики в черно-волосатых руках мороженщика, совершившего свое маленькое оккупационное кощунство в священном месте.

Ладно, сморгнем мороженщика и останемся наедине с вечностью.

Было утро мира и утро дня, когда дни еще не начислялись, раннее, непрогретое утро; тонкая пленка остывших за ночь испарений, в которой бледно растворялся первый досолнечный свет, обволакивала все пребывающее в пространстве: скалы, масляничные деревья на каменистом вскиде берега, щетину выгоревшей травы, отмель, усеянную сахаристой галькой, и даль, ибо она тоже пребывала в мире не менее реально, чем скалы, оливы, камни и песок. Из-за горной гряды на востоке брызнул бледно-золотой свет и заполнил пространство; пелена стала быстро плавиться, возвращая всему существу его собственные краски: скалы из бурых стали искрасна-лиловыми, с черным бархатом теней в морщинах, листья олив — глянцево-зелеными с жемчужным исподом, каменистые обнажения — загустелой красноты бычьей крови, галька — опаловой и будто светящейся изнутри, вода заискрилась у горизонта и погнала к берегу валы с синей воронью.

Долгая косая волна, гулко ударившись о скалу, раскатилась по отмели, оставляя пышные шапки пены; в одном из этих пенных холмиков ворочалась большая себристилая рыбина. Но когда волны со змеиным шипением отползли назад, на мокром песке осталась не рыба, не чудо морское с зеленым хвостом, а дивной красоты женское тело. Пузырьки пены лопались на алебастровой коже. Пришелица из морских глубин очнулась от забытья, медленно огладила себя ладонями, сняла с бедра темную водоросль и легко, уверенно стала на ноги, уже зная, что она богиня, и мир откликнулся ей общим любовным вздрогом, в нем возникло новое натяжение, сменившее прежнюю безлюбую дряблость, а из-за дальней горы в слепящем великолепии поднялось солнце — Афродиту приветствовал ее светозарный брат Аполлон. И богиня пошла ему навстречу.

— Мне ванильного, — сказала Афродита.

Считается, что боги не стареют, пребывают в постоянном возрасте. Наверное, это так, когда вечная юность заложена в самом существе бога: солнечный Аполлон, охотница-девственница Артемида, быстрый на ногу Гермес — связной Зевса, но ведь всем знаком облик ребенка Диониса на руках Силена, а в какого могучего, дивного мужа вымахал он в пору Тесеевой авантюры, явившись на пустынный берег Наксоса за брошенной героиней Ариадной. И думается, седые нити прошли бороду козлоногого Пана, когда его свирель была побеждена кифарой Аполлона, и он удалился, опечаленный, в гущу лесов. Афродита Милосская ближе всего к образу юной девушки, вынесенной волной на кипрский берег, в Афродите Книдской, изваянной Праксителем, торжествует пышный женский расцвет, а в Пафосской Афродите — зрелость материнства; она уже дала жизнь Эроту, вспоила его своим молоком, вырастила трудного ребенка; чуть ослабли мышцы живота, мясисты все еще прекрасные бедра, корпус тяготеет к наклону опекающей нежности. Так вот, ванильную сладость в вафельном стаканчике приняла из волосатых рук мороженщика Афродита, благостно огрузневшая, беспокойная мать, сварливая свекровь Психей, отнявшей у нее славу первой красавицы Олимпа, Афродита того города, куда мы сейчас едем, чтобы принять участие в торжественном вечере, посвященном шестьдесят седьмой годовщине Великой Октябрьской революции.

Мы с женой гостили на Кипре у наших старых друзей Элли и Паноса Пеонидисов. Панос — член ЦК АКЭЛ (эта партия возникла в 1941 году на основе коммунистической партии) — делал праздничный доклад на вечере. Со временем стираются все слова, высокие — раньше других, ведь изначально они задевают сильнее обычных и потому быстрее срабатываются. Но совсем иначе звучали привычные речи в огромном гулком зале, служащем для концертов, театральных представлений и народных сборищ. На острове, чья судьба так мучительна, обрели первозданную свежесть старые созвучья. Все, что говорил Панос о далекой северной стране, свершившей пролетарскую революцию, оборачивалось болью за собственную, безмерно любимую страну, растерзанную, униженную, постоянно помнящую о своем расчлененном теле.

Пылающее лицо Паноса на трибуне связывается в па-

мяти с милыми, доверчивыми и какими-то испуганными глазами его дочери Мелины, смотревшей по телевизору праздничный парад наших войск на Красной площади. Шестнадцатилетняя Мелина — создание радостное и глубокое. Она всегда занята, ее существование не терпит незаполненных минут, и в каждое дело она вкладывает себя целиком: будь это школьные уроки, домашнее хозяйство, чтение, отплясывание в дискотеках или ежедневные часы Шопена — музыка ее страсть. И эта музыкальная, ласковая девочка воскликнула, сжав кулачки:

— Боже, какие вы счастливые, что у вас такая армия!

То был голос юного, бесхитростного и тяжело обиженного сердца. Девочке вспомнились черные дни 1974 года, когда лилась кровь ее соотечичей, когда двести тысяч исконных обитателей Кипра, изгнанные с насиженных мест, из своих жилищ, со своих полей и виноградников, разутые, раздетые, брели под палящим солнцем на юг и прозвучало горькое слово «беженец», когда над Фамагустой взвился турецкий флаг, когда кончилось что-то хорошее и чистое, а дурное, злое, несправедливое бесстыдно обнажилось. Вот о чем думала Мелина, глядя на шагающие по Красной площади войска. И захлебнулась душа: как прекрасно быть защищенным против зла, против гарпий-трупоедов, высматривающих красными глазами слабые места на мировом теле!

Мы привыкли к мощи и оснащенности нашей армии, мы не смотрим на нее со стороны, как на нечто, находящееся вне нас, ведь все мы так или иначе проходим через армейскую службу. Мы носили доспех в свой час, сейчас настала очередь этих юношей, шагающих через Красную площадь, — ну и что тут такого? О, как много!.. Юная киприотка своим наивным восклицанием расколдовала привычность...

Я собирался рассказать об Элли и Паносе, а говорю о мифах, базах, турецкой агрессии, митинге, посвященном Октябрю, девочке, зачарованной шествием народной армии по Красной площади. Но об этих людях нельзя говорить иначе: мифы и жестокая реальность, перед которой не потупляешь глаз, движение мировой жизни, несущее тревогу и надежду, — все проходит через их распахнутые души. Эти люди — плоть от плоти, кровь от крови своего народа, чья историческая судьба требует много мужества, терпения, стойкости, планомерного упрямого труда, бодрости и хороших песен.

Искусство, поэзия, вся культура Кипра, не утрачивающая в близости к греческой своей самобытности, неотторжимы от его мученической судьбы. А судьба эта заложена в слишком соблазнительном географическом положении: Кипр словно нацелен на Ближний Восток. Он издавна привлекал завоевателей и в пору крестовых походов был захвачен рыцарями — освободителями гроба господня (Ричард Львиное Сердце пышно сыграл здесь свою свадьбу); в военно-морской стратегии англичан на Средиземном море Кипр был самой большой канонеркой. Поэтому и не ушли они с острова, получившего статус свободного и независимого государства. Позже американцы последовали их примеру, развернув на отторгнутой турками территории базу быстрого реагирования.

Другая историческая трагедия Кипра: на маленьком островном пространстве должны ужиться два народа, различные во всем — в религии, обычаях, нравах, истории, языках, и традиционно враждебные один другому. И все же сосуществование удавалось — древняя культура Эллады, врожденное миролюбие и терпимость исконных обитателей Кипра: пахарей и виноградарей — помогали улаживать и снимать противоречия, гасить запальчивость нетерпящих соседей. И в этом брезжила возможность прочной государственности на федеративной основе, которая уже начала не без успеха осуществляться. Но когда по взмаху дирижерской палочки натовских стратегов вспыхнул мятеж (пора было привязать неприсоединившийся Кипр к атлантическому блоку), и в Никозии расстреляли президентский дворец, и столичная радиостанция, захваченная путчистами, захлебывалась восторгом: «Макариос мертв!.. Макариос мертв!..», и националист-ножебой Сампсон возглавил правительство мятежников, Турция направила на Кипр сорокатысячный экспедиционный корпус «для защиты турецкого населения», и Кипр раскололся на две части.

В ту пору Паносу Пеонидису было под пятьдесят. За плечами — большая и сложная жизнь. Он родился в семье школьного учителя, человека религиозного, крайне строгих правил, неизменного члена церковного совета. Верить и выполнять церковные обряды — дело вести человека, но отец Паноса сделал из веры как бы вторую профессию, создававшую в семье атмосферу духоты и нетерпимости. Мелочная и недобрая вера отца очень рано отвратила Паноса, живого и любознательного мальчика, от небес и посеяла в душе первые семена бунта. Он

и сам считает, что его жизненный путь определился в детстве — сопротивлением двойному гнету: отцовскому и религиозному. Он рос, учился, много читал, в свой срок пришли к нему мифы Греции, боги и герои, эпос и трагедия, все неизмеримое наследство эллинского мира: в историческое чувство властно вторгалась современность, он и сам не заметил, как из чистого мира природы и памяти переселился в сложный и неопрятный социальный мир. Ступив в юность, он понял, что куда страшнее домашней и церковной давилки колониальный гнет. Море одарило Кипр Афродитой и любовью, море принесло англичан и ненависть. Не в холодном рассудке, а в горячей крови зародилась первая идея: родина должна стать независимой.

Когда началась вторая мировая война, Панос пошел добровольцем в армию, которая считалась английской: она была вооружена английским оружием, оснащена английской техникой, ею командовали надменные английские офицеры, но пушечное мясо, упакованное в английскую форму, было греческим. Панос пошел на войну не для того, чтобы защищать британскую империю, — паук свастики был куда страшнее для народов, чем одряхлевший английский лев, и, подобно большинству своих соотечественников, Панос не сомневался, что война принесет свободу его родине.

Он стал минером. Это одна из опаснейших военных специальностей, недаром говорят, что минер ошибается только один раз. Панос не ошибся, иначе не было бы этих записок. Военная служба выработала в нем те качества, которые необходимы коммунисту-подпольщику (еще в армии Панос вступил в АКЭЛ): мужество, хладнокровие, терпение. Впрочем, мужествен он был по природе, а вот терпения и хладнокровия не доставало эмоциональному юноше, натуре отчетливо художественной. Боевое крещение Паноса состоялось в Африке, а идейное он получил на древней земле Эллады. Партизаны сыграли решающую роль в освобождении Греции, но англичан это ничуть не умиляло. Для них изгнание гитлеровцев было лишь прелюдией к настоящему делу — очищению Греции от всех патриотических сил, в первую очередь — от бесстрашных партизан. В Афинах начались кровавые столкновения между английскими войсками и греческими патриотами. Однажды генерал приказал атаковать позиции партизан, а рядовой Пеонидис этот приказ отменил. Бунтаря тут же схватили и бросили в тюрь-

му, но не расстреляли — время для этого было слишком уж неподходящим. Из греческого застенка его перевели в египетский концентрационный лагерь, где он и встретил великий день Победы над фашизмом. Англичане не стали возиться с заключенными и отпустили их по домам.

Университеты Паноса были под стать горьковским — наука жизни, но полем скитаний была вся Европа: от Балкан до Англии. Впрочем, начал он с туманного Альбиона, куда приехал с шестью фунтами в кармане. Лондона он, естественно, не знал, пришлось взять такси. Расплачиваясь, он не мог дать на чай шоферу. «Вы что — нищий?» — нагло сказал шофер с бульдожьим прикусом. «Разумеется, — спокойно отозвался Панос. — Я из английской колонии».

В отличие от волжского скитальца Панос порой оказывался на студенческой скамье, откуда его быстро срывала то журналистика (он сотрудничал в коммунистической газете «Трибюн»), то партийные задания, то гражданская война в Греции, куда он, член комитета демократической Греции, был послан в качестве журналиста и партийного функционера. Он благополучно перешел границу и присоединился к армии патриотов-демократов. Его корреспонденции с мест боев печатались в Англии и на Кипре. Когда демократические силы потерпели поражение, Панос обосновался в Болгарии.

Он работал в «Эллас-пресс», снова пошел учиться и наконец-то осилил полный курс наук на историко-филологическом отделении Софийского университета. Вскоре он женился. Родил сына и дочь. Жизнь заладилась, он читал лекции, приобрел хорошее имя в журналистике, переводил с греческого на болгарский художественную литературу, но в исходе пятидесятих на Кипре разгорелась антиколониальная борьба, и Панос через Югославию и Италию поспешил на родину. Когда пароход прибыл в порт Лимасол, Паноса арестовали прямо на борту. Но все же не было у колониалистов прежней хватки, Паноса недолго продержали в тюрьме и отпустили под надзор полиции. Надзор свелся к тому, что Панос раз в месяц отмечался в полицейском участке. Остальное время он отдавал партийной работе и агитации против англичан. В 1960 году Кипр обрел независимость и отразил свои Цвета — зеленый и желтый — в государственном флаге и гербе.

Паноса выбирают председателем Молодежной органи-

зации Кипра (наш комсомол) и генеральным секретарем Комитета в защиту мира. Семья приезжает к нему и вскоре рушится. Время было тревожное. Много жадных рук тянулось к Кипру, он не давал покоя НАТО, греческие реакционеры не прочь были присоединить остров к Греции, Пентагону Кипр представлялся отличной взлетно-посадочной площадкой для печально-знаменитых самолетов-шпионов У-2, чесались руки и у турецких агрессивных элементов. Да и на самом острове было беспокойно, все учащались столкновения между греческим и турецким населением. Самый воздух был настоян едкой гарью опасности, словно в пору лесных пожаров. Опасность давно стала привычной формой существования для Паноса, лишь менялось ее обличье: мины, не прощающие ни одной ошибки, принадлежность нелегальной армейской партийной организации, за что можно было поплатиться тюрьмой и даже расстрелом, неподчинение приказу генерала-карателя, незаконное пересечение греческой границы и поход с армией «мятежников», как называли патриотов власти, самовольное возвращение на Кипр и борьба с англичанами, необъявленная война с многочисленными силами реакции. Жизнь среди молний не мешала Паносу любить жену и детей, писать рассказы — в журналисте пробудилась тяга к художественному творчеству, встречаться с друзьями, пить вино, слушать музыку и ходить на вернисажи, но жена его не отличалась такой закалкой. Милая, добрая женщина была прекрасной подружкой для спокойной, тихой жизни, но не для баррикад. Нервы ее сдали, она уехала в Болгарию — навсегда.

В этом трудном для него году Панос издал сборник рассказов «Кумандария». По-военному звучащее слово означает сорт любимого киприотами вина — сладкого,пряного и крепкого. Этим вином кипрские мальчишки напоили английских солдат, закрывших их школу, — в основу всех рассказов сборника положены действительные события. Солдаты, посмеиваясь, пили сладенькое вино, но скрытая сила кипрской лозы посшибала с копыт самоуверенных вояк. Забористыми были и другие рассказы, сборник имел значительный читательский успех и поставил Паноса перед сложным вопросом: творчество или политическая деятельность? И то и другое требуют всего человека: нельзя стать настоящим художником в свободное от партийной работы время, и не дело партийному руководителю мыслить образами художественными, а не реалиями. С этим связалась и другая проблема, ка-

залось бы, усугубившая внутреннюю смуту, на деле же помогшая развязать все узлы.

Панос познакомится в Лимасоле с девушкой по имени Элли. Она сочиняла стихи, кое-что печатала. Девушка не писала о любви, что уже понравилось Паносу, считавшему, что в пору реакции любовью можно заниматься, но писать надо только о борьбе. Отец девушки был крестьянином-виноградарем, выбившимся в маленькие предприниматели. Способный химик-любитель, он научился делать ароматные эссенции для парфюмерных изделий и подумывал о собственном магазине в торговом центре Лимасола. Свое намерение он вскоре осуществил. К творчеству дочери в доме относились более чем равнодушно, а к появлению Паноса — крайне враждебно.

Кряжистому крестьянину-парфюмеру не нравилось в нем решительно все: и то, что он партийный функционер, а не строитель, врач или аптекарь, и то, что он женат и у него двое детей. Страстный охотник на пернатую дичь, меткий стрелок, он довел до сведения приткого ухажера, что застрелит его, как куропатку, если тот не оставит Элли в покое. Он тоже был минером во время войны, и Панос считал, что минер никогда не поднимет руку на минера, он не оставил Элли в покое. Они вместе поехали в Болгарию. Там же сыграли свадьбу. Патрон, предназначенный Паносу, был израсходован на горную куропатку.

Панос считал талант Элли более органичным и перспективным, нежели свой, да и не ужиться двум богам в одной кумирне. Во всяком случае, Паносу не хотелось ставить подобного опыта, и для Элли лучше, если муж будет «делателем» жизни, а не бумагомарателем. Позже Элли скажет: Панос дал мне мировоззрение. Через год после замужества она вступила в партию. Еще через год вышла ее первая книга, новые стихи отливали спелым цветом зрелости.

Панос безжалостно придушил собственную песню, но сам он не преувеличивает своей жертвы. Если человек действительно обречен творчеству, то он, не задумываясь, отринет все остальное. Если же он способен взвешивать «за» и «против», то надо выбирать прямое действие жизни.

Ныне Панос оргсекретарь Лимасолского обкома партии, член Центрального Комитета, он выступает в печати со статьями, рецензиями, публицистикой, недавно собрал книгу. Рассказов он больше не пишет.

Если Панос шел к своей судьбе, столь сложно маневрируя, то встречное движение было куда прямее и проще. Элли вышла к Паносу из деревни Васса, что в сорока километрах от Лимасола. «Вышла» надо понимать фигурально, но я подозреваю, что она бессознательно с первых шагов пошла навстречу любимому.

Разумеется, Панос ни о чем таком не ведал: он воевал, бунтовал против армейского начальства, сидел в тюрьме, словом, жил той жизнью, о которой было рассказано выше, а девочка все увереннее шла сперва по каменистым дорогам Вассы, потом по асфальту Лимасола, куда переехали ее родители. Миновали начальная школа и гимназия. К этому времени Элли уже писала и печатала стихи и даже получила в семнадцатую весну премию на литературном конкурсе. Конкурсный успех заставил родителей Элли серьезно задуматься о ее будущем. Она грезила литературой. Это было опасно, и властная рука отца Никоса Аргиридиса, уже открывшего лавочку в Лимасоле и успешно торговавшего ароматными изделиями собственного производства, что значительно повысило в нем от природы немалое самоуважение, направила девушку в Афинский педагогический институт, на отделение домоводства. Отец сознательно выбрал для дочери столь прозаическую специальность, чтобы погасить поэтические бредни.

Окончив институт, Элли вернулась в Лимасол и поступила в детский дом учительницей. И тут пересеклись пути юной поэтессы-педагога и романтического вожака кипрской молодежи, недавно оставленного женой, которая покинула огнедышащую землю Кипра. Что было дальше, мы знаем. Две половинки разорванного человеческого единства обрели друг друга, составив нерасторжимое целое. Так нечасто бывает в броуновой мельтешне жизни, но бывает, и тогда это великое счастье.

Некоторое время после замужества внешняя жизнь Элли никак не могла обрести стабильность. Менялись места работы: гимназия, газета, радио, телевидение («час женщины» — советы по разным бытовым вопросам). Пестрота деятельности отразилась в псевдонимах, которых у Элли оказалось множество. Все это, наверное, неплохо, когда человек еще набирает жизненный опыт, но Паносу хотелось для жены большей сосредоточенности на главном, на ее быстро накапливающей мускулы поэзии, большей выстроенности внутреннего посыла. Он исподволь помогал концентрации творческой воли, ориентиро-

вал молодую жену на решающие цели. Вступление Элли в партию и выход первой книги были прямыми следствиями этих усилий.

Как почти все написанное Элли, ее первый поэтический сборник был посвящен Кипру, его богам и героям — киприоты ощущают свои мифы как часть исторической жизни (вот откуда «домашняя» интонация стихотворения Элли «Гекуба»), а также терпеливым крестьянам родной деревни; в стихах много природы и раздумий о месте Кипра в миропорядке.

Сосна моя, сосенка Кипра,
Ты — словно его душа
В поисках истины, которая ускользает
Вот уже много веков.

Элли, подобно другим греческим поэтам, использует свободный стих — верлибр, который с легкой руки французов стал господствующим в европейской поэзии последних десятилетий, не привившись только у нас, хотя опыты в подобном роде делаются.

Элли широко понимает судьбу Кипра, который жив не только мифологией, историей и сиюминутной борьбой; листок Кипра отделился от вселенского древа, но продолжает быть связанным с ним незримым черенком, поэтому в тему родного острова органически вплетаются и Великий Октябрь, и подвиги героя Греции Ламбракиса и героя Испании Хулио Гримау. Панос помог Элли избежать того национального крена, который угрожает каждому, чью родину попирают чужеземцы. Элли рано узнала, что можно быть настоящим патриотом и гражданином мира. Отсюда глубокое и свободное дыхание ее поэзии.

У нее свой образ Кипра. Вот он:

...сияющий образ Кипра —
образ открытой ладони,
ладони, повернутой к солнцу,
готовой с каждой ладонью
слиться в рукопожатье.

Элли совершает свой поэтический путь в обратном направлении общепринятому. Обычно поэты идут от личного к общему, социальному, всечеловеческому. Достаточно назвать Пушкина, Блока, Маяковского, Пастернака: интимная лирика в юности, бури века в зрелости. А Элли начала с поэзии политической, с поэзии скорби,

борьбы, призыва, а в самое последнее время у нее появилась любовная лирика. Известно, что бальзаковский возраст передвинулся на десять лет, но, думается, не в этом дело, и у Паноса нет оснований для тревоги. Поэтическая страсть Элли была безраздельно отдана Кипру, с максимализмом молодости она служила одному всепоглощающему чувству. К тому же Элли очень рано стала счастливой женой, откуда же взяться было лирическому пафосу, питающемуся страданием, болью, разлукой, непрочностью восторга, над которым нависает тень разочарования. В раю, где царит полное счастье, нет поэзии, обитатели сидят на облаках, свесив ноги, и лениво тренькают на арфах. Поэзия Элли Леониду предельно искренна, ей не к чему было имитировать якобы обязательные для поэта чувства, но с наступлением полной душевной зрелости в человеке увеличивается внутренняя емкость. В этом свободном пространстве находится место и личностному без малейшего ущерба для главных ценностей. У поэтессы как бы растянулась шкала чувств, она осознала оберегающую ее нежную и прочную силу и откликнулась ей.

Но мы сильно забежали вперед. В шестидесятых и семидесятых шло углубление и расширение четко определившейся темы: Кипр — любовь моя, Кипр — боль моя, Кипр — надежда моя. Выходят отдельной книгой поэмы: «Часы Никозии» и «Пусть будет дождь». В последней поэме образ иссохшей, алчущей живительного дождя земли символичен. Из рамок традиционности поэму выводит тон дружества в отношении турецкого населения Кипра. Поэтесса не отделяет своих единокровных от других пассажиров того же скорбного корабля. Она видит выход в братстве боли, что свидетельствует о ее политической зрелости. И сейчас, когда демаркационная линия перерезала тело Кипра, коммунисты неуклонно стоят за то, что будущее страны должно строиться соединенными усилиями греков-киприотов и турков-киприотов, какой бы визгливой яростью не исходили националисты.

В поэме «Плач Афродиты» Элли словно предвидела судьбу Кипра. Богиня плачет над телом прекрасного юноши Адониса, растерзанного вепрем. Ей, дарящей любовь, впервые выпало полюбить самой всей беспредельностью божественного сердца, но полюбить не бога, а смертного человека и узнать неведомое олимпийцам: что на земле любовь и смерть неразделимы. И Афродита мо-

лит Зевса отнять у нее бессмертие, а с ним и бесконечности муки.

Поэт так странно устроен, что самые горькие строки могут родиться у него посреди благополучной — во всяком случае, внешне — жизни. Впрочем, так ли уж это странно? Прежде всего не только для поэта, но и для любого человека житейское благополучие не равнозначно душевному. Но есть и другое, дестабильность жизни зачастую отвлекает поэта от «звучков сладких и молитв» или уводит музу в подвал мелких переживаний, где личная обида, личное неустройство застят тревогу большого мира. И напротив, в спокойствии устроенного дня, в налаженном быте слышнее становятся голоса пространства: стон обездоленных, печальная и тонкая музыка мировых напряжений. Освобожденная от своекорыстных забот душа сливается с общечеловеческой душой. Нечто подобное произошло с Элли. Когда переехали в Лимасол, ее жизнь упорядочилась. Она перестала метаться между журналистикой, преподаванием, радиосоветами молодым хозяевам и детскими телепередачами. Она приняла предложение отца и пошла работать в его благоуханное торговое предприятие.

Тот, кто думает, что служба под рукой отца-хозяина — синекура, глубоко заблуждается. Две недели мы с женой прожили под одной крышей с Пеонидисами и видели, как мчалась на службу Элли, боясь опоздать хоть на минуту, видели, как обслуживала она капризных покупателей, как ворочала тяжелые ящики, вела расчеты и со щеткой в руках подметала порожек и тротуар перед магазином. Она вертелась как белка в колесе, и в этом нет ничего удивительного, коли сам владелец делил с ней все заботы, включая дворницкие. В семейном предприятии не погоняешь чаев, не поболтаешь с сослуживцами, не подымишь в коридоре и не сбежишь раньше времени. Когда дело касается работы и прибыли, все родственные чувства — побоку.

Четкие часы работы, точно распланированный день оставляли достаточно времени для свободной жизни души. Тем более что когда закрывался магазин, строгие хозяева становились просто родителями, и мать — замечательная кулинарка — укладывала в машину дочери судки и термосы с горячим обедом из национальных блюд.

Счастливая в браке и материнстве (дочь Мелина и сын), раскрепощенная от мелочной борьбы за существо-

вание, опирающаяся на духовную поддержку мужа, Элли жила своей глубинной сущностью, черпая себя из тех пластов, которые могли бы при других обстоятельствах остаться тайной для нее самой. И вот из этих глубин раздался тот провидческий голос, который сказал, что Адонис вновь будет растерзан вепрем.

И он грянул — страшный 1974 год, самый трагический в многострадальной истории Кипра, который видел первую улыбку Афродиты, но слышал и ее первый стон. Улыбка погасла в незапамятные времена, а стон усилился ассирийцев, египтян, персов, римлян, византийцев, крестоносцев, генуэзцев, венецианцев, турок, англичан так и не замолкал в тысячелетиях — двадцать семь веков длилось иностранное владычество на Кипре.

15 июля путчисты, направляемые афинской хунтой, разгромили президентскую резиденцию, символически расстреляли монумент кипрской независимости и поставили «правительство» террориста Сампсона, известного своими расправами над турками-киприотами. Анкара только того и ждала: бестолково, но оперативно турки высадили сорокатысячный экспедиционный корпус, на белые кипрские города посыпались бомбы, длинными очередями крупнокалиберные пулеметы косили обезумевших от ужаса мирных людей. Греческие офицеры, командовавшие национальной гвардией, вели себя изменнически: турки почти беспрепятственно продвигались в глубь страны. Путчистам были на руку паника и дезорганизация. Лишь на подступах к столице патриотические силы оказали захватчикам отчаянное сопротивление. Целью путчистов было присоединение Кипра к Греции, они боялись народного возмущения больше, чем военных успехов турок, которых НАТО могло остановить одним окриком. Но не отсюда пришло избавление. Уже гремел голос чудом спасшегося архиепископа Макариоса, взывавшего к людской совести, весь мир охватило движение солидарности с борьбой киприотов. Совет Безопасности ООН потребовал прекращения огня. Турки послушались, но раньше заняли всю Кирению, всю Фамагусту, значительную часть Никозии. Разрушенные города, двести тысяч лишившихся крова, «зеленая линия», разломившая страну на греческую и турецкую части, дезорганизованная экономика, вытопанные поля, уничтоженные виноградники, сожженные плантации, замолкший международный аэропорт, опустевшие пляжи Фамагусты, взорван-

ные причалы — вот результаты скоротечной, жестокой и никому не нужной войны.

Турецкое население острова потеряло неизмеримо больше, чем приобрело. Собственно говоря, приобрело оно два опустевших курортных города, которые не в силах восстановить и освоить мертвый аэропорт, сколько-то плантаций и виноградников, отошедших к переселенцам из Турции, а потеряло налаженную экономику, рабочую занятость, твердые заработки, поскольку весь туризм переместился в Ларнаку, Лимасол и Пафос и международная торговля осуществляется теперь через эти порты. И перед греческим Кипром последствия войны поставили ряд сложных проблем. Первая и самая большая — размещение беженцев. Горестное положение бездомных оказалось мощным строительным стимулом, архитекторы, инженеры-сантехники, каменщики, штукатуры, плотники, художники-оформители стали на вес золота.

Громадным и ужасным памятником минувшей войны остается Фамагуста. Мы подъезжали почти к самому подножию этого скорбного монумента, к тому месту, где шоссе перегорожено подобием шлагбаума и мятыми бочками из-под бензина, наполненными землей. Но «большое видится на расстоянии», и город во всем своем обманчивом великолепии открывается от курортного местечка Айа Напа. Солнечный свет растекается по глади белых стен роскошных отелей, высотных зданий банков, магазинов, учреждений, портовых сооружений. Кажется, что перед вами живой красивый южный город, органически вобравший старину с мечетями и минаретами в современные четкие формы. Это обман — Фамагуста мертва. Конечно, какое-то шевеление продолжается в старом городе, укрытом крепостными стенами, где от века обитали турки-киприоты, обжили они в последнее время и прилегающие к старому городу кварталы, редкие грузовые суда, в основном из Турции, заходят в сильно пострадавший порт, но прежней блистательной, кипучей, многоязычной, звенящей жизни нет и в помине, ведь сияющим лицом Фамагусты был новый город, выросший у старых крепостных стен и названный Вароша. Так вот, в Вароше не осталось ни души, и турецкая администрация даже не пытается ее обжить. Трескается асфальт, прорастает травой и кустами, зияют пустые проемы окон, кое-где трепещут выгоревшие порванные занавески. Ветер намывает тонкий земляной прах в вестибюли отелей, банков, в магазины, опустошенные кры-

сами. Серые грызуны, чудовищно расплодившиеся, — настоящие хозяева Вароши. Когда люди уходили из Фамагусты — многие прямо с пляжа, в купальных костюмах, а дома на плите варился фасоловый суп, — город был набит продуктами: в магазинах, на складах, в трюмах судов, в холодильниках — и вся эта снедь досталась крысам.

Недавно я смотрел в Вене страшный фильм «Крысы Манхаттана». Это довольно гнусная фантазия на тему термоядерной войны. В атомном смерче уцелели лишь самые приспособленные обитатели планеты — крысы, они завладели опустевшим миром. Когда я с мукой отвращения смотрел этот фильм, мне и в голову не приходило, что через несколько месяцев столкнусь с реальным подобием крысиного Манхаттана. Мы живем в такое время, что любая чудовищная выдумка фантастов немедленно осуществляется в действительности. Наше детство распевало: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», наша старость видит, что былью становится не сказка, а Кафка с его больным воображением.

Крысы Фамагусты пожрали все запасы продовольствия, пожрали трупы убитых и тела недобитых, пожрали всех кошек и собак и что-то еще догрызают в пустой, медленно разрушающейся от стихий и заброшенности Вароше.

Фамагусту можно спасти, если исчезнут шлагбаумы, бочки с песком, «зеленая полоса», если слово «киприот» будет означать гражданина единого островного государства, чьи народы, имеющие тяжелый, но не безнадежный опыт сосуществования, объединятся на федеративной основе.

А пока что...

...Родина, ты стала куском бумаги,
который переносят с конгресса на конгресс.
Родина, ты стала узлом белья,
которое свалили в порту среди гнилых досок.
Куда девалась твоя земля, белая глина, красная глина,
на которой замешена культура,
заполнившая витрины музеев мира?..

Я упоминал о людях, уходивших почти обнаженными с пляжей Фамагусты, атакованной с земли и воздуха. Среди них оказались и близкие друзья Пеонидисов, у которых мы побывали в гостях в их прелестном доме близ Айа Напы. Их «приключение», как любит говорить Роберт Музиль, вводя в смысл слова душевную ситуацию,

могло бы стать новым мифом. Они познакомились на пляже Фамагусты. Георгиас был местным жителем, талантливым художником и дизайнером, голландка Жаннет — женой большого пианиста, награжденная богами остро, даже жестко современной и вместе лунатической удлиненной, будто из древнего сказания, красотой, была ведущей манекенщицей знаменитого Кристиана Диора. Тогда же она снялась в фильме вместе со своей подругой Сильвией Кристалль, создавшей образ и тип Эмануэль. Кристалль прижилась в кино, а Жаннет предпочла превратностям судьбы и скоротечности карьеры манекенщицы радости брака. Она вышла замуж и родила сына. Счастливая семейная жизнь рухнула в то мгновение, когда на пляже в Фамагусте Жаннет познакомилась с загорелым мускулистым и волосатым хиппи, как потом оказалось, ярко талантливым художником. Но это обстоятельство ничего не значило, он мог быть чистильщиком сапог, ловцом осьминогов и кальмаров, просто лоботрясом, ничто не играет роли, коли «расшибло громом». В Сицилии это означает ту степень внезапной страсти, когда разом отпадают все моральные запреты, житейские соображения и обязательства. Все рушится перед велением рока. И у Жаннет не было никаких проблем, кроме сугубо практических: скорее оформите развод, забрать сына и вернуться в Фамагусту. Так все и было бы, не грянь иной гром — из турецких орудий. В потоке беженцев Георгиас и Жаннет потеряли друг друга, кажется, он был ранен. Жаннет перенесла сильнейшее нервное потрясение, но, едва выйдя из клиники, принялась разыскивать любимого. Следы его были потеряны. Как потом выяснилось, он очутился в Афинах, без гроша в кармане и без записной книжки с адресом Жаннет.

Через греческих художников Жаннет удалось отыскать Георгиаса. Они съехались на Крите, который традиционно соединяет людей. Романтическое приключение Тесея тоже связано с Критом. Там он обрел Ариадну, а разъединил их Наксос. Георгиаса и Жаннет остров Наксос не соблазнил, они отправились прямо на Кипр, где поженились, построили дом и родили сына.

— Чем не сюжет для поэмы? — сказал я Элли.

— Я написала поэму о Фамагусте, — улыбнулась Элли. — Но героиня у меня другая — не Жаннет, а Дездемона. Это монолог Дездемоны.

И тут я вспомнил, что самая пленительная и горест-

ная героиня Шекспира окончила жизнь в Фамагусте. Отелло был правителем Кипра.

Трагедия 1974 года определила тон и цвет поэзии Элли последующих лет. Характерны названия циклов: «Обвинения», «Осуждения» (они вошли в новую книгу поэтессы, изданную в Афинах). Но взгляд Элли не замутился оскорбленным национальным чувством, она по-прежнему относится к туркам-киприотам с добротой понимания и сочувствием, ведь, кроме призрачной государственности, они ничего не получили, а потеряли много.

Не все раны проходят, иные зарастают снаружи, а внутри продолжают кровоточить. Но все можно стерпеть, когда есть цель, есть свет впереди. Панос помог Элли не потерять этот мерцающий во мраке огонек, помог сберечь внутреннее здоровье. Дыхание ее стало глубже, поэтическое слово звучнее и емче, появились новые мотивы, чувства, шире стал образный ряд. И, как уже говорилось, забил новый — лирический ключ. Последнее — не в ущерб общественному темпераменту. Пеонидисы много ездят, участвуют во всевозможных форумах, симпозиумах, фестивалях, у них масса друзей, рассеянных по всему свету.

Творчество Элли расширилось и в жанровом плане, она обратилась к прозе и к драме, издала роман для детей «Брат, сестра и черная репа», за который удостоена Государственной премии, ее детская пьеса с успехом идет в Никозии, в Афинах, в болгарском театре имени Людмилы Живковой. И романом и пьесой она хотела доказать, что политическая литература для детей не только возможна, но и нужна.

Элли мечтает о профессиональном театре для детей. А пока усердно посещает спектакли тех самодеятельных или полупрофессиональных коллективов, которые стали появляться на Кипре.

Я был на одном таком спектакле в новостроечном поселке, километрах в тридцати от Лимасола. Только что сложившаяся крошечная гастрольная труппа давала премьерный спектакль для школьников. Два оборванца с ярко размалеванными лицами, в шутейном одеянии и немислимых башмаках неумоимо орали друг на друга, пытаясь втемнить свое имя в пустую башку собеседника. «Я — Захариас! — надрывался один, тыкая себя пальцем в грудь. «Я — Пелерато!» — рычал второй. «Захариас!» — срывал голос первый. «Пелерато!» — из-

немогал второй. А дети, милые, смуглые, черноголовые дети покатывались от смеха, чуть не падали со стульев и трогательно прижимали кулачки к груди, чтобы не выпрыгнуло сердце. Удивлял их восторг, не соответствующий бедному зрелищу. Я заметил, что у Элли подозрительно повлажнели глаза.

— Это все дети беженцев, — сказала она.

Селение, в котором мы находились, построено для бездомных Фамагусты. В зале сидели дети войны, многие из которых — кто смутно, а кто навек отчетливо — запомнили уход с родной земли под раскаленным и равнодушным солнцем. Я с невольной симпатией, даже уважением глянул на Захариаса и Пелерато, не жалевших своих слабых сил для радости опаленных войной детей.

— Понимаете, как нам нужен детский театр, — говорила Элли по дороге домой, — если даже такое неискusstvenное зрелище вызывает бурю восторга... Нет ничего печальнее опечаленных детей.

Я обмолвился словом «домой». Впервые за мою долгую жизнь чужое обиталище стало для меня вторым домом. И сейчас, в морозном Подмоскowie, я что ни день проделываю мысленно путь, которым мы впервые попали в дом Пеонидисов, а потом столько раз возвращались с моря, предвкушая обед с непременно новым загадочным блюдом. Путь этот начинается с набережной, от ветхого летнего кафе, где редко-редко увидишь посетителя, потягивающего из горлышка бутылки зеленую «Фанту», но зато бойко идет торговля свежей, только что пойманной рыбой; скользких рыбин кидает на весы и заворачивает в бумагу единственной рукой хозяин кафе, старый веселый рыбак-браконьер, которому вторую руку оторвало динамитом; тенистой улицей, душно припахивающей зверем — тут находится маленький зоопарк с вольно разгуливающим по территории слоном, но сколько мы тут ни ходили, слона-то не приметили, — подымаешься к нарядной, залитой солнцем площади, огибаешь ее и после двух поворотов оказываешься на тишайшей улочке, которой так к лицу название Парадайз — Райская, увитой бугенвиллиями, поросшей фламбойнами и сладко припахивающей лимонной цедрой. Здесь и стоит в кустарниковой поросли двухэтажный домик Пеонидисов. Как покойно, хорошо и вместе значительно было наше пребывание там, среди картин, гравюр, книг и комнатных растений, в ежедневном общении с добрыми, глубокими людьми, под мазурки, полонезы и вальсы Шопе-

на, то и дело притягивающие к роялю славную девушку Мелину.

Были мы и в деревенской избе Пеонидисов — солидном, обжитом крестьянском жилище с закопченным очагом, с овчинами на лавках, с тяжелым деревянным столом, на котором — оплетенные бутылки отличного местного вина, козий сыр, копченая свинина, овощи, взорванные спелостью гранаты и горы розового твердого крупного винограда. Сюда без зова, по-соседски заходили односельчане наших хозяев, нерослые, кряжистые люди, с большими, теплыми, спокойными руками землепашцев. Чувствовалось, что у них была некая непроговариваемая вслух надобность в Паносе. Они плотно заполняли широким крестцом грубо сколоченные кресла, принимали в руку глиняную кружицу с вином, которую за долгое сидение редко осушали до дна, и как-то умно, сосредоточенно молчали, предоставляя хозяину самому догадаться, зачем они пожаловали. Панос был свой, но вместе и городской, сведомый во всех делах лучше любой газеты. И Панос понимал, чего от него ждут, и как-то между делом, двумя-тремя словами, жестом, взглядом, улыбкой — то ироничной, то горьковатой, то веселой — давал людям нужное им. Это не было деревенским каляканьем: мужики набирались у Паноса ума-разума, а к Элли шла от них жизненная сила поэзии...

Я давно, очень давно знаком с Элли и Паносом. Мы столько раз встречались в Москве: и на кинофестивале, и в больших, пестрых компаниях, когда много шума, задиристых разговоров, и в домашней обстановке, где разговоры тише и серьезнее. Однажды Панос ждал меня с бутылкой коньяка в аэропорту Никозии, ныне мертвом, я летел в Дамаск, а здесь была часовая остановка. И вот тогда, наверное, в судорожной краткости встречи у меня мелькнуло чувство, что нас связывает нечто куда большее, чем поверхностное дружество. Но надо было побывать в Лимасоле, чтобы узнать настоящую цену нашим отношениям.

Сейчас, когда мировая ситуация так напряженна и каждое слово политиков взрывоопасно, мне особенно тревожно за моих друзей, за их милый дом на улице Парадайз и за их большой дом, тот, что посреди моря, очертаньями напоминающий дубовый лист.

КуличОк игумен



Как тихо, да вовсе не слышно погружает весла в воду послушник Анфим, а толчок дает сильный и плавный, но не скрипнут уключины, не булькнет под веселыми гребками. Вот что значит помор, сызмальства сроднившийся с морем, реками и озерами и любой снастью, будь то весло, шест либо парус. А прекрасна такая вот глубокая священная тишина, когда ничто не мешает мысли устремляться к житейской ли заботе, или к бесконечным тайнам мироздания, или к великой изначальной творческой силе, через озарение человеческого разума благоустраивающей земную жизнь.

— Святый отче! — раздался с берега до безобразия громкий надсадный крик инокa Гervасия. — Отец игумен!.. Посланец государев прибыл, велел тебя сыскать!..

— Не дери горло, — без всякого усилия, но удивительно звучно и ясно отозвался с озера игумен Филипп — такой емкой гортанью снабдила его природа, что раскатывалось в любом пространстве тихо сказанное им слово. — Поблуди себя в скромности.

— Мне отец Паисий наказал мигом доложить, а я никак не сыщу тебя, святой отче! — оправдывался Гervасий.



— Подождет царский посол. Он сюда не один день добирался, может еще малость потерпеть.

Сидящий на веслах послушник Анфим обернулся, ожидая распоряжений игумена; его широкое лицо с заячьей губой и страшным шрамом от удара медвежьей лапы, кривясь в тягостном напряжении мысли — плыть ли дальше или заворачивать к берегу, — стало еще ужаснее: в нем появилось одновременно что-то детское и безумное. Братия не просто не любила его, а откровенно брезговала — не хотела делить с ним келью, сидеть рядом за столом, быть напарником в работе. Ох, до чего ж не по-христиански это было, а преодолеть жестокое обращение других чернецов со своим собратом не сумел столь преуспевающий во всех делах тихий и непреклонный сердцем игумен Филипп. Тогда он взял его к себе в услужение. Анфим возил настоятеля и на лодке, и на лошадях, подавал пищу за трапезой, и Филипп охотно принимал из чистых рук послушника тарелку с ячневой кашей или тертой редькой — в отличие от остальной братии, коей назначил отменный стол, игумен питался только дарами земли и в рот не брал убоины, даже рыбы. Он не только не испытывал отвращения к послушнику, а исполнялся радости, видя, как старателен и радетелен изувеченный и природой и зверем, но добрый сердцем человек. Знал игумен, что и Анфим предан ему до последней кровинки.

— Давай к берегу, Анфим, — сказал он, подавляя вздох. — Хочу вон на ту пичужку глянуть.

И Анфим своим цепким охотничьим глазом сразу ухватил, куда надобно игумену, который вдали острее различал, нежели вблизи. На мыске, вклинившемся в озеро, пушилась молодая раkitка, а на ней сидела птичка, носатенькая, куличку подобна, но сроду не встречавшаяся на островах. Послушник Анфим знал: настоятель хочет, чтобы на Соловецких островах, как в божьем раю, обитали все птицы и звери, какие только водятся на земле. Ну, может, не совсем так, слышал Анфим, что в жарких странах такое зверье бродит, что не приведи господи — больше собора, возведенного настоятелем во имя преображения господня, но эти чудища, слава господу богу, стужи не выносят. Им, стало быть, тут делать нечего, соберет игумен тех зверей, что на святой Руси водятся. И ведь все получается по Филипповой задумке: сколько водяной и болотной дичи объявилось, сколько зверья в лесу, отродясь здесь не обитавшего, и деревья,

и кусты, и цветы, и злаки, в их пространствах неведомые, цветут и в семя, и в плод идут. Недаром же отец Паисий, зарящийся на место игумена, нашептывал братии, что не от светлых сил такая власть над природой Филиппу дадена, что тут ворожкой отдает. Как не отсох язык у Паисия, выходит, сомневается он во всемогуществе господя, считая, что лишь от князя тьмы великие чудеса протекают? Чего он все о соблазне вздыхает? Какой тут соблазн? Воздělывай свой вертоград, приумножай его дары, тому священное писание учит. Послушник Анфим не был так дик и темен, как думала о нем монастырская братия, но слишком прост сердцем, чтоб донести игумену Филиппу о наветах Паисия.

Они подплыли к мыску. На ветке ракиты сидела, вертя головкой, носатенькая пичуга с желтым воздухом в надбровьях.

— Ведаешь ли, что за птичка? — спросил послушника игумен.

— По клюву — куличок, но по перу такого не видал.

— Его игуменом кличут, — улыбнулся Филипп. — Сибирячок к нам сроду не залетал.

— Ить не пугается! — восхитился Анфим.

— То и дорого, — с удовольствием произнес настоятель. — Значит, ведает свою безопасность. Есть ли у него самочка? — озаботился он. — Дай бог, чтоб имелась. Живи у нас, плодись и размножайся, птичка божья, корвайка-игумен!

Куличок посмотрел на преподобного Филиппа черными бусинками глаз, переложил головку справа налево, потом слева направо, будто вслушиваясь в его слова и сиюсь постигнуть их своим малым разумом.

Отдав внимание птичке, Филипп вспомнил о государевом посланце и приказал плыть к монастырю. Анфим с умилением, близким к слезам, смотрел на своего духовного вожа, отчего изуродованное лицо его перекорежилось страшно. Когда Анфим был ровен или сумрачен, его черты обретали жутковатую значительность, как у битого в сражениях воина, а узкие, ночные глаза глядели таинственно и сурово, но стоило послушнику улыбнуться, испытать радость или умиление, как заячья губа вздергивалась, обнажая клюквенную десну, нос уползал в сторону — за натяжением разорванной от глазницы щеки, — и Анфим глядел придурком, отвратительным шутком.

«Милый бедный человек, — шептала душа Филип-

па, — на кого ж я тебя оставлю?.. На кого оставлю я обитель, коей отдал все свои силы?..» Филипп боялся признаться себе самому, как невысоко стоят в его мнении те, чьи души он пас. Были среди иноков ревнивые к славе и богатству монастыря, среди них первый — отец Паисий, но владели ими лишь честолюбие и алчность: ни одному не могло пасть в голову полюбопытствовать о пичужке или иной мелкой твари. Они не постигали надежды Филиппа на слияние монастырского, то бишь человеческого, бытия с миром природы и даже сочли бы бесовской подобную мысль. Куда невиннее остальная бесхитростная и туповатая братия, что почитала игумена за изобильное и вкусное брашно, какого нет ни в каком другом монастыре, хоть всю Русь обойди. За хлеб рассыпчатый, — подобного и государю к столу не подают, — за квасок шипучий, за щи наваристые, аж уполовник торчмя стоит, прощали они настоятелю и строгость, и требовательность, и даже труд до седьмого пота. Но видеть в них сподвижников, даже призвав на помощь всю снисходительность и жалость к слабой человеческой сути, Филипп не мог. Уж если начистоту, то единственно близким ему человеком выходил этот страхолудный и добросердечный помор. Каково-то ему придется без охраняющей руки настоятеля?..

Филипп понимал, что царевы посланцы могли прийти лишь с одной целью — везти его в Москву, к государю. А вот за какой надобностью — ума не приложишь. Добра он от встречи не ждал, но хотелось верить, что отъезд его не навсегда, что он еще вернется в Соловецкую обитель.

Государь не жаловал старый, хоть и не больно знатный род Колычевых. Прежде были Колычевы и вовсе не заметны, покуда не примкнули к заговору Андрея Старицкого. Филипп до сих пор не ведал, был ли то истинный заговор, злоумышление против малолетнего государя с намерением возвести на престол князя Андрея как старшего Рюриковича (темен закон о престолонаследии на Руси), или заговором посчиталось недовольство обиженного засилием Глинских (мать Ивана, регентша Елена, была урожденная Глинская) старого боярства. Иван Васильевич в молодые годы, в сиротстве своем, немало натерпелся от чванливых бояр-воспитателей и возненавидел их люто, без прощения. И вот тогда при крамоле, то ли истинной, то ли привидевшейся воспаленному воображению царя, полетели головы Колычевых. А он,

хоть и невиновен был перед государем ни делом, ни умыслом, ни сном, ни духом, бежал из Москвы, гонимый смертным страхом, все дальше и дальше на север, пока не достиг края Русской земли, но и тут не остановился, а на утлой лодчонке какого-то помора достиг Соловецких островов. Как добрались они на жалкой скорлупке по бурным водам в такую даль, умом не постигнуть. Но тогда впервые мелькнуло у молодого Федора Колычева (такое мирское имя Филиппа), что жизнь сохранена ему не зря. Вскоре дошли слухи, что царь угомонился, что иные, никуда не бежавшие Колычевы даже в честь попали, но беглец и не подумал о возвращении. Теперь не страх им правил, он уже понял, что длинная рука царя играючи достанет тебя и в Соловках, и в любом потайном, дальнем уголке Русской земли. К тому же страх, унизив его душу, сделал ее сильнее себя. Он отрекся от мира, от всей земной сласти — вина и женской ласки, которую успел вкусить, — и принял постриг. Еще будучи простым иноком, взял он большую силу в монастыре, старый игумен никакого дела без его совета не начинал и не решал. И так ему полюбили все здешнее, так опротивел брошенный мир с его ядовито-сладкой скверной, злобой и жестокостью, что усомнился он в собственной трусости, кинувшей его в бега, окончательно уверовал в предопределенность своего пути.

Он безраздельно отдался служению этому месту, которого не отделял от Руси. Филипп считал, что, подобно другим русским монастырям, поставленным вокруг столицы и выдвинутым к дальним рубежам стремительно расширяющегося во все концы государства, Соловецкая область когда-нибудь будет крепостью. Морской крепостью, охраняющей северные пределы Руси от иноземцев, особливо от дерзких на морях англичан. И думал он по завершении божьего дела — возведения каменных церквей, трапезной и прочих строений, для монастырского обихода надобных, — совершить важнейшее мирское дело: обнести кинию мощной стеной с бойницами и сторожевыми башнями, чтоб сделать ее неприступной, способной выдержать любую осаду, истощить врага и одолеть. Конечно, для этого одних стен мало, пушки нужны, боевой припас, оружие, но то уже — забота государева. Хватило бы жизни на устроение кремля. Он уже вел разговор с молодым трудником Трифоном, недавно появившимся в монастыре, тот похвалялся соорудить и стены, и башни из местного камня без крепезного материала,

без раствора, чтоб держались одной тяжестью глыб. И, попытав его со всех сторон, раскинувши собственным умом и проверив на игрушечной крепостце, которую соорудили сообща Трифон с Анфимом, убедился Филипп в смелой правоте монастырского трудника. А происходил Трифон из простых крестьян и сроду не бывал в науке у мастеров каменного строения. Подобные озаренные, проникновенные люди без грамоты и знания встречаются только на Руси.

Филипп велел Трифону искать камень, а сам поспешил закончить ранее начатые дела, чтобы освободить руки для крепостного строительства. Филипп не был ни властолюбив, ни честолюбив, если и держал монахов в большой строгости, то не ради утверждения своего верховенства, он знал, как слаба человеческая природа и что под черной смиренной рясой кипят порой страсти и мирянам неведомые, нужны крепкие подпорки, чтобы не рухнуло человечье здание от распирающей силы вождений. Одною строгостью тут не возьмешь, лишь загонишь недуг вглубь, но большие цели, потная и умная работа прямят хребет. Он не спускал лености, небрежения заботами обители, твердо веря, что лишь так бесштаный сброд, скрывавший под оболочкой святости отнюдь не перлы добродетели, станет христовым воинством, ибо неминуемо настанет для Соловков час бранного испытания. И, как дети сердца Сергия Радонежского, иноки Пересвет и Ослябя, герои Куликова поля, явят бесстрашие ратного духа монахи-воины, выпестованные Соловецкой обителью. Но скажи Филиппу, что есть другой иеромонах, который лучше него устроит Соловки, без боли пошел бы Филипп к нему под руку, чтобы в любом чине продолжать свою службу. Гордыня никогда не распирала его; даже выношем, живым и бойким, гораздым и сабелькой помахать, и на кулачках подрасться, и медку пригубить, и за крестьянскими девками приударить, не стремился он верховодить, но и не уклонялся, если в молодом задоре его выталкивали вперед как предводителя. Но лишь когда вошел в эту землю, поменял нарядный кафтан и шапку с собольей опушкой на рясу и скуфью, определилась окончательно его душа — твердая, неуклонная, скромная и до дна некорыстная.

И все-таки на мгновение дрогнуло человеческое в человеке — как шилом, ткнула в сердце весть о прибытии посланцев государевых. Больно, нестерпимо больно покинуть соловецкую землю. Лишь это было важно, об осталь-

ном думалось рассеянно. Неужто опять пошло гонение на Колычевых и царь вспомнил о беглеце? Пустое это, виделись они с царем Иваном на Стоглавом соборе и даже сокровеннейшую беседу имели. Доверяет ему самодержец. К тому же Колычевы ныне в силе. Даже в опрочине, лютой царской придумке, расколовшей Русь надвое, срамотится потерявший совесть боярин Колычев, а другой Колычев в думе сидит — хоть не близкий, а все ж родич, и на иных видных местах Колычевы. И тут будто выхаркнулась из души короткая слабость, сказал себе игумен Филипп: будь что будет... И обрел спокойствие.

Перед государевыми посланцами предстал старец со смиренным взором и ровно дышащей грудью, словно не царское повеление доставили ему через пол-Руси, а весточку с солеварни. Меж тем Филипп тоже испытал удивление, которое сумел скрыть, что царским посланцем оказался архимандрит — лицо, выше его стоящее в церковной иерархии. Отдавая должное сану, Филипп перво-наперво испросил благословения. Прибыл же архимандрит в сопровождении немалой свиты: игумена, двух чернецов, боярского сына и четырех воинов. На судне, доставившем посланцев, даже парусов не стали убирать, чтобы не мешкать с отъездом, столь нетерпеливо ожидал Филиппа великий государь. И по тому, как излагал все это архимандрит, с каким почтением обращался к низестоящему, понял настоятель Соловецкой кинии смутившимся и занывшим сердцем, для какой нужды понадобился он Грозному царю. Понял, испугался своей угадки, отринул ее прочь и, зажав в груди стенание, принял как истину. По оставлении митрополии старым больным Арсением нужно было найти ему преемника — не может жить тело без головы. Но неужели до того оскудела достойными русская православная церковь, что понадобилось гнать послов в соловецкую даль, чтобы оттуда привезти митрополита?

Вопреки строжайшему наказу государя немедля трогаться в обратный путь, Филипп попросил малой отсрочки: как мог он бросить обитель, не дав распоряжений келарю Паисию? Архимандрит притемнился, столкнувшись с неожиданным противодействием цареву слову, и, верно, не взял бы во внимание доводов Филиппа, но тут с кухни повеяло дивным благовонием дошедшего в котлах, на сковородках и противнях брашна. А сухощавый и востролицый архимандрит, видать, грешил чревоугодием — скупые телом, костяные люди оказываются отмен-

ными едоками и, тонко оценивая каждое блюдо и подливу, на диво им набивают свой плоский живот.

— Уж больно ты красноречив, отец игумен, — молвил посланец. — Может, скажем, что ветра не было?

С какой легкостью лгут церковники, к тому же из высших! Чтоб нажраться, архимандрит без малейших угрызений готов соврать царю-батюшке. Чего ж тогда ждать от простых монахов?

— Я на себя вину приму, — сказал Филипп. — Повинюсь царю, что не мог выехать, покуда с делами не управился.

— Все одно на меня гнев падет, — алчно раздувая ноздри, возразил архимандрит.

Боярский сын, игумен и оба чернеца заметно поволновались — уж больно не хотелось им без передыху возвращаться к вяленой рыбе, сухим плесневелым сухарям и тухлой воде.

— Не до того государю будет, чтоб на посланца гневаться, — загадочно и сильно сказал Филипп, и почему-то архимандрит сразу поверил ему и велел отложить отъезд до завтрашнего утра.

Филипп испросил у него прощения, что не будет самолично потчевать высокого гостя и даже не выйдет вечера, иначе не управится ему с многочисленными делами. Архимандрит с видимым удовольствием отпустил хозяина: будучи наслышан о его аскетических привычках, он вовсе не хотел иметь такого сотрапезника, который маячил бы за столом немым укором. Уж коли пошел на опасность прогневать царя провололочкой, так надо привольно отвести душу и потешить заскучавшую в долгом голодном пути плоть.

Гости вошли в трапезную, державшуюся изнутри на одном центральном опорном столбе. Редко бывало в зодческом зиждении, чтобы столь обширное помещение доверялось одной-единственной опоре. Игумен Филипп сам произвел расчет сил и убедил оробевших мастеров ставить здание по его плану. Трапезная еще не была доведена до полного завершения ни внутри, ни снаружи, во уже служила своему назначению, а массивный столб, подобный стволу пятисотлетнего дуба или библейскому кедру ливанскому, держал на себе тяжесть перекрытия.

Филипп был худ и невысок ростом, но привычка держать стан прямо, напрягая и растягивая хребтину, а голове вскинутой придавала ему росту, и крупный отец

Паисий казался ниже, тем более что гнулся и снизу вверх заглядывал игумену в лицо.

— Не знаю, вернусь ли назад, или другое место мне уготовано. Но твердо уповаю, что рано или поздно буду здесь вновь. Хочу лечь в соловецкую землю, ни в какую иную. Ты будешь тут за меня, Паисий. Продолжай и завершай начатое. Не мудрствуй, братию держи крепко, но не старайся превзойти Меня ни строгостью, ни тем паче баловством. Соблюдай все, как я оставлю. О последующем получишь распоряжения. И помни, келарь, я тебя достану, кем бы ни сулил мне стать господь. А стать я могу и высоко и низко, но Соловецкая земля — мое детище. Основали ее Савватий, Герман и Зосима, но в нынешний вид привел я. — Филипп как никогда ясно ощущал, что говорит с человеком, умом не обделенным, хитрым, скрытным и неверным, потому и обращал к нему слова, лишенные смирения, исполненные гордыни и угрозы, но лишь такие, чуждые Филипповой сути слова могли проникнуть в заросшее сердце стоящего перед ним человека. Станет ли Филипп митрополитом или отобьется от незаслуженной чести, из отдаления ему все равно будет трудно, почти невозможно следить за Паисием. Такого, как Паисий, нельзя дальше келаря пускать, здесь он на месте, ибо, как Марфа, печется о мнозем. Но души человечьи он упустит, да и не просто упустит, а растлит. Править будет мирскими уловками: расплодит любимчиков и доносителей, других отвергнет, даст простор сплетням, наветам, клевете. И улетучится нынешний светлый дух, осеняющий дружно работающих, не ведающих праздности иноков. «Не допущу», — сказал себе Филипп с ледяным гневом, какого не знал за собой. Но Паисий не прочел нового чувства на спокойно-жестком лице. Лишь для него одного было такое лицо у игумена. Даже укоряя нерадивых, сохранял он кротость взгляда. Не любит его игумен, а за что, спрашивается?..

До Паисия, конечно, дошло некое дуновение, по какой причине явились цареvy посланцы. Архимандрит и его свита держали язык за зубами, может, кто из морской команды сболтнул монастырским, коих посылали на судно с запасами еды и питья? Нешто могут они знать?.. Могут. Монастырь поболе парусного суденышка, а попробуй тут что в тайне сохранить, быстрее северного ветра любой слух разносится.

При всем своем цепком практическом уме Паисий не постигал явлений и обстоятельств, если они выходили за

привычные ему пределы. Он не мог взять в толк, чтобы суровый, праведный — все так, сильно преданный обители — все так, но до старости невысоко поднявшийся монах мог сразу шагнуть на самое верхнее место в русской церкви — митрополит всея Руси, это ж подумать страшно!.. Природознавец, выдумщик, игумен с душой усердного трудника может держать в повиновении темных чернецов, собравшихся в соловецкой глухомани со всех концов земли, но навряд ли справится с путным монастырем, где ему ни в святости, ни в знании церковных книг не уступят, а тут — все божье здание!.. В Соловках народ особый — зачем хорошим, светлым людям в такую глушь забираться? — тут находит пристанище и сотворивший какое лихо мирянин, Филипп всех привлекает, ему рабочие руки надобны. Таких держать в узде — наука не больно хитрая, отец Паисий не хуже бы справился, но стать над князьями церкви, над самим архиепископом Новгородским — подобного не вмещает разум. Нет, не видел отец Паисий игумена Филиппа в сем сане. Что-то тут не то. Съездит в Москву, поклонится царю-батюшке и отцам церкви, может, о чем и выскажет свое мнение — чтим в духовенстве соловецкий игумен, сам царь с ним тайную беседу имел во дни Стоглавого собора, о чем — неведомо, да и назад покатит. Глядишь, монастырю за то вотчинку-другую пожертвуют, и на том спасибо, кормильцы!..

Но может и другое случиться: оставит его царь при себе духовником либо возведут в архимандриты и в один из великих московских монастырей настоятелем определят. Тогда, глядишь, и свершится мечта отца Паисия занять место Филиппа в Соловецкой кинии. Филипп сам на него укажет как на своего преемника. Укажет ли, зло усомнился Паисий. Не любит его игумен, хоть и доверяет широко. Уверен в его честности... или жадности к монастырскому добру. Вроде бы до того прост сердцем, помышлениями, как летний день, ясен, а видит насквозь человека, видит всю подноготную. Прячет свой главный ум Филипп, только в прямых делах являет: в строительных ухищрениях, разведении всякой живности, устройении края, а главный этот ум у него — па человека. Иначе не смел бы он не любить столь ревностного к службе, столь преданного обители, исполнительного, честного, ни себе, ни другим поблажек не дающего келаря. А коли он может до скрытой мути проникать, значит, и сам плохой человек.

Все эти тревожные мысли не помешали Паисию внимательнейше выслушать наставления игумена, вникнуть в замыслы осуществляемых строений и тех, что полагалось заложить в недалеком будущем; дотошность Филиппа заставляла входить в каждую мелочь: каким крепезному раствору надлежит быть, и кирпичной кладке, и штукатурке, чтоб не осыпалась.

— Кажись, мастера сами сведомы, — не выдержав введливости игумена, бормотнул Паисий.

— Мастера-то сведомы и как по совести работать, и как надуть дураков, — жестко сказал Филипп. — Заказчик должен быть не хуже их сведом. Вот в этих свитках все сказано, что до воздвижения храмов касаемо, а здесь — о палатах, здесь — о водных сооружениях, здесь — о содержании сторожевого огня, соляных варках, рыбном промысле... Ладно, сам разберешься, тут ничего не упущено. Писал я это на случай болезни тяжкой либо смерти. Об отъезде и не помышлял. Сверяйся с моими записями, Паисий, не полагайся на память да на собственную смекалку, проверяй себя, не то навлечешь мой гнев, а во сто крат — гнев божий.

Паисий смиренно поклонился.

— Ты все понял? — деловито спросил Филипп, и тут голос его изменился: проникновенная доброта влилась в природную звучность и вдруг обернулась свирепой угрозой. — Анфима тебе поручаю. Гляди в оба, чернец! Коли не досмотришь, до худого допустишь, я тебя отовсюду достану!

— Не сомневайтесь, владыко, — пробормотал оробевший Паисий. — Благослови, святой отче!..

Филипп благословил келаря, вручил ему связку особо потаенных ключей и удалился в свою келью. Остаток ночи провел в молитве и слезах. Он молил господу пронести чашу мимо, он оплакивал свое соловецкое счастье, которое, чуял это глубиной души, кончилось безвозвратно. Зачем же тогда молился он господу богу? На это затруднился бы ответить и сам Филипп, ибо он не верил в бога, который смотрел на него, чуть озаряемый колеблющимся розовым светом лампадки, в бога, которому служил в храме, в бога священного писания. Владея древними языками — он изучил их своей мочью в Соловецкой обители, — Филипп прочел не счесть духовных, философских, исторических сочинений, распахнувших ему разум, сызмальства склонный к свободному мышлению. И этим не отягощенным предвзятостями разумом он от-

верг, что великая священная книга возникла в полудиком кочевом народе, пасшем коз в горячей аравийской пустыне, по следу живых воспоминаний истинных событий. Да нет же, книга создавалась в иные времена, ином месте, многими людьми, владеющими дивным даром безудержной фантазии.

Оттого она так противоречива, так темна, а местами до стыда нелепа при всей своей одухотворенности, эта странная книга, что творилась не воодушевлением даже, а экстазом, не ведающим ни разума, ни логики. В Ветхом завете нельзя искать ни свидетельств, ни истины, ни даже прямых символов, это вопли, рвущиеся из человеческого сердца, страстно ищущего опоры в устрашающей бесприютности мироздания. И много там повязанного со своим временем и местом, ныне вовсе не прочитываемого. Новый завет историчнее, хотя уступает Ветхому в силе песенного слова. Филипп не сомневался в существовании еврейского пророка Иисуса, которого последователи (а может, и он сам) выдавали за сына божия. Подобными пророками созданы и другие религии. Мохаммедом — ислам, хоть он не ходил в сыновьях аллаха, Буддой — буддизм, но этот опирался только на себя самого. Иисус стал земным воплощением бога (и в индуизме боги многолики), он приблизился к людям, это сильно укрепило молодую религию молодого мира, шедшего на смену одряхлевшему греко-римскому с многочисленными, вконец утратившими власть над человеческим воображением, дряхлыми богами. Родившись среди иудеев, используя их веру в приход мессии-избавителя, новая религия не стала еврейской, напротив, была яростно гонима почитателями таинственного и злого Ягве. В Иисусе Христе, искупившем на кресте грехи человеческие и взятом на небо своим божественным отцом, человечество получило самую прекрасную и трогательную из всех легенд; омытая кровью первых мучеников христианства, легенда стала религией...

Едва обретя сознание, малолетний Федор (будущий Филипп) получил и бога. Он принял его столь же просто и естественно, как дар дыхания, и всех пяти чувств, и любовь родителей. Немного притуманилась его простая, детская вера, когда он узнал, что бог как бы расщеплен на три образа, из коих один был явлен людям, но остается единым богом... Этой условности никак не мог постичь логический ум младого Колычева, но поскольку в те годы духовной жизни он предпочитал соколиную

охоту, тугой лук, пищаль, меч, добрый медок и густое вино, а также голубые или карие очи под соболиными бровями, то и не мучил себя понапрасну трудными вопросами, о которых сведущие люди давно договорились. Ан не договорились, как позже оказалось, и святую троицу понимали по-разному, иные вовсе видели в ней нарушение единобожия.

Лишь уединившись в Соловецком монастыре, Филипп оказался как бы с глазу на глаз с богом и глубоко задумался о своей вере. Войдя в близкое, родственное общение с природой, порой помогая ей, порой преобразуя, но больше подчиняясь высшей, нежели человечья, мудрой силе, он убедился, что все происходящее в естественном мире воды и земли, лесов, полей, недр, туч и облаков, смен времен года, умирания и пробуждения жизни вовсе не нуждается для своего непрерывного, могучего и безошибочного действия в господе боге. И всякое обращение к богу, касавшееся не только дождя и ведра, но и помощи болящему, спасения гибнущего, было столь же бессильно, как языческое поклонение идолам. Не мог господь оставаться столь равнодушным к творению рук своих, значит, пуст небесный престол и не отражался в водах многих, накрывавших некогда земную твердь, ничей величавый лик.

И при всем том у Филиппа была вера и был бог. Только назывался он Совестью. Поступать по-божески значило для него поступать по совести, служить богу — служить по совести месту и людям, ему доверенным, способствовать украшению земли и общей пользе; жить в страхе божьем — жить так, чтобы не мог себя упрекнуть в несправедливости, неправде, корысти и себялюбии. Он не считал свою совесть чем-то отдельным, обособленным, только ему принадлежащим. Нет, его совесть — это частица некой вселенской совести, разлитой по всему мирозданию, омывающей всех человеков, но не каждому проникающей внутрь. Как не всем дано равно слышать творящуюся в мире музыку — песни ветра, шум дубрав, нежный шелест трав, голоса птиц, звон летающих насекомых, стрекот прячущихся в траве, обонять запахи — снега — зимой, цветущей жизни — весной, зрелости всего прущего из земли — летом, увядания — осенью, так происходит и с мировой совестью. Она во всеобщем владении, не нужно называть ее словами, определять ее признаки и существо, не нужно мудрствовать лукаво, а довериться ей, слиться с ней душою, и тогда ты несешь

внутри себя самого мерило всех вещей, и явлений, и собственных помыслов и поступков. И он любил, как иные любят бога, великий нравственный закон — сокровище души своей. Но знал Филипп, что не поймут люди всеобщей Совести, а в собственной не найдут опоры. Что ж, назовем богом эту отвлеченную от личности отдельного человека совесть, поставим символ вместо прямого понятия. Есть неодолимый ущерб в человеческой природе: человеку нужна внешняя, зримая подпорка. Совесть без образа неуловима, хотя сам Филипп ощущал ее в себе материально, как стержень, штырь, не дающий согнуться ни телу, ни душе, но это уж его свойство, а человека согревает на ледяном ветру жизни лишь вера во что-то, лежащее вне его и обладающее отчетливым образом. Церковь этим пользуется, и он, Филипп, пользуется, ибо не является совесть ни уздой, ни приманкой для человека, ему подавай, за что можно ухватиться рукой или хоть оком.

Молясь, игумен Филипп взывал не к молодому иудею с тонким носом, не к его безликому отцу, не к третьей загадочной фигуре, которая в Новом завете птичкой-голубем обернулась, но к своей совести, чтобы не изменяла, дарила силы и терпение, чтоб вразумляла в хитро-сплетениях мира сего, не давала пасть духом, поддаться гневу и несправедливости. Филипп молитвами наставлял себя твердости, правде, мужеству, ибо не изжил стыда за свой юный страх, кинувший его в бегство. Свой обман он чинил без угрызений: для его молитвы ни к чему кресты класть да об пол перед образом бухаться, в тишине сердца можно ее творить. Но зорек, ох, зорек монастырский глаз, все слышит огромное монастырское ухо: не пластаешься ниц, не пустословишь молитвенным бормотаньем — враз в отступничестве обвинят, или в ереси, или, того хуже, в безбожии. И тогда конец всему смыслу его жизни.

Когда Филипп на другое утро прощался с обителем, лицо его было спокойно до отчужденности. И никто б не догадался о тяжком ночном бдении, о слезах и молитвах игумена, если б монастырь по сплетням и быстроте распространения оных хоть немного уступал новгородскому селцу. Но, глядя на Филиппа, трудно было поверить в его слабость, он, правда, казался осунувшимся, под глазами залегли тени, но стан держал все так же прямо, голову высоко, а в темных глазах была не печаль, не смирение, а что-то остерегающее: мол, смотрите, у меня!..

Братии он сказал: «Государь в Москву требует, негоже гадать о государевых намерениях. Все в свой срок объявится. Вам наказываю жить по уставу и трудиться не покладая рук во славу божию». Отслужив молебен, игумен благословил отдельно не только каждого инока, послушника, но и трудника, и наемного работника, после чего в сопровождении одного лишь отца Паисия отправился на судно, куда уже отбыли царские посланники...

День был ясный, чистый, по верхушкам деревьев тянул ветерок, а на земле его дуновение не ощущалось. Но верховой этот ветерок хорошо заполнил паруса и погнал суденышко по некрутой волне, гулко бившей полднище. Филипп оглянулся на золотой купол Преображенской соборной церкви, долго смотрел на него, слезя глаза его блеском, перевел взгляд на другие строения, проследил каждое дерево, кустик, камень — от монастыря до причала — и тут увидел бегущего по берегу человека в задранной по колено рясе. Иногда человек выпускал край рясы и махал рукой вослед удаляющемуся паруснику, но снова подхватывал мешающую ему полу и бежал, оступаясь на торчащих из земли каменюках, продираясь сквозь колючий низкорослый кустарник, иной раз падал, но тут же вскакивал и устремлялся дальше.

— Бедный, бедный человек! — прошептал Филипп, узнав послушника Анфима. — Вот кто обо мне не раз вспомнит!..

Даже если отец Паисий не выронил из памяти вчерашний наказ, нешто станет он тратить время на убогого человека? От прямой обиды, может, и защитит, да не это нужно беззащитной душе страхолюдного Анфима. Тот привык жить в тепле Филипповой доброты, ох, студено, ох, люто ему теперь будет!.. Превозмогая качку, Филипп стал твердо в лодке и начертал в воздухе крест, благословив Анфима. Тот понял, с размаху пал на колени и лбом уткнулся в землю. Покуда Филипп мог его видеть, послушник не распрямился...

Волны скрыли Анфима. Посланцы ушли под палубу подкрепиться — отец Паисий не поспешил на дорожный припас. Филипп, пристроившийся на носу лодки, остался наедине с морем, чайками и своими мыслями. Медленно и любовно перебирал он годы, прожитые на Соловках. Здесь он узнал, как заселять леса, как засе-

лять воды, да не внутренние, но и свободные, бескрайние, омывающие сушу, как заиграли в прибрежных водах тюлени, нерпы, морские белки, столь редкие гости прежних лет! А до чего богато рыбой стало Белое море округ островов! Он положил предел глупой алчности, разрешил ловить лишь в положенные сроки и только крупноячеистой сетью, чтобы не губить молодь, и море закипело рыбой. А как голосисты стали молчаливые соловецкие весны! Только вот соловья не удалось приветить — уж больно нежен сладчайший певун. Каждая птичка — радость, даже обделенная серебряным горлышком. Он вспомнил о вчерашнем куличке-игумене, впервые пожаловавшем на Соловки, как ловко, стройно и доверчиво сидел он на молодой ракушке, глядя в оба черными бусинками глаз. И разрыдался...

Весь последующий долгий, изнурительный и безрадостный путь до материка царские посланцы объедались, блевали, затихали, отлеживались без сил с зелеными лицами и опрокинутыми, как у покойников глазами, затем приходили в ум, освежались кисленьким квасом и начинали сызнава. Филипп в их трапезах не участвовал и в укрытие не спускался даже на ночь, когда резко холодало и порой припускал тонкий частый дождик — уж больно там смердело. Он оставался снаружи, укрываясь жесткой дерюгой, приванивающей рыбой, что было далеко не так мерзко, как последствия чревоугодия, недаром причисленного к семи смертным грехам.

Много мыслей передумал Филипп и догадался, почему на нем остановился выбор Ивана. Русская церковь получала своего главу от царя, хотя считалось, что выбор делает духовенство, но это никого не удивляло, напротив, показалось бы ни с чем не сообразным, если б столь важное дело решалось не по воле государевой.

Был у Филиппа один загадочный разговор с царем Иваном во дни Стоглавого собора; загадочный и по предмету обсуждения, и, главное, по тому, что всем князьям церкви, людям великой учености и значения, царь предпочел скромного игумена запредельной Соловецкой кинии. И как проглянул царь, что слукавил Филипп, присоединив свой голос к решению Стоглавого собора писать в изображении святой троицы в нимбе с перекрестом, положенном Иисусу Христу, сидящего посредине ангела? Вопрос сей задал Собору сам царь-государь. Обосновал свой ответ Собор тем, что этот ангел протягивает руку к чаше — символу жертвы. Услышав пояснение, Иван Васильевич ничего не

сказал, только потупил черные пронзительные глаза и задышал тяжело, прерывисто, что было у него признаком гнева или начала болезненного припадка, когда он бился в судорогах, кидая пену с губ и не узнавая окружающих. Но ни вспышки гнева, ни припадка не последовало, и оробевшие церковники возблагодарили господа бога. Поздним вечером того же дня явился за Филиппом стрелец, грубо схватил его за рукав рясы и поволок из кельи. «Куда ты тащишь меня, воин?» — спросил Филипп, но ответа не дождался. Воин втолкнул его в темную келейку, где под образами сидел человек в скуфье; слабый свет лампы желтил высокий, будто вощенный, лоб с крутыми надбровными дугами и горбину хищного носа; Филипп узнал царя.

— Ты из Колычевых, — тоном утверждения, — не вопроса, произнес Иван. — Из каких же ты Колычевых, из тех, кто бунтует, или из тех, кто царскую руку лижет?

— Не из тех, не из других, — тихо ответил Филипп. — Я из тех, кто уходит в сторону.

— Бежал, значит?

— Бежал, государь. Был молод и жить хотел.

— А сейчас ты стар и жить не хочешь?

— Хочу, государь. Пуще прежнего. Ибо знаю теперь, для чего жизнь дана.

— Для чего?

— Для доброго, — сказал Филипп.

Из темных ям-глазниц сверкнула молния.

— Немногому же ты научился, чернец, — насмешливо проговорил царь. — Да ладно. Не о том речь. Скажи, почему не согласен с решением Собора о святой троице?

— Я присоединился к решению Собора, государь.

— Против воли. Не хитри со мной, Филипп!

— Сколь же ты зорек и проникновенен, государь, если не только углядел меня, малого, в толпе духовных, но и прочел мои сокровенные мысли! — уклоняясь от прямого ответа, Филипп не мог не восхититься сверхъестественной пронизательностью Ивана.

— Не юли! — яростно крикнул царь.

— Что есть перекрестие в нимбе? — подчеркивая неокрашенностью голоса общезвестность истины, начал Филипп: — Превосходство чести Христа над апостолами и святыми. Три ипостаси святыя троицы равночестны. Стало быть...

— Стало быть, — зло прервал Иван, — дурь и ко-

шунство был мой вопрос. А духовные и не заметили. Ну, хороши!.. А ты не играй со мной, чернец. Сам знаешь, о чем спрашиваю: который из трех Иисус?

— Не то тебя заботит, государь, — ровным голосом произнес Филипп. — Хочешь знать, который из трех бог-отец.

Иван отпрянул от Филиппа, голова его ушла в тень, свет позолотил руки с длинными крючковатыми пальцами.

— Что сказано в писании? «Одесную мя сидеть будешь». То Отец говорит Сыну. Посреди и выше других — бог-отец, справа от него — Христос.

— Ну а рука, протянутая к чаше?.. — жарко дыхнул Иван.

— Бог-отец указывает сыну на чашу, кою тому испить предстоит во искупление грехов человеческих.

— Ну, ну! — задыхался Иван. — Не умолкай, монах!..

— Преподобный Рублев, создавший непревзойденное изображение святыя троицы, взял образ византийский. И надо вовсе не ведать, сколь привержены иерархии и догме византийцы, чтобы полагать, будто они посадят бога-сына выше бога-отца.

— Не плети даром словес, — дрожа от возбуждения, проговорил Иван. — Прямо скажи: не сидеть Сыну выше Отца. Не сидеть! — крикнул он в исступлении и выдвинулся из подлампадного сумрака желтью зальсого лба, горбиной носа, острыми скулами. — Царь — помазанник божий. Он отец, и все — его дети. Не сидеть никому выше отца. Ишь, духовные, чего удумали — Отца принизить... выше царя сесть. Не выйдет!.. Изничтожу крамолу церковную, как крамолу боярскую. Ваше племя хитрое, коварное. Не забыл я аспида Сильвестра... Не прошу и вам Отца унижение. Чашу, чашу не мог разгадать!.. Поверил, что рука к ней тянется, ан указывает!.. Одесную и ниже сидящему Сыну указывает Отец, что испьет тот до последней капли чашу страданий... Да он и величественней сына, благолепнее... Но почему столь со Спасом рублевским схож? — спросил он с тоской.

— Не дал он лицезреть себя. Лишь в образе богочеловека на землю являлся. А с кем же быть схожим сыну, как не с отцом?! И должен изограф господу богу знакомые в сыне черты придать. Все образы святыя троицы, великий государь, меж собой схожи, они одно лицо в трех выражениях. Да не сомневайся ты боле, государь.

Дух святой от бога, а коли Христос посредине, стало быть, от него дух святой исходит. А это ж неправда!

— Истинно, истинно, Филипп! Дух святой — ошую бога-отца, ибо от него исходит. Говори еще, монах, ты не все сказал.

— Спас Рублева — не лик Христа, а символ бога во всех его ипостасях. В сыне провидим мы отца и веяние святого духа. Обратившись к святыя троице, государь, взгляни непредвзято и в среднем ангеле ты узришь отца, мягкого, бесконечно сострадательного...

— Замолчи, монах, ты все сказал!.. Не улещивай мя. Кому лучше знать, каким отцу быть надлежит, самодержцу или лисе монастырской?

Но что-то отпустило Ивана. Не было злости в его голосе, и даже улыбка дернула сухие запекшиеся губы, на мгновение прогнав то мятущееся, страшное, что корчило, искажало выразительные, даже красивые черты его лица. Филипп вдруг представил себе его ребенком, и ребенок этот был мил: живой, любознательный, черноглазый... Он почувствовал жгучую жалость к этому несчастному и ужасному человеку, который мучил других, но и сам горел в адском пламени, не таким он был задуман природой. Но добрый миг уже миновал. Иван вновь выпустил когти.

— Отчего же, Филипп, все столь понимаючи, молчал ты на Соборе и позволил святотатству свершиться?

— Бог един в трех лицах, государь, святотатства тут нету. Речь не о догмате веры шла, лишь о толковании иконы.

— Ох, и увертлив ты, Филипп! Ох, ловок!.. Да не больно храбер.

— Сам же сказал тебе, государь, что не из бунтующих я Колычевых, — вопреки смиренным словам голос не был умягчен чрезмерным смирением. Филиппу прискучило изображать трепет, он устал.

— Умеешь ты себя беречь, Филипп! — но Грозный чутко уловил изменившуюся интонацию и притемнился. — А откуда у тебя все эти мысли? Мудрствуешь, видать, много... Больно учен, языки вон древние изучил...

— Не тверд я в них, — вновь собрался для самозащиты Филипп, поняв, что сейчас подступила главная опасность: царя плохо учили в отрочестве, после он сам добирал знаний острым, жадным умом да Сильвестровой помощью. И не любил он чужой учености, особо у церковных. Впрочем, боярское любомудрие тоже не больно

жаловал, с тех пор как бежавший Курбский в предрезозных посланиях раз-другой поймал его на невежестве. И, вздохнув, Филипп сказал: — Видение мне было, государь.

— Какое видение? — недоверчиво, но с любопытством спросил суеверный при всем своем поразительном уме царь Иван Васильевич.

— Молился я ношью во келейке, и явилось мне вдруг померанцевое деревце, что в южных странах обитает, а в нашем холоде расти не способно. Я его, конечно, сроду живые не видел, а во сне узрел. Только вот что чудно: цветет оно белыми, как кипень, цветами, а тут было осыпано пунцовым цветом, как заря в предгрозые. И затрясло оно всеми веточками, всеми цветиками, и зашептало, зашелестело о святых троице. Все, что я тебе, великий государь, ныне говорил, услышал я от того дивного померанца.

— И утешил ты меня, Филипп. Утешил. Кольчех ускользящий. Нет, ты крамольный человек. Но ты хитрый, Филипп, ишь какой побасенкой государя своего потешил. А ты меня умом ниже себя ставишь, коли думаешь так легко провести. Детская твоя хитрость, но она не со зла, а во спасение. За главную правду, от тебя услышанную, прощаю твою хитростенку. Спасайся и дальше, Филипп. Бают, в дивный вертоград обратил ты дальнюю высь моей земли. Ты что там, рай задумал создать?.. — вонзился черным блеском. — Самому господу уподобиться?

«А ведь угадал! — захолонуло под сердцем. — Сказал то, в чем я самому себе не признавался. До чего ж проникновенный ум!..» — и мурашки неподдельного трепета пробежали по коже...

— Больно студено там для рая, государь. А не бедствуем твоими милостями.

— Замолчи, монах, не клянчи! Все нищенствуете, богатеи!.. Сам решил вотчинку подкинуть. С сим отпускаю тебя, честной инок, — с непонятной насмешкой заключил этот удивительный разговор Иван.

А когда Филипп уже выходил, вдруг окликнул:

— Разговор промеж нас двоих останется. Пусть изографы пишут, как Собор решил. Мне самому знать хотелось. Ступай с богом!

И отпустил мирно толкователя святых троицы. А ныне вспомнил. Потому вспомнил, что помер митрополит Макарий, а выбранный на его место старый Арсений ско-

решенько отпросился на покой. Любо было государю, что отвел Филипп должное место богу-отцу, такой не дерзнет свой престол над государевым поставить. Иван Васильевич убедился, что не обделен разумом соловецкий игумен, но покорен и уклончив, не стремится к власти и лишен честолюбия. Удобен царю в митрополитах тихий, не бунтующий, сызмальства напуганный человек; поднятый с низшей ступени па высшую рукой государя, будет оп послушным исполнителем его воли. И нет у него связей с духовными, ни с боярством, нет ни в ком опоры, кроме царя. Будет он все в угоду Ивану Васильевичу делать, благословит опричнину — черную нечисть при метле и отрубленной собачьей голове — и любую затею не ленивого царского ума. Вон когда аукнулось и вон как откликнулось, невесело думал Филипп, колыхаясь на волнах Белого моря...

Весь путь до Москвы старались проделать водой — бездорожная сторона, но приходилось кое-где и волоком пробираться. Кругом топи, болота, кочкарник, морошка, леса непролазные. Только в Ярославле посадили духовных в возки, а ратные мужи сели на коней. И все дни путешествия не переставал Филипп удивляться громадности, богатству и неустройству родной земли. Когда тридцать лет назад бежал он всполошенным зверем на север, то ничего не замечал вокруг, ничем не заботился, кроме тропок, стежек, перелазов и переправ, чтобы скорее оставить меж собой и страшной Москвой как можно больше земли. На Стоглавый собор везли его в беспамятстве тяжелой болезни, думали, не довезут, а возвращался он в розовом тумане счастливого избавления, всему радуясь и ничего толком не видя. Зато сейчас его очи будто промыло: увидел он нищету и дикость, в которых скорбит посреди несметных богатств народ, населяющий северные земли русского отечества. Пустынны берега рек — ни водяных мельниц, ни тоней, изгнивают избенки под сопревшей соломой, а кругом высокоствольные леса, под ногой глина, на кирпичи годная; Филипп хорошо знал землю и по цвету ее мог сказать: здесь железу в недрах быть, там иному крушецу, там красителям. Он видел рои диких пчел, но в лесах «бортничал» лишь медведь, а люди не знали вкуса сладости. Видел пойменные луга, на которых можно выкармливать коров, щедрых на жирное молоко, а коровенки паслись мелкие, худые, с пустым выменем. Природа давала все, чтоб человек был сыт, пит, добротнo одет, жил бы в справных, чистых, теплых

домах, а людям подводило животы от голода, ходили босые, в дранье, и в домах грязь, вонь, духотища. Люди не только не умели брать от земли, что положено, они не знали и боялись ее: боялись лесов, болот, озер и придумывали им страшные названия, чтобы и детей своих от них отпугнуть. От заморенных деревень мало чем отличались города — ну, посередке, как водится, собор, бывало, каменный, торговые ряды, палаты правителя да несколько справных домов местной знати или разбогатевших купцов, а вокруг — те же испревшие избы, непролазная грязь, худые свиньи в лужах, лапотное население.

Как ни слеп был Филипп в прежние свои проезды через Каргополь, Вологду, Данилов и другие города, а заметил резкую перемену. Куда спокойнее, степеннее, размереннее и милее глядела в них прежде жизнь; люди торговали и покупали, что-то строили, спокойно шли по своей надобности, останавливались, встретив знакомого, и обменивались словами, а ныне все как очумелые. Завидев возки и всадников, девки кидались врассыпную, парни тоже спешили сгинуть, хоронились лоточники, закрывались лавки — великий страх оморочил народ. Оказалось, города эти забраны в опричнину и порядки заведены новые. Сообщил сие Филиппу архимандрит, но ничего более не добавил к сказанному осматрительный служитель божий. Впрочем, нетрудно было догадаться, каковы эти порядки. Видать, правят здесь царевы любимцы, как в завоеванной стране. Филипп был наслышан о бесчинствах опричников — в Соловецкую кинию стекались люди из разных мест, но он думал, что косматое чудище, высиженное царем Иваном в александровском самоизгнании, обращено лишь против боярства, а оно всю русскую жизнь под себя подмяло. Замордованному снизу доверху народу должен он стать пастырем, духовным вожем и утешителем. Не по плечу ему такая ноша. Он Колычев ускользящий, а здесь нужен другой — Сергей Радонежский или апостол Павел, чтобы обличать огненным словом цареву блудню, на всю Русь вопиать проклятия опричной скверне. А он, Колычев бегущий, Колычев, любящий жизнь во всех ее чистых явлениях, почитающий землю, так щедро дарящую себя людям, которые не умеют принять ее даров...

Оказалось, плохо знал себя Филипп, не лучше других многомудрых — духовных и мирских.

Прибыв на место и поклонившись государю, который

принял его отменно ласково, Филипп явился перед собором духовных властей. Сведомые о приеме, оказанном ему государем, отцы церкви были не просто ласковы, а источали елей. Филипп смиреннейше объявил им, что принять сан митрополита не может, ибо не считает себя достойным. Есть неизмеримо выше его стоящие не только по иерархии, но и нравственно, и по способностям к несению столь высокой службы. Этим он возбудил надежды в иных сердцах, а угодил всему духовенству; не было архиерея, который не возмущался бы в душе предпочтением, оказанным скромному игумену из запредельной обители. Филипп надеялся, что духовные не замедлят довести его слова до царских ушей и разгневанный государь отошлет его назад. Но царь и слушать не стал архиереев, прогнал их прочь, а потом повелел вернуть назад вместе с игуменом Филиппом. Тот со слезами на глазах сказал царю о своей неготовности и неспособности принять митрополию. Грозный сверкнул очами и закричал, брызгая слюной:

— Это святители тебя запугали? Сами на митрополичий престол зарятся! Вот вам!.. — и, забыв о всяком приличии, царь сунул духовным дулю; большой перст был у него непомерно длинен, с гнутым острым ногтем, и, когда завертел им царь перед лицами оторопевших священников, вышло что-то страшное и донельзя срамное, вроде когтя сатаны. — А мне твой отказ не нужен, Филипп! — кричал Иван. — Даром за тобой на край света гоняли? Раз надо для православного мира, так негоже в кусты кидаться. Се не смирение, а трусость позорная!

— Отпусти меня по-доброму, государь. Дай воссоединиться с милой землицей, коей я потребен.

— Очнись, Филипп! Не юродствуй. Ты ныне не Соловецкой земле, а всей Руси служить будешь. Не унижайся, игумен. Бери, что дают, и стань наравне со славейшими. Не зли меня, Филипп. Не доводи до худого.

— Не смею спорить с тобой, государь. Да и не о чем. Как ты ни могущ, а митрополита не назначишь. Святители явят свой выбор.

— Энти, что ли? — кивнул клином седеющей бороды в сторону духовных Иван. — Да они согласные. Не так ли, отцы? — произнес с издевательской ласковостью.

Нестройный хор старческих голосов подтвердил слова Ивана. А чего еще можно было ждать? И тут сам Филипп обрел голос, почти не отличимый от прежнего, наделен-

ного природной ясной звучностью, но ставший совсем иным, чего поначалу никто вроде бы не заметил, с каким-то металлическим отзвоном:

— Хорошо, государь. Я приму сан, коли меня выберут, но с одним условием: ты отменишь опричнину.

— Ты... ты что?.. Тягаться со мной вздумал?.. — Ивану показалось, что он ослышался, ошеломление вытеснило гнев.

— Не я, а митрополит Филипп. Я не смею тягаться и с самым малым из находящихся здесь. Но глава православной церкви несет перед господом богом ответ за святую Русь. Опричнина же твоя — богомерзкое, антихристово дело.

— Не тебе судить, монах... — угрюмо, в какой-то странной усталости молвил Иван. — Думай о небе — о земных делах мы сами позаботимся.

— Я о душе твоей пекусь, государь. Погубишь ты душу, коли не разгонишь хищников, рвущих на куски святую Русь.

— Чего ты витийствуешь, монах? — Грозный тихонько, в себя засмеялся. Усталость гнула плечи, давила на грудь, туманила голову, одного хотелось: спать, спать, спать. Ребячливый в своей неожиданной заносчивости старик не стоил гнева, даже окрика не стоил. — Сам же говорил, что не царь митрополита ставит. Как святители решат, так и будет... Ладно, ступайте, устал я от вас, однако...

Три дня уговаривали духовные Филиппа принять сан без всяких условий. Не дело митрополиту соваться в государевы дела, сроду так на Руси не водилось, а с латынской церкви негоже пример брать. А вот преподобный Сергий, возражал Филипп, вмешался в общерусское дело, и грянула Куликовская битва, а с нее началось государство Российское. Уж не мнишь ты себя ровней святому Сергию, возмутились духовные. Нет, отвечал Филипп, лишь беру себе примером. К исходу третьего дня Иван вместо обычного гонца прислал к духовным Малюту Скуратова-Бельского, самого доверенного своего человека и самого страшного. Рыжеватый, источающий песий запах, с приплюснутым переносьем и почти белыми глазами, Малюта тихим, сильным голосом сообщил, что царь весьма печалуется неусердием святителей к его государеву делу и даже занемог от горести. Ах, отцы, отцы, вздохнул широкой грудью Малюта и поочередно поглядел в лицо каждому архиерею.

Малюта сказал правду: не привыкнув встречать отказ ни в каком своем намерении, Иван и впрямь почувствовал недомогание, какая-то мерзкая робость закралась в душу. Было противно рассудку и потому страшно, что нашелся человечешко, осмелившийся перечить ему, хотя знал, что за свою строптивость отправится с Малютой в застенок. Малюта был единственным человеком, которому Иван доверял безоговорочно: царь знал, что Малюта, не дрогнув, раздерет меж двух берез собственную любимую дочь, если Иван прикажет. Впрочем, тут все близкие царю люди были выше похвал. Федька Басманов едва не отсек на пиру голову собственному отцу, боярину Алексею, хотя царь только пошутил, желая проверить меру Федькиной преданности. Не уронил себя и старший Басманов. «Руби, сынок!» — сказал, опустившись на колени. Царь остановил Федькину руку, как ангел господин Авраама, уже занесшего нож над своим намоленным первенцем, но про себя решил, что другой раз даст свершиться казни — уж больно честолюбив и опасно бесстрашен старый Басманов. Лишь чудом не обагрив руки отцовой кровью, Федька вернулся к веселью, осушал чашу за чашей, как и всегда, почти не пьянел, плясал в женском сарафане. Любил Иван Федьку, он уже смирился про себя, что Малюта вскорости оговорит его и уничтожит. Правда, не раньше, чем Федька снесет голову отцу. Федька бесстрашием в отца, но еще криводушнее, хитер и подл, как змей, предаст и даже на миг не запнется душой об Иудин грех. Иван не станет мешать Малюте. Но с особым наслаждением рисовал себе царь, как, изведя руками Малюты всех врагов, скинув на широкие плечи верного раба все собственные грехи, предательства, обманы, всю кровавую грязь своих дел, расквитается с самим Малютой. За Басманова особенно, за сладкого, как малина, Федьку, за всех замученных, запытаных, замордованных, за всех убитых мечом, удавкой, топором, ядами, руками, страшными, короткопалыми, в красноватом, как у пасюков, волосе, заставит он пройти Малюту через пытки, мучительства, издевательства, каким тот подвергал других. И придет он в пыточный застенок слушать Малютины стоны, вопли и бить сапогом в окровавленный, с искрошенными зубами рот, когда поползет тот целовать ему ноги, моля не о пощаде — о скорейшем конце. И, подробно думая об этом, Иван неизменно приободрялся, веселел, но в дни, когда несгибаемый монах отталкивал митрополичий посох, если царь не разгонит опричнину —

единственную опору царствования, защиту в злом и коварном мире, где никому нельзя верить, — даже мысль о предстоящей игре с Малютой не радовала опечаленную и смущенную душу государя.

А духовные, насмерть запуганные Малютой, все скопом навалились на Филиппа. Если себя не жалеешь, то хоть нас пожалей, предаст царь нас в руки своему костолому. А свято место пусто не бывает, другого на митрополию поставят, во сто крат худшего. Ты в дела государственные не суйся, а защитить опального человека завсегда сможешь, коли смел. А ни в ком из нас такой смелости нету, мы царю ни в чем перечить не можем. За тобой и нам спокойней будет, и православному народу хоть какая-то надежда засветит. Сделай по-цареву, Филипп, не ставь условий, потешь гордость Иоаннову, а ведь в жизни ничего по уговору не делается — пройдет время, не стерпишь ты и осадить неистовство метелочников окаянных. Хоть малое остужение, хоть какое-то облегчение Руси от тебя будет, от всех же других нечего ждать, мы себя знаем, говорим не лукавя, как есть. И мучился Филипп этим самоунижением святителей. Чего сроду не сделали бы угрозами, добились трусливыми плачами.

В эти три тягостных дня и три бессонные ночи, наполненные думами и мукой, слезами и воспоминаниями, когда Филипп оплакивал свое прошлое, и далекую милую землю, и братию, которой был предан куда горячее, нежели сам полагал, и бедного послушника Анфима, и пчелок, хлопотливо собирающих взятки с медоносов, и каждое посаженное им дерево, и всех прижившихся в Соловках зверей лесных, и водных обитателей, и птиц небесных, особенно слезу пролил о куличке-игумене — последней его земной радости, в эти дни, когда жизнь переломилась в житие, навсегда высохло нутро Филиппа, не осталось в нем ни слезинки, будто похозяйничал там аравийский ветер; сгинул сурово смиренный с виду и жалостливый сердцем игумен, и стал над Русью митрополит Филипп, тот железный старец, которого жесточайший из всех земных владык, окруженный свирепыми стражами, мог уничтожить трусливо, но не сломить, не даже наклонить. Твердым в долге и нравственных правилах, усердным монахом, не рядовым лишь широкой созидательной одаренностью своей природы явился в Москву Филипп, но ступил в Успенский собор для посвящения в сан митрополита великий муж, принявший не-

избежность мученического венца и нисколько не страшившийся его. Не ведали этого ни духовные, думавшие, что хитро подобрали ключи к характеру Филиппа, ни царевы приближенные, свысока посмеивавшиеся над пустым упорством монашка, ни возвеселившийся духом и скинувший хворость царь, вновь подмявший под себя, как ему мнилось, не вовсе заурядного супротивника. Даже сам Филипп не постигал разумом самую глубину свершившейся в нем перемены, ведала то лишь его тайная душа, но заявила о своем знании, когда отверзлись уста Филиппа для первой владычной пастырской речи.

Но до того свершился обряд интронизации.

Привезли Филиппа в митрополичий Успенский собор в обычной его черной рясе и черной скуфье, а здесь надели на него шелковую невесомую мантию и белый клобук с хвостами. Посреди службы его подвели к алтарю, где вручили митрополичий посох, облачили в ризу из золотого бархата с узорами, на плечи накинули омофор, расшитый жемчугом; белый клобук на голове заменили властелинской шапкой, тоже усеянной жемчугом и драгоценными камнями, под ноги постелили круглый коврик, орлецом прозываемый, ибо вышит на нем орел — от Византии произошедший символ власти. И во всех этих пышных, столь непривычных Филиппу одеждах он будто вырос, раздался, обрел иную, величавую осанку, и явилась она не от гордости, напыщенности столь неожиданно вознесшегося рядового человека, как почудилось духовным, а от спокойствия безнадежности, раз и навсегда овладевшего Филиппом. Он уже не принадлежал ни окружающим, ни царю, а лишь собственной судьбе и оттого стал независим. И хоть принял он условия церковников, вернее, требование государя, но первое свое слово, отметившее вступление в сан, обратил в наставление государю. Он говорил о долге державных быть чадолюбивыми отцами подданных своих, блюсти справедливость, уважать заслуги, не слушать льстецов, теснящихся у престола и сладким ядом речей своих отравляющих ум государей, что служит лишь их низким страстям, а не отечеству; он говорил своим звучным, всепроникающим голосом о тленности земного величия, о победах невооруженной любви, которые приобретаются государственным благосостоянием и куда славнее побед ратных.

— Истинно пастырская речь! — перешептывались духовные, но были недовольны и встревожены: ведь слова митрополита метили прямо в дела Иоанновы и его

ближних людей, сиречь опричников. Предерзостная речь, и если это начало, то каково же будет продолжение?

Но вопреки их страхам Иван принял речь нового митрополита милостиво, подошел к нему под благословение, обласкал владыку словом и взглядом и удалился из храма в кротком расположении духа. Это объяснялось в большей мере непостоянством нрава, над которым не властен был Иван и которое делало непредсказуемыми его поступки даже для самых приближенных людей, отчасти же тем удовольствием, которое царь испытывал от подавления чужой воли. Иван уже понял, что ошибся в Филиппе, приняв его за усердного, скромного до робости, хотя и склонного к умствования монаха; нет, то был характер, не наружный, сразу себя выдающий (ломать таких проще всего), а затаенный, сам себя не до конца ведающий и опирающийся на что-то твердое, непоколебимое в душе — на фанатичную веру в милость божию, думал Иван, чуждый и малому подозрению, что иные нравственные устои держат Филиппа. Он чувствовал себя победителем; малоумным могло бы показаться: эка честь в победе великого государя, кесаря Третьего Рима (четвертому не бывать) над упрямым и наивным иноком, одичавшим в своем окраинном монастыре. Ан одержать такую победу было труднее, нежели перепластать всю боярскую думу или вырвать клоч из бороды старшего Рюриковича, числившего свой род выше Иоаннова. Он одержал и свою собственную и государственную победу; придет день, когда завоевавший великий авторитет во всем христианском мире митрополит благословит опричнину и давно замысленный поход на Новгород — не соринку, а бревно в царевом глазу — с его богатством жирным, церковной спесью и дерзкой независимостью. Но это будет потом, а сейчас царя будто отпустило внутренях, и тихий дух снизошел на него через божьего человека, митрополита всея Руси.

Удивительна была и духовным, мирянам, а пуще всего цареву окружению та тишина, что воцарилась по избрании Филиппа. Иные доверчивые люди, а в таких сроду нет нехватки, всерьез поверили, что приход праведного старца на митрополичий престол угомонил, остудил и утихомирил бешеный нрав царя. Прекратились казни, иссяк кровавый ток, присмирели и опричники, перевели дух омороченные русские люди всех сословий. Москва и забыла, когда так покоен был ночной сон: никто к тебе не ворвется, не вытянет из теплой постели, не

осрамит жену; не насильничает дочь, не разграбит имущества. И засияла белым золотом слава Филиппа!.. Лишь сам митрополит не обольщался переменой, зная вещей душой, что это — затишье перед бурей.

Царь мог бы и сам хотеть тишины и ладу, но не властен был над своим рассудком, которому вечно мерещились крамолы и заговоры, не властен был над дурными страстями, раздраженными чувствами, нуждавшимися в яростном выплеске, вслед за которым слезная, умильная молитва и покаяние. Не властен он был и отказаться от задуманного: опричнина нужна была не только как оружие против непокорных и затаившегося боярства, но и как символ Ивановой отверженности. Боярские козни лишили Ивана власти, земщиной правил пленный казанский хан Едигер Симеонович, крещеный татарин, озадачивающий своей ничтожностью; делами государства русского ведала боярская дума, а он, законный государь, вынужден был с горсткой верных скрываться в Александровской слободе, отбирая силой у боярской жадности деревеньку, городишко, волостишку для пропитания своих людишек. Сколько же можно побираться?.. Вот и взлеял думу царь-изгнанник: вдарить по Новгороду и выпотрошить его пересытое чрево. А то, что поход замыслил против жемчужины святой Руси, древнего русского города, великого своими победами над псами-рыцарями и храбрыми шведами, крепкою верой, славного ремеслами, зодчеством, иконописью, торговлей, достойнейшими людьми и мужеского, и женского пола, не смущало Ивана — быть не может, чтобы, глядя на все усиливающуюся Москву, не замыслили новгородцы измены, он бы, Иван, на их месте наверняка бы замыслил. А коли так, то судьба города решена — упредит измену, заступится за Русь царь-изгнанник. И, когда Иван называл себя так, крупная слеза солила ему губу под седым жестким усом.

Но время текло, а тишина не нарушалась. И уже мажоры начали поддаваться этому заволаживающему покою. Людям так хотелось отдохновения, так истомило вечное насилие власти, что, казалось бы, навсегда отученные от надежды на умягчение, они поверили, что сжалился над измученной страной господь бог и угомонил царя-кровоядца. Это чудо приписывалось духовной силе нового митрополита. В народе шептались: напрямую с богом говорит и за Русь предстательствует...

Сумрачен, как ночь, ходил один человек из ближайшего царя окружения — Малюта Скуратов-Бельский. Ему

казалось, что новый митрополит околдовал царя, навел на него злые чары. Государя словно подменили. Снаружи вроде бы тот же Иван Васильевич — борода клином, беспокойный взгляд то взблескивающих, то мертво гаснущих глаз, седина в лысеющей голове с острым темением, — внутри иной: пришибленный, оробевший, все время постится, молится, но не по-прежнему, когда от ударов лбом об пол гул стоял, а подолгу припадая к каменному полу лицом с закрытыми глазами, исходящими слезами из-под тонких трепещущих век. Забыл все опричное дело, Федьку Басманова от себя прогнал — даже сему не радовался Малюта. Неужто это навсегда, тосковал рыжий палач, и сошлись в нем боль о государе, тревога за опричнину с лютой ненавистью к Филиппу.

И, видать, возытели действие жгучие слезы наивернейшего царского холопа — в один из ничем не примечательных, серых, пасмурных деньков призвали Малюту к царю. Тот сидел в жарко натопленной горнице — мерзляк был государь, даже вино его не согревало, а тут, на воде да постной пище, вовсе застудил всю внутренность.

— Где пропадал? — хмуро спросил царь. — По бабам шляешься, утробу набиваешь? А крамола голову подняла. Да чего там подняла — вот-вот сеть накинёт. Бежать пора на слободку. Где же еще русскому царю голову приклонить? Да что же я за несчастный такой? У зверя логово есть, у птицы гнездо, один я маюсь, как неприкаянный!..

Малюта грохнулся на колени.

— Звери мы лютые, так огорчили царя-батюшку! Нас бы самих на плаху. Но повинную голову меч не сечет. Дозволь, государь, допреж мы в слободку двинемся, я тебя головами врагов лютейших утешу?

— Да уж порадей, Малюта, — капризно сказал Иван Васильевич. — И вели Федьку прислать. Боюсь, как бы не забаловался малец без призору. Отец-то его, криводушный Алешка, хорошему не научит.

Распоряжение сие было досадительно, но Малюта так радовался духовному пробуждению царя и возвращению к государственной жизни, что огорчился менее обычного тем вечным предпочтением, которое оказывал Грозный Басманову. А еще подумал, что далеко им всем до царя-батюшки: тот вон Федькину душу воспитывает, укрывает вьюношу от развращающего воздействия родителя. Воистину: царю — цареву, а псарю — псареву... Надо тянуться за царем по мере сил, хотя это, ох, как непросто!..

И Малюта расстарался, дабы убогочинить огорченно-го новыми кознями государя. Вновь полетели боярские головы, а заодно и всякие иные, вовсе не знатным людям принадлежащие. Ведь известно: лес рубят, щепки летят... Малюта расправлялся с большими людьми, а опричная мелочь под шумок обдeldывала собственные делишки; головы снимали и боярам, и дворянам, и почтенным купцам, и мелким торговцам, и дьякам, и подьячим, и простым тягловым людям. По разным причинам оказывалась несовместимой злосчастная голова с телом. Порой надобилось молодцу с метлой у седла прибрать к рукам вотчинку, или село зажиточное, или скудную деревеньку, порой дом справный, или поместье, или золотую утварь, ковер персидский или кинжал, камнями украшенный, иной черный молодец зарился на жену чужую или дочь-малолетку — и за это мог отнять жизнь, и за слово бранное, и за косой взгляд. История сохраняет для потомства в памяти лишь громкие имена, а за каким-нибудь Репниным или Воротынским остаются неведомые десятки, сотни уничтоженных малых людишек...

И все пошло обычным порядком, за одним исключением, сильно поразившим Грозного царя. Впервые казни, пытки, все опричные неистовства творились не в великой русской тишине, которую по избытку пустого пространства не могли нарушить стоны, крики, вопли умерщвляемых, пытаемых и насилуемых, нет, впервые беззвучие сотряс протестующий голос. И пусть то был голос всего лишь одного человека, но звучал он с амвона святого Успенского собора, исходил из зычной гортани митрополита всея Руси и слышен был по всей русской необъятности. Поначалу голос этот взывал к совести и разуму государя, но вскоре возвысился до обличения, предавая анафеме опричнину, раздвоившую святую Русь, называя поименно палачей, и, наконец, о самом царе молвил страшное слово: кровоядец!..

Сему царь не поверил и решил испытать Филиппа. В день воскресный в час обедни Иван с ближними боярами и целой толпой опричников вошел в соборную церковь Успения божьей матери. По обычаю своего «сатанинского монастыря», как называли в народе александровское убежище царя, были все в черных рясах и высоких, тоже черных, шляках.

Филипп вел службу, стоя на своем митрополичьем месте, на малом возвышении в окружении владык и иереев. Иван приблизился к нему, ожидая благословения. Ми-

трополит смотрел на образ спасителя и царя словно не заметил. Тогда ближайšie к нему иереи стали подсказывать слышным шепотом (в надежде, что их усердие будет оценено):

— Владыко, се государь!.. Благослови его!..

— В сем виде, — ответил Филипп своим звучным голосом, — в сем одеянии странном не узнаю государя, не узнаю и в делах царства!.. — И, повернувшись к царю, продолжал: — О государь, мы здесь приносим жертвы богу, а за алтарем льется невинная кровь христианская. Отколе солнце сияет на небе, не видано и не слышано, чтобы цари благочестивые возмущали собственную державу столь ужасно! В самых неверных языческих царствах есть закон и правда, есть милосердие к людям, а на Руси нет их. Достояние и жизнь людей русских не имеют защиты. Ты высок на троне, но есть всевышний, судья наш и твой. Как предстанешь на суд его, обгаренный кровью невинных, оглушенный воплями их муки? Ибо самые камни под твоими ногами вопиют о мести.

Иван трепетал от гнева. Он с такой силой ударил жезлом о камень, что высек искру, узренную близстоящими.

— Чернец! Я доселе излишне щадил вас, мятежных, отныне буду, каковым меня нарекаете!

Голос его задрожал, кровь выступила из-под пальцев, сжимавших жезл, багровый туман застил взор. Он поднял жезл, и всем, кто был в храме, почудилось, что случится невиданное в мире святотатство и царский жезл поразит служителя божия у алтаря. Одни прикрыли глаза рукавом, другие потупились, даже иные опричники побледнели и отвели взгляд. Царь Иван потом удивлялся, как сумел он углядеть сквозь багровую пелену ярости поведение каждого. Не уронили себя ближайšie. Красивые, влажные оленьи глаза Федьки Басманова выражали радостное нетерпение, схожие, но увядшие очи его отца — усталую скуку. Малюта нащупал клинок под рясой, чтобы в случае надобности добить митрополита, Василий Грязной с неизменной собачьей преданностью смотрел на царя, его пригожий брат Григорий улыбался плотоядным ртом, сильное, крупное лицо Филиппова сродственника боярина-опричника Колычева хранило безмятежное спокойствие. «Так же смотрел бы, если б и меня кончали!» — с ненавистью подумал Иван. Не менее спокоен оставался и сам Филипп.

— Укротись, государь, ты в храме божьем, а не на псарне, — отвернулся и продолжал службу...

Царь Иван был словесной мудрости ритор. Крепко уязвило его, что не смог он побить Филиппа словом. Явившись в храм в другой раз, в ответ на обличения митрополита сказал громко и надменно:

— Царь волен жаловать своих холопов и казнью волен их казнить!

На что Филипп тут же обронил чуть не с усмешкой:

— Се слова, достойные не царя, а вотчинника...

И никто в храме не понял, какую жестокую рану нанес он царю. Иван был первым русским государем, узревшим в себе царя в библейском смысле: помазанник божий. До этого не поднялись ни его отец, ни дед. Слова Филиппа низвергли его с высоты в ничтожество удельного княжения. Онемев от гнева, царь не знал, что сказать, и, боясь новых беспощадных, бьющих в самую грудь, в болящее сердце слов митрополита, обретя речь, залепетал почти жалостно:

— Молчи!.. Только молчи, об одном прошу, молчи, святой отче... Не доводи до греха... И благослови нас...

— Наше молчание грех на душу твою наложит и смерть ей наманит!..

Как звучен его голос, и как гулок высокий собор!

— Ближние мои восстали на меня, ищут мне зла... Какое тебе дело до наших предначертаний? — беспомощно бился царский голос, не поддержанный отгулчивой молчью соборных сводов.

— Митрополит Даниил, щеголь и златоуст, усугубив лукавство и гнусь учения осифлян, сравнил царя с богом. Единственно, чтобы церковное имущество соблюсти ценой достоинства духа. Царь есть человек и богу ответчик, как любой его подданный, — не заблуждайся в сем. И не будет тебе от бога благословения, покуда не покончишь со своими мерзостями.

Так и пошел Иван ни с чем, унеся злое унижение в душе. Но не угомонился и снова попробовал скрестить с митрополитом словесное оружие. «Ты вотчинник, а не самодержец Руси...» — против такого бессилен был кинжал ножебоя Малюты. Царь напомнил митрополиту о величии Руси — Третьего Рима. Не ему, Ивану, кровь надобна, а государству великому. Филипп ответил тихо, не как пастырь, а просто как старый, усталый человек:

— Коли так и дальше пойдет, немного от твоего Третьего Рима останется. Выдашь ты Русь головою врагам.

— Не шуткуй, поп! — взъярился Иван. — Сам знаешь, с таким народом нельзя иначе. Он лишь язык огня,

железа да пеньковой захлестки понимает. Чем более истребишь, тем лучше. Остатние будут воском в руках рачительного и вдаль глядящего государя.

— Христос на камне — не на крови строил церковь свою. А под камнем-петросом разумел любимого ученика Петра, апостола и рыбака.

— Замолчи! — Царь Иван опрометью кинулся вон...

И тут ближние царю люди заметили, что появилась в нем какая-то робость перед Филиппом. Иван при всей безобразности своих поступков, при всем презрении к церковникам, при всей преступности, которую не осознавал до конца, был и богобоязнен на свой лад, и, главное, суеверен. Ему представлялось, что бесстрашие Филиппа коренится не в свойствах его натуры, а в неких явленных тому свыше откровениях. Ивану ничего не стоило разделаться с любым служителем церкви, но он не решался — при всей душевной ненависти к митрополиту — не только прикончить его, но даже низложить. Страхился прикрывающей Руки...

О том догадался духовник Ивана, протопоп Благовещенского собора Евстафий, тайно ненавидевший Филиппа. Он посоветовал царю направить в Соловецкий монастырь духовное посольство для уличения бывшего игумена в злоупотреблениях, мздоимстве, нарушениях устава и даже чернокнижии.

— Не нарушал он ничего, — сумрачно возразил Иван, — зря злоречествуешь. Нешто и так не видно, что святой жизни этот мерзавец.

— Пошли, великий государь, — настаивал Евстафий. — Я верных пастырей подберу, от их зоркого и чистого глаза ничего не укроется, они сквозь стену неправедность разглядят.

— Посылай, — подумав, согласился Иван, — может, и впрямь черно крыло над Филиппом.

В позорном посольстве не побрезговал принять участие епископ суздальский Пафнутий, архимандрит Андрониковского монастыря Феодосий и князь Василий Темкин.

Провалился бы злой умысел Евстафия, ибо вся братия, как один, свидетельствовала в пользу Филиппа (даже мнившие себя обиженными, утесняемыми им), что беспорочный, святой жизни был игумен, ангельски чистый во всех своих делах, во всех движениях сердца перед господом богом, наиусерднейший в молитве и службе, да выручил бывший келарь, ныне настоятель Соловецкой обители Паисий. Он дал понять, что за епископский

сан берется уличить Филиппа в любом преступлении. Прихватив Паисия, посольство борзо покатило в обратный путь.

Царь Иван обладал ценнейшим для властителя его толка свойством: искренне верить любой лжи, любой клевете, любому лжесвидетельству, если это было ему выгодно. Он мог сам измыслить оговор, навет, сочинить подметное письмо, но, ознакомленный с собственным вымыслом, испытывал нелицемерный гнев, возмущение, ярость, горе, злейшую обиду на людское вероломство. Так случится в свой час с Новгородом, когда царю доставят им же продиктованное предательское письмо новгородцев; так было, когда натасканный Паисий предъявил Филиппу в присутствии двора и духовенства свои обвинения.

— Ну, что скажешь на это, Филипп? — произнес Иван дрожащим от негодования голосом. Страх перед митрополитом напрочь покинул его — перед ним был грешный, порочный, нагло злоязычный человечешко.

Филипп не ответил. Он поглядел на бывшего келаря, на его мясистые красные щеки, увлажнившееся в глубоких ложбинах чело, на выпуклые глаза в кровавых прожилках, на бесстыдно-жалкое лицо предателя и тихо молвил:

— Злое деяние не принесет тебе плода вожделенного.

Паисий вспомнит о вещих словах митрополита, когда через полгода после исхода Филиппа будет заточен по приказу царя в отдаленный монастырь, где и кончит позорные дни свои.

— Ты не шепчись, Филипп. Ты перед своим государем ответ держи. Или язык отсох?

— Ответ мне не перед тобой держать, — спокойно отозвался Филипп. — Думаешь, я боюсь тебя или смерти? Нет! Достигнув старости беспорочно, не зная в пустынной жизни ни мятежных страстей, ни козней мирских, желаю там и предать дух свой всевышнему, моему и твоему господу. Лучше умереть невинным мучеником, чем в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония сего несчастного времени. Се жезл пастырский, се белый клобук и мантия, коими хотел ты возвеличить меня!.. А вы, святители, архимандриты, игумены, все служители алтарей, пасите верно стадо Христово, готовящаяся дать ответ и страшася небесного огня пуще огня земного.

Сказав так и сложив с себя знаки сана, Филипп хотел

уйти. Будто замороженный его речью, царь вдруг очнулся, сжал ладонями худые виски и, приподнявшись на троне, крикнул:

— Стой, Колычев! Опять бежать вздумал?.. Уйти от расплаты?..

— Нет, государь. Я давно уже не Колычев бегущий, а Колычев обличающий. Неужто ты до сих пор не постиг?

— Это ты обличен будешь, чернокнижник, антихристово семя!.. — Иван вытянулся в рост, его шатало. — И не сам собой судим, а учрежденным нами судом. А до тех пор носи свою службу... Забирай святительскую утварь... Отслужишь обедню в день архангела Михаила... Слышишь? — голос Ивана пресекался, казалось, он сам не вполне сознает, что говорит.

— Трус ты жалкий, Иван Васильевич, — брезгливо произнес Филипп.

— А ты... ты... — Иван задохнулся, не в силах найти единственное клеймящее слово. — Ты... — в провидческом озарении явились ему костры, на которых сжигают крамольные книги, гигантские печи, исходящие густым черным дымом из рослых труб; в отверстия двери, в багровое озарение втеснялись голые люди: мужчины, женщины, дети, бунтовщики против власти, идущие в купель огненную; и вдруг сие отрадное зрелище омрачилось — откуда-то выросла столь знакомая Ивану ненавистная тощая фигура, и была она выше самых высоких труб; Филипп дул на костры и гасил пламя, не давая испепелить богомерзкие книжки, он дыхнул на печи и погасил очистительный огонь, и нагие грешники кинулись враспыленную, только матери подхватили своих детей. «Убрать его!» — хотел приказать Иван, но голоса не было. Его никто не слышал и никто не слушал, а Филипп плыл над землей, неуязвимый, вечный, и, собрав себя нацельно, Иван крикнул во всю силу легких в лицо митрополиту невесть откуда взявшееся, непонятное ему самому, страшное слово: — Хуманист! — и, упав на пол, забился в судорогах, из стиснутых зубов выдувались зеленоватые пугырьки пены.

Малюта склонился над государем, кинжалом разомкнул цеп челюстей, свободной рукой вытащил наружу желто обметанный язык, ибо при таком приступе государь мог им подавиться. А потом братья Грязные подняли странно напружинившееся, но уже спокойное, легкое тело и понесли в царскую опочивальню. Каждый из них

мог бы и в одиночку без труда справиться, но то обернулось бы в унижение государю, который при скупости плоти был тяжеленек за счет толстых костей, особо же обмякнув после пьянства, но тут, натянутый, как тетива, странно полегчал.

В опочивальне Ивана раздели, уложили в постель, укрыв пуховыми одеялами, подсунув по жаровне к ногам и пояснице. Иван приоткрыл глаза и слабым голосом велел кликнуть Федьку Басманова: чувствуя близость конца, он желал дать последний наказ юноше по усекновению отцовою главы.

При дворе с ужасом непонимания повторяли странное слово, каким государь заклеил мятежного святителя. Привлекли духовных, но и те не ведали, что сие значило. Простые же люди выговорить это слово не могли и не хотели, боясь осквернить язык. И тут впервые высунулся молодой Щелкалов, крутившийся в посольском приказе: то за винцом сбегает, то дякам спинку почешет, то бумажку перепишет, то толмачам подсобит — редкие способности к иноземным языкам имел, шельмец! Он сказал, что похожее на произнесенное государем слово есть в древних языках и означает человекопоклонение. Выше господа ставит мятежный старец грешного человека — не только знатного и богатого, но и самую нищую сволочь. Вон как глубоко проглянул государь порчу Филиппову, вон на что замахнулся дерзостный митрополит! Через особых людей это объяснение попытались распространить в простом народе, но ожесточения против Филиппа почему-то не вызвали, хотя очнувшегося государю докладывали обратное.

Даже разящее царское слово не могло унять терзаний Малюты. Как ни крути, а выходит, царь снова пал духом под взглядом этого василиска, бросившего ему в лицо оскорбление. В ответ на такое не словом клеймить, а схватить окаянного да на поганой телеге в заштатный монастырь и там заморить или лучше сразу кончить. А, царь-государь Иван Васильевич, где же твоя была силаща, неужто ты даже под защитой псов своих верных, поклявшихся страшной клятвой, что oprичь тебя никого — ни отца с матушкой, ни жены с детушками, ни собственной души и воли, — все равно так этого колдуна, этого аспида робеешь? Да обмолвись хоть словечком, ну, бровкой шевельни — любой из нас выпотрошит его хоть в алтаре. Тут и греха никакого нет, государь — помазанник божий, его воля свята. А и есть грех, за го-

сударя в ад пойдём, нам и так не миновать печи огненной.

Ох, до чего тошно было Малюте, когда выносили на руках царя дюжие братья Грязные, а Филипп во всем облачении, нагло стуча митрополичьим посохом, прямо-спинный, не согбенный ни годами, ни трудами, ни молитвенными поклонами, ни царским лютым гневом, победителем пошел прочь, а за ним засеменила вся духовная свита.

Очнулся великий государь, скинул чары. В день архангела Михаила, архистратига небесной рати, когда Филипп в полном облачении вел службу, в собор, нарочито громко стуча сапогами, ввалилась толпа опричников во главе с боярином Алексеем Басмановым — черная одежда, в руках метлы. Филипп и слова не успел молвить, как Басманов выхватил из-за пояса свиток и громко прочел:

— Собор духовенства лишает Филиппа сана пастырского.

Тут же опричники накинудись на Филиппа, сорвали с него одежду святительскую, облекли в драную рясу, смердящую чужим немытым телом, и метлами погнали вон из храма.

Коробило душу Малюте, что не ему поручили столь важное дело, но постиг он глубокий умысел государя. Допреж всего читал боярин Басманов зело бегло, прямо с листа, не запинаясь, к тому же по старости и утомлению выдержан был, другой бы на его месте мог сгоряча и порешить Филиппа, что не входило в расчеты государя, и, наконец, обреченный на заклатие, теперь, после глумления над святителем, он отправлялся прямехонько в ад — уж не замолить греха, не покаяться и не получить отпущения. мудро распорядился государь — одним махом с двумя разделался.

А справил боярин царево поручение не лучшим образом: когда Филиппа везли в обитель богоявления, народ бежал за дровнями со слезами и стенаниями, и низложенный митрополит торжественно благословлял людшек и давал целовать свою руку, иные и край поганой ряски лобызали. Не униженным, а возвеличенным поклонением народа оказался Филипп то ли по мягкотелости, то ли по коварному умыслу криводушного Басманова. И своим, и чужим кадит опричный боярин... Вроде бы все по царскому повелению совершил, а остался высок разжалованный митрополит!.. Ну да с Басма-

новым дело уже решенное. Видать, из-за промашки боярина пришлось еще повозиться с Филиппом. На другой день отвели его в судебную палату, куда прибыл и царь со свитой. Филиппа уличили во многих винах, подтвержденных Паисием, вплоть до тяжчайшей — волшбы. Ему надлежало кончить дни в заточении. Жестоковыйный старик и тут не дрогнул, не оправдывался, не оспаривал судей, вроде бы и не слушал их, лишь раз отверз уста, чтобы воззвать к Ивану сжалиться над Русью, не терзать своих подданных.

И что-то похожее на уважение к этому старцу шевельнулось в заросшем шерстью сердце Малюты. Он испугался незнакомого чувства и вместе порадовался, что государь держит его в стороне от этого дела — с Филиппом чести не наживешь. Что и не замедлило подтвердиться. Девять дней провел тот в узилище, питаюсь Христа ради, а в народе уже величали его «святым» — это при жизни-то! Все оборачивалось во славу крамольнику. Его перевели подальше от людских глаз, в обитель Николы Старого, на другом берегу Москвы-реки. И тут Иван вновь принялся за истребление рода Колычевых...

...Шум внешней жизни не доходил до узкой, как щель, кельицы Филиппа. Братии было строжайше запрещено разговаривать с узником. Даже чашку вонючей бурды ему просовывали на деревянной лопате в узенькое оконце, пропускавшее в келью снопик серого света. Но Филипп не томился голодом, давно приучив себя довольствоваться ничтожно малым. Филипп вспоминал, думал, строил мысленно храмы, колокольни, палаты, хозяйственные здания, плавал по каналам и озерам с верным Анфимом на веслах. Неужто все это было?.. Ах, если бы вернуться на любимые острова хоть узником! Дышать тем воздухом, обонять запах деревьев и трав, слышать шум моря или тихий плеск весел с каналов и озер, видеть клочок голубого в ведро, серебристого в белые ночи, черно-звездного — в полярные, с трепещущим размывом северного сияния неба и знать, что ляжешь в родную каменистую землю. Представлять это было столь сладко, что Филипп приказал себе не думать о Соловках, но, устыдившись трусливой слабости, дал полный простор мыслям, и слезинкой не оплатив грустную пленительность реющих перед ним образов. В глубине души он знал, что никогда не увидит Соловков, его крестный путь лишь начинался, но исход не заставит себя ждать, и он был готов к нему.

А еще он много думал о Руси, и душа его сжималась предчувствием великих бед. Разодрав страну на земщину и опричнину, Иван ослабил молодое государство, чем не преминут воспользоваться враги. Сам же царь, ничуть того не желая, будет споспешествовать их злым умыслам. Сейчас он пойдет на Новгород и уничтожит силу этого града, являющуюся частью общей русской силы. Разорив Новгород, он ослабит всю эту часть Руси, без того уязвимую для врагов. Опричники — не воины: гниль, труха. Страшно подумать, какое наследство оставит царь своим преемникам. Тяжелые, смутные времена ожидают Русь. Сейчас-то все еще как-то держится: и славой юных побед государя, эхо которых не замолкло; и неосведомленностью ворогов о том, как подточена русская держава, столь громадная и наружно крепкая; и умом и стойкостью последних людей, правящих земщиной. Дурачок Едигер Симеонович ни до чего не касается. Но это не может продолжаться долго. Тоска душила Филиппа. Не обратиться ли с посланием к царю — в несчастные минуты просветления ум его по-прежнему прозорлив...

Дверь кельи не открылась, а распахнулась от удара сапога, почти сорвавшись с петель, и долго постанывала, словно ей было больно.

Ввалились четверо. Первым — с мешком, в котором, как показалось Филиппу, лежал капустный кочан — был младший из братьев-кровопийц Грязных. Поистине бог шельму метит — не могло быть точнее имени для этих измаранных с головы до пят кровью и подлостью, пако-стно жестоких выроdkов. Были опричники по обыкновению пьяны и в миг наполнили крошечную келейку душной вонью перегара, грязных тел и конского пота — видеть, сильно торопились и нахлестывали взмыленных коней.

— Принимай, честной отчет! — сказал Грязной тонким скопческим голосом, так не идущим к его могучей стати, вытряхнул из мешка что-то круглое и сунул Филиппу.

Низложенный митрополит напряг зрение и благоговейно принял двумя руками отрубленную голову своего любимого племяша Вани Колычева. Нечасто расцветал в русском юношестве такой дивный, будто небожителем посаженный и взлелеянный цветок. Даже мертвая, голова его под шапкой густых, прежде вившихся тугими кольцами русых, с серебристым отблеском волос, сейчас пло-

ско слипшихся — лишь на висках и на затылке сохранились завитки да один кудерь падал на крутой чистый лоб, — оставалась прекрасной: слегка удлиненная, овальная, чуть суженная в висках. И красивое лицо его с прямым носом и трогательно пухлыми юношескими губами не осквернила смерть; темные круги подглазий, синюшность, проступившая сквозь природную смуглоту, застылость черт и безжизненных открытых помутненно-карих глаз не вовсе стерли нежно-мужественное и доверчивое выражение чистого лица. Казалось, он сейчас улыбнется своей открытой, заранее благожелательной к встречному человеку улыбкой. Всего-то раз виделся Филипп с племянником в дни Стоглавого собора — тот едва выходил из отроческих лет, — но тогда уже поразился пытливости его острой мысли при редком добродушии, присущем чаще всего людям недалеким. Но этот юноша, сизмальства приохотившийся к чтению и наукам, далеко заглядывал. И был притом статен, силен и ловок во всех телесных упражнениях, будь то стрельба из лука, бой на сабельках, гарцевание на коне — хотел отец, чтоб из него добрый ратник вышел, предвидя, подобно Филиппу, для Руси многие тяжкие войны. Ранняя искусственность в науках ничуть не мешала бесхитростной теплой вере Ивана Кольчева, которую Филипп не разделял, но ценил в других, ибо в ней, что ни говори, обуздание дурных страстей. Иван часто слал дяде письма в обитель, рассуждая и советуясь о прочитанном, делясь мыслями, мечтами, надеждами, и все крепче привязывал к себе одинокое сердце инока. И вот под секирой палача оборвалась эта цветущая юность, а ведь чистый и ни в чем не повинный Иван и не догадывался, за что схвачен, пытан, унижен и обречен смерти. «За меня!» — гулко сказало в Филиппе, но и тут не обронил ни слезинки. Он бережно приподнял голову и поцеловал в мертвые уста. И учуял тот особый нежный запах сена, когда в него попадают мята и душица.

— Уста праведников благоухают и в смерти, утроба живых грешников источает трупный смрад, — глядя в маленькие на огромной морде глазки опричника, произнес Филипп.

— Царь велел сказать тебе, — напрягаясь слабой памятью, просипел Грязной, — что не помогли Ваньке Кольчеву твои чары.

Из запекшейся черной раны на руку Филиппа упала алая капля крови, он слизнул эту каплю, она была со-

лоноватой, горячей и не больно, а нежно, сладостно ожгла язык.

Опричник побледнел.

— Передай государю спасибо, что дал проститься с любимым сродственником. Забирай! — и Филипп резко протянул отсеченную голову Грязному.

Младший Грязной, в отличие от своего окаянного брата Григория, не боявшегося ни бога, ни черта, являл доблесть лишь в попойках, хмельных потасовках и на- сильничании. В бою он был застенчив, остро ощущая уязвимость своего большого тела, хоть и прикрытого железными, где только можно, царя трепетал (Ивану льстил трепет богатыря, к тому же тот был незаменим для самых подлых поручений), а с остальными вел себя вызывающе до первого отпора, тут он сразу терялся. И сейчас, сунув голову казненного в мешок, Грязной стал пытаться к двери, вытесняя огромным телом остальных опричников, он боялся повернуться спиной к узнику. Очутившись за порогом, изо всей силы захлопнул сапогом дверь.

Филипп прилег на твердое ложе. Лицо его оставалось сухо. И тут вдруг подумал: раз есть антихрист, то должен быть и бог. Филипп давно проникся Аристотелевой диалектикой, находя ей многочисленные подтверждения в общении своем с природой и всем живым миром: дабы свершалось движение жизни, надобны противоположные крайности. Стало быть, есть бог в золотом свете, в благостном сиянии. Но разгневался он на Русскую землю и уступил ее сатане. Бог и прежде наказывал, даже истреблял целые народы, но Русь пощадит и даст облегчение измученному народу. Рассуждая так, Филипп все же не обрел бога. Антихрист воплощался в безумном и жестоком человеке, а супротив него держались в малости своей послушник Анфим, куличок-игумен и вся неистребимая прелесть мироздания.

Проговорился ли кто из монахов, но сведения москвичи о месте заточения «святого угодника» — теперь иначе не называли Никольского узника в народе — и потянулись к дальней обители.

Недолго длилось паломничество к Николе Старому, за Филиппом опять пришли одетые в черное нелюди, напялили на голову рогожный куль, на плечи кинули какую-то ветошь, выволокли из кельи, швырнули в дровни и повезли. На сей раз везли долго, останавливаясь лишь для смены лошадей. На ночь куль стаскивали с головы,

не боясь, что его узнают, утром снова напяливали. От холода, голода, от мешка, затруднявшего дыхание, непрестанной тьмы Филипп впал в забытие и уже не ведал, сколько времени длился переезд.

Когда же оклемался, то оказалось, что привезли его в небольшой Отрочь-монастырь, в стороне от Твери. Поместили в келейку, чуть побольше прежней, но уже через день-другой утратил он ощущение перемены места. Тут завернули крещенские холода, оконце закрыли и кормить стали не с лопаты — послушник, приоткрыв дверь, ставил на пол миску с похлебкой, как собаке. И жарко топили кафельную печь в изголовье лежака.

Как-то январским утром, глядевшим в оконную щель прозрачной синью, тихо отворилась дверь, и в келью ступил Малюта. Филипп привстал с лежака, на веря глазам своим: с чего это занесло в такую глушь царского любимца? Может, это видение?.. Да нет, он самый, во плоти: приплюснутый нос, белые, с едва приметной приголубью глаза, волосы в крысиной рыжине. И сразу стало нестерпимо душно в келейке, будто не один гость пожаловал, а толпа набилась. И смрад пахнул в лицо — чрево убийц зловоняет трупным гниением, как у птиц, питающихся падалью.

— Здорово, святой отче, — хрипловатым своим голосом произнес Малюта и потянул носом. — Эко угарно у тебя. Как только ты терпишь?

— Не замечаю, — сказал Филипп. — А смрад твоей плоти чую. Зачем пожаловал?

— Тебе бы поласковой царева посланца встретить, святой отче, — укорил Малюта. — Царь-государь Иван Васильевич завернул сюда по пути на Новгород, чтобы благословение твое получить.

— Вон что! Стало быть, решили красу Русской земли и светоч русской чести в опричнину забрать?

— Изменили царю новгородцы. За образами в Святой Софии грамоту нашли.

— Царем писанную, а кем подложенную? — сказал Филипп, цепко глядя в бледные зенки опричника.

Малюта не потупил взора.

— Худо ты о царе думаешь, ох, худо! Каждое действо его криво толкуешь. А он, государь наш батюшка, ищет твое благословение принять.

— Сам знаешь, Малюта, я лишь на доброе благословляю, на худое — не дождетесь. Пусть царь повернет

полки назад, пощадит русскую кровь. На это благословлю его с благодарными слезами.

— Царь не сворачивает, монах, когда о величии Руси печется. Всяк мятеж, всяку крамолу, измену всяку в крови потопит. И тебе негоже против царя брехать. Не смирил ты свой бешеный нрав, Филипп, Колычево отродье. От самого землей несет, а собачишься, как молодой кобель.

— Ладно! — вдруг ясно и звонко произнес Филипп, хотя голоса не повысил. — Брось болтать пустое, Малюта, делай, зачем пришел.

И Малюта расширил всегда прищуренные глаза, будто высматривающие некую отдаленную малость, странно просветлел лицом, шагнул к Филиппу, до тошноты обьяв его своей трупной обвонью, протянул вперед большие сильные руки и впился в горло старика.

Филипп отпрянул и упал на лежак. Малюта усилил зажим своих железных пальцев, но, сообразив, что останутся темные следы на дряблой коже, схватил подушку и зажал ею рот жертвы. Филипп задохнулся, сердце в нем остановилось, но в нахлынувшей тьме он еще услышал хриплый голос опричника:

— А, дьяволы, святого человека угаром извели!..

Квасник и Буженинова

Известно, что мелкие причины могут привести к грозным последствиям: птичка чиркнула крылом по снегу — и лавина устремилась с горы, круша все на своем пути. А бывает, когда маленькая жизнь скромного бытового человека направляется и ломается великими историческими событиями, к коим он ни сном, ни духом не причастен.

Внук знаменитого временщика и полюбовника царевны Софьи, князя Василия Голицына, Миша увидел свет в затерянной посреди архангельского безлюдья деревне Кологоры, куда его опальный дед со всем семейством был сослан царем Петром. Поначалу Голицына сослали в городок Каргополь, но едва он туда прибыл, власти одумались и отправили его дальше — в Яренск, забытую богом зырянскую деревушку, но и здесь князь не задержался: извет Шакловитого о тайных сношениях его с Софьей, заключенной в монастырь, еще более отягчил судьбу изгнанника и привел на край света — в Волоко-Пинежскую волость.

Отец Миши Алексей Васильевич быстро извелся в нужде, пустоте и мраке полунощного края и отдал душу богу; мальчика воспитал дед, явивший неожиданную в



баловне счастья стойкость духа и телесную выносливость. Человек для своего времени весьма сведущий в науках, передовой по мировоззрению, он отменил местничество и одним из первых взгляделся в Европу, но не угадал в юном Петре государя, за которым следовало пойти, как и Петр не взглядел сподвижника в Софьином фаворите. Василий Васильевич дал любимому внуку образование, какого тот не получил бы и в Славяно-греко-латинской академии, куда, впрочем, княжичей и не отдавали. Он обучил смышленого мальчика не только грамоте, счету, истории, географии, закону божьему, но и древним языкам, коими владел свободно, а также начаткам немецкого и французского, уловленных на слух в Кукуе, где охотно бывал.

Потеряв сына, князь Василий всей любовью и надеждой сосредоточился на внуке Мише. Но сильное чувство не мешало прозорливости. Мальчик нравился ему смышленостью, ровным характером, легкостью, с какой переносил лишения — впрочем, нельзя чувствовать себя лишенным того, чем не владел, — и доверчивой привязанностью. Нравилось деду и то родовитое, что проглядывало сквозь бедную, крестьянскую одежку в фигуре внука и в осанке, коли приложимо к подростку такое слово. Внук не унаследовал ни тонкой красоты деда, ни скромной пригожести отца; широкое, щекастое, крутолобое лицо с карими теплыми глазами могло бы показаться простоватым, не выпирай так отчетливо порода: голова прочно и прямо сидела на широких плечах, крутая грудь, чуть тяжеловатый стан, стройные крепкие ноги — все обещало вылиться в презентабельную наружность настоящего русского барина. Но чувствовал князь Василий, что внуку не хватает характера, и это его горестно тревожило. Его сын был слабым человеком, потому и сломался так быстро, сам князь лишь в ссылке явил мужество смирения. А так — у старика хватало внутренней честности признаться себе в этом — не доставало ему воли и упорства, необходимых для государственного человека. Он почитался некоронованным царем России, но обязан был этому лишь Софьиной любви. Он мог не уничтожать местничества, не подписывать долгожданного вечного мира с Польшей, не вынашивать великих государственных реформ; Софье достаточно было его взгляда из-под длинных пушистых ресниц, прикосновения легких и крепких рук, забытья в его объятиях. Но и здесь потерпел князь чувствительный урон, Под-

давшись честолюбию Софьи, дал вовлечь себя в злосчастные крымские походы, хотя знал, что нет у него ратного дарования и беспощадности, необходимых для войны, а тем временем наглый и ловкий Федька Шакловитый занял его место, пусть не в сердце сладострастной царевны, а лишь в постели. Подавленный двойным бесчестьем в ратном и любовном делах (за первое его увенчали незаконными лаврами, за второе — рогами), он согласился против воли в отчаянную минуту на устранение Петра, чем и подписал себе приговор. И ведь знал же, знал, несчастный, что служит неправому делу. Возьми верх Софья — и Россия осталась бы в своем душном беспробудном сне. И тогда все попытки сбросить вонючий вшивый тулуп, укrywший с головой русское тело, ни к чему бы не привели.

А будь он сильным человеком, как и положено государственному мужу, то бросил бы заведомо проигранную игру и перешел бы на сторону Петра, да не хватило духу.

Когда князь Василий понял, что не может переступить через себя не из-за любви, давно погашей, а из благодарности Софье, то пошел до конца за неверной возлюбленной, незаконной претенденткой на шапку Мономаха, преступной сестрой и возмутительницей государственного порядка. А место ему было при Петре. Он не мог быть ни правой, ни левой рукой царя, да и было у того рук, что у индийского бога Шивы, но князь мог быть при царевом уме. Это неправда, будто Петр сам все решает и никаких советов не слушает. Царь с детских лет ко всему прислушивался, и приглядывался, и мотал на пробивающийся ус. Как некогда Голицын, он повадился на Кукуй, чтобы набраться сведений и знаний у бывалых иноземцев. Петр сделал адмиралом пройдоху и пьяницу Лефорта — тот не мог устоять на палубе даже в штиль, — потому что ценил его умную голову. Но не хватило князю Василию характера, и похоронил он свои бескорыстные — ради общего русского дела, и честолюбивые — во славу собственного рода мечты. Наверное, в сознании неотвратимости всего содеянного и коренилось спокойствие князя, которое окружающие принимали за мужество.

А может, то, что не удалось деду, выпадет внуку? Не станут же ни в чем не повинного юношу век тут держать. Небось простят и семейство, как только уйдет из этого мира осужденный глава, и вернут в Москву.

Но была и подспудная мысль: авось Мишку раньше вызовут в столицу для участия в государевой заботе. Царю нужны молодые шляхтичи для службы в армии и на флоте, на верфях, рудниках, при прокладке каналов и дорог, в приказах. Людей не хватало, их зазывали из-за границы. Русь очнулась, стронулась с места, но двигаться могла лишь усилиями своих сынов. Если б старый князь не надеялся на скорую перемену в Мишиной судьбе, он поторопил бы свой уход, дабы не мешать внуку. Это грех, но страха божьего князь не ведал, он знал — все зло от людей. Уж больно хотелось поверить, что не засохнет их ветвь, вон другие Голицыны в большом фаворе при царе состоят и все вверх тянут.

Мишенька умный, а что не зубаст, так восполнит прилежанием, радением о государевой пользе, и притом он, потомок Голицыных, может позволить себе не толкаться, не работать локтями и не кусать исподтишка соперников. Про себя Василий Васильевич знал, что на любом поприще для успеха одного лишь прилежания недостаточно, надо уметь пускать в ход зубы, а иной раз напрочь рвать другим горло, если фортуна сама не выберет тебя в любимчики, да уж больно хотелось ему славы и успеха для Мишеньки, в этом видел он оправдание своей незадавшейся жизни.

Миша в самом деле прославится, но совсем на иной манер, нежели мечталось опальному временщику. Слава его прогремит по свету, о нем будут слагать стихи еще при жизни, писать пьесы, он станет героем оперы и того нового призрачного искусства, появление которого не мог предвидеть его дед. В энциклопедических словарях будет он стоять отдельно от всех Голицыных: остальные и сам Василий Васильевич, тягавшийся с царем, и славный Голица, давший имя роду, и все воители, все государственные деятели пойдут в одной рубрике: ГОЛИЦЫНЫ, один Мишенька — наособь. Эту честь он заслужит, явив в своем лице величайшее унижение человека, до которого доводило когда-либо самодержавие «нижайших рабов своих», — так подписывался в посланиях к Елизавете Петровне знаменитый немецкий философ Иммануил Кант, став на короткое время подданным императрицы.

Но все это ждало Мишу в далеком будущем. А покамест и самому причудливо-злому не могло представиться, что под хмурым пинежским небом добродушный, румяный не по климату, неглупый и смиренный юноша зреет для столь удивительной и редкой участи. Рядом с ним

тихо угасал выдающийся, с несостоявшейся судьбой деятель России — первый среди тех, кто, играя в большие, грозные игры, где ставка — человеческая голова, определил ужасную судьбу своего внука.

Надежда изгнанника оправдалась: когда Миша достиг юношеского возраста, его затребовали в столицу. Как ни больно было старому князю расставаться с последней своей привязанностью — к остальной семье относился он с прохладной ласковостью, — он был счастлив. А внук, похоже, не разделял этого чувства. Миша испытывал грусть не только от разлуки с дедом, было жаль оставлять суровую и милую землю, ведь иной он не ведал.

В самом нежном возрасте он просто не понимал, что семья его живет совсем не так, как ей следовало бы по знатности и заслугам предков. Подобно всем местным мальчишкам, Миша радовался každодневному бытию: летом — солнцу и птицам, осенью — морозке и клюкве, зимой — снегу, санкам и небесному сиянию, весной — близости короткого северного лета. Он рос на деревенской улице, а в непогожие дни сидел в теплой избе, что-то мастерил, слушал сказки. И до чего ж вкусна была сырая семга и прихваченная морозцем клюква.

Позже он узнал, что его семье надлежало жить не в глухой деревушке на краю света, под надзором, а в палатах каменных или богатой усадьбе, в окружении многочисленной челяди. Потерянный далекий и прекрасный мир представлялся довольно смутно, но тревожил воображение, впрочем, не настолько, чтобы в мальчике зародилась навязчивая, болезненная мечта об утраченном великолепии, о Москве белокаменной, — не мог говорить о ней без слез старый князь.

В тревоге юношеского созревания Миша стал чаще и томительнее думать о том, что скрывается за краем видимого пространства. Но вяловатая душа мальчика оставалась чужда честолюбию и мятежным порывам. Да, дед велик был в дни фавора, державу русскую под себя подмял, а чем все кончилось? С большой высоты падать больнее, хотя дед никогда не жалуется на судьбу. «Мог бы я стать царю первым помощником в его великих делах, — говаривал князь Василий, — ибо теми же глазами глядел на будущее Руси, те же вынашивал замыслы, да господь иначе рассудил. Послал мне наказание за мои грехи». — «А в чем твои грехи, дедушка?» — отважился

раз спросить Миша. «Много их... А худший — злоумышлял я против царя», — сказал старик, и замолчал, и никогда больше к этому разговору не возвращался.

Юность склонна к самообольщению. Но тут обольщалась пустой мечтой старость. А Миша не связывал особых надежд с той жизнью, которую знал только по рассказам, которая издали влекла его, но पुще страшила. Он, не видевший больших людных селений и путных домов, робел перед городом с его величественными соборами, высоченными колокольнями, каменными палатами, многолюдством, толчеей, шумом и ежился при мысли о важных, нарядных, самоуверенных господах, среди которых придется жить, пусть он и знатнее многих из них. Миша не представлял себе ни этой будущей жизни, ни службы и даже не знал, чем бы ему хотелось заняться. В рассказах деда его больше всего грели довольно скупые и пренебрежительные упоминания о подмосковной вотчине с огромным садом, прудами, с библиотекой и картинами на стенах. К этому примечывалась молодая хозяйка и всякая прелесть, думать о которой зазорно и раздражительно. Но вотчина давно отошла к другой ветви Голицыных, что были в чести у государя и вовсе не собирались уступать нагретого места внуку изменника. Как обычно бывает, жизнь сама распорядилась, а о намерениях юноши никто и не спрашивал.

Не успел Миша ни оглядеться в Москве, ни оробеть больше той робости, что уже жила в нем, как его доставили перед лицо царя. И тут Миша не испытал ни страха, ни какого-либо враждебного чувства к повелителю, сломавшему жизнь его семье. Дед сам говорил, что несет кару за свою вину перед царем, а он, Миша, ни в чем не виноват, ему бояться нечего. Впрочем, логический расчет ни при чем, просто он не боялся — и все!

Было время, когда самодержец пытался прощупать направляемых для обучения в чужие земли юношей по части грамоты, счета, географии и славных деяний предков, но вскоре от такой проверки отказался, убедившись, что ни один кандидат дальше псалтыря в науках не двинулся. Теперь Петр рассчитывал лишь на пронизывающую силу своего взгляда. Он заламывал юноше чуб и вперялся в глубь зрачков, пытаясь вычитать там ценность подданного. К чести юных шляхтичей они стойко выдерживали темный, мерцающий взор царя, открывая ему небесную прозрачную голубизну младенческого идиотизма. Но пить они начинали уже в каретах или возках

задолго до пересечения русской границы и не оставляя сего занятия во все дни обучения в Сорбонне, старых университетах маленьких немецких городков, амстердамской или лондонской навигационных школах. И все-таки многие из них научились в чужеземных странах не только танцам, поклонам и всякому светскому обхождению, но и полезным предметам: иностранным языкам, математике, словесным наукам, международным тонкостям для посольских дел и практическим занятиям по судостроению, вождению кораблей, строительному и рудному делам.

Как всегда, хотя и с большим, нежели обычно, интересом Петр впился в глаза юноше. Затем, желая поглубже погрузить взгляд в зрячие колодцы испытуемого, схватил Мишу за чуб и запрокинул ему голову. Голицыну было неловко и стыдно за царя, ни с того, ни с сего причиняющего ему боль. Он улыбнулся Петру: дескать, ничего, вытерплю.

— Счету обучен? — отрывисто спросил Петр.

Голицын ответил подробно.

— И латынь знаешь? — недоверчиво спросил Петр.

— Знаю, государь. Могу читать, писать и разговаривать.

— С кем? — хохотнул Петр, но лицо оставалось жестким, а взгляд темно и грозно пронизывающим. — Ты что, пустозерскую академию кончил?

— Дед был моей академией, государь.

— Изменник? — И Петр так сжал в кулаке голицынский вихор, что у того заслезились глаза.

Голицын не ответил.

— Овечкой небось прикидывался? Меня во всем виноватил?

— Нет, государь, всю вину на себе считал.

Петр сказал задумчиво:

— Он умный, твой дед... Кабы за Софьин подол не цеплялся... Ладно, поедешь в Париж, в Сорбонну.

И перед недавним обитателем волоко-пинежской пустоты развернулись парижские виды. Жизнь Миши в ту пору мало чем отличалась от жизни любого парижского студента, но значительно разнилась от жизни тех соотечественников, которые вместе с ним проходили курс наук в одном из старейших европейских университетов. То были юноши из состоятельных семей, получавшие от родителей щедрое содержание. Они жуировали вовсю, манкировали лекциями, чередуя светские и полусветские

удовольствия с вульгарными попойками, единственно для увлажнения горла, дабы оно вовсе не сохлось в стране сухих и полусухих вин.

Князь Голицын, не будучи приучен к вину в самые восприимчивые лета, выпивки чурался, он много читал, усердно посещал лекции, ходил в оперу и французскую комедию, конечно, не в ложи и не в партер, прогуливаясь по аккуратным французским садам и паркам, наслаждаясь не столько их расчисленной красотой, сколько дивными мраморными скульптурами в аллеях, изображавшими античных богов и героев, имел — за весь курс — две-три скромные связи, обнаружив серьезность и верность, весьма непривычные для легкомысленных французенков.

Почти так же — трудолюбиво и скромно — будет жить в Париже другой русский юноша, о котором Петр произнесет прозорливые слова: «Вечный труженик». Он будет с тем же старанием учиться, корпеть в библиотеках, насадно вызывать примадонн с галерки парнасской оперы, восхищаться скульптурами в парках, дворцами, всем красивым и утонченным, чем в избытке обладал Париж, но распорядится накопленным богатством удачнее Миши, что при этом не принесет ему счастья. Этот усердный и одаренный юноша, став зрелым мужем, приложит руку, хотя и без охоты, из-под палки — в прямом смысле слова — к великому издевательству над Михаилом Голицыным, обессмертив его в похабных стихах, хотя ему удавались и звонкие, чистые песни. Так переплелась жизнь двух русского происхождения парижских студиозусов разных лет: Михаила Голицына и Василия Тредиаковского.

По родине юный Голицын не скучал, ибо старая родина — Кологоры — при всей нежной памяти о ней уж слишком проигрывала в сравнении с блистательной Лютецией, а к новой, недавно дарованной — Москве, — он не успел привыкнуть, привязаться сердцем. По деду скучал, но приучил себя не думать о нем, зная, что больше с ним не встретится.

Если он раньше жил в пространственной пустоте, но в душевном угреве, то сейчас в густоте одушевленного и вещественного мира пребывал с незаполненной душой; веселые подружки, так любившие недорогие перстеньки, брошки и просто золотые монетки, могли дать лишь короткое тепло своего юного, ловкого, умелого тела — не больше. Но юный князь верил, что по окончании курса

получит служебное назначение скорее всего при одной из наших иностранных резиденций и тогда устроит всерьез и свой дух, и свою плоть.

Вопреки ожиданию по выходе из стен университета он был отозван домой и зачислен малым чином в военную службу, в захудалый армейский полк. Похоже, кому-то сильно не хотелось, чтобы внук опального временщика оказался близок ко двору и, глядишь, пошел бы в гору. Даже полуобразованные люди были нарасхват в петровской Руси, а тут пренебрегли выучеником лучшего европейского университета.

Многие дворяне считали, что военная служба — кратчайший путь к успеху.

Вот и роду Голицыных строго разграничивались дарования: были Голицыны — воины и Голицыны — государственные мужи, между ними находились Голицыны — баре, склонные к роскошной жизни, изящным искусствам и проживанию больших состояний. Мой скромный герой принадлежал, несомненно, к третьему типу Голицыных. Баре — байбаки — эстеты Голицыны порой достигали временного успеха в дворцовой или государственной службе, но Михаил Голицын этой возможности не имел. Отдаться же своей прямой склонности — сибаритству — тоже не выходило: надо служить, да и пуст карман. А к воинской трубе он был положительно глух.

В армейской службе оказались вовсе не нужны все приобретенные им знания, глубоко изученные языки, мудрость прочитанных книг, воспитанный на изящном вкус, безукоризненные манеры. Требовались качества прямо противоположные, которых Голицын был напрочь лишен: решительность, жестокость, грубость, умение беспрекословно подчиняться высшим и беспощадно давить низших. Все это было чуждо его натуре, он не снискал благоволения командиров, симпатий товарищей и благодарности низших чинов, державших его за придурка. Солдатам было ни тепло ни холодно от его бессильной доброты; пусть он сам держал руки на привязи, за него зверовали другие офицеры. Выходило так на так.

Неизвестно, в каких он участвовал кампаниях и как проявил себя в деле, лавров, во всяком случае, Голицын не стяжал. Его чело украсит в свой час иной венок: из капустных листьев, пучков редиски, петрушки и огородных сорняков. Но это позже, когда житейский путь будет пройден почти наполовину.

Голицын жил чужой жизнью, пустота внутри него все

ширилась, и, чтобы хоть как-нибудь ее заполнить, он женился. Впрочем, тут отсутствовал волевой жест, он позволил себя женить на помещицкой дочери, засидевшейся в девках. За женой взял он приданое — справное именье, но армейская служба помешала свить гнездо. Походная жизнь уводила его прочь от дома, где ж тут было привязаться к жене и детям!

Голицыну было около сорока, но дослужился он только до майора, в то время как его сверстники ходили в полковниках и генералах. Знатные люди быстро поднимались в чинах, ибо начинали не с нуля, их зачисляли в военную службу, когда они еще размахивали игрушечной сабелькой. У Михаила Алексеича подобного преимущества не было. Он покорно тянул армейскую лямку, поняв, что внуку волоко-пинежского изгнанника хода не дадут, покорно принял смерть жены, покорно уступил детей опекунову ее родителей, а в смутные дни, наступившие за кончиной Петра, вышел в отставку. И это не было волевым жестом, он просто выпал из армии, как лишний гриб из кузовка. И тут Голицын наконец очнулся от сонной одури и чего-то захотел. Трудно сказать, чего именно — характер у него был смятый, что объяснялось условиями, в каких он родился и вырос, он не смел желать и уж подавно заявлять вслух о своем желании. Добрые люди научили его отпроситься в Италию для поправки застуженного в бивачной жизни здоровья. Разрешение было получено, и он сразу укатил во Флоренцию, снова одинокий, свободный и не знающий, что с этой свободой делать.

На берегах Арно Голицын довольно скоро понял, как распорядиться своей свободой, — надо поскорее от нее избавиться. Отдав дань несравненной архитектуре — соборам, дворцам купцов и герцогов и старому баптистерию, дивному куполу Брунеллески, венчающему собор Санта-Мария дель Фиоре, галерее Уффици, — равно и нынешней прелести живого, кипучего торгового города с золотыми рядами на мосту через тенистую, пахучую и живописную реку, потолкавшись в густой веселой ночной толпе, он снял чистый — по итальянским меркам — флигель на окраине города у виноградаря, содержавшего небольшую трактирню тут же рядом, и поспешил влюбиться без памяти в его младшую дочь Лючию. В деревенском пригороде Флоренции ее отец считался богачом и был исполнен к себе немалого уважения. К русскому князю он относился в меру любезно, но без малейшей угодливости

и даже почтительности. Голицына скорее забавляло, нежели сердило самомнение винодела-трактирщика, которого он шуточно называл про себя будущим тестем.

Михаил Голицын мог по праву считаться мужчиной в самом соку, но все-таки разница лет между ним и любимой угнетала, сковывала и без того нерешительного князя. Лючия, смуглая, темноглазая, белозубая девушка, ничем не отличалась от других смазливых итальянок, способных вызвать мгновенное желание, исчезавшее без следа, стоило отвести взгляд. Но, видимо, чем-то все-таки отличалась, если впервые в жизни Голицына охватила страсть. Он и не подозревал, что способен так воспламеняться.

Подобным взрывом страсти некогда пленил царевну Софью князь Василий Голицын, причем оба так никогда и не догадались, что то была страсть честолюбца и реформатора, вдруг узревшего кратчайший путь к осуществлению грандиозных замыслов. В то мгновение, когда князь Василий осознал, что это мясистое лицо с тяжелыми серыми глазами, эта бесформенная плоть и неожиданно маленькие красивые руки, эти увядшие волосы и густые шелковистые брови вольны дать ему все, чего захочет ненасытная жажда свершения, его пробил дрожь, сообщившаяся Софье и кинувшая их друг к другу навсегда. Никому не разъединить было нашедших одна другую в сумятице мироздания половинок единой сути. Князь все понимал про нее. Софья могла ему изменять с топорным и сильным Шакловитым, когда Голицына не было рядом, — князь Василий сам разбудил в ней чувственность, не подвластную воле; но мечталось ей в медвежьих объятиях стрелецкого вожа о худом узком теле Голицына, его пронзающем до сердца жаре, и когда он возвращался из походов, большого, размашистого Шакловитого будто шапкой-невидимкою накрывало — Софья его не замечала. Жгучая память об их первом соединении была так сильна в ней, что она не заметила, не почувствовала его остуды. Про себя самого князь Василий понимал куда меньше, чем про Софью; недостающей ему половинкой была вовсе не царевна, а его собственная жена.

Внук князя не подменял одного чувства другим, и его страсть была неподдельна и, как всякое сильное, искреннее, излучающееся из сердца чувство, не могла не затронуть молоденькой итальяночки. Голицын слова ей не сказал, лишний раз взглянуть боялся, а девушка знала, что важный русский барин без памяти влюблен.

Охваченный испепеляющей страстью, Михаил Алексеевич мечтал о тайных уладах любви, но никак не о радостях законного брака. Подобный мезальянс просто не приходил на ум. Гедиминович, внук негласного правителя России, аристократ с головы до пят не мог взять в жены дочку крестьянина-корчмаря, как бы ни цвел ее юный рот, какие бы волны ни исходили от смуглого гибкого тела. Этого бы просто никто не понял. И потом разница в годах: через десять лет он будет стариком, а она только вступит в самый опасный женский возраст. Ночью Голицын ворочался без сна, прикидывая, какую бы сумму предложить отцу и какие подарки преподнести ей, чтобы избавиться от неутраченного жжения в груди и всех других беспокойств. Он попробовал подарить Лючии брошку с гранатами, которую приобрел за сходную цену в золотых рядах над Арно. Она засмеялась, приколола брошку к полупрозрачной ткани, прикрывающей легко дышащую грудь, чмокнула его дочерним поцелуем в крутой вспотевший лоб и вернула драгоценность. «Я не могу принять такого дорогого подарка». Никакие уговоры не помогли. «Отец убьет меня». Это было явным преувеличением, и Голицыну подумалось, что путь к корсажу дочери ведет через карман папаша, глубокий карман в холщовых штанах, где покоилось множество вещей: часы, ключи от винных подвалов, штопор, кисет с табаком, трубка и кресало, молитвенник, шприц для вытягивания винных проб, какие-то маленькие инструменты, складной нож и серебряные монетки. Усидев с торговцем три оплетенных бутылки «Кьянти», Голицын осторожно дал понять, что мог бы прекрасно обеспечить Лючию. Старик поинтересовался, что он имеет в виду. Виллу на ее имя в любом привлекательном месте Италии, коляску, лошадей, кучера и служанку. Трактирщик слушал благожелательно, попыхивая трубочкой и отмечая кивком каждый из посулов, потом спокойно сказал, что все хорошо, недостает лишь малости: божьего благословения. Если князь способен выдержать маленький церковный обряд, то пусть забирает Лючию, хотя и негоже ей опережать старших сестер.

Человек более решительный и предприимчивый, чем Михаил Алексеевич, наверное, не придал бы большого значения болтовне зазнавшегося корчмаря и постарался бы объяснить ему, какая пропасть разделяет знатнейшего русского вельможу (не беда, что он от сохлой ветви могучего голицынского древа), богача (для итальянцев

все русские — баснословные богачи) от миловидной флорентийской простолюдинки; мог бы подействовать на корыстолюбие старого крестьянина, посулив ему хороший куш на расширение дела, или попытался бы соблазнить Люцию, не оставшуюся безразличной к его влюбленности, — дородный, породистый и простодушный князь нравился женщинам; он мог, наконец, что было не редкостью в Италии, похитить Люцию с помощью наемных удалцов, но все эти отважные и дерзкие замыслы были не по Михаилу Алексеичу: даже охваченный страстью, он оставался человеком с деликатной душой.

И Голицын согласился на женитьбу, сделал по всей форме предложение, которое было милостиво принято, правда, с одним непременным условием, чтобы он перешел в католичество: за человека другой веры Люция не пойдет. Все его уверения, что у русских это не положено и может привести к тяжелым последствиям, оказались напрасны. Равно было отвергнуто предложение о принятии невестой православной веры. Старый трактирщик слыл фанатичным католиком, а Люция — послушнейшая из дочерей.

Тяжело менять веру, хотя Михаил Алексеич не отличался религиозностью, как и его вольнодумный дед. Тот, правда, учил внука закону божьему, но в святой вере не настаивал. Дряхлый кологорский попик, что-то брусивший в тихом безумии, и вечно пьяный дьячок не могли привить ему уважения к церкви. Да и после Голицын ходил в храм по обязанности, проборматывал положенные молитвы, не вдумываясь в их смысл и ничуть не уповая на помощь небесную. И коли такая отвлеченность вторглась между ним и любимой, то можно сменить религию, хотя всякая измена была ему не по душе. Он настаивал на одном: чтобы все произошло без лишнего шума. И обращение, и свадьба. Капризный кабатчик и тут было заартачился, поняв уже, что из князя можно веревки вить, но Голицын испугал его, сказав, что это грозит лишением состояния, если во дворе сведуют о его вероотступничестве. Будущий тесть согласился, потому что звонкую монету ставил выше своего католического усердия и крестьянского тщеславия. Все было сделано тихо и чинно.

Положа руку на сердце, Голицын не без тайного удовольствия решился на дерзкий и крайне опасный по тем временам шаг. Ему захотелось хоть раз в жизни совер-

шить свой поступок. До этого им безраздельно распоряжалась чужая воля, решавшая, где ему жить, чем заниматься, даже женитьба, выход в отставку и поездка в Италию были также ему подсказаны. Конечно, и к перемене веры его принудили, но этим оплачивалось счастье, а главное, тут был вызов, пусть тайный, тому порядку, который угнетал его всю жизнь. Он впервые почувствовал себя человеком, способным на самостоятельный жест.

Потекли дни безоблачного счастья, увенчавшиеся рождением очаровательной смуглой кареглазой дочки. И Михаил Голицын, безвинный узник, игрушка в руках царя, нищий сорбоннский студент, армейский тусклый офицерик, полубарин в неуспешном образоваться семейном доме, лишенный отцовства вдовец, узнал, что такое счастье. Он вложил кое-какие деньги в дело тестя и целиком отдался своей запозднившейся первой любви.

Он купил славный домик, увитый диким виноградом, с небольшим благоуханным садом, по которому пробегал звонкий ручеек, приобрел музыкальные инструменты — у него был хороший слух, он легко научился играть на клавесине, лютне и флейте, а Лючия мило пела низким, трогательно не идущим к ее летучей стати голосом. Страсть Голицына не только не утихла, но разгоралась все ярче, он похудел, загорел, красиво и гордо сидела крупная голова на широких русских плечах. Счастлива была и Лючия.

Он совсем забыл о России, но Россия помнила о нем. О, этот памятный разум государства, способный не забывать и о ничтожнейшем муравье из своей муравьиной горы, если тот помечен знаком неблагонадежности! Но далекая родина до поры молчала, занятая совсем другими, большими и тревожными делами. Такими серьезными делами, что, не оборонись старина руками молодого поколения, и Россия получила бы новую институцию, ограничивающую самодержавие. Многие видели в затее олигархов-верховников прообраз русского парламента. И снова это сотрясение империи, едва не приведшее к катаклизму, роковым образом отразилось на судьбе скромного, тихого человека, не державшего в душе иной заботы, кроме своей любви. Настывший в архангельской студии и армейском палаточном прозябании, Голицын самозабвенно грелся и никак не мог отогреться под жарким солнцем Италии.

После дворцовой чехарды — на трон сначала взшла

волей и дерзостью Меншикова поднятая Петром из лифляндской грязи Марта Скавронская, нареченная Екатериной, затем, после внезапной ее смерти, — законный наследник, царев внук Петр II, тоже не задержавшийся надолго и умерший в одночасье, что помешало придворным пронырам Долгоруковым возвести на престол обрученную с ним девицу из своего дома. За дело взялись «верховники», члены Верховного тайного совета во главе с решительным, умным, но политически близоруким князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, и пригласили на престол герцогиню Курляндскую Анну, ограничив ее права «кондициями» — условиями. Она была дочерью старшего брата и соправителя Петра, слабоумного Ивана Алексеевича. Вернее сказать, считалась дочерью, ибо недееспособный Иван не мог вздыбиться на любовь, он даже свет божий зрил, лишь приподымая пальцами застывшие взор веки. Анна, как и две ее сестры, была нагульным ребенком царицы Прасковьи — блудливой святоши. У Анны не было преимущественных прав на престол, но Дмитрия Михайловича Голицына устраивало, что она вдова, к тому же самая бедная, несчастная и бессильная из всех возможных претендентов на престол, стало быть, окажется игрушкой в руках верховников.

Анна Иоанновна, не любимая матерью, потерявшая мужа вскоре после свадьбы, третируемая царственным дядей, не признаваемая курляндским дворянством, влачила существование жалкое, почти нищее. Петр приказал отпустить ей на жизнь ровно столько, чтобы не дать помереть. К тому же к ней был отряжен в Митаву для пристального догляда гофмейстер Петр Бестужев. Догляд она чуть ослабила, сойдясь с честолюбивым интриганом. Когда Бестужева на время отозвали, у нее оказалось утешение более душевное: мелкий дворянин, искатель фортуны Бирен, недоучившийся студент — курс наук завершился для него побоями, которые нанесли ему корпоранты за дрянной, низкий характер и нечестность, — неудачливый карьерист — попытки пристроиться при русском дворе завершились опять-таки избиением. Дважды битый Бирен держался надменно, был он высок ростом, превосходно сложен и красив, несмотря на длинный острый нос. Он пристроился конюшим при герцогине Курляндской, взяв на себя заботу о жалких одрах, на которых она передвигалась. Давно пережившая свою весну, Анна влюбилась до умопомрачения в красавца-лошадника. Войдя в фавор, Бирен первым делом присвоил себе старинную княже-

скую фамилию Бирон, которую в ту пору с блеском носил знаменитый французский маршал, прославившийся на полях сражений и еще больше на ристалищах любви.

Анна Иоанновна, счастливая на любых условиях избавиться от гиблого курляндского заточения, без звука подмахнула кондиции, составленные князем Дмитрием Голицыным при вялом участии титулованных сподвижников, которые не шли за ним, а влачили на аркане сухонькою, но и властной рукой прирожденного диктатора. Среди условий было одно страшное для Анны Иоанновны: не брать с собой в Россию Бирона — ее единственную отраду, Кукленка, пропахшего конюшней, — для Анны Иоанновны эти дурманы были пленительнее всех дразнящих парижских благовоний. Чудовищное насилие над ее душой и плотью придало ей необходимую смелость в решительную минуту жизни.

Анна Иоанновна отправилась в Москву, куда при Петре II перетасили столицу, а Бирон тайно пробрался в Петербург и спрятался в дворцовых конюшнях, где почувствовал себя, как дома. Харчишками он запасся, воду лошадям приносили, а спать под боком у кобылы — что может быть лучше!

Пока Бирон находился в «стойловом содержании», произошла трагикомическая история рождения и тот час же последовавшей смерти российского «парламента». Но вождь этого обреченного на провал движения не был смешон. Заурядный военачальник и крупный администратор Петровской эпохи, ушедший в тень в дни засилья Долгоруковых, Дмитрий Голицын выступил на авансцену истории, когда Россия вновь осталась без царя в голове. Неурядицы, интриги, произвол временщиков, полное небрежение делами, забвение петровского государственного наследия, алчный цинизм и распад тех, кто когда-то «делал историю», привели страну в полное расстройство. Если б не страх, внушенный Петром исконным врагам России, могла бы повториться страшная заваруха Смутного времени.

В этих обстоятельствах, когда надо было действовать быстро, отважно и решительно, Дмитрий Голицын явил волю настоящего вождя. Но одно дело — растормошить вялых, тянущих каждый в свою сторону сподвижников, составить сильный документ, даже принудить будущую государыню к согласию на ограничение власти, и совсем другое — повернуть колесо истории. Для этого у Голицына не оказалось прежде всего понимания тех глубинных

движений и перемен, которые неотвратно творились под пеной внешней российской жизни. Не обойденная верховниками знать, не вмешательство гвардии сорвали планы Голицына, а впервые выступившее как единая сила дворянство, не учитываемая до сих пор в государственных расчетах часть привилегированного российского населения. Это они, шляхтичи, служилые люди царя, испугавшись, что вместо одного фаворита получат на шею десяток крутохватов, и вовсе не желая идти опять под боярскую руку, ударили челом Анне, чтобы она разорвала кондиции. Государыня не могла устоять перед единодушным гласом своих подданных и публично разорвала в клочья бумагу Голицына.

После этого она поспешила в Петербург, в конюшню к милому, которого нашла в кислом настроении, перепачканным с ног до головы навозом и сенной трухой. Она ничего не сказала, только издала тихое нутряное ржание, похожее на глубокий, со дна желудка хохоток. Он мгновенно все понял и ответил ей мощным всхрапом, заставившим всех кобыл в стойлах тревожно забить копытами. Так началось правление и счастье Анны Иоанновны, а верноподданное дворянство, подарившее ей самодержавную власть, вместе со всей Россией получило бирюзовщину.

Дмитрий Михайлович Голицын не ошибся, отпев свое дело такими словами: «Пир был готов, но гости были недостойны его! Я знаю, что я буду его жертвой. Пусть так — я пострадаю за отечество! Я близок к концу моего жизненного поприща. Но те, которые заставляют меня плакать, будут проливать слезы долее меня». Провидческие слова, но едва ли он думал, что самые горячие слезы, хотя они никогда не выкатятся из глаз, омывая внутреннее лицо, будет проливать его внучатый племянник, ни сном, ни духом не причастный к делам «верховников» и узнавший о них с большим запозданием. Анна Иоанновна не посмела тронуть влиятельнейшего среди старой знати князя Дмитрия и даже назначила его членом восстановленного в своих правах Сената, никакой роли в государственном управлении не игравшего. Но князь в Сенат почти не являлся, проводя все время среди книг, картин и статуй в своей подмосковной вотчине — селе Архангельском.

Анна затаила против него лютую злобу и только ждала случая, чтобы свести счеты с человеком, едва не вырвавшим из ее рук абсолютную власть и, что еще хуже,

пытавшимся разлучить ее с любимым. Случай такой представился в 1736 году: Голицына примазали к некрасивой тяжбе его зятя Константина Кантемира со своей мачехой, вдовой молдавского господаря, угодливо отыскивали вину и присудили к смертной казни. Но и тогда императрица не решилась пролить кровь Дмитрия Голицына и всемилоостивейше заменила казнь заточением в Шлиссельбургскую крепость. Имущество князя было конфисковано и, как обычно в подобных случаях, ушло к Бирону, уже получившему стараниями Анны титул герцога Курляндского.

Примерно в это же время вспомнили о подзадержавшемся на лечении в Италии Михаиле Алексеевиче. Случайно ли это произошло или захотелось императрице иметь под рукой всех членов ненавистной голицынской фамилии, сказать трудно. Голицынское древо так разрослось, что не счесть ветвей, но все же род переживал упадок: крупных людей произвели, а дети их еще не вошли в возраст, другие сами померли, третьи были вроде Михаила Алексеевича — оробевшие. На виду оставался лишь один Голицын, столь далекого ответвления, что мог считаться скорее однофамильцем, нежели родней опальных Голицыных.

Послушный Михаил Алексеевич вернулся со всей возможной поспешностью, привезя с собой жену и ребенка, хотя внутренний голос подсказывал ему, что делать этого не следует. Да уж больно отогрелась его душа возле них и непосильным казался холод нового одиночества.

Князь прикинул, что человек он маленький, отставной, никому не мешает, состояньице у него незавидное, дай бог с семьей прокормиться, ни в каких интригах и заговорах сроду замешан не был, а в тревожную для государства пору дегустировал вино в подвалах тестя и с верховником Голицыным не был даже знаком.

Доложившись о приезде, Михаил Алексеевич избрал местожительством Москву, подальше от двора, а жену с дочкой поселил в Немецкой слободе. В долгом путешествии от берегов Арно до Москвы-реки и Язуы он достаточно наслушался о всех событиях, сопровождавших вступление Анны на престол, и о том, что беспокойный род его снова покрыл себя ненужной славой, и что страной правит курляндец Бирон, не занимающий никакого поста, но владеющий сердцем императрицы. Много чего еще услышал Михаил Алексеевич и сильно опечалился.

Михаил Алексеевич обладал малым опытом российской жизни, знал ее больше по рассказам деда да по скудным наблюдениям во время гарнизонного стояния своего полка в провинциальных городках. Не было у него и друзей закадычных, которые могли бы просветить его насчет отечественных порядков, а главное — насчет опасностей. И когда появился молодой Алексей Апраксин, муж его дочери от первого брака, отпрыск старинного боярского рода, особенно возвысившегося при Петре, Голицын обрадовался ему, человеку своего круга, которому можно открыть душу. Они сблизились, Голицын признался зятю, что переменял веру, и объяснил причину.

Апраксин был человек странный. Собой благообразен, ловок, несколько вертляв, как-то въедливо сердечен и легок мыслью. Казалось, он забывает слышанное тут же: в одно ухо влетает, в другое вылетает. И Голицын открылся ему, не столько доверяя его надежности и скромности, сколько полагаясь на изумительное беспамятство графа и безразличие к чужой жизни. Апраксин был с тобою, пока видел тебя, и тут он мог произвести впечатление заинтересованности, душевности и благожелательности, но стоило расстаться, тотчас забывал о тебе: с глаз долой — из сердца вон. В какой-то мере такие люди удобны для общения, особенно в огнепальное время.

Апраксин нигде не служил, имел порядочное состояние и много свободного времени. Он обрадовался возникшему, словно из небытия, тестю, как радовался любому развлечению. Голицын, конечно, был поставлен в известность о сватовстве Апраксина и послал дочери свое отеческое благословение с берегов Арно, но встретились они с дочерью равнодушно. Их ничто не связывало, кроме тусклых воспоминаний. И поскольку в этих воспоминаниях не было чего-либо значительного и теплого, они скорее отчуждали, нежели способствовали сближению. А вот Апраксин его заинтересовал. Михаил Алексеевич впервые видел человека своего круга, столь приверженного вульгарным увеселениям. Тот мог целыми днями толкаться в Китай-городе, глазеть на бродячих лицедеев, плясунов, фокусников — особенно любил крикливого кукольного Петрушку, — на юродивых у папертей церковных, на вечно пьяных, задиристых бесприходных попишек возле храма Василия Блаженного и фальшивых белоглазых слепцов, гнусавым распевам выпрашивающих подавание, на ползунов, горбунов и прочих нищих калек; обожал

уличные потасовки, травлю мелких воришек, избиение — вумерть — крупных, ссоры лоточников, балаганные чудеса вроде волосатой женщины или пожирателя огня. А вот к домашнему театру императрицыной сестры, где давались назидательные спектакли с пением и музыкой, Апраксин оставался равнодушен. Казалось, он не может заполнить пустоту внутри себя. Впечатления вытекали из Апраксина, как вода из худого ведра; наслонявшись по кривым улицам, отбив бока на запруженных площадях, проведав знакомых, посидев в трактире, не поленившись сгонять в Кукуй, наслушавшись низких, в чреве закипающих басов кремлевских дяконов на всенощной, посетив какую-нибудь ассамблею или театральное представление и, казалось, налитый впечатлениями всклень, он утром вставал пуст и сух и нуждался в новом наполнении.

Голицын не принадлежал к тем, кому всякая несхожесть кажется уродством, болезненным вывертом. Причудливый нрав и странные привычки зятя скорее располагали к нему Голицына, редко встречавшего оригинальных, самобытных людей. К тому же Апраксин был прекрасный слушатель — жадный, отзывчивый, а сам рассказывать не любил: уж известное, пережитое и как бы отработанное было ему скучно. Требовались новые впечатления, новые дрова, чтобы гореть. Откровенность Михаила Алексеевича с близким по родственным узам, но малознакомым человеком объяснялась и стремлением переложить часть собственной ноши на чужие плечи — отсюда идут все ненужно доверительные разговоры, — и желанием произвести впечатление, задержать на себе рассеянный голубой взгляд зятя, стать чем-то, человеком с судьбой, загадкой, тайной, а не облаченной в кафтан и панталоны пустотой. Порой Голицын сам начинал сомневаться в своем существовании. Он обретал вес плоти и жар духа, лишь когда перешагивал порог чистенького домика швейцарского часовщика в Немецкой слободе, приютившего за скромную плату его жену и дочь, и оказывался в объятиях заплаканной, осунувшейся Люции. Да, не на такую жизнь соединяла она свою судьбу с богатым русским герцогом, владельцем роскошных палаццо, загородных вилл и толпы рабов. К чести Михаила Алексеевича, он никогда не хвастал своим несуществующим богатством, все это великолепие явилось распаленному воображению алчного тестя-винооторговца. Люция же не заносилась высоко, вполне довольная той обеспеченной жизнью, какую они вели в Италии. Но она не понимала, почему

на родине мужа должна ютиться у чужих людей, выходить на прогулку только вечером, не отлучаясь далеко от дома, видаться с законным супругом изредка и украдкой, прятаться в задней комнате, когда приходят клиенты или соседи старого часовщика. Тот попытался растолковать ей, что у русских браки людей разной веры не положены. Но ведь они с мужем единоверцы, возразила Лючия, князь принял католичество. Тем хуже, по здешним законам ей следовало бы перейти в православие. Измученная женщина была готова на все, но тогда и Голицыну надо перекрещиваться, а попробуй он сделать это тайно!

Сам Михаил Алексеевич пребывал в странной печальной беспечности, сродни обреченности. Похоже, что в некоем тайном провидении, не допускаемом до ума, он угадывал, чем все кончится, и где было ему восстать против судьбы? Да и что он мог? Подкупить попа? А ну-ка тот заботится и донесет. Бесприходные попы, правда, что хоть за деньги сделают, а потом проболтаются спяна. В глубине души Голицыну не хотелось отказываться от единственного поступка, тем более что в успех он не верил. Оставалось ждать. Нет, не ждать, ибо впереди не светит, а делать вид, будто ничего особенного не произошло. Ну, жили они с Лючией вместе, сейчас живут врозь — бывает и так у людей. Он, когда в армии служил, вовсе редко видел свою жену. И ведь Лючия, как и ее папаша, сама хотела, чтобы он стал католиком, вот и терпи, нельзя менять веру, как исподнее.

Все эти мысли, конечно, не утешали. Вид несчастной, испуганной Лючии и жалкой мышки-дочери сутилил беспомощностью, виной и стыдом. Когда же он поверялся Апраксину, то как бы вставал над маемой: да, его удел таиться и страдать, но он посмел и ведет свой счет с богом.

Апраксину не надоедало слушать историю любви и вероотступничества Голицына. Он приходил в страшное возбуждение. Парик сползал с головы, и без того вытаращенные от неумного любопытства глаза чуть не вываливались из орбит, пот тек со лба на веки, щеки, губы, подбородок, за шелковый шейный платок, который, намочая, из лилового становился черным.

Вначале Апраксин просто слушал, но однажды, видать, прочно закрепив в уме, вопреки обыкновению, главное событие, стал расспрашивать о католических храмах, церковных обрядах, одежде священников и причта, о

всех отличиях от православной службы. Польщенный его интересом, Голицын с увлечением, какого на самом деле не испытывал, принялся живописать великолепие и головокружительную высь католических церквей и соборов, украшенных дивными фресками и картинами, скульптурами и витражами, красоту и торжественность богослужения, органную музыку, уносящую душу в горние выси, всю пышность католической церкви, поставившей себя выше владык земных. Ему было немного стыдно, когда он так разливался: его деревенскому воспитанию, заложенному в детстве, остались чужды подавляющая мощь, бесстыдная красота, вызывающее богатство католических храмов и помпезно-холодноватых служб. Не будучи истово верующим, он, случалось, испытывал в бедной деревянной поповке сладкое до слез волнение, а в католических храмах его рассеянный взгляд вбирал лишь внешние впечатления, а душа молчала.

Через некоторое время Михаил Алексеевич узнал, что его зять Апраксин тоже принял католичество. И сразу тревожно мелькнуло: это даром не пройдет. Конечно, он и вообразить не мог, чем обернется поступок слишком впечатлительного и беспечного графа.

Когда же Голицына затребовали в Петербург, он уже не сомневался, что едет на правёж. С какой стати двору помнить о его мышином существовании? Апраксин проболтался, он, может, и не выдал его, только хвастался своим переходом в другую, зело роскошную веру, но смекалистые люди небось сразу учуяли, откуда ветер дует. Михаил Алексеевич спешил и не смог перед отъездом повидаться с легкомысленным зятем. Он не научился думать о людях так плохо, как они того заслуживают. Апраксин и не скрывал, кто «отверз» ему «вежды», и, впервые сохранив все подробности бесед с «духовным отцом» в своей худой голове, поведал любопытным о тайном браке Голицына с итальянкой, которую тот прячет в Немецкой слободе.

И пока князь Голицын, успокоив, как мог, жену, тащился на перекладных в Петербург, оттуда же поспешал гонец к московскому губернатору с приказом немедленно выслать из пределов России итальянскую девку Люцию с байстрючкой — брак по католическому обряду монаршей волей был признан недействительным. Вез он и другое повеление, составленное в не менее энергичных выражениях: отрядить в Тверь Сергея Бугурлина и Герасима Ларионова с помытчиками, тайниками и силками для

поимки объявившейся там белой галки. Это второе поручение немало озадачило губернатора, не считавшего себя в ответе за тверские редкости.

Да, сама императрица заинтересовалась скромной персоной Михаила Алексеевича. Когда московский донос достиг Петербурга, в злобном сердце Анны вспыхнула мстительная радость. Наконец-то она хоть на одном из Голицыных отыграется до конца за их зверование над коленом Иоанновым. Дважды посягали, окаянные, на законную от бога власть! Сперва князь Василий хотел возвести на престол Софью и самому сесть рядом, лишив короны ее отца Ивана и соцарствующего с ним младшего брата Петра. Этот-то, хитрый, сбежал в Троице-Сергиеву лавру, а простодушный, доверчивый Иван остался у них заложником. Хоть и смутен был ему окружающий мир, но страх, душный, неотступный страх преследовал Ивана, сорвались на вечной опаске слабые силы, помер страдалец в тридцать четыре года, оставив вдову и трех дочек на произвол младшего братца. Петр вволю поиздевался над сиротами. Средняя сестра, окрутившись тайком с Мамоновым, выпала из царевых расчетов, а им с Катериной досталось по «сокровищу», по грязному борову: Катьке — мекленбургской, а ей — курляндской породы. Катька от своего сбежала, а ее красавец, слава те господи, быстро от пьянства окоचурился, но успел наплевать в душу молодой жене. Не появивсь Кукленок, жеребец статный и горячий, хоть руки на себя накладывай. А тут вдруг за светило неожиданное счастье, открылся путь к трону. И снова поперек Голицын высунулся, близкий родич того, Софьиного усладника. Бог милостив, отвалился и этот, сейчас в Шлиссельбурге кашку просяную пустыми деснами перетирает. И ведь глазом не повел, старый коршун, ни когда ему смертный приговор зачитали, ни когда по высочайшей милости жизнь даровали. Он уже раз чуть не сыграл в ящик при Петре по делу лисы и казнокрада Шафировова. Отмолила его невесть с чего Екатерина Алексеевна, которую он иначе как Мартой Скавронской и драгунской подстилкой не величал. Что за слабость такая владела обеими императрицами, когда миловали они подлица? Уважение к древнему роду? Да ведь Долгоруковы, поди, не уступают Голицыным, а как она сама их всех по совету Кукленка, жеребчика — золотое копытце, перепластала: кого на колесо, кого на плаху. А главного смутьяна оставила доживать в бесчестье. Глядишь, долго не протянет, верные порошочки раздобыл умница Пед-

рилло-шут. И вот опять Голицын — от рождения ссыльный, отставной майоришко, пустельга, нищий — показал родовой характер: святой вере изменил, жену-еретичку взял да еще дурачка Апраксина сбил с истинной веры. За это голову снять мало. То-то и оно, что мало. Этим она не разочтется с Голицыными за весь стыд и страх, за позор молодых лет, за унижение, которому, виданное ли дело, подвергли ее, уже императрицу; за Кукленка, вывалявшегося в конском навозе, пока над ней изголялись, за все... Так рассчитается, что он плаху за милость сочтет, когда будет каждый день умирать от стыда, плевков, затрещин, публичного осмеяния, когда станет ниже самого последнего из ее подданных, ниже бессловесной твари. И наслаждением сочилось сердце угрюмой Анны, едва она представляла себе медленную казнь Голицына.

По пути к кабинету императрицы Михаилу Алексеевичу то и дело попадались какие-то странные люди: карлики, арапы и арапчага (с Петровых времен, с черного Ганнибала пошла мода на африканцев и при дворе и в домах знати, а кому не по карману африканцы, красили жженой пробкой своих марфушек и тишек); козлобородый горбун в полосатых обтяжных штанцах, плаще до половины ягодиц и с пером в бархатной шапочке при виде Голицына заблеял и ткнул его головой в живот так ловко, что не смял красного пера, и вприпрыжку побегал прочь. Затем из двери выглянул кто-то, длинный, худющий, с морщинистым серьезным лицом, в шляпе горшком, украшенной цветами и куриным пухом; он подмигнул Голицыну карим зорким глазом, странно подмигнул — насмешливо и невесело — и скрылся. Чуть не наскочил на князя погруженный в невеселую думу роскошно одетый вельможа преклонных лет. Голицын остановился, чтобы пропустить почтенного придворного, но тот вдруг очнулся, скруглил испугом глаза и юркнул в какой-то закуток. Голицына удивили его поперечно-полосатые шерстяные чулки, так не подходившие к изысканной одежде. Последним повстречался князю стройный смуглый молодец, одетый, как итальянский синьор, но в странной, усыпанной бисером шапочке и со скрипкой в руке; он провел смычком по струнам, родившим долгую, томительную, скулящую ноту, и высоким резким тенором, почти фальцетом, пропел, ломаясь: «О, кара миа, донна Лючия!..»

Князь вспомнил популярную неаполитанскую песенку, его тревожно резануло имя — Лючия.

Через несколько минут князь Михаил Голицын узнал, что у него нет жены, нет дочери, нет имени, но взамен всех потерь он получил должность придворного шута...

Поразительно было пристрастие угрюмой Анны Иоанновны к шутам, придуркам, карликам, арапчатам, забавникам всякого рода. У нее на службе было шесть шутов мужского пола, двое достались по наследству от Петра: знаменитый Балакирев и козлобородый португалец Лакоста, в прошлом маклер и мелкий аферист. Петр подарил Лакосте необитаемый островок на Балтийском море и пожаловал титул царя Самоедского. Лакоста был хитер, неглуп и удивительно начитан в священном писании. Петр любил дискутировать с ним на религиозные темы. Лакоста и Педрилло-итальянец пользовались особой любовью Анны Иоанновны, создавшей специально для них орден Сан-Бенедетто — уменьшенную копию второго по значению русского ордена святого Александра Невского. Легко представить, как это «льстило» кавалерам высокого ордена — сановникам и генералам, но императрица любила унижать людей без всякой нужды. Скрипач Педрилло — его настоящее имя Пьетро Мира — приехал в Россию с итальянским театром, но предпочел музыке более прибыльную должность придворного шута. Он был в большом фаворе у Анны и Бирона. Они использовали его посредничество при найме итальянских певцов и танцоров, поручали ему покупку бриллиантов и прочих драгоценностей у обедневшей итальянской знати. Сохранилось поразительное по нагло-издевательскому тону письмо Педрилло к одному разорившемуся и «глупому до изумления» герцогу. Педрилло был силен, ловок, великолепно владел шпагой и еще лучше — кинжалом, его опасались задевать. Бирон, не разделявший пристрастия императрицы к шутам — он сам любил только деньги и лошадей, — делал исключение для Педрилло и даже заводил его для разных смешных проделок. Об одной из таких изрядных шуток рассказал Петр Долгоруков в своих записках о нравах при дворе Анны Иоанновны.

«Как-то Бирон сказал Педрилло: «Правда ли, что ты женат на козе?» — «Ваша светлость, не только женат, но моя жена беременна, и я надеюсь, мне дадут достаточно денег, чтобы прилично воспитать моих детей». Через несколько дней он сообщил Бирону, что жена его, коза, родила, и он просит, по старому русскому обычаю, прийти

ее навестить и принести в подарок, кто сколько может, один-два червонца. На придворной сцене поставили кровать, положили в нее Педрилло с козой, и все, начиная с императрицы, — за ней двор, офицеры гвардии, — приходили кланяться козе и дарили ее. Это дикое шутовство принесло Педрилло 10 тысяч рублей».

Самым несчастным среди шутов был князь Никита Федорович Волконский. Он стал жертвой императрицыной мести его жене, в прошлом знаменитой красавице, презиравшей жирных и неопрятных дочерей царя Ивана Алексеевича. Едва укрепившись на троне, Анна своей монаршей волей постригла Волконскую в монастырь, а на ее мужа напялила шутовской колпак. Его зятьями были преуспевающие государственные мужи, братья Бестужевы, но даже эти родственные узы не помогли бедному старику. А самих Бестужевых, людей гордых и надменных с низшими, ничуть не смущала принадлежность родича к шутовской кувыр-коллегии.

Впрочем, и могучий клан Апраксиных пальцем о палец не ударил в защиту графика Алексея, тоже зачисленного в шуты за отступничество от правой веры. Анна Иоанновна сочла, что усугубит унижение Голицына, если тот будет кочевряться рядом с зятем,

В отличие от Волконского и Голицына, молодой Апраксин нисколько не тяготился жалкой ролью. Можно подумать, что он наконец-то обрел свое истинное лицо. Его шатания по рынкам, площадям и тесным улицам Китай-города в поисках грубых увеселений, пристрастие к балаганам, уличному театру, кривлянию бродячих актеров были безотчетным поиском собственной тайной сути. Теперь он нашел себя. Шут по призванию, Апраксин с веселой охотой выламывался на глазах Анны и ее двора: падал, кувыркался, раздавал затрещины и сам получал их, подставлял подножку своему неповоротливому тестю или рассеянному князю Волконскому, скакал верхом на палочке, задирали Балакирева и царя Самоедского, плясал под скрипочку Педрилло, вызывал громкий смех и был вполне счастлив. В роли шута он оказался злым человеком: затевал драки, обижал бедных арапчат и не пропускал случая причинить неприятность безответному Голицыну.

Самым жалким, униженным, заплеванным шутом был Михаил Голицын. Когда Анна обрушилась на него с площадной бранью и он понял, что жизнь рухнула, у него разом выпали волосы. Он не знал этого, пока не снял па-

рик, — весь клееный марлевый испод был забит его выпавшей русой шевелюрой. Несколько минут императрицыного грома и молний превратили цветущего мужчину в старика с голой, как бильярдный шар, головой. Любимым развлечением Апраксина было сдернуть парик с лысой головы тестя, это неизменно вызывало благосклонный смехок государыни и брезгливую усмешку Бирона.

Вместе с волосами Голицын утратил и то, что называется чувством собственного достоинства, точнее, ощущение себя как личности.

За дружбу с кавалером Монсом, соблаздившим жену Петра, прошедший застенок, пытки, битье кнутом, ссылку, солдатчину дворянский сын Балакирев и то, бывало, огрызался на императрицу и даже на самого Бирона, откладывал им в повиновении, за что был нещадно сечен, но повадки своей независимой не бросал. Педрилло и Лакосту боялись трогать; князя Волконского щадили; Апраксин так охотно шел навстречу оскорблениям, пинкам и тычкам, что с ним не интересно было заводитьсь. Отыгрывались все кому не лень, на Михаиле Голицыне. Тон задавала императрица.

Как-то Голицыну велено было подавать гостям освежающее питье — разные квасы: хлебный с изюмом и хренком, клюквенный, яблочный, грушевый, вишневый. Начинать обнос надлежало с государыни. То ли квасок и впрямь не удался — да ведь не Голицын его готовил, — то ли во рту горчило, но императрица, сделав глоток-другой, сморщилась, плюнула и с силой выплеснула из кружки остаток в лицо Голицыну. Державный жест сочли нужным повторить все придворные, кроме князя Куракина. За свою испытанную преданность он один получил право напиваться на дворцовых приемах, хотя Анна извела древний обычай изобильного винопития; князь на дух не переносил квасу, а горячительные напитки слишком уважал, чтобы ими плескаться.

Да, шутка получилась отменная. Разве не смешно, когда человеку обливают рожу пенистым квасом, но поведение Голицына усугубляло комизм. Уже зная, что остаток кваса непременно угодит ему в глаза, он не пытался ни увернуться, ни прикрыться рукой, ни хотя бы прорваться досадой, гневом, жалобой. Нет, он всякий раз наивно удивлялся коричневой или другой окраски жиже, стекающей с подбородка на камзол. Он тер лицо ладонями, разглядывал их удивленно, обтирал о панталоны и шел за новой кружкой кваса, что-то бормоча и задумчиво поку-

сывая губы. Голицын словно решал какую-то непосильную задачу и тратил на это все душевные силы, не оставляя ничего для обиды, гнева, возмущения или молчаливого призыва к состраданию. Нет, он всегда оставался серьезен, задумчив и покорен. Какой-то стержень сломался в Голицыне, в нем не осталось воли ни к сопротивлению, ни к самозащите. Он безропотно принимал все, что над ним творили, и только хотел постигнуть омраченным рассудком, что же такое случилось, почему все так переменялось в его жизни, куда девались те, с кем ему было хорошо, и откуда пришло столько вражды и зла. Ответ ускользал, и он сердился на себя за недогадливость.

Вместе с квасом, выплеснутым в лицо, государыня подарила Голицыну и новое имя, хотя вовсе о том не помышляла. Это имя попало во все дворцовые ведомости, официальные бумаги, вытеснив наследственное, «крестным отцом» оказался шут Балакирев.

— Квасник! — давась от смеха, сказал Балакирев, хотя темные глаза его оставались сумрачными, и ткнул Голицына пальцем в живот.

Придворные разразились хохотом, даже Бирон позволил себе улыбнуться и швырнул Балакиреву золотой, который тот ловко поймал. Видя такую щедрость по-немецки экономного Кукленка, Анна Иоанновна, расточительная до болезненности, сорвала с пальца бриллиантовый перстень и кинула Балакиреву. Он так же ловко поймал и этот дар, глянул на пляшущего под свою скрипочку Педрилло, усмехнулся, подметив его алчный, завистливый взгляд, и не спеша, чтобы позлить итальянца, насунул перстень на мизинец. Питанный, битый, познавший бешеный гнев Петра, шут Балакирев не боялся шута Педрилло со всем его итальянским коварством.

Кличка присохла. Теперь у Голицына было отнято последнее — имя. Он смирился и с этим, как и со всем другим. Кончать с собой надо было сразу, но человек со смятой душой был лишен дара последнего жеста. И он отозвался на Квасника. Прибавилось лишь умственной заботы, надо было что-то понять в связи с новым именем: почему так, разве дозволено, коли не крестили... и как понять — имя ему дали или фамилию?.. — но даже вопроса перед собой толково поставить не мог. Неглупый, образованный, живой человек неудержимо катился в черную яму.

Помимо шутов «мужеска пола», у Анны Иоанновны имелся еще штат шутих, или, как она сама говорила, дур и полудурок. К последним относились болтушки,

обычно из девиц благородного происхождения, их разыскивали по всей стране. Как только доходил слух, что где-то в российских пространствах объявилась выдающаяся трещотка, туда немедленно посылался циркуляр, составленный в той же строгой манере бюрократического веле-речия, что и другие официальные бумаги, касающиеся дипломатических, хозяйственных или военных дел, и циркуляр этот предписывал немедленно доставить ко двору в целости и сохранности говорливое чудо. Болтушки заменяли Анне Иоанновне газету: «С.-Петербургские ведомости» были сухи, казенны и ничего интересного, кроме сообщений об охотничьих трофеях императрицы, не помещали. А ей требовались городские сплетни: кто женился, кто проворовался, кто с кем согрешил, у кого ребенок родился, кто жену или тещу поколотил, кто да чем занедужил. Лишь о смертях Анна Иоанновна не любила слушать, и если какая трещотка пробалтывалась, она кричала: «Кукла, поди вон!.. Ступай, ступай вон!» — и швыряла в провинившуюся чем попало. Болтушкам запрещалось садиться в присутствии императрицы — у них деревенели ноги, кружилась голова. Одна из трещоток сильно недужила и как-то после нескольких часов беспрерывной работы языком вдруг грохнулась в обмороке. Анна Иоанновна приказала принести столик и ширму. Болтушку привели в чувство, сунули за ширму и разрешили опереться локтями о столик, после чего она вновь открыла словесный кран. Анна Иоанновна боялась оставаться наедине со своими мыслями, ибо сразу начинала думать о том, что трон, который она легко получила, так же легко может быть отобран.

Лучше других отвлекала Анну Иоанновну от тягостных мыслей любимейшая шутиха, камчадалка Буженинова. Конечно, то была не настоящая фамилия, которой она и сама уже не помнила, — Бужениновой прозвала ее государыня, предпочитавшая всем изысканным блюдам простое и вкусное кушанье из свинины. Рядом с крошечной, хоть и не карлицей, всегда грязненькой и неумно веселой дурочкой, в миру Евдокией Ивановной, государыня особенно приятно ощущала превосходство всех своих женских статей: фигуры, дородства, роста. Буженинова любила яркие шали и побрякушки, государыня обряжала свою любимицу, как рождественскую елку, а та платила ей заразительной улыбкой, открывавшей тридцать два белейших неровных, спереди чуть выпирающих зуба. Улыбка эта веселила, успокаивала.

Больше Бужениновой Анна Иоанновна любила только Бирона, но то была страсть. Ради него тяжелая, сырая, часто недужившая императрица заделалась лихой, бесстрашной наездницей, привязалась к лошадям и даже устроила кабинет при конюшнях, ради него стала меткой ружейной охотницей, лучницей и бильярдисткой, ради него вела большую карточную игру в «фараон», «банк» и «квинтич», хотя не выносила карт; она всегда держала банк, чтобы проиграть, а если это не удавалось, не обменивала выигранные марки на деньги. Чрезмерная тароватость императрицы дорого обходилась ее придворным: мотовство предписывалось всем желающим появляться при дворе, требовались умопомрачительные, всегда новые туалеты и обилие драгоценностей, необходимо было умение сорить деньгами, на чем немало выгадывали шуты, кроме Волконского и Голицына; первый старался не принимать подачек, второй никогда их не заслуживал, хотя в шутовской возне ему отводилась наиболее докучная и тягостная роль. Если играли в чехарду, он подставлял широкую спину для прыгунов, если дрались, то самые крепкие затрещины доставались ему; всем шутам, кроме Педрилло, на утреннем выходе императрицы полагалось сидеть в лукошке и приветствовать ее петушиным кукареканьем. Только Голицыну велено было квохтать наседкой и хлопать крыльями.

И тут на свою беду ему удалось додумать одну мысль: наседка квохчет и хлопает крыльями, когда сносит яйцо, а он ничего не сносит. Это мудрое соображение он осмелился высказать императрице своим новым просевшим скрипучим голосом:

— Квасник, дурак, что ты городишь? — запрочитала Анна Иоанновна, — Квасник, поди вон!

— Собака лает, лягушка кричит, — высунулась, сверкая сахарными зубами на грязном лице Буженинова, — ямщиком свищет, кошкой мяучит, стрикодоном стрикодонит, а пузырем лопнет!

То была поговорка-скороговорка Анны Иоанновны, где она ее подхватила, бог ведает, императрица почему-то любила слышать этот бессмысленный набор слов от других, но придворные всегда сбивались, и это ее сердило. Одна дура Буженинова выпаливала, не споткнувшись, затейливую чушь, и всякий раз государыня обнаруживала тут какой-то неожиданный смысл. Вот и сейчас поговорка оказалась весьма кстати — навела государыню на счастливую мысль. Хватит стрикодону зазря стрикодонить: коль

сидишь в лукошке и квоччешь, так уж высиживай цыплят. Отныне Голицыну всякий раз стали подкладывать, в лукошко еще теплые, из-под наседки, яйца. Он не смел покидать лукошко, пока не выведет цыплят. Случалось, что по неловкости или задремав, он давил яйца. Тогда ему вымазывали физиономию клейкой массой и запрещали утираться. Допоздна ходил он в мерзопакостном виде. Умывали его квасом.

К штату шутов и шутих императрицы принадлежало несколько арапов и арапчат с несмываемой чернотой плосконосых лиц и десятка два разноцветных попугаев, которые гадили всюду, кроме своих позолоченных клеток. Анна Иоанновна очень ими утешалась.

— Попугаюшко!.. Попугаюшко!.. Марфутка дура?

— Дур-ра! — со смаком подтверждал палево-розовый хохлатый попугай.

— Попугайчики, Квасник дурак? — спрашивала императрица.

— Дур-рак! Дур-рак! Дур-рак! — ликуя, орали спящие золотые, кроваво-красные с синими крыльями, дымчато-черные с малиновыми коронами, зеленые, как гороховые стручки, изумрудные и снежно-белые красавцы. Этим крикам пернатых обучил Лакоста.

Михаил Алексеевич наклонял большую лобастую голову, с которой тотчас падал парик, обнажая глянec голого черепного свода, и задумывался над очередным мучительным вопросом, который никак не мог поставить перед собой, хотя не было на свете ничего важнее. Шуты принимались толкать его, тормошить, а четырнадцатилетний Биронов сын, допускаемый на взрослые собрания — хлестать по икрам злым кнутиком из сыромятной кожи. Шуты одевались не хуже вельмож, отличали их поперечно-полосатые шерстяные чулки, предписанные отечественным дуракам. Педрилло и царь Самоедский щеголяли в обтяжных штанах с продольными широкими полосами. Они все числились на дворцовой службе, получали жалованье и довольствие: мукой, топленным маслом, салными свечами и дровами, как и первые российские академики, один из которых неизменно присутствовал на дворцовых приемах, занимая промежуточное положение между шутами и попугаями. То был знаменитый пиит Василий Тредиаковский, пробудивший в высшем обществе тягу к стихам. Всякое значительное событие: взятие вражеской крепости, тезоименитство государыни, заключение мирного договора, благополучное разрешение от бремени

любимой кобылы Бирона, любой праздник или тризна непременно требовали поэтического воспевания. Порой возникала настоятельная нужда в поэзии, способной возбудить государыню. Она чувствовала легкое остужение Бирона и винила в том самое себя, постоянные недуги притупляли ее чувственность. И на это был великий мастер Василий Кириллович. Стоя на коленях перед императрицей, он читал любверазжигающие вирши и неизменно получал «всемиловнейшую из собственных Ее Императорского Величества рук оплеушину» и детишкам на молочишко.

Этот замечательный деятель русской культуры, прививший России классицизм, а русской поэзии — силлабо-тоническое стихосложение, прожил жизнь немногим лучше голицынского горевания поры его придворной службы. Его и бивали, и раз едва не забил насмерть кабинет-министр Артемий Вольтер. Волею providения этот омерзительный даже для грубых и страшных нравов той поры поступок напрямую связан с злосчастной судьбой Голицына, о чем речь пойдет в свое время. А избиение несчастного поэта было опрометчивым ходом в смертельной игре, в которой решались не только личные судьбы главных людей эпохи, но и всего общерусского дела. Так уж получилось, что маленькой жизнью Михаила Алексеевича Голицына управляли события исторической грозности.

Прошло время, Михаил Алексеевич так и не обрел привычки к выпавшей ему доле, не приспособился, не облегчил хоть сколько-нибудь жалкой своей участи. Он оставался изгоем даже среди шутов, и странно, что мстительная злоба Анны Иоанновны не только не утишилась, не смягчилась хотя бы скукой от покорного унижения человека, не сделавшего ей ничего плохого, а как-то дурно затвердела. Она подозревала, что таинственным, непостижимым образом Квасник ослабил действие кары, вывернулся из той скорби, которая читалась в мученическом взоре князя Волконского. Тот продолжал томиться болью по жене, а этот грузный, мерзко сановитый дурак ушел в какую-то щель, где его не достать ни пинками, ни квансом. Однажды Анна Иоанновна заставила Буженинову спросить шута при ней: скучает ли он о жене? Квасник сделал такое глубокомысленное лицо, что стало ясно; он не понял, о чем идет речь.

Голицын не притворялся, он и правда не помнил своей прошлой жизни, но смутный образ чего-то бывшего брез-

жил неясным томлением, и хотелось угадать черты того, что он в предельном и мучительном напряжении определял: раньше было не так. А как?.. Этого он не знал. Анна была по-своему права. Муку Голицына скрало помрачение рассудка, которого хватало лишь на прямое действие сиюминутной жизни. Голицын сохранил от забытого прошлого некоторые мелкие привычки, скажем, дважды в день потчевать нос понюшками табака, сохранил всегда отличавшую его опрятность, осанку, так смешившую придворных, а государыню остро раздражавшую, но почти отвык говорить, хотя все слова помнил. А с кем и о чем было ему говорить? Он никогда не улыбался, но и не плакал. Получал удовольствие от бани, особенно на полке, но не испытывал боли от побоев. Голицын не обижался на окружающих, ибо не понимал их поведения; наверное, эти человекоподобные иначе не могут, а он не может поступать по-ихнему.

Меж тем он приближался к пику своей страшной жизни, к тому, что сделало его известным не только в России. Вернее сказать, его несло к этому пику в бурном потоке, каким давно обернулась тогда историческая жизнь России, сам он был щепкой, размокшим бумажным корабликом.

Анна Иоанновна, по определению тогдашней медицины, страдала тяжелой «каменной болезнью». Граф Петр Панин в своих записках утверждал, что внутри государыни находился камень величиной с мельничный жернов, «который обнимал всю внутренность утробы и совершенно обезобразил устройство оной». Окружающие чувствовали, что дни ее сочтены, но сама Анна упорно гнала мысль о смерти и через силу старалась поддерживать прежний образ жизни: с лошадьми, охотой, стрельбой по птичьим стаям из окон дворца, карточной игрой, бужениной и Бироном. Но принимала теперь лишь самых близких, оставаясь нередко в постели, под пышным атласным одеялом, в ногах у нее скоморошничала Буженинова, а в головах — грудастая Биронова жена Бенингна подавала государыне лекарства и предписанное врачами освежающее питье. Квас был уже не про ее честь.

Постоянное недомогание, дурное настроение требовало выхода, и Анна отыгрывалась на шутах, болтушках, арапках, Третьяковском и даже на попугаях, которых берегли, — птица заморская, ценная, нежная, — но однажды государыня в порыве неудовольствия все милостивейше вырвала хвост у златоперого, с пунцовой короной

красавца собственными ее императорского величества ручками. Без этого украшения он почему-то не мог летать, смешно кувыркался в воздухе, падал и пронзительно орал. Вначале это развлекало, потом стало раздражать, попугая ощипали, зажарили и жесткое — не прожевать — мясо скормили двум наиболее жалким шутам: Голицыну и Волконскому. Апраксин тоже просил кусочек, но ему не дали.

Всех волновал вопрос о наследнике. Петр I принял узаконение о том, что наследника назначает царствующий государь, но сам преемника не назначил, чем и вызвал большую смуту. Всесильный князь Меншиков подарил России последовательно двух монархов, прежде чем успокоиться в Березовской ссылке; удачно «распорядился» престолом князь Дмитрий Голицын «со товарищи», за что и был награжден заточением, а товарищи — плахой. Забегая вперед, скажем: по смерти Анны Иоанновны престолом распорядилась гвардия. Как бы предчувствуя грядущие неурядицы, Анна решила навсегда закрепить трон за коленом Иоанновым: она вызвала к себе племянницу Анну Леопольдовну Мекленбургскую и объявила наследником первенца мужского рода незамужней еще принцессы. К исходу тридцатых годов, когда императрица серьезно занедужила, принцессу выдали замуж за герцога Брауншвейгского и с нетерпением стали ждать наследника, который и появился в должный срок и был наречен Иваном. Но кому быть регентом в пору малолетства Ивана VI? Конечно, матери — племяннице и наперснице императрицы. Это казалось естественным всем, в том числе самой Анне Иоанновне, но не Бирону, герцогу Курляндскому, ведь регент — неограниченный правитель России. Прозрачный расчет временщика «соединить Россию и Курляндию под своим скипетром» вовсе не устраивал другого честолюбца, кабинет-министра Артемия Петровича Волынского.

Либеральные русские историки, равно и доверчивые исторические романисты, хотели видеть в Артемии Волынском то, чего в нем не было: бунтаря, защитника шляхетских вольностей, непримиримого борца с бироновщиной. А был он несостоявшийся временщик. Ему не удалось сыграть той роли, какую играли Меншиков, Иван Долгоруков, Бирон, он появился на авансцене русской истории слишком поздно, когда все главные места у кормила власти были расхватаны. И хотя Петр успел его приметить и выделить, он остался самым непреуспеваю-

щим птенцом гнезда Петрова. Волынский слишком торопился сравняться со старшими баловнями фортуны и великими казнокрадами: своим шефом Петром Шафировым и кумиром Меншиковым. Едва войдя в милость к Петру, он вскоре ее лишился по необузданному мздоимству, своеволию и служебным злоупотреблениям. Большой карьеры Волынский так и не сделал, но успел разорить молодую Астраханскую губернию и возмутить инородцев своими притеснениями и грабительством, равно и обобрать Казанские земли, где он сперва воеводил, потом губернаторствовал. Он вошел в доверие к Анне Иоанновне, выступив против верховников, а затем участвуя в несправедном суде над ними в самой видной роли. Колоссальными взятками он расположил к себе и Бирона.

Ленивой умом Анне он понравился своими четкими, ясными докладами (писать, по собственному признанию Волынского, он «всегда был горазд»), исполнительностью, беззаветной, как ей казалось, преданностью и был назначен кабинет-министром. Так он оказался на высоте, с которой возможен любой, самый далекий прыжок. В пылком воображении Волынского мелькали смелые планы: заместить при Анне Бирона, осилив того радетельным государственным умом, для чего он пытался наставлять ее макиавеллистически тонкими посланиями («горазд был писать»), но вскоре похоронил эти расчеты — Анна была слишком предана Бирону, к тому же недолговечна. Тогда он обратил взор к Анне Леопольдовне: что, если войти к ней в доверие и подчинить себе легкомысленную сластолюбивую дуру, как подчинил кумир Данилыч государыню Екатерину Алексеевну? Но он решительно не нравился Анне Леопольдовне, признававшей лишь обходительных, лощеных кавалеров. Тогда он вспомнил о дочери Петровой Елизавете, законной, черт побери, наследнице царя-преобразователя: вот бы кого возвести на престол, а там и сесть рядом в качестве законного мужа — он далеко не стар, крепок и по неумемному духу сродни шалой принцессе.

Сближение с умными людьми: Татищевым, Еропкиным, Хрущовым дало новое направление его мыслей. Он скинет Бирона, но не путем интриг, сомнительных амуров, а опираясь на смелое, вольнолюбивое шляхетство, которое сделало Анну самодержицей, защитив ее от верховников, а в благодарность получило бироновщину. Пора посчитаться за все надругательства, пора оградить свои права от наглости курляндского временщика. Это

свободолюбие загадочно и гармонично соседствовало в Во-
лынском с планами личного возвышения. Однажды он
публично пролил слезу, представив себе, как будет гор-
диться его сын величием отца.

Способный искренне вдохновляться всем, что может
принести ему выгоду, Волынский всерьез рассуждал с
друзьями-единомышленниками о необходимости государ-
ственного переустройства и законодательного утвержде-
ния прав дворянства, набрасывал разные проекты, ко-
торые потом все оказались в руках Тайной канцелярии.
В одном Волынский был до конца искренен, когда на до-
просе, на дыбе отказывался признать себя ниспроверга-
телем. Он просто хотел куролесить над Русью, как Бирон.
Чем он хуже?..

Благоприятели русского шляхетства что ни день соби-
рались у Волынского, болтали языками, но ничего не де-
лали для осуществления своих честолюбивых замыслов,
даже не пытались приобрести сообщников среди дворян
в армии или чиновничьей среде. Добились они лишь одно-
го: по городу потек слух о заговоре. Поражает легкомыс-
лие, доверчивость и безалаберность главных действующих
лиц тех кровавых спектаклей, которые разыгрывались
перед вечностью. Заговорщики то собираются в доме, пол-
ног слуг, и даже забывают притворить двери, то разгла-
зывают в кабаках на радость осведомителям, то, пре-
небрегая перлюстрацией писем, открывают душу друзьям,
знакомым, подругам в горячих посланиях, губя не только
себя, но и своих адресатов; из-за жалких промашек про-
валиваются дерзкие планы, но порой столь же безответ-
ственные люди производят государственный переворот с
ротой гвардейцев — легкомыслие противников превосхо-
дило их собственное.

Как ни беспечен и ни самоуверен был Волынский, но
вскоре он почувствовал если не охлаждение, то насторо-
женность императрицы. А потом Бирон откровенно дал
понять, что против Волынского интригуют. Бирону нуж-
ны были клеветы среди влиятельных русских, нельзя же
опираться только на немецкую партию, но он напрасно
полагал, будто Волынский годится на эту роль. Ублаго-
творенное, пусть и не насытившееся до конца честолю-
бие столкнулось со жгуче неудовлетворенным и потому не-
примиримым честолюбием. Волынский не вял предуп-
реждению, а вскоре чем-то задел Бирона. Тот надулся,
Волынский пренебрег обидой фаворита. Бирон увидел, что
на Волынского рассчитывать нечего, тот ведет какую-то

свою игру. Он принял это к сведению и холодно возненавидел кабинет-министра.

Друзья дали понять Волынскому, что он зарвался. Выход был один — вновь завоевать расположение Анны. Это было непросто: государственной заботой ее не проймешь, плевать она хотела на российские дела, когда ее собственные так плохи. Желтая, мрачная, с жерновом в чреслах, возлежала она на высоких подушках, изводя капризами заботливую Бенингну, то и дело гневалась на болтушек, которые от усердия языки себе обтрепали, усаживала их за пяльцы. Вместо «сорок» приказывала доставить гвардейских солдат с женами, они должны были плясать и водить хороводы. Но и это быстро надоело, гвардейцам давали по бокалу венгерского вина и отсылали прочь. Шутов Анна Иоанновна видеть не могла, от них у нее начиналось разлитие желчи. Одного Педрилло изредка звали, чтобы поиграл на скрипке. Она еще отзывалась на неумную и ласковую веселость Бужениновой, и то ненадолго: «Куколка!.. Кукла!.. Пошла вон, надоела!..»

Волынский понял; надо измыслить какое-то небывалое увеселение, чтобы императрица встряхнулась, забыв о боли, взыграла духом и плотью, изобрести что-нибудь грандиозное — в Нероновом духе. Спать Петербург?.. На это могут не пойти, к тому же нет холма, с вершины которого хорошо наблюдать игру пламени, вся окрестность — плосина. Да и зима на дворе, значит, увеселение требуется в российском студеном роде, а не в римском — жарком.

Волынский прикинул туда-сюда и поделился своими мыслями с друзьями.

— Давно бы так! — отозвались «реформаторы». — Наконец-то очнулся. Только чем ее удивить?

— Представляется мне санное шествие великое, — чуть неуверенно начал Волынский, но затем голос его налился, — всех народов, населяющих нашу землю, даже самых диких: самоедов, иргизов. И чтобы каждая народность в своем одеянии была, со своей музыкой. А сани будут запряжены и лошадьми, и верблюдами, и оленями, и собаками, и быками...

— Свињями тоже, — подсказал молчаливый умный Хрушов.

— А кто на них ездит?

— Кто хошь. Нешто Анна, тем паче Бирон знают русские обычаи? А занятно!

— На свиньях Остреман с Левенвольде поедут, — предложил зодчий Еропкин.

— Не шуткуй, — одернул его лобастый серьезный Татищев. — На свиньях поедет тот, кто государыне не потрафил: дани не уплатил или бунташным делом баловался.

— Слона надо, — снова сказал Хрущов.

С этим все сразу согласились, хотя и не очень понимали, при чем тут слон и кто на нем поедет. Но слон — это величественно.

— Пусть восчувствует государыня, сколь необъятна ее держава, — вдохновенно продолжал Волынский, — сколько разных народов под ней ходит. Оболезет ее сердце законной гордостью, и хворь отступит. Да и потешат ее нарядами, песнями, плясками все эти уроды.

— А всежки этого мало, — пригасил его радость упрямый Татищев, всегда желавший добраться до последней сути. — Шествие — хорошо, да ведь оно должно куда-то прибыть. Не во дворец же их поведут.

— Эк куда хватил! — с досадой сказал Волынский. — Разведем костры па площади, выкатим бочки вина, цельных быков и кабанов на вертела насадим. А как нажрут-ся, прогоним домой.

— Не о сволочи всякой, о государыне речь, — веско сказал Татищев. — Ты ее, что ль, на площади потчевать будешь?

— Ладно, не тяни, — поморщился Волынский, догадавшийся, что головастый грамотей чего-то удумал.

— Ледяной дом нужен! — изрек Татищев.

— Дом?.. А зачем?

— Дом — это так говорится... Дворец изо льда — и снаружи, и изнутри. И в этом ледяном дворце, за ледяными столами пир закатить, какого еще в целом свете не бывало.

— Смеешься, что ли? — неуверенно сказал Волынский. — Нешто можно такой дворец построить, и кто за это возьмет-ся?

— Можно, — тихо и спокойно произнес зодчий Еропкин. — В нашем климате — и говорить нечего. Даже итальянцы ледяные капризы строят, а в такой морозище!.. Изо льда, Артемий Петрович, строить сподручней, чем из дерева, камня или глины. Он и режется легко, и никакого крепежу не требуется, окромя воды. Хочешь, я все в полном виде и плепорции изображу?

Но когда через несколько дней Еропкин представил

рисунок, изображающий весь дворец целиком, и чертежи его отдельных частей, Волынского снова взяло сомнение: неужто такое осуществимо? Еропкин заверил, что можно смело показывать проект государыне, и коли она утвердит, то все будет исполнено до тонкости и даже сверх того прелестнее. «Пойми, Артемий Петрович, — убеждал его Еропкин, — коли мы обманем государыню, ты выкрутишься, а ведь мне карачун». Последний довод убедил Волынского, который в своих жизненных расчетах полагался лишь на низменные свойства человеческой природы: страх, корысть, зависть, мстительность — и никогда на благородные. Друг Еропкин сказал правду: коли с ледяным домом что будет не так, ему конец, если и не от Анны Иоанновны, то от самого Волынского. Ноздри рвут за меньшие провинности — за подстреленного рябчика или куропатку, ибо вся дичь принадлежит государыне — Диане-охотнице. Но за обман доверия помазанницы божьей ноздрями не откупишься.

Рисунки и чертежи Еропкина произвели на Анну Иоанновну большее впечатление, нежели Волынский мог надеяться. Ее серое обрюзгшее лицо порозовело и высветилось. А услышав о шествии народов, она чуть с кровати не соскочила. Она не выразила ни малейшего сомнения в осуществлении всего этого грандиозного и невиданного праздника и сразу назначила Волынского главой машкеральной комиссии. При всей своей проницательности Волынский не проглянул причины столь сильного воодушевления Анны Иоанновны. То была месть Кукленку, который в последнее время, ссылаясь на важные заботы, почти не приходил к ней. Зато Волынский не обманулся в благожелательном отношении Бирона к его планам: по немецкой сухости и отсутствию воображения тот не поверил в затею с ледяным домом и от души желал пошатнувшемуся кабинет-министру скорейшего падения.

Но теперь уже Волынский знал, что все будет: и ледяной дворец, и шествие народное, и даже слон, за которым послали к персидскому шаху. Немало соболей, куниц, песцов и горностаев потребовалось в уплату. Еропкин решил по зрелому размышлению поставить возле дворца второго слона — ледяного, и этот слон будет выбрасывать из хобота нефтяной огонь. Волынского опять взяло сомнение: в своем ли тот уме? Но глаза зодчего смотрели светло и ясно, и Волынский успокоился.

И все-таки апофеоз праздника, едва ли не превзошедшего все чудеса, придуманные Волынским и его шта-

бом, родился в проснувшемся уме императрицы: шутовская свадьба. Куколка Буженинова уже не раз говорила со смехом, что ей осточертело в девках ходить, не хочет она помирать, не изведав сладости любви. Государыня надсаживалась от хохота, слыша эти признания от грязной, засаленной, зубастой полукарлицы. Но когда Буженинова вновь завела свою погудку, Анну вдруг осенило: «За чем же дело стало? Кругом вон сколько кавалеров: и беленьких, и черненьких». — «Я девица приличная, — возмутилась Буженинова, — теремного воспитания. Я в грехе не хочу. Чтобы все по божескому закону». — «О том и речь, выбирай себе жениха, враз округим, а свадьбу сыграем в ледяном доме». Буженинова вдруг как-то странно засмеялась, стала кувыркататься, дурачиться, притворяться сконфуженной. «Ладно, — решила Анна, — выдадим тебя за короля Самоедского, будешь мне как сестра». — «Да какой он король! — взвизгнула Буженинова. — Бродяга, протерь вроде меня. Нет уж, матушка, в сестры я тебе не прошусь, а вот княгиней быть очень даже желаю. Пойду только за Голицына, он твоей заботой один у нас холостяк». Бедный Михаил Алексеевич стоял так низко, по мнению Анны, что она даже не сообразила, что речь идет о нем, и стала припоминать, какие Голицыны остались на виду. Один есть, но далеко за ним лезть. «Да ты, Куколка, с остатнего ума съехала. Нешто возьмет тебя президент юстиц-коллегии?» — «А ты дурее меня, матушка, — нахально отозвалась Буженинова. — Больно нужен мне твой президент, сама с ним целуйся. Я о нашем говорю, о Мишеньке, очень он мне по душе». — «О Кваснике? — наконец-то сообразила Анна, и злое сердце ее возликовало: вот оно, последнее, ни с чем не сравнимое надругательство, которого так недоставало, — округить Гедиминовича с грязной полудуркой-камчадалкой. — Целуй руку, Куколка, быть тебе княгиней». Но какая-то жалость к этой дурехе шевельнулась в императрице. «Неужто тебе не противно?» — спросила Анна почти сочувственно. «А чего?.. Он мужчина видный... С положением, — закатывая глазки, ломалась Буженинова. — Да и ты, матушка, чай, не поскупишься — подбросишь на свадьбу деревеньку». И это понравилось Анне: Буженинова, конечно, хотела угодить ей, идя под венец с заплеванным слабоумным шутом, хотя Анна могла бы выдать ее за писаря, за поповича и даже за офицера: дай ему повышение, крестик в петличку и «душек» — любой согласится. Но хорошо, что

шутиха сама назначила себе награду, не любила Анна быть кому обязанной, даже шутихе; все должны быть в долгу перед ней. «Быть посему!» — государственным голосом изрекла императрица Анна.

Узнав о жениховстве Квасника, Апраксин, Балакирев и король Самоедский увенчали его венком из капустных листьев, петрушки, укропа и разных сухих трав. Голицын покорно принял дар и ходил в срамном венке, пока тот не рассыпался.

Распоряжение императрицы о свадьбе шутов удивило единомышленников Волынского неожиданной пронзительностью ленивого ума императрицы. «Гуманная» выдумка вызвала восхищение у доморожденных кромвелей, решивших положить предел своевластию русских монархов.

— Недаром у ней с Петром один корень! — умилился Еропкин.

— Какие они кровные, коли Петра Салтыков настрогал? — раздумчиво произнес Татищев. Впрочем, от кого Анна, тоже неведомо.

— По такому поводу вирши надобны, — заявил Хрушов.

— Какие еще вирши? — Волынский никогда не мог уследить за извилистыми ходами его сокровенной мысли.

— Молодую чету славящие. В одически-высмеивательном роде. Зело непристойные. Императрица похабство любит, а гневается только для вида. Пиите ТрEDIAKовскому сколько табакерочек да перстеньков перепало!

— Сия поэзия в Европе анакреонтической прозывается, — изрек Татищев.

— Полегче! — предупредил Волынский, не любивший, чтобы перед ним заносились. — В Европе народ изнеженный, а нашему уху позабористей надобно. Ничего. Васька ТрEDIAKовский справится.

Когда славно задумано, все идет к рукам. Затеял Анну развлечь и свое положение укрепить, а заодно вышло Голицыных чванный род в грязь втоптать да еще с паршивцем ТрEDIAKовским почитаться. Волынский, гордившийся своим происхождением от героя Куликовской битвы воеводы Волынского-Боброка, все равно выходил ниже Гедиминовичей и не мог им этого простить. С ТрEDIAKовским был иной счет. Еще со студенческих парижских дней поэт пользовался покровительством Кураки-

ных, заклятых врагов Волинского. Кабинет-министр подозревал, что по наущению Куракина ТрEDIAковский написал на него гадостные вирши, имевшие хождение в Петербурге. Раболепствуя перед государыней и Бироном, ТрEDIAковский был весьма сварлив в академии, да и перед вельможами не всегда гнул спину. Раб уживался в нем с другим человеком, знающим себе цену. Сейчас Волинский покажет, какая ему цена. Одно дело — развлекать императрицу виршами в анакреон... тьфу... роде, другое — публично прочесть похабную оду, славящую свадьбу пошлых шутов: сам себя в грязь втопчет, раздувшееся ничтожество!

И все же ни одно задуманное дело, даже если им правят такие сильные руки, как у Волинского, не проходит совсем гладко. Затруднения, самые порой неожиданные, возникли во все дни подготовки к празднеству. То сдох на полпути отправленный из Персии слон: сожрал с сеном каску и колет ратника, отряженного к нему в охрану. Как оказались в сене эти предметы? Конечно, можно было обойтись одним ледяным слоном, но Волинский любил каждое дело доводить до конца, тем паче что сметливый Еропкин нарисовал дивную золотую клетку, в которой повезут шутов на слоне из храма в ледяной дом. Ратника забили и назначили другого, шаху выслали новые щедрые подарки — мех черно-бурых лисиц, и второй слон благополучно прибыл в Петербург, вызвав легкое волнение в городе, быстро, впрочем, подавленное.

Немалые хлопоты доставило собрание по всей стране инородцев, входящих в Русскую империю. При первом беглом подсчете их оказалось такое множество, что голова пошла кругом. Решили, что обсчитались: одних и тех же узкоглазых зачислили по разным «ведомствам». Обратились в академию, но оттуда прислали список чуть не вдвое больший. В академии, если исключить Василия ТрEDIAковского, сидели одни немцы: что они в русских обстоятельствах понимают, им лишь бы свою ученость показать, а заодно создать помеху русскому делу. Этот список кинули в печь, а ранее составленный своим умом привели в надлежащий вид: так, всех насельников земель за Оренбургом и к югу зачислили в иргизы, всех, кто к Кавказским горам жметя, — в абхазцы, жителей далеких восточных пределов — в якуты, сделав исключение для камчадалов в честь невесты Бужениновой, обитателей же моховых тундровых пространств — в самоеды. И все равно народов оказалось чуть ли не больше, чем

во всей Европе: хохлы, чухонцы, мордва, черемисы, башкиры, калмыки, чувашаи, вятчи, молдаване, татары — всех не перечесть.

Слон — существо нежное, избалованное, неудивительно, что первый посланец из Персии сдох в пути, хотя, казалось бы, что такое его необъятному желудку колет и каска! Жители же Российской империи — народ закаленный, в дороге не портящийся, но и здесь случались накладки. Кто опился, кто какую-то дрянь сожрал и от живота изошел; у самоедов олени передохли — к нашей траве не приучены; иные до того запаршивели и обтрепались в дороге, что пришлось их в госпиталь класть на поправку и откорм, а платье новое по ихним образцам шить.

Но ни разу не пал духом Волинский, ни разу не мелькнуло у него, что не справится, — слишком велика была ставка. Если б такую энергию на дело пустить, то можно было бы осчастливить всех иргизов, абхазцев, якутов, самоедов, и для внутренних народов еще бы осталось. Великую транжирку Анну Иоанновну не только не смущали, но радовали чудовищные расходы, она, не думая, подмахивала любой счет. Бирон, конечно, злился, что деньги текут мимо его кармана и в немалом количестве прилипают к ладоням великого казнокрада Волинского. Но тут герцог Курляндский заблуждался: Волинский впервые, имея дело с казенными суммами, не только ими не корыстовался, но и свои добавлял. Утешала Бирона лишь мысль о неминуемом позорном провале кабинета-министра.

Зима в тот год выдалась крепкая и без капризов. Неву как схватило льдом, так уж не отпустило. Снегу выпало в пропорции — достаточно для надежности зимников, но без завалов и непролазных сугробов. В Петербурге не было ни вьюгов, ни метелей, ничто не мешало возведению ледяного дворца. Вопреки опасениям Волинского, именно это, казалось бы, сложнейшее и ненадежное дело продвигалось без сучка и задоринки волей и умением Еропкина и безответной покорностью исполнителей. Рубили лед на Неве, тут же нарезали ровными плитами и на санях отвозили на площадь меж Адмиралтейством и Зимним дворцом, где надлежало стоять ледяному дому.

Еропкин говорил, что нету большего удовольствия, чем строить из льда: не нужно ни кирпича, ни камня, ни дерева, ни крепежного раствора, ни гвоздей, ни мра-

мора или гранита для отделки, ни кровельного железа, ни жести для водостоков — только синеватый чистый лед из Невы и невяская вода.

В положенный срок поднялось ледяное сверкающее чудо. Его столько раз описывали в прозе и поэзии, изображали на картинах и в рисунках, что нет запала с видом первооткрывателя шагать в чужой, глубоко втоптаный след. Лучше привести два старых текста, из которых первый замечателен своим старинным красноречием, а второй — сухой протокольной точностью.

Вот что писал член Санкт-Петербургской Академии наук, физик, профессор Георг Вольфганг Крафт, коллега Тредиаковского, предваривший свои упоминания о том, что лед — малоупотребительный материал, до сих пор из него делали лишь в Италии оконницы, стаканы и зажигательные стекла; последним занимался прославленный французский физик Мариотт.

«Здесь, в Санкт-Петербурге, художество гораздо знатнейшее дело изо льда произвело. Ибо мы видали из чистого льда построенный дом, который по правилам новейшей архитектуры расположен, и, для изрядного своего вида и редкости, достоин был, чтоб, по крайней мере, таково ж долго стоять, как наши обыкновенные дома... На сем месте (между двумя весьма достопамятными строениями, а именно — между созданною, от блаженных и вечнодстойных памяти императора Петра Первого, адмиралтейскою крепостью и построенным, от блаженных ж и вечнодстойных памяти государыни Анны, новым зимним домом, который для своего великолепия достоин всякого удивления) началось строение, самый чистый лед, наподобие больших квадратных плит, разрубали, архитектурными украшениями убирали, циркулем и линейкою измеривали, рычагами одну ледовую плиту на другую клали, и каждый раз водою поливали, которая тотчас замерзала и вместо крепкого цемента служила. Таким образом, через краткое время построен был дом, который был длиною 8 сажень, или 56 лондонских футов, шириною в 2 сажени с половиною, а вышиною, вместе с кровлею, в 3 сажени; и гораздо великолепнее казался, нежели когда бы он из самого лучшего мрамора был построен, для того, что казался сделан быть будто бы из одного куска, а для ледяной прозрачности и синего его отцвета на гораздо дражайший камень, нежели на мрамор подходил».

А вот другой отрывок, представляющий из себя пе-

рассказ профессором Шубинским какого-то старого текста:

«Архитектура дома была довольно изящна... Кругом всей крыши тянулась сквозная галерея, украшенная столбами и статуями, крыльцо с резным фронтисписом вело в сени, разделяющие здание на две большие комнаты, сени освещались четырьмя, а каждая комната пятью окнами со стеклами из тончайшего льда. Оконные и дверные косяки и простеночные пилястры были выкрашены зеленою краскою под мрамор. За ледяными стеклами стояли писанные на полотне «смешные картины», освещавшиеся по ночам изнутри множеством свеч. Перед домом были расставлены шесть ледяных трехфунтовых пушек и две двухпудовые мортиры, из которых не раз стреляли. У ворот, сделанных также из льда, красовались два ледяных дельфина, выбрасывающие из челюстей с помощью насосов огонь из зажженной нефти. На воротах сидели ледяные птицы. По сторонам дома, на пьедесталах с фронтисписами, возвышались остроконечные, четырехугольные пирамиды. В каждом боку их было устроено по круглому окну, около которых снаружи находились размалеванные часовые доски. Внутри пирамид висели большие бумажные восьмиугольные фонари, разрисованные «всякими смешными фигурами». Ночью в пирамиды влезали люди, вставляли свечи в фонари и поворачивали их перед окнами, к великой потехе постоянно толпившихся здесь зрителей. Последние с любопытством теснились также около стоявшего по правую сторону дома ледяного слона в натуральную величину. На слоне сидел ледяной персиянин, двое других таких же персиян стояли по сторонам. «Сей слон, — рассказывает очевидец, — внутри был пуст и хитро сделан, что днем воду на двадцать четыре фута пускал, ночью, с великим удивлением всех зрителей, горящую нефть выбрасывал. Сверх же того, мог он, как живой, кричать, который голос потаенный в нем человек трубою производил».

Внутреннее убранство дома вполне соответствовало его оригинальной наружности. В одной комнате стояли: два зеркала, несколько шандалов, большая двуспальная кровать, табурет и камин с ледяными дровами. В другой комнате были стол резной работы, два дивана, два кресла и резной поставец, в котором находились точеная чайная посуда, стаканы, рюмки и блюда. В углах этой комнаты красовались две статуи, изображавшие купидонов, а на столе стояли большие часы и лежали карты с марками.

Все эти вещи, без исключения, были весьма искусно сделаны из льда и выкрашены «приличными натуральными красками». Ледяные дрова и свечи намазывались нефтью и горели.

Кроме этого, при Ледяном доме по русскому обычаю была выстроена ледяная баня...»

Народ петербургский сам себе не верил: неужто и впрямь стоит посреди города это диво дивное? Едва продрал глаза, до дел, до присутственной тяготы и потной работы, до ссор и дряг, до уныния и слез, до всего, чем томителен день маленького человека, бежали к Адмиралтейству. Вот он! В морозной синеве, под негреющий ярким солнцем сверкает гигантский золотой слиток. И едва ли не еще краше был он ночью, под месяцем, исходя серебристо-зеленоватым свечением. И, отмораживая себе носы и ноги, петербуржцы вздыхали, что, увы, не вечна эта красота, истечет мутноватой влагой с веем апельских ветров.

А придворные что ни день парились в ледяной бане, и даже матушка-государыня раз пожаловала со всем причтом болтушек, фрейлин, шутов и арапчат. Сама Анна Иоанновна дальше предбанника, где шуты сразу затеяли обычную возню, не пошла, а болтушек париться заставила. Пару поддавал кваском Голицын-Квасник, которого и за мужчину не держали, хотя именно ему предстояло скорое бракосочетание, а нахлестывала белые задницы сердитым можжевельным венником Буженинова, А вот ее саму заставить попариться оказалось делом невозможным. «Ну, Куколка, попарься, хоть перед свадьбой смой коросту», — тщетно нудила Анна Иоанновна. «А я ему и так хороша!» — в сознании своей неотразимости отмахивалась грязнуля Буженинова. Анна Иоанновна покатывалась со смеха. Она и сама не злоупотребляла омовениями, ибо возлюбленный ее предпочитал крепкие запахи, но все же перед свиданием с ним протирали лицо и шею французской ароматной водой, румянила щеки, сурмила брови. А Буженинова вечно ходила чумичкой, лицо от пота и жира нефтью отливало, руки были как у арапки. Но брезгливости к ней государыня не испытывала.

Словом, все шло к триумфу Волынского. В последний момент чуть не подгадил придворный стихоплет, дутое ничтожество Васька ТрEDIAKовский. В канун праздников стихов не представил, а, вызванный для объяснения, нагло заявил, что он-де Академии наук секретарь,

первый российский поэт и не гоже ему воспевать шутовскую свадьбу. Он поет императрицу и великия ее деяния. славу русского оружия и виктории, венчающие все войны россиян. Ну, Волынский показал ему славу русского оружия и виктории россиян — так отделал палкой, что тот еле ноги унес. Но не домой, чтобы за вирши сесть, а к Бирону — жаловаться. Волынский случайно наткнулся на него в прихожей герцога Курляндского. Тут уж он всерьез принялся за наглеца, бил его в рыло и в душу, топтал ногами, и не помогло российскому Анакреону, что на вопли его вышел Бирон. «Прекратите!.. Здесь вам не конюшня!» — «Конюшня и есть!» — дерзко ответил Волынский, терявший в ярости всякую осмотрительность, и выдал академию секретарю еще и за Бирона. После чего отъез его в караулку, где поэта добавочно наказали по строгому воинскому уставу, хотя тот в военной службе сроду не состоял. «Чтоб были вирши!» — приказал Волынский, когда страдальца укладывали на шинельку, чтобы отнести домой.

И, конечно, на другое утро вирши были представлены, и хотя Волынский не считал себя большим знатоком поэзии, он понял, что Третьяковский постарался на славу. «Ведь можешь, когда захочешь, — сказал он милостиво. — Истинная поэзия рождается под палками». И велел подать поэту большую рюмку водки, соленый огурец и машкеру, ибо на распухом лице Третьяковского отчетливо проступали сквозь густой слой пудры лиловые, синие и багровые следы избиения, срамно в таком злом виде на ассамблею являться.

Волынский отделал поэта столь беспощадно не за малое неповиновение — тут и десятка пинков хватило бы, — а за проглянувшее в жалком бунтаре пренебрежение к нему, еще не списанному со счетов сановнику. Наслушался вздорных разговоров у покровителя своего Куракина, вот и обнаглел. Ладно, еще посмотрим, чья возьмет.

И пришел день великого торжества Волынского, апофеоза самодержавной власти, не ведающей предела в надругательстве над человеческой сущью.

Поначалу все шло благопристойно: шутов венчали обычным порядком, и не было в них ничего смешного или недостойного: ни в невесте, которую заставили вымыть лицо и руки, нарядили в белое подвенечное платье и всю увешали драгоценностями — не поскупились им-

ператрица в такой значительный и веселый день на щедрейшие подарки Куколке, — ни в представительном, даже сановитом Кваснике, одетом по последней парижской моде. Правда, те, кто оказывался к нему поближе, слышали, как он бормотал в пустоту: «Гм, похоже на свадьбу, но где жених!» — «Ты жених и есть», — говорили ему. Он наклонял голову в хорошо расчесанном и крепко державшемся парике, задумывался, шлепая губами, потом сипел: «Я, государи мои, в некотором роде женат... Я не могу обманывать даму».

Придворные были в восторге — Квасник превзошел самого себя, и жаль, не было в церкви квасу, чтобы плеснуть в задумчиво-серьезную гладко выбритую рожу. Но государыня не велела задевать его в этот день, все должно идти по разработанному Волынским плану.

Уже перед аналогом Голицын обернулся к Бужениновой: «Сударыня, не имею чести вас знать, тут какое-то недоразумение...» — «Ничего, батюшко, успокойся, — перебила шепотом Буженинова. — Не труди голову, все побожески. Ты человек свободный, а сейчас нас господь соединит». — «Вы так полагаете, сударыня?» — произнес Голицын, и рот его некрасиво приоткрылся, как у судачка, выброшенного на берег, и уже не закрывался во все время службы, хотя Буженинова толкала его в бок: «Закрой хлебало, батюшко, ведь перед богом стоишь». Он даже на вопрос священника ответить не мог, и нетерпеливое «да» бросил за него посаженный отец Бирон. Голицын снова провалился в ту бездну, где роились, не обретая отчетливого образа, тени не событий даже, а воспоминаний о какой-то жизни, то ли прожитой им, то ли пригрезившейся, то ли рассказанной ему в незапамятные времена. Он никак не мог разобраться в этом мельтешении красок и линий, в уколах необъяснимой боли, в тоске, сжимавшей сердце, и в чем-то ином, противоположном, чему он не помнил названия, просившем улыбки, но рот будто затвердел в уголках губ, когда ему впервые плеснули квасом в лицо, и не умел растягиваться.

Кольцо невесте Голицын тоже не смог надеть, ибо принадлежащее внешнему миру не пронизывало сгустившийся в нем хаос. Его выручила Буженинова, она так ловко просунула палец в кольцо, которое он бессмысленно держал в руке, что никто не уловил замешательства.

По выходе из церкви молодых посадили в большую позолоченную клетку, дюжие молодцы водрузили клетку на спину слону, и под крики, свист, улюлюканье толпы

они двинулись во главе растянувшейся чуть не на версту процессии мимо Зимнего дворца, куда уже успела вернуться государыня со свитой, к манежу герцога Курляндского. Как ни затейливо и ни фантастично было зрелище медленно и широко шагающего по заснеженным петербургским улицам слона и качавшейся на его спине золотой клетки, где, судорожно вцепившись в прутья, тарасились перепуганные молодые, шествие народов было еще ошеломительнее. Разноплеменные поезжане в национальных праздничных костюмах ехали парами, кто на оленях, кто на маленьких, с длинными гривами лошадаках, кто на статных рысаках, кто на верблюдах, кто на ослах, кто на собаках, кто на козах, кто на свиньях, каждый со своей музыкой, игрушками и символами, ехали в санях, сделанных в виде зверей, птиц, рыб и ярко раскрашенных.

Волинский, убедившись, что Татищев и один может наблюдать порядок шествия, поспешил во дворец, откуда с балкона тепло укутанная Анна любовалась процессией. Его поразило лицо государыни: обычно серо-желтое, оно пылало, словно раскаленное гневом, и кабинет-министр испугался, что чем-то не угодил ей. Анна не обернулась, когда он вошел, и, только заметив Волинского возле себя, схватила за рукав.

— Петрович, говори... Слышь, говори, кто такие... про всех... в подробности!

Анна Иоанновна была потрясена. Впервые ее сонную, отзывающуюся лишь одному человеку да пустому баловству душу прожгло сознание, какой великой, необъятной страны поставлена она повелительницей. Что знала она в России: Москву, Петербург да тракт между двумя столицами, поразивший ее своей протяженностью и пустотой вокруг; знала она, что есть в этой стране очень далекие земли, их называли Сибирью и туда ссылали неугодных и проштрафившихся, но где они, эти земли, не представляла и не любила о том думать. Где-то там, где холодно, пусто и скучно. А она жила в тепле, свете, окруженная людьми, предупреждающими каждое ее желание. Анна знала, конечно, что есть и другие края, не только холодные, ночные, но и солнечные, теплые. Малороссия хотя бы, есть великие реки, а на них города, есть много всяких губерний, где сидят губернаторы и воруют, за что их ссылают в Сибирь, но другие, поставленные вместо них, воруют ничуть не меньше. Это было для нее Россией, но это не было Россией, как она сейчас поняла.

Святой боже, сколь же необъятно пространство российской державы, можно ли объехать его хоть за целую жизнь, и как же различны всем видом и обиходом племена, эту необозримость населяющие! Цвет волос, разрез глаз, крепь скул, не говоря уж об одежде, — все было у них разное.

Цепко усвоивший все наставления Татищева, Волынский почтительно и уверенно, как подобает государственному деятелю, все знающему о народной жизни, сообщал Анне Иоанновне краткие, но исчерпывающие сведения о всех «разноязычных и разночинных» поезжанах, следующих мимо Зимнего дворца. Анна Иоанновна только охала.

— Надо же, и такие водятся!

— Гляди-ка, совсем как живые!

— Как только ты их всех в голове держишь!

— Ах, батюшки мои, какие халаты! А шапки! Живут же люди!

— Неужто все мои подданные? Ох, утешил и распо- тешил!

И когда скрылись последние сани, она сказала другим, глубоким голосом:

— Спасибо тебе, Артемий Петрович, за мою Россию! — и протянула ему руку для поцелуя.

Волынский грохнулся на колени, а Бирон с досады перекусил черенок трубки.

Пока поезд народов многих объезжал все главные петербургские улицы, царица успела переодеться. Сверкая бриллиантами, пенясь брюссельскими кружевами, в роскошном платье, выписанном из Парижа, рослая и величественная, Анна прибыла в манеж со своей свитой, когда поезжан уже разместили за длинными дубовыми столами. Царице и чете Биронов был накрыт отдельный стол, сюда же в знак особой милости поставили прибор для Волынского — отличие сугубо платоническое, ибо церемониймейстер праздника лишь раз приблизился к столу, чтобы выпить кубок за здоровье ее императорского величества.

Виновики торжества были усажены неподалеку за отдельным столиком. О них едва не забыли в суматохе и выпустили из клетки, когда они почти одеревенели от холода.

Столы поезжан были установлены так, что государыня могла беспрепятственно наблюдать за ними. Они сидели парами и ели свои национальные блюда: от сырой

мороженой рыбы — любимого лакомства самоедов, до теплого жирного иргизского пилава, который берут руками из казана, медного таза с крышкой, и раскаленного, с углей, абхазского шашлыка на острых пиках. Еду каждая народность запивала своим напитком: водкой, горилкой с перцем, вином, пивом, кумысом, зеленым чаем и другим чаем, который готовится с мясом и жиром, — административный гений Волынского учел все вкусы и запросы.

Буженинова отдышалась первой. Она поглядела на мужа, пребывавшего в нетях: погасла от тряски, страха и холода последняя искра, порой озарявшая его омраченный рассудок. «А хорош!» — восхитилась Буженинова. Лицо просторное, лоб высокий, нос как выточенный. Вот что значит порода. Чего с ним не творили, а кровь-то сменить не могли, древнюю голубую кровь в Голицыных. Вон Кукленок, пыжится изо всех сил, играет во владетельного князя, а все равно прет из него паршивый курляндский выскочка. Господи, достался же такой аристократ безродной камчадалке, которая и родителей своих не знает, как не знает, почему их занесло на Камчатку! Ее ведь только считают камчадалкой, а она русская, это же сразу видно. Помнила Буженинова себя уже побирушкой, ютившейся по чужим углам, помнила здорового бородатого мужика в медвежьей шубе и волчьем малахае, который пожалел сироту, забрал с собой в большую Россию, пристроил в услужение к «добрым» людям, морившим ее голодом. А потом чистой случайностью попала она в дурки Анне Иоанновне. Но Буженинова не любила думать о прошлом, о настоящем думать незачем, в нем надо жить с толком, а вот о будущем мечтать стала, когда увидела князя Голицына. Мечтать никому не возбраняется, и камчатская нищенка, запечный сверчок, возмечтала о князе. Она давно уже решила попросить у Анны его в мужья, знала, что та не откажет по лютой злобе своей на Голицына. Конечно, она и вообразить себе не могла и в самых крылатых мечтах, что ради ее замужества возведут ледяной дворец, навезут народ со всей русской земли, закатыт невиданный пир и вся знать, сама государыня будут гулять на ее свадьбе.

Пусть все это для потехи задумано, да поженили-то их не в смех, а по закону, в святой церкви, сам преосвященный венчал. И смеется хорошо тот, кто смеется последним. Волынский вон как распетушился, а все равно Кукленок ему голову скусит. И Кукленка в свой че-

ред скovyрнут или кончат, как только государыня загнется. А от нее уже гнилью несет. Так они все друг друга перепластают. И чего им охота на верхушку лезть, нешто кто на ней удержался? Сами они шуты гороховые, хуже тех, что в лукошках сидят. А эти — в халатах, тубетеях, малахаях, портах широченных, — нешто они не в смех сюда созваны? Значит, тоже шуты. Хоть их за столы усадили в одном лошадином дворце с государыней, которая и сама-то лошадь — отгарцевавшая, запаленная, разбитая на все четыре ноги. Сейчас поездежане жрут, пьют, орут, хохочут, после отпоют, отпляшут, а вот доберутся ли домой — неведомо. Волынский-нехристь их не повезет. Конечно, которые с севера, на оленьих и собачьих упряжках, глядишь, доползут, они ведь на ком едут, тех и жрут помаленьку в дороге, а которые на верблюдах, или на волах, или на свиньях, с теми хуже: или жрать, или ехать. Об остальных и говорить нечего: морозы все круче заворачивают, добреди-ка до Сибири, до Камчатки. Так и останутся их косточки в белых просторах.

Громкие крики «виват!» прервали мысли Бужениновой, это Волынский провозгласил тост во здравие императрицы. Буженинова подтолкнула супруга и вскочила на свои короткие ножки. Когда улеглись восторги, Волынский по знаку Анны предложил выпить за здоровье молодых. И все гости захохотали, закричали: «Горько!» Голицын не двинулся, словно все это его нисколько не касалось, но Буженинова быстро подскочила к нему и как клюнула в вялые губы.

Голицын словно очнулся, провел пальцем по губам.

— Я, кажется, забылся, — просипел он. — Пожалуйста, не сердчайте.

И тут возникла грузная фигура в красном домино и черной маске с огромным приставным носом. Волынский хлопнул в ладоши, призывая к вниманию. Домино откашлялось и начало каким-то напряженным и словно придушенным голосом:

Здравствуйте, женившись, дурак и дурка,
Еще...тота и фигурка!
Теперь-то прямое время нам повеселиться,
Теперь-то всячески поездежанам должно беситься.

— Кто это? — спросил Голицын. — Похоже па Тредиаковского. Его голос. Почему он в маске?

— А ему намедни Артемий Петрович всю морду искрошил,

— Бедняга... — прошептал Голицын.

Квасник-дурак и Буженинова
Сошлись любовью, но любовь их гадка.
Ну, мордва, ну, чуваша, ну, самоеды,
Начните веселье, молодые деды!

Было тихо. Вирши, выбитые кулаками и дубинкой из ТрEDIAKовского, никого не веселили. «Молодые деды» просто их не понимали, а придворным, знавшим, почему секретарь академии напялил уродливую маску и красное домино, было не до смеха. Очень легко было представить себя на месте этого российского академика, если Волынский войдет в силу. Невольно вспоминался князь Мещерский, которого Волынский в пору своего астраханского губернаторства подверг невиданному кровавому истязанию.

Кабинет-министр покусывал губы, утешая себя мыслью, что прикончит ТрEDIAKовского, если тот не вызовет хотя бы улыбки на почерневшем от усталости лице императрицы.

Балалайки, дудки, рожки и волынки!
Соберите и вы, бурлацкие рынки.
Ах, вижу, как вы теперь рады!
Гремите, гудите, брянчите, скачите,
Шалите, кричите, пляшите!
Свищи, весна, свищи, красна!
Не возможно нам иметь лучшее время:
Спрягся ханский сын, взял ханское племя,
Ханский сын Квасник, Буженинова ханка.
Кому того не видно, кажет их осанка.
О пара! о не стара!
Не жить они станут, но зоблить сахар,
А коли устанет, то будет другой пахарь.

И тут государыня громко прыснула, представив себе, как обогатит красавица Буженинова сиятельного шу-та — своего мужа.

Смех государыни подхватили придворные, стараясь перещеголять друг друга в усердии, даже сумрачный Бирон пофыркивал, прикрывая рот кончиками пальцев. Видя веселость государыни, возликовали поезжане. Шум стоял такой, что ТрEDIAKовский вынужден был прервать чтение. Он и сам чувствовал, что тут муза улыбнулась ему, хорошо было завернуто, но все-таки он не ожидал такого триумфа. Он готов был простить все — и побои,

и унижения — Волынскому за то, что тот дал ему подняться на вершину мастерства и успеха. Закончил он звучным голосом:

И так надлежит новобрачных приветствовать ныне,
Дабы они во все свое время жили в благостыне:
Спалось бы им да вралось, пилося бы да елось.
Здравствуйте ж, женившись, дурак и дурка,
Еще...тота и фигурка!

— Мало его в бурсе секли, — уловила Буженинова сквозь восторженный рев пирующих.

Голицын низко нагнулся над столом, из карего большого, полного глаза медленно выкатилась слеза и, прочертив дорожку по щеке, сорвалась в тарелку. А ведь он понял, что это о нас, захолонуло в Бужениновой. Значит, понимает, что мы повенчанны. И острая жалость к этому беспомощному человеку пробила ее. Она налила в бокал водки и подала Голицыну.

— Выпей-ка, батюшко, авось полегчает.

Он послушно взял бокал и неторопливо, словно воду, осушил его маленькими глотками. Затем протянул руку, уверенно наполнил бокал, выпил, еще раз наполнил и снова выпил. Буженинова с некоторым испугом следила за его действиями: хорошо, если маленько очумеет, не надо, чтобы сегодня чересчур многое открылось ему, время для этого еще придет. А ну как, отвычный от вина, он свалится, как бы чего дурного над ним не учили.

Но выпитое подействовало на Голицына благотворно: приоткрывшееся в грязных виршах ТрEDIAКОВСКОГО задернулось непроницаемым пологом вместе со всем, что являло собой его нынешнее положение, а взамен явилось, хотя и оборванное, смутное представление о чем-то хорошем, что некогда с ним было, он не трудил тяжелую голову попытками принудительных уточнений, довольствуясь тенью радости.

— Простите, сударыня, что не представился. Князь Голицын. Не соблаговолите ли назвать ваше имя?

— Княгиня Голицына, Авдотья Ивановна.

— Какое совпадение! — обрадовался князь. — Вы из каких Голицыных?

— Из самых лучших. — Бужениновой стало не по себе, хотя она знала, что опять в нем что-то повернется и он забудет об этом разговоре, как уже забыл о поганных виршах ТрEDIAКОВСКОГО. А забыл ли?.. Это водочный ту-

ман застит ему память. Он не безумный, как думают многие, но, трезвый или пьяный, он скрывается в своей темноте, чтобы не помнить, не знать, что происходит с ним. — Я по мужу Голицына, — добавила Авдотья Ивановна.

— Голицыны роднились со многими знатными родами России, — любезно заметил князь. Маленькая, красиво одетая, вся в бриллиантах дама с высокой грудью и живым чернобровым лицом ему нравилась, даже чуть выпирающие верхние резцы не портили впечатления, напротив, придавали ей некий возбуждающий интерес. Он давно так приятно не беседовал. — Вы случайно не урожденная Салтыкова?

— Нет.

— Шаховская?

— Нет.

— Оболенская?

— Нет.

— А кто же вы?

— Урожденная Буженинова, — глядя ему прямо в глаза, сказала Авдотья Ивановна.

Он долго молчал, что-то опять перестраивалось в нем, пытаюсь завязать новые связи, но эта работа оказалась ему не по силам.

— Это не дворянский род, — сказал он угрюмо. — Я знаю одну Буженинову. Другие небось не лучше.

— А чем она тебе плоха, батюшка? — улыбнулась Авдотья Ивановна.

— Черна, грязна... — Он передернул плечами и потянулся за бутылкой.

Буженинова перехватила его руку и отодвинула бутылку. Голицын настаивать на своем и прежде не больше умел, а потом, при дворе, и вовсе разучился.

— Не говори, батюшко, чего не знаешь, у ней все чисто, — защитила шутиху княгиня Голицына.

На этом разговор молодых оборвался. Анне надоело застолье, она возжаждала новых впечатлений. Начались пляски. Многоязычные пары поочередно исполняли свои национальные танцы. У северян пляски были похожи на борьбу и охоту; иргизы под однообразные завораживающие звуки большого бубна то поврозь плыли над землей, то, сходясь, вились друг вокруг дружки, будто косу сплетали; черные, усатые, с тонкими ногами абхазцы семенили на подогнутых носках мягких козловых сапог, разма-

хивали широкими руками, хватались за кинжалы — нагнали страху; малороссы грохотали гопаком, русские рассыпали бисер дробцов. Императрица, отяжелевшая после обеда, снова развеселилась, еще раз допустила Во-лынского к руке, приголубила омраченных Биронов, а ТрEDIAKовского пожаловала золотой табакеркой.

Затем молодоженов схватили под микитки, втокнули в позолоченную клетку и водрузили, едва не грохнув оземь, на спину слона. Поезжане опять распределились по своим саням, а императрица и придворные расселись по каретам, и все отправились к ледяному дому.

Пучки огня вылетали из разверстых пастей дельфинов и загнутого кверху хобота слона, и переливчатые отсветы проскальзывали по голубизне ледяных стен. Высвеченные «смешные» картины в пирамидах вертелись, не надоедая громадной заиндевелой толпе. Появление новобрачных и сопровождающего их кортежа исторгло надсадный вопль из тысяч застуженных глоток.

Молодых со всякими дурацкими церемониями уложили на ледяную кровать. К наружным дверям приставили караул, чтобы счастливая чета не надумала раньше времени покинуть свое уютное гнездышко. В отношении новобрачного то была излишняя предосторожность: непривычный к вину, Голицын был пьян до бесчувствия, его внесли в опочивальню. Все понимали, что ночь в такой студии молодоженам не пережить, но это никого не волновало, и даже государыня не шевельнула пальцем для спасения своей любимой Куколки. Зато она сделала другой жест, который сильно огорчил придворных. В сени дворца втащили вместительный короб, и Анна Иоанновна швырнула туда жемчужное кольцо. С вымученными улыбками дамы стали кидать в короб серьги, брошки, браслеты, кольца, мужнины — драгоценные табакерки, бриллиантовые булавки, золотые монеты. Всех, конечно, интересовало, кто воспользуется этими дарами, поскольку было мало вероятия, что новобрачные встанут ото сна. Но никто не заметил, как исчез короб. Предусмотрительная Буженинова, зная, что будет одаривание, доверила сокровища попечению шута Педрилло. Пьетро Мира мог ограбить самого папу, но у своего полушкой не попользуется.

Анна Иоанновна, одарив «обреченных смерти», поспешно отбыла, гонимая начавшимися коликами; придворные, перестав источать вымученные улыбки, вздыхая,

отправились восвояси; поезжан прогнали спать, народ столичный тоже разошелся по домам, дождавшись, когда слон и дельфины в последний раз полыхнут горячей вонючей нефтью; часовые, хватившие для угрева по кружке, замерли возле дверей и сами обернулись ледяными статуями; все погрузилось в тишину и мрак, лишь, отражая свет ущербного месяца и вознесшихся звезд, поблескивала громадная и страшная игрушка, которой по молчаливому сговору сильных и согласию всех остальных предстояло быть саркофагом двух несчастных людей.

Но одно существо не присоединилось к губительному согласию — совсем крошечное существо, почти карлица, с детскими ручками и ножками и с большим и сильным сердцем любящей русской женщины — Авдотья Ивановна Голицына.

До этого места история бедного Михаила Голицына — Квасника и шутихи Бужениновой общеизвестна и уж, во всяком случае, общедоступна, а вот что было дальше, знают совсем немногие. Полагаю, что это должны знать историки, занимающиеся эпохой Анны Иоанновны, и те беспокойные чудаки, которые, заинтересовавшись чем-либо, доходят «до упора», до самой сути.

Итак, Авдотья Ивановна не собиралась умирать в ночь, когда восходила ее звезда, впрочем, за себя она вообще не боялась, ее маленькое тело было наполнено горячей и быстрой кровью, которой не страшна никакая стужа, но надо было оборонить любимого.

У молодых была постель: тощие тюфячки, простыни, подушки и большое пуховое одеяло. В натопленной горнице и жарко бы показалось, особенно вдвоем, но здесь и тюфячок, и одеяло — не защита. Авдотья Ивановна попробовала растолкать мужа, но тщетно. Был он тяжеленек и в ответ на все ее усилия лишь всхрипывал да шевелил губами. Она вышла в сени, приоткрыла незапертые двери и выглянула наружу. Часовые застыли с ружьями на плече. «Словно государственных преступников стерегут, — усмехнулась про себя Авдотья Ивановна. — Неужто им палить велено?» Приглядевшись, она поняла, что воины спят вполглаза. Она столько лет обреталась при дворе, что изучила привычки и повадки всех к нему причастных и знала это умение бывалых солдат спать на часах с полуприкрытыми глазами и просыпаться

ся от малейшего шума, от мышьяго шороха. Их командиры тоже знали эту особенность и не раз пытались накрыть караульных, подкрадываясь к ним на цыпочках, но никогда не имели успеха. В последнее мгновение часовой возвращался в явь, и вся его фигура обрела напряжение чуткой готовности. Конечно, в каждом деле не без прорухи: дворцовые легенды сохранили память о выроненных ружьях и даже о грохнувшихся на пол ратниках. Выпавшее из рук оружие предсказывало военную конфузию — татарский набег или объявление войны, падение стражника — смерть в царствующем доме.

Спящие у ледяных дверей воины крепко держались на ногах, а их ружья словно примерзли к плечам. Поступь крошечной Авдотьи Ивановны была легче мышьяей. Она проскользнула между караульными и побежала к будке. Растолкав подвыпившего унтера, за колючку с камешком получила на ночь овчинный тулуп. С этим тулупом она опять прошмыгнула между стражниками и вернулась к своему мужу.

Авдотья Ивановна раздела его и укрыла тулупом. Сама разделась тоже и подсунулась под него. Тулуп натянула так, что они скрылись в нем, как в пещере. Тело ее было горячим, и особенно горячи маленькие руки, которыми она терла мужу спину, бока, шею. Он быстро согрелся, а когда Авдотья Ивановна задремала, удивленная, что чужое тяжелое, неповоротливое тело так легко ей, то продолжала безотчетно растирать его...

Михаил Алексеевич проснулся в душной, давящей темноте, рванулся из нее и скинул тулуп. В окошки процеживался рассеянный, не рождавший четких очертаний свет. Такой размытый свет льется в комнату в морозный день из окон, покрытых наледью. Он ощутил холод и тут понял, что вокруг все ледяное: и стены, и пол, и потолок, и окошки. Это открытие не осталось в Голицыне, оно вытеснилось другим: с ним произошло необыкновенное, когда-то испытанное, но потом исчезнувшее не только из жизни, но даже из памяти и воображения. Он не мог понять, что это было, но тело знало об испытанной радости и сообщило свое знание рассудку. Теперь он видел, что не один в ледяной комнате: в постели лежало маленькое существо, нагое, белое, женское. Он задрожал, опустелый мозг пронзило множеством стрел, причиняя острую, колющую боль, и каждая стрела тянула за собой нить; эти нити сплетались, перепутывались, но и создавали связи.

— Вы кто? — спросил тихо.

— Жена твоя, родимец, княгиня Голицына.

Перепутанные нити вдруг разобрались, натянулись, и он смог прочесть их узор.

— Но вы... Ты была другая... смуглая.

— А теперь белая. А о смуглой лучше забудь. Ты о многом забыл, едва ли не обо всем. Так вот, об этом лучше не вспоминай. И вообще не вспоминай, живи, чем есть, потом все само соберется.

Голицын слушал, и что-то находило в нем смутный отзвук. А женщина, жена, была перед ним в своей доверчивой наготе, и его плоть оказалась умнее смятенного духа, он склонился к ней. Закрытыми глазами Авдотья Ивановна увидела, как в ледяное окно, не взломав его, влетел белый ангел.

А когда оба опамятавались, Голицын с тупым упорством сказал:

— Та черная.

— Кто такая? — не поняла Авдотья Ивановна.

— Бу... бу... — Он не мог выговорить ее клички.

— Э, родимец, черного кобеля не отмоешь добела, а белого проще нету запачкать. Такая служба. Ты ведь тоже не такой, как есть, потому — служба.

Разбудив плоть князя, Авдотья Ивановна принялась создавать ему новую душу, потому что от старой немного осталось. Но делать это надо осторожно, чтобы не скрылся опять в раковину безумия.

— Служба? — бессмысленно повторил Голицын.

— Конечно, служба. Дворцовая. Выгодная, только ты пользоваться не умеешь. Ты да Волконский. Многие такой службе позавидуют. Но она не для тебя и не для меня... теперь. Потерпи, у нас вся жизнь впереди.

— Жизнь? — ужаснулся он. — Разве это жизнь?

— Я не об этой жизни говорю. О другой, новой. Теперь уж недолго ждать. А потом у нас с тобой все будет не хуже, чем у людей.

Они едва успели одеться, как явился унтер за тулумом.

— Ты того... помалкивай, — предупредил он Авдотью Ивановну. — Не то мне башку сьмут.

— Не бойся, — сказала Авдотья Ивановна.

— Не бойсь, не бойсь, — проворчал унтер, который, видать, не успел опохмелиться и был в дурном настроении. — А может, требовалось, чтобы из вас ледяной статуи вышел.

— Очень даже может, — согласилась Авдотья Ивановна.

— Ладно, выметайтесь, — вздохнул унтер. — Никаких распоряжений о вас не дано.

— А куда мы пойдём? — спросил Голицын.

— Ко мне, — сказала жена. — У меня свой покойчик есть. И даже с банькой.

— Хотите в ледяной попариться? — предложил унтер.

— Сам парься крапивным венником. — Авдотья Ивановна взяла мужа за руку и повела в свою жизнь, которая отныне стала их общей.

Самое трудное было примириться с «дворцовой службой», как Авдотья Ивановна называла шутейное дело. Возвращение памяти имело свою оборотную сторону. Одно дело, когда режут по замороженному телу, другое — по живому. С первыми квасными опивками, угордившими в лицо, что-то омертвело в Михаиле Алексеевиче, а потом он и вовсе утратил чувствительность. А как снести надругательство сейчас, когда он начинает дрожать от одной мысли об унижении на глазах жены?

— Да плюнь ты на них, — убеждала Авдотья Ивановна. — Подумаешь, беда! Если тебя на улице карета грязью окатит, ты сильно переживаешь? Досадуешь, конечно, но обтерся и дальше пошел. И нешто об этом помнишь? Ну, плеснул дурак квасом, так это он свиной вышел, а не ты.

Голицын молчал, тяжело сопя и наливаясь кровью. «Как бы удар не хватил!» — тревожилась Авдотья Ивановна. И опять принималась за свое:

— Считай, что тебе такая служба выпала. Ты в пехоте был. Мало грязи месил и в грязи валялся?

— То другая грязь.

— Почему другая? Ты же ее не выбирал. Ты чистюля. А тебя в эту грязь дураки-командиры совали. Ты хотел сухонькой тропки и чистого ночлега. А пуль неприятельских, походной грязи, вшей, дурости начальства ты вовсе не хотел. И тоже небось орал, ругали, оскорбляли. Скажи, не так?.. Всюду одно и то же. Как к чему относиться. Тебе плеснули квасом в рожу, а ты: «С вашей милости колечко». Дали пинок: «Пожалуйста золотой», — Авдотья Ивановна осеклась.

Лицо Голицына стало лиловым, шея вытянулась, а кадык набух: ни дать ни взять разгневанный индюк. «Эдак сразу вдовой станешь!» — мелькнуло испуганно.

— Я у них под ногами... Спасу мне нет. Но торговать честью не стану.

«Честь! — подумала Авдотья Ивановна. — О какой чести бормочет этот битый, оплеванный, измороженный бедолага?... А может, он прав? Его честь — терпеть и не брать подачек. Мы-то все, как собачонки на задних лапках. Даже старик Волконский, когда суют, боится не взять. А моему Бирон раз колечко кинул, так тот и не нагнулся. Король Самоедский подобрал. Мы думали, не заметил, а вот оно что!..»

— Не сердчай, родимый. По глупости сболтнула. Всяк ведь на свой аршин... А ты не такой. Но почему ты зятю своему сдачи не дашь? Он тебя то толкнет, то ущипнет, то ножку подставит, а ты, знай, глаза лупишь.

— Я перед ним виноват, — опустил голову Голицын. — Соблазнил чужой верой.

— Кто в вере крепок, того не собьешь. А в шутках ему самое место. Что он, что король Самоедский, что господин Балакирев — ничем другим быть не могут да и не хотят. Вон Балакирев — куда его ни кидало, а все назад под дурацкий колпак спешил. Это как в итальянской кумеди: все друг друга лупят хуже, чем при дворе, а нешто актеры обижаются? Такой у них талант.

— У меня нет такого таланта, — пробормотал Голицын.

И все же что-то из рассуждений Авдотьи Ивановны запало ему в душу. Он старался контролировать свое поведение и предупреждать враждебные выходки, насколько это было возможно. Когда просили квасу, он осведомлялся любезно: «Какого прикажете: хлебного, клюквенного, вишневого или грушевого?» Ему отвечали. Видимо, даже такого крошечного разговора достаточно, чтобы протянулась какая-то человеческая ниточка, и уже рука не подымалась для хамского жеста. А может, останавливало и присутствие Бужениновой, что котенком вилась в ногах императрицы. Анна, к своему удивлению, обрадовалась, что Куколка уцелела в ледяной ночи. Она сама не ожидала, что так к ней привязана. Ласковость государыни все видели и боялись обозлить любимицу. Но были и такие, не до конца изгнившие, что совестились унижать мужа на глазах жены.

А зятя своего Михаил Алексеевич, памятуя наставления Авдотьи Ивановны, проучил. Однажды, когда тот по своему обыкновению ударил его исподтишка, Михаил Алексеевич отвесил ему такую затрещину, что Апрак-

син волчком пролетел всю приемную императрицы и расквасил нос о «монашку» карельской березы. Присутствующие расхохотались, захлопали в ладоши, но Апраксин впервые не испытал ни малейшей радости от того, что вызвал смех.

Другой раз, заметив, что Балакирев нацелился прыгнуть через него, Голицын услужливо пригнул широкую спину, крепко уперся руками в колени и позволил ловкому, но подутратившему былую гибкость суставов старому шуту совершить великолепный прыжок, вызвавший одобрение придворных. После чего спокойно отошел в сторону, не дав вовлечь себя в шутовскую чехарду.

Но ведь недаром говорят: в огне брода нет. Как ни оберегайся, беда тебя сама найдет. И случилось это вскоре после того счастливого дня, когда Авдотья Ивановна объявила ему, что ждет ребенка. Голицын уже трижды становился отцом, но такого чувства, как сейчас, не испытывал. Подумаешь, какой фокус — сотворить ребенка, когда ты в расцвете лет, когда и жена у тебя молодая, и спокойствие на душе, и упругое сердце мерно и сильно гонит кровь по жилам. Но создать дитя, когда ты весь изломан, раздавлен, смят, когда ты пробыл в разлуке с самим собой и всем светом долгие годы, когда тебя шатало от голода не потому, что не было еды, а потому, что кусок не шел в горло, когда ты, казалось, навсегда выбыл из круга живых, — это великое чудо, знак божьего благоволения, знамение, которое еще надо разгадать. Значит, он для чего-то нужен богу, коли тот хочет привязать его к жизни такими прочными нитями.

В этом умиленном, философически-религиозном настроении Голицын и отправился на службу. Он с непривычной легкостью предавался обычным глупостям, казавшимся столь ничтожными рядом с постигшей его благодатью. Как мог он придавать этой чепухе значение? Эти вельможи, сановники, фавориты — просто дети, большие, злые, капризные, глупые дети, не отвечающие за свои поступки. Он тешит взрослых детей. Вот он закудахтал — смеются, вот козу состроил — смеются, вот упал — смеются, вот Биронов сын по ногам его кнутиком хлестнул — смеются, аж закатываются, чтоб перед папашей милого сорванца выставиться. Смейтесь, бог с вами, а у меня сын будет, и ему уже не придется корячиться перед вами. Тут он приметил, как граф Левенвольде с досадой швырнул карты на стол и что-то резкое сказал своей белокурой партнерше красавице Лопу-

хиной. Небось опять пробросился, а на нее валит. Играть он до страсти любил, а выдержки и умения большого нету. На проигрыш обычно не особо злится, он и вообще не злой. Деньги любит и делает их предостаточно в компании с другом своим Бироном. Положение Левенвольде при дворе почти такое же прочное, как у самого герцога Курляндского (это он, Левенвольде, предупредил Анну о посланных ей кондициях верховников), но амбиций неизмеримо меньше. Он не рвался к власти и к государственным постам, довольствуясь званием обергофмаршала, мог выполнить тонкое дипломатическое поручение, но к деятельности не стремился. Левенвольде хотел играть в карты, иметь много денег и любить женщин. В дальнейшем он еще больше сузил круг своих желаний: денег для картежной игры требовалось по-прежнему много, а женщины свелись к одной-единственной — очаровательной и своенравной Наталье Лопухиной. Левенвольде принадлежал к числу немногих, которые никогда не обижали Голицына, точнее, просто не замечал его, как и остальных шутов. И Голицын был благодарен ему за это. Приметив, что граф оглянулся на столик с напитками, желая, видимо, промочить спешшее от азарта и горечи проигрыша горло, он быстро наполнил кружку и поднес Левенвольде.

Тот сделал несколько быстрых, жадных глотков. Но вместо того, чтобы успокоиться, насвеже, как бы без помех обозрел свою дурную игру и разозлился на себя. Да ведь себя не накажешь, а Лопухина была не из тех дам, чтобы дважды спустить колкость. Перед Левенвольде маячило широкое красное лицо — и резким движением он было поднял кружку. И тут увидел в странном, неестественном приближении два коричневых глаза с глубокой темью круглых зрачков, но то были не зрачки, а маленькие колодцы, и на дне их проглядывала такая мука, такая пронзающая молчаливая мольба, что Левенвольде передернуло от небывалого проникновения в чужую боль, на мгновение ставшую его собственной. Он сумел оборвать движение руки.

— Хороший квас... Благодарствую, — пробормотал он и отдал кружку.

Маленькую сценку между обергофмаршалом и шутом длиной в несколько ударов сердца заметили придворные и сделали естественный вывод: коли уж сам Левенвольде не решился окатить Квасника, значит, нынче такой расклад.

Пронесло на этот раз, но от судьбы, видно, не уйдешь. И потерпел Михаил Алексеевич от невольного творца своего счастья Артемия Волынского. После Ледяного дома и шествия народов звезда Волынского поднялась, как никогда, высоко, слишком высоко, чтобы удержаться в такой головокружительной выси. Он не был настоящим политиком, умеющим различать в сегодняшнем успехе зерна завтрашнего поражения и ловким ходом обезоруживать врагов. В успехе он был невыносимо заносчив, в неудаче — малодушен и низок. Его энергия, нахрап, дерзость не превращались в решительность, как, скажем, у Меншикова или Миниха. Завоевав вновь расположение Анны и осадив немецкую партию, Волынский вернулся к бесцельным свободолобивым разговорам в своем кружке, не слишком заботясь о конспирации. С другой стороны, он не пропускал случая показать Анне, что годится не только для устройства шутовских праздников, в его речах, обращенных к императрице, вновь зазвучала наставническая нота, раздражавшая Анну и бесившая Бирона. Тот в грош не ставил Волынского-реформатора, но боялся Волынского-интригана. Парламента России кабинет-министр, понятно, не даст, а ему, Бирону, нагадит. Вопрос о престолонаследнике, младенце Иоанне Антоновиче, был решен и закреплен соответствующим актом, регентша вроде бы тоже известна — его мать Анна Леопольдовна, но подписание этого указа государыня все откладывала, видя в нем как бы согласие на собственную смерть. Бирон надеялся, что Анна Иоанновна передумает и назначит регентом его, но добиться этого было ох как непросто! Препятствий множество: и сама потерявшая уверенность, раскисшая от болезни императрица, и пустая, сластолюбивая, но охочая до власти Анна Леопольдовна, и ее упрямый дурак-муж герцог Брауншвейгский, и честолюбивый Миних, даже на друга Левенвольде нельзя положиться. Но все это люди без корней, а Волынский был русским, старинного рода, но связан и со служилым дворянством. Его необходимо убрать. И Бирон сказал Анне Иоанновне без всяких околичностей: или он, или я. Это и решило участь Волынского. Без Бирона императрица не мыслила утекающей из нее жизни.

Как ни был Волынский зашорен верой в свое мнимое торжество, но и он почувствовал угрозу. Его ясные, точные доклады вдруг оказались императрице не нужны, во дворец его перестали приглашать. И тогда Волынский

явился незванный, чтобы тайное сделать явным, чтобы дать врагам своим открытый бой. То был смелый до отчаянности шаг, но продиктован он был не отвагой, а полным отсутствием выдержки.

В покоях императрицы все было по-прежнему. Анна лежала на высоком ложе под ярко-голубым стеганым одеялом в чепце с лентами и розовом пеньюаре, подчеркивающим нездоровую желтизну лица и тени в подглазьях; Бирон у изголовья сосредоточенно орудовал ногтечистой; Бенингна приготавлила какое-то лекарство, в ногах за ломберным столом — Левенвольде, Лопухина и князь Куракин вели нескончаемый карточный спор, в дальнем углу рослый Миних — голова отрублена тенью от портьеры — о чем-то шептался с белокурой томной Анной Леопольдовной, начальник тайной канцелярии Ушаков медленно потягивал квас, ошаривая присутствующих тяжелыми оловянными глазами, а придворный Квасник стоял наготове, чтобы принять пустую кружку, шуты кочевряжились на ковре. Буженинова-Голицына, лапаясь к опущенной руке Анны Иоанновны, скалила белые зубы. Педрилло пританцовывал, пиликал на скрипочке, меж клеток с гортанно покрикивающими попугаями томился Третьяковский со свернутой в трубочку рукописью, тщетно ожидая, что на него обратят внимание и он угостит присутствующих очередными виршами. Но поэты не замечали, как не замечали Волинского. Кабинет-министр отшвырнул подкатившегося с кривляниями Апраксина, вышел под взгляд государыни и низко поклонился. Анна посмотрела сквозь него, словно он был прозрачный, потом равнодушно отвернулась. Остальные продолжали заниматься своим делом. Бирон даже на мгновение не перестал полировать ногти.

Надо было что-то сказать, но горло схватило сухью, Волинский откашлялся и сипло бросил в никуда: «Квасу!»

Михаил Алексеевич поспешил исполнить приказание кабинет-министра и в избытке усердия налил ему вишневого квасу, хотя прекрасно знал, что тот признает только хлебный с хренком, об остальных отзывался презрительно: немцы в России все изгадили, даже квас.

Волинский жадно глотнул раз-другой, ощутил противную сладость, бешено глянул на застывшего в любезно-достойной позе Квасника и с силой плеснул ему в лицо темно-красной жидкостью. Будто кровью умылось

широкое, сразу изгнавшее улыбку лицо. Но ярость Во-
лынского не утихала.

— Ты чего мне суешь, дурак?

— Не гневайся, батюшко! Успокойся, родимец! —
послышался тонкий голос.

Никто не заметил, как успела Буженинова сорваться с места, налить хлебного квасу и поднести Волынскому. Тот отвернулся от Квасника, увидел белую шапку пены, кружку в маленькой нечистой руке, непроизвольно потянулся за ней, но не успел взять. Кружка отодвинулась и вдруг стремительно приблизилась к его лицу — в глаза, в ноздри, в приоткрытый рот ударило коричневой жидкостью. Это было так дико, что лишь по громовому хохоту окружающих кабинет-министр понял, что случилось. Карлица отомстила за своего мужа и обдала его квасом. Схватить, разорвать ее, как кошку, а там пропади все пропадом! Он рванулся вперед — и будто о стену ударился. Между ним и карлицей вдвинулась большая нелепая фигура, с рожи стекали рубиновые капли. Ах, этот!.. Волинский двинул плечом, фигура не шелохнулась, Волинский шагнул в сторону, но фигура вновь загородила ему путь. Ярость уже не ослепляла взора. Волинский видел массивное тело Квасника, который был одних с ним лет и в той же силе, но куда тяжелее. Такого не сдвинешь. А драться с шутом — смешно и уни-
зительно. И еще он увидел, что к нему за спину заходит верста в генеральском мундире — Миних, а сбоку надвигается мертвоглазый и крепкий, как кленовый свиль, палач Ушаков. Кабинет-министр почти обрадовался голо-
су императрицы:

— Выйди, Артемий Петрович. Не срамись понапрасну.

Лучше удалиться по приказу государыни, чем ждать, чтобы тебя вышвырнули вон. Он повернулся и, задев локтем Миниха, быстро прошел к дверям. «Это конец!» — подумал Волинский.

И он не ошибся. Поэтому и сошла с рук Авдотье Ивановые ее выходка, а Голицыну — непозволительное заступничество. Волинский был обречен на мучительную смерть.

Уже на следующий день он стоял перед Ушаковым в застенке Тайной канцелярии. Кабинет-министра взяли, не потрудившись предъявить сколь-нибудь важной вины. Даже бывалый Ушаков был озадачен, что должен допрашивать такого серьезного человека из-за сущих пустяков: насчет избияния академии секретаря Третьяков-

ского и посылки государыне книги зело бесстыдного политика Никколо Макиавелли с «тайными намерениями». Разве из этого состряпаешь дело? По счастью, спохватился камердинер Волынского и донес, что его хозяин с товарищами готовил заговор, злоумышлял против императрицы и, что всего хуже, оскорблял ее поносными словами. Сделали обыск, нашли записки Волынского, наброски проекта об улучшении государственного устройства — переписки мыслей «верховника» Дмитрия Голицына, взяли Еропкина и Хрущова (Татищев уже сидел по делу о казнокрадстве) — и работа закипела.

До этого у Волынского оставалась надежда выкрутиться: неужели с него всерьез спросится за оплеушины бездарному виршеплету или посылку сочинения знаменитого флорентийца? Но когда Ушаков, как-то сыто позевывая, сказал: «Хрен с ним, с Третьяковским, хрен с ним, с Макиавеллем, ты мне о заговоре своем расскажи», — кабинет-министр понял, что его песенка спета. И сразу потерял достоинство.

Он обретет его лишь на эшафоте.

В России всегда путали слово и дело. Люди говорили ничего не значащие слова, за которыми не стояло никаких злокозненных намерений, а их наказывали беспощадно, зверски. Мягких наказаний не ведали. Самыми легкими были сечение кнутом, вырывание ноздрей, ссылка в Сибирь. Так расправлялись с ворами, грабителями, браконьерами.

С болтунами обходились круче. Любое слово, сказанное против монаршей особы, тут же объявлялось заговором, за это сажали на кол, колесовали, четвертовали — с предварительным урезанием грешного языка. Более гуманных приговоров не ведали, лишь монаршья воля могла смягчить участь осужденного: кол заменить колесованием, колесование — четвертованием, а последнее — простым отсечением головы. Слова, которыми обменивался Волынский со своими друзьями, слова, которые он небрежно предавал бумаге («горазд был писать!»), слова, которые не перешли даже в подобие дела, были расценены как свершившееся злодеяние. Доброе сердце императрицы облегчило участь несчастных «словесников»: Еропкина и Хрущова просто обезглавили, Волынскому по урезанию языка отрубили вывихнутую на дыбе руку, после чего палач отсек ему голову. Трупы казненных свезли в Самсоньевскую церковь и по отпевании бросили в общую могилу.

Так судьба Михаила Голицына еще раз переклестулась с историей. Но мученический исход Волынского несколько не облегчил его собственных мук.

Анна Иоанновна умирала, но и это не внушало радужных надежд. Как-то еще распорядится шутами Анна Леопольдовна или, вернее, Бирон? Задумываясь над своей жизнью, Голицын не раз спрашивал себя, что легче: нести крест в идиотическом беспомоществе или в нынешнем все сознающем страхе? Теперь ему казалось, что раньше унижали не его, а кого-то, кто имел лишь внешнее сходство с ним, душа не чувствовала боли, затихла. Но душа его оттаяла в Ледяном доме, стала живой и мучающейся. И хоть теперь оскорбляли реже и не так зло, но было это во сто крат больше, потому что он переживает не только за себя, но и за жену, а главное, за того, кто должен появиться на свет. Голицын не мог избавиться от чувства, что тычки и пинки отражаются на зреющем в утробе Авдотьи Ивановны младенце. Его воображению рисовалось, что крошечное новое существо явится в мир обезображенным, в кровоподтеках, синяках и даже не со смятой, как у него самого, а с переломанной душой. Авдотья Ивановна своим поступком с Волынским спасла не только его сердце, но и будущее дитя. Спасла раз — и он сумел ей помочь, но в других случаях она может оказаться бессильной. А что ждет их при жестоком и ненавидящем все русское Бироне? Голицын тосковал, но все-таки никогда бы не поменял нынешнюю тревогу на прежнее животное спокойствие. Ведь случались вечера, а то и целые дни вдвоем с Авдотьей Ивановной — императрица теперь редко кого допускала к себе, кроме врачей и Бирона, — эти часы и дни были такими счастливыми, что стоило вытерпеть даже адовы муки.

Они уже не боялись прикоснуться к былому: у Авдотьи Ивановны прошлого, в сущности, не было, так — маета нужды и зависимости. Но Голицыну было что вспомнить и о чем порассказать. Странно, но даже прекрасное воспоминание прежних лет: Италия, смуглая горячая Лючия — не вызывало в нем страдания. Беспокойства за нее и за почти стершуюся в памяти дочь он тоже не испытывал: виноградарь-корчмарь не даст им погибнуть. А любви былой так и вовсе не помнил, Авдотья Ивановна стала его Италией, стала всем, что он когда-то любил. И еще одно властно привязывало Голицына к крошке-жене: с тех первых дней она никогда не говори-

ла о будущем, не строила воздушных замков, держала его и себя в сегодняшнем, но ему казалось, что она провидит для них что-то хорошее впереди. И это помогало справляться со всеми страхами и сохранять уравновешенность в той дьяволиаде, которую он теперь все чаще называл службой. В этом тоже была заслуга Авдотьи Ивановны. Слово — не обозначение предмета и явления, а сама суть. Назови «службой» пытку души, и ты все выдержишь.

Авдотья Ивановна благополучно разрешилась от бремени младенцем мужеска пола через месяц после блаженные Ее императорского Величества кончины и чрез неделю после трагикомического падения регента Бирона. На этом событии мы остановимся, поскольку здесь в последний раз судьбу Михаила Алексеевича решили исторические потрясения.

Бирон все-таки вырвал из рук умирающей Анны указ о назначении его регентом. Освободив народ от четырехмесячного подушного обложения, Бирон считал, что достаточно укрепил свою популярность в подлом сословии, и занялся серьезным делом: уничтожением недовольных. Усилили караулы и разъезды, столицу наводнили наушниками и доносчиками. В крамольники мог угодить каждый из-за неосторожно сказанного слова, по лживому навету, по излишнему усердию шишов, по смутному подозрению испугавшегося собственного возвышения временщика. Бирону следовало бы пересажать всю Россию, кроме членов своей фамилии, поскольку недовольны были все. Даже немецкая партия, даже друг любезный Левенвольде. Никто не верил в способность курляндского выскочки, корыстолюбца и лошадника управлять великим государством, и никому не хотелось делить участие обреченного на падение диктатора.

Серьезные заботы не помешали герцогу Курляндскому распорядиться шутейной командой. По окончании траура шутам надлежало вернуться к исполнению обычных обязанностей. Все должно было оставаться таким же, как при жизни великой императрицы, этим регент лишней раз доказывал свою беспредельную преданность усопшей благодетельнице. Значит, опять чехарда, тычки, драки, сидение в лукошках, квохтанье, поднесение кваса, дрожь в коленках...

И тут сказал слово другой честолюбец, долгие годы находившийся на вторых ролях и терпеливо выжидавший своего часа.

Настало время для военного инженера, генерал-аншефа, победителя турок и шведов графа Миниха. Он не был человеком идеи, вроде верховника Голицына, не был таким неумным честолюбцем, как Волынский, грезившим о ступенях трона; не похож был Минихина Бирона, для которого власть означала прежде всего богатство.

Он был человеком действия. Непрерывное делание было необходимо его редкостно энергичной, сильной и неутомимой натуре. Придворные интриги, глупость и алчность временщиков, безразличие наследников Петра к целям великого государя не давали ему развернуться. Миниху все это надоело, он хотел большого дела и славы.

Он не был мастером интриги и заговоров и совершил свой переворот с обезоруживающей простотой. Получив испуганное согласие Анны Леопольдовны принять регентство, подполковник лейб-гвардии Преображенского полка Миних взял роту гвардейцев, арестовал Бирона, выдернув его из супружеской постели, и провозгласил регентшей мать малолетнего царя Ивана Антоновича. Арест Бирона сопровождался гадко смешными подробностями. Герцог забился под кровать, а извлеченный оттуда, стал кусаться, царапаться и лягаться. Его связали, закатали в ковер, рот заткнули платком и в таком виде сволокли в карету. Бенингна тоже сопротивлялась, тонкий пеньюар разорвался в клочья под грубыми руками гвардейцев, обнажив избыточные розовые тела. Так позорно завершился один из худших периодов многострадальной русской истории.

Переворот Миниха имел следствием роспуск шутейной команды. Анна Леопольдовна, сама достаточно натерпевшаяся от вздорного нрава тетки — ее ругали и хлестали по щекам как нерадивую фрейлину, — не находила удовольствия в унижении других людей. Она разогнала болтушек и уволила с придворной службы всех шутов, щедро их наградив. Голицыну была возмещена стоимость конфискованного имения.

— Ну я и тебя отпускаю, батюшко, — сказала Авдотья Ивановна, когда благодетельствованный регентшей муж вернулся домой.

— Куда? — не понял Голицын.

— В твою новую настоящую жизнь.

— А разве у нас не настоящая жизнь? — с улыбкой спросил Голицын.

— Нет, вся наша жизнь — в шутку. Сам знаешь. С шутки началось, шутя продолжалось. А что не отверг меня, за это тебе благодарность. Я тебе не ровня и всегда это знала. Сейчас ты вольный человек, в своем достоинстве и при средствах. Наш брак вовсе не считается, раз ты другой веры.

— Чего ты?.. О чем ты?.. — бормотал растерявшийся Голицын.

— Пора тебе начать жить, как по родовитости твоей положено, а чужой злобой отнято. Ты же Голицын! И как тебя не мытарили, как ни гнули, а сломать не смогли. Человек ты свежий, крепкий, в полном здравии. Будет у тебя и дом, и жена-ровня, и детишки. А за меня не переживай, нашего богатства и на двоих хватит.

Последних слов ее Голицын уже не слышал. Он наконец-то понял, что все это всерьез, что Авдотья Ивановна приняла решение, а он хорошо знал, как тверда она и неуступчива, если что задумала. Голицын не умел спорить, бороться, убеждать, он никогда ни в чем не мог поставить на своем, все распоряжались им, как хотели: цари, министры, фавориты, военачальники, даже итальянский виноторговец и его дочка, да что там — огрызки человеческие из шутеюной команды, а он умел только покоряться, молча потуплять голову. Голицын зарыдал, затопал ногами в бессильном отчаянии, стал колотить себя кулаками в грудь.

Авдотья Ивановна испугалась, что он опять выпадет из ума. Она видела его в беде, в нечеловеческом унижении, видела битым и растоптанным, видела раз за свадебным столом слезу на его щеке, но никогда не видела и даже не представляла плачущим. Этого от него никто не мог добиться.

Она должна была дать Голицыну свободу выбора. Он мог остаться с ней из благодарности или по слабости, а Авдотья Ивановна этого не хотела. Ведь она любила. Но слишком велико их нынешнее неравенство. Какая она жена князю — Буженинова, божья нелепица, камчатская оборванка рядом с Гедиминовичем, статным, пожилым красавцем, от которого за версту веет родовитостью!

— Милый, да что ты?.. Что с тобой?.. Ну, не хочешь, никуда я не уйду. Только перестань, родимый. Никуда не денется твоя Авдошка. Вот я, всегда с тобой, пока не прогонишь... Да шучу я... Твоя я, твоя, понял?.. Давай утрем слезки.

— Ты правду говоришь?

— Конечно, правду. — Она протянула ему фуляр, и князь трубно высморкался.

Через месяц к черному ходу дворцового флигеля была подана вместительная карета; в нее сели высокий представительный барин в шубе с бобрами и маленькая барынька в соболях. Туда же забралась дородная молодница с грудным ребенком в атласном конверте. Карета тронулась, за ней потянулись три возка с поклажей. Князь и княгиня Голицыны отправились в свое имение в подмосковном селе Братовщине, приобретенном через доверенного человека.

По тем еще скромным временам имение Голицына могло считаться образцовым: усадьба в отменном состоянии, за мужиками недоимок не числится, а сам господский дом — табакерка. В елисаветинский век богатые и знатные фамилии начнут возводить в своих сельских вотчинах каменные дворцы с колоннами, приглашая для строительства лучших петербургских и московских зодчих, разбивать французские и английские сады, украшая их мраморными статуями, городить искусственные гrotты, балюстрады, фонтаны. Но в ту патриархальную пору даже знаменитому Архангельскому, имению верховника Голицына, было бесконечно далеко до того роскошного вида, который ему впоследствии придадут новые владельцы, баснословно богатые Юсуповы. Дома состоятельных помещиков тогда мало чем отличались от деревенских изб, разве что были попросторнее и окошки стеклянные, а не слюдяные, да крыльцо позатейливей. Крыша — та же дранка, обстановка — грубо сколоченные столы, лавки вдоль стен, два-три городских стульца, сундуки, пол застлан рядом.

А у Голицыных дом хоть и деревянный, да оштукатуренный, двухэтажный, и под железом, крыльцо с белыми колоннами; в первом этаже имелось зальце с изразцовыми печами, несколькими старыми потемневшими картинами на стенах и огромным паникадиллом. На втором этаже находился кабинет с дубовым письменным столом, прямоспинным креслом, диваном и книжным шкафом, рядом — спальня и детская. К дому примыкали флигели, там были комнаты для гостей, поварня, кладовые, контора, чуланы для дворни, баня. За домом растянулся громадный сад, его прорезали липовые аллеи,

был и чистый пруд с карасями и клумбами против парадного входа.

Голицыну дом полюбили, но Авдотья Ивановна разделяла его восторга. «Нынче и это сгодится, — говорила она, — а там, конечно, ты по-другому отстроишься». Эти слова пугали Голицына каким-то темным намеком, но, утомившись страдать, он сразу прекращал разговор.

Поместью принадлежало большое село и пяток не слишком захудалых деревень. Михаил Алексеевич, подерживаемый во всех своих начинаниях женой, в короткое время крепко и выгодно устроил хозяйственную жизнь в своих владениях. Кого оставил на барщине, кого перевел на оброк, а кого отпустил в город, на заработки. Он прогнал старого управителя, бессмысленно придиричивого немца, которого крестьяне ненавидели и всячески старались обмануть. На его место Голицын поставил приказчика из местных, сметливого молодца, взяв с него клятву, что воровать тот будет не много, не мало, а соответственно, чтобы барину не захотелось сдать его в солдаты. И еще ему было велено не прижимать крестьян без нужды, не то пойдет к ним на правож. Новому управляющему равно не хотелось ни под ружье, ни под розги земляков, его стараниями имение обеспечивало Голицыных и прибыль давало, крестьяне тоже не жаловались.

Вскоре Авдотья Ивановна подарила Голицыну второго сына. На радостях Михаил Алексеевич закатил пир, пригласив всех окрестных помещиков. Это был народ мелкотный, хотя и не вовсе бедный. Но жили бирюками, иные сидни даже в Москве не бывали, не то что в Петербурге. Помещики были ошеломлены великолепием дома Голицыных и оказанным им приемом. Непривычный к роли хозяина и боящийся уронить себя чрезмерной обходительностью, которую могли счесть заискиванием, Михаил Алексеевич надувался, как индюк, был важен до высокомерия и тем необычайно понравился гостям. Таким они и представляли себе настоящего вельможу, приближенного суровой Анны Иоанновны, о царствовании которой ходило столько темных слухов. А вот радушная, веселая Авдотья Ивановна разочаровала помещиков своей простотой и неавантажностью; разве такая жена положена князю Голицыну!

В свою очередь, Авдотья Ивановна невысоко оценила гостей, вспомнив о них много времени спустя, и, как по-

началу показалось Михаилу Алексеевичу, вроде бы ни с того ни с сего.

— До чего же соседи наши дремучи, только что шерстью не поросли!

Они сидели на лавочке возле клумбы и отмахивались от комарья.

— Люди как люди, — равнодушно отозвался Голицын.

— Нет, не такая тебе компания требуется.

— Что ты все меня возвышаешь? Да кто я такой? — рассердился Михаил Алексеевич, которому не понравилось словечко «тебе», будто разъединяющее их. Уже не в первый раз Авдотья Ивановна как бы проводила черту между ним и собой.

— Надо, чтобы к тебе из Москвы, из подмосковных вотчин господ приезжали, — мимо его слов продолжала Авдотья Ивановна. — И они поедут, когда прослышат про твои хоромы.

— Какие еще хоромы? О чем ты, Дунюшка? Нешто я Шереметев или Куракин? Да и зачем они нам?

— Молчи! — приказала Авдотья Ивановна. — Чем ты хуже их?

— Не привык я к пышности. А главное, денег нет на такое мотовство.

— Есть, Миша, — очень серьезно сказала Авдотья Ивановна. — Я же говорила тебе, что мы богаты.

Голицыну вспомнилось, что как-то в первые дни их супружества она обмолвилась о каком-то богатстве, но не до того ему тогда было, а после и вовсе выпало из головы. Ну что она, сердешная, в богатстве смыслит? Думает небось, что незаможная деревенька, пожалованная на свадьбу Анной Иоанновной, и разные ее подачки: перстеньки, брошки, браслетки — невесть какое состояние. Откуда ей знать, что такое настоящее богатство?

— Да ты не веришь?

Авдотья Ивановна прошла в дом и вернулась с увесистой шкатулкой, которую несла с трудом на плече. Она открыла шкатулку, и у Голицына заслезились глаза — такой оттуда ударил блеск и сверк.

— Господи, откуда?

— А это приданое. Ты пьяненький был, не заметил, поди, как нас одаривали. Матушка императрица пример подала. Остальным куда деваться?

Авдотья Ивановна заметила его брезгливое, отстраняющее движение.

— Эти дары не в короб, а в ледяную могилу кидали. — И добавила с тихой угрозой: — Не смей ими требовать...

— О чем ты? — испугался Голицын. — Нешто я что говорю?

— То-то!.. Вот он, твой дворец, Михаил Алексеевич!

— Почему «твой»? — вскинулся Голицын, в такие минуты робость его оставляла. — Нет ничего моего и не будет — только наше!

Она помотала головой.

— Это для твоей новой жизни. Меня уж в ней не станет.

— Куда же ты денешься? — вымученно улыбнулся Голицын.

— Куда все деваются, туда и я. Выкормлю поскребыша своего и уберусь... Я все свое от жизни получила... Нешто могла я мечтать о таком?.. А ты должен еще одну жизнь прожить, самую лучшую. Был господь наш Иисус на кресте, а стал в славе. И ты должен восстать в славе. Так я решила, и не спорь со мной. Не раздражай больного человека.

— Чем же ты больна, Дунюшка? Мы врачей вызовем, хочешь, в Италию поедем?

— Вот моя Италия. — Она обмахнула пространство рукой. — А врач меня осматривал. Помнишь, я на грудь жаловалась, говорила, что придется кормилицу брать?.. Ничего у меня с грудью не было, а сидела во мне моя болезнь. И врач это подтвердил. От нее не лечатся и не выздоравливают... Прекрати!.. Я еще поживу здесь... А мой наказ ты исполнишь. Поклянись, что исполнишь!.. Смотри, а то я тебе являться стану...

— Являйся, Дунюшка! — попросил Голицын. — Все легче...

Авдотья Ивановна верила: слово муж сдержит, чего бы ему ни стоило. Этого она и добивалась. Пришлось сказать о своей неизлечимой болезни, чтобы связать его обязательством, а то, не ровен час, руки на себя наложит. Она знала, как Голицын ее любит, и ничего не боялась. Его любовь сбережет ее в каком-то высшем тайном смысле, назвать который она не умела.

А Михаил Алексеевич после этого разговора вроде бы успокоился. Он не плакал больше и, когда спал, все прижимал к себе ее маленькое тело, так что ей становилось трудно дышать, но Авдотья Ивановна и не пыталась освободиться из его рук. На посторонний взгляд с ним было

все в порядке, правда, приказчика удивляло, что вникавший прежде во все хозяйственные подробности Михаил Алексеевич вдруг перестал интересоваться хозяйством, хотя подступала уборочная страда. Ушлый молодец не попался на удочку внезапного доверия и еще умерил воровство. Конечно, приказчику и в голову не могло прийти, что барину все сделалось безразлично: хоть все не убирайте, не молотите, не сейте. Он хотел каждую минуту быть с Авдотьей Ивановной и не тратиться ни на что другое. Он следовал за нею, как тень, а стоило ей, все слабеющей, прилечь, как он тут же подваливался к ее боку. Голицын почти не страдал, она это знала. С ним сделалось что-то похожее на прежнее выпадение из памяти. Только тогда Михаил Алексеевич полностью освободился от себя, а сейчас сумел отогнать страшное. Он так сосредоточился на ней живой, что не осталось места для образа утраты. Да ведь нельзя просто забыть о том, что ежеминутно напоминает о себе, это вне человеческого воли; свое благое беспамяństwo Михаил Алексеевич оплатил частичной утратой личности. В нем не было сейчас ни любви к детям, ни радости от дома, от прогулок, ни беспокойства о хозяйстве, ни интереса к к чему-либо творящемуся на свете, он дышал и не мог надыхаться одной Авдотьей Ивановной. «И не надыхаешься, милый, — нежно и жалеюще думала Авдотья Ивановна. — А все-таки большое облегчение — уметь так прятаться от страшного». Сама она жила, как раньше, не изменяла своим привычкам, спокойно и твердо ждала близкого конца, но думать старалась только о хорошем, что выпало ей в жизни. Утешалась она и мыслями о будущем величии Михаила Алексеевича.

Хорошая собака никогда не умирает на глазах хозяина, находит такое укромье, где ее невозможно отыскать. Она не хочет удручать зрелищем своего конца того, кого любила всем беззаветно преданным сердцем. Видимо, этот древний животный инстинкт заговорил в Авдотье Ивановне, по корням близкой природе и почве.

В один из ничем не примечательных мягких пушистых зимних дней она исчезла. И как могло это случиться? Михаил Алексеевич ни на шаг не отпускай жену от себя — да ведь случилось! Усыпила она его, что ли, или заколдовала, но вдруг он как-то странно вздрогнул, будто со сна, и очнулся в пустоте. Голицын заметался, за-

бегал по дому, стал обшаривать каморы, двигать мебель, хлопать дверцами шкафов, потом спохватился и кликнул людей. Длинной цепью двинулись они через сад к лесу. Голицын все приглядывался к следам, их было множество — маленькие опущенные следы животных и птиц. Но ведь и следки Авдотьи Ивановны были не больше.

Они обыскали сад и примыкающую к нему березовую рощу, окликав Авдотью Ивановну и аукаясь — тщетно! — и углубились в еловый бор; здесь снег был столь глубок, что люди проваливались по пояс — нешто тут пройти такой крошке? — но Михаил Алексеевич замороженно ломил вперед, и дворе нечего не оставалось, как следовать за ним.

Нашел ее сам Михаил Алексеевич, хотя не признал в первое мгновение, приняв меховое пушистое существо в развилке соснового сука, пригнувшегося под снежным гнетом, за зверька вроде кунички. А это была Авдотья Ивановна в шубке и меховой шапочке, уже замерзшая, одеревеневшая. Голицын взял ее на руки — она ничего не весила. Только сейчас увидел он, как мало ее осталось, как сморщилось, усохло в детский кулачок желтое лицо с провалами забытых снегом глазниц. Михаил Алексеевич видел ее, такую важную и значительную для него, преувеличивающим оком, а сейчас зрение его опустело, и Авдотья Ивановна словно съежилась, уже мертвая предстала перед ним в настоящем своем облике.

Он понес ее на вытянутых руках и весь путь до дома по-волчьи выл, так что у дворовых волосы под шапками становились дыбом.

Нашлись добрые души, взявшие на себя похороны и все сопряженные с ними хлопоты: Михаил Алексеевич ни на что не годился...

Потом началось долгое, тяжелое опаматование.

Постепенно Голицын выполнил все наказания Авдотьи Ивановны. Детям нанял воспитателей. Построил каменный дом — бело-синий, с колоннами и лепниной. Обставил его английской мебелью. Женился. Желю взял из семьи почтенной, но не родовитой. Ее страстью было наряжаться, но долгое время всем великолепием парижских нарядов любовались лишь дремучие очи окрестных помещиков. А потом, как предсказывала Авдотья Ивановна, слухи о роскоши и хлебосольстве голицынского дома

достигли Москвы, и среди его гостей появилось немало чуть замшелой, но весьма родовитой знати. У новой княгини Голицыной был один несомненный дар: она умела принять любого гостя и любое число гостей, сохраняя вид величественного благоволения, неизвестно почему осенившее внучку петровского барабанщика, выслужившего офицерский чин и потомственное дворянство. Ей очень повезло, поскольку ничего другого, кроме представительности, от нее не требовалось.

Когда князь и княгиня Голицыны выходили на прогулку, оба большие, статные, нарядные и торжественные, он, опираясь на трость, она — на его твердую руку, дворовые бросали дела, чтобы полюбоваться этим величественным и никогда не надоедавшим зрелищем.

Соседские помещики князя боготворили. Он устраивал великолепные охоты с борзыми и гончаками, хотя сам никогда не брал ружья в руки, поил и кормил до отвала и даже перепившему, наскандалившему гостю не делал никакой укоризны, а заботливо отправлял домой на своих лошадях. У него был великолепный погреб, и, наверное, во всей России не нашлось бы таких квасов, как у Голицына. Из чего только их не готовили! Помимо всех известных квасов, у него подавались шипучие хмельные квасы из заморских фруктов, выращиваемых в оранжереях, с примесью каких-то трав. И была традиция: каждому новому гостю князь с задумчивой полуулыбкой собственноручно подносил кружку кваса, чуть наклонив крупную голову под великолепно расчесанным париком, и говорил душевно: «Извольте, сударь, откушать». С поклоном принимал опорожненную кружку и протягивал платок, чтобы гость отер пену с усов. Говорили, что императрица Анна пила квас только из его рук, и на эту привилегию никто не смел посягать. Что правда, то правда.

А вообще правды о нем не знали, да и не стремились узнать. Каждое историческое событие становится сперва легендой (еще при жизни современного ему поколения), потом предметом научного изучения, и окончательный образ обретает себя вновь в легенде. Конечно, случались люди, утверждавшие, что блистательный вельможа был шутом при дворе Анны Иоанновны, но это не производило на гостей Голицына обидного для князя впечатления. Бироновщина была овейна какой-то мистической жутью, пережить то время, да еще вблизи самого Курляндского сатаны, было уже подвигом. А как ты назы-

вался, кем числился, какие муки терпел в страшное огненпальное время, стоит ли разбираться? Лучше почти-тельно молчать перед страстями, которые по божьей милости не выпали тебе на долю.

Сам Голицын никогда не говорил о прошлом и умел безмолвно прекращать эти разговоры в своем присутствии, что еще увеличивало общее к нему уважение. Не хотел этот человек ни лавров, ни сострадания, ни восхищения, ни содрогания, он имел мужество существовать в нынешнем своем образе, не озираясь на прошедшее.

Никто не задавался вопросом: счастлив ли хозяин гостеприимных пенатов — это казалось само собой разумеющимся. Если он и претерпел гонения в прошлом, то настоящее все ему возместило.

Сам Михаил Алексеевич был иного мнения на этот счет. Он видел свое счастье в минувшем, когда, закончив шутовскую службу, возвращался к Авдотье Ивановне, срывал парик с потной головы, скидывал пыльный кафтан, и они вдвоем шли париться в ее домовую баньку, и он поддавал пару хлебным квасом.

С годами его меланхолия, не переходившая во что-то болезненное, тягостное для окружающих, стала усиливаться. Однажды Голицын задумался об этом и сделал выводы. Он завел шутов. Кормил и содержал их отменно, но был строговат.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 5

ЧЕЛОВЕК ИЗ ГЛУБИНЫ ПЕЙЗАЖА

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Молодожен | 11 |
| Последняя охота | 25 |
| Новый дом | 43 |
| Погоня | 56 |
| Когда утки в поре | 87 |
| И вся последующая жизнь | 106 |
| На тетеревов | 147 |
| Браконьер | 179 |
| На кордоне | 207 |

РАЗНОЕ О РАЗНОМ

| | |
|--|-----|
| В селе Красном | 275 |
| В дождь | 285 |
| Поездка на острова | 325 |
| Ненаписанный рассказ Сомерсета Моэма | 385 |
| Ночью нет ничего страшного | 432 |
| Элли и Панос | 447 |
| Куличок-игумен | 468 |
| Квасник и Буженинова | 512 |

Нагибин Ю. М.

Н 16 Поездка на острова: Повести и рассказы. — М.: Мол. гвардия, 1987. — 590 [2] с., ил.

В пер.: 2 р. 40 к. 150 000 экз.

Первый раздел сборника посвящен теме «Человек и природа». Сюда вошли избранные рассказы Мещерского и Плещеевского циклов, которым предпослано предисловие о тревогах писателя за судьбы окружающего мира. Второй раздел сборника разнообразен по материалу и тематике: рассказы и повести о любви, поиске жизненного пути, красоте доброго поступка, самоутверждении подлинном и мнимом. Сюда же вошли две повести, посвященные мало известным событиям исторической жизни России.

Н 4702010200—214 108-87
078(02)—87

ББК 84Р7

ИБ № 5738

Юрий Маркович Нагибин

ПОЕЗДКА НА ОСТРОВА

Зав. редакцией **В. Перегудов**

Редактор **Н. Самарская**

Художники **А. Яковлев, А. Озеревская**

Художественный редактор **А. Романова**

Технический редактор **Н. Баранова**

Корректоры **И. Ларина, В. Назарова, Л. Четыркина**

Сдано в набор 13.03.87. Подписано в печать 20.07.87. А01137. Формат 84X108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 31,08. Учетно-изд. л. 33,9. Тираж 150 000 экз. (75 001 — 150 000 экз.). Цена 2 р. 40 к. Заказ 2857.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ПК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сушчевская, 21.

A decorative title page with a light beige, textured background. The text is arranged in four lines. The first line features the word 'Юрий' in a stylized, outlined font, with a sun-like circle to its right and a plant stem with leaves to its left. The second line features the word 'Нагибин' in a similar outlined font, overlapping the 'Юрий' and the sun. The third line features the word 'Шоездка' in a bold, black, serif font, with a plant stem and leaves to its left. The fourth line features the word 'Острова' in a bold, black, serif font, with 'на' in a smaller font above the 'О'. A horizontal line is at the bottom.

Юрий Нагибин
Шоездка
на
ОСТРОВА